



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отключайте автоматические запросы.
Не отключайте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Columbia University
in the City of New York

THE LIBRARIES





ВРЕМЯ

ЖУРНАЛЪ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКІЙ

1862

О К Т Я Б Р Ъ

(ГОДЪ ВТОРОЙ)

ВЫШЕЛЪ 6 НОЯБРЯ

СОДЕРЖАНІЕ

- I. СВОЕ И НАНОСНОЕ. Романъ. СТЕПАНА ФЕДОРОВА . . . 5
- II. КОМАНДИРША. Житейскія сцены. А. Н. ПЛЕЩЕЕВА . . . 144
- III. СОБОРЪ ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ. Романъ Виктора Гюго 174
- IV. *Мать въ сердцахъ меня журила...* Стих. В. В. КРЕСТОВСКАГО. 260
- V. ИЗЪ ГОРАЦІА. Стих. ЕГО ЖЕ. 364
- VI. НѢСКОЛЬКО СТРАНИЦЪ ИЗЪ ЗАПИСОКЪ ЛЕКАРЯ. Глава I. Дорога. — Глава II. Первые визиты. — Глава III. Больница. — Глава IV. Городъ. — Глава V. Острогъ. АНАТОЛІА ИНСАРОВА 261
- VII. СМЕРТЬ. Стих. О. БЕРГА 343
- VIII. *И плескъ, и блескъ рѣчной волны...* Стих. ЕГО ЖЕ . . . 315
- IX. ЛѢТНІЯ ПѢСНИ. Стих. А. Н. ПЛЕЩЕЕВА 346
- X. ЗЕМСТВО И РАСКОЛЪ. Бѣгуны. А. ЩАНОВА. 319

СМ. НА ОБОРОТѢ

ПЕТЕРБУРГЪ

1862

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ

| | |
|---|------------|
| <p>I. ЛЕРМОНТОВЪ И ЕГО НАПРАВЛЕНІЕ. Крайнія грани развитія отрицательнаго взгляда. Элементы политической дѣятельности Лермонтова. I. Введение. — II. О Байронѣ и о матеряхъ важныхъ. — III. Нашъ романтизмъ. Статья первая. Аполлона Григорьева</p> | <p>1</p> |
| <p>II. НАШИ ДОМАШНІЯ ДѢЛА. Современные замѣтки. — Основныя преобразования судебной части въ Россіи. — Рѣчь волостного старшины. — Хитрая барыня. — Введение уставныхъ грамотъ. — Важнѣйшій трудъ въ сельскомъ хозяйствѣ. — Экономическая будущность Россіи. — Земско-хозяйственные учрежденія. — Кошерный сборъ. — Рекрутскій наборъ. — Золотое дѣло. — Акціонерныя дѣла. — Николаевская желѣзная дорога. — Непостижимыя исторіи</p> | <p>33</p> |
| <p>III. ПО ПОВОДУ ГОДИЧНОЙ ВЫСТАВКИ ВЪ АКАДЕМІИ ХУДОЖЕСТВЪ. П. ШВАЛЕВСКАГО.</p> | <p>66</p> |
| <p>IV. ПОЛИТИКА. Общее положеніе</p> | <p>85</p> |
| <p>Прусскія дѣла. — Прекращеніе конституціоннаго образа правленія въ Пруссіи. — Возвращеніе къ абсолютизму. — Закрытие палаты</p> | <p>88</p> |
| <p>Итальянскія дѣла. — Прощеніе Гарибальди. — Ходъ его богуши. — Папа и Фридрихъ II</p> | <p>97</p> |
| <p>Греко-славянскій или восточный вопросъ. — Возстаніе въ Греціи. — Удаленіе короля. — Очеркъ исторіи греческаго королевства. — Сущность восточнаго вопроса. — Выгоды окончательныхъ рѣшеній</p> | <p>103</p> |
| <p>Последнія извѣстія</p> | <p>117</p> |
| <p>V. КУПЦЫ — РЕФОРМАТОРЫ ГИМНАЗІЙ. М. Родевича.</p> | <p>120</p> |
| <p>VI. ПЬЕКОТЛИВЫЙ ВОПРОСЪ Статья со свистомъ, съ превращеніями и переодѣваньями</p> | <p>141</p> |
| <p>VII. ЗАМѢТКИ ПО ВОПРОСУ ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ. (Письмо къ редактору). П. Сокальскаго</p> | <p>164</p> |
| <p>VIII. РУССКІЙ ТЕАТРЪ. Современное состояніе драматургіи и сцены. Статья вторая</p> | <p>181</p> |
| <p>IX. ГОЛОСЪ ЗА ПЕТЕРБУРГСКАГО ДОНЪ-КИХОТА. (По поводу статей г. Театрина).</p> | <p>189</p> |
| <p>X. ТЯЖОЛОЕ ВРЕМЯ. (Письмо въ редакцію «Времени»). Н. Косицы.</p> | <p>194</p> |

Объявленія. Объявленія на 1863 годъ журналовъ и газетъ: «Время», «Воспитаніе», «День», «Биржевыя Вѣдомости», «Модный Магазинъ». — Отъ книжнаго магазина А. Ф. Бабунова.

ПОДПИСКА НА 1863 ГОДЪ

ВРЕМЯ**ЖУРНАЛЪ ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКІЙ**

ИЗДАВАЕМЫЙ М. ДОСТОЕВСКИМЪ

Съ будущимъ годомъ начнется третій годъ изданія нашего журнала. Направленіе наше остается тоже самое. Мы знаемъ, что нѣкоторые изъ недоброжелателей нашихъ стараются затемнить нашу мысль въ глазахъ публики, стараются не понять ее. Недоброжелателей у насъ много, да и не могло быть иначе. Мы нажили ихъ сразу, вдругъ. Мы выступили на дорогу слишкомъ удачно, чтобъ не возбудить иныхъ враждебныхъ толковъ. Это очень понятно. Мы конечно на это не жалуемся: иной журналъ, иная книга иногда по нѣскольку лѣтъ нетолько не возбуждаютъ никакихъ толковъ, но даже не обращаютъ на себя никакого вниманія ни въ литературѣ, ни въ публикѣ. Съ нами случилось иначе и мы этимъ даже довольны. Покрайней-мѣрѣ мы возбудили толки, споры. Это вѣдь болѣе лестно, чѣмъ встрѣтить всеобщее невниманіе.

Конечно мы оставляемъ въ сторонѣ пустые и ничтожные толки рутинныхъ крикуновъ, непонимающихъ дѣла и неспособныхъ понять его. Они съ чужого голоса бросаются на добычу; ихъ натравливаютъ тѣ, у которыхъ они въ услуженіи и которые за нихъ думаютъ. Это — рутинна. Въ рутинѣ никогда не было ни одной своей мысли. Съ

ними и толковать не стоитъ. Но въ нашей литературѣ есть теоретики и есть доктринеры, и они постоянно нападали на насъ. Эти дѣйствуютъ сознательно. И они понимаютъ насъ, и мы ихъ понимаемъ. Съ ними мы спорили и будемъ спорить. Но объяснимся почему они на насъ нападали.

Съ перваго появленія нашего журнала теоретики почувствовали, что мы съ ними во многомъ разнимся. Что хотя мы и согласны съ ними въ томъ, въ чемъ всякій въ настоящее время долженъ быть убѣжденъ окончательно (мы разумѣемъ прогрессъ), но въ развитіи, въ идеалахъ и въ точкахъ отправленія и опоры общей мысли мы съ ними не могли согласиться. Они, администраторы и кабинетные изучатели западныхъ воззрѣній, тотчасъ же поняли про себя то что мы говорили о почвѣ и съ яростью напали на насъ, обвиняя насъ въ фразерствѣ, говоря что почва — пустое слово, котораго мы сами не понимаемъ и которое мы изобрѣли для эффекта. А между тѣмъ они насъ совершенно понимали и объ этомъ свидѣтельствовала самая ярость ихъ нападеній. На пустое слово, на рутинную гонку за эффектомъ не нападаютъ съ такимъ ожесточеніемъ. Повторяемъ: было много изданій и съ претензіей на новую мысль и съ погоней за эффектомъ, которыя по нѣскольку лѣтъ издавались, но не удостоивались даже малѣйшаго вниманія теоретиковъ. А на насъ они обрушились со всею яростью.

Они очень хорошо знали, что призывы къ почвѣ, къ соединенію съ народнымъ началомъ не пустые звуки, не пустыя слова, изобрѣтенныя спекуляціей для эффекта. Эти слова были для нихъ напоминаньемъ и упрекомъ, что сами они строятъ не на землѣ, а на воздухѣ. Мы съ жаромъ возставали на теоретиковъ, непризнающихъ не только того, что въ народности почти *все* заключается, но даже и самой народности. Они хотятъ единственно началъ общечеловѣческихъ и вѣрятъ, что народности въ дальнѣйшемъ развитіи стираются какъ старыя монеты, что все сливается въ одну форму, въ одинъ общій типъ который

впрочемъ они сами никогда не въ силахъ опредѣлить. Это — западничество въ самомъ крайнемъ своемъ развитіи и безъ малѣйшихъ уступокъ. Въ своей ярости они преслѣдовали не только грязныя и уродливыя стороны національностей, стороны и безъ того необходимо должныя современемъ уступить правильному развитію, но даже выставляли въ уродливомъ видѣ и такія особенности народа нашего, которыя именно составляютъ залогомъ его будущаго самостоятельнаго развитія; которыя составляютъ его надежду и самостоятельную, вѣковѣчную силу. Въ своемъ отвращеніи отъ грязи и уродства они, за грязью и уродствомъ, многое проглядѣли и многого не замѣтили. Конечно, желая искренно добра, они были слишкомъ строги. Они съ любовью самоосужденія и обличенія искали одного только «темнаго царства» и не видали свѣтлыхъ и свѣжихъ сторонъ. Несмотря они иногда почти совпадали съ клеветниками народа нашего, съ бѣлоручками, смотрѣвшими на него свысока; они, сами того не зная, осуждали нашъ народъ на безсиліе и не вѣрили въ его самостоятельность. Мы разумѣется отличали ихъ отъ тѣхъ гадливыхъ бѣлоручекъ, о которыхъ сейчасъ упомянули. Мы понимали и умѣли цѣнить и любовь, и великодушныя чувства этихъ искреннихъ друзей народа, мы уважали и будемъ уважать ихъ искреннюю и честную дѣятельность, несмотря на то, что мы не во всемъ согласны съ ними. Но эти чувства не заставятъ насъ скрывать и нашихъ убѣжденій. Молчаніе было бы пристрастіемъ; кому же мы не молчали и прежде. Теоретики не только не понимали народа, углубясь въ свою книжную мудрость, но даже презирали его, разумѣется безъ худого намѣренія и такъ-сказать нечаянно. Мы положительно увѣрены, что самые умные изъ нихъ думаютъ, что при случаѣ стоитъ только десять минутъ поговорить съ народомъ и онъ все пойметъ; тогда какъ народъ можетъ-быть и слушать-то ихъ не станетъ, объ чемъ бы они ни говорили ему. Въ правдивость, въ искренность нашего сочувствія не вѣритъ народъ до сихъ поръ и даже удивляется

Columbia University
in the City of New York

THE LIBRARIES



ственного смысла. Надо было понимать буквально, именно буквально, и мы до сихъ поръ убѣждены, что мы ясно выразились. Мы прямо говорили и теперь говоримъ, что нравственно надо соединиться съ народомъ вполне и какъ можно крѣпче; что надо совершенно слиться съ нимъ и нравственно стать съ нимъ какъ одна единица. Вотъ что мы говорили и до сихъ поръ говоримъ. Такого полного соединенія конечно теоретики и доктринеры не могли понимать. Не могли понимать и тѣ, которые уже полтора десятилетия поневолѣ привыкли себя считать за особое общество. Мы согласны, что совершенно понять это довольно трудно. Изъ книгъ иногда труднѣе понять то, что понимается часто само собой на фактахъ и въ дѣйствительной жизни. Но впрочемъ нечего пускаться въ слишкомъ подробныя объясненія. За нашу идею мы не боимся. Никогда и быть того не могло, чтобъ справедливая мысль не была наконецъ понята. За насъ жизнь и дѣйствительность. И Боже! какія намъ иногда дѣлали возраженія: боялись за науку, за цивилизацію!.. «Куда дѣнется наука? кричатъ они: — и неужели намъ всѣмъ воротиться назадъ, надѣть зипуны и куда-нибудь приписаться?» На это мы отвѣчаемъ и теперь, что за науку опасаться нечего. Она — вечная и высшая сила, всѣмъ присущая и всѣмъ необходимая. Она — воздухъ, которымъ мы дышимъ. Она никогда не исчезнетъ и вездѣ найдетъ себѣ мѣсто. Что же касается до зипуновъ, то можетъ-быть ихъ и не будетъ, когда мы настоящимъ образомъ поймемъ что такое народъ и народность. Можетъ-быть оттого-то именно, что мы искренно, а не въ шутку воротимся къ народу, и начнутъ исчезать у него зипуны. Разумѣется это замѣчаніе мы дѣлаемъ для робкихъ и бѣлоручекъ, имъ въ утѣшеніе. Мы же уважаемъ зипунъ. Это честная одѣжа и гнушаться ею нечего.

Мы признаемся: намъ труднѣе издавать журналъ, чѣмъ кому-нибудь. Мы вносимъ новую мысль о полнѣйшей народной нравственной самостоятельности, мы отстаиваемъ

Русь, нашъ корень, наши начала. Мы должны говорить патетически, увѣрять и доказывать. Мы должны выказать идеаль нашъ и выказать въ полной ясности. Обличителямъ легче нашего. Имъ стоитъ только обличать, нападать и свистать, чтобъ быть всѣми понятыми, часто не давая отчета во имя чего они обличаютъ, нападаютъ и свищутъ. Боже насъ сохрани, чтобъ мы теперь свысока говорили объ обличителяхъ. Честное, великодушное, смѣлое обличеніе мы всегда уважаемъ, а если обличеніе основано на глубокой, живой идеѣ, то конечно оно нелегко достается. Мы сами обличители; ссылаемся на журналъ нашъ за все это время. Мы хотимъ только сказать, что обличителю легче найти сочувствіе. Даже разномыслящіе и несовѣмъ согласные съ обличителемъ готовы примкнуть къ нему ради обличенія. Разумѣется мы вмѣстѣ съ нашими обличителями, и дѣльными и дешовыми, отвергаемъ и гнидость иныхъ наносныхъ осадковъ, и исконной грязи. Мы рвемся къ обновленію ужъ конечно не меньше ихъ. Но мы не хотимъ вмѣстѣ съ грязью и выбросить золота; а жизнь и опытъ убѣдили насъ, что оно есть въ землѣ нашей, свое, самородное, что залегаетъ оно въ естественныхъ, родовыхъ основаніяхъ русскаго характера и обычая, что спасеніе въ почвѣ и народѣ. Этотъ народъ недаромъ отстоялъ свою самостоятельность. Надъ нимъ глумятся иные дешовые критики; говорятъ, что онъ ничего не сдѣлалъ, ни къ чему не пришолъ. Вольно-жъ не видать. Это-то мы и хотимъ указать что онъ сдѣлалъ. Это укажутъ и послѣдствія, разовьеть и наука; мы вѣримъ въ это. Ужъ одно то, что онъ отстоялъ себя втеченіе многихъ вѣковъ, что на его мѣстѣ другой народъ, послѣ такихъ испытаній, которыя тысячуразъ посылало ему провидѣніе, можетъ-быть давно сталъ бы чѣмъ-нибудь вродѣ какихъ-нибудь чукчей. Пусть на немъ много грязи. Но въ его взглядахъ на жизнь, въ иныхъ его родовыхъ обычаяхъ, въ иныхъ уже сложившихся основаніяхъ общества и общины есть столько смысла, столько надежды въ будущемъ, что западные идеалы не могутъ къ намъ

подойти беззавѣтно. Не подойдут и потому, что не нашимъ племенемъ, не нашей исторіей они выжиты, что другія обстоятельства были при созданьи ихъ и что право народности есть сильнѣе всѣхъ правъ, которыя могутъ быть у народовъ и общества. Это аксіома слишкомъ извѣстная. Неужели повторять ее? Неужели повторять и то, что считающіе народъ несостоятельнымъ, готовые только обличать его за его грязь и уродство, считающіе его неспособнымъ къ самостоятельности, уже тѣмъ самымъ про себя презираютъ его? Въ сущности одинъ только нашъ журналъ признаетъ вполнѣ народную самостоятельность нашу, даже и въ томъ видѣ, въ которомъ она теперь находится. Мы идемъ прямо отъ нея, отъ этой народности, какъ отъ самостоятельной точки опоры, прямо, какая она ни есть теперь — невзрачная, дикая, двѣсти лѣтъ прожившая въ угрюмомъ одиночествѣ. Но мы вѣримъ, что въ ней-то и заключаются всѣ способы ея развитія. Мы не ходили въ древнюю Москву за идеалами; мы не говорили, что все надо переломить сперва понѣмецки и только тогда считать нашу народность за способный матерьялъ для будущаго вѣковѣчнаго зданія. Мы прямо шли отъ того, что есть, и только желаемъ этому что есть наибольшей свободы развитія. При свободѣ развитія мы вѣримъ въ русскую будущность; мы вѣримъ въ самостоятельную возможность ея.

И кто знаетъ, пожалуй насъ назовутъ обскурантами, непонимая, что мы можетъ-быть несравненно дальше и глубже идемъ, чѣмъ они, обличители наши, доказывая, что въ иныхъ *естественныхъ* началахъ характера и обычаевъ земли русской несравненно болѣе здравыхъ и жизненныхъ залоговъ къ прогрессу и обновленію, чѣмъ въ мечтаніяхъ самыхъ горячихъ обновителей запада, уже осудившихъ свою цивилизацію и ищущихъ изъ нея исхода. Возьмемъ хоть одинъ изъ многихъ примѣровъ. Тамъ, на западѣ, за крайній и самый недостижимый идеалъ благополучія считается то, что у насъ уже давно есть на дѣ-

лѣ, въ дѣйствительности, но только въ естественномъ, а не въ развитомъ, не въ правильно организованномъ состояніи. У насъ существуетъ напимѣръ такъ, что кромѣ ограниченного числа мѣщанъ и бѣдныхъ чиновниковъ никто не долженъ бы родиться бѣднымъ. Всякая душа, чуть выйдетъ изъ чрева матери, уже приписана къ землѣ, уже ей отрѣзанъ клочекъ земли въ общемъ владѣніи и съ голоду она умереть не должна бы. Если же у насъ, несмотря на то, столько бѣдныхъ, такъ вѣдь это единственно потому, что эти народныя начала до сихъ поръ оставались въ естественномъ, въ неразвитомъ состояніи, даже не удостоивались вниманія передовыхъ людей нашихъ. Но съ 19 февраля уже началась новая жизнь. Мы жадно встречаемъ ее.

Мы долго сидѣли въ бездѣйствіи, какъ-будто заколдованные страшной силой. А между тѣмъ въ нашемъ обществѣ начала сильно проявляться жажда жить. Черезъ это-то самое желаніе жить общество и дойдетъ до настоящаго пути, до сознанія, что безъ соединенія съ народомъ оно одно ничего не сдѣлаетъ. Но только чтобъ безъ скачковъ и безъ опасныхъ salto-mortale совершился этотъ выходъ на настоящую дорогу. Мы первые желаемъ этого. Оттого-то мы и желаемъ благовременнаго соединенія съ народомъ. Но во всякомъ случаѣ, лучше прогрессъ и жизнь, чѣмъ застой и тупой безпробудный сонъ, отъ котораго все коченѣетъ и все парализуется. Въ нашемъ обществѣ уже есть энтузіазмъ, есть святая, драгоценная сила, которая жаждетъ примѣненія и исхода. И потому дай-богъ чтобъ этой силѣ былъ данъ какой-нибудь законный, нормальный исходъ. Разумѣется свобода, данная этому выходу, хотя бы въ свободномъ словѣ, сама себя регулировала бы, сама себя судила бы и законно, нормально направила. Мы искренно ждемъ и желаемъ того.

Намъ кажется, что съ нынѣшняго года наша прогрессивная жизнь, нашъ прогрессизмъ (если можно такъ выразиться) долженъ принять другія формы и даже въ иныхъ

случаяхъ и другія начала. Необходимость народнаго элемента въ жизни становится очевидной и ощутительной. Иначе не будетъ основанія , не будетъ поддержки ни для чего , ни для какихъ благихъ начинаній. Это слишкомъ очевидно и на дѣлѣ въ этомъ согласны и прогресисты и консерваторы.

Мы уважаемъ всякое благородное начинаніе ; въ наше время , когда все запуталось и когда повсемѣстно возникаетъ споръ объ основаніяхъ и принципахъ , мы стараемся смотрѣть какъ можно шире и безпристрастнѣе , непадая въ безличность , потому что имѣемъ свои собственныя убѣжденія , за которыя горячо стоимъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ и всѣмъ сердцемъ сочувствуемъ всему , что искренно и честно.

Но мы ненавидимъ пустыхъ , безмозглыхъ крикуновъ , позорящихъ все , до чего они ни дотронутся , марающихъ чистую , честную идею уже однимъ тѣмъ , что они въ ней участвуютъ ; свистуновъ , свистящихъ изъ хлѣба и только для того , чтобъ свистать ; выѣзжающихъ верхомъ на чужой , украденной фразѣ какъ верхомъ на палочкѣ и подхлестывающихъ себя маленькимъ кнутикомъ рутиннаго либерализма. Убѣжденія этихъ господъ имъ ничего не стоятъ. Не страданіемъ достаются имъ убѣжденія. Они ихъ тотчасъ же и продадутъ за что купили. Они всегда со стороны тѣхъ , кто сильнѣе. Тутъ одни слова , слова и слова , а намъ довольно словъ ; пора ужъ и синицу въ руки.

Мы не боимся авторитетовъ и презираемъ лакейство въ литературѣ ; а этого лакейства у насъ еще много , особенно въ послѣднее время , когда все въ литературѣ поднялось и замутилось. Скажемъ еще одно слово : мы надѣемся , что публика въ эти два года убѣдилась въ безпристрастїи нашего журнала. Мы особенно этимъ гордимся. Мы хвалимъ хорошее и во враждебныхъ намъ изданїяхъ и никогда изъ кумовства не похвалили худого у друзей нашихъ. Увы ! неужели такую простую вещь приходится въ наше время ставить себѣ въ заслугу?..

Мы стоимъ за литературу, мы стоимъ и за искусство. Мы вѣримъ въ ихъ самостоятельную и необходимую силу. Только самый крайній теоретизмъ и съ другой стороны самая пошлая бездарность могутъ отрицать эту силу. Но бездарность, рутина отрицаютъ съ чужого голоса. Имъ съ руки невѣжество. Не за искусство для искусства мы стоимъ. Въ этомъ отношеніи мы достаточно высказались. Да и белетристическія произведенія, помѣщенные нами, достаточно это доказываютъ.

Мы не станемъ говорить здѣсь о тѣхъ улучшеніяхъ, какія намѣрены сдѣлать въ будущемъ году. Читатели ихъ сами замѣтятъ.

Вотъ наша програма

ПРОГРАМА

I. ОТДѢЛЪ ЛИТЕРАТУРНЫЙ

Повѣсти, романы, рассказы, мемуары, стихи и т. д.

II. КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЧЕСКІЯ ЗАМѢТКИ,

какъ о русскихъ книгахъ, такъ и объ иностранныхъ. Сюда же относятся разборы новыхъ пьесъ, поставленныхъ на наши сцены.

III. СТАТЬИ УЧЕБАГО СОДЕРЖАНІЯ

Вопросы экономическіе, финансовыя, философскіе, имѣющіе современный интересъ. Изложеніе самое популярное, доступное и для читателей, не занимающихся спеціально этими предметами.

IV. ВНУТРЕННІЯ НОВОСТИ

Распоряженія Правительства, событія въ отечествѣ, письма изъ губерній и пр.

V. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ

Полное ежемѣсячное обозрѣніе политической жизни государствъ. Извѣстія послѣдней почты, политическіе слухи, письма иностранныхъ корреспондентовъ.

VI. С М Ъ С Ъ

а) Небольшіе рассказы, письма изъ-за границы и изъ нашихъ губерній и пр.

б) Фельетонъ.

в) Статьи юмористическаго содержанія.

«Время» будетъ выходить въ 1863 году каждый мѣсяцъ, книгами въ 30 и болѣе листовъ большого формата.

Редакціею будутъ приняты всѣ мѣры къ правильной и скорой доставкѣ журнала подписчикамъ.

Цѣна изданію для Петербурга и Москвы **14 р. 50 коп.** Съ пересылкою и доставкою на домъ **16 р.** сер.

Подписка принимается для жителей Петербурга и Москвы, въ конторахъ журнала «Время»:

ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ

Въ книжномъ магазинѣ Базунова, на Невскомъ Проспектѣ, въ домъ Энгельгардъ.

ВЪ МОСКВѢ

Въ книжномъ магазинѣ Базунова, на Страстномъ Бульварѣ, въ домъ Заиряжскаго.

ИНОГОРОДНЫЕ адресуютъ свои требованія просто: **Въ Ре-**

дацію журнала «Время» въ С. Петербургѣ. Почтамту извѣстно помѣщеніе Редакціи.

Редакція отвѣчаетъ за исправность доставки своего журнала только подписавшимся въ вышеозначенныхъ конторахъ или въ самой редакціи.

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ М. Достоевскій

ВРЕМЯ

ВРЕМЯ

ЖУРНАЛЪ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКІЙ

ИЗДАЕМЫЙ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ М. ДОСТОВСКАГО

№ 10. ОКТЯБРЬ

ПЕТЕРБУРГЪ

ВЪ ТИПОГРАФИИ ВЛАДИМИРА ПРАЦА

1862

057
V957
1862
Oct.

Одобрено цензурою. С. Петербургъ, 11 октября 1862 года.

СВОЕ И НАНОСНОЕ

РОМАНЪ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

(посвящается Ивану Захарьевичу Лазареву)

I

Впечатлѣнія дѣтства съ удивительной ясностью сохранила моя память. Какъ часто теперь, когда я просиживаю долгіе, лишніе вечера передъ одиноко-мерцающей свѣчой, мнѣ стоитъ только закрыть глаза, и всѣ эти давно отжившіе, сошедшіе въ могилу образы востанутъ передо мной, какъ живые... И пойдутъ у меня съ ними нескончаемо-долгіе разговоры о прошломъ жить-бытьѣ, и снова переживаетъ сердце и старыя боли и старыя радости.

.....

Какъ теперь видится мнѣ старинный дѣдовскій домъ въ деревнѣ на крутомъ берегу Дона. Здѣсь, въ небольшой комнаткѣ, съ окнами въ фруктовой садъ, я впервые увидѣлъ божій свѣтъ. А этотъ огромный залъ, длинный, мрачный, съ узкими готическими окнами; съ высокими, тяжелыми хорами, затянутыми паутиной, какъ флеромъ; съ огромными изразцовыми печами, украшенными эмалевыми рисунками — какъ теперь передо мною. Какимъ холодомъ и сыростью вѣяло отъ него. Позже, много позже, когда я хоронилъ бабуку и входилъ въ могильный склепъ, въ памяти моей моментально воскресъ страшный залъ. Я ска-

залъ: страшный. Ребенкомъ я никогда не могъ побѣдить въ себѣ невольное чувство страха, которое болѣзненно заставляло меня вздрагивать и пугливо оглядываться, когда заигравшись въ большой гостиной съ Амишкой, и забывшись переступалъ высокій порогъ. Эмалевые рисунки изразцовой печи развили это чувство до ужаса. По нимъ я учился исторіи вѣтхаго завѣта. Каждое утро послѣ чаю, когда меня такъ сильно тянуло въ садъ, двое рослыхъ, оборванныхъ слугъ, на босую ногу, вносили тяжелое волтеровское кресло и ставили его передъ печью. Являлся дѣдъ, суровый старикъ, высокій, худощавый, съ сѣдыми, повисшими на глаза бровями и острымъ какъ у ястреба носомъ. Холоднымъ, безстрастнымъ голосомъ читалъ онъ мнѣ исторію каждаго рисунка. Я тихо повторялъ за нимъ, пугливо оглядываясь и вздрагивая при случайномъ повышеіи собственного голоса. Исторія Каина и Авеля вводила на меня ужась. Повторяя за дѣдомъ, я чувствовалъ, какъ холодная дрожь струей пробѣгаетъ по моей спинѣ. Каинъ съ занесенной рукой надъ братомъ такъ страшно смѣтрѣлъ со стѣны, что проходя залъ, я отворачивалъ отъ него голову и жмурилъ глаза, боясь взглянуть на него. Мнѣ казалось, что вотъ-вотъ онъ сейчасъ сойдетъ со стѣны и занесенная надъ Авелемъ рука упадетъ на меня. Внутренне ободряя себя и желая побѣдять невольный страхъ, я несмѣло взглядывалъ на печь, стараясь упокоить встревоженное чувство на погибели злого фараона, но глаза невольно переключили къ Каину и съ учащеннымъ биченіемъ сердца я ускоренными шагами шолъ на терасу. Выбѣжать изъ залы я никогда не рѣшался. Мнѣ казалось, рискни я бѣжать, — и вотъ эти страшные старики, съ ихъ бѣлыми, длинными по поясъ бородами и исхудалыми, суровыми лицами, бросятся со стѣны за мною. На терасѣ я скоро успокаивался. Съ нею былъ такой чудный видъ на Донъ. Мнѣ было какъ-то особенно весело бѣгать по асфальтнымъ плитамъ, переключиваться на урваніи, чугуныя верьшала, и принудивъ глаза, долго, долго смѣтрѣть, какъ Захаръ съ Василией купаютъ лошадей, вонючивая, покрикивая, перебрасываясь шуточками, перемалкиваясь итѣсенками. Операція купанья тянулась съ бѣлой зоры до ночи: у дѣда былъ заводъ. Вдовѣ налюбобавшись лошадами, я чувствовалъ сильное желаніе постѣтитъ дворъ и садъ. Тоскливо оглядывался, не подойдетъ ли няня, чтобъ вмѣстѣ совершить неприятный путь че-

резь пошашивый залъ. Но няня была ай-ай какъ тяжела на подъемъ. Весь день она сидѣла на маленькой скамеечкѣ въ дѣтской, лѣвотъ у окна на солнышкѣ, зимой у печки и работала; то-есть держала въ рукахъ кусокъ ситцу съ воткнутой иглой и дряля поклевычала его покомъ. Понури голову я растворялъ ларь терасы; быстро проходилъ залъ и переступивъ роковой порогъ въ-гостиную, во-асъ лопатки лербалъ на дворъ. Тамъ тянулись длинныя веревки, съ шаниванною, желеной тарашью; которая на коннышкѣ мидѣла такъ яитарно-сочно, такъ аветивно, что избѣгнуть соблазна было трудно. Зорко высматривалъ я, вѣтъ ли восторонняго глаза, подкрадывался къ спущенной подъ тяжестью веревкѣ, и съ помощью палии, добыча была въ моихъ рукахъ. Спритавъ ее подъ рубашонку, я въ поныхахъ бѣжалъ въ садъ подъ любимое вѣтвистое деревце шелковицы и наскоро принимался за заитракъ, пугливо оглядывался по сторонамъ. Уелѣди меня дѣды — и тогда прощай послѣ обѣда в души в шшии. Странное дѣло, зима въ деревнѣ для меня, ребенки, была болѣе привлекательности. Днешъ правда мнѣ было скучно. Къ дѣду почти никто не ѣздилъ изъ сосѣдей-помѣщиковъ. Овъ цѣлые дни просиживалъ у себя въ кабинетѣ за какими-то счетами съ приказчикомъ. Отецъ читалъ вслухъ для матери, которая, постоянно грустная, серьезно занималась вязаньемъ. Я, прижативъ къ уголку, дразнилъ хорошенъкую аглицкую собачку. Бабушка-цѣлый день или молилась Богу въ своей крохотной спаленкѣ, или стирала въ кухнѣ и варила кофе, до котораго была страшная охотница. Цѣлые дни, съ утра до вечерняго часа, ее не было слышно, какъ-будто она и вѣтъ дома. Я горячо любилъ бабушку. Такой безпредѣльной добротой, такой ангельской прегосудью дышала она морщинистое, желтоватое лицо. Съ такой любовной вѣжностью ласкала она меня, когда я урядкой забввалъ въ ее спаленку. Съ лихорадочной торопливостью выдвигала она ящичъ большого комода, приговаривая: «бери голубчикъ, жувай на здоровье». А взять было что. Чего-то только не было въ этомъ ящичѣ: Фиги, и сливы, и орѣхи грецкіе и волоскніе, и винныя ягоды, и много, много всякихъ сладостей. Съ жадностью бросался я въ завѣтному ящичку, хватался за то и другое, вѣскольно разъ оставляя сочную фигу для крупнаго грецкаго орѣха, орѣхъ для привлекательно выглядывающаго аблочка съ зарумяненными щечками. А бабушка то-

ропливо приговаривала : « бери, голубчикъ, не мѣшай, исто дѣдушка увидитъ », и въ голосѣ ея, и въ складкахъ лица выражался искренній страхъ. Въ эти минуты мнѣ безотчетно жалко было смотрѣть на бабушку. Я чувствовалъ даже присыпъ зашлукать, но всегда ограничивался тѣмъ, что стрелялъ кинжоломъ режущу. Мнѣ всегда казалось, что дѣдушка не любитъ бабушку. Онъ часто бранилъ ее при мнѣ. Она кротко выслушивала его жесткую брань, и уйдя въ свою комнату, горько плакала. Я неразъ подглядывалъ эти слезы. А бабушка очень любила его. И за что она его любить? думалъ я, — когда онъ такой злой. Но четвергамъ къ дѣду прибѣжали какіе-то страшные люди въ длиннополыхъ кафтанахъ, цѣлый день о чемъ-то долго и горячо разговаривали съ дѣдомъ, потомъ обѣдали за общимъ столомъ, и низко раскланявшись, уѣзжали. Отталкивающую снисходительную одного изъ нихъ до сихъ поръ сохранила моя память. Это былъ маленькій старичокъ съ рысьими глазками, смѣшной улыбкой, когда не сбѣгающей съ его губъ, в большихъ переднихъ зубами, которые онъ выставлялъ какъ-будто на показъ, когда начиналъ смѣяться. Отецъ замѣтно нервничалъ этими гостями. Онъ быстро шагалъ по комнатѣ изъ угла въ уголъ и хмурясь громко барабанилъ пальцами по стеклу. Нервно случалось, что въ эти дни онъ ссорился съ дѣдомъ ненамнотку.

Одинъ тяжелый четвергъ особенно намятъ мнѣ. Погода была ненастная. На дворѣ стояла оттепель; свинцовыя тучи заволокли все небо. Крупный дождь перерывисто хлесталъ въ оконныя рамы, быстро сбѣгая струйками по стеклу. Всѣ домашніе были какъ-то особенно суровы. Дѣду былъ замѣтно озабоченъ чѣмъ-то. Въ этотъ день его лицо показалось мнѣ старѣе обыкновеннаго; блѣдныя, сухія губы попрежнему конвульсивно искривлялись, а густыя, нависшія брови поднимались каждымъ волоскомъ. Онъ обнаруживалъ замѣтно нетерпѣніе. То подклевывалъ къ окну, протиралъ его платкомъ, и приложивъ глаза, пристально всматривался на вьющуюся къ крыльцу дорожку; то быстро уходилъ въ переднюю, и я слышалъ, какъ онъ отдавалъ приказаніе посматривать на дорогу, не ѣдетъ ли кто. Мать была особенно грустна, отецъ нахмуренъ; а у бабушки отъ страху лица не было. Она поминутно сбѣгала въ свою комнату, бросалась на колѣни передъ лампадой божіей матери, клала земные поклоны, съ лихорадочною дрожью нащелкивая

слова молитвы, и при малѣйшемъ шорохѣ пугливо озираясь. Все утро между ними не было промолвлено слова. Когда вѣждалъ бесомогій Васютка и дошелъ, что къ дому подѣзжаютъ сани, дѣдъ бросился въ переднюю. Мать съ отцомъ молча переглянулись и потушились. Минуты двѣ спустя дѣдъ, сильно взволнованный, торопливо прошолъ съ знакомыми мнѣ старичками въ кабинетъ, и я слышала, какъ шелкнулъ ключъ замка. Старички противъ обыкновенія уѣхали рано. Дѣдъ, поговоривъ о чемъ-то съ отцомъ, ушелъ снова въ кабинетъ и не выходилъ къ обѣду. За обѣдомъ всѣ сидѣли, какъ въ воду опущенные, не дотрогиваясь ни до чего. Отецъ хмурился, мать по временамъ всхлипывала. Бабушка была совершенно растеряна. Черезъ недѣлю мы уѣхали въ уѣздный городъ. Дѣдъ, какъ я узналъ послѣ, оборвался на подрядахъ и спекуляціяхъ. Главнымъ виновникомъ былъ старичокъ съ рысьими глазками; недаромъ я его такъ не любилъ.

Но я забѣгаю впередъ.

Зимній вечеръ былъ мое все. Съ какимъ нетерпѣніемъ дождался я, когда подадутъ свѣчи. Опрометью бросался въ дѣтскую, крѣпко обвинялъ и цѣловалъ няню, прося ее рассказать какую-нибудь сказку. У няни была дурная привычка долго отпѣкиваться и сердить меня до слезъ; но все-таки безъ сказки вечеръ обойтись не могъ. Боже! съ какимъ сладкимъ замраченіемъ сердца слушалъ я ея рассказы о разбойникахъ и людоедахъ. Холодная дрожь пробѣгала по моему тѣлу, когда неожиданно являлась неплотно-притворенная ставня. Мнѣ уже чудилось, что злой колдунъ лезетъ въ окно, чтобъ зарѣзать меня и пачкаться моею кровью. Я плотнѣе прижимался къ нянѣ и начиналъ плакать.

— Ну, чего разревѣлся! ишь балованный, не стану я тебѣ сказывать.

Не слушая няню, я продолжалъ плакать, крѣпко обхвативъ ручонками ея шею. Но только-что успокоивались мои нервы, а снова приставалъ къ нянѣ съ мольбами и просьбами, цѣлуя ея сухія, морщинистыя руки.

— Я не боюсь больше няни! говоритъ я, стараясь придать спокойствіе моему голосу, хотя чувствовалъ, что сердце бьется учащеннѣе обыкновеннаго, а глаза невольно устремляются къ двери. Въ сосѣдней комнатѣ огня нѣтъ... тьма страшная... и въ

этды тѣмъ мое разстроеное воображеніе уже видѣть чудовищно-фантастическій міръ.

— Озарилъ ты этакъ, обитъ на грѣхъ наведешь! бермозеть старушка.

Одно напоминаніе навести наю на грѣхъ, шло на мени магическое дѣйствіе. Я робко притихалъ. И какъ ни страшенъ былъ разгаръ нани, какъ ни сильно билось мое сердце, я едва перемодя духъ отъ обхватывающаго мени ужаса, кривился. И зналъ что значить навести на грѣхъ.

Дѣдъ былъ злой и мерзавій старикъ. Онъ не могъ равнодушно слышать дѣтскаго плача, и бѣдой нани часто доставалось за мени. Онъ бранилъ ее такъ громко, что мнѣ становилась страшно и я еще пуще начиналъ рыдать. Въ эти минуты я чувствовалъ, что нана совершенно безвинно терпитъ за мени. За что онъ бранить ее, когда виноватъ я, думалось мнѣ, и я не солгу, если скажу, что такая несправедливость мени возмущала. Мое дѣтское сердце такъ было зло на дѣда, что когда однажды онъ, сильно раздосадованный, ударилъ наю, жидъ овладѣло бѣшенство, я хотѣлъ закричать и не могъ: голосъ пересохъ въ горахъ. Чувствуя свое бессиліе, я скватился рученнами за его руку и укусалъ его. Дѣдъ ударилъ мени и назвалъ дьяволенкомъ. Съ той поры я болѣе нѣжнаго имени не слышалъ отъ него. Съ этого часа моя нелюбовь къ дѣду росла по часамъ. Мало симпатичнаго было въ его личности: его высокая, сутуловатая фигура, строгое до суровости выраженіе лица, холодный какъ сталь взглядъ, тонкія, блѣдыя губы, никогда не улыбающіяся, дѣй пряди нѣ желто-зеленоватыхъ волосъ на вискахъ нелегко отталкивали мени. Мнѣ чудилось, что внешне такимъ долженъ быть злой волшебникъ, ворующій собѣ дѣтей на даятракъ, а короннѣ тайнъ нѣсто рассказывала мнѣ нана, и который нѣрѣдко мнѣ снился въ образѣ дѣда. Вскорѣ моя нелюбовь къ дѣду обратилась въ живую ненависть; насколько она доступна нелюбавему дѣтскому сердцу. Одно обстоятельство нѣградо тутъ важную роль. Дѣдъ былъ типъ деспота-поддѣшка прошлыхъ временъ: крестьяне ненавидѣли его и дрожали передъ нимъ. Конечно все это уяснилось для мени гораздо позже. Дворня у насъ, съ которой я вообще былъ друженъ, была огромная. Помню, что за обѣдомъ, кромѣ трехъ слугъ въ заграпезныхъ, дыривыхъ сюртукахъ, прислуживало еще четверо

назничковъ въ оборванныхъ рубашечкахъ, на босу ногу. Я не могъ замѣтить, какъ были блѣдны ихъ лица, какъ холодною кожей ихъ руки, когда они являлись изъ кухни съ тарелками и блюдами. Рѣдкій обѣдъ обходился безъ того, чтобы кто-нибудь изъ прислуги не прогнѣвалъ дѣда своею неловкостью. Последнимъ за Макарычемъ дворецкимъ, масляно-лапомаженнымъ и сладко-улыбающимся старичкомъ, «Ваську послѣ обѣда въ керетникъ», объявлялъ дѣдъ и затѣмъ обѣдъ шло съ своимъ чередомъ. Только Васяна блѣднѣлъ какъ полотно и весь обѣдъ проступала съ ноги на ногу, какъ-будто стоялъ на раскаленной плитѣ. Сначала я смутно понималъ, затѣмъ ихъ водить въ керетникъ, хотя сердце мое подсказывало мнѣ, что тутъ кроется что-то недоброе. И какъ ни подстрекало меня мое дѣтское любопытство, я не имѣлъ случая вырваться изъ дому. Послѣ обѣда мать съ отцомъ уводили меня съ собою въ гостиную, заставляли играть съ Амишкой, а сами разговаривали. Не одинъ случай объяснялъ все. За обѣдомъ мой любимецъ Костя, подавая тарелку дѣду, громко чихнулъ. Дѣдъ послалъ за Макарычемъ и приказалъ ему отвести Костю въ керетникъ. Мое сердце безъисменно ёкнуло, чувъ что-то недоброе; притомъ отъ меня не могъ ускользнуть умоляющій взглядъ матери, устремленный на дѣда, и особенно хмурое лицо отца, до того времени веселого. Онъ не дотронулся ни до одного блюда и весь обѣдъ барабанилъ пальцами по тарелкѣ. Бабушка, замѣтно растеряная, только хлопала глазами. Все это случалось и прежде, но не бросалось такъ рѣзко мнѣ въ глаза. На этотъ разъ странное душевное безпокойство и тревога говорили мнѣ, что съ Костей хотятъ сдѣлать что-то злое.

Только-что мы встали изъ-за-стола и ушли въ гостиную, я не могъ преодолѣть своего тревожнаго любопытства и замѣтно возмущенный, присталъ къ матери съ вопросомъ, зачѣмъ отъвели Костю въ керетникъ.

Мой вопросъ смутилъ ее, она вслыхнула, но скоро оправдалась. «Дѣдушка хочеть его побранить поиножке», отвѣтила она спокойнымъ голосомъ, быстро отвернулаея и подошла къ раздвинутому окну, облокотилась на подоконникъ.

— Ступай играть на терасу! сказалъ отецъ съ замѣтной горечью въ голосѣ.

Я почувствовалъ, что отъ меня что-то скрываютъ, и мной

оказалось непреодолимое, вѣрнѣе сказать, болѣзненное любовничество узнать что дѣлается въ каретникѣ. Я бросился со всѣхъ ногъ на балконъ. Пробѣгая незнакомый мнѣ зовъ, я поспѣшно взглянулъ на противную печь и мнѣ показалось, что надъ Авелентъ съ занесенной рукой стоитъ уже не Каницъ, а дѣдушка. Струсилъ я и опрометью выскочилъ на терасу. Нѣжная синева неба, яркая зелень дубовой рощи по ту сторону Дона, легкий, гармоническій плескъ волнъ въ моментъ прогнали мой страхъ. Я подбѣжалъ къ периламъ съ непривычнымъ намереніемъ спуститься на землю и махнуть черезъ дворъ въ каретникъ. Но горе! балконъ чуть не на сажень надъ землею. Прогнать я не успѣлъ. Вообще я былъ нервный, горячій, но хилый и неловкій ребенокъ. Моей физикой занимались мало, и впоследствии я почувалъ, какъ мой духъ изо дня въ день разрушалъ ее. Въ это самое время, какъ я съ тоскливой безнадежностью несмотривалъ внизъ, мимо балкона переходилъ Михѣй кучеръ. У дѣда еще были Михѣй поваръ и Михѣй столяръ. Гаврилъ у насъ было десять и всѣ должны были помнить свои нумера. Самъ дѣдъ называлъ ихъ не нумерами и никогда не сбивался. Михѣй кучеръ, съ виду суровый, былъ предобрѣйшее созданіе. Всѣ дворовые любили и уважали его. Подшутить надъ старикомъ Михѣншъ, значило рискнуть и своей репутаціей и своими боками.

Михѣй любилъ меня, часто украдкой отъ дѣдушки сажалъ на лошадку, ведя ее подъ узды одной рукой, а другой придерживая меня.

— Михѣй, голубчикъ, золотой мой, спусти меня! кричалъ я. Михѣй подошелъ.

— Что ты навѣдъ! На что тебѣ, али мало мѣста у дому.

— Михѣй, душенька! Хочется посмотреть что дѣдушка дѣлаетъ въ каретникѣ.

— Нечего тебѣ тамъ смотрѣть! сказалъ Михѣй, сильно нахмурилъ брови и пошелъ было отъ крыльца.

— Голубчикъ, Михѣй! просилъ я, чуть не плача: — спусти! туда Костю отвели... Михѣй, золотой мой!

Михѣй остановился, сосредоточенно почесалъ въ затылкѣ, нахмурился пуще прежняго, и протянувъ ко мнѣ руки, сказалъ:

— Полѣзай черезъ перило, да держись покрѣпчай.

Черезъ минуту я стоялъ уже на землѣ. Стрѣлой облетѣлъ

дощь и очутился на дворѣ. Что-то щелкнуло подъ моей ногой, я съ ужасомъ отпрыгнулъ. То была жаба (*). Трудно высказать ему того бессознательнаго отвращенія, которое я чувствовала въ дѣтствѣ, чувствую и теперь ко всемъ ползающимъ и шасѣкнымъ. Бить ихъ издали камнями было истиннымъ наслажденіемъ моимъ. Подойти близко не хватало воли. Я схватилъ камень и уже размахнулся было, какъ страшный вепль изъ каретника заставилъ меня оцепѣнѣть на минуту. Я узналъ голосъ Кости. Дрожа всемъ тѣломъ отъ новаго, незнакомаго мнѣ чувства, которое мгновенно обхватило все мое существо, я безвольно подошелъ къ каретнику и остановился въ нерѣшимости, но какая-то внутренняя сила тянула меня, и я бачномъ проскользнулъ въ неплетно притворенныя ворота. Глазая моимъ представлялась возмутительная сцена: два столяра, Михѣй старшій и Михѣй младшій наказывали Костю, а дѣдъ съ невозмутимымъ спокойствіемъ, покуривая изъ маленькой трубочки, читалъ правоученіе. Злость и скорбь схватили меня за горло. Я вскрикнулъ какъ укушенный и бросился къ дѣду.

— Дѣдушка, простите! Едва могъ я выговорить задыхаясь отъ слезъ и волненія.

— Ты какъ сюда попалъ, дьяволенокъ, закричалъ дѣдъ, затаивъ ногами: — я вотъ тебя вывѣствъ съ Костей.

Я не переставалъ рыдать и просить дѣда.

— Отвести его домой! вотъ я ему дамъ ужо на орѣхи, обратился дѣдъ къ Михѣю старшему. Меня хотѣли взять, но я вырвался. Злость закипѣла во мнѣ.

— Костя, Костя! бѣги отъ нихъ! кричалъ я неистовымъ голосомъ, сваясь заглушить собственнымъ крикомъ то что творилось у меня на душѣ. — Злой! злой! людоѣдъ! кричалъ я задыхаясь, указывая пальцемъ на дѣда.

— А, такъ ты такъ! Дѣдъ вспыхнулъ и съ сверкающими отъ гнѣва глазами пошелъ на меня.

Что со мною случилось — сказать не умѣю. Бѣшенство овладѣло мной. Я-бъ желалъ убить дѣда, — такъ гадокъ и противень онъ былъ мнѣ въ настоящую минуту. Не знаю какъ случилось, что камень приготовленный для жабы, полетѣлъ въ дѣда и попалъ ему въ плечо...

(*) Порода лягушекъ екатеринославской губерніи.

Я онемелъ въ своей кровати — большой, Возлѣ меня стояли бабушка и мать, обѣ съ заплаканными глазами. Бабушка безпрестанно шлопалась надо мной, причитывала что-то въ полголоса; невременною спрыскивала мнѣ лицо іорданскою водою, кѣлежала мой лобъ, глаза, щани, повала мнѣ въ руки слабную бутылку, приговаривая: «Кушай, роденькій, серебряный, бриллиантовый, кушай, не обѣдай вѣдь, — вишь какъ желудочекъ огондалъ.» И она ощущивала съ сосредоточенными акримаціями мой желудокъ. Я пролежалъ мѣсяць. Бабушка и мать поочередно не отходили отъ моей постели. Отець тоже навѣщалъ часто. Я не узнавалъ его: такъ онъ переиначился въ короткое время. Его доброе, всегда улыбающееся лицо было сурово противъ обыкновеннаго, а ласковые голубые глаза приняли синій отътенекъ и смотрѣли нехорошо. Замѣтно что-то тревожило его. Няня не покидала меня ни на часъ. Въ первое время болѣзани ее шней дѣлались странныя припадки. При малѣйшемъ забытѣи мнѣ живо представлялась сцена съ Костей; странный ценуръ схватывалъ меня, я соскакивалъ съ постели и звалъ на помощь и мать и отца, умоляя спрятать меня отъ дѣда. Малѣйшій стукъ двери заставлялъ меня вдрагивать. Въ темной щели неплотно притворенной ставни мнѣ видѣлся дѣдъ. Даже днемъ, когда я былъ окружонъ своими, и до меня случайно долеталъ изъ залы громкій голосъ дѣда, мнѣ дѣлалось дурно и я падалъ въ обморокъ. Бодѣна возымѣла свое дѣйствіе: я сталъ быстро развиваться. Всѣ окружающія меня лица предстали теперь перало шней въ носомъ, дотелъ незнакомомъ мнѣ свѣтѣ. Не по днямъ, а по часамъ усаждалась мнѣ сфера, въ которой я жилъ. И моя комнатка, и няня, и дѣдъ, и отецъ, и мать, и бабушка, и отрокъ длинный, мрачный залъ, и вѣчно плещущій Домъ, и кучеръ Мидѣй, и все, и все... все получило для меня новый смыслъ, все вдругъ взглянуло мнѣ въ глаза въ новыхъ, еще неведомыхъ мнѣ образахъ. Все вокругъ меня и до мнѣ зажило новою жизнью. Я сталъ ошаво задумываться по цѣлымъ часамъ. Это испугало родныхъ. Не могъ ли я не задумываться, когда наизутии меня поднимались нѣкіе-то вопросы, заговорили нѣкіе-то голоса, какіихъ я прежде и не слышалъ и не подозревалъ ихъ существованія. Отець сегодня вошелъ въ комнату грустный, у меня на сердцѣ нехорошо стало. Въ головѣ вѣугомонно кричать вопросъ,

отчего онъ прустень, дѣдушка не обидѣлъ ли, не болѣла ли онъ? И откуда родилась этаго вопроса, и отчего онъ такъ мучительно радеетъ въ сердцѣ. Не приходилъ же онъ въ прошлое время. Увидишь бывало папу невеселымъ, толсно и мелеющимъ въ головѣ: папа сердитъ сегодня, не буду шалить, а то бранить будетъ. И не спрашивалось отчего папа сердитъ, Бабушка придетъ съ заплаканными глазами, — опять вопросъ, — о чемъ она плачетъ. Дѣдушка обидѣлъ, инстинктивно, но вѣрно поддекаетъ сердце. Да она смиренная такая, за что ему сердиться на нее, Опять спрашиваетъ головка. Сердце молчитъ, не даетъ отвѣта, — и задумалась голова. Встанешь съ постели, пойдешь къ окну поглядѣть какъ солнышко поднялось, какъ оно заиграетъ въ рѣкѣ и рыба зардеется, а Михай ужо лошадокъ купаетъ. Что это Михай цѣлые дни лошадокъ купаетъ и праздника нѣтъ у него. Вонъ дѣдушка и спитъ послѣ обѣда, и на охоту ѣздитъ, и въ гостя такъ же, а Михай все лошадей купаетъ. Скучно я думаю ему, хочется и погулять, а нѣкогда, а дѣдушка еще третьяго дня бранилъ его, лѣнливомъ называлъ. Странно это, я заработаю голова. Марью скотницу дѣдушка наказалъ за то, что голось у нея грубый. Да чѣмъ она виновата, вѣдь Богъ ее такой создалъ. И много-много еще кое-чего уяснилось мнѣ изъ прежняго туманнаго. Постоянная грусть матушки, озабоченное лицо отца ужъ не проходили для меня безъ тревожнаго отзвѣя въ сердцѣ на эту грусть. Дѣдъ во все время моей болѣзни ниразу не заглянулъ въ мою комнату. Самолюбивый старикъ не могъ простить своимъ очерствѣлымъ сердцемъ прудерность мальчика, какъ онъ называлъ мой поступокъ въ каретникѣ, притомъ онъ весь былъ погруженъ въ свои аферы, которыя разрадились уже знакомой катастрофой.

Мы переехали въ сосѣдній городъ, гдѣ отецъ получилъ мѣсто. Проводы носили тяжелый характеръ. Отецъ и мать какъ будто забѣгали встрѣчи съ дѣдомъ до послѣдней минуты. Отецъ хмурѣ обыкновеннаго, крупными шагами ходилъ изъ угла въ уголъ зала. Матушка безъ всякой видимой надобности разъ десять забѣгала въ кухню, изъ кухни въ дѣвичью и опять въ кухню. Ничего не приказывала, а такъ, зайдетъ, постоитъ на одномъ мѣстѣ какъ-будто что-то прицѣпивая и уйдетъ. Дѣдъ съ раняго утра скрылся изъ дому. Когда я выбѣжалъ на дворъ, меня немного удивила какая-то пугливая, странная суетли-

вость дворян. Попадавшіеся навстрѣчу люди были на себя непохожи. Они какъ-то боязливо озирались по сторонамъ, шептались между собою, быстро скрываясь въ людскую и такъ же быстро снова показываясь.

— Дядя Елизаръ, а дядя Елизаръ!.. кричала въ полголоса высунувшаяся изъ кухни ключница, завидѣвъ выходящаго изъ каретника кучера.

— Ну что, былъ?

— Былъ!

— Зачѣмъ приходилъ?

— Извѣстно зачѣмъ, — сердце сорвать... Митрія въ сарай отвели.

— Охъ-ти господи, мать пресвятая богородица, со вздохомъ произнесла на-распѣвъ ключница и перекрестилась.

— Поди и въ погребъ-то ко мнѣ заглянетъ.

— На всѣхъ достанетъ. Мы съ Михѣемъ три вороха въ сарай оттащили.

— Больно ужъ лютъ сегодня.

— Охъ! укроти его милосердая заступница, и ключница снова перекрестилась.

Въ эту минуту въ сараѣ раздался пронзительный вопль.

Я вздрогнулъ. Все стало ясно. Опрометью бросился я въ комнатку бабушки: она сидѣла въ уголку, на коврикѣ, очень встревоженная, съ заплаканными глазами. Передъ ней на колѣняхъ стоялъ Васютка, громко всхлипывая и съ трудомъ прожевывая кусокъ сдобной булки, половина которой крѣпко была стиснута въ его рукѣ.

— Кушай, Васюточка, кушай на здоровье... Вотъ тебѣ еще шанечка сдобненькая, сама пекла: кушай, не плачь... Ты не сердись на Ивана Григорича... грѣшно тебѣ сердиться на него. Онъ и побьетъ, онъ и помилуетъ... не сердись... Васюточка... смирись... Господь грѣхъ на томъ свѣтѣ съ души сниметъ... На тебѣ еще булочку, кушай на здоровье... И бабушка совала ему въ руки сдобную булку.

— А больно онъ тебя поскѣкъ; спросила она со слезами въ голосѣ.

— Больно! всхлипывая отвѣтилъ Васютка, едва пережевывая хлѣбъ.

— Охъ ты голубчикъ мой. Знаю я его, лютъ онъ въ гнѣвѣ.

Охъ господи, господи! прости и помилуй мя грѣшную... На тебѣ яблочко... Ступай съ богомъ, да не сердись на Ивана Григорьича... Добрый онъ баринъ... Охъ, добрый—то какой... Это онъ въ сердцахъ только... Охъ господи, господи...» До самаго завтрака я просидѣлъ у бабушки на колѣняхъ. Сколько она мнѣ гостинцевъ понасыпала въ карманы. Какъ долго горѣли ея поцѣлуй на моихъ щекахъ. А сама горько заливается, да приговариваетъ что-то въ полголоса. Въ этотъ день она и кофе не пила. За завтракомъ никто почти не дотрогивался до кушанья. Дѣдъ противъ обыкновенія говорилъ много и говорилъ одинъ. Тонъ его рѣчи былъ новъ для меня. Началъ онъ тихо да протяжно, такъ что мнѣ сейчасъ вспомнился отецъ Селифанъ, когда онъ говорить проповѣдь великимъ постомъ; но вскорѣ голосъ его сталъ громче и громче, жесты отрывочнѣе, а кончилъ такимъ страшнымъ голосомъ, что я поблѣднѣлъ. Позже, когда я юношей плакалъ, слушая проклятiя театральнаго отца, заѣзжей труппы, мнѣ вдругъ вспомнился прощальный завтракъ и рѣчи дѣда. Онъ говорилъ, что гордость и непочтенiе къ родителямъ — грѣхъ смертный, что Богъ наказываетъ послушниковъ и въ сей и въ будущей жизни, и началъ рисовать картину страшнаго суда такими яркими красками и въ такой подробности, что она съ той минуты всецѣло засѣла въ мой головѣ, и часто, когда на меня налетѣла бессонница и жаръ обхватывалъ голову, — эти раскаленные плиты, огненные рѣки, трехглазые эфиопы съ щучьими зубами, такъ живо возставали въ моемъ воображенiи. Не первый разъ я слышалъ исторiю страшнаго суда; но никогда она не производила на меня такого впечатлѣнiя. Дѣдушка, когда былъ сердитъ и хотѣлъ напугать кого, всегда грозилъ страшнымъ судомъ. Для большаго впечатлѣнiя онъ иногда на половинѣ рѣчи останавливался, уходилъ въ кабинетъ и приносилъ оттуда большую картину страшнаго суда. — Вотъ, смотри! Не я выдумалъ, говорилъ онъ виновному и въ голосѣ его звучала такая обаятельная сила, что бабушка блѣднѣла и крестилась, я пугливо омыдывался по сторонамъ какъ-будто прося заступиться, и боясь, что вотъ-вотъ потянутъ меня лизать раскаленные плиты, за то что солгалъ, сказалъ, что не обрывалъ тарани. Только отецъ невозмутимо спокойно смотрѣлъ на дѣда, и на губахъ его мелькала странная, грустно-шутливая улыбка. Стали прощаться. Мать поцѣловала у дѣда руку и заплакала. Онъ перекрестилъ ее, поцѣ-

ловалъ въ лобъ, в лицо его судорожно искривилось. Мнѣ показалося, что ему хочется заплакать, но онъ превозмогаетъ себя. Бабушку чуть не полумертвую сняли съ шеи матери. Тарантасъ тронулся. Мать всхлипывая высунулась изъ тарантаса и махала платкомъ, пока дѣдовскій домъ не исчезъ изъ виду. Но мнѣ вдругъ стало какъ-то особенно весело.

— Мамаша, мамаша: желтинная птичка! мамаша, смотри какая лошадка маленькая!.. Что это... а? вонъ блеститъ; какіе камушки, кричалъ я въ восторгѣ, подпрыгивая въ тарантасѣ и указывая на встрѣчающіеся предметы. Свѣжимъ благодатнымъ воздухомъ повѣяло на меня. Всѣ предметы заиграли въ рововомъ свѣтѣ, хоть день былъ блѣдно сѣренькій. Мнѣ бы хотѣлось выпрыгнуть изъ тарантаса, прокатиться колесомъ по зеленому лугу, поймать кузнечика, бабочку, птичку и посадить ихъ въ тарантасъ. Но случайно встрѣтившись съ заплаканными глазами матери я вдругъ присмирѣлъ. Тяжелое чувство шевельнулось въ сердцѣ.

Въ городѣ настала новая жизнь. Всѣ какъ-будто ожили. Я не узнавалъ отца и мать. Онъ пересталъ хмуриться и лицо его раздвѣло такой широкой, добродушной улыбкой, что на душѣ становилось сладко и хорошо, когда онъ поглядѣть мягкимъ взглядомъ своихъ кроткихъ, голубыхъ глазъ. Матушка тоже встрепенулась и защелкала какъ птичка, у которой разрѣзали пути связывающія ея крылья и ножки. Ея звонкій голосокъ весело зазвучалъ въ нашемъ маленькомъ домикѣ. Съ ранняго утра она на ногахъ. Обѣгаетъ весь домъ, погреба, кухню и все напѣвая какія-то пѣсенки. Няня, няня! вшь какая мама стала! у дѣдушки она другая была! сообщалъ я нянѣ, удивленный живостью и рѣзвостью матушки, постоянно молчаливой въ домѣ дѣда. О себѣ и говорить нечего! Правда немножко жаль мнѣ было деревенскій домъ, гдѣ протекли первыя, свѣтлыя лѣта дѣтства; но меня утѣшало, что городъ отстоялъ недалеко. Тамъ бѣжалъ тотъ же тихій, синій Донъ; въ нашемъ небольшомъ домикѣ не было этой страшной печи съ Кайномъ. Суровое лицо дѣда не смущало моихъ дѣтскихъ вгрь. Съ городского вала, устѣннаго чугуными заржавленными пушками, растлалась такая необозримая безконечная даль, заканчивающаяся темноси-

ней волосой... те видѣлись кавказскія горы. А пушечный дворъ! О мой милый пушечный дворъ, никогда я тебя не забуду! Удивительная вещь дѣтство: сколько грандіозныхъ образовъ, поразившихъ насъ въ дѣтствѣ, сгладится съ лѣтами, какая бездна ядовитыхъ огорченій и свѣтлыхъ радостей забудется на долго, навсегда быть-можетъ, не оставивъ и блѣднаго слѣда, а какой-нибудь предметъ, повидимому дотога безъинтересный, что я недѣлю помнить-то его не стоитъ, всецѣло живетъ въ воспоминаніи. Засядеть въ душу такъ крѣпко, что не выживутъ его ни бури, ни грозы, ни ясные дни послѣдующихъ лѣтъ. Что было привлекательнаго въ этомъ пушечномъ дворѣ, а эажмуръ я глаза,—и вижу себя снова ребенкомъ въ холстинковой рубашечкѣ и козовыхъ башмачкахъ. Со мной Барбоска, мой неразлучный спутникъ. Вижу огромную площадь, обнесенную казармами настра-желтаго цвѣта. Площадь усыпана мелкимъ разноцвѣтнымъ щебнемъ изъ сосѣдней рѣчки. Тамъ и сямъ брилліантами блестятъ на солнышкѣ кусочки разбитыхъ стеколъ. Тяжолыя бомбарды петровскихъ временъ съ затѣйливыми цапфами, въ видѣ пачекъ, дельфиновъ, львовъ, какъ-то сердито смотрятъ съ своихъ бревенчатыхъ полусгнившихъ стоекъ; только ярко зеленый лотъ, арбаивающійся между бревнами, смягчаетъ мрачный колоритъ. Кучи ядеръ, симметрично сложенныхъ въ пирамиды, прилѣплено досыта на солнцѣ. Стая воробушковъ весело чирикаетъ перепрыгивая съ ядра на ядрышко. Веполохонныя галчата кричатъ, широко раскрывъ свои жолтинкѣ роты и высузившись голенькими шейками изъ гнѣздъ, которыхъ было много между стоекъ. А солнце такъ привѣтливо обливаешь своимъ задорно-веселымъ свѣтомъ и черепичныя крыши казармъ, и чугунныя пушки, и ядра, и меня, что чудо какъ хорошо чувствуется на сердцѣ. Въ какомъ-то сумашедшемъ экстазѣ вскопачившись верхомъ на Барбоску и въ приливѣ задорной веселости пощипываешь страшную дичь. Барбосынька, балобосынька, бабосынька, милосынька, холосынька. И развѣ ужъ на какомъ-нибудь крайне привѣтливомъ ласкательномъ вдругъ разразишься здоровымъ смѣхомъ, самому станетъ смѣшно и стыдно, а Барбосъ повернетъ свою косматую голову, жмуритъ глаза и точно смѣется, кажется хотъ-хотъ смежеть: экую брать чувшь-то ты несешь, и нестыдно жбѣ! И брать собака, а такой штуки не скажу.

— Не сердитесь балбосынька, мы впередъ будемъ умнень-

кими. Не станемъ глупостей говорить. Пойдемка искать карточекъ... Маршъ!.. и взапуски мы летимъ по двору къ ядрямъ. Перероемъ всю землю вокругъ и боже-мой сколько радости, когда отыщется заржавленная карточка. Выпросишь у мамаша корбочку, у няни изъ салона вытащишь кусокъ хлопчатой бумаги, уложишь карточку какъ мама укладываетъ свои бриантовыя серьги, и носишься съ корбочкой цѣлый день. А какое роскошное дерево шелковица стояло въ углу пушечнаго двора. Сюда подъ его зеленыя пушистыя вѣтви я прибѣгалъ съѣдать свои лакомства, которые мнѣ казались несравненно вкуснѣе и слаще, чѣмъ дома. Какъ теперь вижу: сижу я съ Машенькой подъ его широкою, прохладною тѣнью. А... Б... произносить она своимъ серебрстымъ голоскомъ, а тоненькій, бѣленькій пальчикъ, съ яркоголубыми жилками, указываетъ въ книгу. А... Б... повторяю я за ней, а самъ думаю: какая хорошенькая эта Машенька, когда улыбается и у ней на щечкахъ заиграютъ ямки. Вотъ у другихъ нѣтъ такихъ ямокъ. Ну чтоже? Б! говорить Машенька полусердито, замѣтивъ, что мои мысли далеко. Б! повторяю я, смотрю на В, и мнѣ становится ужасно смѣшно, что оно такое пузатое.

Милая Машенька! тебѣ я обязанъ, что казенное выраженіе «корень науки горекъ», не имѣло и не имѣетъ для меня никакого смысла. Легко мнѣ далась книжная мудрость. Помню какъ сильно вдругъ захотѣлось мнѣ учиться. Помню то лихорадочное нетерпѣніе, то сладкое замираніе сердца, когда я впервые перевтывалъ купленную азбуку и впивался въ эти темныя, загадочныя для меня строчки черныхъ фигуръ, называемыя граматой. А какой чудный свѣтлый былъ день, когда мнѣ купили азбуку. На бирюзовомъ небѣ ни облачка, солнышко такъ ярко играетъ, что только потянешь къ нему голову и чихнешь! и весело станеть. Мы съ Машенькой чинно рядкомъ выступаемъ впереди. За нами папа съ мамой и Петръ Герасимычъ (отецъ Машеньки). Что за чудесный, что за веселый человекъ этотъ Петръ Герасимычъ. Вѣчно у него шуточки да прибауточки. Какъ начеть бывало что рассказывать, — лицо хмурое, глазомъ не моргнетъ, а всѣ такъ и заливаются со смѣху. Чуть не каждый вечеръ бывалъ онъ у насъ — его считали за родного. Но вотъ и ярмарка показалась. Народу-то, народу — ужасъ! Шумъ, говоръ... Бабы все такія нарядныя, свитки бѣлыя какъ снѣгъ се-

ребромъ отливаются на солнцѣ; на головахъ красныя платочки, огнемъ горять... Чудо какъ весело!

— Папа мнѣ книжку купить, говорить Машенька.

— А мнѣ лошадку, говорю я, подпрыгивая отъ удовольствія.

— Ахъ Володя, какой ты смѣшной! говорить Машенька и ямочки заиграли на щечкахъ. — Право смѣшной. Такой большой и въ куклы играешь. Ты лучше попроси папу книжку купить... Вонъ Петя меньше тебя, а какъ онъ попрыгунью-стрекозу рассказываетъ.

Я вспыхнулъ отъ досады.

— Я вотъ... я... вотъ... сдѣлаю съ Петей штуку.

— Что ты съ нимъ сдѣлаешь Володя?

— Я... я... прибую его! Сказалъ я взволнованный и приобрѣлся. Вотъ дескать какой я молодець, — любуйся Машенька!

— За чтожъ ты его прибьешь, Володя?

— За то, чтобъ онъ не рассказывалъ тебѣ стрекозу. Я знаю зачѣмъ онъ рассказываетъ, я все знаю, проговорилъ я уже болѣе печальнымъ голосомъ.

— Зачѣмъ же, Володя?

— Чтобъ ты его больше меня любила, не оказалъ, а прошептала я чувствуя какъ краска стыда бросилась въ лицо.

— Какой ты смѣшной Володя!.. Ай-ай! смѣшной ты какой.

— Я захочу, я лучше его расскажу... я... я... возьму да и выучусь читать. Я Мартышку, я все выучу, я скоро, — въ одинъ день; расхвастался я.

Отецъ удивился и видимо обрадовался, когда я на ярмаркѣ рѣшительно объявилъ, что лошадки не хочу, а хочу азбуку. — Азбука куплена. Славная была азбука, съ картинками надъ каждой буквой. Самая забавная представляла какого-то господина съ растопыренными руками и шапкой на затылкѣ, что меня очень смѣшило. Подпись гласила: Р. разсѣянный. Самая внушительная гласила: Г. генераль... нарисованъ былъ какой-то господинъ съ плечами поднятыми до ушей и въ шляпѣ съ султаномъ. Такъ вотъ они какіе генералы! я задумывался надъ картинкой... Ишь какіе, славно быть генераломъ. Что я тутъ находилъ славнаго, веснаю. На другой же день я присталъ къ отцу: хочу да хочу учиться; а въ годовѣ одна мысль — постой братъ Петя, погодишь еще! Матушка показала мнѣ азбуку и я занялся горячо.

Бда нейдетъ на умъ, пущечный дворъ забыть; одно въ головѣ: какъ бы выучиться поскорѣй читать.

— И смѣшная эта Машенька какая!.. думалъ я. Петю хвалить, и за что? Второй годъ учить стрекову, выучивалъ, велика важность. Я вотъ, я... Весь вечеръ просидѣлъ я въ своей спальнѣ, распѣвая А... Б...

— Умница золотой мой! Умница! поощряла няня, штопая чулокъ и поклеывая носомъ подъ мое монотонное чтеніе.

— Няня, я теперь знаю, да боюсь какъ бы къ завтраму не забыть.

— Зачѣмъ забывать, золотой мой, не надо забывать. — Охъ мати пресвятая богородица! Няня зѣвала и крестила ротъ. А ты золотой мой, перекрести книжечку на ночь да подъ головку и положи. Ангелъ—то хранитель и сохранить въ памяти.

Какъ сказано, такъ и сдѣлано. Всю ночь мнѣ лезли въ глаза буквы. Проснулся и первая мысль не забылъ ли, — за книгу — все помню. Ахъ какая няня, все она знаетъ. Съ торжественнымъ лицомъ явился я къ матери и прочелъ азбуку. Восторгамъ конца небыло. Умница ты у меня будешь, сказалъ отецъ и погладилъ по головѣ. Ухъ, какъ хорошо на сердцѣ стало.

— Я мамаша къ Машенькѣ схожу, говорилъ я матери быстро глотая чай и чуть не давясь булкой.

— Сходи, сегодня ты умница, и мать улыбнулась.

Никогда еще я не бѣгалъ такъ быстро, какъ теперь бѣжалъ къ Машенькѣ. Книжка торчала изъ кармана.

Машенька была въ садикѣ. Какъ сумасшедшій подлетѣлъ я къ ней и вдругъ срѣзался. Она возилась у грядки вмѣстѣ съ Петей. Мое полное блаженство было нарушено. Неприятное чувство отозвалось въ душѣ.

— А, Володя!.. иди копать грядку.

— Машенька, пойдите къ калиткѣ, мнѣ вамъ нужно сказать что-то.

— Что такое? а?

Мы очутились у калитки.

— Я азбуку выучилъ, сказалъ я и вспыхнулъ.

— Ты обманываешь Володя... Всю азбуку нельзя такъ скоро выучить.

— Всю! ейбогу, хоть спросите. Вотъ и книжка, я я полезъ въ карманъ.

— Ну прочитай Володя.

— Я при Петѣ не стану. Пойдемте на пушечный.

— Пойдемъ! Ахъ какой ты умный Володя! Въ одинъ день всю азбуку выучалъ!

Мы бѣгомъ пустились черезъ площадь. А. Б. В. произносилъ я на память едва поспѣвая за Машенькой. Она заминувъ ко мнѣ головку лукаво улыбалась и летѣла какъ вѣтеръ.

Шли не долго, а жаръ мой не остывалъ. Я такъ затанулъ съ тѣнѣи по складамъ, что все остальное было забыто. Отца кажется начинала тревожить мое неестественное прилежаніе.

— Будешь тебѣ съ книгой сидѣть... Побѣгай, скажетъ онъ разе два на дню.

— Не хочется пашенька, отвѣтишь, а самъ за склады, а въ головѣ одна мысль: поскорѣй бы до стихковъ добраться, что въ концѣ книги, тогда посмотримъ, что скажетъ Петя. И начнешь считать сколько листочковъ осталось. Наконецъ настала давно желанная минута. Наканунѣ съ особеннымъ рвеніемъ выучилъ послѣднюю страничку до стиховъ. Ложась спать не разъ, а десять перекрестилъ книжечку, укладывая ее подъ подушку, и сладко заснулъ съ веселою мыслию, что завтра мама стихи дастъ учить. Просыпаюсь: въ комнатѣ какъ-то особенно свѣтло, на душѣ весело, а по всему тѣлу особенно пріятная бодрость разлита. Соскочилъ съ постели къ окну. Господи! свѣтъ, свѣтъ! запрыгалъ я какъ сумасшедшій въ восторгѣ, глядя на обширный дворъ, застланный толстой пеленой свѣга, который отливалъ серебромъ на солнцѣ.

— Кукуреку! закричалъ я, прыгая козликомъ по комнатѣ, соскочилъ на кровать и перекувырнулся черезъ голову.

— Что съ тобой? и за этимъ вопросомъ смѣхъ.

Въ комнатѣ стояла мать.

— Свѣзка Богъ послалъ мамаша, и стихи сегодня будемъ учить, проговорилъ я не много сконфуженный, оправдываясь въ своей излишней рѣзвости.

— Пора вставать, — умывайся!

— Я мамаша свѣгомъ умоюсь. Няня сказывала, кто первымъ свѣжкомъ умоется, бѣленькимъ и хорошенькимъ станетъ. А самъ водумалъ: а Петя вѣрно не знаетъ этого. Няня ему не сказывала. И въ глазахъ мелькнулъ образъ Машеньки.

Наконецъ, о радость, стихи выучены. Сама мамаша выбра-

ла, говорить умные стишки. А Петя—то умных стишковъ не знаетъ. Я виѣ себя отъ восторга. Такъ вотъ и подмываетъ меня побѣжать къ Машенькѣ и проговорить ей. А мамаша останавливаетъ, говоритъ лучше сказать ей стишки въ день рожденія, всего три дня подождать. Ахъ какіе скучные да долгіе эти три дня. Когда они пройдутъ. Господи! Наканунѣ Машенька пришла, просить у мамаша отпустить меня завтра на цѣлый день. Ухъ! какъ весело-то! Какъ бѣсъ передъ заутренней верчуся я перелъ Машенькой. Такъ бы вотъ и проговорилъ ей сейчасъ же стишки, просто терпѣнія нѣтъ. Хорошо, что она скоро ушла, а то бы не выдержать мнѣ характера. Я и заикнулся было... я, говорю, Машенька... да мамаша перебила. Но вотъ настало и утро. Я былъ въ сильномъ волненіи. Умываясь съ особымъ стараніемъ, натиралъ себѣ щеки мыломъ, такъ что няня сердито зашѣптала... Да будетъ тебѣ... эдакъ и кожу сотрешь. Умолилъ няню ваномадить меня до-нельзя. Нарядился въ новую шолковую рубашечку, и съ четверть часа разсматривалъ свою рожицу въ зеркало. Притворилъ дверь, разъ десять проговорилъ на память *умные стишки* и отправился съ няней, не забывъ взять азбуку въ карманъ. Стали всходить на крыльцо, а у меня сердце такъ и стучить.

— Ты няня меня подольше раздѣвай, — мнѣ надо въ умѣ стишки припомнить.

Наконецъ я въ залѣ. Машенька разряженная бѣжитъ навстрѣчу. Саша, Петя, Гриша всѣ на лицо.

— Машенька, я вамъ для рожденія стишки приготовилъ и не ожидая отвѣта я началъ: «Науки юношей питаютъ...» и проговорилъ всѣ.

— Ахъ Володя, какой ты умный. Какіе хорошенькіе стишки. Скажи еще Володя! И Машенька запрыгала.

Виѣ себя отъ восторга, я проговорилъ.

— Папаша, папаша! зашебетала Машенька, схвативъ меня за руку и увлекая въ гостиную. Какіе умные стишки Володя знаетъ, прелесть!

— А! гусарь—то нашъ! Молодецъ! Ну скажи, братъ, скажи! Послушаемъ, отличишься! И Петръ Герасимычъ взялъ меня за руку.

— «Науки юношей питаютъ!» Протрещалъ я съ нѣкоторымъ одушевленіемъ.

— Поэтъ ты братъ у меня! Молодецъ!

— Спасибо тебе Володя, и Машенька обняла и поцеловала меня.

Какъ я не умеръ въ этотъ день отъ восторга!

На другой день я и не заглянулъ въ книгу. Я чувствовалъ себя удовлетвореннымъ. Петя пристыженъ, Машенька меня поцеловала... Счастье полное. Цѣлые дни я на дворѣ катаюсь съ горы на салазкахъ съ Машенькой, или летаю съ Барбоской взапуски по пушечному двору. Отецъ и мать ни слова. Такъ прошла недѣля, другая и третья.

— Что братъ, Володя, вѣрно наскучило учиться, спросилъ однажды отецъ.

Мнѣ стало стыдно, и я снова съ жаромъ взялся за книжку. Учился прилежно; надоѣло снова, бросилъ и по прежнему за сѣбя и въгры. Недѣли три книгу въ глаза невидалъ. Отъ отца ни слова упрёка. Наконецъ являюсь самъ къ нему.

— Хочу учиться папа.

— Нагулялся значить, сказалъ отецъ улыбаясь. Хорошо! давай учиться.

Такимъ образомъ шли мои занятія. По утрамъ я сидѣлъ съ матерью за книгой и письмомъ, а вечеромъ за чаемъ папа рассказывалъ какіе люди на свѣтѣ живутъ, какіе звѣри и птицы, какія моря большія да глубокія. Какое большое это маленькое солнышко, которое казалось не болѣе таза изъ котораго я умывался, и который такъ блестялъ на солнышкѣ когда няня натретъ его пескомъ. И много-много о чемъ рассказывалъ папа и такъ рассказывалъ, что заслушаешься бывало.

Помню какое сильное впечатлѣніе произвелъ его рассказъ, что жидъ похожа на лимонъ. Тогда къ чаю лимонъ подали, онъ и началъ рассказывать.

— Какъ же папа! значить и надъ нами люди живутъ? спросилъ я.

Да, душенька, живутъ.

— Какъ же они держатся?

Отецъ объяснилъ насколько мнѣ могло быть понятно.

Но у меня быстро мелькнула и крѣпко зашла мысль добратъ-ся до тѣхъ людей. Всю ночь я продумалъ, а на другой день въ

голосѣ моей уже сверился планъ. Рано утромъ я обѣгалъ всѣхъ моихъ товарищей; собравъ ихъ на пушечный, я сильно-звонко-ванный объяснилъ имъ, что слышалъ отъ отца и предложилъ обратиться до тѣхъ людей, рыть яму въ углу пушечнаго, но никому ни слова. Книга снова заброшена и я цѣлые дни рою съ товарищами яму. Впрочемъ они скоро поохладѣли, я работалъ больше одинъ и въ мѣсяцъ вырылъ аршина на четыре. Отецъ узналъ какъ-то, улыбнулся и объяснилъ мнѣ всю нецѣлѣнность задуманнаго плава.

Мнѣ стало грустно и стыдно. Когда я улегся въ свою кроватку, я горько заплакалъ.

А время шло... шло.

Пройдетъ много лѣтъ, — но одинъ день изъ моего дѣтства я никогда не забуду. Это было за недѣлю до моего вступленія въ N корпусъ, о чемъ отецъ много хлопоталъ. Вечерѣло. На дворѣ разыгралась выюга, и порывистый вѣтеръ сильно билъ ставнями въ окна; но въ нашей уютной гостиной было тепло и весело. Я, мама, Машенька и Петя сидѣли за круглымъ чайнымъ столомъ. Самоваръ тонкимъ дискантомъ напѣвалъ свою монотонно-грустную пѣсенку. Мать разливала чай. Отецъ въ большихъ креслахъ передъ каминомъ читалъ газету. Я съ напряженнымъ вниманіемъ рассматривалъ подносъ для чашекъ, на голубомъ фонѣ котораго затѣйливымъ вкусомъ художника были набросаны букеты такихъ яркихъ и странныхъ цвѣтовъ, какихъ мнѣ въ природѣ не случалось встрѣчать; Петя плакалъ, чтобъ ему налили чай въ стаканъ, а не въ чашку. Въ передней раздался звонокъ и въ комнату вошелъ Петръ Герасимычъ.

— Ну, Николай Александрычъ! сказалъ онъ печальнымъ голосомъ, обращаясь къ отцу, — вашего гусара (такъ онъ называлъ всегда меня) не принимаютъ въ корпусъ.

— Отъ кого вы слышали? вскричалъ отецъ встревоженно.

— Да у меня бумага есть. И подавая отцу расечатанный конвертъ, онъ началъ какъ-то забавно-хмуриться и вдругъ расхохотался.

— Надулъ же я васъ! Надулъ... Какъ это вы Николай Александрычъ забыли, что сегодня первое апрѣля! Вѣдь первое апрѣля сегодня.

— Поздравляю, поздравляю, продолжалъ онъ дружески щипая руку отца — онъ принятъ! Неутерпѣлъ. Вижу къ вамъ

каменный конвертикъ. Выпресилъ у Анатоля Марковича, да и открылъ—съ! да—съ.

Отецъ замѣтно обрадовался. Мать понуривъ голову тихо вышла изъ комнаты, и я замѣтилъ какъ на глазахъ у ней блеснула слеза. Петя соскочилъ со стула крича: и я буду кадетъ!

Но Машенька стала надъ нимъ подтрунивать и онъ расплакался. Я торопился въ дѣтскую объявить пятнѣ, что я кадетъ, и старушка со слезами на глазахъ, слушая меня, крестилась дрожащою рукою.

Въ этотъ вечеръ мы поздно разошлись спать. Я улелся въ комнату смежную со спальней матери, но мнѣ не спалось. Дѣтское воображеніе было настроено къ мечтамъ.

Я кадетъ, я надѣваю мундиръ такой же какъ Саша (мой знакомый), а то право мнѣ стыдно въ глаза ему смотрѣть. Такой большой, а въ рубашкѣ и башмачкахъ хожу, а тамъ буду сапоги носить. Саша сапоги носить, и всѣ кадеты сапоги носить. И въ банѣ самъ буду мыться. Саша сказывалъ, что они сами моются. Онъ все смѣется, что меня няня моетъ, барышней дразнитъ. Развѣ я самъ, вѣдь это мамаша велитъ. Меня и называть—то будутъ не просто Володей, а Моховымъ, по фамилии, ухъ какъ весело-то! Вотъ только незнаю какимъ офицеромъ сдѣлаться. Саша тоже не знаетъ про себя. Въ артилеріи весело, все изъ пушекъ палить. Саша, тотъ, въ кирасиры хочетъ. Мундиръ говорить у нихъ славный, на груди доска золотая. Только, говорить; росту надо большого быть, а папа сказываетъ, что я такъ карликомъ и останусь. А что если я вырасту. Ахъ еслибы выросъ. Вотъ отецъ Афонасій сказывалъ, что онъ по семнадцатому году роста началъ. Какой онъ высокій, этотъ отецъ Афонасій, ужасъ. Что это онъ въ кирасиры не пошолъ. Развѣ юномъ лучше. А не вырасту — въ гусары пойду; у нихъ тоже славный мундиръ, такъ и блеститъ. Видѣлъ я какъ на ярмаркѣ они прѣзжали. Славные такіе. Только надо научиться колечки изъ трубки пускать. А шпоры—то у нихъ какъ колокольчики брякать, особенно когда съ барышнями разговариваютъ. И хожеть—то весело когда шпоры. На лошади верхомъ буду ѣздить. Да води! А какъ мама-то обрадуется, когда я въ гусары выйду. Я никому не скажу. Ни одному человѣку въ мірѣ не скажу. Никому не подѣлю къ крыльцу, да на пыпочкахъ и войду въ переднюю. А у насъ въ это время гости. Машенька сидитъ. Она

выросла красавица, въ розовомъ платьицѣ, которое ей шили къ нынѣшней пасхѣ. Вдругъ отворяю дверь и говорю громко: честь имѣю рекомендоваться — Владиміръ Николаичъ Моховъ, и шпорами забренчу. Ухъ! какъ обрадуется папа съ мамой. А Машенька? узнаетъ ли она меня? И мое дѣтское сердце забилося сильнѣе и на щекахъ разыгрался румянецъ.

Вдругъ мнѣ послышались рыданія, тяжолыя, удушливыя, которыя верѣдко и теперь понимаютъ со два души и будать ея прошлое. Сердце сильно забилося, какъ-будто отозвалось на этотъ вопль. На цыпочкахъ я подкрался къ дверямъ и приложилъ глазъ къ замочной скважинѣ. Передъ образомъ божіей матери теплилась лампадка; на колѣнахъ передъ нею стояла мать, и я слышалъ съ какой безпредѣльной свѣтлой любовью повторяла она мое имя. Я готовъ былъ броситься къ ней на шею и зарыдать. Но она быстро встала и въ минуту я былъ уже въ постелѣ закутанный одѣяломъ. Дверь тихо скрипнула. Я притворился спящимъ и закрылъ глаза, боясь перевести дыханіе. Матушка тихо подошла къ постели, наклонилась, поцѣловала меня въ лобъ, перекрестила и также тихо вышла. Странное, необъяснимое чувство овладѣло мной. Мнѣ было и легко и трудно, и грустно и весело въ тоже время. На глазахъ чувствовались слезы, но грудь дышала легко.

Все время до отѣзда изъ роднаго дома прошло незамѣтно. Я былъ веселъ и счастливъ, будущее рисовалась въ розовомъ свѣтѣ, но когда насталъ канувъ и начались сборы, странная лихорадочная тревога овладѣла мной. Сила привязанности къ родному очагу, къ дорогимъ друзьямъ дѣтства, громко заговорила во мнѣ. Я съ торопливой жадностью спѣшилъ насмотрѣться на все что было дорого моему сердцу, и какъ много было привязанностей. Каждый холмикъ, каждый кустикъ смотрѣли роднымъ братомъ. Какъ сумашедшій бросался я на шею матери, крѣпко обнималъ и цѣловалъ ее, бѣжалъ на кухню къ нянѣ: старушка готовила мнѣ на дорогу злобныя булочки и крендельки. Повертѣвшись передъ нею, летѣлъ на пушечный дворъ къ моимъ старымъ друзьямъ чугуныиымъ пушкамъ и нѣжно обнималъ ихъ; мнѣ казалось, что онѣ какъ будто сочувствуютъ моему грусти, понимаютъ меня. Такъ мрачно, насущившись смотрѣли онѣ на своихъ неуклюжихъ, тяжолыхъ лафетахъ; ржавчина рѣзко бросалась въ глаза. Прежде я не замѣчалъ ее. Все какъ-то

невесело смотрѣло на меня. Даже Барбоска, всегда летѣвшій ко мнѣ навстрѣчу съ поднятымъ какъ султанъ хвостомъ, тихо подошелъ, повуривъ свою косматую голову. Я крѣпко обнялъ его.

— Прощай Барбосинька, проговорилъ я сквозь слезы, и глаза мои устались съ любовью въ добрые слезистые глаза Барбоса.

— Пойдемъ купаться на рѣку, закричалъ мнѣ бѣжавшій навстрѣчу Васи. Пойдемъ, — мы бѣгомъ пустились къ Дону. Прощай Довъ! — закричалъ я со слезами въ голосъ, схватилъ камень, бросилъ неловко и сконфузился.

— Домой пора! сказала я, чувствуя, что слезы подступаютъ къ горлу, и побѣжалъ во дворъ. Мимоходомъ обхватилъ грушу, встряхнулъ ее... нѣсколько плодовъ упало на землю. Я машинально положилъ ихъ въ карманъ и бросился къ отцу въ кабинетъ.

— Завтра меня не будегъ! Кричали мнѣ стѣны, двери, окна. Кричалъ какой-то голосъ въ моемъ сердцѣ. Кричалъ воздухъ. Кричало все во мнѣ, и вокругъ меня, заставляя сердце болѣзненно ёкать.

Вечеромъ пришла Машенька. Безотчетная веселость снова овладѣла мной. Мы бѣгали, шалили, болтали безъ умолку. Я забылъ о моемъ горѣ. Наконецъ утомленные усѣлись мы на кровать въ дѣтской и замолчали. Такъ прошло минуты двѣ.

— Ты завтра ѣдешь, Володя! сказала Машенька и вздохнула.

Какъ ножомъ кольнуло меня въ сердце. Мнѣ вспомнились и завтрашній день, и разлука съ Машенькой, съ папой и мамой.

— Да! хотѣлъ я проговорить, силясь удержать слезы, которые подступали къ горлу, — не превозмогъ себя и зарыдалъ.

— Цеплячь, Володя! стала меня успокаивать встревоженная Машенька и обвила своей ручкой мою шею. Но горе еще сильнѣе заговорило во мнѣ. Я зарыдалъ какъ безумный, долго рыдалъ, до того, что утомленный и измученный заснулъ, вздрагивая и плача во снѣ.

Настали проводы. Мной овладѣло лихорадочное безпокойство. Въ головѣ я чувствовалъ жаръ, слезы такъ и душили. Стали служить молебень; я смутно понималъ, что происходитъ во-

кругъ меня. Отецъ Мериновъ, рыжій дьяконъ съ паникадиломъ въ рукахъ, няня кладущая земные поклоны у порога : все это мелькало въ моихъ засланныхъ слезами глазахъ какими-то сѣрыми безжизненными пятнами. Монотонное чтеніе дьячка, тихія всхлипыванія матери, повременамъ позвякивающій на дворѣ колокольчикъ, все это сливалось въ одинъ странный смутный голосъ, падающій прямо на душу.

Кончили и молебнѣ. По русскому обычаю всѣ разсѣлись по стульямъ. Матушка, держа меня за руку, неспускала съ меня заплаканныхъ глазъ. Настала та тихая, сдержанная тишина, по которой говорятъ : тахій ангелъ пролетѣлъ.

Ну беже благослови, прозвучала дрожащій голосъ отца.

Всѣ встали, и стали молиться.

II

Сильно забилося мое сердце, какъ я съ дядькою Сидорычемъ сталъ подходить къ огромному двух-этажному дому. Непривѣтливо выглядывали его изжелта-грязныя стѣны, массивное неуклюжее крыльцо и черная доска съ крупной надписью жолтыми, порыжѣлыми отъ времени литерами. Холодная дрожь пробѣжала по спинѣ, когда тяжелая дверь съ шумомъ захлопнулась за нами и мы очутились въ мрачномъ длинномъ коридорѣ. Холодомъ и сыростью обдало насъ. Вокругъ мертвая тишина, только огромныя стѣнные часы мѣрно выстукиваютъ секунды. И столько тоски въ этомъ однообразномъ монотонномъ ту-тукъ-ту-тукъ, что каждый звукъ стрѣдой бьетъ въ сердце. Мнѣ стало жутко. Я пугливо понурилъ голову, подвинулся поближе къ Сидорычу и даже слегка схватился за полу его кафтана.

Вдругъ на противоположномъ концѣ коридора, какъ изъ земли выросла высокая худощавая фигура и стала медленно приближаться къ намъ.

— Поклонитесь батинька Володинька. Должно быть набольшій, шепнулъ Сидорычъ.

Я неловко поклонился не поднимая глазъ.

— Барченка привезъ. Николая Александрыча сынокъ, сказалъ Сидорычъ и отвѣсилъ поклонъ въ поясъ.

— Какъ васъ зовутъ? прозвенѣлъ въ моихъ ухахъ внезапный дискантъ, пронзительный какъ колокольчикъ.

— Володя, отвѣчалъ я, еще не смѣя поднять глазъ, а самъ подумалъ, какой у него свѣшной голосъ, точно у дьячка Вавилыча, и худой такой же, а вдругъ въ моихъ глазахъ мелькнула городская площадь, облитая яркою, молодою зеленью, передъ домами насажены березки, въ окнахъ цѣфты. Солнышко такое ясное и же переливается, точно шумитъ. Въ воздухѣ чудно пахнетъ. Сейчасъ видно, что троицынъ день. Отецъ Мериновъ идетъ по площади, въ новомъ облаченіи, кресты такъ и горятъ на солнцѣ. За нимъ пѣвчіе и дьячекъ Вавила съ панкадиломъ, а по бокамъ Вавилы, скачутъ на одной ножкѣ мальчишка съ зелеными вѣтками березы въ рукахъ и показываютъ Вавилѣ языкъ... Вавило сердится, грозитъ панкадиломъ.

Вдругъ визгливый голосъ ударилъ меня въ самое ухо. Я вздрогнулъ и опомнился.

— У насъ по именамъ не зовутъ, — какъ ваша фамилія?

— Владиміръ Николаичъ Моховъ, барина Николая Александрыча сыночекъ, проговорилъ низко кланаясь Сидорычъ.

— Моховъ! Хм! — Ступайте за мной.

Я бросилъ умоляющій взглядъ на Сидорыча, вызывая его не покидать меня, и не трогаясь съ мѣста.

— Идите же! а ты ступай, звонко крикнулъ худощавый и зашагалъ по коридору. Я едва успѣвалъ за нимъ, а сердце такъ и стучитъ

На концѣ коридора онъ отвернулъ дверь направо, и мы очутились въ большой свѣтлой комнатѣ. Я повеселѣлъ въ мгновенье. Сквозь огромныя окна солнце обливало яркимъ свѣтомъ комнату и всѣ предметы, которые въ солнечныхъ лучахъ высматривали отчетливо, весело. Игрушекъ—то сколько! чуть не всиричалъ я, взглянувъ на огромные шкафы красного дерева, за бѣлыми стеклами которыхъ красовались на полкахъ чистенькія модели, свѣтлыя какъ зеркальное стеклышко, физическіе и химическіе аппараты. Ни одного пятнышка, ни одной пылинки. Въ другихъ шкапахъ стройно, рядкомъ стояли книги въ безукоризненно свѣжкихъ переплетахъ. Ишь какъ хорошо у нихъ! подумалъ я. Книжечки—то какъ солдаты выровнены. И мысль мгновенно перенеслась на пунечный дворъ, и стоять на томъ дворѣ солда-

тки и въ ушахъ звучить голосъ: маршъ! и маршируютъ солдатики, барабанъ, трахъ-тарарахъ-тахъ.

— Иди же ко мнѣ, чего заглядѣлся, разбудилъ меня хриплымъ непріятнымъ голосъ. Я вытаращилъ глаза и тутъ только замѣтилъ по срединѣ комнаты огромный столъ, покрытый краснымъ сукномъ, а за столомъ въ креслахъ сѣденыи старичокъ.

Я трусливо подошелъ къ нему не подымая глазъ. Впрочемъ рискнулъ искоса взглянуть на столъ: хорошенькая чернилица съ песочницей, ножичекъ, перья и все это разложено въ такомъ порядкѣ, что весело смотрѣть.

— Ишь какъ хорошо все у нихъ, опять подумалъ я.

Старичокъ завертѣлся на креслѣ.

— Читать умѣешь? спросилъ онъ сердито.

— Умѣю.

— Азъ-буки да и сѣлъ. Много васъ тутъ болвановъ присылаютъ, аза въ глаза не знаете, послѣ и возись. А который годъ тебѣ?

Я вспыхнулъ.

— Господи, господи! произнесъ я мысленно съ отчаяніемъ, что я скажу ему, вѣдь я незнаю который мнѣ годъ.

— Ну чтожъ молчишь. Старичка начало подергивать.

— Я незнаю! Едва выговорилъ я, и почувствовалъ какъ кровь бросилась въ голову.

— Экой оселъ! и старичекъ подпрыгнулъ на стулѣ.

Слезы навернулись у меня на глазахъ, во рту стало горько.

— Мало сѣкли тебя дома. Ну, говори же! мало сѣкли? А? мало? и онъ поднялся съ кресла.

— Меня никогда не сѣкли, проговорилъ я дрожащимъ голосомъ, чувствуя себя глубоко оскорбленнымъ.

— О! да ты и разговаривать умѣешь. Ну такъ мы тебя будемъ сѣчь. Смотри у меня! Смотри! Отведите его въ приготовительный.

Ишь какой сердитый. И за что онъ ругается, горько раздумывалъ я поспѣвая за худощавымъ. Мы очутились у стеклянныхъ дверей, надъ которыми на огромной доскѣ, красовалась курсивомъ надпись: «Приготовительный.»

Съ трепетнымъ бивеніемъ сердца, переступилъ я порогъ класса, на половину заставленного скамейками, за которыми торчали бѣлыя, черныя, рыжія головы учениковъ. При входѣ моемъ

всѣ они, какъ бы по магическому знаку перевернулись въ мою сторону и стали разсматривать съ любопытствомъ. Робко усялся я на скамейку и неподвижно уставилъ глазъ на кафедру съ учителемъ, несмѣя не только пошевелиться, но и свободно вздохнуть грудью, которую душили слезы. Я чувствовалъ какъ они подступали къ горлу и готовы были разразиться горькими рыданиями, но я крѣпился. Въ головѣ чувствовалъ жаръ, въ рукахъ и ногахъ дрожь, и какую-то не то неловкость, не то робость во всемъ существѣ. Не прошло и десяти минутъ какъ раздался визгливый колокольчикъ. Я вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ и совершенно одурѣлъ. Свистъ, крикъ, гамъ наполнили всю комнату. Я пугливо поднялъ глаза и увидѣлъ себя окруженнымъ цѣлой толпой одноклассниковъ. Минута — и сильный щелчокъ въ голову заставлялъ меня вскрикнуть отъ боли. Совершенно растерянный, обезкураженный я заревѣлъ.

— Плакса! Плакса! Раздалось со всѣхъ сторонъ и частые толчки посыпались на меня.

— Что братъ, вкусно? кричалъ какой-то карапузикъ, прыгая передо мной съ высунутымъ языкомъ, кривляясь и дразня.

— Постой, братъ, мы еще не поздравили тебя. Давай я поздравлю, провозгласилъ рыженькій мальчикъ, засучивъ рукава и входя ко мнѣ.

— Поздравь, поздравь! Раздались со всѣхъ сторонъ.

У меня сердце замерло отъ страху; колѣни дрожали.

Разъ-два-три, торжественно произнесъ рыженькій, и неожиданно влепилъ большимъ пальцемъ натяжной щелчокъ въ лобъ.

— Я заревѣлъ какъ рѣзанный.

— Реви, братъ! жалуйся! не боимся. Сегодня Карпъ Карпычъ дежурнымъ. Онъ не любитъ плаксъ, да вотъ онъ идетъ!

Дѣйствительно въ комнату вошелъ Карпъ Карпычъ, плотный мужчина, съ безцвѣтно добродушной физиономіей.

— Что, братишки, новичка уму-разуму учите, хе-хе-хе! а? И онъ залился добродушно глупѣйшимъ хохотомъ.

— Учимъ! бойко отвѣчалъ одинъ голосъ, и отвѣтъ сопровождался общимъ, нѣсколько сдержаннымъ смѣхомъ.

— Молодцы! Хе-хе-хе... А ты ужъ и разревился, обратился онъ ко мнѣ. Какой же ты кадетъ послѣ того. Это, братище, мужиченки на улицѣ плачутъ, когда имъ тетка калача недаетъ, хе-хе-хе, али козны всѣ оберуть. Эхъ ты, баба плаксивая!..

И тихо посмѣиваясь онъ вышелъ изъ класса.

— Баба, баба! закричали мальчишки, прыгая вокругъ меня и высовывая языкъ.

— Господа! Коркинъ идетъ! закричалъ карапузикъ, обѣгая въ классъ, и отъ усталости едва переводя дыханіе.

Всѣ отхлынули отъ меня. Въ классъ вошелъ рослый коренастый воспитанникъ, съ сильно развитой грудью, широкоплечій, здоровый. Онъ брелъ нога за ногу, переваливаясь изъ стороны въ сторону и поминутно взбивая рукой густые черные волосы.

— Кто ревѣлъ?.. спросилъ онъ такимъ голосомъ, что я оторопѣлъ.

— Новенькій! запищалъ карапузикъ и указалъ на меня пальцемъ.

Коркинъ подошелъ ко мнѣ, взялъ за кисть руки и произнесъ отрывисто: «лупку задали?»

Я заплакалъ.

— Есть у тебя гостинцы?

— Есть, проговорилъ я всхлипывая.

— Давай, заступаюсь.

Рыдая полѣзъ я въ карманъ, вытащилъ горсть конфетъ и подалъ Коркину.

— Кто его билъ? а? рявкнулъ Коркинъ обращаясь къ классу.

— Батуринъ билъ! подсказалъ карапузикъ, подбѣгая къ Коркину.

— За наушничество вотъ тебѣ! и Коркинъ отвѣсилъ карапузику тумакъ.

— Выходи, Батуринъ!

Батуринъ, рыженькій мальчикъ, жался за послѣдней скамейкой къ стѣнѣ.

— Эйбогу, Коркинъ, я пальцемъ не трогалъ.

— Выходи! Хуже будетъ коли самъ подойду.

Состроивъ плаксивую физиономію и ёжась Батуринъ медленно подошелъ. Коркинъ съ невозмутимымъ спокойствіемъ взялъ его за руку и какъ-то ловко повернувъ его, заставилъ Батурина противъ воли подставить свою спину. Три полновѣсныхъ удара раздались по классу, — у Батурина навернулись слезы, но онъ перенесъ казнь стоически; даже не крикнулъ.

— Это на первый разъ кротко обхожусь съ тобой! Смотри у меня, обратился онъ къ классу; только пальцемъ троньте его,

— руки и ноги выламываю. И Коржинъ съ полнымъ сознаниемъ своей силы вышелъ ровными шагами изъ класса.

Я былъ какъ въ чаду, смутно понимая что творится вокругъ меня. Въ головѣ ни одной мысли, — на сердцѣ безотчетная тоска, — въ ушахъ шумъ и звонъ. Какъ прикованный къ скамьѣ сидѣлъ я, нешевелясь и безцѣльно смотрѣлъ на уголь печи. Смотрѣлъ часть, другой, третій... все смотрѣлъ, и ничего не видѣлъ. Прозвонилъ колокольчикъ къ обѣду. Кто-то толкнулъ меня и указалъ мѣсто; машинально поднялся я со скамьи, машинально усялся за столъ, машинально ѣлъ все что мнѣ подавали, не чувствуя ни вкуса, ни запаха. Кончился обѣдъ, пошли по классамъ, и я пошелъ. Поднялся шумъ, говоръ, смѣхъ... а я опять на своей скамьѣ, уставился глазами въ уголь печи — и въ головѣ все такъ же пусто, безотчетно пусто; а на сердце точно камень. Пришелъ учитель; началъ что-то рассказывать. Говорилъ долго, очень долго, я ни слова не понималъ. Долетали до уха какіе-то звуки, лишонные всякаго человѣческаго смысла. Кончивъ рассказъ, спросилъ что-то меня, незнаю что я отвѣчалъ, но всѣ засмѣялись; учитель тоже засмѣялся. Надъ чѣмъ они смѣются? мелькнула у меня мысль, но на половинѣ вопроса она вдругъ улетучилась, разлетѣлась какъ дымъ. А въ головѣ все тотъ же звонъ и шумъ. Кончился классъ; всѣ бросились въ коридоръ. Я тоже всталъ, подошелъ къ печкѣ и сталъ отколупывать штукатурку. Зачѣмъ я это дѣлалъ, самъ незнаю. Стою, колупаю, а голова, руки, ноги какъ не мои. Одна только мысль смутно бродитъ въ омраченной головѣ — «ишь какъ штукатурка отстаетъ.»

— Моховъ! раздался сзади меня голосъ. Я вздрогнулъ и опомнился. Передо мной стоялъ высокій воспитанникъ, бѣлокурый со свѣтлоголубыми глазами.

— Къ вамъ пришли! Ступайте въ буфетную.

— Гдѣ? гдѣ?.. Проговорилъ я въ сильномъ волненіи.

Онъ ласково посмотрѣлъ на меня и взялъ за руку.

— Пойдемте, я провожу... да что вы дрожите такъ... говорилъ онъ ведя меня по коридору.

— Кто къ Мохову? спросилъ онъ, когда мы вошли въ большую комнату, биткомъ набитую кадетами. Кто пилъ чай, кто ѣлъ булку... Шумъ, говоръ страшный.

— Владиміръ Николаичъ, батюшка! раздался знакомый мнѣ голосъ Сидорыча.

Черезъ минуту я уже висѣлъ у него на шеѣ и плакалъ. Тутъ-то полилась моя горькая жалоба на новую жизнь. Какъ ребенокъ рыдалъ я умоляя Сидорыча взять меня изъ противнаго корпуса. Крѣпко обнималъ я его шею, и цѣловалъ сѣдые зеленоватые усы. Странная вещь: до этого часа я нечувствовалъ къ Сидорычу особой привязанности, но въ эту минуту онъ сталъ дорогъ мнѣ; на него перелились всѣ мои горячія симпатіи, оставленныя въ родимомъ городѣ. Въ лицѣ его, я обнималъ все близкое моему сердцу, которое вдругъ ярко озарилось въ моей душѣ, при взглядѣ на Сидорыча, и еще сильнѣй заставило оцѣнить всю великую важность утраты. Не мало нужно было Сидорычу истратить времени и умныхъ, добродушныхъ рѣчей, чтобъ успокоить мое волненіе. Я дѣйствительно стихъ, повеселѣлъ; даже не безъ удовольствія сталъ запрятывать въ карманъ сладкіе пирожки и пряники, которые еще за часъ казались мнѣ противными. Сидорычъ далъ слово побывать завтра въ этотъ же часъ, и мы дружески весело разстались.

Не успѣла еще затвориться за нимъ дверь, какъ передо мной какъ изъ земли выросъ Коркинъ.

— Что тебѣ принесли? покажи! Съ этимъ вопросомъ онъ безцеремонно полѣзъ въ мой карманъ, вытащилъ оттуда лакомства, отдѣлилъ себѣ порядочную часть, остальные снова положилъ въ мой карманъ и прибавилъ въ видѣ нравоученія: «Смотри, братъ, клянчить стануть, не давай! себѣ побереги!» Такая безцеремонность не удивила и неогорчила меня. Свиданіе съ Сидорычемъ такъ умиротворило мою встревоженную душу, я чувствовалъ такой приливъ нѣжности въ сердцѣ, что поступокъ Коркина мнѣ показался не лишоннымъ даже своего рода прелестью... Въ его безцеремонности мнѣ показалось даже что-то дружески-родственное. Ишь какъ онъ распоряжается. Славный какой! подумалъ я. Что мнѣ тутъ показалось славнаго, право не понимаю. Бодро шолъ я въ классъ въ подпрыжку и встрѣтился съ блондиномъ. Онъ стоялъ заложивъ руки за спину и прислонясь плечомъ къ двери. Какое-то сладкое ощущеніе почувствовалъ я въ моей груди, когда мои глаза встрѣтились съ добрымъ симпатичнымъ взглядомъ его темногубыхъ глазъ. Какая-то сила толкала меня къ нему. Мнѣ хотѣлось бы прила-

статься, сказать ему какъ онъ мнѣ нравится... хотя и самъ незнаю за что. Я подошолъ къ нему и протянулъ горсть конфетъ.

— Хотите конфетокъ?

Блондинъ улыбнулся какъ-то особенно хорошо.

— Нѣтъ, душенька; кушайте сами. Я не ѣмъ конфетъ.

Мнѣ стало грустно.

— Возьмите! сказалъ я просящимъ голосомъ, — у меня вѣдь еще есть, и я ударилъ по карману.

Онъ взялъ одну конфетку, хотѣлъ что-то сказать, уже и ротъ открылъ, но вдругъ отвернулся и быстро зашагалъ отъ меня.

Я отправился въ класъ, усѣлся на скамейку и развернулъ книгу. «Поучу-ка немножко, задумалъ я; но воображеніе, настроенное недавнимъ свиданіемъ съ Сидорычемъ, оторвало меня отъ книги и унесло далеко, къ покинутому родному дому. Передъ глазами беспорядочно, безсвязно замелькали знакомыя лица, тысячу вопросовъ закопошились въ головѣ. Что теперь наши дѣлаютъ? Папа съ мамой чай теперь пьютъ, а няня вѣрно ва кухнѣ сказку рассказываетъ. Какую она сказку рассказываетъ? вѣрно о «Жарь-птицѣ»; это самая хорошая сказка... Вотъ еще о «мертвой царевнѣ» — тоже хорошо. Можетъ у насъ Машенька въ гостяхъ? нѣтъ, я думаю она дома... вѣрно у нихъ Петя и она съ нимъ играетъ. Радъ я думаю онъ, что меня нѣтъ. Злость кольнула меня въ сердце. Скоро изъ пушекъ стануть стрѣлять. Ахъ, какъ весело-то тамъ будетъ. Замечтавшись я не замѣтилъ какъ миновалъ вечеръ, и насъ повели наверхъ въ дортуары... Всѣ разбѣлись на группы; пошли толки, рассказы, споры. Я потихоньку пробрался на свою койку, усѣлся на нее, свѣсилъ ноги, и побалтывая ими, снова замечталъ... Улеглись спать. Закутался я въ одѣяло, закрылъ глаза, а милые, дорогіе образы какъ живые передо мной: неотвязно смотрятъ мнѣ въ глаза, немолчно ведутъ со мной тихую бесѣду; слышитъ ухо и тихій старушечій шопотъ няни, и легкій всплескъ волнъ синяго Дона, и пушечный выстрѣлъ, а передъ глазами мелькаетъ: то страшная печь дѣдовскаго дома, то пушечный дворъ съ его чугунными тяжелыми орудіями и соблазнительными гнѣздами галчатъ, то большой зеленый лугъ съ ярко-пестрѣющими цвѣтами и кустами черемухи и мелькаетъ между кустами розовое платице Машеньки.

Непомню какъ, убаюканный свѣтлыми грезами, заснулъ я; но не на долго... Страшный ревъ зазвучалъ надъ моею головою. Я вскочилъ какъ сумашедшій; мнѣ казалось, что стѣны падаютъ. Пронзительные, страшные звуки не затихали. Встрепетанный, испуганный я задрожалъ какъ въ лихорадкѣ и заплакалъ.

Раздался хохотъ.

— Ишь какъ тебя, братъ, шарахнуло... Хе-хе-хе... Ну, братъ, Капустенко, сыграйка полечку, — развесели молодца.

Я увидѣлъ на срединѣ комнаты Карпъ Карпычъ. Онъ стоялъ подбоченясь и заливался самымъ добродушѣйшимъ смѣхомъ. Передъ нимъ трубачъ Капустенко издавалъ неистовые звуки на сигнальной трубѣ. Въ окна смотрѣла темная ночь, и только на востокѣ блѣблалась блѣдная полоса. Лампы горѣли блѣднымъ неприятнымъ свѣтомъ, то вспыхивая, то потухая, какъ будто бы имъ тоже недали выспаться и разбудили. У дверей доульвивалъ въ ночникъ фитиль догорѣвшей свѣчи, и легкій чадъ наполнялъ комнату. У печи источникъ сваливалъ съ плечъ вязанку дровъ, и они съ шумомъ катились по полу. Всѣ сидѣли на койкахъ какъ полоумные, громко позевывая и протирая глаза. Мнѣ стало невыносимо тяжело и грустно.

— Ну, братишки! Нечего нѣжиться, подымайся, а то холодной водой окачу.

И Карпъ Карпычъ залился смѣхомъ; на какой-то койкѣ кто-то вторилъ ему, но такъ неловко, искусственно, сонно, что скверно было слушать. Всѣ стали подвигаться... Я чуть не плакалъ отъ тоски и досады, что невыспался. Сонный, одурѣлый сошелъ я внизъ, сонный просидѣлъ весь день до прихода Сидорыча.

Такъ, или почти такъ потянулись для меня безконечно долгіе, томительные дни. Тоска по роднымъ сосала мое сердце. Я до того ушелъ въ свое горе, до того зажилъ имъ, что все вокругъ меня ступсывалось въ одно сѣрое безжизненное пятно, на которое я смотрѣлъ мутными, заплаканными глазами. Уроки, товарищи, наставники безразлично мелькали передъ моими глазами, неоставляя и тѣни впечатлѣнія. Надъ книгой я иногда просиживалъ по цѣлымъ часамъ неотрывая глазъ отъ строкъ; но мысли неслись далеко, и буква оставалась мертвой буквой. Въ рассказѣ учителя мнѣ слышались только рѣзкіе звуки, неприятно дѣйствующіе на нервы; но звуки оставались звуками, лишон-

ными всякого человеческого смысла. Кромѣ немногихъ вечернихъ минутъ, когда воображеніе увосило меня къ милому прошлому, я остальное время жилъ жизнью автомата. Прикажутъ встать — встану; сѣсть — сяду; взять книгу — возьму; но въ головѣ ни капли сознанія что я дѣлаю. Какъ-будто я самъ и все окружающее меня принадлежало другому міру, очень далекому, гдѣ-то за тридевять земель, а не передъ моимъ носомъ.

Такое болѣзненное состояніе мальчика естественно немогло остаться незамѣченнымъ. И его замѣтили; но какъ? Надобно сказать, что воспитатели почти всѣ принадлежали къ непосредственнымъ, пѣлымъ натурамъ, какъ прозвала ихъ литература. Къ каждому жизненному явленію они относятся прямо и смѣло, безъ особой подготовки, безъ предварительнаго анализа. Для такихъ людей дорогъ фактъ, дорогъ субъектъ въ моментъ его разсматриванія, а что подготовило фактъ, что лежитъ въ основаніи явленія — имъ и дѣла нѣтъ, это посторонній вопросъ, это философія, это пожалуй еще что-нибудь хуже. Я цѣлые дни сидѣлъ хныча на своей скамьѣ, ни слова не отвѣчая на милыя замѣчанія вродѣ: «болванъ, чего хнычешь? учишь плакса!» И воспитатели не долго думая рѣшили, что я лѣнтяй и идиотъ. Все это естественно уяснилось мнѣ послѣ. Тогда я смутно понималъ ихъ казенную брань и угрозы. Я чувствовалъ одно: что я заброшенъ, я чужой всѣмъ, и мнѣ всѣ чужіе... Ни слова утѣшенія, ни одного ласковаго взгляда. На меня смотрѣли какъ на казенную вещь, смотрѣли казенными сердцами, какъ-будто я и вправду чужой имъ. Какъ-будто ни у кого изъ нихъ не было дѣтства. Память ли ихъ, сердечная ли плева загрубѣла... Богъ имъ судья! Одинъ человекъ пыталъ-было утѣшить меня: то былъ блондинъ. Не голосъ его при этомъ такъ грустно дрожалъ, и большіе голубые глаза послѣднее время смотрѣли такъ печально, что мнѣ становилось еще тяжелѣй. Не знаю, что случилось бы со мной, еслибы не одно обстоятельство, которое разбудило меня изъ самозаключеннаго гореванія, заставило сознательно оглянуться на себя и другихъ, и сначала хоть не смѣло приподнять доселѣ повуренную голову. Случилось это такъ:

Въ одинъ изъ утреннихъ классовъ, когда я по обыкновенію бессмысленно глядѣлъ на учителя, смутно понимая о чемъ идетъ рѣчь, по классу пробѣжалъ легкій, веселый шопотъ: «Патрикѣвъ выздоровѣлъ», и всѣ головы быстро повернулись къ дверямъ.

За стеклянной дверью стоялъ какой-то господинъ. Рассмотрѣть было трудно. Онъ постоялъ съ минуту и отошелъ. Я оглянулся на клась и мнѣ невольно бросилось въ глаза, что у всѣхъ лица сіяли такимъ полнымъ удовольствіемъ, какимъ только могутъ сіять дѣтскія лица, у которыхъ зеркало души еще не позакоптилось, чисто, свѣтло и вѣрно отражаетъ всѣ ея впечатлѣнія. Клась кончился по обыкновенію шумно. Вдругъ входитъ бѣлокурый и говоритъ: «господа, Александръ Васильичъ проситъ потише, онъ не совсѣмъ здоровъ». Всѣ стихли, и шумъ не возобновлялся даже по уходѣ бѣлокураго. Это меня удивило. Каждый день я слышалъ по сту напоминаній не шумѣть, и всѣ они имѣли дѣйствіе на двѣ-три минуты. Теперь же всѣ тихо разбрелись въ кружки и скромно разговаривали. Только одинъ рыженый карапузикъ видимо не могъ одолѣть своей коалиной рѣзвости, запрыгалъ на одной ногѣ, и вдругъ прокатился колесомъ, громко прокричалъ «кукарику»! Всегда эта штука возбуждала всеобщее удовольствіе и смѣхъ, — на этотъ разъ случилось не такъ. Къ нему подошло нѣсколько человѣкъ.

— Безстыжая твоя рожа, сказалъ одинъ изъ нихъ. Ты не слышалъ, что Александръ Васильичъ болѣнъ... безсовѣстный ты человѣкъ...

— Ейбогу не зналъ... я не буду... проговорилъ совершенно сконфуженный карапузикъ и стихъ.

Все это удивило меня, удивило и то, когда прозвенѣлъ колокольчикъ. Всѣ разбрелись по мѣстамъ тихо, безъ крику, шума и прыганья черезъ скамейки. Въ это время въ дверяхъ показался высокаго роста черноволосый мужчина. Онъ былъ очень блѣденъ. Въ выраженіяхъ лица, движеніяхъ, походкѣ, проглядывало сильное утомленіе до болѣзненности; только большіе каріе глаза смотрѣли свѣтло и спокойно. Взглядъ ихъ былъ тихъ, глубокъ, съ легкимъ оттѣнкомъ нето грусти, нето болѣзненной истомы. Какъ теперь я вижу передъ собой эти чудные глаза.

— Здравствуйте господа, сказалъ онъ тихо, входя въ клась. И такъ сказалъ, такимъ добрымъ, мягкимъ голосомъ, что у меня какъ-будто просвѣтлѣло на сердцѣ.

— Здравствуйте, Александръ Васильичъ, прозвучало въ отвѣтъ. Какъ ваше здоровье, — спросили нѣкоторые, — какъ мы соскучились безъ васъ. Много искренности звучало въ этихъ словахъ. Совсѣмъ не такъ, какъ съ другими здороваются, подумалъ

я. Такъ-то лучше, а то такъ и оборвутъ : здравія желаемъ, — точно барабанъ, по которому насъ обѣдаютъ водятъ.

Рядомъ съ Патрикѣевымъ шолъ блондинъ, онъ былъ веселъ и все улыбался.

— Вотъ новички, Александръ Васильичъ, сказалъ онъ указывая на наши скамьи.

Патрикѣевъ поочередно сталъ подходить къ каждому, долго и внимательно спрашивалъ о родныхъ, чему кто учился и т. п., не сводя съ новичка своего тихаго, глубокаго взгляда. Дошла очередь до меня. Я почувствовалъ робость и невольно опустилъ глаза подъ его испытующимъ, долгимъ взглядомъ.

— Вы все скучаете, Моховъ, и неучитесь. — И легкая тѣнь пробѣжала по его лицу.

Онъ замолчалъ на минуту, я тоже молчалъ. Пойдите со мной, мнѣ надобно съ вами поговорить. Я струсилъ и не трогался съ мѣста. — Пойдите мой другъ, и онъ взялъ меня за руку. Мы прошли въ коридоръ и вошли въ небольшую комнату. Патрикѣевъ притворилъ дверь и опустился на диванъ. Я стоялъ передъ нимъ какъ на угольяхъ, опустивъ голову и переминаясь съ ноги на ногу.

— Послушайте Моховъ! Вы совсѣмъ не учитесь. Я видѣлъ ваши отиѣтки. Говорятъ, вы все плачете... о чемъ вы плачете, а? Есть у васъ папенька и маменька?

— Есть! глухо отвѣчалъ я.

— Такъ о чемъ же вы плачете? Вѣдь вы ихъ не любите! папеньку и маменьку... Вы вѣрно объ игрушкахъ плачете?... За что вы не любите маменьки? Вѣрно она недобрая, часто наказывала васъ, а? За это вы ея не любите?

Я невольно поднялъ голову и вытаращилъ на него удивленные глаза.

— Я люблю ихъ, проговорилъ я смущеннымъ голосомъ.

— А я думалъ, что вы не любите ихъ. Да нѣтъ, вы нарочно говорите, что любите. Вы не любите; нѣтъ не любите, проговорилъ онъ такимъ грустнымъ, кроткимъ голосомъ, что сердце у меня замерло. Еслибъ вы любили, вы не захотѣли бы огорчать ее. Вамъ вѣдь не жалко маменьки, когда она плачетъ. Вамъ все равно. Ну, скажите, жалко вамъ ее?

— Я люблю, едва выговорилъ я, и слезы градомъ хлынули изъ глазъ.

— Ну простите, сказалъ Патрикѣевъ : — теперь я вижу, что вы ее любите!.. Вы такъ говорите, что я не смѣю вамъ неувѣрить. Но зачѣмъ же вы огорчаете ее. Любите, а огорчаете; странный вы мальчикъ. Вы совсѣмъ не учитесь! Если ваша мамаша узнаетъ объ этомъ, она будетъ печалиться, плакать станетъ. А развѣ вамъ не тяжело огорчать ее. Я по себѣ знаю. Я люблю свою мать и дѣлаю все, чтобъ веселить, радовать ее, а не огорчать. А вы-то что дѣлаете!.. Совсѣмъ не хотите учиться. Вы хотите учиться?

— Я хочу; но я не могу, не умѣю.

— Это, мой другъ, оттого вамъ такъ кажется, что вы все тоскуете да плачете. Тосковать грѣшно... Вы молитесь Богу?

При этомъ вопросѣ я совершенно смѣшался и покраснѣлъ.

— Вы покраснѣли! Видите, вы такъ печалитесь, что и Богу забыли молиться, а вѣрно дома молились каждое утро и каждый вечеръ. Оттого-то вы такъ и грустите. А вы молитесь каждый вечеръ, усердно молитесь, — и на душѣ станетъ легче, и уроки будутъ легко учиться. Вы думаете, учиться трудно. Ахъ, какъ легко-то; особенно умному мальчику. А вы умный мальчикъ, я по глазамъ вижу. Станете учиться, — каждый день будете узнавать что-нибудь новое, вѣдь это чудо какъ весело. Ну скажите! не хорошо ли знать все, что дѣлается на свѣтѣ?

И рѣчь Патрикѣева полилась потокомъ. Онъ говорилъ съ такой искренностью, ясностью и простотой, съ такимъ душевнымъ тепломъ о томъ, какъ легко учиться, какъ хорошо и пріятно знать много, много, знать все, что творится на божьемъ свѣтѣ, что чудо какъ весело было его слушать. Въ словахъ его жила какая-то обаятельная сила, она какъ-будто поднимала меня. Я чувствовалъ, что со мной совершается нравственный переворотъ, я расту, выпрямляюсь и дѣлаюсь другимъ. А между тѣмъ слезы сами лились изъ глазъ, я не могъ ихъ остановить и чувствовалъ, что на душѣ становится легче, а въ головѣ свѣжѣе. Это не была схоластическая проповѣдь холоднаго педагога, какихъ немало выпало на мою долю выслушать впоследствии. Это не было и отеческое увѣщаніе по обязанности, гдѣ сквозь наизъявленное поддѣльное чувство звучитъ фраза. И то, и другое слабо дѣйствуетъ на мальчика. Первое отталкиваетъ, а второе вселяетъ недоувѣріе. Говорить съ дѣтьми трудно, уже потому, что дѣти умнѣе взрослыхъ умниковъ. Чтобъ подѣйстви-

вать на мальчика, надо взять его сердце, а этого съ однимъ разумомъ, даже очень большимъ не успѣешь. Только высокой, честной, теплой душой дается это право. Отъ Патрикѣва я вышелъ совсѣмъ другимъ человекомъ; хотя слезы застилали еще глаза, но все предметы яснѣе смотрѣли на меня, какъ будто съ нихъ спала туманная полоса. И грязная стѣна класа съ черными пятнами у печи, и гладкіе лакированные столы, испорченные ножичками шалуновъ, и огромныя оконныя рамы, на половину выкрашенныя зелено-голубой краской, и черная доска, и много другихъ предметовъ, цѣлый мѣсяцъ глядѣвшихъ на меня съ казенно-зловѣщимъ равнодушіемъ, какъ-будто окрасились въ другой цвѣтъ, освѣтились другимъ свѣтомъ. Лица учениковъ, до того безразлично мелькавшія передо мной, такъ что и различалъ я ихъ только по цвѣту волосъ, — осмыслились. Я почти никого не зналъ по фамиліи, да они рѣдко и употреблялись. Я слышалъ не разъ возгласы: іуда, бульдожка, сычъ, фараонова мышь; но большой своимъ горемъ, ни разу не обратилъ вниманія кто тутъ іуда, кто бульдожка и фараонова мышь. Теперь же, когда я окинулъ класъ, все эти прозвища, слышанныя когда-то въ просонкахъ, предстали передо мной въ плоти и крови. Вотъ это вѣрно іуда, подумалъ я, взглянувъ на мальчика съ несообразно длиннымъ лицомъ, тонкими, сухими, неприятно улыбающимися губами и карими какъ-то странно-смѣющимися глазами, которые и секунды не оставались спокойны на одномъ предметѣ. А вотъ и бульдожка, — и я невольно улыбнулся, взглянувъ на толстую мордочку, очень некрасивую и удивительно-напоминающую собаку. Онъ училъ урокъ въ слухъ, и при этомъ губы его принимали такое выраженіе, какъ-будто онъ огрызался. А вотъ и фараонова мышь съ волчкомъ сидитъ. Словомъ я узналъ всѣхъ; такъ мѣтки были клейма.

Въ послѣдніе часы я совершенно успокоился. У меня явилась даже маленькая общительность. Мнѣ ужасно хотѣлось заговорить съ своимъ сосѣдомъ, волчкомъ. Нѣсколько разъ порывался я, уже и ротъ раскрывалъ, но не зналъ о чемъ бы заговорить, робѣлъ и не рѣшался. Прозвонилъ колокольчикъ, все съ шумомъ высыпало на средину класа.

— Ну, господа, сегодня вѣрно поиграемъ въ волюшку, прокричала мышь.

— Надо спросить Александра Васильича, отозвался кто-то.

— Чего спрашивать, онъ любить это, самъ заставляетъ.

— Не дѣло, господа, надо спросить, провозгласилъ волчокъ. — Слышали, Амосовъ сказалъ, что у него голова болятъ.

— Спросить, такъ спросить, ступай ты старшій.

Старшій ушелъ и черезъ минуту вбѣжалъ съ сіяющимъ лицомъ.

— Позволилъ!

Поднялась страшная возня. Играли въ какую-то странныю игру, и чехарду и жгутъ вмѣстѣ. Мнѣ очень хотѣлось принять участіе, я уже и подошелъ было, но вдругъ оробѣлъ и отправился на заднюю скамейку.

Въ комнату вошелъ Патрикѣвъ и остановился, прислонясь у двери. Онъ тихо разговаривалъ съ блондиномъ и по временамъ улыбался.

— Чтожъ я Мохова не вижу, гдѣ онъ?

— Онъ не хочетъ, Александръ Васильичъ. Вонъ онъ на заднюю скамейку забился.

— Моховъ, что вы не играете? вѣдь скучно одному сидѣть. Господа првите къ себѣ Мохова, да поберегите его.

— Иди, Моховъ! иди! не бойся! раздалось весело нѣсколько голосовъ.

Я робко подошелъ къ нимъ, робко началъ прыгать, конфузясь и краснѣя; но скоро разыгрался и сталъ выкидывать такіа штуки, что самъ себѣ удивлялся.

— Ай-да Моховъ, молодецъ! сказалъ ласково Патрикѣвъ. — Вотъ такъ-то лучше, чѣмъ одному сидѣть.

Похвала его пріятно польстила моему самолюбію и я еще болѣе развернулся. Даже фараонова мышъ не могла убѣжать отъ меня, я влѣпилъ ему въ спину горячій жгутъ, да тутъ же кстати, подъ вліяніемъ какого-то азарта, ни-съ-того, ни-съ-сего хватилъ и бульдожку. Бульдожка огрызся и далъ мнѣ тумака, я — слачи! За бульдожку вступился волчокъ, налетѣлъ на меня, жгутъ ужъ висѣлъ надъ моей головой, но я увернулся схвативъ іуду, и подставилъ его вмѣсто себя. Іуда получилъ слѣдующій мнѣ жгутъ. Выходка моя была встрѣчена всеобщимъ восторгомъ. Іуду видимо всѣ не любили. Онъ посмотрѣлъ на меня, такъ что проглотилъ бы кажется еслибы могъ, оставилъ игру и сталъ жаловаться Патрикѣву.

— Вѣдь это игра. Не нравится — не играйте, сказалъ Патрикѣвъ и нахмурился.

Иуда, бормоча что-то подъ носъ, отправился на заднюю скамейку.

— Ай-да Моховъ! ай-да мокрая курица, каково словчилъ! прокричалъ кто-то.

— Господа! дать ему другое имя, мокрая курица нейдетъ!

— Въ тихомъ омутѣ черти водятся, нараспѣвъ произнесъ Волчокъ.

— Длинно, господа.

— Омуть! вотъ вамъ и коротко, отвѣчалъ волчокъ серьезно.

— Омуть! омутъ! Такъ будь же ты отнынѣ и вовѣки омутъ, пропищалъ воробей.

— Будетъ, господа! поиграли и довольно; пора и за книгу, — сказалъ Патрикѣвъ, и вышелъ изъ класа.

Всѣ тихо разбрелись по мѣстамъ. Я усѣлся возлѣ своего сосѣда, волчка, и съ удовольствіемъ развернулъ книгу. На сердце чувствовалась какая-то легкость, веселость, и прежняя усталость разлилась по всему тѣлу.

— Волчокъ, скажите какіе у насъ завтра утренніе класы.

— А! за умъ взялся, пора! Исторія завтра. Карфагеняне заданы, — и онъ показалъ мнѣ нѣсколько страницъ.

— Охъ, какія длинныя! а еще какой клась?

— Только изъ исторіи.

— Да вѣдь у насъ два класа утромъ?

— Изъ другаго никто не готовитъ, — собачій языкъ... тройку станутъ объѣзжать, и сказавъ это, волчокъ уткнулъ носъ въ книгу.

— Вы какъ готовитесь... на зубокъ или на расказъ? вдругъ спросилъ онъ меня неожиданно.

— Я на расказъ, отвѣчалъ я, хотя самъ не понималъ, что такое на зубокъ, и что на расказъ.

— Ну такъ давайте учить вмѣстѣ, я зубряшекъ терпѣть не могу, а мы вотъ какъ... прочтемъ: я раскажу, потомъ вы, да такъ и будемъ.

Это меня заинтересовало, и мы весь вечеръ съ волчкомъ рассказывали о карфагенянахъ. Незадолго до ужина вошелъ Патрикѣвъ, подошелъ къ намъ, выслушалъ наши рассказы и похвалилъ. Весь клась окружилъ его, кто просилъ объяснить не-

понятное слово, кто — указать мѣстность на картѣ. Онъ необыкновенно скоро удовлетворялъ желанія всѣхъ.

— Вотъ кабы всѣ такіе какъ этотъ, сказалъ волчокъ, кивнувъ на Патрикѣва, когда тотъ уходилъ: — такъ хорошо бы было.

— А что, развѣ другіе не хорошіе? спросилъ я.

Волчокъ вытаращилъ на меня глаза.

— Да что у васъ глаза заромъ что-ли залѣплены. Онъ отвернулся отъ меня и сталъ перелистывать книгу.

— Послушайте, волчокъ! Какія тройки завтра! Вы говорили, что тройки будутъ.

— Самъ увидишь! и онъ уткнулъ носъ въ книгу.

Послѣ ужина отвели насъ въ дортуаръ, и всѣ разбрелись по своимъ номерамъ. Кто не раздѣваясь прямо ложился на койку и дремалъ, въ ожиданіи звонка. Кто доучивалъ урокъ, усѣвшись на корточкахъ возлѣ камина, другіе составили кучки, спорили и шумѣли. Постилали свою постельку, я тоже подошелъ къ одной группѣ. Ее составляли все мои одноклассники, только четное мѣсто въ срединѣ занималъ незнакомый мнѣ мальчикъ. Онъ страшно гримасничалъ, размахивалъ руками, божился и спорилъ.

-- Врешь ты все, сплетница! обратился къ нему волчокъ.

— Ейбогу, забожился крестясь незнакомецъ. — Всѣмъ классомъ отдули!.. хотѣлъ жаловаться Григорью Григорьичу, да пообѣщали еще побить.

— Ты наговорщикъ извѣстный. У насъ на своихъ плетешь, а къ своимъ придешь — на насъ наговаривать станешь. Что? неправду я говорю.

— Ейбогу, я никогда!

— Божись! Кто тебѣ повѣритъ... Ты что на прошлой недѣлѣ про Пѣтухова рассказывалъ, а?

— Я не самъ, мнѣ передали.

— Передали! гм... а кто Карпу Карпычу перенесъ, что Мельковъ съ Сливнымъ курили въ кухнѣ?.. Баба, сплетница... смотри Моховъ, не связывайся съ нимъ. Онъ станетъ навязываться къ тебѣ. Это лиса! Такъ ты плюнь ему въ глаза.

— Ты что ругаешься, заговорилъ мальчикъ: — я пойду пожалуюсь на тебя.

— Ступай, жалуйся. Пойдемъ, братъ Моховъ, ходить.

— Пойдемте!..

И мы вышли въ коридоръ.

Онъ былъ запруженъ гуляющими. Всѣ ходили грунами въ четыре, пять и болѣе человѣкъ, обнявшись.

— У тебя есть родители, Моховъ?

— Есть, папенька и маменька.

— Гм... а богатые?

— Нѣтъ, — вотъ дѣдушка у меня богатый... и я началъ рассказывать о дѣдушкѣ, деревнѣ, конномъ заводѣ; но Баробинъ остановилъ меня:

— Твои ничего не прислали инспектору?

— Ничего, отвѣчалъ я, плохо понимая, что такое можно прислать инспектору и зачѣмъ.

— То-то! У насъ племяшей не любятъ. Вотъ они... и всегда вѣстѣ, сказалъ онъ, указывая на группу въ пять человѣкъ. — Фаскалы! громко крикнулъ онъ имъ, когда мы поровнялись.

Въ это время раздался звонокъ.

— Ну, прощай, братъ Моховъ. Да говори мнѣ впередъ ты, а ты ты какъ красная дѣвушка, все вы, да вы.

— Славный какой этотъ волчокъ, размышлялъ я, укладываясь въ постель. — А какія это трѣйки завтра будутъ, самъ говорить увидишь... гм... зачѣмъ это инспектору присылаютъ. И назвали-то какъ ихъ, племяши, гм... нехорошее должно-быть слово... Изъ нѣмецкаго учиться... стыдно: волчокъ спазывалъ. Отчего это стыдно? Вотъ изъ другихъ же не стыдно. Я заснулъ какъ убитый. Всталъ я съ свѣжей головой и въ пріятномъ расположеніи духа. Даже блѣдный свѣтъ лампы, сливавшійся со свѣтомъ загорающейся зори, мнѣ показался только страшнымъ и не дѣйствовалъ уже такъ непріятно на нервы, какъ прежде. Началась класа. Вошелъ учитель исторіи; я съ любопытствомъ сталъ разсматривать его личность. Это былъ неуклюжий господинъ, небольшого роста, спорбленный и заика. На немъ были надѣтъ уродливый фракъ съ длиннѣйшими фалдами, сильно потертый на локтяхъ и швахъ, и смазные сапоги, которые скрипѣть не скрипѣли, а какъ-то тяжело вздыкали, когда онъ начиналъ ходить по класу. Но его видимо всѣ любили, сидѣли смѣло, не шумѣли и только изъ-за балловъ постоянно выходили споры. Спросивъ двухъ-трехъ учениковъ, онъ вызвалъ меня.

Зная урокъ твердо, я началъ расказъ съ увѣренностью, даже увлекся и расказалъ очень хорошо.

— Молодецъ! молодецъ! Вотъ тебѣ двѣнадцать, сказалъ учитель выставляя балъ.

Волчокъ поднялся со своей скамейки.

— Двѣнадцать въ квадратѣ слѣдуетъ, Афанасій Петровичъ!

— Нельзя, нельзя, заговорилъ онъ скороговоркой, запинаясь на каждомъ словѣ: — нельзя, новичекъ еще.

— Коркину вы поставили въ кубѣ, такъ Мохову слѣдуетъ въ квадратѣ, заступался волчокъ, подходя къ кафедрѣ.

— Ты учить хочешь! А! учить хочешь... яйца курицу учать. Вотъ ему съ плюсомъ... будетъ съ него.

— Поставьте въ квадратѣ... онъ стоитъ... это несправедливости. Вы сами учите насъ по справедливости поступать, пристаивалъ волчокъ.

— У, у! банный листъ присталъ. Ну, ну, такъ и быть для тебя. Ты у меня ораторъ, Демосеенъ. Ну, доволенъ.

— Благодарю васъ покорно.

— Ну, убирайся къ чорту.

Я земли не чувствовалъ подъ собой отъ восторга... двѣнадцать въ квадратѣ. Весь класъ я просидѣлъ въ какомъ-то лихорадочномъ жару, отъ пріятнаго душевнаго волненія.

Прозвонили переѣмъ. Всѣ окружили фараонову-мышь, которая на задней скамейкѣ была занята чѣмъ-то серьезнымъ, что было замѣтно по ея озабоченному лицу.

— Ну что, готово у тебя? спрашивали его.

— Погодите, правая пристяжная не дается.

— А урокъ кто готовилъ, господа?

— Я, отвѣчалъ бульдожка.

— Разборчиво ли?

— Небось, разборчиво, и бульдожка поднялъ надъ головой листъ бумаги, написанный нѣмецкими словами, буквами чуть ли не въ вершокъ.

— А кто будетъ держать?

— Калугинъ возлѣ него сидитъ, онъ и будетъ.

Неуспѣлъ учитель-нѣмецъ переступить порогъ класа, какъ поднялся страшный шумъ и крикъ. Одинъ пѣлъ пѣтухомъ, другой, приставивъ кулакъ ко рту, игралъ на трубѣ, третій мяукалъ по кошечьи, четвертый лаялъ по собачьи, кто декламировалъ нѣ-

мецкую басню, кто пѣлъ во все горло по методѣ Эртеля: *Das ist eine Rose*, — крикъ, шумъ, свистъ — сущій содомъ.

— *Stille!* закричалъ нѣмецъ неистовымъ голосомъ, краснѣя отъ досады. — Чтой этой есть?

Всѣ стихли.

— Васъ давно не видали, Карлъ Карлычъ, такъ обрадовались.

— Я буду дѣлать радость... я буду вамъ много дѣлать радости... свиней, каналъ...

— Не ругайся, нѣмецъ!.. закричалъ волчокъ, ударивъ кулакомъ по столу.

— Ви что сказала... а?

— Ничего.

— Подавать мнѣ стулъ.

— Стулъ, стулъ Карлу Карлычу, закричала фараонова мышь.

И человекъкъ пять бросились къ кафедрѣ, схватили стулъ, подвѣли его надъ головой, и въ торжественной тишинѣ поставили у скамьи. Учитель сѣлъ и сталъ вызывать. Онъ видимо привыкъ къ этой церемоніи. Урокъ отвѣчали отлично. Только что являлся ученикъ передъ Карлъ Карлычемъ, какъ Калугинъ подвѣмалъ за спиной его листъ, и вызванный бойко отвѣчалъ по писанному; нѣмецъ не замѣчалъ этой продѣлки. Когда вышелъ бульдожка, фараонова мышь засуетилась на задней скамейкѣ. Не успѣлъ онъ сказать трехъ словъ, раздался хохотъ, и на средину класа вылетѣла тройка мышей, запряженныхъ въ маленькую деревянную телѣжку. Нѣмецъ какъ сумашедшій вскочилъ со стула, поблѣднѣлъ и бросился къ двери. Бульдожка хватилъ его за фалды фрака и не пускалъ.

— Нѣтъ, Карлъ Карлычъ, вы прежде меня урокъ доспросите.

— Пускай меня, негодный твари! кричалъ нѣмецъ, бабахаясь.

— Да вы урокъ доспросите, а то послѣ пожалуетесь, что я не приготовилъ: знаемъ мы васъ.

Между тѣмъ испуганныя мыши, пробѣжавъ раза два по класу, прижались въ углу.

— Вся класа на нога становится! закричалъ нѣмецъ, оправившись отъ перваго страха: — а ти... ти... на печка, и онъ указалъ пальцемъ на бульдожку.

Въ одно мгновеніе онъ очутился на скамьѣ и собирался лѣзть на печь.

— Нѣтъ! нѣтъ! горячился нѣмецъ: — подѣ печка!

Бульдожка соскочилъ со скамьи, растянулся на полу и сталъ представлять, что онъ лѣзетъ подѣ печь. Весь класъ смѣялся.

Нѣмецъ позеленѣлъ отъ злости; видимо онъ не могъ справиться съ предлогомъ.

— Стой, стой... за печка.

— Это не порусски, Карлъ Карлычъ! закричалъ кто-то: — надо сказать сверху печку.

— Это, это въ печка!.. передѣ печка, кричалъ вышедшій изъ себя нѣмецъ.

Гомерическій хохоть оглашалъ класъ. Въ одинъ прыжокъ Карлъ Карлычъ выскочилъ изъ класа.

— Чуръ не выдавать господу, провозгласила фараонова мышь.

— А ты лошадокъ-то убери, сказалъ бульдожка, взявъ тройку и передалъ ее фараоновой мышѣ. Послѣдній живо влѣзъ на печь при помощи плечъ рослаго товарища.

— Пичугинъ, брось кусочекъ сальца, надо покормить соло-
венькихъ.

На печь полѣтѣлъ сальный огарокъ.

Дверь отворилась и въ дверь вошелъ взволнованный нѣмецъ въ сопровожденіи Карпа Карпыча.

— Такъ они тебя мышками пугать вздумали, ха-ха-ха, и онъ залился добродушнѣйшимъ смѣхомъ. — Вотъ я ихъ щель-
мечовъ. На ноги, школяры!

Мы всѣ поднялись.

— А ты ужъ и испугался нѣмчура, эхъ ты, воинъ, воинъ!..

— Я васъ просить наказываютъ ихъ.

— Ишь чего нѣмчурѣ захотѣлось, хе-хе... наказываютъ, пер-
редразнилъ Карпъ Карпычъ нѣмца. — Будь по твоему, выдержи
я ихъ сегодня на хлѣбцѣ да водицѣ. Утѣшу нѣмца... Мышки
испугался... твари божьей испугался... ахъ ты итальянецъ.

— Карпъ Карпычъ, мы не пускали мышей, заговорилъ вол-
чокъ. — Это Калугинъ бумажку бросилъ, а Карлу Карлычу по-
казалось, что мышь. Они боятся мышей.

— Моцать! неистово закричалъ Карлъ Карлычъ, топнувши

ногой. — Вонъ онъ гдѣ сидитъ, проговорилъ онъ ужъ болѣе робкимъ голосомъ, указывая на уголь и боясь подойти.

— Что ты вѣмчура, здѣсь ничего нѣтъ... и вправду бумажка лежитъ. Ахъ ты итальянецъ! бумажку за мышь принялъ. Какъ же ты воннъ послѣ того. Ну что, кабы тебя въ кампанію послать, въ походъ, что бы съ тобой сдѣлалось, ха-ха-ха.

— Ви Карпъ Карпичъ смѣвааетесь, заговорилъ горячася учитель.

— Я, братъ, ужъ сорокъ-одинъ годъ какъ Карпъ Карпычъ, ха-ха-ха... ахти.

— Я жалоба... инспекторъ...

— Ч-т-е? Ахъ ты вѣмчура проклятая... пугать вздумалъ... нетрусливаго, братъ, десятка... хе-хе... ахъ колбасникъ... жаловаться...

И Карпъ Карпычъ, принужденно посмѣиваясь, но замѣтно обиженный, тихо вышелъ изъ класа.

Мы разразились смѣхомъ. Миѣ чрезвычайно понравилось, что Карпъ Карпычъ назвалъ вѣмца колбасникомъ.

— Карлъ Карлычъ, какъ понѣмецки колбасникъ! спросилъ я, подстрекаемый новымъ для меня чувствомъ пустить шпильку въ большое мѣсто ближняго.

Мой вопросъ вызвалъ общій смѣхъ; щеки у меня запылали отъ удовольствія. Отличился, — рѣшилъ я мысленно.

Весь класъ прошелъ весело. Вотъ это хорошо, подумалъ я; кабы всѣ класы такіе, славно бы... не скучно бы было, пожалуй, въ корпусѣ.

По окончаніи класа по всему корпусу поднялась бѣготня и суматоха. Всѣ спѣшили въ отпускъ на воскресенье. Въ дортуарахъ одѣвались, умывались, чистились, помадились, причесывались и охорашивались передъ зеркалами. У большей части лица были одушевленнѣе обыкновеннаго. На самыхъ серьезныхъ, сонныхъ личикахъ скользила улыбка: лѣнныя и непопулярныя обнаруживали своего рода энергію. Только штрафованные, лишонные отпуска какъ тѣни бродили изъ камеры въ камеру, съ повѣшенными носами и мутными, блуждающими взглядами. Маленькіе даже плакали.

— Моховъ, ты нейдешъ? спросилъ меня мой отдѣленный старшій (унтеръ-офицеръ).

— Нейду, не къ кому!

— Ну такъ на тебѣ шашку. Вычисти хорошенько!

— Я не умѣю-съ...

— Учись... Смотри, сухой банковской чисть; да кистью, а не сукопкой... чтобъ горѣло у меня.

Совершенно сконфуженный, я взялъ шашку и началъ носиться съ нею изъ камеры въ камеру, незная что мнѣ дѣлать. Выручилъ Барабинъ.

— Ты кому это? спросилъ онъ.

— Старшему?

— Какому?

— Сидоренкѣ.

— Ну, этому можно; давай, я почищу за тебя; а ты смотри да учись.

Я съ ужасомъ увидѣлъ, какъ Барабинъ натеръ помадной банки въ порошокъ, насыпалъ его на шашку, засучилъ рукава рубахи выше локтя и началъ кистью руки такъ натирать шашку, какъ-будто вмѣсто руки у него была придѣлана деревянная палка. Мѣдъ дѣйствительно скоро заблестала, но вся кожа его руки стала темно-бураго цвѣта и въ какихъ-то пупырышкахъ. «Ай, ай, ай... вонъ какъ вы... больно я думаю».

— Ничего, привыкнешь; на отнеси.

— Молодецъ! сказалъ старшій, когда я подалъ ему шашку: — отлично, за это братъ, я тебѣ позволяю всегда мнѣ чистить.

Меня окружила толпа.

— Вычисти мнѣ за пирожокъ! кричалъ одинъ.

— Нѣтъ мнѣ, — пирожокъ и варенья порція! кричалъ другой.

— Бери двѣ порціи масла! слышался голосъ третьяго.

Я вырвался и убѣжалъ въ коридоръ. Толпа слугъ, бабъ, мальчишекъ окружила меня.

— Скажите батюшка Мумину, что пришла за нимъ Авдотья-съ! говорила какая-то старушка въ коцевейкѣ, съ повязаннымъ на головѣ платкомъ.

— Да ужъ и Мирошкину потрудитесь... лошади молъ заблудить... цѣлый день съ барыней ѣздили! басилъ здоровенный кучеръ.

— Муминъ, Мирошкинъ, за вами есть! крикнулъ я, забѣжавъ въ ихъ камеру, и мнѣ вдругъ стало очень грустно. Я чув-

не заплакалъ, слушая, какъ раздавались голоса : « Коркинъ, за тобой ! Власевъ, къ тебѣ пришли ».

За мной никто не придетъ ! печально подумалъ я : — что-то наши дѣлаютъ ! Теперь, я думаю, всеобщая идетъ, а послѣ чай пить станутъ. Отецъ Селифанъ станетъ рассказывать какъ онъ сталъ расти съ шестнадцатаго года ; онъ всякій разъ послѣ всеобщей это рассказываетъ, а потомъ про мощи кievскія станетъ говорить. Какая большая борода у этого Селифана, да бѣлая. А Николай Гаврилычъ про турокъ и про войну. Ахъ, какъ славно бы дома теперь быть. Мамаша дала бы намъ съ Машенькой по кусочку сахару, стали бы мы жечь леденцы на огнѣ, и сами бы скушали. А тамъ бы няня сказку сказала, а тамъ бы завтра къ обѣднѣ пошли ; мнѣ бы просфиру дали, и я бы съ Машенькой пополамъ раздѣлилъ. А здѣсь и поиграть-то не съ кѣмъ, всѣ разошлись. »

Я сошелъ внизъ въ классъ, усѣлся на заднюю скамейку и расплакался.

Утромъ только что мы разбрелись послѣ чаю, какъ ко мнѣ подошелъ Карпъ Карпычъ и объявилъ, что за мной прислалъ Патрикѣевъ, велѣлъ одѣться и далъ билетъ. Въ веселомъ расположеніи духа шолъ я по улицѣ въ подпрыжку, съ гордостью осматривалъ на билетъ, выглядывающій изъ-за борта мундирчика. Меня только немножко сконфузило, что я иду не одинъ, а съ провожатымъ, но я старался помочь этому горю, ускоривая шагъ, такъ что мальчишка, посланный за мной, чуть не бѣгомъ слѣдовалъ за мной.

Первое, что бросилось мнѣ въ глаза при входѣ въ домъ Патрикѣева, — необыкновенный порядокъ и чистота. Множество горшковъ съ цвѣтами занимало всѣ окна и углы залы, на многихъ были бутончики.

Какъ хорошо все здѣсь ! была моя первая мысль.

На встрѣчу мнѣ вышелъ самъ Патрикѣевъ и съ нимъ какая-то дама.

— А, Моховъ ! прошу пожаловать, сказалъ онъ весело : — я вѣрно послалъ за вами. Скучно, думаю, въ корпусѣ, а ?

— Скучно ! сказалъ я, невольно кланяясь дамѣ и покраснѣвъ.

— Ну, можетъ у меня повеселѣе будетъ. Жоржъ, гдѣ ты ?

Въ комнату вбѣжалъ мальчикъ, почти ровесникъ мнѣ по лѣтамъ. Онъ держалъ въ рукахъ книгу.

— Это мой братъ! сказалъ Натрикъевъ. — Господинъ Моховъ, сказалъ онъ мальчику: — прошу любить да жаловать.

— Очень пріятно! заговорилъ мальчикъ, пожмая мнѣ руку: — а я картинки смотрѣлъ. Мнѣ братецъ книжечку подарилъ съ картинками. Вчера было мое рожденіе. Сестрица мнѣ красокъ купила, я покажу вамъ ихъ. Пойдемте къ братцу въ кабинетъ, онъ сегодня не занимается.

Мы вошли въ небольшую комнату съ письменнымъ столомъ у стѣны, которая вся была обвѣшана портретами. На столѣ лежала кupa исписанной бумаги, портфель, незатѣйливая чернилица бѣлаго стекла и нѣсколько статуэтокъ. Угольная этажерка вся была занята книгами, въ перешлесахъ и безъ переплетовъ.

— Давайте смотрѣть картинки. Вотъ видите: «Островитяне тихаго океана», прочелъ онъ медленно. — Посмотрите, какіе желтые. И онъ указалъ на картинку.

— Вотъ они какіе, подумалъ я. Картинки мнѣ чрезвычайно понравились: я еще такихъ не видывалъ.

— Какіе между ними злые, еслибъ вы знали; людей ѣдятъ.

— Ай, ай! Зачѣмъ же они ихъ ѣдятъ? и я вытаращилъ глаза отъ изумленія.

— Такъ, ѣдятъ. Необразованные... оттого. Тутъ объ нихъ много описано. А вотъ Кукъ, капитанъ, я и про него прочелъ. И онъ показалъ мнѣ портретъ.

— Пойдите, я вамъ теперь краски покажу! онъ оставилъ книгу и досталъ краски: — смотрите, какія славныя.

Я сталъ разсматривать краски съ любопытствомъ и удовольствіемъ.

— Вотъ желтая, а вотъ красная; а синяя-то каная славная, посмотрите.

Онъ взялъ краску, помочилъ языкомъ и попробовалъ ее на пальцѣ.

— Да, хорошая очень.

— Возьмите себѣ ее.

Я сконфузился. Мнѣ и краска очень нравилась, да и братъ ее было какъ-то стыдно.

— Возьмите пожалуста. У меня вѣдь еще старыя остались. Пойдите, я вамъ отберу и другія. Онъ досталъ ящикъ, отобралъ нѣсколько кусковъ, завернулъ въ бумажку и положилъ мнѣ въ карманъ. — Тутъ всякія есть. Вотъ только зеленой нѣтъ у меня

другой, проивнесъ онъ печально, въ раздумьи. — А знаете ли что, я научу васъ! и глаза его заблестали. — Вы возьмите желтую и синюю и смѣшайте: и выйдетъ зеленая. Я вѣдь не нарочно говорю, посмотрите! и онъ показалъ мнѣ этотъ опытъ.

— Нѣтъ, право, я не возьму! проговорилъ я, доставая изъ корзины краски. Мнѣ вдругъ стало ужасно стыдно, что я взялъ ихъ.

— Если вы любите меня, такъ возьмете, а не любите... Васъ братецъ очень хвалить! заключилъ онъ неожиданно.

— А теперь давайте волчокъ пускать.

— Будемте лучше картинки смотрѣть.

— Хорошо, только знаете, лучше мы теперь поиграемъ въ волчокъ, а послѣ обѣда, какъ братецъ пойдетъ отдыхать, мы переберемся сюда и всѣ картинки у него пересмотримъ, у него ихъ много; а теперь волчокъ. Братецъ, можно въ волчокъ!

— Сдѣлай милость! услышался голосъ Патрикѣва. Мы принялись за волчокъ.

До обѣда мы съ Жоржемъ рѣзвились до-нельзя, а послѣ от-
прывались въ кабинетъ и принялись за картинки. Съ жадностью
интересовался я въ другія гравюры, слясь разгадать смыслъ
ихъ. Книжки были все иностранныя.

— Жалко, подписи не разберешь, что это такое. Сестрица
также что начала меня учить понѣмецки. А вы знаете понѣ-
мецкѣ спросилъ Жоржъ.

— Нѣтъ, у насъ никто не учится понѣмецки; это собачій
языкъ! отвѣчалъ я съ нѣкоторымъ удовольствіемъ.

— Какъ собачій? и Жоржъ вытаращилъ на меня глаза.

— Такъ! нѣмцы всѣ собаки, брякнулъ я со словъ Барабина,
котораго почему-то мнѣ показались умными и острыми. Они
туда произвели всеобщій восторгъ въ класѣ.

— Ахъ, это неправда. Братецъ говорить, что нѣмцы очень
умные, а братецъ все знаетъ и никогда не обманываетъ. Вотъ
это у него все нѣмецкія книжки.

— Русскому стыдно учиться понѣмецки. Русскій никого не
боится, русскій покажетъ нѣмцу кулакъ, такъ онъ и умретъ со
стыда. Нѣмцы колбасники. Это и Карпъ Карпычъ говорилъ, а
сестрица нарочно не ставеть говорить, горячился я.

— Ахъ да, русскіе очень храбрые; русскіе храбрѣе нѣм-
цевъ, это и братецъ говорилъ. Зато нѣмцы очень умные. Бра-

тецъ говорилъ, что у русскихъ нѣтъ такихъ ученыхъ книжекъ, какъ у нѣмцевъ. Вотъ я и хочу учиться понѣмецки. Тогда всѣ, всѣ эти книги прочту.

— Нѣмцы смѣшные всѣ такіе, длинноносые. И въ церковь нашу не ходять.

Жоржъ захоталъ. Мнѣ стало обидно, я надулся, подошелъ къ окну и сталъ смотрѣть на подоконникъ, опустивъ голову. Въ это самое время вошелъ Патрикѣвъ. Жоржъ сообщилъ ему нашъ споръ. Онъ закурилъ сигару, усѣлся въ кресло и сталъ рассказывать намъ о томъ, что и нѣмецъ можетъ быть порядочнымъ человѣкомъ, и русскій дурнымъ и наоборотъ; а что Богъ для всѣхъ одинъ. Онъ объяснилъ это все такъ просто, ясно, что я съ наслажденіемъ слушалъ его, и многое, дотога непонятное мнѣ, стало уясняться. Вечеромъ насъ позвали пить чай въ гостиную, и мы всѣ усѣлись за небольшой, круглый столикъ, на которомъ громко шумѣлъ самоваръ. Мнѣ сдѣлалось очень весело. Мысль быстро перелетѣла въ родимый домъ. Я нечаянно взглянулъ на Патрикѣву, и невольно нѣсколько минутъ не могъ отъ нея отвести глазъ. Ахъ, какая она хорошенькая! думалъ я, всматриваясь въ нѣжныя, тонкія, привлекательныя черты ея матоваго, симпатичнаго личика, и въ большіе, мягкіе, сѣрые глаза. Я смотрѣлъ на нее, и передъ глазами моими совершалась странная метаморфоза. Черты ея какъ-будто стали по немногу измѣняться, улыбка на губахъ раздвинулась шире, тонкія брови сблизились надъ переносьемъ, большіе глаза прищурились, передъ моими глазами сидѣла мать.

— Ольга! ты не замѣчаешь, какъ на тебя пристально смотрять? спросилъ громко Патрикѣвъ.

Она взглянула на меня, я вспыхнулъ, покраснѣлъ до ушей и усталъ глаза въ печку.

Патрикѣва улыбнулась такъ хорошо, что вся моя неловкость вдругъ исчезла.

— Сладко ли я вамъ налила? спросила она.

Сладко! отвѣчалъ я, и самъ не знаю почему, весь вспыхнулъ.

Въ это время въ передней послышался шорохъ и въ комнату вошелъ бѣлокурый и съ нимъ еще двое старшихъ кадетъ верхняго класса.

— Здравствуйте, здравствуйте, господа! очень радъ, сма-

собою вамъ! говорилъ Патрикѣевъ, пожимая имъ руки. Всѣ потѣшились и усѣлись вокругъ стола. Блондинъ сѣлъ наискось Патрикѣевой. Зашолъ общій разговоръ; одинъ блондинъ молча вѣшалъ ложечкой въ стаканѣ. Я взглянулъ на него и увидѣлъ, что онъ пристально смотритъ на Патрикѣеву съ выраженіемъ святаго благоговѣнія. Миѣ вспомнилась одна старушка, которая, молясь, всегда такъ смотрѣла на образъ. На лицѣ его было написано полное, глубокое счастье. Патрикѣева кажется не видѣла его взгляда. Она о чемъ-то разговаривала, оборотясь къ мужу.

— А теперь ты не чувствуешь на себѣ взгляда? вдругъ спросилъ Патрикѣевъ улыбувшись.

Блондинъ страшно сконфузился и покраснѣлъ какъ ракъ.

— Вотъ и другой покраснѣлъ! сказалъ шутя Патрикѣевъ. — Передъ вами только что Моховъ отличился. Что за причина? Вы отчего покраснѣли, а? сказалъ онъ, обращаясь ко миѣ.

Я вдругъ почувствовалъ какой-то приливъ развязности.

— Оттого что онѣ... хорошенькія! сказалъ я и покраснѣлъ, чувствуя, что сказалъ несовсѣмъ то, что хотѣлось сказать, а хотѣлось незнаю почему сказать что-то очень хорошее, такое хорошее, чтобъ понравилось всѣмъ.

— Эге! вотъ какъ! Такъ вы ужъ и хорошенькихъ замѣчаете; рано немножко. Ну, а вы Амосовъ? оборотился онъ къ блондину: — таже причина?

— Полно, Александръ! и она взглянула на мужа съ упрекомъ.

— Знаемъ, знаемъ, что ты вѣчная заступница! Да зачѣмъ же самой краснѣть?

Ольга Петровна дѣйствительно вспыхнула.

Послѣ чая мы съ Жоржемъ снова принялись за волчокъ, а Патрикѣевъ съ женой и гостями ушли въ кабинетъ.

— Знаете что, Моховъ! сказала Жоржъ, когда мы вдоволь наигрались: — пойдите послушать ихъ, что они тамъ говорятъ.

— Хорошо, пойдите!

Мы вошли въ кабинетъ. Я робко выступалъ за Жоржемъ.

— Что тебѣ? спросилъ Патрикѣевъ Жоржа.

— Мы, братецъ, посидимъ здѣсь и слушаемъ. И мы про-
брались въ уголокъ.

Я слушалъ съ жалнымъ вниманіемъ, хотя рѣшительно не понималъ, о чемъ идетъ рѣчь; тѣмъ неменѣе я былъ доволенъ. Умъ и сердце говорили мнѣ, что между этими людьми толкуется о хорошихъ и очень умныхъ вещахъ. Я чувствовалъ особенное удовольствіе смотрѣть на Патрикѣва, когда онъ спорилъ. Всегда тихій, скромный, онъ говорилъ много, говорилъ горячо, съ увлеченіемъ. Глаза его горѣли, лицо дышало какой-то обаятельной силой, а на щекахъ пятнами игралъ румянецъ. Блондинъ больше молчалъ и поминутно украдкой взглядывалъ на Патрикѣву, которая сидѣла на диванѣ и также принимала участіе въ спорѣ. Въ первый разъ я слышалъ, какъ люди спорятъ, и понималъ только одно, что Мамаевъ и Шаловъ, долго не уступавшіе Патрикѣву, каждый разъ оканчивали тѣмъ, что соглашались и признавали, что онъ правъ.

— Ай, ай, какой умный у васъ братецъ! шепнулъ я Жоржу. Глаза его заблестали удовольствіемъ.

— А какой онъ добрый, какъ любить меня и сестрицу! отвѣчалъ онъ со вздохомъ. Въ этомъ вздохѣ слышался какъ-будто избытокъ счастья.

Вдругъ дверь отворилась и въ комнату вошелъ нашъ офицеръ Еропъ Савичъ, впрочемъ болѣе извѣстный между нами подъ именемъ «образцоваго» и лизуна. Трудно представить себѣ болѣе антипатичную личность. Онъ былъ кособокъ, голова склонена на сторону, а въ выраженіи лица всегда столько меду, что невозможно было на него смотрѣть безъ отвращенія. Небольшой, хриплый, вкрадчивый голосокъ, и масляные заискивающіе глазки, цѣтъ которыхъ напоминалъ весеннюю, мутную воду, довершали очарованіе. Онъ не былъ ни особенно строгъ, ни особенно несправедливъ, но его всѣ не терпѣли. Всѣхъ отталкивали отъ него его вѣчныя, до наглости явныя заискиванія у начальства, его уморительно-важная манера строго держать себя передъ мальчиками, которая вдругъ измѣнялась въ рабскую, презрѣнную, когда къ нему обращался старшій. Онъ наклонялся всѣмъ корпусомъ впередъ, хотя природа тянула его всѣмъ корпусомъ какъ-то на бокъ, на сторону. Глазки принимали возмутительное, гадкое выраженіе преданности по гробъ, шурлились и слезились какъ у морской свинки, а руки спокойно замирали на лампасахъ шароваръ. Послѣдній лѣнтяй и шалунъ смотрѣлъ на него съ презрѣніемъ, насмѣшкой, и иначе не отзы-

важъ какъ о леунишкѣ, хвастунѣ и фискалѣ. Начальство благоволило къ нему какъ къ офицеру, переведенному изъ столицы, и ставило въ образецъ другимъ. Это-то и подало поводъ къ насмѣшливому прозвищу образцоваго. Хитрый, вкрадчивый, онъ успѣлъ развратить трехъ-четырехъ мальчиковъ, сдѣлавъ ихъ своими наушниками и оцѣпилъ ими весь корпусъ. И не было той дразги, той слетни, которой бы не зналъ Еропъ Савичъ, и не доносилъ преданно, по секрету, начальству. Появленіе его видимо произвело непріятное впечатлѣніе на всѣхъ. Всѣ какъ-то значительно переглянулись. Патрикѣевъ даже не нашолъ нужнымъ скрыть этого. Онъ холодно поклонился гостю, и когда тотъ съ сладкой улыбкой протянулъ ему руку, Патрикѣевъ замѣтно нехотя подалъ свою и молча указалъ на стулъ. Еропъ Савичъ не сконфузился, только по лицу его пробѣжала гадкая улыбка. Разговоръ не клеился. Блондинъ и его товарищи подвинулись и стали прощаться.

— Господа, вы въ корпусъ, такъ возьмите съ собой и Мохова! сказалъ Патрикѣевъ: — а вы, Моховъ, если нескучно вамъ у меня, приходите въ воскресенье, я буду радъ. Да вотъ что, — я хотѣлъ спросить васъ: писали вы къ своимъ письмо.

— Нѣтъ-съ, не писалъ-съ!

— Это нехорошо. Приготовьте, я отправлю.

Когда мы вышли на улицу, Шаловъ разлился потокомъ ругательствъ.

Это вѣрно они Еропъ Савича ругаютъ, подумалъ я.

Когда мы пришли, кадеты были уже въ спальняхъ, и изъ спуска явились почти всѣ. На лицахъ замѣтно было особенное оживленіе. Шумъ, смѣхъ, говоръ. Каждый повѣрялъ свои праздничныя впечатлѣнія, которыя выслушивались съ жадностью и завистью тѣми, кому судьба въ образѣ инспектора или ротнаго командира, помѣшала побывать дома. Занесенныя городскія новости, какъ молнія, быстро обѣгали всѣ камеры. Какъ и вѣдь исторія, рассказанная въ первой камерѣ, во второй уже перела свою первоначальную простоту, а въ шестой уже дотого превратилась, дополненная загадками и предположеніями, что и узнать-то ее было трудно.

Войдя въ свою камеру, я увидѣлъ бульдожку, окружнаго зѣвака. Онъ что-то ораторствовалъ.

— Моховъ, Моховъ, поди сюда! слышалъ ты объ огненномъ шарѣ?

— О какомъ шарѣ?

— Вотъ Капустинъ (онъ же и бульдожка) рассказываетъ, что огненный шаръ ночью по базару прокатился.

— Ты самъ это видѣлъ, Капустинъ? спросилъ его кто-то.

— Не самъ, а наша прачка сказывала. Она шла въ это время по базару, какъ онъ прокатился.

— Вретъ она!

— Ну вотъ вретъ; зачѣмъ ей врать... не вретъ, а прокатился.

И исторія объ огненномъ шарѣ быстро разнеслась по корпусу. Своей чрезвычайностью она естественно затмила всѣ другія новости. Капустина таскали изъ камеры въ камеру и заставляли повторять рассказъ. Онъ былъ замѣтно доволенъ и смотрѣлъ героемъ дня. Я впрочемъ мимо ушей пропустилъ интересную исторію. Меня занимала мысль, что напишу къ мамашѣ. Она засѣла въ голову, немолчно тревожила и не давала спать. Утромъ я долго кряхтѣлъ, пыхтѣлъ и грызъ перо, пока не написалъ первую строку. Начало сдѣлано, остальное пошло какъ по маслу. Довольный успѣхомъ я рѣшилъ, что недурно бы написать и къ Машенькѣ. Послѣ недолгихъ колебаній я началъ.

«Милая Машенька, я васъ не забылъ и очень помню. Учитель нѣмецкій у васъ очень смѣшной. Его Карпъ Карпычъ колдасникомъ...»

Вдругъ сзади меня раздалось хлопанье въ ладоши и крикъ: «Машенька!» Вотъ тебѣ въ награду! закричалъ я неистовымъ голосомъ и пощечина огласила класъ.

Онъ позеленѣлъ отъ злости, ухватился рукой за щеку, вырвалъ начатое письмо у меня изъ рукъ и, желая показаться молодцомъ, все еще кричалъ сквозь слезы: «Машенька, Машенька!» и показывалъ класу письмо.

— Машенька! закричалъ весь класъ.

И съ этой минуты это прозвище осталось за мной до выпуска.

III

И потекла моя жизнь тихо, ровно, однообразно: чай, класы, ученье, обѣдъ, опять класы, гимнастика, ужинъ. Каждый день

одно и тоже, — сегодня что вчера, завтра что сегодня, и такъ изодня въ день, — шесть лѣтъ. И все это безъ перерывовъ, безъ скачковъ какъ однажды навсегда заведенные часы, въ опредѣленной рамкѣ, въ опредѣленной формѣ, безконечно казенно. Но подъ этимъ наружнымъ обманчивымъ порядкомъ, безостановочно кипѣла жизнь, роились мысли, гиѣзлились мелкія и крупныя страстишки и въ этомъ маленькомъ водоворотѣ развивался, росъ, вырабатывался будущій человекъ. Умъ, сердце, воображеніе впечатлительнаго и нервнаго ребенка работали безъ устали. Работало и въ темномъ уголкѣ длиннаго мрачнаго коридора подъ однообразный, монотонный звукъ стѣнныхъ часовъ, и подъ легонькимъ одѣяломъ казенной постельки, когда сонъ убѣгалъ куда-то далеко, и тихо какъ въ могилѣ становилось въ камерѣ. И вдругъ чуднымъ и страннымъ свѣтомъ освѣщалась комната. Койки исчезали; много, много людей входятъ въ нее, и знакомы будто они и не знакомы. И начинаются у нихъ споры, горячіе, страшные споры, и понимаешь и не понимаешь. Какъ будто и слышалъ что-то такое, да и новы эти рѣчи. И слушаешь со страшнымъ, болѣзненнымъ напряженіемъ, съ неодолимой силой желанія уяснить себѣ эти загадочныя рѣчи, слушаешь, и понимаешь и не понимаешь, а въ головѣ и ушахъ звонъ. Работало воображеніе и во фронтѣ, когда руки машинально творили съ ружьемъ разныя штуки, когда грозный голосъ обучающаго неразъ уже напоминалъ, что невниманіе губитъ полководцевъ и арміи. Работало въ классѣ подъ монотонные, безконечно-скучные рассказы учителя. Работало безъ устали, да и могло ли оно оставаться спокойно, когда цѣлый міръ вдругъ распахнулся передо мною, засмотрѣлъ мнѣ въ глаза своими учителями, воспитателями, товарищами по воѣ и помимо ея смѣло выставляя на показъ всѣ свои особенности, все свое общее. Тысячу разнородныхъ ощущений мгновенно возбуждала во мнѣ такая широкая разнообразная картина. Съ жадностью и любопытствомъ бросался я, какъ голодный ребенокъ, на новое незнакомое мнѣ доселѣ блюдо, жадно отыскивалъ и глоталъ лакомые сладкіе кусочки, отбрасывая въ сторону горькіе. Были ли эти сладкіе кусочки лучшими и здоровыми, умъ еще не могъ дать совѣта, а жадность была велика и аппетитъ изумительный.

А разнообразенъ былъ этотъ мірокъ, разнообразенъ какъ цѣлый міръ, котораго онъ былъ вѣрнымъ, хотя и своеобразнымъ

отраженіемъ въ миниатюрѣ. Какія страсти и страстишки не жили въ немъ. Сколько свѣтлыхъ и темныхъ помысловъ зарождалось въ этихъ дѣтскихъ головкахъ. Сколько розовыхъ надеждъ яркой звѣздой горѣли гдѣ-то далеко въ туманѣ, влекли и манили къ себѣ, а сколько ихъ уже успѣло разлетѣться мыльными пузырями. Сколько безумно-гордыхъ стремленій, сколько горько-оскорбленныхъ самолюбій.

Дѣтское сердце такое нѣжное, хрупкое существо, что легкое вліяніе заразы уже трогаеть его; а гдѣ эти консервы отъ разныхъ вѣяній? Правда, вся эта мелкая жизнь маленькаго міра представилась бы неопытному глазу въ формахъ наивно-своеобразныхъ, невинно-дѣтскихъ. Ему показалось бы простодушно-мило тихое нашоптываніе іуды, что такой-то то, а этотъ вотъ что! Онъ искренно улыбнулся бы слушая горькій споръ побагровѣвшаго бульдожки, что одна Россія велика и могущественна и одни русскіе люди, а остальное все дрянъ и нѣмцы собаки. Еще искреннѣе улыбнулся бы онъ, видя какъ Карелинъ болѣе часа любуется собой въ зеркало и не можетъ отойти: а отойдетъ, такъ о томъ только и рѣчи, что въ воскресенье онъ будетъ танцовать, и какъ лучше руку держать полькируя, повыше фертомъ въ бокъ или на отмашь. Ай, ай, какой практикъ! благосклонно пробормочеть неопытный наблюдатель, слушая какъ Моравинъ спорить и горячится, что лучше всего выйти въ казачье войско, получить есаула, да и перейти въ армію капитаномъ; получить майора, да и опять въ казачье войско, полкъ дадутъ, — и рассказываетъ по пальцамъ черезъ сколько лѣтъ можно дослужиться до генерала. Да, простодушному наблюдателю покажется все это наивно-дѣтски, но дѣйствительно ли такъ много въ этомъ наивно-дѣтскаго. Не выглядываетъ ли въ этомъ сѣмлячкѣ будущее деревцо, въ этомъ мальчикѣ не сквозитъ ли будущій человекъ. Сквозитъ, да еще какъ сквозитъ! Какъ нетрудно зоркому опытному глазу естествоиспытателя отгадать по зародышу будущаго червя. Истинная физиономія мальчика вся наружи. Она до дерзости смѣло проявляетъ все что глубоко таятся въ самыхъ темныхъ завитыхъ ея закоулкахъ. Она еще не знакома ни съ масками, ни съ полумасками. И ни время, ни люди, ни обстоятельства не струтутъ этотъ зарождающійся образъ. Онъ можетъ потускнѣть, поблѣкнуть, однѣ краски выступать яснѣе, другія полутонами, но типичныя черты, — черты его я переживутъ людей, время и

обстоятельства. И если вы, встрѣчая взрослога, не узнаете въ немъ когда-то близко-знакомаго мальчика и готовы уже вскрикнуть: «о, какъ ты измѣнился!»—погодите. Вы легко ошибаетесь. Вы невсмотрѣлись еще въ суть, въ зерно его. Вы дали слишкомъ большое значеніе случайнымъ, искусственнымъ и естественнымъ наростамъ, которые на первый взглядъ много измѣнили знакомую вамъ вѣкогда физиономію. Но обойдите эти наросты и она всецѣло предстанетъ предъ вами во всей своей первоначальной красотѣ, только форма ея поразитъ васъ своею законченностью и опредѣленностью, но вѣдь на то и время!

Но гдѣ же тѣ краски, тѣ матерьялы, изъ которыхъ слагается нравственный образъ будущаго человѣка. Часть его прирожденная лежитъ въ немъ самомъ, остальное собирается въ этомъ маленькомъ мірѣ. Оно лежитъ въ доктринахъ и догматахъ, которые громко и безостановочно бьютъ въ уши, въ нравственныхъ личностяхъ воспитателей, во всѣхъ мелочахъ и обстановкѣ этой замкнутой среды. Не широкъ ея нравственный кодексъ. Учись, будь прилеженъ, не шали, почитай старшихъ, исполняй безпрекословно волю начальства, — вотъ весь онъ, во всей его полнотѣ. И трубятся эти правила съ утра до поздней ночи, трубятся каждадневно, ежеминутно, и вѣрятъ воспитатели въ наивности и неопытности души своей, что свѣтла ихъ мораль и безконечноплодотворна, что добрымъ зерномъ падаетъ она на сердце и даетъ плодъ изобильный. Что не откуда занести вѣтру заразы на мягкія юныя сердца. Высоки стѣны, крѣпки замки. А не чувствуютъ они, что сами на каждомъ шагу лгутъ противъ себя; что помимо этой морали, видятъ зоркое дѣтское око другую въ ихъ послухахъ, въ ихъ словахъ, взглядахъ, дѣйствіяхъ; видятъ и слышатъ во многомъ томъ, что давно уже отказалось видѣть и слышать и нравственное ухо и нравственный глазъ воспитателя. Чужа дѣтскія сердца, что тѣсна, узка преслѣдующая насъ мораль, что съ этой моралью дальше крыльца заведенія не пройти, что впечатлѣніе ея близко къ впечатлѣнію холодной дрини, только безъ ея оживляющаго, освѣжающаго свойства. А сердце молодо, кровь быстро течетъ въ жилахъ, мозгъ дѣятельно работаетъ; во всемъ организмѣ чувствуется какая-то болѣзненная жажда чего-то такого что бы утолило и жаръ крови и дѣятельность мозга, а подносятъ безжизненное, неудобоваримое блюдо — сухую, казенную азбучную мораль, отъ которой болѣз-

ненно сжимается сердце, и умъ, какъ испуганная улитка, боязливо свертывается и уходитъ въ свою раковину. А жажда между тѣмъ неудовлетворена, и замечется бѣдная пчелка по нивѣ, ища душистаго меду; бросается она и на чертополохъ, и на бѣленутраву, и на блѣдную лилію и жадно съ болѣзненной истомой всасываетъ ея соки, забывъ, что они ядовиты... Жажда велика! И счастлива пчела, если въ густой чащѣ бѣлены и чертополоха, завидитъ она полевой горошекъ, душицу; о, какъ жадно прильнетъ она, съ какимъ сладостнымъ упоеніемъ пить она сочную медвяную воду. Какъ радостно, звонко шумитъ она свѣтлыми, прозрачными, блестящими крылышками. Какъ музыкально—сладостно ея жужжанье. Да, жажда пчелъ удивительна, а душистыми, сочными цвѣтами такъ бѣдна наша флора, Бѣдная пчелка! И еще жалуются на тебя, что горекъ и неизобилень медъ твоихъ сотѣвъ. Бѣдная пчелка, твоя ли вина!

И потекла моя жизнь тихо, ровно, однообразно. Когда я вспомню распредѣленіе нашего времени для занятій, мнѣ приходитъ въ голову странная догадка. Мнѣ начинаетъ казаться, что механикъ—строитель былъ руководимъ оригинальной мыслью подчинить каждую минуту времени своей волѣ и вліянію, чтобы помимо этого вліянія не могли, не имѣли мѣста и времени зародиться своеобразная мысль, своеобразное чувство. Онъ видимо дрожалъ и боялся, что вотъ—вотъ совершится страшное дѣло, выскочить человѣкъ изъ опредѣленной формы, — формы съ казеннымъ гербомъ и печатью, въ которую должны быть отлиты и мысль, и чувство, и благородство, и много—чего другого, и все это отлито по заранѣе утвержденному рецепту. Столько—то грань безпрекословнаго повиновенія начальству, столько—то уваженія къ старшимъ, столько—то и etc. и проч. и проч. И дѣйствительно, казалось бы такъ и быть должно. Какое тутъ самобытное развитіе. Только знай успѣвай готовить уроки да отвѣчать ихъ, а подумывать, поразмыслить, отчего вотъ этотъ герой поступилъ такъ, а не иначе, а подѣлиться своими загадками съ товарищами,—такихъ минутъ и часовъ не полагается. Позабылъ механикъ—строитель одну истину, что человѣческая природа, хотя бы и дѣтская, не такая вещь, которую можно бы было закупорить въ ящикъ,

хотя бы и съ желѣзными обручами. Такъ или иначе найдетъ выходъ, и благо если не разорветъ ящика, и не поранить осколками изобрѣтателя хитрой выдумки.

Зажмурю глаза и вижу я себя двѣнадцатилѣтнимъ мальчикомъ. Вечеръ подъ свѣтлый праздникъ. Всѣ, у кого есть родные или знакомые, въ отпуску. Насъ всего-на-всего изъ всѣхъ классовъ осталось девять человѣкъ. На лицахъ у всѣхъ написана смертельная скука. Угловая комната огромнаго дортуара слабо освѣщена моргающимъ ночникомъ и небольшою лампадкой передъ большимъ рогатымъ образомъ, а тамъ далѣе темнѣе и темнѣе, и наконецъ непроницаемая мгла, въ которую изрѣдка невольно впиваешься пристальнымъ взглядомъ и вдругъ быстро отвернешься не безъ чувства безотчетной боязни. Бѣлые наволочки подушекъ выдаются бѣлыми пятнами на черномъ фонѣ. Металлическія дощечки на койкахъ какъ-то тоскливо позвякиваютъ при неосторожномъ шагѣ на отставшую паркетину. Подъ влияніемъ мучительной скуки, какъ полуумные, кочуемъ мы съ койки на койку. Полежишь на одной, скучно, пойдешь на другую, все скучно, все мѣста не найдешь, гдѣ бы было веселье. Слова нейдутъ съ языка; у всѣхъ носы повѣшены. Подойдешь къ кому, спросишь что-нибудь и не нужное, такъ только чтобы заговорить, да такъ недождавшись отвѣта и уйдешь. Какъ-будто самъ чувствуешь, что сказалъ что-то ужъ очень неловкое. Изъ коридора слабо доносится монотонное всхлипываніе Мурашкина, да мѣрные тяжелые шаги Еропа Савича. Ему тоже не весело. Думалъ дома разговѣться, въ семействѣ, анъ нѣтъ, никто изъ холостыхъ смѣнить не захотѣлъ: не стоитъ, говорить, а тутъ еще Мурашкинъ разсердилъ.

Собралъ насъ Еропъ Савичъ въ кучку (вѣрно очень ужъ скука одолѣла), да и началъ рассказывать: какая онъ важная птица былъ въ столичномъ корпусѣ, какъ кадеты одного взгляда его боялись, а начальство уважало и въ примѣръ товарищамъ ставило. Потомъ сталъ поучать какъ слѣдуетъ кадету вести себя, чтобъ заслужить вниманіе начальства: — въ глаза смотрѣть весело, всякое приказаніе исполнять быстро, безпрекословно, неразсуждая и съ веселымъ духомъ. Вольнымъ духомъ отнюдь не заявляться, потому что черезъ вольный духъ все что есть дурнаго въ мірѣ произошло. Много, много чему доброму училъ Еропъ Савичъ, а глупенькій Мурашкинъ, пренаивное существо,

слушалъ, слушалъ да и брякнулъ съ вѣтру: «а намъ говорили, что вы Еропъ Савичъ, тамъ шпиономъ были.» И спохватился тотчасъ же, покраснѣлъ какъ ракъ, потомъ поблѣднѣлъ, да ужъ поздно было. Разсвирѣбѣлъ Еропъ Савичъ, оставилъ Мурашкина въ коридоръ къ дверямъ, пообѣщавъ розги, разругавъ его на чемъ свѣтъ стоитъ, да ужъ за одно и насъ всѣхъ обозвалъ негодеями и заходилъ по коридору темнѣе ночи. Мучительная тоска! Надо бы мѣдъ почистить, къ завтрашней поведутъ, да су-конка и щетка изъ рукъ валятся. Никто ничего не дѣлаетъ, никто слова не промолвить, какъ будто всѣ заранѣе согласились промолчать этотъ вечеръ. Одинъ Кореневъ дѣятеленъ, да и то молчаливо. Онъ успѣлъ уже пришить къ шароварамъ огромныя карманы до сапогъ и теперь устраиваетъ въ киворѣ перегородку изъ картона, и все плачется себѣ подъ носъ, какъ бы смятама сквозь бумагу не прошла. Кореневъ лакомка и надѣется при разговѣньи запастись завтракомъ на всю недѣлю.

Часы медленнымъ, хриплымъ басомъ пробили девять. Кто-то началъ считать вслухъ; съ послѣднимъ ударомъ и этотъ голосъ стихъ и опять настала мертвая, скучная тишина.

Вдругъ на койкѣ поднялся Барабинъ.

— Ухъ! долго еще не поведутъ. Экая тоска! Господа, идите ко мнѣ на койку разговаривать.

— И въ самомъ дѣлѣ пойдете, господа, проговорилъ я, повеселѣвъ отъ одной мысли, что говорить стануть. Нѣкоторые поднялись со своихъ коекъ, перешли на сосѣнія къ Барабину, но никто ни слова. Только Кореневъ страшно сапѣлъ за работой. Ну, приладилъ! сказалъ онъ весело, вздохнувъ всей грудью. Моховъ, ты къ Александру Васильичу разговляться?

— Да, отъ завтрашней къ намъ пойду, — просили.

— Смотри, братъ, у меня: безъ яицъ и кулича не ворочайся, и носу лучше непоказывай, — всѣ вихры намну.

— Я принесу, сказалъ я.

— То-то, ты я знаю молодецъ! Захочешь, такъ спроворишь. Эхъ, кабы яйца-то въ крутую, а то въ запрошлый годъ въ смятку подали, всѣ штаны перепортилъ. Хорошо кабы въ крутую! Кореневъ вздохнулъ и наступила тишина.

— Господа! давайте объ офицерахъ говорить, раздался чей-то голосъ.

— Ну-ихъ! проворчалъ Барабинъ... Молчаніе...

— Господа! мнѣ кажется Еропъ Савичъ не умный, сказалъ я, желая завязать разговоръ.

Барабинъ разразился хохотомъ.

— У, голова, братъ ты Моховъ! Шутка какую штуку смѣкнулъ. Никто и не зналъ безъ него, голова!..

Я сконфузился и замолчалъ.

— Одинъ Александръ Васильичъ изъ нихъ умный, а то все пустыя головы, докторальнымъ тономъ произнесъ Барабинъ. Никто ничего изъ предметовъ не знаетъ. Имъ только бы наказывать. Это небось ихъ дѣло—умѣютъ. А вѣдь посмотри какъ накинется на тебя, зачѣмъ неучишься, урокъ не приготовилъ. Подумаешь, что самъ—то весь предметъ на зубокъ вызудилъ, а ничего незнаетъ, ни попорядку, ни въ разбивку. Я напередъ нарочно Еропъ Савича выслушалъ, при всемъ класѣ, ейбогу. Позвольте, говорю, Еропъ Савичъ, спросить васъ: кто былъ Демосфень? — я не знаю.

— Ну чтожъ?.. слышались голоса.

— Разсердился и безъ двухъ блюдъ оставилъ, — не смѣй, говорить, приставать съ пустяками, а посмотри въ книжку: тамъ все прописано; вотъ они какіе. Ну, Александръ Васильичъ, — это другой человѣкъ.

— Это, господа, правду Барабинъ говорить, что Александръ Васильичъ умный, ужъ такой умный.

— Она его за то и не любятъ, что онъ умный, отозвался кто-то. Стыдно имъ передъ нимъ, такъ вотъ они и бѣсятся.

— Ахъ, какъ хорошо слушать, когда онъ съ верхнимъ классомъ спорить на дому у себя. Просто—вотъ какъ въ книгахъ печатаютъ, — чудо какъ хорошо.

— О чемъ это?

— Больше все о правдѣ. Что надо все по правдѣ дѣлать, что это первое на свѣтѣ, что... да я не умѣю такъ какъ онъ говорить, сказалъ я немного сконфузившись.

— Это, братъ, и безъ него знаемъ, что надо по правдѣ. А сама—то они по правдѣ чтоли дѣлаютъ. Веселый придетъ, такъ ничего еще, а сердитый такъ ни за что ни прочто накажетъ, только бы сердце сорвать по фантазіи своей.

— Нѣтъ, Александръ Васильичъ такъ не дѣлаетъ, — вступился я.

— Онъ не дѣлаетъ, такъ другіе дѣлаютъ. Вонъ Мурашкинъ

развѣ не правду сказалъ лгууну (всѣ засмѣялись), а смотри, пожалуется — худо будетъ. Вотъ она правда-то!

— Это ничего! заговорилъ я горячась. Значить онъ пострадалъ за правду. Это хорошо! это герой значить. Еслибъ ты послушалъ какъ Александръ Васильичъ говорилъ, какъ надо страдать за правду. Ахъ, какъ бы я хотѣлъ пострадать за правду.

— Ступай, скажи Еропу Савичу дурака, сказалъ Барабинъ, и пострадаешь.

Я опѣшилъ. Странное чувство овладѣло мной. Много подстрекательнаго было въ предложеніи Барабина. Я чувствовалъ, что меня тянетъ какая-то неодолимая сила пойти и сказать дурака. Миѣ казалось, что я такъ много выросту въ своихъ собственныхъ глазахъ, и глазахъ товарищей, и цѣлаго міра, когда поступлю такъ: скажу правду и пострадаю за правду. Миѣ чувствовалось, что это такъ хорошо, такъ красиво пострадать за правду, что я отвѣчалъ съ какой-то пріятной лихорадочной раздражительностью:

— И скажу дурака! думаешь не скажу, скажу! и я рѣшительно пошелъ изъ камеры. Чувства мои были въ какомъ-то полувосторженномъ настроеніи.

— Стой, стой! Куда ты, закричалъ Кореньевъ, ухвативъ меня за руку. Ты съ дуру и вправду брякнешь. Этого я братъ не хочу. Тебѣ географію вспишутъ, а я безъ кулича останусь. Раздался общій хохотъ. Я былъ сконфуженъ и оскорбленъ вмѣстѣ.

— Даю вамъ честное слово господа, заговорилъ я горячо, что послѣ праздниковъ я стану все дѣлать по правдѣ, и говорить одну правду. Если я не исполню: отдуйте меня всѣмъ класомъ. Слова эти были сказаны мною съ тѣмъ юношескимъ, горячимъ жаромъ и немножко торжественнымъ полутеатральнымъ голосомъ, какимъ вѣроятно клялись во время оно рыцари въ вѣчной, неизмѣнной любви своей любезной, преклонивъ передъ ней одно колѣно, отпрапляясь на войну съ невѣрными. Моя клятва не произвела особеннаго впечатлѣнія. Всѣ молчали, кто-то тихо засмѣялся, пробормотавъ: «храбрець!» И затѣмъ наступило молчаніе. Я нѣсколько разъ въ волненіи прошолся по камерѣ и легъ на койку. Всѣ мои мысли, чувства, помыслы сосредоточились въ одно болѣзненно-сильное желаніе, что поскорѣй бы миновали эти праздники, а тамъ я покажу имъ, что я не солгалъ. Я буду всегда стоять за правду! всегда! всегда!.. шепталъ я въ полуво-

сторженномъ забытьѣ... За это всё меня любить не стануть, наказывать стануть, пророчилъ я мысленно. За то Александръ Васильичъ любить станеть, папаша и мамаша стануть любить, товарищи тоже. Машенька узнаеть, что я пострадалъ за правду. Да, я покажу себя! Александръ Васильичъ говорилъ: кто любить Бога, тотъ больше всего долженъ правду любить. Я люблю Бога, и правду буду любить. За правду Иисусъ Христосъ пострадалъ, за то онъ и воскресъ; а тѣ, что мучили его, — невоскресли. Онъ и сегодня воскреснетъ. Господи, я всегда буду любить правду, всегда! — и слезы, вдругъ неожиданно брызнули изъ глазъ.

— Вставай озорникъ, будетъ нѣжится и такъ христову заутреню проспалъ, бестыдникъ, — ворчить няня, тормоша меня за руки.

Я вскочилъ съ постельки и стою передъ нею, съ заспанными, выпученными глазами.

— Няня! я къ заутрени хочу! шепчу я слезливо.

— Хотѣлъ бы, такъ послушалъ меня. Залегъ бы послѣ чая, какъ говорила, и прочухался бы до заутрени. Нѣтъ вишь, безъ васъ неизготовятся. Просили насъ бабы обнюхивать, да яйца считать. Имъ счетчикъ нашолся, не сочтутъ безъ него. Какъ можно, мы и безъ сна досидимъ, — таковскій досидѣлъ! А изъ-за тебя-то, нехристь ты этакій, и меня господь не сподобилъ встрѣтить святой праздникъ похристіански, молитвамъ да поклонамъ земнымъ. Валандайся тутъ съ тобой. Ну вставай скорѣй, — отъ заутрени скоро будутъ.

Мнѣ стало ужасно жаль, что няня черезъ меня не пошла къ заутрени, — я заплакалъ.

— Это еще что? Подъ этакій праздникъ нюни-то распустилъ. У! балованный! Умывайся скорѣй. Праздникъ-то заспалъ, да и рюмишь.

Я умываюсь свѣжей водой, и мнѣ вдругъ становится весело.

— Скоро, няня, вернутся, а? скоро?.. А что, куличи повесили святить, — мой понесли, няня? а что какова ночь?.. темная вѣрно; а солдаты придуть съ барабанами? Болтаю я безъ умолку, не ожидая отвѣта, потомучто совершенно увѣренъ, что и изъ церкви скоро вернутся, и маленькій куличъ, нарочно испеченный для меня, унесли святить и ночь непременно темная да тихая, какую я всегда видалъ подъ этотъ день, и солдаты придуть разговляться. Наскоро одѣвшись, я выскочилъ на крыльцо. Сыро-

ватый, влажный холод обхватил меня, я почувствовал бодрую свѣжесть на воспаленныхъ отъ сна щекахъ, и легкая дрожь пробѣжала по тѣлу. Приливъ сладкаго чувства заговорилъ у сердца. Сияя мгла наполняла весь воздухъ; густой свинцовой пеленой висѣла она въ верхнихъ слояхъ. Долго смотрѣть въ верхъ становилось жутко; оттуда какъ-будто глядѣлъ кто мильономъ невидимыхъ очей. Ни малѣйшаго дуновенія вѣтерка, покой необъятный.

— Уфъ, какъ хорошо да тихо, — подумалъ я, какъ вдругъ ударъ колокола потрясъ воздухъ, и дрожка и замирая, растаяла въ пространство. Раздался другой, третій, — и начался благовѣсть. Я невольно перекрестился. Сквозь непроницаемую мглу, по направлению къ площади, мелькнулъ огонекъ, другой, и послышался веселый говоръ. Изъ церкви идутъ! И я подпрыгнулъ въ восторгъ. Дѣйствительно огненные точки приближались и я сталъ уже различать разноцвѣтные фонарики и освѣщенные полосы лицъ и яркіе цвѣта праздничной парадной одежды, на которые падали случайно лучи отъ зажженныхъ въ рукахъ свѣчъ. Рѣчи становились слышнѣе, порой до уха долетала отрывистая фраза.

— Няня, няня! изъ церкви идутъ, закричалъ я, влетая въ залъ и остановился какъ вкопанный. По срединѣ комнаты стоялъ огромный столъ, покрытый бѣлою какъ снѣгъ скатертью. Старинныя хрустальные канделябры ярко освѣщали его, и чего-чего только не было на этомъ столѣ. Огромныя бабы, разряженныя въ яркія сахарныя краски, какъ боярыни важно занимали почетное мѣсто. Хорошенькій масляный барашекъ, съ коринковыми глазками и вѣточкой винограда во рту, умильно посматривалъ съ большой зеленой горки; медвѣжій окорокъ съ бантомъ изъ яркихъ, красныхъ лентъ, разливалъ такой задорный, аппетитный запахъ, что у меня слюнки потекли. Откормленный каплунокъ занималъ почетное мѣсто посрединѣ огромнаго блюда; вокругъ него смиренно лежали рябчики, куроцатки, тетерева. Только одинъ поросенокъ смотрѣлъ нѣсколько грустно. Его нѣжная, бѣлая кожа была блѣднымъ пятномъ на свѣтлояркой картинѣ. Мокрыя глазки испуганно закрылись, какъ будто надъ головой висѣлъ ударъ, и выраженіе мордочки вполне безпредѣльно-грустной ироніи. Ишь какой невеселый, не радъ празднику! И я далъ ему щелчокъ въ самый плечаекъ.

— А вѣдь всего этого не съѣмъ одинъ, размышлялъ я. Въ

день съѣшь, а вдругъ не съѣшь, — вѣтъ и въ день не съѣшь! Вотъ ахъ, яичъ—то однихъ сколько, гдѣ тутъ съѣсть! — а вотъ Герасимъ съѣлъ бы, онъ по цѣлому каравану хлѣба съѣдаетъ; и я потянулся къ золоченому яичку.

— Ступайте маменьку встрѣчать! послышался голосъ няни.

Я бросился на крыльцо.

— Христось воскресъ! Мамаша.

— Вонистину воскресъ! И она горячо обняла меня; — а за-
тѣмъ ты проспалъ, а Машенька не проспала, была въ церкви.

Мнѣ стало досадно и стыдно.

— Мамашенька, я побѣгу похристосоваться къ Машенькѣ, можно? Мнѣ ужасно хотѣлось похристосоваться; всю послѣднюю недѣлю я только и думалъ о томъ.

— Она сама сейчасъ придетъ къ намъ. — Я свѣта не взвидѣлъ отъ радости. Началось христосованье съ отцомъ, няней, дворовыми, которые вдругъ наполнили всю комнату. Всѣ они были такіе нарядные. Лица у всѣхъ такіа довольныя, свѣтлыя, веселыя, даже лоснятся. Чудо какъ хорошо.

— Папаша, теперь можно яичко? говорю я заискивающимъ, сладкимъ голосомъ, вертясь у стола.

— Подожди, пасху изъ церкви не принесли.

Это меня обезпокоило. Я сталъ безпрестанно выбѣгать на крыльцо и смотрѣть въ даль.

— Не несутъ! ахъ, какъ долго! Вдругъ раздался барабанный бой и къ дому стала приближаться толпа солдатъ. Я забылъ и розговѣнье.

— Папаша, папаша! Солдаты съ барабаномъ!

Отецъ вышелъ, сталъ христосоваться съ каждымъ и я за нимъ, потомъ вынесли свѣчь изъ комнаты, и я увидѣлъ большіе, длинныя столы съ куличами, пирогами, яичами и мясомъ. Няня стала одѣлать солдатъ водкой, поднялся веселый говоръ и смѣхъ. Небольшая отцовская команда каждый годъ угощалась на пасху. Я смѣло какъ свой разгуливалъ между солдатами, почти всѣ они были мнѣ знакомы и любили меня, и я уже успѣлъ заставить одного побожиться, что принесетъ завтра карточку. Мнѣ было чудо какъ весело. Я прыгалъ какъ козелъ, вбѣгалъ въ залъ, вертѣлся около стола, понюхивая то бабу, то сыръ, то окорокъ, снова летѣлъ на улицу, расхаживалъ между солдатами и снова бѣжалъ сломя голову, въ залъ.

Въ комнату вошелъ Петръ Герасимычъ съ Машенькой, и моя козлиная рѣзвость исчезла. Машенька была въ розовомъ платьицѣ; ея свѣжее личико оживлено веселой улыбочкой, которая ясно обозначалась двумя хорошенькими ямками на щочкахъ. Я стыдливо подошелъ къ ней.

— Машенька, давайте похристосуемся.

— Давай, Володя.

— Христось воскресъ!

— Воистину воскресъ! Она протянула ко мнѣ свои хорошенькія, свѣжія губки. Я громко чмокнулъ ихъ.

— Ухъ, хорошо! сказалъ я весело и засмѣялся.

— Будеть тебѣ дрыхнуть! вставай, сейчасъ поведутъ. Я вскочилъ съ постели и тарашу заспанные глаза. Передо мной стоитъ Барабивъ въ парадномъ платьѣ. Всѣ молча одѣваются. Дого-рающій ночникъ еле-еле моргаетъ, изъ коридора доносятся громкій плачь Мурашкина.

— Ахъ, это сонъ былъ, произвошу я съ грустью и начинаю торопливо одѣваться. Ведутъ насъ въ церковь. Таже странная, смущающая душу мгла разлита въ воздухъ, такъ же плавно текутъ и замираютъ звуки колокола, на щекахъ чувствуется таже сыроватая, прохладная свѣжесть, все, какъ во снѣ привидѣлось, только нѣтъ въ сердцѣ той свѣжей, бодрой радости. Какое-то темное, грустно-неуловимое чувство закралось въ душу. Плакать хочется, жаль чего-то, а чего—и сказать себѣ неумѣешь. И заплакалъ бы, да товарищей стыдно. Церковь полна народомъ, у всѣхъ въ рукахъ зажжонныя свѣчи и мы зажгли свои. Фараонова мышъ и тутъ остается вѣрна себѣ: безъ шпильки нельзя ни на шагъ. Помѣстился сзади какой-то барыни съ огромнымъ чепцомъ, дѣлаетъ видъ, что молится, а самъ чепчикъ ей поджигаетъ. Кореневъ ничего не видитъ, кромѣ куличей и пасохъ, принесенныхъ для освященія и поставленныхъ у клироса. Онъ такъ на нихъ посматриваетъ, какъ будто бы расчитываетъ мысленно, на сколько бы ему хватило того, другого, третьяго.

— Моховъ! Моховъ! посмотри-ка Кореневъ какъ юлитъ, спроворитъ онъ яйцо! шепчетъ мышъ.

Дѣйствительно куличи видимо занимають Коренева. Онъ не сводить съ нихъ глазъ. Разъ даже наклонился къ одному и повохалъ. Барабинъ молится молча и усердно, и все кладетъ земные поклоны. Я молюсь не молюсь. Чувства мои смутны и голова не свѣжа. Беспорядочныя, безсвязныя мысли быстро смѣняютъ одна другую. Что наши-то теперь? спрашиваю я себя. У заутрени вѣрно. Пріѣхалъ ли дѣдушка съ бабушкой? Еслибы дома былъ, червонецъ бы мнѣ подарилъ. Прошлый годъ онъ вмѣсто яичка червонецъ подарилъ. А все-таки онъ злой: бабушку не любитъ. Послѣ заутрени солдаты съ барабаномъ придуть. Игнатчикъ лучше всѣхъ выбиваетъ на барабанѣ. Какой это сонъ мнѣ сегодня приснился. Однако какъ скучно было вчера вечеромъ. Отчего это? Мурашкина и отъ заутрени оставили. Плачеть я думаю бѣдный. Одинъ онъ теперь во всемъ корпусѣ, дневальный спитъ, страшно ему. А вѣдь и вправду Кореневъ спроворить что-нибудь. Ишь какъ поглядываетъ. Ейбогу спроворить. Что это, какія мысли все мнѣ въ голову лѣзутъ! это грѣшно. Надо молиться. Молиться стану, — и я начинаю усердно креститься, но мысли неотстають и на сердцѣ тяжело.

«Христосъ воскрес!» торжественно огласилась церковь, и всѣ встрепнулись. Въ церкви какъ-будто стало свѣтлѣе, ярче горять свѣчи у образовъ и кресты на бѣлыхъ ризахъ священника, лица молящихся разцвѣли радостной улыбкой. Моя сосѣдка старушка, доселѣ клевавшая носомъ свѣчу, которая уже давно потухла въ ея рукахъ — приободрилась, подняла голову, перекрестилась, и алыя ленты зашумѣли на ея бѣломъ огромномъ чепцѣ. Какое-то отрадное чувство шевельнулось въ моемъ сердцѣ. Мнѣ вдругъ захотѣлось хорошенько помолиться и я сталъ усердно класть земные поклоны. На душѣ отлегло и докучныя мысли понемногу отстали.

Только что стали мы выходить изъ церкви, какъ я услышалъ громкое чваканье. Оглянулся. Кореневъ жадно ѣстъ яйцо чуть не со скорлупою. Экой обжора, подумалъ я и отправился къ Патрикеву. Они уже вернулись изъ церкви и приготовились разгавливаться. Ольга Петровна была чудо какая хорошенькая. Ея бѣлое, легкое, пышное платье смотрѣло на ней не просто платьемъ, а какимъ-то легкимъ воздушнымъ облакомъ, изъ котораго выглядывала обворожительная головка съ матовыми блѣдно-розовыми щечками, тонкими алыми губками, сложившимися

въ тихую, мягкую, удивительно-симпатичную улыбку и большими крохоткими голубыми глазами.

Она пошла ко мнѣ на встрѣчу такъ свободно, легко, какъ-будто шла не по полу, а по воздуху.

— Господи! что это за прелесть такая! подумалось мнѣ невольно. И ходить—то она не какъ всѣ... и не слышно, что идетъ. И мнѣ вдругъ вспомнились барыни, которыя я видѣлъ у завтраши и которыя страшно шумѣли своими юбками.

— Совсѣмъ на другихъ не похожа! рѣшилъ я.

— Ну, христось воскресъ! сказала она такимъ радостнымъ, свѣтлымъ голоскомъ, что мнѣ стало чудо какъ хорошо. Я краснѣя похристосовался съ нею и совершенно повеселѣлъ. За небольшимъ нарядно-убраннымъ столомъ сидѣли: Патрикѣвъ, блондинъ и Жоржъ. Всѣ были особенно одушевлены и веселы. Патрикѣвъ ѣлъ съ большимъ аппетитомъ, часто наливая вина въ рюмку себѣ и другимъ. Онъ даже заставилъ меня выпить полрюмки. Блондинъ почти не ѣлъ, но все улыбался своей доброй улыбкой и посматривалъ украдкой на Ольгу Петровну. Жоржъ болталъ безъ умолку и тутъ же составилъ програму удовольствій на будущіе праздники. Всѣмъ было весело, хорошо очень хорошо! Вино ли подѣйствовало на меня, на душѣ ли было такъ свѣтло, но я почувствовалъ сильную потребность сердечныхъ изліяній и тутъ же шопотомъ, сообщилъ по секрету Жоржу, что послѣ праздника хочу пострадать за правду и съ поведѣльника всѣмъ стану говорить правду въ глаза. Жоржъ не церемонился сообщить мое рѣшеніе всему обществу, что меня очень сконфузило. Къ счастью прошло оно совершенно незамѣченнымъ. Только Патрикѣвъ нѣсколько разъ въ продолженіе завтрака пристально всматривался въ меня, и это меня смущало. Я улегся въ спаленкѣ Жоржа и сладко заснулъ.

Стою я одинъ среди безконечно-необозримаго поля. Меня кто-то жестоко огорчилъ, я убѣжалъ отъ него, бѣжалъ, бѣжалъ и очутился въ полѣ. Невысокая трава выжжена солнцемъ, ни деревца, ни кустика, глазъ теряется въ необъятной дали. Воздухъ тяжолъ и удушливъ. Небо совершенно чисто, ни облачка, но цвѣтъ его неестествененъ, въ первый разъ я вижу такой: онъ изобрѣ-зеленоватъ. Солнце смотритъ тусклымъ пятномъ кроваво-багроваго цвѣта, — ни лучей, ни тепла отъ него. Морозъ пробѣгаетъ у меня по кожѣ. Мнѣ стало жутко. Хочу подать го-

лестъ и боюсь. Но вотъ на горизонтѣ мелькнула черная точка, ближе, ближе... большая черная собака. Она бѣжитъ прямо на меня, визжитъ и виллетъ хвостомъ. Обрадованный бѣгу я къ ней навстрѣчу и вдругъ останавливаюсь. Глаза ея смотрять на хорошо. Что-то злое, предательское свѣтится въ этомъ завсичивающемъ ласкающемъ взглядѣ. Боже, эти глаза знакомы мнѣ, ихъ видѣлъ... такъ точно... это его глаза, его, и лицо его. Я задрожалъ, кровь похолодѣла, мнѣ стало страшно. 'Собачка! собачка! говорю я дрожащимъ, прерывистымъ голосомъ, стараюсь его сдѣлать мягкимъ и ласковымъ. А! собачка! отвѣчаетъ собака груднымъ, надорваннымъ смѣхомъ и захохотала. Передо мной стоитъ Еропъ Савичъ, уставилъ на меня свои скварные глаза и смѣется. Что? ты за правду пострадать хочешь... Поидемъ, вотъ я тебя пострадаю. Неси ребята розги за мной. Оглядываюсь: стоятъ позади меня служители наши Сидоренко и Карповъ, у одного подъ мышкой розги, у другаго скамейка. Поидемъ братъ поидемъ, и Ерповъ Савичъ беретъ меня за руку. За что, за что? спрашиваю я замирающимъ голосомъ, слѣдуя за нимъ. За что! раздастся свадъ меня, и страшный хохотъ оглашаетъ воздухъ. Гляжу: въ кучкѣ стоятъ наши офицеры и инспекторъ, смѣются и пальцемъ на меня показываютъ, а кругомъ все тоже поле, таже мертвая гнетущая тишина, только въ самомъ центрѣ багроваго солнца выступило черное пятно, и я вижу какъ она медленно рететь. Ужась обхватилъ мнѣ душу. Я не дамъ ни за что, кричу я задыхаясь и вдругъ вускаюсь по полю. Лови! лови его! кричатъ. Свистъ, тамъ несется свадъ меня; но я бѣгу, бѣгу... какая-то сверхъестественная сила и быстрота чувствуется въ ногахъ. Я бѣгу, бѣгу, чувствую что почва шатается подъ ногой и лечу стремглавъ въ пропасть. Сердце ёкнуло. Отчулся. Лежу я на берегу широкаго пруда; поверхность его гладка какъ зеркало, а вода такъ чиста и прозрачна, что разноцвѣтные камешки дна его горять и искрятся отъ солнечныхъ лучей. Высокія отвѣсныя скалы обхватываютъ прудъ со всѣхъ сторонъ. Яркая зелень покрываетъ ихъ бархатнымъ ковромъ. Она такъ сочна, что кажется вотъ-вотъ лопнуть стволы и брызнуть соки. Огромные куски нахровыхъ ровъ свѣспились къ самой водѣ, вѣтки ихъ волько-что пезадвѣваютъ поверхность воды. Въ воздухѣ удивительная музыка. Хорошенькія птички съ розовыми крылышками и жолтенькія золотистыя головки такъ и рѣютъ. Господи, господи!

какъ хорошо-то, шепчу я и поднимаю глаза къ небу. Ключокъ ярко-голубого неба виситъ надъ прудомъ. Но вотъ точно сорвалось съ него легкое облако и быстро несется къ пруду. Я слышу даже легкій шумъ отъ полета. Боже, что это оно летитъ прямо на меня. Въ глазахъ мелькаетъ нѣжный женскій обликъ. Огромныя крылья, легкія, прозрачныя, точно сотканныя изъ розоваго воздуха, съ золотистымъ отливомъ, какъ-то сладко шумятъ въ воздухѣ. Спустились, и передо мной Ольга Петровна. Она вся какая-то прозрачная, точно не тѣло у нея; но это она, ея святая, ангельская улыбка и добрый свѣтъ голубыхъ глазъ. Она обнимаетъ меня однимъ крыломъ и шепчетъ, сладостно шепчетъ. Ея лепетъ напоминаетъ мнѣ шумъ воды родного ключа на зорѣ, когда онъ бѣжитъ по розовымъ камешкамъ. Она шепчетъ: «Я за то къ тебѣ прилетѣла, что ты за правду страдать хочешь, обними меня, — обними!» Жадно протягиваю я руки для объятій и остаюсь какъ окаменѣлый. Она исчезла, и озеро и кусты розъ и звонкій голосъ птичекъ — все исчезло. И стою я опять одинъ по срединѣ мертваго поля и горько плачу.

— Охъ, какой ты соня, Моховъ! вставай! будить меня Жоржъ и я поднимаюсь на ноги.

Весело, незамѣтно пробѣжали первые три праздника; но по мѣрѣ того, какъ близился срокъ отпуска, мысль о корпусѣ, учителяхъ, классахъ, чаще и чаще отравляла беззаботную веселость. Зашапишься бывало, себя не помнишь отъ рѣзвости, да какъ мелькнетъ мысль, что вотъ всего-то два дня осталось, — и носъ повѣсишь, и куда веселость дѣнется. Послѣдній день и на праздникъ не походилъ, — хуже всякихъ буденъ. Такъ и грызетъ душу дума, что вотъ вечеромъ въ корпусъ, и пойдутъ съ завтрашняго дня класы, фронтъ, ученья; по утрамъ вода настоянная вѣниками и называемая чаемъ, за обѣдомъ прогорклое масло, тухлая говядина, а тутъ еще учительскія распеканья, начальническія внушенія, скучныя, однообразныя, безконечно-казенныя. А въ отпуску-то какъ хорошо; и поѣшь въ волю и выспишься въ волю; никто до зори не разбудитъ; а какіе разговоры велись съ Жоржемъ! Я чувствовалъ, что я какъ-будто поумнѣлъ за время отпуска. Я только что не плакалъ отъ тоски и горя, входя въ давно знакомые дортуары. Настало и утро понедѣльника. Сонныя, скучныя, сами не свои сошли мы внизъ и размѣстились по класамъ. Каждый какъ-будто мысленно прощаясь съ празд-

никомъ, съ тяжолымъ чувствомъ въ груди, приступалъ къ обыкновеннымъ скучнымъ занятіямъ. Ни одного веселаго лица. Всѣ какъ въ воду опущенные. Памятевь миѣ этотъ поведѣльничекъ. Пришлось миѣ *пострадать за правду*, да такъ, какъ и не воображалось. Только-что развели насъ по класамъ, — начались справки, что задано.

— Изъ географіи господа много, всю Америку, цѣлыхъ пять билетовъ.

— Не готовить! рѣшилъ кто-то, проучимъ его, а то избаловался рябчикъ!

— Сказать, что два билета задано. Билеты маленькіе, можно приготовить, подсказала фараонова мышь.

Мысль его пришла съ всѣмъ по душѣ.

— Ну, господа! не выдавать! Кто и приготовилъ, не отвѣчать больше двухъ билетовъ! Идетъ!

— Идетъ! рѣшили всѣ.

Вошелъ учитель географіи (по кличкѣ — рябчикъ), маленькая фигурка, всегда надушонная пачулю, чопорная, съ жеманными, противными манерами и кисленькимъ голоскомъ, съ крохотной завитой головкой, неподвижно лежащей между высокими тугонакрахмаленными воротничками, которые онъ цестовалъ и лелѣялъ какъ нѣжнолюбящая мать своего первенца. Мы, школьники, скоро подиѣтили слабость его къ воротничкамъ и отравляли его жизнь безпрестанно напоминая, что правый или лѣвый воротничекъ помять. Рябчикъ начиналъ суетиться; лицо его принимало пугливо-озабоченное выраженіе, а правая рука съ легкимъ дрожаніемъ начинала осторожно расправлять мнимо-помятый воротничекъ. Шесть лѣтъ мы, дѣти, пристально слѣдили за нимъ, повернуть ли онъ куда голову, отзываясь на чей-либо зовъ или крикъ, и недождались... Разъ было посягнулъ онъ въ страхѣ (ему закричали, когда онъ грѣлся у печки, что у него оалда фрака горитъ), помять свои воротнички... но и тутъ... остался себѣ вѣренъ... и по обыкновенію быстро поворачиваясь всѣмъ корпусомъ направо и налево — тоскливо воцилъ: «потушите, господа, потушите!»

— Ну-съ господа, о чемъ у насъ сегодня рѣчь?.. спросилъ рябчикъ, входя.

— Два билета: семнадцатый и восемнадцатый, — отозвался Барабинъ.

— Что это значитъ, господа! Вы шутить изволяете со мной... не совѣтую... я задамъ пять билетовъ.

— Нѣтъ-съ... два задали, отозвался весь классъ.

Рябчикъ вспыхнулъ.

— Это что... заговоръ, бунтъ! вы осмѣливаетесь лгать... и кому же, мнѣ?..

Лгать? лгать! мелькнуло у меня въ головѣ. А я хотѣлъ съ поведѣльника по правдѣ идти... Вѣдь онъ въ самомъ дѣлѣ адалъ пять; я самъ слышалъ, — значитъ я солгу, когда скажу, что два билета... значитъ я не по правдѣ сдѣлаю... А еще при всѣхъ побожился, что я съ поведѣльника буду по правдѣ дѣлать, и Жоржу при прощаніи побожился. Эти мысли съ быстротою молніи быстро слѣдовали одна за другою. Тревага наполнила грудь. Господи, какъ дѣлать... что мнѣ дѣлать! шѣтъ, а скажу что пять задано, по правдѣ поступлю; а классъ? весь классъ возстанеть... а?

Между тѣмъ рябчикъ бѣгалъ по скамьямъ отъ одного къ другому съ вопросомъ «сколько задано?», получалъ въ отвѣтъ «два», подходилъ къ слѣдующему, — тотъ же вопросъ и отвѣтъ, и такъ далѣе.

— Сколько? спросилъ онъ меня.

Странное чувство овладѣло мной, я былъ какъ въ лихорадкѣ. Смутное сознаніе говорило мнѣ, что сказать правду когда всѣ согласились солгать, какъ-то ужь очень не ловко, но въ то же время во всемъ организмѣ чувствовалось какое-то непреодолимое желаніе сказать правду, какая-то неповиная сила толкала меня на это. Чѣмъ кончилась бы борьба, не знаю, еслибы губы какъ-то невольно сами не произнесли глухо: — «пять!»

Эффектъ былъ чрезвычайный. Рябчикъ подпрыгнувъ отъ восторга. По классу раздался громкій ронеть, до слуха моего долетѣло энергическое «подлецъ».

Я вспыхнулъ. Мнѣ стало такъ горько, такъ стыдно, что всѣ предметы помутились въ глазахъ. Въ головѣ зашумѣло... Подлецъ! звучало у меня въ ушахъ... Да, я подлецъ, я выдалъ классъ, шепталъ я... Но вѣдь я по правдѣ... Что жъ это такое правда? Я совершенно смутился, мысли перепутались, и я хотѣлъ уже отказаться отъ своихъ словъ...

— Отвѣчайте мнѣ пятый билетъ! сказалъ рябчикъ.

Отвѣчать мелькнуло у меня въ головѣ, я знаю, я на праздни-

какъ приготовилъ; но вѣдь мы сговорились только два отвѣчать, значить я буду обманщикъ, подлець; — при этомъ словѣ ознобъ пробѣжалъ по спинѣ, — нѣтъ, я не стану, я не обману класа... я только по правдѣ сказалъ, что пять задано, а отвѣчать не стану, рѣшилъ я мысленно. И этотъ странный силогизмъ какъ-будто приободрилъ меня.

— Я знаю только два! и оглянулся на класъ... Я ждалъ одобренія, но встрѣтилъ одни насмѣшливые, презрительные взгляды.

— Какъ! вы знаете, что задано вять, а приготовили два? Прекрасно. Вижу-съ, все вижу-съ. Вы всему коноводъ... вы первый бунтовщикъ. Прекрасно-съ, это вамъ не пройдетъ даромъ! Я рябчикъ выбѣжалъ изъ класа. Пришолъ инспекторъ. Сталъ кричать на меня. Кричалъ долго, громко; но что онъ кричалъ, я не понималъ. Мысли мои были перепутаны, чувства смутны, я сознавалъ только, что выкинулъ какую-то очень нелѣпую и дикую штуку. Меня отвели въ карцеръ и заперли.

— А! ты еще не пробовалъ этой клѣточки, а вотъ попробуй, такъ перестанешь бунтовать! весело проговорилъ, какимъ-то гадкимъ, злораднымъ голоскомъ, Ерошъ Савичъ, повертывая ключъ въ замкѣ. Вошелъ я въ карцеръ, въ страшномъ, оупѣломъ состояніи. Ни одной свѣжей, успокоительной мысли не выжму изъ головы, — тяжело, скверно! Съ отчаяньемъ въ сердцѣ опустился я на голую деревянную скамью и понурилъ голову. Чтожь такое я сдѣлалъ? за что меня посадили! Чѣмъ же я больше другихъ виноватъ, а наказали одного, быстро задавались вопросы. Я пытался проникнуть въ смыслъ моего поступка. Я уже чувствовалъ смутно въ немъ какую-то неопредѣленную двойственность. Вѣдь я по правдѣ поступилъ, значить хорошо сдѣлалъ... Ну, а товарищи!.. вѣдь я имъ измѣнилъ, вѣдь согласился не выдавать, а я выдалъ... значить не по правдѣ... значить я обманщикъ, подлець!.. Я самъ испугался своего вывода. Мнѣ вспомнились тѣ насмѣшливые, полные презрѣнія взгляды, съ которыми встрѣтился я неожиданно, когда обратился къ класу, и на сердцѣ стало еще тяжелѣй... Но вѣдь рябчикъ на самомъ дѣлѣ пять задалъ... значить еслибы я сказалъ два... значить я солгалъ бы... значить я тогда тоже былъ бы подлець... Мысли мои путались, никакого утѣшительнаго выхода. Я легъ на скамью, подложилъ подъ голову руку и предался самымъ без-

отраднымъ чувствамъ. Не знаю какъ случилось, я заснулъ, и когда открылъ глаза, въ комнатѣ уже было темно. Неприятная дрожь пробѣжала по тѣлу; мнѣ стало жутко. Оставаться въ темной комнатѣ одному всегда было для меня страшной нравственною пыткой. Помню, какъ отецъ, желая побѣдить во мнѣ это странное, безотчетное чувство, вводилъ меня за руку въ пустой залъ. Какъ ни былъ я до того веселъ, а страхъ вдругъ охватывалъ меня. Я начиналъ дрожать. Въ темныхъ углахъ залы мнѣ видѣлись какія-то грозныя очи съ стальнымъ, холоднымъ взглядомъ, и бѣлыя длинныя волнистыя бороды. Пробѣжи въ то время мышка, я кажется упалъ бы въ обморокъ. Но вотъ мы повернулись, чтобъ выйти изъ зала, и страхъ еще сильнѣе обхватывалъ разстроенное воображеніе. Я только-что не слышала шума, но чувствовалъ, какъ всѣ эти невидимые жильцы угловъ и запечниковъ бросились за мной въ догонку. Сердце замирало отъ ужаса. Стыдясь своего страха, я сталъ пытливо всматриваться въ темные углы карцера, стараясь увѣрить себя, что ничего и никого тутъ быть не можетъ; но страхъ бралъ свое помимо моей воли. Я уже начиналъ чувствовать легкое трепетаніе сердца. Я нарочно заплѣлъ, чтобъ развеселить себя, прогнать тѣ странные, неопредѣленные образы моего разстроеннаго воображенія, которые уже начали выглядывать изъ угловъ сѣрыми неопредѣленными пятнами. Я чувствовалъ, что скоро, скоро они примутъ болѣе опредѣленную форму, засмотрятъ на меня холодные стальные взоры, замелькаютъ бѣлыя, какъ лунъ, бороды. Я заплѣлъ; но голось оборвался на первой нотѣ. Онъ такъ болѣзненно-глухо прозвучалъ въ моихъ ушахъ, въ немъ слышалось столько сдержаннаго страха, что я еще болѣе оробѣлъ.

— Стану думать о нашихъ, — о маменькѣ стану думать, рѣшилъ я, настраивая себя всѣми силами души къ воспоминаніямъ; но онѣ не шли, а глаза еще съ большимъ беспокойствомъ смотрѣли въ темные углы карцера. Вдругъ въ залѣ раздался звукъ мѣрныхъ шаговъ, я вздрогнулъ. Дверь скрипнула и Еропъ Савичъ со свѣчей въ рукахъ сталъ передо мною.

— Что весело, буйтовщикъ! Хе-хе-хе...

— Выпустите меня, проговорилъ я глухо: — я боюсь, мнѣ страшно.

— Хе-хе-хе! Такъ тебѣ и надо, уважай старшихъ... не гру-

бянь. Вотъ ужю ночью къ тебѣ черти придуть, — еще страшнѣе будетъ.

Я вздрогнулъ.

— Что, трусишь?.. хе-хе... блудливъ какъ заяцъ, а трусливъ какъ кошка. Я велѣлъ тебѣ принести хлѣбца и водицы.

— Я не хочу ѣсть... Позвольте, я завтра не буду весь день ѣсть... Цѣлую недѣлю не буду ѣсть, только выпустите; — мнѣ страшно.

— Да ты что, братецъ, учить чтоли меня вздумалъ какъ тебя наказывать. Смотри, я не изъ шутливыхъ... Я и на цѣлую недѣлю законопачу. И онъ сталъ затворять дверь. Злость, досада обхватили меня.

— Вы меня не выпустите? спросилъ я съ какой-то угрозой и озлобленіемъ.

Онъ опять отворилъ дверь.

— Что, вѣрно трусишь чертей, а? Здѣсь, братецъ, и мертвецы ходять.

Я дрожалъ какъ въ лихорадкѣ.

Ключъ щелкнулъ въ замкѣ и снова звуки мѣрныхъ шаговъ раздались въ воздухѣ. Я всталъ со скамейки и началъ ходить по карцеру.

— Нажалуетса онъ опять на меня... Пускай жалуетса... Я понравѣ поступилъ... Я небоюсь... Теперь и страху у меня нѣтъ, вдругъ пришло мнѣ въ голову и я повеселѣлъ. Чертями страдать вздумалъ, дуракъ... Эй, вы, черти! выходите! я не боюсь, я васъ всѣхъ побью, закричалъ я въ веселомъ азартѣ.

Вчера я пострадалъ за правду! была моя первая мысль, когда я открылъ глаза, — и мнѣ стало весело. Какое-то отрадное чувство самодовольства наполнило мнѣ грудь, когда сторожъ открылъ дверь карцера. Мнѣ вспомнилась еще недавно заученная исторія «Иосифа прекраснаго». Карцеръ взглянулъ египетской темницей. Какъ и онъ я безвинно былъ заключенъ, мелькнуло въ головѣ. Я чувствовалъ себя какъ-то особенно хорошо, какъ-то особенно былъ доволенъ собой.

— Молодецъ! какъ общалъ, такъ и слѣлалъ. Съ понедѣльника же началъ за правду страдать. Страданіе за правду ле-

жало передъ моими глазами какимъ-то душистымъ лучемъ въ розовомъ сіяніи загорающейся зори. Причесываясь передъ зеркаломъ, послѣ умыванія, я невольно замѣтилъ, что на моемъ лицѣ какъ-будто прибавились новыя черты, какъ-будто выраженія его сдѣлались полнѣе, осмысленнѣе .. Въ глазахъ свѣтилось довольство и чувство собственнаго достоинства. О горе! я уже начиналъ цѣнить себя... рисоваться собою передъ самимъ же собою. Съ небывалой дотолѣ увѣренностью, что я не просто такъ-себѣ, какъ и всѣ, вошелъ я въ класъ, и подошелъ къ Барабину съ вопросомъ что задано изъ исторіи. Барабинъ замѣтно сконфузился и молчалъ. Я повторилъ вопросъ, онъ покраснѣлъ, молча уткнулъ носъ въ книгу и завертѣлся на своемъ мѣстѣ. Озадаченный я посмотрѣлъ на него съ удивленіемъ. Волчокъ, сидѣвшій съ Барабинымъ рядомъ, торопливо убиралъ со стола тетради, съ видимой цѣлью покинуть свое мѣсто; онъ тоже былъ какъ-будто не въ своей тарелкѣ. Все это не ускользнуло отъ меня.

— Волчокъ! что задано?

Волчокъ не отвѣчая, подошелъ къ кому-то на задней скамейкѣ. Я, совершенно потерянный, обвелъ изумленными глазами класъ.

— Съ подлѣцами не разговариваютъ, отозвался Іуда, напротиво улыбайсь.

Мнѣ стало все ясно. Кровь застучала въ вискахъ.

— Такъ я подлецъ по вашему? Я — подлецъ, громко закричалъ я класу, задыхаясь отъ сильнаго волненія. Вы подлецы, а не я! Вы, вы!.. Я сказалъ правду... а вы — солгали... значить вы подлецы... Вы сговорились не говорить со мной! Я самъ съ вами говорить не стану... Вы не стойте, чтобъ съ вами разговаривать. Я знать васъ не хочу... Я неуждаюсь въ васъ... меня не испугаете. А ты Іуда!.. ты такъ на всю жизнь останешься Іудой. Ты первый подлецъ въ класѣ.

Злость перехватила мнѣ горло, я замолчалъ и заплакалъ отъ злобы, горя, оскорбленія. Ни одного слова, ни одного возраженія на мои ругательства. Всѣ, какъ бы сконфуженные, молчали. Одинъ Іуда позеленѣлъ отъ злости, бросилъ вокругъ вызывающіе взгляды, но все молчало...

.....

Обыкновенный порядок будничной жизни был для меня нарушен. Вызовъ былъ принятъ и для меня началась та тяжелая нравственная пытка, которую естественно испытываетъ членъ семьи, отъ котораго вся семья его отвернулась. Первое время мнѣ было тяжело, больно и досадно. Тяжело тѣмъ болѣе, что я не чувствовалъ себя виноватымъ. За что, за что? спрашивалъ я часто себя, и терлся. Нѣтъ! тутъ что-нибудь да не такъ, чьи-нибудь штуки.

Въ одинъ изъ первыхъ дней ссоры, когда я печально, похвѣвъ носъ, одиноко разгуливалъ по коридору, ко мнѣ подошелъ Лизалинъ, воспитанникъ старшаго класса, известный болтунъ и слезливикъ.

— Что, братъ, Моховъ! Видно Иуда подпустилъ тебѣ жучка на славу... носъ-то повѣсивъ.

— Какого жучка?

— А съ классомъ-то раскорилъ. Это его, братъ, штуки. Ужь ты повѣрь мнѣ; я никогда не лгу. Ужь и старался онъ въ ту ночь, какъ тебя въ карцеръ заперли.

— Можетъ и не онъ, а всѣ. Затѣмъ ему, отвѣчалъ я.

— Онъ! Выбогу онъ! Вотъ тебѣ Христось! Я никогда не лгу. Онъ! Ему досадно, что ты по вѣдомостямъ его догналъ; боялся, что на экзаменахъ пожалуй перескочишь. Мнѣ онъ самъ говорилъ. Онъ боялся, что ножку тебѣ подставитъ. Съѣдетъ, говоритъ, Моховъ подъ гору. Только бы классъ не сталъ съ нимъ говорить, а то срѣжется.

— Не вѣрю я тебѣ Лизалинъ, ты на всѣхъ наговариваешь, обманывалъ я, и быстро отъ него отвернулся. Тѣмъ не менѣе слова его заставили меня призадуматься, а нѣкоторыя обстоятельства убѣдили меня, что Лизалинъ на этотъ разъ не лгалъ. Большая часть класса вела себя относительно меня, очень странно. Исключая Иуды, я позабытъ на махѣмъ злобы, даже недоброжелательства со стороны кого-нибудь. Напротивъ всѣ какъ-будто были склонены, ежились и старательно избѣгали моей встрѣчи даже взгляда. Видимо имъ было совѣстно передо мной. Они какъ-будто сознавали, что были неправы, поступивъ такъ же-мнѣ. Заговорить со мной однако никто не рѣшался. Замѣтно было лишь некое чье-то влияние. Мнѣ было не трудно угадать, что это дѣло хитраго, вкрадчиваго, льстиваго Иуды... Но когда классъ мой отыскивалъ нужное мнѣ руководство или атласъ, они

съ замѣтной предупредительностью, конфузаясь и опуская глаза, подавали его мнѣ, какъ—будто желая тѣмъ искупить передо мною свою несправедливость. Претендовать на нихъ зато Иуда не могъ по нашимъ корпуснымъ понятіямъ. Они слово держали, не говорили со мной. Прошла недѣля такихъ отношеній и я поуспокоился, сталъ равнодушнѣе. Во мнѣ даже явилась довольно твердая увѣренность, что это такъ и быть должно. Кто идетъ за правду, тотъ ото всѣхъ будетъ страдать. Самъ Патрикѣевъ говорилъ такъ верхнему класу. Я уже начиналъ на себя поглядывать какъ на мученика, на что-то исключительное, непохожее на другихъ, а на класъ, какъ на толпу. Хотя эти представленія смутно ходили въ головѣ и сердцѣ, но самолюбіе уже пустило ростки. Я уже начиналъ учиться владѣть собою. Какъ иногда ни становилось мнѣ тяжело мое отношеніе къ класу, у меня хватало воли казаться равнодушнымъ. Вскорѣ маска равнодушія получила даже оттѣнокъ пренебреженія, презрѣнія. Корпусный терминъ: «я въ васъ неуждаюсь, я безъ васъ обойдусь», наипрѣнне сквозилъ въ каждомъ моемъ взглядѣ, словѣ, движеніи. Съ одной стороны размолвка съ класомъ принесла мнѣ значительную пользу. Оставленный одинъ-на-одинъ съ самимъ собою, я сначала отъ скуки, и потомъ войдя во вкусъ, сталъ серьезно заниматься уроками, много думать, еще больше читать. Жоржъ снабжалъ меня книгами. Большею частью это были путешествія, къ которымъ я пристрастился до мани. Въ этихъ книгахъ описывалось все такое чудное, странное и страшное, совсѣмъ непохожее на все что я зналъ и видѣлъ прежде. Въ нихъ такъ хорошо говорилось о далекихъ странахъ, гдѣ зимы не бываетъ, гдѣ небо всегда голубое—разголубое, гдѣ и птицы, и звѣри, и травы роскошнѣе и наряднѣе нашихъ. Часто всласть начитавшись на ночь такой книги, я всю ночь на пролетѣ гонялся по этимъ роскошнымъ, тропическимъ полямъ, за райской птичкой, за хорошенькой колибри забирался въ густую чашу гигантскаго камыша, но вдругъ собачій лай алигатора обхватывалъ меня ужасомъ... Тяжелая голова его, страшно пощелкивала зубами, а зеленые глаза смотрятъ также скверно какъ у Ерошъ Савича, какъ—будто бы заранѣе лакомься моимъ мясомъ... Я нестерпиво вскрикивалъ и просыпался. Книжки Жоржа дразнили и разнаивали мое воображеніе, и безъ того всегда неспокойное и пугливое. Отъ Патрикѣева и Жоржа я скрылъ мои отношенія къ класу.

су. Сказать о них походило бы на жалобу, а жаловаться на кого бы то нибыло и за что бы нибыло, мнѣ всегда казалось самымъ дурнымъ дѣломъ. Ктому же и самолюбіе мѣшало. Жалуются, значитъ сознаеть, что безсиленъ, а покаяться въ своемъ безсиліи мнѣ было всегда горько и обидно. Пятилѣтнимъ мальчикомъ я выплакивалъ на единѣ оскорбленія, толчки и щипки сильнѣйшихъ товарищей, когда не хватало средствъ потлгаться съ ними; но жаловаться никогда не жаловался. Даже передъ самимъ собой сознаться въ безсиліи мнѣ было тяжело и я всегда старался обойти этотъ вопросъ. Къ счастью обстоятельства помогли скрыть дѣло. Патрикѣевъ заболѣлъ и пролежалъ въ постели почти все время моей ссоры, иначе отъ него бы она не скрылась. Кончилась же она такъ же странно какъ и началась. Страданіе за правду покорило меня, страданіе за правду и помирило.

Наступили экзамены. Даже привычный глазъ съ трудомъ увидеть нашъ класъ. Мы ли это? всегда шалуны, школьники, всегда неустовые лѣнтяи. Дѣятельность изумительная; не класъ, а фабрика. Весь день на-пролетъ въ ухахъ стучить ти, ти, та, та, та. Это такъ-называемые зубрилки (они составляютъ значительное большинство) готовятся къ экзаменамъ. Передъ каждымъ изъ нихъ тетрадка, глаза зажмурены (чтобъ не соблазнился тетрадкой) шея вытянута, языкъ безъ остановки, какъ колесничій жорновъ — трещить на память. До свѣжаго уха иногда долетаетъ фраза, лишонная всякаго смысла, но зубряшка не дотого: онъ за смысломъ не гонится. Его задача выучить до тла (вызудить, по техническому выраженію), чтобъ безъ ошибки протрещать урокъ. Тпру! тпру!.. остановить его какой-нибудь школьникъ изъ солидныхъ, дернувъ за рукавъ въ самомъ разгарѣ *выкусыванья*. Зубряшка вскакиваетъ, бѣсится, бранится, жалуется, что ему не даютъ дѣломъ заняться, и усаживаясь снова, начинаетъ та-та-та-та-та, только непремѣнно сначала вопроса. Продолжать отвѣтъ онъ уже не можетъ, — его смущали, сбили, апломбъ потерялъ. Онъ непремѣнно спутается, если не начнетъ сначала. Другіе (весьма немногіе) приготовляются къ экзамену болѣе солиднымъ образомъ. Сидятъ они человѣка четыре въ кружкѣ: одинъ читаетъ, остальные слушаютъ, потомъ поочередно рассказываютъ другъ другу прочитанное, иногда спорять, даже горячатся, и въ азартѣ далеко за-

бѣгаютъ назадъ или впередъ. Это большею частью воспитанники съ хорошими балами, но ужь никакъ не изъ отличныхъ. Методъ ихъ не нравится учителямъ и инспектору. Они имѣютъ непростительную смѣлость заглянуть иногда въ такъ-называемыя приватныя книги (т. е. руководства не утвержденныя для ихъ классовъ), отвѣчаютъ всегда *своими словами*, а иногда, выдѣтывая кое-что изъ *приватныхъ*, нерѣдко срѣзываютъ учителя. На нихъ смотрятъ подозрительно, какъ на бунтовщиковъ, желающихъ подорвать авторитетъ учителя в *конспекта*. Умрѣ записокъ учителя, мальчикъ ничего не выдумаетъ, рѣшаетъ ученый синклитъ съ инспекторомъ, такъ зачѣмъ въ *постароннія*-то книги заглядывать, да *посвоему разсуждать*. *Разсуждай какъ указано о предметъ. А это все фанатерія, вольмодумство всему причина!* И сообщается воспитателямъ, чтобъ построже слѣдили за ихъ нравственностью. На задней скамьѣ фабрикують билеты подъ руководствомъ фараоновой мыши. Мышь обладаетъ удивительно красивымъ и разборчивымъ почеркомъ. Всѣ учителя обращаются къ нему передъ экзаменомъ написать билеты на своего предмета (Расчетъ: дешевле — не платитъ писарю, да писарь и передрать можетъ). А фараонова мышь рада услужить. Это даетъ ему возможность оградичиться къ экзамену приготовленіемъ восьми, девяти вопросовъ, которые тутъ же чрезвычайно тонко подмѣчаются, такъ что надо очень и очень зоркій глазъ, чтобъ узнать подмѣченныя билеты въ разбросанной кучкѣ. Три-четыре лѣтя окружають мышъ. Они дѣлають видъ, что ихъ очень интересуютъ подмѣченныя билеты, и даже боятся что приготовить ихъ. Но они лгутъ, готовиться къ экзамену для нихъ вещь немислимая.

— Господа! семнадцатый билетъ двѣ точки на правомъ уголкѣ. Господа, двадцать-шестой — точка и тире, нерѣдка раздается голосъ фараоновой мыши. Нѣкоторые смѣльчаки заготовляютъ для себя два-три билета, на два-три вопроса единственно знакомыхъ имъ изъ всего курса. Они смѣло выходятъ съ ними въ карманъ передъ экзаменатора; съ ловкостью профессора натуральной наукъ и египетской кабалистики, подмѣниваютъ своимъ билетомъ жеребьевый, и возвращаются съ сияющимъ лицомъ и порядочной отиѣткой, благодаря своей находчивости, смѣлости и ловкости. Случается и попадаютъ, — выпадаютъ, по кадетскому выраженію, но это бываетъ рѣдко. На

экзаменахъ сами учителя помогаютъ плутовать изъ расчета поставить свой предметъ высоко. Тѣмъ болѣе, что въ глубинѣ души и воспитатели и воспитанники видятъ въ экзаменѣ не болѣе, не менѣе какъ кукольную комедію.

Наступилъ день перваго экзамена, изъ математики. Въ класѣ прокурено укусомъ, вокругъ кафедры поставлены кресла и стулья; мы въ новыхъ курточкахъ, крѣпкихъ сапогахъ и тщательно приглажены по формѣ. Экзаменаторъ будетъ самъ директоръ, страстный любитель математики. Съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ посматриваемъ мы на дверь, когда-то онъ войдетъ, поскорѣй бы начался, а то душой вымучаешься пока вызовутъ. Но вотъ вошелъ и директоръ съ инспекторомъ и ассистентами, и начался экзаменъ. Я оглянулся на класъ, — какая разнообразная игра чувствъ на этихъ физиономіяхъ. Зубряшки всѣ сильно трусятъ, нѣкоторые даже измѣнились въ лицѣ и какъ-будто похудѣли. Они боятся перепутать буквы въ формулахъ заученныхъ на память. Изъ солидныхъ нѣкоторые тоже потрушиваютъ, но это люди болѣе развитые. Они понимаютъ, что испуганная физиономія ихъ можетъ дурно откомендовать ихъ знанія передъ экзаменаторомъ и потому стараются казаться равнодушными, даже веселыми и бросаютъ на экзаменатора смѣлые, вызывающіе взгляды, — я дескать все приготовилъ, хоть сейчасъ справлюсь; но вспыхивающій повременамъ на щекахъ яркій румянецъ, при мысли, что вотъ-вотъ достанется семнадцатый или двадцать-третій билетъ, нетвердо приготовленный, выдаетъ ихъ передъ своими. Два-три закоренѣлые лѣнтя, и тѣ испытываютъ какое-то душевное безпокойство, хотя кажется имъ нечего мучиться вопросомъ какой билетъ достанется: они ни одного не готовили. Но тѣмъ не менѣе они замѣтно безпокойны. Ихъ долго не вызываютъ, а имъ хочется скорѣй отдѣлаться. Они знаютъ, что имъ придется стоять столбнякомъ, что ихъ выберутъ и прогонятъ изъ класа. Они въ этомъ хорошо увѣрены и это ихъ особенно не тревожитъ, но тревожитъ то, что долго ждать всей этой процедуры... и вотъ они нетерпѣливо рѣжутъ ножичкомъ уголки стола, изрѣдка поглядывая другъ на друга. Иуда блѣднѣе смерти. Я увѣренъ, что у него стоитъ хорошій билетъ, хотя математикъ онъ весьма плохой. Но онъ беретъ пріятные уроки и учитель порадѣлъ своему племяншу. Иуда не ожидаетъ, что экзаменаторомъ будетъ директоръ; онъ всегда предло-

ставлялъ это дѣло инспектору, а инспекторъ съ учителемъ свои и къ Іудѣ благоволятъ. Все это разстроило Іуду, онъ точно на иголкахъ, все вертится.

— Моховъ и Коничевскій, раздается голосъ экзаменатора, заставляющій насъ вздрогнуть. Мы выходимъ и отвѣщаемъ поклоны по всѣмъ правиламъ танцкласса; передъ самымъ экзаменомъ, за часъ, намъ дѣлали репитичку. Іуда отвѣчаетъ плохо, путается, несмотря на всѣ маневры учителя. На посторонніе вопросы экзаменатора рѣшительно стоитъ столбнякъ—столбнякомъ.

Директоръ посматриваетъ въ списокъ отмѣтокъ и морщится. Учитель замѣтно конфузится. Инспекторъ тоже.

— Отвѣчайте вы, Моховъ! говоритъ директоръ.

Я начинаю робко; но поощрительное киваніе головой директора ободряетъ меня; маленькій жаръ обхватываетъ голову — я увлекаюсь и продолжаю бойко, смѣло, съ увѣренностью.

Меня хвалить, начинаютъ дѣлать боковые вопросы, — я всѣ разрѣшаю ловко и свободно.

— Прекрасно! неподобно! говоритъ директоръ, потомъ обращается къ учителю: — Отчего у Мохова десять балловъ, а Коничевскій помѣченъ двѣнадцатю? помилуйте, да онъ въ ученики къ Мохову не годится. Что за причина? И лицо директора принимаетъ насмѣшливое выраженіе. Я вспыхиваю. Я горько оскорбленъ тѣмъ, что Коничевскій поставленъ выше меня. Этого я никакъ не ожидалъ; — самолюбіе уязвленное, злость шевельнулись въ душѣ. Насмѣшливые взгляды директора такъ подстрекательны!

— Коничевскій у нихъ уроки беретъ, зато и поставлено, а я не беру, говорю я, прерывистымъ голосомъ, въ волненіи.

Слова мои производятъ необыкновенный эффектъ. Лицо директора вдругъ принимаетъ суровое выраженіе, впрочемъ нѣсколько потерянное. Учитель мѣняется, у инспектора губы передернуло. Іуда стоитъ блѣднѣе смерти.

— Ступайте въ карцеръ! глухо произноситъ директоръ, все еще не прійдя въ себя. Между инспекторомъ и учителемъ начинается разговоръ знаками и подмигиваньями.

Вошелъ я въ карцеръ уже не въ томъ смутномъ состояніи духа, какъ входилъ въ первый разъ. Я теперь сознательно чувствовалъ, что пострадалъ какъ слѣдуетъ за правду. Весь день

я былъ такъ веселъ и доволенъ собой, что мнѣ въ голову и мысль не приходила, что за мой поступокъ можно поплатиться кое-чѣмъ и посерьознѣе карцера. Зачто меня накажутъ болѣе? рассуждалъ я, — развѣ я неправду сказалъ? — незачто! Въ карцеръ посадили, и будетъ. Въ карцеръ нельзя не посадить, потому что *рассуждать* запрещено, не слѣдуетъ; а больше я ничего не сдѣлалъ. Только правду сказалъ. Вотъ еслибы я дерзости говорилъ, ну тогда такъ; а дерзости я себѣ никогда не позволю. Только правду сказалъ. Зачѣмъ дерзости говорить, это скверно, — а правду надо всегда говорить. Прошли сутки, другія, а плѣнъ мой не оканчивался: я началъ беспокоиться. Напрасно пристава въ дневальному солдату, приносившему мнѣ хлѣбъ и воду, когда меня выпустятъ? — онъ естественно не могъ дать отвѣта. Наконецъ меня потребовали въ конференцъ-залу (комитетскую, какъ мы ее называли). Меня встрѣтилъ инспекторъ, кусая свои тонкія, сухія губы. Онъ объявилъ мнѣ, что директоръ поручилъ ему сдѣлать мнѣ отеческое внушеніе и то только на первый разъ въ уваженіе моихъ успѣховъ въ наукахъ, ограничиться такииъ слабыиъ наказаніемъ; но что если подобное повторится, то и т. д. Началъ инспекторъ внушеніе тихо, скромно, только немножко шипяцииъ голосомъ, кончилъ крикомъ и бранью. — Смотри у меня, смотри! кричалъ онъ топяя обѣими руками, — въ грязь втопчу! Ты меня узнаешь! Все я прощу, все... шалость прощу, шалость прощу, а за рассужденіе — бѣда! Несчастнымъ на всю жизнь сдѣлаю! Кто рассуждаетъ съ начальствомъ, въ томъ не жди проку; на всю жизнь негодяемъ останешься. Смотри, заруби это на носу, заруби! Убирайся!

— Ишь какъ ругается, размышляя я, слушая отеческое внушеніе, а еще на директора ссылается... Врешь, братъ, мы знаемъ, что директоръ не любитъ когда ругаются. Это ты все отъ себя, своими словами! Сострилъ я мысленно и отпавилъ въ класъ. При входѣ моемъ пробѣжалъ легкой веселый говоръ. Дуснулся на скамью и открылъ ящикъ, чтобы достать тетради. Сверху, поверхъ книгъ лежитъ листъ бумаги; читаю: «Моховъ! Не сердимся на тебя не сердимся и миримся съ тобой, только заговори первый съ класомъ!»

И всныхнулъ.

— Это съ чего вы взяли? заговорилъ я горячо, обращаясь къ класу. Вы первые не стали говорить со мной, а я стану

защивать у васъ, ухаживать за вами... Слышите: я унижаться передъ вами не стану; ни за что въ мѣръ первый не заговорю съ вами! и не воображайте себѣ!

— А вотъ самъ же заговорилъ первый, закричала фараонова мышь, смѣясь... Ну, Моховъ, не сердись! миръ! Господа, миръ съ Моховымъ! Онъ молодецъ! Какъ онъ математика отдѣлалъ.

Многіе подошли ко мнѣ. Всѣмъ имъ замѣтно было неловко.

— Я никогда и не сердился на васъ, заговорилъ я... я не знаю, что это вы...

— Да мы сами не сердились... а такъ...

— Иуда предалъ тебя, Моховъ!

Я взглянулъ на Иуду: онъ сидѣлъ на задней скамьѣ, будто занятый книгою, а самъ изподлобья посматривалъ на происходящую сцену. Лицо его выражало злость и досаду.

— Я знаю, что все это Иуда едѣлалъ... я съ нимъ всю жизнь говорить не стану...

— Ахъ какъ вы меня огорчили, скажите пожалуйста; — онъ насильственно засмѣялся и отвѣсилъ мнѣ поклонъ въ поясъ.

Миръ былъ заключенъ. Началась веселая болтовня. Всѣ наперерывъ заявляли мнѣ свое удовольствіе и удивленіе къ смѣлости моего поступка.

— А вѣдь мы думали, что тебѣ не миновать бани. Тутъ, братъ, безъ тебя комитетъ три раза собирался. У инспектора, сказываютъ, со злости ногтей на пальцахъ не осталось, всѣ изгрызъ. Все просилъ, чтобъ тебя передъ класомъ вспырынуть... Всѣ на тебя поднялись... Дизунъ по всѣмъ класамъ благовѣстилъ, что будетъ лупцовка; да спасибо, директоръ отстоялъ. Что у нихъ крику-то, говорить, въ комитетѣ было! Инспекторъ больше всѣхъ на тебя озлился. Александръ Васильичъ тоже за тебя просилъ, больной сюда припелся.

Я сіялъ отъ восторга, что надѣлалъ такого шума.

— Смотри, Моховъ, изъ математики братъ получше готовься; сказывали, въ комитетѣ похвасталъ, что доѣдетъ тебя.

— Не доѣдетъ! проговорилъ я съ гордостью!

— Будетъ готовиться, такъ какъ онъ его доѣдетъ!

— Задачами доѣдетъ! проговорилъ со вздохомъ водчокъ, очень неглупый мальчикъ, и всегда пасующій передъ задачами.

— Ну, радѣ задачками! подтвердилъ кто-то.

— И задачками не доѣсть! сказалъ я... не боюсь я его... а вачнетъ придираться, — директору пожалуюсь: онъ несправедливостей не любитъ.

— Да, молодець директоръ! а вѣль какой тихій на видъ, и не узнаешь. Досталось, говорятъ, отъ него всѣмъ. Обѣщала по всѣмъ предметамъ самъ экзаменовать.

Дворянши приуныли.

— Моховъ! къ тебѣ пришли! закричалъ кто-то.

Я какъ сумашедшій бросился въ столовую... Кто бы это? кто ко мнѣ?.. спрашивалъ я себя громко. Сердце забилося ускоро.

— Моховъ! поди сюда! закричалъ Кореневъ, схвативъ меня за руку и насильно таща въ классъ.

— Пусти! ко мнѣ пришли.

— Усидишь! — Я очутился въ среднемъ классѣ, куда никто и никогда изъ мальчицкѣхъ нисшихъ классовъ войти не могъ, подъ впечатленіемъ былъ тридцать же выгнаннымъ съ порядочной встречей.

— Господа, Моховъ цѣль и невредимъ, провозгласилъ Кореневъ, обращаясь къ классу.

Всѣ обступили меня съ распросами, не былъ ли я высѣченъ тайно, — я побожился.

— Очень рады, очень рады! Ну молодець, братъ, Моховъ! такую цитуку удраля. За это всегда можешь въ нашу классъ безъ спросу входить.

Я не помнилъ себя отъ восторга. Оказанная честь была выше всякихъ ожиданій.

— Только чуръ не передавать что увидишь, отозвался кто-то.

— Я не наушникъ! отвѣчалъ я вспыхнувши.

— Молодецъ! Ходи къ намъ — не бойся!

Съ разгорѣвшимся отъ удовольствія лицомъ я вбѣжалъ въ столовую и невольно вскрикнулъ отъ радости, увидавъ Петра Гарасимыча.

— Здравствуй, здравствуй, гусаръ! Фу, молодець какой! Молодецъ да и только! и онъ сталъ меня нѣжно обнимать.

— Твои тебѣ кланяются. Живы и здоровы, гостинца тебѣ шлютъ.

— Вы одни пріѣхали, Петръ Герасимычъ? спросилъ я краснѣя.

Петръ Герасимычъ засмѣялся.

— Одинъ! Машуркѣ вѣкогда, къ свадьбѣ готовится, — за мужъ идетъ!

Я выпучилъ глаза.

— Имъ рано еще...

— Невѣришь! Думаешь, тебя станетъ дожидаться, ха-ха-ха. Ну какъ ты учишься?

И пошли распросы. Уходилъ Петръ Герасимычъ звалъ къ себѣ. Онъ пріѣхалъ по дѣлу на недѣлю.

— Смотри же приходи! Не придешь, будешь каяться, да поздно. А теперь возьми эти гостинцы. Онъ подалъ мнѣ огромный свертокъ разныхъ сластей, которыми черезъ вѣсколько минутъ я уже обдѣлялъ свой классъ. Весь день я провелъ въ какомъ-то сладостномъ, умственномъ чаду. Я чувствовалъ, что сталъ предметомъ общаго любопытства, что на меня смотрять, мнѣ удивляются, ищутъ моей дружбы и расположенія; словомъ я былъ героемъ дня. Честь, оказанная мнѣ среднимъ классомъ, сладостно щекотала мое самолюбіе, и высоко поставила меня въ глазахъ товарищей и кадетъ нисшихъ классовъ. Даже высшій классъ, всегда державшій себя на недостижимомъ пьедесталѣ, заявилъ свое сочувствіе.

— Который здѣсь Моховъ? спросилъ входя въ классъ Бирюковъ, господинъ извѣстный самостоятельностью своихъ убѣжденій, которая заявлялась тѣмъ, что онъ акуратно сидѣлъ каждую недѣлю въ карцерѣ за комплименты учителямъ.

— Я-съ! отвѣчалъ я робко.

Онъ посмотрѣлъ на меня очень внимательно, даже голову на сторону склонилъ и прищурилъ лѣвый глазъ. Словомъ посмотрѣлъ такъ, какъ покупатель смотритъ на аукціонѣ продаваемую вещь, соображая, стоитъ ли она объявленной цѣны.

— Гм! ты Моховъ! хорошо... и впередъ веди себя хорошо! А я тебѣ за обѣдомъ пирожокъ пришлю.

Дѣйствительно за обѣдомъ я получилъ отъ него пирожокъ. Но каково было мое удивленіе, когда вслѣдъ за нимъ служителя принесли мнѣ съ разныхъ концовъ стола еще пирожковъ до десяти.

Я былъ сконфуженъ. За что это они, за что?

Стали подавать кашу; служитель принесъ мнѣ тарелку и въ ней порціи шесть или семь масла.

— Приказали сказать, что отъ средняго класа! сказалъ онъ, подавая тарелку.

Слезы у меня выступили на глазахъ. Господи, благодарю тебя! шепталъ я въ сладостномъ упоеніи. Меня всѣ полюбили. Да, хорошо за правду страдать. О! я всегда буду страдать за правду, всегда!

Мнѣ тогда и въ голову не приходило, что главная причина всеобщаго сочувствія моему протесту лежала не въ принципѣ факта, а во всеобщей ненависти къ учителю математики, чело-вѣку крайне несправедливому, страшно жадному до денегъ, у котораго за извѣстную плату всегда можно было купить хоро-шій балъ, даже отъявленному лѣнтяю. Четверть корпуса была его племяшами. На каждого *несвоего* онъ смотрѣлъ всегда по-доверительно и прижималъ по силѣ-возможности (вспоминаю его любимое выраженіе). Что инспектору все это было извѣстно, мы хорошо знали, но директоръ явно не зналъ, да навѣрное ни-когда бы не узналъ, еслибы не случай со мной. Вотъ причина манифестацій, на которыя Еропъ Савичъ смотрѣлъ, кусая отъ злости губы, и которыя такъ высоко поставили меня и въ моихъ собственныхъ глазахъ и въ глазахъ товарищей, и заста-вили Иуду блѣднѣть и злиться. Онъ видѣлъ, что его авторитетъ падаетъ, что я вдругъ получилъ громкую и почетную популя-рность, что класъ какъ-то инстинктивно отвернулся отъ него и перешолъ на мою сторону, а отличныя отмѣтки по предметамъ на экзаменахъ довершили его погибель. Червякъ самолюбія за-кѣтно грызъ его сердце; онъ видѣлъ, какъ его нравственное мнѣніе на класъ ускользаетъ изъ его рукъ и переходитъ ко мнѣ вмѣстѣ съ первенствомъ по наукамъ, но по возможности онъ со-хранялъ наружное спокойствіе. Онъ кажется еще надѣялся, что я не съумѣю воспользоваться удобной минутой, пропущу ее, и дѣло можетъ принять другой оборотъ. Еще болѣе кажется надѣялся, что упоенный успѣхомъ, я заиграюсь въ эту увлека-тельную, азартную игру *страданія за правду* и серьезно зарвусь. Онъ выдалъ себя, когда громко заговорилъ въ класѣ, что въ *моихъ* воступкѣ нѣтъ ничего ни особенно смѣлаго, ни отчаян-наго; что вотъ еслибы я сказалъ въ глаза инспектору, что онъ то-то, да то-то, ну это было бы дѣло другаго рода. Никто бы

не смѣлъ спорить, что я не молодецъ. Онъ говорилъ это такъ хорошо, громко, увлекательно, что я уже загорѣлся желаніемъ еще отличиться, да болѣе благоразумный Барабинъ удержалъ меня, раскрывъ глаза, для чего все это говорилось.

Вечеромъ я отправился къ Петру Герасимычу. Одѣлся наскоро въ старое платье и не напоядился даже, не причесался и побѣжалъ. Для него чтоли стану я помадиться, разсуждалъ я. Машеньки не привезъ, такъ нечего и новое платье надѣвать и помадиться нечего. Когда я пришолъ въ его квартиру, онъ бросился ко мнѣ съ распростертыми объятіями и повелъ въ залъ. На небольшомъ столикѣ стоялъ чайный приборъ и кипѣлъ самоваръ.

— Ктожь, братъ Володя, разливать-то будетъ, я же мастеръ. Развѣ ты удружишь старику.

— Я никогда не разливалъ, не умѣю.

— Экое горе! досадно, что Машурку не взялъ, досадно! и тебѣ поди тоже досадно!

— Не привезли, такъ зачѣмъ говорить объ этомъ! сказалъ я съ досадою.

— Ну а что, еслибы по шучьему прошенью, да по моему желанью, она стала передъ тобой, какъ листъ передъ травой? а, ха, ха, ха! и онъ залился смѣхомъ.

Сердце мое учащенно забилося. Мною овладѣло то смутное, странное, сладко-тревожное волненіе, которое мы называемъ близкимъ предчувствіемъ чего-то давножданнаго, хорошаго предчувствіемъ.

— Онъ здѣсь? спросилъ я прерывистымъ голосомъ.

— Здѣсь, Володя! сладко прозвучалъ звонкій, знакомый голосокъ, и изъ сосѣдней комнаты выпорхнула Машенька. Не сумѣю выказать мою радость. Первые минуты прошли для меня въ какомъ-то сладостномъ чадѣ. Не помню что такое говорилъ я, какъ съ ней поздоровался. Знаю только, что Петръ Герасимычъ приказалъ намъ поцѣловаться, и этотъ поцѣлуй цѣлую недѣлю загорался на моихъ губахъ при воспоминаніи. Машенька стала разливать чай, а я немножко пришолъ въ себя и сталъ ее разсматривать. Я замѣтилъ, что на ней новенькое левое платьице, и прическа другая, и сама она какъ-будто другая. Какъ-будто и веселѣе прежняго, да и солиднѣе въ то же время, большую барышню очень напоминаетъ. Разговаривать

со мной, а сама глазами такъ дѣлаетъ, что вдругъ они у ней станутъ такіе ясные, да свѣтлые, да прозрачныя, точно въ душу вашу она нѣм глядитъ; а то вдругъ какъ-будто масломъ подернутся, спать ей захотѣлось чтоли. А то подъ лобъ ихъ нѣмощко пустить, и все это такъ быстро, что не успѣешь слѣдить за ихъ игрой. Ишь какимъ она штукамъ научилась, совсемъ какъ большая; это вѣрно у поповскихъ дочерей переняла. Они тоже все такъ глазами дѣлаютъ. А мамаша говорила, что вѣдь это нехорошо глазами такъ дѣлать. И что это она все обдергивается и пелеринку поправляетъ. Вѣдь ловко она на ней надѣта! размышляя я, глотая чай и посматривая на Машеньку.

— Какой ты сталъ молодецъ, Володя! и большой какой, и интересный въ этомъ платьѣ! говорить Машенька съ улыбкой.

Я самодовольно улыбаюсь и тутъ же съ горечью вспоминаю, что на мнѣ старое платье и я не припомаженъ.

— Это у меня старое платье; я не зналъ, что вы пріѣхали. Я и не помадился! говорю я и вдругъ краснѣю; мнѣ становится стыдно и досадно на себя, что я это сказалъ.

А Машенька все улыбается.

Нѣтъ, прежде она лучше улыбалась, думалъ я, — и зачѣмъ же она все такъ глазами дѣлаетъ?

Кончили чай. Петръ Герасимычъ ушолъ заниматься дѣлами.

— Ну, Володя, расскажи мнѣ какъ ты живешь! хорошо ли у тебя?

— Хорошо, Машенька; я теперь все за правду страдаю.

— Какъ это страдаетъ?

— Такъ, за правду. Изъ всего корпуса я одинъ страдаю за правду. Ахъ какъ хорошо это Машенька. За это всѣ наши любить меня и почитаютъ. Меня средней класъ къ себѣ безъ спросу вусидеть, а сегодня мнѣ девять пирожковъ прислали. И я начинаю по своему развивать Машенькѣ идею *страданія за правду*. Она сначала слушаетъ меня внимательно, хотя безпрестанно пощипываетъ въ зеркало, которое виситъ напротивъ нея. Руку ли положить на столъ, пелеринку ли поправить, голову ли вытянуть впередъ какъ гусь, или откинетъ на спинку кресла, — все шлепаетъ въ зеркало. Вскорѣ она стала обнаруживать замѣтное неровнѣе, все вертится. Постой, Володя! закричала она, вскакивая съ кресла: — я тебѣ покажу, какія мнѣ папа обновки

купилъ. Бѣжитъ въ другую комнату и возвращается оттуда въ шляпкѣ и съ узломъ въ рукѣ.

— Что, хорошенькая я въ этой шляпкѣ, а? спрашиваетъ она меня, вертясь передъ зеркаломъ.

— Очень хорошенькая! бормочу я, любуясь ея милою головкой. — А вы любите меня? вдругъ срывается у меня съ языка помимо моей воли.

Машенька какъ-будто конфузится.

— Вотъ видишь, Володя! говорить она такимъ тономъ, какимъ оправдывается пойманный въ школьной продѣлкѣ шалунъ: — ты скоро будешь офицеромъ?

— Нѣтъ, не скоро еще.

— Ахъ, какъ жалко! Вотъ будешь офицеромъ, я тебя любить стану, а теперь нельзя, Володя. Ты кадетъ; развѣ кадету можно любить барышнѣ?

— Отчего же кадету нельзя любить? говорю я, горячась: — кадетъ также, что...

Дальше словъ не находится.

— Такъ ты говоришь, что я хорошенькая! И она стала гримасничать передъ зеркаломъ.

— А Катя Пиголицина хвастаетъ, что она лучше всѣхъ въ городѣ. Какая она завистливая, Володя, еслибъ ты зналъ. Она все завидовала, что меня большіе на танцы приглашали. Папа на мое рожденіе балъ сдѣлалъ. Ахъ, какъ весело было, и мороженое подавали. У насъ очень много было, и я все съ большими танцевала. Больше все съ гусаромъ однимъ; какой хорошенькій, Володя, а мундиръ такъ и горитъ. Ты Володя въ гусары поступиай.

— Не выйду я въ гусары! отвѣчалъ я грубо. Злость, досада, ревность обхватываютъ меня.

— Навѣрно дуракъ какой-нибудь, бормочу я сквозь зубы.

— Это почему дуракъ?

— А потому что пѣсня такая есть.... Я въ артилерію пойду. Пѣсня, какъ замѣтно, озадачила Машеньку; она сконфузилась и притихла.

— А какже у насъ всѣ говорятъ, что онъ умный?

— Чего нельзя говорить, говорить все можно. Вонъ и я вамъ сказалъ, что вы хорошенькая, а вы по правдѣ не хорошенькая, совсѣмъ не хорошенькая, я это такъ сказалъ! говорю я со

мелко: Образъ хорошенкаго гусара въ блестящемъ мундирѣ, какъ кошмаръ дразнить и душить меня, и подстрекаетъ говорить Машенькѣ неприятности.

— Ну, ужъ это ты врешь, Володя! говоритъ Машенька, наклонивъ на бокъ головку и лукаво улыбаясь. Я хорошенка! это всё говорить, да я и сама знаю; а это ты возлить меня хочешь. Я вижу, ты ревнуешь меня, Володя! произносить она важно, нараспѣвъ.

— Очень нужно мнѣ ревновать, невидаль какая! Захотѣлъ бы ревновать, такъ я бы такую штуку сдѣлалъ...

— Чтоже бы ты сдѣлалъ?

— Да я бы, я бы... Нѣкогда мнѣ съ вами разговаривать, въ корюсъ вера! говорю я сердито.

— Шесидя еще Володя! Давай припомнимъ, какъ ты у насъ жаль, а? Пойдемъ въ гостиную и сядемъ тамъ на коврѣ. Помнишь какъ дома бывало!

— Ну, давайте! говорю я, нѣсколько смигчаясь, и сажусь на коверъ навротивъ Машеньки.

— Помнишь, Володя, какъ мы на пушечномъ играли, а? а армату помнишь?

— А помните, какъ я вамъ стихи читалъ на рожденіе? перебиваю я: — Еще помните что вы тогда сдѣлали?

— А что такое, Володя? спрашиваетъ Машенька, широко раскрывъ свои глазки.

— А вы тогда поцѣловали меня.

— Ишь, какой ты, не забылъ! А помнишь, какъ ты Петрушъ ужо укусилъ за меня?

И смѣюсь.

И стали мы снова дѣтьми. Зажали еще недавно, свѣтлою, чистой жизнью. Подъ обаяніемъ дорогихъ воспоминаній, долго, долго болтали мы, не сводя другъ съ друга глазъ. Передо мной опять была Машенька въ бѣломъ платьицѣ, розовенькая, хохотушка съ веселыми ямочками на щечкахъ, съ большими, свѣтлыми-глазками, въ которые такъ весело, хорошо было смотрѣть. Смотрю я въ эти глазки, такъ пристально смотрю и чудное дѣло творится со мною. Какъ въ фантастическо-плеорамѣ вижу въ этихъ глазкахъ знакомыя лица, знакомыя мѣста, быстро передо мной, смѣняясь одни другими. То видится мнѣ дорожій лугъ. Зелень его такъ сочна и прозрачна, что сол-

вечный луч сивозвѣтъ сивозѣтъ стебли, окрашивая золотомъ соки растенія. Кусты душистой черемухи, какъ невѣсты передъ вѣнцомъ, всѣ въ бѣломъ цвѣту, тихія, пышныя, скрепныя, облитыя золотыми лучами солнца. А тамъ вдали, между кустами мелькаетъ розовое платьице Машеньки. Барбоска съ поднятымъ хвостомъ несется во всѣ лопатки, визжа и лая; я не отстаю отъ него, мнѣ ужасно хочется поймать его за хвостъ, а запыхавшаяся няня хриплымъ, надорваннымъ голосомъ уже давно кричитъ: «господа за столъ сѣли и насъ ждуть кушать.» И все это я вижу въ большихъ, прозрачныхъ глазахъ Машеньки. Еще пристальнѣе всматриваюсь я, — и несутся передо мной: старый пущечный дворъ, и свѣтій Домъ въ золотомъ сіяніи зори, и одинокая груша въ уголкѣ нашего большого двора, и эта промелькнула грустная, одинокая, и вспомнилась мнѣ нищенка-сиротка, что у церковной ограды всегда просила подавнїя астронѣ отъ прочихъ нищихъ. Я всегда берегъ для нея грошикъ. Мелькнулъ изразцовой печью страшный дѣдовскій залъ, отецъ Василій, дьячекъ Вавило, Барбосъ, и много, много ярко-запечатлѣнныхъ въ сердцѣ образовъ неслоь передо мною.

Машенька сидитъ смиренно и также пристально смотритъ на меня, и тоже кажется что-то видитъ. Глаза ея широко раскрылись и задумчивый взглядъ исполненъ какой-то серьезной важности. Она уже не играетъ вмѣ, какъ полчаса тому назадъ.

— Машурка! покажи-ка Володѣ сережки, что я тебѣ купилъ! раздается изъ сосѣдней комнаты голосъ Петра Герасимыча. Очарованіе исчезаетъ, Машенька вскакиваетъ какъ серна, приноситъ серьги, вертится передъ зеркаломъ и играетъ глазами.

Мнѣ становится что-то грустно и досадно.

Поздно возвращаюсь я въ корпусъ. Передъ глазами все мелькаетъ ея головка. Пришелъ, раздѣлся, закутался въ одѣяло, а она все не отстаетъ отъ меня. Раза два даже поднялся съ койки, показалось, что воздѣ меня зашумѣло платьице. Не могу прогнать ея образа изъ головы. Что это я все о ней думаю, зачѣмъ? Она обо мнѣ вѣрно не думаетъ. Она вонъ съ гусаромъ танцевала. И какая она странная стала, совсѣмъ другая; глазами-то какъ она дѣлаетъ, даже нехорошо смотрѣтъ. Такъ лучше, когда она просто ими глядитъ, а вѣрно это пововскїя дочери научили. И что это она обѣ нарядахъ только и говорить, о книжкахъ ил-

чего не говорить. Она даже зѣвнула, когда я ей рассказывала, что пострадала за правду. Не хочу я о ней думать, не стоит она. Она мнѣ кажется и не умная вовсе. Лучше засну! И я крѣпко зажму глаза, чтобъ поскорѣй уснуть, а сонъ нейдетъ. Слышать ухо легкой шелестъ воздушнаго платья, видить сомкнутый глаза стѣжею, улыбающееся личико. Не пойду я къ нимъ завтра! рѣшаю я мысленно. Только сна отъ нея нѣтъ, да уроки не приготовилъ, все объ ней становишь думать; и зичѣмъ это я думаю объ ней; и не хочу думать, а все думаю! Давно не видалась, оттого вѣрно думаю. Ну, и опять — она хорошенькая!

Проснулася я съ твердою рѣшимостью не навѣщать Петра Герасимыча до отъѣзда, и впродолженіе цѣлаго дня эта рѣшимость не покидала меня; но только-что новѣстель колокольчикъ пошесть класанъ, странное безпокойство овладѣло мной, замелькало въ глазахъ палевое платице, зазвучала въ ушахъ звонкій, знакомый голось. Не пойду я къ ней, визачто не пойду! бормотала я, быстро шагая по коридору. Лучше у Барбину книгу возьму про разбойника Фрадѣяволо, говорятъ хорошая книга. Только читать что-то не хочется, все объ ней думаю. Развѣ сегодня еще сходить разѣ, да больше ужъ и не стану, а? Попроситься разѣ? попрошусь! Ахъ, еслибы не отпустили, отлично бы; тогда значить и хотѣлъ бы, да нельзя, не пускають. Ахъ, ужъ половина восьмага! вскрикнулъ я съ испугомъ, взглянувъ на большіе, стѣнные часы. Проситесь, такъ теперь, а то и поговорить нѣкогда будетъ. Ахъ, ей-богу, ужъ и не знаю какъ... погадать разѣ? Я зажмуриваю глаза и начинаю сводить указательные пальцы, но на половинѣ гаданья бросаюсь изъ коридора проситься и бѣгу къ Машенькѣ. А время летитъ, уѣхала и Машенька. Смутно было намъ прощанье. Она повертѣлася передъ зеркаломъ въ своемъ новомъ, дорожномъ нарядѣ. Разѣ пять снимала съ головы пуховый платочекъ и сама понызывала его; все ей казалось, что онъ неловко сидитъ. Длинно задумала было надѣть шляпку, да Петръ Герасимычъ всталъ. Я былъ разстроенъ, сердитъ и должно-быть смѣшненько, потомучто Машенька, взглядывая на меня, все какъ-то странно улыбалась.

Прощай, Володя, прощай! Ты не скучай очень обо мнѣ. Неужь я скоро опять приѣду! сказала она съ улыбкой, обнижаченя. Неприятное чувство мельнуло въ сердцѣ. Мнѣ вспом-

нилось, что вотъ такимъ же голосомъ уговаривала и уснековала меня мамаша, подавая мнѣ конфетку, когда я бывалъ очень огорченъ. Столько оскорбленія, столько снисхожденія къ слабости дитяти слышалось въ голосъ Машеньки. Я вспыхнулъ: чувство досады и оскорбленнаго самолюбія заговорило во мнѣ.

— Нечего мнѣ скучать объ васъ. Не бойтесь, и безъ васъ весело будетъ. Ужъ очень много воображаете о себѣ! говорю я съ раздражительностію, напрягая всѣ силы души сохранить наружное равнодушіе, но голосъ противъ воли дрожить, а на глазахъ я чувствую какъ выступаютъ слезы.

— Ты не сердись на меня, Володя! ласково говорить она, склоняясь мнѣ на плечо и смотря съ своими прозрачными глазами прямо въ мои глаза.

— Очень нужно сердиться! говорю я, а слезы такъ и катятся изъ глазъ.

— Ну, поцѣлуемся! И она, крѣпко обнявъ, неожиданно цѣлуетъ меня.

— Оставь! и я выхожу на крыльцо. У подъѣзда стоятъ дорожныя сани; лошадки, наскучивъ дожидаться, нетерпѣливо помахиваютъ головами; ямщикъ слезъ съ облучка и грѣтеса, хлопывая рукавицей объ рукавицу; колокольчикъ изрѣдка позвякиваетъ какъ-то мучительно-жалобно. Я совершенно разстроены и чувствую во рту горечь, а въ головѣ боль.

А время летитъ. Пробѣжала и зима съ мятелями, буранами и морозами, о степени которыхъ могли всего вѣрнѣе судить мы, кадеты, кутаясь въ форменную шинельку, подбитую на спинкѣ холстомъ, а на полахъ — воздухомъ; прошла и масляница съ кавскими блинами, весьма вкусными по наружности, но отъ которыхъ тѣмъ неменѣе мы цѣлую недѣлю ходили со спазмами въ животѣ. Наступилъ и постъ, съ протухлой рыбой, экономно закупленной еще въ іюлѣ мѣсяцѣ, гнилыми зеленоватыми грибами, фигурирующими въ расписаніи обѣда подъ псевдонимомъ бѣлыхъ, и съ гороховой шелухой съ гренками, подъ громкимъ именемъ гороховаго соуса. Мы говѣемъ, — сегодня исповѣдь... Всѣ собрамы въ залъ и размѣстились на скамейкахъ. Тишина такая, что легкіи кашель звонко раздается въ воздухѣ и вызываетъ всеобщее вниманіе, заставляя кашляющаго краснѣть. На срединѣ зала высокая, худощавая, строгая фигура *батюшки*, въ черной рясѣ. Онъ говоритъ тихимъ, ровнымъ, нѣсколько глухимъ голо-

сомъ о великомъ значеніи исповѣди и св. причастія. Всѣ слушаютъ внимательно и какъ-будто встревожены; даже у отъявленныхъ школьничковъ физиономіи вытянулись и глаза опущены долу. Перечисляетъ батюшка наши великіе грѣхи, и каждому изъ насъ чувствуется неловко, даже страшно: да, все это наши грѣшки, наши... Какъ онъ узналъ ихъ? наивно спрашиваетъ себя. Точно онъ видитъ душу нашу насквозь, точно каждый день, каждый часъ былъ съ нами и подсматривалъ, а мы его только въ классѣ да въ церкви видали. Еропъ Савичъ вѣрно все ему пересказалъ, онъ фискальничаетъ всегда; да нѣтъ... можетъ ему Богъ далъ, что онъ все видитъ, и при этой мысли страшно становится, что занозорилъ въ этомъ дѣлѣ Еропъ Савича, — и видитъ онъ, батюшка, что такъ грѣшно подумалъ, и причастія не дастъ... Господи! а грѣховъ-то сколько! и лѣность, и непочтеніе къ старшимъ, и смѣялись надъ отцомъ духовнымъ, все это... все дѣлалъ... во всемъ грѣшенъ... жутко становится на сердцахъ и тоска обхватываетъ душу. Но вотъ, сказалъ батюшка, что Богъ безконеченъ въ милосердіи своемъ, и все проститъ если покаяться ему отъ всего сердца, и свѣтлѣй становится на душѣ отъ этихъ словъ, и мысленно даешь горячую клятву во всемъ покаяться. Но Богъ только тѣхъ прощаетъ, кто самъ прощаетъ, говоритъ батюшка и приказываетъ помириться со всѣми кто въ ссорѣ, просить другъ у друга прощенія, а то грозить не дать причастія, и тихо уходитъ изъ зала. Всѣ съ шумомъ и гикомъ вырываются изъ зала, одинъ я стою какъ окаменѣлый.

— Просить прощенья у Іуды! при этой мысли краска бросилась мнѣ въ лицо.

— Нѣтъ, нѣтъ, я низачто не подойду къ нему первый, низачто! а то онъ вообразитъ, что я нуждаюсь въ немъ, поддавляюсь къ нему. Начнетъ хвастать всѣмъ, что я просилъ у него прощенья. Что тогда весь классъ скажетъ. Нѣтъ, низачто!.. Вѣдь батюшка сказалъ, что надо другъ у друга просить прощенья: ну, вустъ онъ и подойдетъ ко мнѣ первый, а я его прошу, успокаиваю я себя. А если онъ не подойдетъ, тогда что? Не попрошу прощенья — батюшка причастія не дастъ. Ахъ, еслибы онъ самъ попросилъ прощенья. И вотъ я начинаю вертѣться около Іуды, жду не дождусь, что вотъ скажетъ онъ мнѣ: «прости Мохова!» Но Іуда видимо и не думаетъ объ этомъ. Онъ даже пошариваетъ на меня нѣсколько двусмысленно: онъ кажется вл-

дить, что творится во мнѣ, несмѣивается и только что не говорить глазами: «а что, братъ, придется видно прощенья просить у меня!» Это подозрѣніе еще болѣе усиливаетъ мою нравственную пытку, а какъ на иголкахъ. До исповѣди еще долго, еще успѣю, еще часовъ вѣтъ осталось, стараюсь я себя успокоить и прогнать джужучую-нучительную мысль, но она крѣпко засѣла и не выходитъ изъ головы. Вотъ и за обѣдъ уже сѣли, — кусокъ въ ротъ нейдетъ. Господи, какъ мнѣ сдѣлать-то, спрашиваю я себя съ отчаяніемъ. Вотъ уже и построиться велѣли, чтобъ вести къ исповѣди въ домовую церковь, которая стояла на углу корпуснаго двора... Какъ же я пойду не испросивъ прощенія, чтобъ скажу на исповѣди батюшкѣ... ахъ, Господи, Боже мой!.. А Иуда, какъ нарочно остается со второй половиной, которую уведутъ послѣ, а то бы, при входѣ въ церковь, я мимоходомъ пробормоталъ бы ему что-нибудь, какъ-будто прощенія прошу; а самъ бы и не просилъ, а такъ что-нибудь пробормоталъ бы. Вотъ ужъ и направо скомандовали, и маршъ скомандовали, а съ крыльца стали мы сходить. Нѣтъ, пойду попрошу прощенія, такъ грѣшно на исповѣдь идти, рѣшилъ я; — скажу ему, что батюшка приказалъ просить прощенія, оттого я прошу, а тамъ бы не просилъ, — пусть не занимается, и въ сильномъ волненіи вбѣгаю въ коридоръ и сталкиваюсь носъ къ носу съ Иудой.

Мнѣ показалось, что онъ догадался зачѣмъ я прибѣжалъ; онъ насмѣшливо смотритъ на меня и прескверно улыбается.

— Я пришолъ... сказать... тебѣ... говорю я дрожа отъ волненія.

— Прощенія пришолъ просить! произноситъ Иуда съ своей отвратительной улыбкой и поглядываетъ на меня съ чувствомъ затаеннаго торжества. — Ну проси, а я еще подумаю простить ли тебя, и онъ начинаетъ ломаться передо мной.

— Подлецъ! произношу я, дрожа всѣмъ тѣломъ отъ негодованія, и бросаюсь догонять своихъ. Они уже въ церкви и смирно стоятъ въ предвѣріи. Тишина страшная. Никто ни слова, у всѣхъ лица серьезны и озабочены. Въ церкви почти темно. Нѣсколько свѣтъ у мѣстнаго образа слабо освѣщаютъ правый уголъ, а тамъ въ лѣвомъ — непроницаемый мракъ. Предъ амвономъ въ полумракѣ стоятъ небольшія ширмочки, обтянутыя чето синей, нето зеленой матеріей; глазъ не можетъ опредѣлить: вѣрно свѣтъ такъ слабо проходить сквозь плотную ткань; надъ самой шир-

мой на потолкѣ играетъ тѣнь отъ огня, кругленькая, величиной съ небольшое яблоко, я все смотрю на нее. За ширмами слышится легкій, монотонный шопотъ, — то батюшка исповѣдуетъ Коркина... Вдругъ въ полголоса раздаются слова: «нынѣ отпускавши»..., слышатся земные поклоны, и Коркинъ, красный какъ ракъ, серьезно-грустный, быстро идетъ къ намъ.

— Ну что? спрашиваетъ его кто-то.

Онъ ни на кого не обращаетъ вниманія и не отвѣчая на вопросъ, задумчиво выходитъ изъ церкви и бѣжитъ въ корпусъ. *Очередной* трусливымъ шагомъ пробирается къ ширмамъ и исчезаетъ за ними... опять неясный шопотъ, земные поклоны и т. д. Скоро моя очередь... всего двое осталось... мнѣ становится страшно. Что я скажу батюшкѣ! я не помирился, я еще обругалъ его... развѣ не сказать... смущаетъ меня лукавая мысль. Въ эту минуту кто-то выходя изъ-за ширмъ задѣваетъ ихъ такъ, что одна половинка распахнулась, и передъ моими глазами мелькнуло: валеѣ, евангеліе, большая зажженная свѣча и сгорбленная фигура батюшки съ блѣднымъ, суровымъ лицомъ. Мнѣ сдѣлалось вдругъ очень, очень страшно, сердце учащенно забилося, ноги задрожали. Подъ вліяніемъ какого-то смутнаго побужденія, выбѣгаю изъ церкви какъ сумашедшій, бѣгу въ корпусъ, подбѣгаю къ Іудѣ, произношу скороговоркой: «прости Іуда!» и слова бѣгу въ церковь. Грудь дышетъ легче, страхъ почти прошелъ, хотя тревога снова овладѣла мной, и холодный потъ выступилъ на лбу, когда я сталъ подходить къ ширмамъ.

А время летитъ. Прошелъ годъ, другой, третій, и я начинаю чувствовать, какъ съ каждымъ днемъ, съ каждымъ часомъ, болѣе и болѣе становлюсь *своимъ* миниатюрнаго мірка. Я уже чувствую, что поторло всосанъ этой милой трясинной. Еще одно, два благоприятныхъ обстоятельства, еще невозможно старанія съ моей стороны, и я окунусь съ головой. Но это меня нисколько не огорчаетъ; я даже радуюсь, сознавая, что начинаю понемногу кристаллизоваться, что сквозь эту кристаллизацию мелькаетъ уже образъ формы, въ которую я отольюсь. Ну, а какая будетъ форма; — объ этомъ еще не думается. . . .

IV

Тихій весенній вечеръ. Запахъ душистой черемухи борется съ запахомъ талой земли. Во всѣхъ членахъ чувствуется приближеніе заката; легкая дрожь изрѣдка пробѣгаетъ по спинѣ. Воздухъ становится сырѣе и холоднѣе въ тоже время. Солнце уже не грѣетъ какъ часъ тому назадъ. Его наклонные лучи, съ трудомъ пробиваясь сквозь густые кусты желтой акаціи и сирени, дробятся между листьями въ мелкія золотыя точки. Точно солнышко забралось въ средину куста, барахтается и никакъ не можетъ оттуда выкарабкаться. Покрайней-мѣрѣ такъ кажется мнѣ со скамьи, что стоитъ у забора нашего казеннаго садика, гдѣ мы съ Волчкомъ уже болѣе часа сидимъ надъ послѣдней страницей «Дневника лишняго человѣка.» Давно прочли мы эту страницу и оба какъ-то неволью задумались. Покрайней-мѣрѣ за послѣднимъ словомъ повѣсти ни одинъ изъ насъ не сказалъ своего слова. Глаза мои случайно уставились на кустъ сирени, въ которомъ казалось мнѣ такъ забавно-весело барахталось солнышко, а мысли неслись далеко. Волчокъ, понурилъ голову, чертилъ тросточкой по щебню дорожки, и тоже о чемъ-то напряженно думалъ, что можно было замѣтить по сморщенному лбу и сдвинутымъ бровямъ. Не о повѣсти думалось. Думалось о томъ, что вотъ завтра распахнется передо мной міръ божій, и какъ вольная птичка весело я порхну въ него изъ душевной, ненавистой темницы. Начнется вольная жизнь. При этой мысли къ сердцу прилило сладкое чувство. Будущее замелькало передо мной въ такомъ золотистомъ, свѣтло-розовомъ свѣтѣ, что всѣ окружающіе меня предметы, я самъ, и все во мнѣ вдругъ окрасилось въ этотъ свѣтъ и заиграло въ немъ. На сердцѣ стало чудо какъ весело! Все что нѣкогда въ безсонныя ночи поднималось со дна души смутными, неопредѣленными, но ювошески-горячими порывами, смотрѣло въ глаза неясными, но близкими сердцу образами, — теперь какъ живое стояло передо мной во плоти и крови, и такъ близко, такъ близко, что кажется протяни руку — и она моя. «Да, теперь я вольный казакъ!» прошепталъ я восторженно. Не посадятъ въ карцеръ за то, что стану говорить правду, дѣйствовать по правдѣ. Не скажутъ: «думай такъ какъ

тебѣ указано, поступиай какъ приказано, а своего мнѣнія, своей воли не смѣй имѣть. Нѣтъ, баста! Теперь она моя, эта воля. Покончилъ я съ вами. Теперь я самъ хозяинъ своихъ поступковъ, вольный человекъ. О, я теперь знаю, что мнѣ дѣлать съ моею дорогою волей! И разгоряченное воображеніе зарисовало передо мной тотъ странный фантастическій міръ, къ дикой прелести котораго всегда было чутко сердце мое, который часто, очень часто и во снѣ, и наяву тревожилъ мою душу и распаллялъ мозгъ. Это міръ, созданный воображеніемъ нервнаго, впечатлительнаго ума, уже давно получившій и краски, и тѣни, и формы: — краски небрежно-набросанныя, какъ у живописца вывѣсокъ лежали волосами, пятнами, но яркими, огненными; формы были чудовищны, но тѣмъ не менѣе я былъ своимъ въ этомъ мірѣ, я чувствовалъ себя и гражданиномъ и творцомъ его. И теперь въ настоящую минуту я переживаю уже не въ первый разъ жизнь этого міра. Воображеніе и чувства были дотогу наэкзальтированы, впечатлѣнія такъ ясны, цѣльны, такъ свѣтла призрачная радость, такъ горька призрачная печаль, что чувствую какъ кровь моя то сильнѣе приливаетъ къ сердцу, то стынеть въ жилахъ. То святой восторгъ вдругъ обхватываетъ все мое существо, сладостная дрожь пробѣгаетъ по тѣлу и на глазахъ неволью навертываются слезы; то мучительная скорбь отзвучиваетъ въ сердцѣ, мускулы лица судорожно искривятся, а стиснутые зубы дѣпенѣютъ отъ душевной муки. Страшныя, дикія, но вмѣстѣ съ тѣмъ мучительно-сладкія грезы неслись передо мной. Вижу и чувствую я себя въ эту минуту высоко-честнымъ, полнымъ самоотверженія, глубокой и горячей любви къ Россіи, которой посвятилъ всю свою жизнь. На меня возложена великая, святая миссія преслѣдовать злодѣевъ-враговъ правды, ваяточниковъ, низкопоклонниковъ, все гнилое, подѣлающее, стоять за правду, за угнетенныхъ, за оскорбленнаго. И я благородно несу эту миссію.

— Сыро! Пойдемъ отсюда, говоритъ Волчокъ, трогая меня за плечо.

Мы встаемъ и отправляемся изъ сада.

— Что ты такой невеселый, Волчокъ? спрашиваю я.

— Нечѣму особенно радоваться!

— Какъ нечѣму? — А завтра вольную дадутъ!

— Вольную, грустно прошепталъ Волчокъ. Чтѣ братъ, тол-

ку въ вольной бѣгъ земли! Знаешь, Моховъ, о чемъ я сейчасъ думалъ. Впрочемъ это не въ первый и не въ десятый разъ: часто мнѣ объ этомъ думается. Вотъ мы съ тобой кончили курсъ, экзамены сдали блистательно. По двадцати-четыремъ предметамъ полные балы получили. Чего, чего только мы съ тобой не знаемъ: и математику, и механику, и физику, и политическія, и военныя науки, проѣхались и по естественнымъ, да не разъ и архитектуру съ собой захватили. Словомъ кладезь премудрости. Молодпы да и только. Казалось бы куда хочешь, туда и толкай нзсъ, въ грязь лицомъ неударить. Ну а скажи, положиа руку на сердце дѣйствительно ли мы знаемъ такъ много, а? продолжать волчокъ болѣе и болѣе горячасъ. По билетикамъ пожалуй мы хотъ сейчасъ протренимъ по всѣмъ двадцати-четыремъ предметамъ, — сдѣлайте одолженіе. Недаромъ съ красной доски шесть лѣтъ не сходили; а дай нашъ дѣло, настоящее дѣло, мы и носъ повѣсимъ, и подойти къ нему несъумѣемъ. Насъ, архитекторовъ, послѣдній каменщикъ за поясъ заткнетъ. Насъ, законовѣдовъ, послѣдній чиновникъ земскаго суда на смѣхъ подниметъ, въ глаза насмѣется, и полное право имѣетъ. Вотъ завтра мнѣ рапортъ надо подать, по болѣзни матушки въ отпускъ проситься, а вѣдь право не знаю какъ за дѣло взяться... надо будетъ писара попросить, а вѣдь блистательно кончилъ курсъ по двадцати-четыремъ предметамъ. Да вѣдь въ какомъ объемѣ всѣ предметы проходились, что вашъ университетъ за поясъ заткнемъ.

Я глядѣлъ на Волчка съ удивленіемъ. Въ первый разъ слышалъ я отъ него такія горячія рѣчи. Это было для меня ново и неожиданно. Онъ всегда былъ молчаливъ, сосредоточенъ, и цѣлый день бывало сидитъ надъ развернутой книгой, уткнувъ въ нее носъ. Въ игры онъ вмѣшивался неохотно, замѣтно набѣгалъ ихъ, и даже, когда самые серьезные изъ насъ подъ вліаніемъ свѣтлаго весенняго дня устроивали чехарду, или лапту, онъ мѣрлетъ бывало вдоль забора взадъ и впередъ, повѣся носъ и о чемъ-то раздумывая. Мы называли его философомъ. Онъ не отшучивался и не сердился. Ни на одной класной сходитъ я не слышалъ, чтобы онъ хотъ разъ подалъ свой голосъ. Онъ какъ-будто заранѣе соглашался съ тѣмъ какъ рѣшатъ другіе. Мы знали, что способности у него удивительныя: онъ обыкновенно передъ самымъ классомъ доставалъ тетрадь, наскоро вробѣгалъ урокъ и отвѣчалъ отлично. Онъ шолъ однимъ изъ первыхъ.

Свободное время онъ сидѣлъ на задней скамейкѣ, упершись оппной лѣстѣнн, и думалъ о снахъ, повѣя голову, и все о чемъ-то размышлялъ. Читалъ онъ мало, но не такъ какъ мы всѣ залпемъ; — онъ читалъ медленно, часто задумавшись надъ страницей; пресаживалъ понуря голову, цѣлые часы. Наружность его была неуклюжая, сутуловатая; онъ смотрѣлъ медвѣжонкомъ, хотъ и носилъ названіе Волчка. Широкое, открытое лицо было всегда серьезно, да улыбка какъ-то и не шла къ нему; изъ подъ густыхъ навешенныхъ бровей смотрѣли маленькіе презрительные глаза. Разговаривая, онъ опускалъ ихъ, и только при возраженіяхъ, вскидывалъ иногда на васъ взглядомъ, отъ котораго становилось какъ-то неловко. Говорилъ онъ всегда вяло, лѣнливо и всегда такимъ тономъ; какъ-будто сердатся на васъ зато, что обезпеконили его вопросомъ. Словомъ это была довольно странная личность, на которую впрочемъ никто изъ насъ не обращалъ особеннаго вниманія, чему онъ кажется былъ очень радъ. Я сошпелъ съ нимъ уже въ послѣднее время по поводу Бѣлинскаго. Пиряковъ познакомилъ меня съ его талантомъ, и я съ жаромъ принялся за его статьи. Однажды вызванный изъ класса, возвратясь, я увидѣлъ, что Волчокъ съ жадностью впился въ оставшую мною книгу «Отечественныхъ Записокъ». Забѣжавъ меня, онъ оставилъ ее и отошелъ. На другой и третій день, онъ безпрестанно слонялся около меня: видимо его что-то тревожило и ему хотѣлось заговорить со мной о чемъ-то. Я молчалъ и ждалъ что будетъ. На четвертый день онъ подошелъ ко мнѣ и по обыкновенію опуств глаза проговорилъ: «будемъ вмѣстѣ читать Бѣлинскаго.» Я съ радостью принялъ его предложеніе. Наконецъ человекъ, которому я могъ повѣрять свои мысли, котораго быстро накивали у меня при чтеніи Бѣлинскаго, и также быстро разлѣтался, потому что подлѣяться было не съ кѣмъ. Кому я ни начиналъ читать Бѣлинскаго, всѣмъ онъ понравился; не-принимался по вкусу и показался скученъ. Да и вообще у насъ тогда читали романы Булгарина, Загоскина, Кумольника, рекомендуемые самимъ учителемъ словесности, чѣмъ серьезныи статья. Исключеніе было въ пользу критическихъ статей барона Шрибуова въ Библіотекѣ. Отъ него всѣ были безъ ума. Мы съ Волчкомъ горло принимались за Бѣлинскаго. Читалъ я вслухъ, чѣмъ-то останавливался и начиналъ высказываться. Волчокъ никогда не спорилъ; онъ слушалъ меня молча и терпѣливо; иногда

говорахъ: да! иногда говорилъ — нѣтъ! Но въ большія подробности не пускался. Съ этого времени мы очень подружились.

— Чтожь дѣлать, Волчокъ! унывать стыдно, будемъ учиться. Начнемъ перевоспитывать себя. Помнишь что вчера говорилъ Александръ Васильичъ.

— А что я дѣлалъ въ эти шесть лѣтъ? Отдай мнѣ мои шесть лѣтъ! закричалъ Волчокъ. Вѣдь не можетъ же быть, нехочу я вѣрить, чтобъ во мнѣ ровно ничего не было, чтобъ я ни на что годенъ небылъ. А теперь я знаю, что я дѣйствительно ни на что негоденъ, ни на что неспособенъ. Успѣлъ таки приготовить изъ себя такую пролестъ.

— Да ктожь виновать? Не наше ли собственное равнодушіе?

— Равнодушіе! ха-ха-ха. Какъ это мило сказано! одолжилъ Моховъ! нечего сказать, одолжилъ. Не ожидалъ я этого отъ тебя. Да откуда взялось это равнодушіе, вотъ въ чемъ вопросъ. Ну естественно ли дѣло, чтобъ у мальчика не было желанія узнать что-нибудь, поучиться чему-нибудь. Ну можно ль допустить такую мысль. Вѣдь это было бы противоприродное чувство. Вѣдь это ужъ нравственное уродство, извини меня. А между тѣмъ оно дѣйствительно есть, существуетъ это равнодушіе. Да еще какое, точно какая болѣзнь. Да отчего же это, а? А оттого что тѣ кому слѣдовало бы подогрѣвать, поддразнивать нашу любознательность, сами равнодушны, спятъ голубчики, позевываютъ во всю ивановскую, ну а зѣвота заразительна. Ну, скажи мнѣ ради-бога во всѣхъ ли учителяхъ ты замѣтилъ желаніе научить насъ чему-нибудь болѣе того, что полагается по программѣ. — А вѣдь всѣ они вѣрны. Въ классы ходятъ аккуратно, вовремя; рекомендуются отличными учителями, а много ли пользы. Еще бы не существовало равнодушіе къ наукѣ, когда они такъ силъ бьются, чтобъ поселить отвращеніе къ ней. Что двигаетъ многими учителями? Какой рычагъ? Желаніе передать свои знанія, чтоли? Нѣтъ! тысячу, сто тысячъ разъ нѣтъ! Всѣ его мысли устремлены на одно, чтобъ у него твердо знали тетрадку, по которой положено пройти предметъ, и только тетрадку, хоть будь она бессмысленна, чѣмъ насъ тоже не удивляешь. Вотъ на нее-то опирается учитель и бьется изо всѣхъ силъ, чтобъ улеглась она въ нашей памяти отъ іоты до іоты. Добьется своего, у насъ будутъ стоять высокіе балы, отличныи успѣхъ, а за успѣхъ, нѣвѣстно, учителю награду дадутъ, да и на душѣ

своейшо. Не могу я без смѣха вспомнить это «на душѣ спокойшо». Помнишь Козлякина. «Вы господа поторопитесь пожалуйста докончить тетрадочку, — на душѣ будетъ спокойнѣе.» А какими средствами достигается это *душевное спокойствіе*. Волчокъ захоталъ, но вдругъ нахмурился. Придетъ въ класъ и ну переспрашивать всѣхъ заданный урокъ отселева доселева. Крѣпкая память у мальчика : выдолбитъ безъ записки, трещитъ звонко, что вебу жарко, — отличный балъ ему. Не богата память, да и голова такъ устроена, что не переваривъ пищу не принимаетъ ея, ну и плететь и путается, — нуль въ видѣ поощренія и острастки. Дескать врешь! заставлю учиться, подгоню единичками да нулями къ экзамену, а главное экзаментъ сошолъ бы. А сколько разъ бываетъ оскорблено самолюбіе такую несправедливостью. Бысься бѣдный какъ рыба объ ледъ, а тебѣ все единички, да единички; ну, и бросишь книгу въ сторону. Наука станетъ отвратительна, а объ такимъ учителѣ и говорить нечего. Ну, что, неправду я говорю? спросилъ Волчокъ взмахнувъ опущенными долготъ глазами и вопросительно посморѣвъ на меня.

— Правда!

— То-то! скавалъ онъ самодовольно улыбувшись. — Я много братъ Моховъ думалъ объ этомъ. «Равнодушны, лѣнны, мале розги въ дѣло.» Вотъ вѣдь что кричить ншей педагогъ. Спасибо директору: не изъ такихъ, а те бы такое ауто-дафе устроилъ, что Филипу II въ перу. Розгами хотятъ возбудить любовь къ наукѣ. Ну возможно ли имѣя хоть каплю мозга въ головѣ, говорить такія безобразныя вещи. Положимъ, что страхъ наказанія заставитъ вызубрить урокъ. Ну скажи на милость, какой пользы можно ожидать отъ ученья, источникъ котораго не желаніе научиться чему-нибудь, а побочный двигатель. Да чортъ съ нимъ съ такимъ успѣхомъ. Нѣтъ, заставъ учителей смотрѣть на насъ не какъ на пѣшокъ, которыя надо переспроить заданный урокъ, и только; заставъ ихъ поблагороднѣе, посимпатичнѣе смотрѣть на свое дѣло: тогда стануть учиться. А-то, поставатъ балъ по справедливости, да и думаетъ, что дѣло свято, руки убиты. Не великъ подвигъ неподличать. Не въ одной рутинной честности сила. А розги тутъ непомогутъ. Хорошо ученье изъ водъ палки. О такихъ вещахъ и говорить-то совѣстно.

Волчокъ помолчалъ съ минуту, вдругъ глаза его загорѣлись, онъ схватилъ меня за руку, и заговаривалъ съ жаромъ.

— Знаешь что, Моховъ! третьяго дня да... такъ, дѣйствительно третьяго дня Александръ Васильичъ былъ особенно въ духѣ... Я много съ нимъ говорилъ, все о воспитаніи больше. Онъ сказалъ вещь, которая меня сначала удивила. Онъ сказалъ, что награды, эти красныя доски, похвальные листы и проч. и проч. вредны воверьихъ потому, что источникъ ученія остается все-таки не чистъ: награда а не наука; а вовторыхъ она развиваютъ непошёрное самолюбие. Я долго думалъ объ этомъ, и мнѣ кажется, что это истина! Заставь шальчика учиться изъ-за того, чтобы научиться, — вотъ это отлично! А то учиться изъ-за награды, велика честь, нечего сказать.

— А какъ справедливо раздаются эти награды, никакой правды! сказалъ я.

— Ужъ неудивляешься ли ты этому, Моховъ? — Знаешь что я скажу тебѣ. Такъ ужъ какая-то откровенная да разговорчивая минута на меня напала. Ты тихой умный, милый, ейбогу... а все-таки какъ-то сѣбно смотришь на вещи! Правдѣ! Ты не сердись на меня, я тебя очень люблю. Вотъ наприимѣръ, ты за правду страдалъ...

— Не знаю отчего, при этихъ словахъ я вспыхнулъ, и мнѣ стало совѣстно.

— А пришелъ ли ты этииъ пользу какую-нибудь. Тебя вотъ за это и почетными ирскими обопми, сказала онъ съ иронической улыбкой, — несмотря на то, что ты шелъ первымъ. Значить себѣ не хорошио сдѣлалъ, а другимъ видѣ никакой пользы.

Кровь быстро забѣгала въ моиъ жилахъ.

— Волчокъ! отвѣтай мнѣ коротко: когда ты видишь несправедливость, съ тобой ничего не дѣлается, ты можешь быть ладнокровенъ?

— Я ногти тогда грызу, оттого они у меня всѣ искусаши.

— А! то-то! Хорошо, что ты можешь стерпеть и не сказать подлецу — подлеца! а я не могу. Когда я вижу подлеца, — мнѣ хочется броситься на него, ударить его... дерзостей наговорить.

— Я догадываюсь, что это должно быть пріятно, но видѣ это бесполезно. Да и кромѣ «подлеца» пожалуй другою емои неприялось бы произнести, разговаривать бы разучился.

— Ну, братъ, ты острить нустился.

— Плохая острота! Однако пойдемъ къ нашимъ! И ны сѣли всходить на крыльцо.

— Волчокъ! тебѣ нисколько не жаль корпуса?

— Теперь не жаль. Можетъ—быть послѣ и пожалѣю.

— А мнѣ жаль. Немного радостей я въ немъ видѣлъ, а все-таки жаль. Вѣдь что ни говори, шесть лѣтъ провели мы въ этихъ стѣнахъ. Шесть лѣтъ, вѣдь это много... все-таки при-вычка. И глупо можетъ—быть, а все-таки жаль. Вѣдь богъ-знаетъ еще что тамъ впереди, сказалъ я невольно настроиваясь на элегическій тонъ. Можетъ—быть какъ еще вспомнителъ-то нашъ корпусъ, какъ пожалѣемъ о немъ. Вѣдь были же в-здѣсь свѣтлыя минуты, хорошія минуты были. Хоть и нешного ихъ, а все же были. Знаешь что Волчокъ: пройдемся по корпусу, прочтисся со всѣми уголками! Право мнѣ этого очень хочется. Завтра не удастся, а теперь всѣ въ класахъ. Пойдемъ!

— Странная фантазія, — пойдемъ. И мы вошли въ нижній коридоръ.

— Вотъ здѣсь, здѣсь, заговорилъ я восторженно, — сколько передумалось въ этомъ коридорѣ, когда бывало по цѣлымъ часамъ мѣряешь его изъ угла въ уголъ. А что, Волчокъ, я думаю каждый изъ насъ не одну сотню тысячъ разъ прошолъ по немъ. А вотъ этотъ ларь у часовъ; какъ бывало на немъ хорошо мечталось, особенно по праздникамъ. Тишина страшная; въ коридорѣ ни души. Наши кто на дворѣ, кто въ класахъ, дежурный дрыхнетъ себѣ наверху; только ту-тукъ, ту-тукъ!.. а ты усядешься съ ногами на ларь, да и начнешь себѣ думать о томъ, о другомъ, такъ занесешься, что забудешь что и въ коридорѣ, на ларѣ. Чудная это минуты. Люблю я ихъ!..

Волчокъ молчалъ, но все какъ-то странно улыбался.

Мы вошли въ столовую, которая отдѣлялась отъ пріемной залы двумя широкими колоннами.

— Вотъ здѣсь, продолжалъ волчокъ, намѣренно поддѣлываясь подъ мой элегическій тонъ: — кормили насъ тухлой говядиной, кашей съ прогорклымъ масломъ, въ которомъ случайно попадались свѣчныя свѣтильни. Въ торжественныхъ случаяхъ пирожками съ ананасомъ, между которыми иногда по странной иерѣ природы шла алюминія оказывалась съ длинными тоненькими усиками. А прочеши сказать по правдѣ, гдѣ насъ воспитывали и воспитали, такъ это именно въ этой комнатѣ. Намъ дали также желудки, что хоть уткѣ такъ въ пору — все переварять. Не даромъ въ ходу

выраженіе «кадетскій желудокъ». А вѣдь это, говорятъ, тоже не послѣднее благо!

— Ну, ты вообще сегодня такой, сказалъ я съ неудовольствіемъ. А помнишь публичный экзаменъ... вотъ здѣсь стоялъ красный столъ...

• — Кукольная комедія!..

— Ахъ, боже-мой, кто-жъ этого не понимаетъ! а все-таки пріятное воспоминаніе. Не знаю какъ ты, а я никогда не забуду того лихорадочнаго ожиданія, съ которымъ я смотрѣлъ на этотъ залъ, пока меня не вызвали. Когда экзаменаторъ промолветъ мою фамицію, у меня такъ и екнуло сердце: какъ я вышелъ, ейбогу не помню... Знаю только, что когда я брался за билетъ, все прыгало тогда въ глазахъ. Миѣ показалось, что всѣ эти шитые воротники забѣгали съ одной шеи на другую, точно какъ въ игрѣ когда барыня спрашиваетъ весь туалетъ. У одного даже миѣ показалось три воротника на шеѣ, одинъ на другомъ, а главный экзаменаторъ показался сидящимъ на столѣ... Какъ началъ я отвѣчать, — смутно помню, но когда я догадался, что меня хвалить, весь страхъ вдругъ прошолъ, миѣ стало совсѣмъ легко. Я даже вдругъ почувствовалъ себя очень смѣлымъ, какъ никогда... Миѣ даже захотѣлось, чтобъ кто-нибудь изъ экзаменаторовъ придрался ко миѣ — и я бы его отдѣлалъ... Вотъ какъ я тогда расхотѣлся!.. и какое страшное, сладкое состояніе я тогда испытывалъ; точно в лихорадка тебя бьетъ, да и кровь какъ-то хорошо и скоро бѣжитъ по жиламъ — славно! Только послѣ экзамена у меня весь день жаръ въ головѣ былъ.

— А вотъ эта комнатка, продолжалъ я, входя въ офицерскую: — неужели и она не оставитъ тебѣ пріятныхъ воспоминаній. Помнишь, какъ бывало усадемся мы около Александра Васильича. Онъ, вотъ тутъ — на диванѣ ляжетъ, и начнутся у насъ споры да разговоры. Какое славное было это время. Такъ бы и проговорилъ всю ночь, а онъ гонать спать, говорить трудно. И вѣдь какъ кротко, какъ снисходительно, безъ всякаго задора и жолчи. Онъ спорилъ съ нами, выводилъ на путь истинный, раскрывалъ передъ нами наши заблужденія. Всегда нѣтъ сомнѣнія, что иногда ему скучно бывало спорить съ нами, а никогда онъ и намека не дѣлалъ. Онъ какъ-то особенно умѣлъ учить насъ и виду непоказывая, что учить: оттого-то такъ и вѣрилось ему... Когда я выходилъ изъ этой комнаты я

всегда чувствовалъ себя бодрѣе, свѣжѣе, умнѣе... Сознайся Волчокъ, что если у насъ и есть что хорошее, такъ это мы ему обязаны; онъ первый заставилъ насъ благородно взглянуть на жизнь.

— Это намъ съ тобою такъ кажется, а другіе не то скажутъ; спроси ихъ... Они скажутъ что у Еропъ Савича лучше было сидѣть. Тотъ, иногда въ добрую минуту и папирской угостить, и разныя городскія сплетни сообщить. У него бывало всегда хохотъ, онъ это любилъ, только смѣйся прилично, въ себя смѣйся, животомъ, а горло не распускай. А ужь если читать что заставить, такъ ужь больно занятное... Зотовщину какую-нибудь, гдѣ отъ пожаровъ, да сраженій, да разбойниковъ не оберешься. Даже у Козявкина, скажутъ, веселѣе было: тотъ рассказывалъ какая у нихъ въ образцовомъ служба трудная была, и т. д., и все это пересыпано такими забавными солдатскими шуточками... а иной разъ, подъ веселую руку, и амуры свои царскосельскіе расскажетъ... въ назиданіе юношеству. А мы съ тобой, — мы научились благородно смотрѣть на жизнь, сказалъ Волчокъ, и лицо его приняло грустно-серьезное выраженіе... Но поведетъ ли это къ хорошему... Много подвѣялъ онъ у насъ со двѣ души такого, что преспокойно бы лежало въ ней, отъ времени до времени заносилось бы тиной, завязло бы въ ней, и со временемъ не приходило бы намъ въ голову до гроба, что было у насъ что-то хорошее... и не знали даже бы мы о немъ, а жили бы собѣ припѣваючи — легонько да здоровенько. Впрочемъ, будь что будетъ, а великое спасибо ему, — всегда первая молитва за него. Послушай, Моховъ! и лицо Волчка приняло нѣсколько тревожное выраженіе. Замѣтилъ ли ты, что Александръ Васильичъ въ послѣднее время что-то не хорошъ: часто задумывается, жолченъ, даже несправедливъ подчасъ. Куда его терпѣніе дѣлось? Всегда бывало, каждую ссору, каждое дѣло разбирать до ниточки, а теперь накажетъ—таки безъ разбору. У него что-нибудь на душѣ нехорошее.

— Да такъ, нездоровъ можетъ-быть, отвѣчалъ я, желая увѣрить самого себя, что это дѣйствительно такъ, хотя внутреннее чувство говорило мнѣ, что это не просто нездоровье, а что-то другое; оно даже смутно подсказывало что это такое именно, но еще не назвало по имени.

— Дай-богъ, чтобъ такъ! Послушай, Моховъ, продолжалъ

Волчокъ, замѣтно смущенный, запинаясь на каждомъ словѣ: — говорить, что Амосовъ цѣлые дни у него сидить.

— О, нѣтъ! нѣтъ! нѣтъ! заговорилъ я съ жаромъ. Миѣ стала ясна мысль Волчка, и я ея испугался. Правда, это подозрѣние не разъ уже тревожило меня, но я гналъ отъ себя страшную мысль. Я готовъ былъ увѣрять себя и весь міръ, что это не правда... Божусь тебѣ, Волчокъ — это сплетня, это Игнатій Игнатьичъ выдумалъ по злобѣ на Александра Васильича... Ей-богу! Амосовъ никогда не бываетъ у нихъ, лгалъ я, чувствуя, что краснѣю. Право, онъ рѣдко бываетъ... Его Александръ Васильичъ какъ брата принимаетъ. Да нѣтъ, Ольга Петровна это такая женщина... Она такъ любитъ Александра Васильича, говорилъ я краснѣя и совершенно смущенный.

Въ эту минуту мы вошли въ дортуаръ, отведенный для насъ, выпускныхъ; шумъ, говоръ, смѣхъ оглашали всю комнату. Вся она была уставлена койками и при нихъ небольшими столиками. Тѣ и другія были завалены разною разностью. Первое мѣсто занимали мундирныя и сертучныя пары, которыя смотря по степени любви къ порядку и акуратности своихъ хозяевъ, то чинно лежали на койкахъ, тщательно завернутыя въ чистыя простыни, такъ чтобъ и пылинка не сѣла; то скомканныя и расстрепанныя небрежно валялись на табуреткахъ или торчали изъ-подъ угловъ подушекъ. Гораздо болѣе вниманія даже со стороны самыхъ беспорядочныхъ было оказываемо тѣмъ бездѣлушкамъ, которыя во множествѣ украшали столики каждаго, улаживая на себя, какъ на предметъ первой необходимости въ хозяйствѣ молодыхъ хозяевъ. Столъ Жигалева былъ весь заставленъ складными зеркальцами, помадными банками, флаконами духовъ, одеколона; одного *vinaiigre de toilette* красовалось три стѣлки; щотками и щоточками всевозможныхъ величинъ и назначеній: и для головы, и для усовъ (существующихъ только въ проектѣ), и для ногтей; даже платяная щотка и двѣ для смазки сапогъ — не были забыты. Самъ онъ уже съ часъ какъ сидѣлъ передъ зеркальцемъ и все причесывался, усердно напомаживая свою голову уже не въ первый разъ и не изъ первой банки. Помада только-что не текла съ головы; но ему все казалось мало и онъ замѣтно былъ недоволенъ собой. Пристально поинтересуясь минутъ всматривался онъ въ зеркало, то поднося его къ самому носу, то относя отъ себя на вытянутую руку, и издавъ лю-

будет собой... Слова помаялся, и снова миналъ прическу. На столѣхъ Филькина навалена была груда трубокъ, чубуконъ, пачекъ папиронъ, и картузовъ табаку всевозможныхъ фабрикъ.

— Моховъ! Волчокъ! Посмотрите! вонъ ихъ сколько, закричалъ онъ намъ весело, симметрично раскладывая на столѣ покупки. Ты, братъ, Волчокъ, какія куришь? можетъ Спиглазова или Миллера, а то Дюбека или Достоевскаго можетъ... Такъ ты братъ не стѣсняйся, говори; у меня всякія есть... Нѣтъ такой фабрики, какой бы у меня не было, ейбогу.

— Зачѣмъ это ты столько накупишь? спросилъ я.

— Нельзя же, стануть товарищи приходить. Однихъ курить одной фабрики, Спиглазова напримѣръ — а другой, другія любить, ну и надо имѣть всякія. Зато, братъ, нѣтъ такой фабрики на свѣтѣ, которой бы у меня не было, прибавилъ онъ съ нѣкоторымъ самодовольствомъ.

— А Адилія есть? спросилъ кто-то.

— А развѣ есть таѣя?

— Ейцебы! Конечно, есть!..

— Нѣтъ у меня нѣтъ адиліи; да ты врешь, такихъ вѣрно и не бываетъ, выдумалъ.

— Ну вотъ, зачѣмъ я стану врать.

— Эйбогу врешь! и жарено у всѣхъ лавочниковъ спрашивать, какія еще папироны бываютъ, чтобы всякими зачиститься... Ну, и они божились, что другихъ нѣтъ. Ты врешь, просто хотѣлъ срѣзать меня, да не удалось.

— Почему мнѣ тебя срѣзывать, а ты студай въ кондитерскую, да и спроси папиронъ, тебѣ и подадутъ адиліи.

— Да, я небылъ въ кондитерской, проговорилъ Филькинъ, доставая изъ кармана лоскутокъ бумаги и нависалъ адиліи... Гм... Надо сходить. Сейчас же пойду, а то какъ же, вдругъ адиліи есть, а этихъ нѣтъ. Лицо его приняло озабоченное выраженіе, куда вся веселость дѣлась. Онъ принялся торопливо одѣваться, бермоча что-то себѣ подъ носъ.

Передъ большимъ стѣннымъ зеркаломъ Ковыркинъ примѣривъ новыи мундиръ, только-что принесенный портнымъ изъ переизвѣстнаго, въ которой онъ успѣлъ побывать разъ шесть. Какъ онъ удивлялся бѣдливой портной, все не могъ угодить на прихотливый вкусъ молодого франта.

— Моховъ, Волчокъ, голубчики! закричалъ Ковыркинъ за-

видѣвъ насъ. Ну скажите мнѣ поправдѣ, скажите потоварище-ски. Вѣдь нехорошо спито, мало груди, говорилъ онъ вертлясь передъ нами, въ новомъ щегольскомъ платьѣ.

Платье сидѣло отлично, только грудь была что-то неестественно выпукла, да талья какъ у муровья въ перехватъ. Мы сказали ему это.

— Это ничего что талья узенькая, это хорошо, я самъ приказалъ. Бадагинъ тоже таную носить, а онъ первый кавалеръ здѣсь въ городѣ; всѣхъ дамъ интересуеъ, заговорилъ скороговоркой Ковыркинъ. А вотъ груди такъ мало... что это за грудь, развѣ это грудь?.. отнесся онъ къ портному.

— Помилуйте, сударь, да я и такъ никакъ фунтовъ пять ваты подложилъ.

— И еще подложи, жалъ тебѣ чтоли ваты; а такъ негодится, что это за грудь, этакая грудь у всякаго штафирки есть... прибавь груди, чтобъ колесомъ была.

— Помилуйте, сударь... началъ было портной.

— Нечего тутъ мыловать... не хочу я, негодится мундиръ... прибавь груди, чтобы колесомъ была. И онъ сталъ снимать платье, которое портной тотчасъ же принялъ отъ него съ тяжелымъ подавленнымъ вздохомъ.

На сосѣдней Ковыркину койкѣ собрался кружочекъ, и въ немъ кипѣлъ горячій споръ.

— Ну, Моховъ, ты всегда говоришь правду, горячился карпузикъ Горецкій, съ которымъ мы оба назначены были въ одну батарею: — скажи намъ по совѣсти какая служба благороднѣе: въ артилеріи или кавалеріи?..

— Стой, стой Горецкій! Моховъ въ этомъ спорѣ не можетъ быть судьей — онъ самъ въ артилерію выходитъ, закричалъ Шаменовъ, нововспеченный корнетъ NN гусарскаго полка.

— Пусть Волчокъ рѣшитъ, онъ въ пѣхоту идетъ, сказалъ кто-то.

— Да о чемъ же тутъ спорить, сказалъ Волчокъ улыбаясь: каждая служба благородна.

— Ну, хорошо! А все-таки, какая благороднѣе, почесыва а?.. кричалъ Горецкій. Ты забудь то, что въ артилерію офицеры выходятъ и у нихъ ученый кантъ на воротникѣ, а у кавалериста нѣтъ ученаго канта... Вотъ еще у саперовъ да у инженеро-ровъ есть ученый кантъ.

— Да Волчокъ самъ въ пѣхоту идетъ, а не въ артилерію, а онъ изъ первыхъ; вотъ вамъ и рѣшеніе задачи, сказалъ я.

— Отчего въ самомъ дѣлѣ ты не въ артилерію Волчокъ, отозвался кто-то.

— Семья у меня большая... И Волчокъ отвернулся.

— Ну чтоже рѣши, какая служба благороднѣе? приставалъ Горецкій. Вѣдь артилерія? это ученая служба, а кавалерія что... на лошади ѣздить, тутъ не нужно головы.

— Я вамъ скажу одно, каждая служба требуетъ честныхъ людей, а слѣдовательно честный человѣкъ каждую службу сумеетъ сдѣлать благородной, а подлеца хоть къ чорту сунь — подлецомъ останется.

— Ну это ты изъ книги... это философія, сказалъ Горецкій. Всѣ засмѣялись.

Мы съ Волчкомъ отошли нѣсколько шаговъ и остановились у моей койки. На моемъ столикѣ красовалась хорошенькая хрустальная чернильница, полъ-стопы бумаги, четыре коробки стальныхъ перьевъ и въ хорошенькихъ переплетахъ сочиненія Лермонтова, Гоголя и Бѣлинскаго.

— Это на что ты столько перьевъ да бумаги накупилъ? спросилъ Волчокъ.

— Это я дневникъ стану писать, отвѣчалъ я покраснѣвъ. Мнѣ только теперь стало ясно, что бумаги и перьевъ накуплено действительно что-то ужъ слишкомъ много, и стало совѣстно.

— Ну, а ты Волчокъ, что себѣ купилъ?

— Чаю да сахару, люблю я этотъ напитокъ, а больше ничего — да и нечачто; мнѣ, братъ, неизчего раскошелиться... Я сестрѣ на два платья подарилъ... невѣста она, а женихъ у ней бѣдный, неизчего дарить ее... да и мать-старушка все больная... И въ голосъ Волчка зазвучала болѣзненная нота и по лицу пробѣжала грустная тѣнь; но онъ вдругъ поднялъ свою понуренную голову, встряхнулъ ею какъ-будто отгоняя невеселыя мысли, и засмѣялся не совсѣмъ естественнымъ голосомъ, кивнувъ на Іуду.

— Полюбуйся Іудой, все деньги считаетъ.

Действительно Іуда сидѣлъ за своимъ столикомъ и считалъ и пересчитывалъ серебро, которое было разложено передъ нимъ красными столбиками; пересчитавъ столбикъ онъ акуратно запертывалъ его въ бумажку, дѣлалъ надпись, принимался за слѣ-

дующій, и по окончаніи этой процедуры снова привѣнался считать. Видимо это занятіе доставляло ему удовольствіе. На столе кромѣ серебра лежали двѣ небольших тетради въ перешметках, на коркахъ которыхъ были наклеены бѣлые бумажные ярлыки въ видѣ сердца, съ крупной надписью — на одномъ приходная, на другомъ расходная книга; поношенный портмоне, стальная кошилка, шелковый кошелекъ и нѣсколько дѣтскихъ игрушекъ дешоваго достоинства.

— Это онъ инспекторскимъ дѣтямъ накупилъ, сказалъ Волчокъ, и потомъ обратился къ Іудѣ съ пасмѣшливой улыбкой.

— Ну что, Іуда, не отыскался ли еще какой дядюшка или тетушка?

— А тебѣ завидно, что у самого нѣтъ, отвѣчалъ злобно смѣясь Іуда, неоставляя своего занятія.

— Вотъ братъ, Моховъ, чуть-то отыскивать дядюшекъ да тетушекъ. И вѣдь безъ большого труда, по адресъ-календарю. Отыщешь однофамилка, и идешь къ нему родственное писемъ, кланчить на обзаведеніе. Ну и пишутъ подачиу... Наместь гусь... Вотъ ужъ головой ручаюсь, что не пропадетъ челомъкъ.

Въ эту минуту дверь въ концѣ коридора отворилась, и въ комнату вошелъ Амосовъ. А я-то васъ ищу, кричалъ онъ, идя къ намъ ускореннымъ шагомъ.

Я взглянулъ на Амосова и подозрѣніе недавно высказанное Волчкомъ вдругъ проснулось во мнѣ. Его свѣжія, бѣлдернивые щеки горѣли болѣе нежели здоровьемъ; сквозь нихъ какъ-будто невольнo сквозилъ избытокъ великаго душевнаго счастья. Такъ много играло одушевленія въ этомъ румянцѣ, въ блескѣ его голубыхъ глазъ, которые безпрестанно принимали солнечный отливъ, въ складѣ губъ, юношески-свѣжизнѣ, въ динамичномъ походкѣ, голосѣ, — во всемъ чувствовалось столько сознательнаго довольства, такая полнота счастья, и вообще онъ смотрѣлъ такимъ интереснымъ, такимъ обаятельно-симпатичнымъ, что глядя на него у меня невольнo мелькнула мысль. Да, онъ думалъ Александра Васильича, и сердце болѣзненно сжалось за Падякѣва... Даже платье Амосова, уже далеко не новое, смѣшанное немъ какъ-то особенно хорошо, свободно, какъ-будто сшитое на него, а бархатный воротникъ съ тоненькимъ ирисовымъ кантомъ, правда немножко засаленнымъ, удивительно подходило ему, еще болѣе отгнѣвая матовую бѣлизну лица.

— Наслыу васъ отыскалъ, говорилъ онъ, пожимая намъ руку: — я отъ Александра Васильича. Онъ проситъ васъ завтра въ ложу къ себѣ въ театрѣ.

— Какой театръ? и у меня глаза загорѣлись отъ такого неожиданнаго сюрприза.

— Труппа прѣѣхала, завтра первое представленіе въ театрѣ, гдѣ словъ зимоваль; тамъ говорятъ играли когда-то, и ложи сдѣланы... теперь порасчистили.

— Такъ значить завтра театръ! Театръ, Волчокъ, театръ завтра, забормоталъ я, прыгая какъ козелъ отъ удовольствія.

— Ишь какъ обрадовался! вотъ вамъ и афиша... а теперь прощайте, мнѣ надо еще кое куда... и Амосовъ пожавъ намъ руки вышелъ.

— Театръ, театръ! все еще бормоталъ я, стоя какъ вкопанный, и перебирая въ рукахъ афишу. Чтожъ это я обезумѣлъ отъ радости... надо афишу прочесть что-то играютъ, и я развернулъ было ее, но вдругъ сложилъ и спряталъ въ карманъ; мнѣ хотѣлось отдалить то удовольствіе, которое было въ моихъ рукахъ. Лучше послѣ обѣда прочту, мелькнула у меня мысль; лягу на койку и прочту... съ разстановкой, съ толкомъ, и я даже змокнулъ губами, заранѣ предвкушая то удовольствіе, которое мнѣ непременно должно было доставить чтеніе афиши.

Надо сказать, что одно слово «театръ» имѣло на меня какое-то магическое дѣйствіе... Я до безумія любилъ его, хотя до сихъ поръ мнѣ не удавалось видѣть настоящаго театра; но мнѣ чувствовалось смутно, что это должно быть неисчерпаемое удовольствіе. Еще мальчикомъ двѣнадцати-тринадцати лѣтъ, я всѣ свободные часы просиживалъ за растрепанными книжками Пантагна. Жадно перечитывалъ все что я называлъ театромъ; будь это драма Кукольника или Полевого, водевиль Кони или Писарева, переводная ли комедія Скриба, мнѣ было все равно, лишь бы то былъ театръ. Помню я приступалъ къ чтенію еще незнакомой мнѣ пьесы съ чувствомъ совершенно отличнымъ чѣмъ къ другой какой книгѣ, хотя вообще книги были моею первою и горячею страстью. Я въ какомъ-то благоговѣнномъ настроеніи развертывалъ книгу, пробѣгая про себя описаніе сцены, и она уже стояла передо мною какъ живая; я забывалъ, что я въ класѣ... эти скамьи, доска, кафедра, все исчезало... я видѣлъ себя въ какой-то огромной, блестящей, розовой залѣ, ярко

освѣщенной, наполненной разряженнымъ народомъ — зала такъ походила на одну изъ тѣхъ, описанія которыхъ жадно читывались мною... Вотъ колеблется огромный занавѣсъ съ золотыми кистями и бархатными бахромами... оркестръ гремитъ... вдругъ зазвенѣлъ колокольчикъ... и театръ начался. Я становился актеромъ, читалъ пьесу въ полголоса, отгнѣняя одно лицо отъ другого. Окончивъ первое дѣйствіе я закрывалъ книгу, мурдыкалъ какую-то пелѣпую импровизацію, причемъ басилъ непомѣрно и билъ кулакомъ по столу; подъ вліяніемъ настроенія я вѣрилъ въ эту минуту, что распѣваю не я, а музыка играетъ въ оркестрѣ... Потомъ произносилъ: динь-динь-динь... и еще съ большимъ аппетитомъ продолжалъ чтеніе на разные голоса съ жестами и завываніями — если то была драма. Чѣмъ болѣе разыгрывался драматическій интересъ, тѣмъ болѣе и болѣе я входилъ въ пафосъ. Въ антрактахъ я уже просто неистовствовалъ, колотя обѣими руками по столу. Мнѣ казалось, что оркестръ непременно долженъ былъ играть въ этомъ антрактѣ громкую и бурную пьесу, потому что дѣло въ драмѣ больно уже далеко зашло. Помню мой восторгъ, когда однажды на пасху кадетъ верхняго класа торжественно объявилъ передъ завтракомъ, что сегодня у нихъ въ класѣ будетъ представленіе; кто желаетъ смотрѣть, долженъ заплатить шесть яиць т. е. три завтрака первыхъ трехъ дней праздника и шесть листовъ бумаги. Я конечно и минуты не задумался поголодать за право насладиться театромъ. Помню съ какимъ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ ожидалъ я скоро ли наступитъ вечеръ и насъ пустятъ въ верхній класъ. Помню то тревожное любопытство, съ какимъ я старался подсмотрѣть въ замочную скважину запертой двери приготовленія къ спектаклю. А приготовленія должно-быть были огромныя. Шумъ, крикъ не утихалъ все утро, и все это окружено было глубокой таинственностью. Безпреставно кто-нибудь выходилъ изъ класа и разгонялъ насъ, кочующихъ цѣлый день у дверей. Наконецъ наступила давножданная минута. Съ пяти часовъ безотходно дежурящіе у дверей, мы были въ восемь часовъ впущены въ класъ. Съ гикомъ и гамомъ ворвались мы обрадованные сквозь растворенныя двери, за что тотчасъ же и получили по нѣскольку щелчковъ и подзатыльниковъ. Это служило намъ внушеніемъ, что въ храмѣ Мельпомены надо держать себя скромно и прилично. Помню какъ весело забилось мое

сердце, когда я взглянулъ на занавѣсъ наскоро сшитыя изъ нѣсколькихъ казенныхъ простынь. Онъ былъ укрѣпленъ между двухъ класныхъ досокъ, для большого эффекта занавѣшенныхъ какими-то ситцевыми юпками, выпрошенными напрокатъ за пятацтынный у жены каптенармуса. Все это казалось мнѣ тогда такъ хорошо, что лучше и быть не нужно. Съ замираемъ сердца, сдерживая дыханіе, молча смотрѣли мы на бѣлый занавѣсъ, сквозь который слабо сквозилъ свѣтъ отъ сальной свѣчки на сценѣ и нетерпѣливо ждали что-то будетъ. Кто-то постучалъ палочкой и раздалась музыка... Ламповщикъ игралъ на скрипкѣ... сюрпризъ былъ выше ожиданій: на музыку никто изъ насъ не рассчитывалъ. Кончился вальсъ, отдернули простыню и началось представленіе Архипа Осипова... Я испытывалъ глубокое наслажденіе; и всю ночь и весь послѣдующій день мнѣ все грезился театръ. И теперь... вдругъ, завтра же я увижу настоящій театръ... что-то играютъ они... бормоталъ я перебирая въ карманѣ акуратно сложеную афишу, невыдержавъ характера и привался читать. Объявлено было: «Коварство и любовь» трагедія г. Шиллера и какой-то водевилъ. Шиллеръ! Шиллеръ! «Коварство и любовь! знакомое мнѣ только по названію... я былъ въ восторгѣ... Ахъ хоть бы поскорѣ наступила ночь, заснулъ бы, а тамъ просыпаюсь, присяга... а вечеромъ театръ; и неважнѣе бы какъ время до него пролетѣло; вотъ только бы послѣдній день поскорѣ прошолъ... и я безпрестанно сталъ поглядывать на часы, нетерпѣливо дожидаясь вечера, чтобы поскорѣ завалиться спать.

На другой день меня разбудилъ спальный шумъ. Многие уже встали, хотя было довольно рано. Ковыркинъ въ мундирѣ вертѣлся передъ зеркаломъ, браня на чемъ свѣтъ стоитъ портного, который понурилъ голову только вздыхалъ, безнадежно разводя руками.

— Сказывалъ я тебѣ, скотина, чтобъ колесомъ грудь пусить... А? сказывалъ вѣдь, сказывалъ? человѣческимъ языкомъ сказывалъ... а это что... это что?.. Развѣ это колесомъ, колесомъ развѣ это? и онъ колотилъ себя въ грудь рукою. Какъ я теперь къ присягѣ пойду... а?.. ты развѣ за меня пойдешь? я тебя спрашиваю: ты развѣ за меня пойдешь? отвѣчай!

Шортной отвѣчалъ глубокимъ вздохомъ.

— Тото, теперь вздыхаешь, а тогда не слушалъ, носомъ слу-

шалъ... Счастливъ ты, что сегодня такой торжественный день, а то бы я тебѣ твою физиономію колесомъ пустилъ...

Жигалевъ тоже былъ вставши... Лакей его едва успѣвалъ бѣгать съ рукомойникомъ за водой для барина, который усердно натиралъ себѣ лицо разными мылами, умывался и опять натиралъ... Нѣсколько хорошенькихъ коробочекъ съ мыломъ, порошкомъ для зубовъ, пудрой, красовались на его табуретѣ.

— Что это вы такъ рано поднялись господа? спросилъ я.

— Надо же приготовиться, отвѣчалъ кто-то.

— Господа, кто хочетъ курить, можете ко мнѣ обратиться...

Какой угодно фабрики есть, и адиллія есть... вчера купилъ... раздался голосъ Филькина. Я повернулся на другой бокъ и закрылъ глаза, но сонъ прошолъ; я повертѣлся, повертѣлся и соскочилъ съ койки. Почти всѣ поднялись, — дѣятельность страшная. У всѣхъ лица замѣтно сіяютъ торжественною веселостію, даже Бубенчиковъ, которому не выгорѣло офицерство и приходилось шесть мѣсяцевъ прослужить юнкеромъ, — до сегодня постоянно озлобленный и нѣсколько сконфуженный, помирится кажется съ своей судьбою. Онъ стоитъ передъ зеркаломъ, самодовольно любуясь своей тальей съ перехватцемъ и ярко горѣвшими унтеръ-офицерскими галунами на воротникѣ, которые были такъ искусно нашиты, что издали его можно было принять за штабъ-офицера, что кажется его немало утѣшало. Впрочемъ его счастье скоро было нарушено. И снова лицо приняло сердитое выраженіе и снова краска пятнами повыступила на щекахъ.

— А ужъ заставлю же я тебя шапку мнѣ довать, подтрунивала фараонова мышь.

— Не дожدهшься, братъ, прерывающимся голосомъ отвѣдалъ Бубенчиковъ, краснѣя отъ злости.

— Такъ гауптвахты попробуешь.

— Жирно будетъ! невелика птица, задыхаясь произнесъ Бубенчиковъ.

— Птица не птица, а офицеръ, гладнокровцо отвѣдала мышь. — А васъ господинъ юнкеръ, прошу не забываться. Помните, что вы говорите съ офицеромъ, рѣзкія выраженія чуждому чину неприличны. Вы вѣдь нижній чинъ!

Бубенчиковъ поблѣднѣлъ.

— Зазнался, прошепталъ онъ злобно, отходя отъ мыши.

— Бубенчиковъ! душка ты моя, неужели ты шутку не увидишь отличить, ахъ, ты... песь эдакій!.. и онъ бросился его обнимать.

— Скверная шутка, неделикатная шутка, бормоталъ Волчокъ, поднимаясь съ койки и отыскивая сапоги.

Примѣръ всѣхъ подѣивалъ и на меня. Я торопливо умылся и сталъ наряжаться въ свой новенькій артилерійскій мундиръ, хотя до присяги оставалось добрыхъ два часа. Нѣкоторые, уже давно одѣтые, важно расхаживали по коридору, безпрестанно останавливались у зеркала, любуйсь собой и своимъ мундиромъ. Миѣ показалось это очень смѣшнымъ; — точно женщины а не мужчины, подумалъ я; но когда уже совсѣмъ одѣтый, подошелъ къ зеркалу, взглянулъ все ли по формѣ сидитъ на миѣ, со мной случилось тоже что и съ другими. Я вдругъ ужъ что-то очень понравилось себѣ и минутъ съ пять внимательно разсматривалъ свою физиономію и остался ею очень доволенъ. Потомъ отправился къ койкѣ, примѣрилъ киверъ и въ киверѣ снова подошелъ къ зеркалу... Въ киверѣ я... ничего... еще лучше... (разсудилъ я про себя) только надо его немножко на бокъ... вотъ такъ... чтобъ было что-то такое... небрежное... а лѣвый високъ распрямить, какъ-будто незанимаюсь собой... эдакъ я на разочарованнаго похожъ. А что Машенька... я думаю совсѣмъ больше... а вѣдь я кажется влюбленъ въ нее былъ... ребячество... любовь дѣтское чувство... (Эта фраза гдѣ-то вычитанная сильно зашла у меня въ головѣ и я любилъ ею пустить пыль въ глаза). Муку прележна другая любовь... гражданская... къ обществу любви... Бросила ли она свою привычку глазки дѣлать... Она думаетъ, что это удивительно какой магнитъ для мужчины... Барышня! прошепталъ я уже вслухъ, и напустилъ на себя гримасу, которую всегда дѣлывалъ Волчокъ, произнося это слово. Только у него всегда это выходило какъ-то очень хорошо, а у меня вышло дурно, я замѣтилъ и покраснѣлъ. Надо будетъ по слѣ присяги прогуляться; вѣрно много гуляющихъ будетъ, — погода чудная... и дамы вѣрно будутъ... Ловко ли въ этомъ киверѣ подъ козырекъ дѣлать. (Я былъ увѣренъ что ловко, но миѣ хотѣлось еще разъ полюбоваться собой какъ я подкозырекъ дѣлаю) — и я началъ раскланиваться себѣ въ зеркало... Я такъ вошелъ въ роль, что миѣ показалось что я раскланиваюсь съ знакомыми дамами а не съ собой... Послѣ присяги на катанье

пойду; Ольга Петровна не видала еще меня въ мундирѣ... а вечеромъ театрѣ: «Коварство и любовь»... и я забывшись, что я въ полномъ мундирѣ и даже въ киверѣ на головѣ, подпрыгнулъ отъ удовольствія.

Копчлась присяга и всѣ мы съ шумомъ и веселымъ говоромъ высыпали на улицу. Сходя съ сцены я чувствовалъ себя какъ-то ужъ очень развязнымъ, веселымъ, довольнымъ, но только что повернулъ на главную улицу... и завидѣлъ дамскія шляпки... куда вся храбрость дѣлась... я почувствовалъ во всемъ организмѣ большую неловкость, точно и руки и ноги мои стали не мои, а когда какія-то гуляющія дамы взглянули на меня, мнѣ стало ужасно совѣстно, чего, — я самъ не зналъ. Какъ нарочно въ это самое время идущій на встрѣчу солдатъ сдѣлалъ мнѣ фронтъ... Я неловко поклонился ему и покраснѣлъ какъ ракъ... Мнѣ стало досадно на себя. Ну, чего совѣститься... въ офицеры произведенъ, что же тутъ совѣстнаго... Вѣдь это глупо, — старался я себя образумить и успокоить, но неловкость не проходила... Вонъ другіе же не совѣстятся... Вонъ какимъ фертомъ чиновникъ идетъ, даже подъ шляпки дамамъ заглядываетъ, а раскланивается какъ ловко, — а я какъ дуракъ какой все краснѣю... и я съ завистью посмотрѣлъ на чиновника. Нѣтъ, я ужъ лучше перелюбки дойду къ Патрикѣевымъ; тамъ вѣрно нѣтъ гуляющихъ... а по большой улицѣ мнѣ дураку еще рано ходить, и я уже повернулъ было налѣво, какъ услышалъ громкій крикъ, и оглянулся.

Чиновникъ кричалъ на какого-то юнкера, который свалъ ему фуражку, но не сдѣлалъ фронта. Долго и громко кричалъ онъ, такъ что гуляющіе обратили вниманіе, что кажется ему очень понравилось: онъ еще громче сталъ кричать размахивая руками, а молоденькій юнкеръ сконфуженный со слезами на глазахъ неловко переступалъ съ ноги на ногу.

Мнѣ стало совѣстно... Нѣтъ это тоже... очень ужъ развязно, подумалъ я, и отправился къ Патрикѣевымъ. На крыльцо я всходилъ еще довольно смѣло; но когда я вошелъ въ залъ, странная совѣстливость совершенно овладѣла мной, — я растерялся. Я чувствовалъ, что краска все болѣе и болѣе приливаетъ къ лицу. «Дуракъ, оселъ, дуракъ!» ободрялъ я себя, но напрасно.

Ольга Петровна встрѣтила меня какъ всегда симпатичная, милая, граціозная, какъ всегда свѣтло и счастливо смотрѣла на

снью глаза, какъ всегда влекущая къ себѣ улыбка оживляла ея блѣдно-матовое личико. Черезъ нѣсколько минутъ я уже забылъ свою неловкость и чувствовалъ себя свободно какъ дома. Вскорѣ пришли: Патрикѣевъ, Амосовъ и Волчокъ. Патрикѣевъ крѣпко схватилъ мнѣ руку и поздравилъ. Но вообще взглядъ его былъ разсѣянъ: разговаривая онъ часто умолкалъ и задумывался; видимо что-то серьезное тревожило его, хотя онъ замѣтно старался казаться безпечно-веселымъ. За обѣдомъ онъ какъ-будто ожилъ неможко.

— Ну-съ, за новоиспеченныхъ офицеровъ, провозгласилъ онъ шуточно, раскупоривая бутылку шампанскаго.

Въ это время вошелъ слуга и подалъ конвертъ съ почты. Патрикѣевъ оставилъ бутылку, торопливо сорвалъ печать, и началъ быстро пробѣгать письмо. Но мѣрѣ чтенія лицо его болѣе и болѣе свѣтлѣло, на щекахъ заиграла краска и довольная улыбка раздвинула губы.

— Добрыя вѣсти, крестьянское дѣло на мази, сказалъ онъ складывая письмо и пряча его въ боковой карманъ сюртука. Теперь значитъ мы выпьемъ какъ слѣдуетъ. Сережа всѣмъ кланяется, прибавилъ онъ.

— Александръ Васильичъ! началъ я запинаясь: — позвольте по такому случаю и мнѣ поставить бутылочку. Ольга Петровна, можно?

— А что? вѣрно соскучились денежки въ кошелекѣ лежать.

— Нѣтъ-съ, а я хотѣлъ бы... Ольга Петровна...

— Пожалуй, случай такой... и я кутну съ вами.

Начались веселые тосты и болтовня.

Въ первый разъ мнѣ случилось выпить нѣсколько бокаловъ шампанскаго, въ головѣ пріятно зашумѣло, а кровь быстро и горячо забѣгала въ жилахъ.

— Ну-съ, Моховъ, сказалъ Патрикѣевъ, уже совсѣмъ повеселѣвшій: — повѣдайте намъ какіе теперь планы васъ занимаютъ... Вѣдь въ эти годы у кого ихъ нѣтъ!

И грустно-шутливая улыбка скользнула на его губахъ.

— У меня одинъ планъ, Александръ Васильичъ, служить обществу, провиансъ я горячо съ нѣкоторою торжественностью. Всѣ улынулись.

— Вотъ вамъ смѣшно. Я это зналъ, зналъ, что вы будете смѣяться. Какъ же не смѣяться. Прапорщикъ хочетъ служить

обществу. А мнѣ не смѣшно висколько, и я не стыжусь вашего смѣха! Божусь вамъ, не стыжусь! Я напередъ зналъ, что вы засмѣетесь.

Всѣ посмотрѣли на меня съ недоумѣніемъ.

— Да, я буду служить обществу, буду до послѣдней капли крови, и найду чѣмъ служить. Кто хочетъ дѣло дѣлать, — дѣло найдется, дѣла много. Я вѣдь не о фельдмаршалствѣ мечтаю, не въ законодателя мечу. Скажу не краснѣя, — было и это... хотѣлось очень... вотъ думаю себѣ, такъ бы всю Русь и передѣлалъ по своему; ну, а теперь я иначе смотрю, другой взглядъ выработался. Я того убѣжденія, что каждому изъ насъ пора забыть самого себя, свою личность, свое я, и помнить одну родину, и отдать всего себя, свои способности, умъ, средства народу и обществу. Только не надо стыдиться, если принесешь на жертву копѣечку. Чтожь дѣлать, если больше не имѣешь; кто богаче, рубль принесетъ. Только принести—то надо все, все свое достояніе, забыть себя. Вонъ Волчокъ говоритъ, что у насъ нѣтъ дѣятельности для гражданина, — вздоръ. Она есть всегда и вездѣ; не красива она у насъ, не блестяща, разнѣнена на мелкую монету, правда, чтожь дѣлать, но она есть. А если мы станемъ отвергать ее зато только, что мало она сулитъ хорошаго *лично намъ*, что намъ, изволите видѣть, нельзя вдругъ блистательно и красиво проявить себя, такъ съ такими разсужденіями мы никогда впередъ не двинемся. А ты дѣлай дѣло насколько сила твоихъ душевныхъ стаетъ; я буду дѣлать, третій, четвертый, и пойдетъ машина въ ходъ, пойдетъ, вѣрь мнѣ. Вѣдь душевныя силы — это такой рычагъ, всякія пары за поясъ заткнуть, только душу—то свою всю отдай, всего себя положи на дѣло, не скупись, ничего для себя не откладывай. Смѣло иди впередъ напроломъ. Станутъ надъ тобой смѣяться, подставлять ножки, бить, — иди! дѣлай свое дѣло и забудь все остальное. Волчокъ говоритъ: общество не приготовлено. Да когдажь оно приготовится—то, да ктожь готовить—то его будетъ. Не отъ духа же святаго ждать его просвѣтлѣнія. Ну, и сѣй, сѣй... вѣрь: настанетъ время и жатвы. Не посѣешь — не дождешься никогда всходовъ. Знаю, что посмѣется надъ тобой общество. Не одинъ, много разъ посмѣется, а кончится все-таки тѣмъ, что послѣ само устыдится своего смѣха. Да какъ горько-то еще устыдится. Только не трусь; можетъ и не совладаетъ,

испорю, сломишься, такъ чтожь, тѣмъ лучше. Безъ жертвы ничего не дѣлается. То-то и есть, дѣло-то старуха на двое сказала. Намъ бы соломки прежде постлатъ, чтобъ не ушибиться; это подло помоему. Взволнованный, дрожащій я едва перевелъ духъ.

— Горяченькій! обратился Волчокъ къ Патрикѣеву, кивнувъ на меня головой.

— Горяченькій, горяченькій! повторилъ я съ азартомъ. — Сдѣйся Волчокъ, сдѣйся! знаю что у тебя на умѣ. Ты думаешь молодость, кровь бурлить, говорить хочется, а поприжметъ жизнь, — орелъ мокрой курицей станеть. Такъ вѣдь? Старая, братъ, пѣсня колотъ глаза молодостью; слышали мы ее. Да у насъ одной молодости дано право быть честной и любить свою родину. Ну отвѣчай! почти закричалъ я въ азартѣ.

— Отвѣчу: тебѣ не слѣдуетъ пить шампанское!

Я подпрыгнувъ на стулъ какъ укушенный. Мнѣ стало горько и обидно.

— Такъ, такъ, я этого ожидалъ; это, изволите видѣть, не шампанское, а шампанское. Когда мы честны, благородны, негодимъ, возмущаемся, — мы пьяны, мы шампанскаго выпили. Когда мы водлы, низки, мы въ нормальномъ, интрезивѣнномъ состояніи духа. Такъ вѣдь? Ты вѣдь это хотѣлъ сказать?

— Да, это! и онъ утвердительно кивнулъ головой.

— И ты не уразивъ? Для тебя значить не существуетъ ни благородныхъ стремленій, ни высокихъ цѣлей. Ты отвергаешь ихъ существованіе... они возможны только въ пьяномъ состояніи?

— Да, безкорыстно все это только въ пьяномъ видѣ; отъ чего же, отъ чего ли другого, только при сильномъ возбужденіи нервнаго организма; а въ трезвомъ состояніи всѣ эти благородныя порывы и жертвы не безъ задней мысли. Какъ начнешь докапываться до источника, ай, ай, всегда до какихъ нечестныхъ вещей доберешься.

— Вы уразните Мохова! остановилъ Патрикѣевъ Волчка.

— Нѣтъ, Александръ Васильчъ, говорю по совѣсти, въ доброй добродѣтели, да и въ самую добродѣтель плохо вѣрю.

— Патрикѣевъ взглянулъ на него съ удивленіемъ.

— Отчего же? Разочароваться въ людяхъ кажется было бы слишкомъ рано! Патрикѣевъ улыбнулся.

● — Да и смѣшио, Александръ Васильичъ, и старо и неприлично. Печеринскій армейскій сюртучекъ врядъ ли кому къ рождѣ, ктому же повстасканъ такъ, что надѣтъ совѣстно. А все же не вѣрится, самъ не знаю отчего, инстинкту. Впрочемъ, прибавлялъ онъ серьезно: — не одинъ инстинктъ; все что я слышалъ и видѣлъ, все убѣждаетъ меня, что я правъ такъ думая. Всѣ люди ужасные эгоисты, а больше всего эгоисты герои добродѣтели, да и вообще герои.

— Вотъ какъ! и легкій отгѣнокъ ироніи послышался въ голосѣ Патрикѣева: — это ужъ и не теорія, а опытъ! Гм! и широкая улыбка расцвѣла на его губахъ.

— Опытъ, Александръ Васильичъ, опытъ! — проговорилъ Волчокъ усиленно съ замѣтнымъ дрожаніемъ въ голосѣ. Небольшой, маленькій опытъ, шестилѣтній опытъ изо дня въ день надъ двумя-стами мальчиками и пятьюдесятью или шестьюдесятью взрослыми дѣтьми. Опытъ! Да! продолжалъ онъ съ рѣзкимъ жестомъ, да! ошибаюсь я — нѣтъ ли, а въ безкорыстную, безупречную добродѣтель не вѣрю. Меня опыты убѣдили. Онъ какъ-то рѣзко, тоскливо засмѣялся, упирая на словѣ «опыты.» Много благородныхъ порывовъ видѣлъ я на моихъ глазахъ, въ моихъ товарищахъ, и удивлялся имъ, и въ пафосъ приходилъ, а какъ всмотрѣлся да обдумалъ, у всѣхъ была задняя мыслишка. Напускная, своя ли, — а была. Вотъ вамъ! (Волчокъ указалъ на меня пальцемъ). Самая благороднѣйшая личность изъ нашего курса. (Я покраснѣлъ). Не краснѣй, братъ, не торопись, не больно я тебя похваляю, быстро добавилъ Волчокъ. За правду вѣдь страдалъ безкорыстно, мальчикъ нерасчетливый, и съ карцеромъ знакомъ, и лозь отвѣдалъ. А вѣдь согласись, душа моя, въ строгомъ смыслѣ ты не за правду страдалъ, а для собственнаго удовольствія. Послѣ каждаго твоего пасажа, ты чувствовалъ себя хорошо, у тебя мурашки по спинѣ бѣгали, тебѣ казалось, что ты растешь. А, такъ вѣдь! Великъ ты былъ въ нашихъ глазахъ, кушалъ карцеръ и розги, а вѣдь для тебя они были ничемъ. Карцеръ для тебя смотрѣлъ австрійской тюрьмой, а лозы незявили тѣло; ты незналъ боли, а почему? потому что тебя въ это время щекотала русалка, и какая могущественная русалка: она заставляла тебя нечувствовать физической боли; эта русалка ты знаешь какъ ее зовутъ, а? Самолюбіе, эгоизмъ! Волчокъ такъ

ударить кулакомъ по столу, что посуда задрожала, но онъ какъ-то этого не замѣтилъ, хотя мы всё переглянулись.

— Началь ты изъ упрямства, продолжалъ онъ, а тамъ и занергался, во вкусъ вошелъ, зарисовался, залюбовался собой, тебѣ казалось это удивительно какъ красиво.

Я сдѣлалъ нетерпѣливое движеніе.

— Постой, твоя рѣчь впереди. Я все-таки скажу тебѣ, что ты честный малый. Ты не нашей хвалы искалъ, ты самъ себя и хвалилъ и бранилъ. Да умѣренъ ли ты былъ на хвалу себѣ, — головой ручаюсь, нѣтъ! А что это такое какъ не самый ужасный эгоизмъ, ледяной эгоизмъ несмотря на всю твою пылкость натуры. Это я говорилъ о товарищахъ, продолжалъ Волчокъ, увѣсивъ отчеканивая слова:— а объ отцахъ-командирахъ я молчалъ. Много видѣлъ я съ ихъ стороны благородныхъ порывовъ, да все гледишь оканчивалось или поворотошъ на пошлую обычную колею, или горькимъ раскаяніемъ и надолго сконфуженной финишей. Вы одинъ, Александръ Васильичъ, сказалъ Волчокъ повышая голосъ и быстро приподнимаясь со стула. Вы одинъ, въ честность котораго я безусловно вѣрю. Но позвольте мнѣ быть откровеннымъ. Вы честны потому, потому... что (Волчокъ смѣялся и покраснѣлъ), что съ вашей точки зрѣнія и убѣжденій вы не находите пользы быть нечестнымъ. Къ отличіямъ у васъ позволенія не имѣется. На карьеру вы давно рукой махнули. Следовательно не-изъ-чего хлопотать, не-изъ-чего ломать себя природу: игра свѣтъ не стоитъ, а натура ваша по природѣ своей честная. Извините, я незнаю вашего червяка, а если бы, я назвалъ бы чѣмъ можно купить и вашу честность. Простите простите. Вы прежде-всего, если не равнодушны ко мнѣ, то лѣнны къ намъ.

Патрикѣевъ слушалъ, наклоня на бокъ голову, и уставилъ на Волчка пристальный, но мягкій и добрый взглядъ. Я вспыхнулъ. Мнѣ стало обидно за Патрикѣева.

— Волчокъ! Мнѣ вредно, а тебѣ грѣшно пить шампанское! Не почувствовалъ, что въ выраженіи моего голоса ясно сказано моя мысль.

Волчокъ смутился.

— Александръ Васильичъ, клянусь вамъ!.. началъ онъ говорить.

— И, полноте, будто я васъ не знаю. Развѣ я васъ призывалъ

молиться на себя. Всѣ улыбнулись. Наступило небольшое молчаніе. Такое молчаніе, въ которое всѣмъ какъ-будто становится неловко. Даже Ольга Петровна, все время тихо разговаривавшая съ Амосовымъ, смолкла и опустила глаза въ тарелки.

Патрикѣевъ первый прервалъ его.

— Скоро вы ѣдете, Моховъ?

— Для черезъ два. Я на четыре мѣсяца отпросился въ деревню къ дѣдушкѣ, а оттуда проѣду въ Батарюю, близко отъ насъ: верста сто-двадцать. Хочу заставить отпустить дѣда крестьянъ на волю. Все равно, онъ общается мнѣ ихъ заѣдывать.

— И вы надѣетесь, что вашъ дѣдъ исполнитъ ваше желаніе, спросилъ Патрикѣевъ съ улыбкой.

— Я постараюсь его убѣдить. Я внушу ему, что владѣть людьми — безнравственно.

— Богъ вамъ въ помощь! Ну, а ваша намѣренія? — обратилась Патрикѣевъ къ Волчку.

— Я, Александръ Васильичъ, за столярное ремесло хочу приняться.

— Какъ?

Всѣ взглянули на Волчка съ удивленіемъ.

— Да такъ. Жалованья моего не хватитъ на нашу семью. Маея у матушки шестере. На отцима надежда плоха. Онъ хочетъ чтобъ въ домъ, а паровитъ какъ бы отъ дому... Дурной человекъ, да и пьятъ. Ну-съ, а я хочу въ свободное отъ службы время мастерить. Я вѣдь немножко знакомъ съ дѣломъ. Колдунъ, столярный мастеръ, еще вытѣска большая на Никольской, она родственникъ мнѣ... Такъ я около него кое-чему понаучился...

Когда стали подниматься изъ-за стола, всѣмъ бросилась въ глаза рѣзкая блѣдность Ольги Петровны. Патрикѣевъ встревожился было, но она успокоила его, пренебрежительно каясь, что она устала и что это пройдетъ... Надобно только бавнѣшки сдѣлать!

— А въ театрѣ? ты не ѣдешь развѣ?..

— Не думаю, устала что-то... а ты, въ театрѣ?..

— Нѣтъ, сегодня провожаю Ховскаго... онъ прощенья и завтра катить въ Питеръ.

— Такъ мнѣ скучно будетъ вечеромъ. Приходите господа изъ театра, не поздно будетъ... театръ рано кончится, а жду васъ, обратилась она ко мнѣ, Волчку и Амосову.

Я почувствовал легкое, сладостное волнение, когда вмѣстѣ съ Волчкомъ и Амосовымъ сталъ подходить къ театральному подъезду, къ которому непрерывно подкатывались дрожки, кареты, линейки, и громами владѣли пѣшеходы. Два рослыхъ казака верхами, съ поднятыми вверхъ нагайками въ рукахъ, какъ статуи стояли по бокамъ подъезда театра. Тутъ же какъ-то по-дверительно мигали два фонарика съ несовѣтмъ чистыми стеклами, и что-то очень суетился частный приставъ. Волнение мое еще болѣе усилилось, когда встрѣтившій насъ капелъдиверъ повелъ какимъ-то мрачнымъ темнымъ коридоромъ вверхъ по дѣйствицѣ, и доски завижали, закрипѣли и завздыхали подъ нашими ногами. Блѣдный свѣтъ небольшой лампы въ углу коридора освѣщалъ намъ путь.

— Точно у Раткливъ въ подземельяхъ, бормоталъ Волчокъ.

Но вотъ передъ самымъ нашимъ носомъ скрипнула небольшая дверца, и мы очутились въ ложѣ. Передъ нами сіялъ освѣщенный залъ. На сценѣ колыхался огромный голубой занавѣсъ съ нарисованной на немъ желтой лирой. На боковыхъ кулисахъ красовались гиганты-рыцари. Въ партерѣ было шумно, свѣтло, весело. Блестѣли эпoletы, очки, рiасе-пез, звучали сабли, гремѣли отодвигаемыя стулья и кресла. Въ ложахъ сидѣли разряженныя барыни. Подъ влiяніемъ настроенiя мнѣ чудилось, что я перенесенъ въ волшебный мiръ. Колыхающійся занавѣсъ манилъ и дразнилъ меня, какъ-будто говоря: вотъ поднимусь, и ты увидишь дива-дивныя, чуда-чудныя, — трагедію г. Шиллера; закипятъ передъ тобой страсти, зазвучитъ горячее слово гениальнаго писателя... Барыни въ ложахъ казались все такими хорошенькими, а ихъ открытыя плечи бѣлыи какъ молоко, пышные какъ тюлевая баба, которую мастерски приготавлила бабушка.

— Ахъ, какъ хорошо и свѣтло здѣсь, Волчокъ! невольно высказался я.

— Изъ темнаго коридора вошли, — неоглядѣлись еще. А ты посмотри какъ лампы-то чадятъ, какъ-разъ угоришь. Онъ указалъ на лампы и я дѣйствительно увидѣлъ, что копоть тоненькими струями играла, и колыхаясь разстилалась по потолку.

— А на лежи взгляни, точь-точь стойла. Я уже начинаю чувствовать себя лошадкой, а на сосѣдокъ нашихъ боюсь и гля-

дѣтъ... того и смотри варжать захочется... совсѣмъ раздѣты голубушки.

Я взглянул и дѣйствительно ложи походили очень на стойлы узкія и глубокія. Они были сбиты изъ досекъ, плохо отесанныхъ и безъ всякой драпировки. Миѣ стало досадно на Волчка, что онъ разрушаетъ мою иллюзію.

— Чтожъ это не начинаютъ, — шесть часовъ прошло! Загиталь Волчокъ.

— Вѣрно губернатора ждутъ, спокойно отвѣчалъ Амосовъ.

Въ это время по партеру пробѣжалъ легкій говоръ; какой-то господинъ опрометью бросился къ выходу, безцеремонно толкая встрѣчныхъ и неизвняясь. Лицо его было очень озабочено.

— Это что за сумашедшій?

— Полицмейстеръ! вѣрно губернаторша пріѣхала, такъ встрѣчать побѣжалъ! пояснилъ Амосовъ.

— Не дурно! пробормоталъ подъ носъ Волчокъ.

Дѣйствительно черезъ нѣсколько минутъ въ ложѣ губернатора, отличающейся отъ другихъ тѣмъ, что она была просторнѣе прочихъ, обклеена шпалерами и драпирована полубархтомъ, показались барыни. Въ партерѣ обнаружилось маленькое волненіе. Очень многіе торопливо устремлялись къ ложѣ, отгившвали глубоко-почтительные поклоны, и помявшись съ ноги на ногу, какъ-то нерѣшительно отходили. Нѣкоторые послѣ замѣтной душевной борьбы рѣшались заговорить, и тогда лица ихъ расцвѣтали такимъ самоуслажденіемъ, какъ у кота, когда его голоднаго кормятъ манной кашой.

— Посмотри, посмотри на этого господина, сказалъ Волчокъ, какъ ему хочется подойти и заявить свою преданность, да дорогу загородили. Лицо-то, лицо какъ дергается, а ножками-то, ножками какъ семенить. У, бѣдненькій! Смотри, по выраженію губъ вижу, молится про себя, чтобъ кто-нибудь отошелъ и уступилъ ему мѣстечко погрѣться у солнышка. И вѣдь знаетъ, что не пополнишетъ отъ этого, и росту не прибавится, а вотъ поди! А вѣдь молоденькій еще, а ужъ какъ.

И Волчокъ закрѣпилъ свою рѣчь мѣткимъ, сильнымъ, но неудобнымъ для печати словомъ.

— Но не всѣ же, братъ Волчокъ, такіе; посмотри вотъ на этого господина: какое благородное, симпатичное лицо! И я указалъ на какого-то высокаго, стройнаго господина во фракѣ.

Онъ разговаривалъ съ дамами, сидѣвшими рядомъ съ губернаторской ложей. О чемъ шла рѣчь, трудно было разслышать, но въ его жестахъ, выраженіи лица и глазъ чувствовались сила и благородство. Повременамъ онъ искоса взглядывалъ на губернаторскую ложу.

— Да за этого пожалуй что и поручиться можно. Славная рожа!

Только-что Волчокъ проговорилъ эти слова, какъ господинъ во фракъ быстро подошелъ къ губернаторшѣ и отвѣсилъ глубокий поклонъ.

— Э-э-э! Да и ты голубчикъ какъ всё. Совершилась метаморфоза. Ну посмотри, Моховъ, на него, попристальнѣе посмотри, да и скажи по правдѣ, та ли это благородная рожа что съ дамами разговаривала. Я взглянулъ, и мнѣ стало совѣстно и за свою довѣрчивость, и за господина во фракъ. Сладенькое искательство свѣтилось въ этомъ дотога смѣломъ взглядѣ, стройный станъ какъ-то некрасиво наклонился впередъ. Губы сложились въ какую-то неестественную, нелѣпую улыбку и вообще господинъ не походилъ на самого себя.

Волчокъ махнулъ головой, и намурился.

Зазвенѣлъ колокольчикъ и занавѣсъ тихо поднялся. У меня сердце екнуло. Я впился глазами на сцену. Больше половины акта прошло въ глубокомъ молчаніи. Вдругъ въ губернаторской ложѣ раздалось легкое хлопанье и театръ задрожалъ отъ рукошеканій.

— Ишь какъ обрадовались! Ради стараться, приказано! пробороталъ Волчокъ съ неудовольствіемъ.

— Это случай, Волчокъ!

...— Замѣчай и увидишь, что не разъ повторится этотъ случай.

Слова Волчка сбылись. Впродолженіе всей пьесы ни одинъ человекъ ниразу не хлопнулъ прежде чѣмъ не похлопаютъ въ губернаторской ложѣ. Впрочемъ захопалъ было какой-то господинъ въ креслахъ, но всё головы въ партерѣ обернулись быстро къ нему съ такимъ выраженіемъ удивленія, какъ-будто махали передъ собою смѣльчака, рискующаго жизнью.

Весь спектакль я весь былъ душой въ Фердинандѣ. Пьеса произвела на меня сильное впечатлѣніе. Я такъ поддался обаянію; игры, дотога навязальтировались чувства, распалилось воображеніе, что мнѣ вдругъ показалось, что это что-то близ-

кое мнѣ, что все это случилось или случится со мной, да вряд ли и не теперь проеходитъ. Фердинандъ — это страстная, это благородная натура, это я, и сомнѣнія нѣтъ. Президентъ — это дѣдушка, который не позволяетъ мнѣ жениться на Машенькѣ-Луизѣ; Миллеръ — это Петръ Герасимычъ, ея отецъ, такой же добродушный, честный старикъ, а Вурмъ... Вурмъ — это Иуда, такой же коварный и злой.

— Какова пьеса! сказалъ я восторженно, когда упалъ занавѣсъ.

— Хорошая пьеса! пробормоталъ Волчокъ.

— А Фердинандъ, а?

— Да, изъ горяченькихъ.

— Изъ горяченькихъ! какъ это глупо такъ говорить... какая свѣтлая, благородная личность.

— Да, ничего.

— Ты все шутишь; это святая личность!

— Хватилъ братъ черезъ край! Такъ себѣ, изъ горяченькихъ, в больше ничего. И горячка-то началась, какъ любящему отнять захотѣли, а до тѣхъ поръ жилъ себѣ привѣваючи. Можетъ быть и папенку бы въ чинахъ превзошолъ. Вѣдь до майора же дослужился. Что ему мѣшало бѣжать изъ этой помойной ямы что ли. Если онъ благородный человекъ и не могъ видѣть равнодушно всѣхъ гадостей, что ему мѣшало бѣжать куда глаза глядятъ; а то ничего, жилось до времени, по словицѣ: наша хата съ краю, ничего не знаю, а загорѣлась хата и пошла горячка. Всѣ благородныя чувства всплыли наверхъ. Ничего, хорошая драма, съ жизнью вѣрна. Всегда такъ водится на свѣтѣ.

— Ну, а президентъ? Неужели могутъ существовать подобныя личности?

— Нашолъ чему удивляться! слошъ да рядомъ. Чай и здѣсь ихъ не оберешься, продолжалъ онъ, обводя глазами театр. Вѣдь это они на сценѣ только такіе страшные, а въ жизни это все чадолюбивые отцы, вѣрные супруги, примѣрные граждане, право такъ. Загляни въ кондуитъ любого изъ этихъ господъ. Не вѣришь кондуиту, обратись къ общественному мнѣнію, и оно тоже скажетъ.

— Тебѣ, Волчокъ, точно сто-двадцать лѣтъ! сказалъ я съ досадою.

— Сто не сто, а старше тебя. Ты думенька жизни въ книгахъ учился, а я братъ всего натерпѣлся, даромъ что молодъ. Я еще до корпуса, мальчишкой, такихъ вещей посмотрѣлся, что и теперь во рту горько становится, какъ вспомнишь... когда мать осталась вдовой съ нами семерыми. Э, да что толковать, въ другой разъ! Онъ отчаянно махнулъ рукой и задумался, понуривъ голову.

Я молчалъ. Нѣсколько минутъ онъ пробылъ какъ-бы въ забытьи, потомъ вдругъ тряхнулъ головой, и поднимая ее, спросилъ весело.

— Ну-съ къ Ольгѣ Петровнѣ, али до дому?

— А еще «Кошка и любовь?»

— Мало тебѣ «Коварства и любви», еще кошки захотѣлось, спасибо братъ, оставайся если хочешь, а я и этимъ сытъ по горло.

— Ну, пойдемъ къ Ольгѣ Петровнѣ, а гдѣ Амосовъ?

— Онъ послѣ второго акта исчезъ. Сердце не камень.

Мы вышли изъ театра. На небѣ ни тучки. Воздухъ тихъ и прозраченъ. Мягкій колоритъ луннаго свѣта ложится на все: на стѣнахъ зданій, на желтоватомъ пескѣ улицъ, на лицахъ проходящихъ, которыя кажутся блѣднѣе обыкновеннаго.

— Славная ночь! сказалъ Волчокъ, вздохнувъ всей грудью: — а луна-то, луна! во всѣ лопатки смотреть! Люблю я такія ночи, тихо, свѣтло! хорошо думается о зуетъ мирской.

— Ты философъ.

— Номера третьяго батальона! замѣтилъ онъ шутливымъ тономъ.

Когда мы стали подходить къ дому Патрикѣева, онъ схватилъ меня за шинель.

— Ну, а если она спитъ?

— Обратимся вспять, а теперь войдемъ потихоньку! На цыпочкахъ вошли мы въ переднюю и невольно остановились. Въ залѣ было темно, изъ гостиной долетало сдержанное рыданіе. Я взглянулъ на Волчка. Лицо его выражало полное недоумѣніе.

... — Деля, Деля! что ты сдѣлалъ со мной, несчастною! раздался голосъ Ольги Петровны. Сколько горя, скорби, отчаянія слышалось въ этомъ голосѣ. Это не были жалобы, плачь, упрекъ. Безумнымъ воплемъ отчаянія звучали ея слова, такимъ воплемъ, который рѣдко вырывается изъ человѣческой груди.

не разрушить ее. Самое черствое, холодное, закостыленное из житейских бурь сердце вздрогнуло бы от этого вопля.

Я оцпенѣлъ отъ ужаса.

— Это ужасно! Господи! господи! продолжала она съ отчаяніемъ ломая себѣ руки, и вдругъ громко и прерывисто зарыдала.

Я взглянулъ на Волчка, онъ былъ хмуръ и блѣденъ.

— И зачѣмъ это Александръ ушелъ къ этому Ховскому. Зачѣмъ я дома осталась; думала ли я, что все это случится. И отчего ты Мохова съ собой не привелъ. Ахъ, боже мой, боже мой, что мы сдѣлали, произнесла она глухимъ, убитымъ голосомъ и тихо заплакала.

— Любить одного, обманывать другого — какая низость! продолжала она измученнымъ голосомъ едва слышно, точно разсуждая про себя, и какого человѣка обманула. О, господи! накажи меня. Смерть пошли, разумъ отними.

Волчокъ дернулъ меня за рукавъ.

— Уйдемъ! не наше дѣло, — и онъ тихо вышелъ.

— Оля, ангель мой, успокойся, прости меня, чтожь дѣлать. Я самъ не знаю какъ это... Успокойся, никто не узнаетъ, послышался голосъ Амосова, полный слезъ.

Кровь быстро забѣгала въ мои жилахъ.

А! коварный обольститель. Ты надѣнешся тайной прикрыть свое коварство. Нѣтъ, я явлюсь передъ тобою ангеломъ мстителя. Я заставлю тебя дать отвѣтъ за обольщенную женщину. Такъ-то ты отблагодарилъ благороднаго воспитателя, шепталъ я дрожа отъ волненія, въ какомъ-то лирическомъ жару, невольно впадая въ театральнаго драматическаго тону. Я не шута въ эту минуту чувствовалъ себя чѣмъ-то вродѣ Фердинанда, а тамъ въ этой гостинной гнѣздилося коварство, и судьба посылала меня разорвать коварныя сѣти, стать передъ лицомъ обольстителя, сорвать съ него маску, и совершить казнь.

Взволнованный, дрожа какъ въ лихорадкѣ, я быстро вошелъ въ гостиную. Я смутно понималъ что дѣлаю, чувствовалъ, что на губахъ уже шевелился громозесный монологъ, исполненный горечи и упрековъ. Легкій крикъ испуга вырвался изъ груди Ольги Петровны. Она прижалась въ уголокъ дивана и закрыла лицо руками тихо плакала. Амосовъ блѣдный, разстроенный, съ глазами полными слезъ непоходилъ на себя. Взглянувъ на нихъ

я совершенно растерялся и стоялъ дуракъ—дуракомъ. Куда дѣлась моя горячка. Мнѣ стало вдругъ жалко ихъ обоихъ, очень жалко, я самъ чуть не заплакалъ глядя на нихъ. Потомъ мнѣ стало обидно, стыдно за себя, что я ворвался въ гостиную безъ всякаго права, что подслушалъ ихъ разговоръ, хотя и невольно подслушалъ. Мнѣ хотѣлось бы сказать, что я ничего не знаю, ничего не слышалъ, но слова не шли съ языка и я совершенно разстроенный, потерянный, переминался съ ноги на ногу, потупивъ глаза.

— Охъ! вздохнула Ольга Петровна всей грудью, какъ-будто освобождаясь отъ давящаго ее гнета, отняла отъ глазъ руку и протянула ее мнѣ.

— Вы изъ театра?.. Плакали?.. спросила она стараясь улыбнуться, но блѣдныя губы судорожно дрожали, а воспаленныя отъ слезъ глаза глядѣли грустно.

— Да-съ... нѣтъ-съ... бормоталъ я, все еще не придя въ себя.

— А я дома театръ устроила, а все ваше шампанское. Такъ нервы разстроились, что я принялась за «Фауста» и расплакалась какъ дура, а на меня глядя и онъ! Она указала на Амосова.

— Да, я недумалъ чтобъ Ольга Петровна, началъ Амосовъ, умоля, всталъ и взялся за фуражку. Руки его дрожали.

— Вамъ надо успокоиться, нашолся я раскланиваясь.

— Нѣтъ, куда же вы? чуть не вскрикнула она съ испугомъ. Потомъ медленно провела по лицу рукою и тихо произнесла: «а проречь поздно я думаю», и она протянула мнѣ холодную какъ ледъ руку. Вслѣдъ за мной вышелъ въ переднюю Амосовъ. Онъ что-то шопотомъ сказалъ Ольгѣ Петровнѣ. До моего уха долетѣло только отрывочно «вы погубите себя!»

— Да, странная Ольга Петровна, нервная какая, загорячалъ неловко Амосовъ, какъ-будто оправдываясь передо мною. Я взглянулъ на него. Лицо его при лунномъ свѣтѣ показало мнѣ страшныя. Глаза дико, торопливо блуждали по сторонамъ, во всѣхъ чертахъ сквозило не то отчаяніе, не то испугъ; нервная походка была не тверда. Мнѣ стало жаль его.

— Однако прощайте, глухо произнесъ онъ и повернулъ въ переулокъ.

Разстроенный, съ перепутанными мыслями побрелъ я домой. Не забыли ли къ Волгѣ? мелькнула у меня мысль когда я

сталъ подходить къ его квартирѣ; не только-что я перешагалъ съ воротами, какъ на завалинкѣ увидѣлъ самого Волчка: онъ сидѣлъ, понуривъ голову, и чертилъ что-то палочкой по песку. На немъ былъ вакинуть какой-то длиннополый матерчатый казакъ.

— Волчокъ, ты не спишь?

Онъ вздрогнулъ и поднялъ голову.

— А, Моховъ, садись! онъ подвинулся и очистилъ нѣтъ мѣсто на завалинкѣ.

— Что ты такой усталый? спросилъ я, замѣтивъ что Волчокъ дышетъ прерывисто и трудно.

Волчокъ нахмурился.

— Съ отчимомъ возился, — пришолъ домой пьяный, буянить, чуть мать не прибилъ. Связалъ я его молодца и положилъ подъ лавку. Здоровенный такой, насилу управился. Ну, а ты, отъ Патрикева, отличился, а! Вѣрно отличился! По глазамъ вижу, покарада злодѣевъ?..

— Нѣтъ, я ничего...

— Слава-богу что ничего! не наше дѣло!..

— Но объясни мнѣ Волчокъ, что это значить? Можно ли было думать,

Волчокъ покачалъ плечами.

— Тутъ объяснять нечего, моментъ!

— Но вѣдь еслибы ты видѣлъ какъ она страдаетъ, поразила, удивлена..

— Цюпатная вещь. Моментъ миновался, и у обоухъ гдѣ открылось. Оттого-то и моментъ, что преднамѣреннаго тутъ ничего не было. Моментъ!.. Бѣсъ попуталъ!..

— Это удивительно!.. я рѣшительно не понимаю. Я знаю, что онъ боготворилъ ее какъ Бога, молчалъ на нее. Онъ, вѣдь, разъ высказался мнѣ, что смотреть на нее какъ на что-то возноше, какъ на существо безъ плоти и крови.

— Вотъ это-то и скверно. Еслибы онъ позволилъ... есть и плоть и кровь — этого бы не случилось. Онъ боится, боится, сторожитъ у себя. А то они мизантропы безгрѣшно и мизантропы въ возможность грѣха, а плоть и кровь и дали знать себѣ... моста.

— Но какой же тутъ моментъ, заговорилъ я переставъ...

дѣлать одно: моментъ, моментъ. — тутъ логики никакой. Человѣкъ полетѣлъ на женщину... обожаетъ ее мужа и вдругъ...

— А тебѣ отъ момента логики захотѣлось. Нѣтъ, братъ, гдѣ логика, тамъ нѣтъ момента. Впрочемъ это что-то вродѣ пренія о предметахъ вызывающихъ на размышленія, а мнѣ спать пора.

Волчокъ подвинулся съ завалинки.

— Прощай. Но скажи ради-бога, что мнѣ теперь дѣлать... какъ поступать...

— Какъ найдутъ лучшимъ; насъ съ тобой не спросятъ.

— Ты все шутишь. А мнѣ кажется ей всего лучше пойти къ мужу, броситься ему въ ноги и сказать все, а?.. А ому, знаешь чтобы я сдѣлалъ на его мѣстѣ. Я бы уѣхалъ на Кавказъ.

— Фю, фю, фю, фю, засвисталъ Волчокъ, вмѣсто отвѣта протягивая мнѣ руку.

— Придешь домой, — стаканъ холодной воды выпей, и Волчокъ скрылся въ калиткѣ.

— Холодное созданіе, рѣшилъ я мысленно о Волчкѣ.

Дня черезъ два тройка поджарыхъ ямщицкиихъ лошадонъ легонькой рысцей тащила меня по пути къ родному дому. Время было къ полудню. Передо мной широкой лентой вилась черная полоса дороги. По сторонамъ ея и впереди стлалась степь ровная, гладкая, необозримая. Какъ ни валягалъ я зрѣнія, ничего невидно за этой стѣною, только синѣется на горизонтѣ узенькая полоска да нѣскольکو рябоватыхъ облачковъ лѣниво плывутъ не плывутъ по блѣдно-зеленоватому небу. По сторонамъ ни деревца, ни кустика. Только поперстныя столбы, какъ линейныя унтеръ-офицеры на парадахъ, также неподвижно вытянувшись стоять и бьютъ вамъ въ глаза своими пестрыми мундирами, да иногда поделъзоватая галка, усьвшись на верху столба и важно переступая съ ноги на ногу — каркнетъ, но дотога лѣниво, нехотя, что при видимой даже охотѣ повторить свою пѣсню, отпретъ ротъ, да такъ и останется съ открытымъ ртомъ, безъ звука. Лѣнь дотога обуяла. Ямщикъ покачиваясь дремлетъ на облучкѣ. Ирѣдка какъ будто съ просонья вдругъ просанился, схватится за кнутъ, съ замѣтнымъ намѣреніемъ стегнуть лошадонъ, но стегнуть не стегнетъ, а побалуетъ тодько кнутомъ, и

оставить. Потомъ быстро оглянется на меня, какъ-будто спросить что хочеть, али справится тутъ ли моля, не выскочилъ ли на какомъ бугрѣ изъ телѣжки, еще отвѣчать придется, казенный вѣдъ на службу ѣдетъ. Да такъ ничего не спросить, а замурычить себѣ что-то подъ носъ. Апатія, лѣнь, тоска, сонъ глубокой, непробудный сонъ разлить въ воздухъ, лежать на этихъ мертвыхъ поляхъ, на этомъ зеленоватомъ небѣ, на которомъ и солнцу видимо нестерпимо скучно: только-что неперевыиваетъ сердешное; на этомъ перекати-поле, которое набѣжитъ быстро, быстро, да и остановится вдругъ, и долго, долго стоитъ неподвижно, точно его раздумье какое взяло, али больно лѣнь обуяла. Ёдемъ часть, другой, все таже однообразная сонная картина. Попадется навстрѣчу ямщикъ со станціи, лошади едва передвигаютъ ноги, лѣниво помахивая головами, а онъ свернулся кренделемъ, и спитъ во всю ивановскую, — зарѣдка долетаетъ до насъ его богатырскій всхрапъ; здоровъ спать русскій человекъ. Но вотъ замелькала на дорогѣ черная полоска, ближе, ближе и потянулся длинный обозъ. Это руда съ заводовъ. Возчиковъ почти невидать: они всѣ дрыхнуть растянувшись плашмя на телѣгахъ. Только двое рослыхъ мужиковъ идуть у передней подводы меча, съ повѣшенными носами, похлестывая длиннымъ кнутовищемъ по землѣ.

Я высунулся изъ телѣжки.

— Куда везете, православные?... спросилъ я, чувотауа сильное желаніе перекнутъ словомъ.

Мужикъ съ кнутовищемъ остановился, медленно повернулъ голову, потянулся было правой рукой къ головѣ за шляпкой, да на половинѣ пути снова опустилъ ее, потомъ слегка ткнулъ въ воздухъ кнутовищемъ, по направлению дороги, и не сказавъ ни слова, снова зашагалъ мѣрнымъ, медленнымъ шагомъ; да, да какой-то телѣгѣ возчикъ, вѣроятно разбужденный моимъ вопросомъ, повернулся на другой бокъ, премычалъ: у... сподя! и снова захрапѣлъ.

— Эхъ, матушка родимая земелька, засналась голубушка, обмороку. Хоть бы пригрѣвилось тебѣ что-нибудь эдакое: ф... вскочишь да начнешь креститься, да оплевываться, все думишь чѣмъ спать безпробуднымъ сномъ; али труба второго ар... разбудить тебя, родимая... Эхъ!..

Но вотъ скоро и уѣздный городокъ, гдѣ переищимъ...

дѣтъ. Мы вѣхали въ улицу подгородной деревеньки. Тамъ сонливая тишина какъ въ полѣ, только колорить сѣрѣе, болѣзненнѣе. Избы очень плохоньки, повагнувшіяся на бокъ съ плетенными заборами, соломенными, полусгнившими крышами; не весело выглядываютъ онѣ, громко говоря о горькомъ житьѣ-бытьѣ престолюдина. На завалинкѣ у крайняго къ полю дома собралась цѣлая семья. Все такія блѣдныя, истомленные лица. Рѣчь ведетъ худощавый, русый мужикъ высокаго роста. Онъ говорить тихо, отрывочно, видно что не веселую басню рассказываетъ. Каждая его фраза заглушается тяжелыми вздохами слушающихъ.

Болѣзненное чувство шевельнулось у меня въ сердцѣ; я отвернулся, и глазъ остановился на другой картинѣ.

На срединѣ улицы у бревенчатого колодца стоитъ высокій, красивый парень. Онъ видимо привелъ наовишь лошадку, которую держитъ въ длинномъ поводу. Опущенная бадья давно уже наполнилась водой; сѣрый меринъ нетерпѣливо гребетъ землю правымъ копытомъ, но хозяинъ стоитъ неподвижно съ тоскливо-устрашеннымъ взглядомъ вдоль улицы, точно видитъ что тамъ. Красивое лицо его сильно озабочено, тяжелая дума виситъ на сморщенномъ лбу. Видно переживается нелегкая минута, и позабылъ онъ, зачѣмъ и пришолъ. Двое боевогихъ мальчишекъ тяжело кряхтя карабкаются на бревенчатый срубъ: имъ хочется посмотрѣть, какъ это опустится бадья, и вода забулькаетъ въ нее. Изъ окошечка сосѣдней избы доносятся громкія рыданія колодницы и ворчливый, сердитый, старушечій голосъ.

— Господи, чтожъ это такое? То спать, то хмурятся, то плачутъ, ни одного веселаго лица.

Въ эту минуту изъ проулка полилась звонкая пѣсня: «Ужь я ли не добрый молодецъ, добрый молодецъ сынъ купеческій!» Изъ питейнаго заведенія шолъ пошатываясь парень съ гарнионіей въ рукѣ.

«Добрый молодецъ», затынулъ было онъ, да вдругъ остановился, точно кость вкочила ему въ горло, тряхнулъ кудрями и началъ что-то озабоченно разсуждать самъ съ собою, разводя въ воздухѣ руками.

И эта-то веселость напущенная! Чай горе заливалъ. Господи, или народныя силы остались только въ сказкахъ о добрыхъ богатыряхъ «Солнышка Владиміра». Проснись же Русь,

взгляни веселѣй... Дѣятельности, жизни, жизни больше... но гдѣ она, эта дѣятельность?..

И я предался самымъ безотраднымъ мыслямъ. Эхъ... вы, око-лики, неожиданно гаркнулъ ямщикъ и лошади помчались вскачь. Колеса тележки застучали тяжело дребезжа по город-ской мостовой. Замелькали освѣщенные окна домовъ, зашныре-ли мимо насъ диванки, пролетки; какая-то неуклюжая громада-кая карета съ трескомъ и грохотомъ обогнала насъ, поднимая огромное облако пыли. Въ каретѣ сидѣла разряженная барыня. На углу улицы, рядомъ со станціей, большою одноэтажной домъ горѣлъ огнями. У оконъ толпился народъ; къ подъѣзду те и дѣло подкатывались экипажи. Вотъ она, наша дѣятельность! наша жизнь: картышки, плясы, слетки и все тутъ. Господи! и неужели никто не разбудить тебя, русскій человекъ, отъ апатіи. Неужели не настанетъ другая пора дѣятельности, другіе интересы не увлекутъ общества. Неужели всю жизнь мы будемъ играть только бубновыми да червовыми валетами, слетни-чать, отплевывать трамблямъ, а остальное время спать, беспро-будно спать, спать до объѣда, за объѣдомъ, послѣ объѣда, спать въ канцеляріяхъ; въ обществахъ освѣжаться отъ сна за картами, за слетными, чтобъ послѣ опять на боровую. И не лопнешь ты отъ этого сна, матушка!.. Размышлялъ я входя въ домъ для пробуждающихся.

— Что это у васъ, у сосѣда?.. спросилъ я станціоннаго сме-трителя, старичка съ добродушнѣйшей физиономіей и маленькими подслѣповатыми глазками.

— Петръ Миронычъ (исправникъ) бацкетъ дають: знако-мыхъ у себя угощаютъ.

— Что, онъ мямянникъ, чтоли?

— Итъ-сь, такъ-сь... — и онъ засмѣялся самымъ добро-душнымъ смѣхомъ.

Утомленная голова моя склонилась на спинку дивана и стра-шные грезы, туманныя, какъ осеннее предвѣріе, чудовищныя какъ очертаніе облаковъ, быстро разсѣянныхъ бурей и быстро исчезающихъ на небу, закружились вокругъ него.

Страшный кошмаръ душилъ меня.

Разные разоранченныя господа и дамы рубать и прыгаютъ въ глазахъ, и выглядываютъ изъ богатыхъ платьевъ то дли-ныя вилчьи морды, блестя своими огненными глазами и по-

шелковая бѣлыми какъ слоновою костью зубами; то уставится глупая, баранья рожа, — мутные глаза неподвижно устремлены на меня, большіе, безсмысленные; страшны мнѣ эти глаза: точно смотришь въ пустую, бездонную пропасть. Замелькали бычачьи, свиныя, лошадиныя головы; сколько тупоумія, чванства, самоувѣренности въ ихъ животномъ взглядѣ, и все это блестятъ, и все это прыгаетъ, скачетъ передо мной, дразнить языкомъ, грозить кулаками, кричить, шипеть, визжитъ, а въ ухахъ рѣзко стучитъ барабанъ. Что онъ стучитъ, — не разберешь, но грудь надрывается отъ этого боя и голова идетъ кругомъ, а въ воздухѣ рѣютъ какія-то злобшія птицы, длинныя какъ пьвки, съ такими же головками, изъ которыхъ выглядываютъ тонкія какъ игла жала и пронзительно смотрятъ изъ маленькіе, желтоватыя глаза; перепончатыя крылья, какъ у летучей мыши, трещатъ и звенятъ въ воздухѣ. Вдругъ пронзительный, нечеловѣческій крикъ заставляетъ меня вздрогнуть, вскрикнуть, и чудовищные образы разсыпались; я ѣду по необозримой снѣжной равнинѣ въ почтовой кабинѣтѣ. Тяжелыя облака хмуро смотрятъ съ слезливаго неба. Порывистый вѣтеръ свиститъ въ дыры рогожной обшивки. На дальнемъ горизонтѣ свѣтятся причудливыя очертанія длинной цѣли горъ; заморенныя лошадки еле передвигаютъ ноги, скользя непадкованными копытами по оледенѣвшимъ колеймъ дороги; колокольчикъ то заволочитъ, то звякнетъ такъ тоскливо, что тоска возьметъ за сердце.

— «Пожалуйте, ваше благородіе, лошадки готовы; въ путь-дорожку! раздался надъ моимъ ухомъ знакомый голосъ станціоннаго смотрителя. (1)

С. ФЕДОРОВЪ

(1) Авторъ прислалъ намъ для печати одну первую часть своего романа. Такъ-какъ она составляетъ совершенно отдѣльный эпизодъ и имѣетъ свой, вполне-заключенный интересъ, то мы печатаемъ ее, не дожидаясь продолженія, тѣмъ-болѣе, что намъ неизвѣстно положительно, когда мы будемъ имѣть его въ рукахъ. Когда получимъ его, то новымъ подписчикамъ нашимъ мы представимъ эту первую часть въ приложеніи, если окажется въ этомъ надобность, т. е. если продолженіе не будетъ само по себѣ составлять совершенно цѣльнаго эпизода.

Ред.

ЖИТЕЙСКІЯ СЦЕНЫ

КОМАНДИРША

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА

АЛЕКСАНДРЪ ИВАНОВИЧЪ СУРКОВЪ, майоръ, командиръ линейнаго батальона. Лѣтъ подь-пятьдесятъ, человекъ добрый, недалековидный, къ женѣ питаетъ почтительное чувство, на томъ основаніи, что она образованная, т.-е. хорошо говоритъ по-французски.

НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА, жена его, лѣтъ подь-тридцать, belle-femme, съ томнымъ взглядомъ и вообще гнѣзоторой склонностью къ сентиментальности.

СЕМЕНЪ ИЛЬИЧЪ НЕВЗОРОВЪ, поручикъ, батальонный адъютантъ. Имѣетъ претензію на свѣтскость.

ПОДПОРУЧИКЪ КОНОПЛИНЪ, субалтернъ-офицеръ. Пустой, но добрый малый; кутила.

ПРАПОРЩИКЪ ВАСИЛЬКОВЪ, скромный, застенчивый юноша, хорошенькій, влюбчивъ, не пьетъ и не куритъ. Впрочемъ, себя-на-умъ.

ВАРВАРА, горничная майорши. Красивая, развязная дѣвка.

Деньщикъ Василькова.

Вѣстовой майорскій.

Дѣйствіе въ уѣздномъ городѣ.

(У Коноплина и Василькова. Холостая квартира въ нижнемъ этажѣ. По одну сторону кровать Василькова, около нея маленькій столикъ, на столикѣ карманные часы въ какой-то готической башенкѣ, подсвѣчникъ съ стеариновой свѣчкой, и раскрытый номеръ русскаго журнала. По другую сторону диванъ обитый клеенкой, съ валиками по бокамъ. Подлѣ дивана, вмѣсто столика стулъ, къ которому прислоненъ длинный чубукъ въ бисерномъ чехлѣ. На стулѣ ящикъ изъ подъ сардинокъ, служащій для трубочной золы. Въ простѣнкѣ между окнами столъ покрытый толстымъ сукномъ. На немъ бутылка лисабонскаго, полштофъ съ водкой, рюмка и тарелки съ наръзанными кусочками колбасы. Васильковъ лежитъ на кровати, на спинѣ, заложивъ себѣ руки подъ голову. Коноплинъ въ томъ же положеніи на диванѣ. Въ растворенную дверь видѣтъ деньщикъ, который сидитъ на залавкѣ и чинитъ свои доспѣхи. Онъ въ синей ситцевой рубашкѣ и въ панталонахъ на одной подтяжкѣ. Коноплинъ въ халатѣ, въ ермолкѣ и туфляхъ. Васильковъ въ растегнутомъ сюртукѣ, безъ эпюлетъ и безъ галстука; на немъ очень бѣлая и очень тонкая рубашка).

Коноплинъ (*выводитъ баритономъ: Вѣдь пьянымъ море по колену!*) Хватить развѣ еще рюмочку. Никакъ опохмѣлиться не могу. Такъ ломаетъ всего со вчерашняго дня, что просто ужасъ. И въ головѣ шумъ какой-то. Скверно-скверно-скверно. (*Подымается, заливаетъ и потягивается, потомъ идетъ къ столу и наливаетъ рюмку водки.*) Счастливецъ ты Володька, что не употребляешь крѣпкихъ напитковъ. А славную про тебя пѣсенку вчера Кривоносовъ сложилъ: (*поѣтъ*)

Есть офицеръ молоденькой,
Зовутъ его Володенькой,
Не курить и не пить!..

Володька! а Володька? Ты что, спишь или мечтаніямъ предаешься?

Васильковъ (*недовольный*). Что тебѣ нужно?

Коноплянъ. Нужно чтобъ ты разговоромъ меня занималъ. Мнѣ скучно. Понимаешь ты это?

Васильковъ. А ты займись чѣмъ-нибудь. Это лучше будетъ. Я не обязанъ болтать когда тебѣ захочется.

Коноплянъ. У! Да я вижу ты нынче злощій. Что съ тобой приключилось? Въ карты ты не играешь, — значить проигратъся не могъ. Или опять любвишка какая зашла? а? Ахъ ты Сердечкинъ. Ты съ меня примѣръ бери. Я никогда о бабахъ не сокрушаюсь... потому — не стоятъ они этого. На счетъ клубнички — это другое дѣло. Это можно. Одинъ мудрецъ, не помню только какой, нѣмецкій ли, или персидскій, сказалъ: срывай цвѣты наслажденья! Вотъ это былъ умный мудрецъ. Понималъ, значить, всю суть, въ чемъ она состоитъ. Срывай, да и баста. А ты ничего не срываешь, только все стонешь. Ну говори — кайся. Въ кого вторился?

Васильковъ. Ахъ, отвяжись!

Коноплянъ. Нечего — отвяжись. Кайся говорю, не-то заще-кочу. *(Садится къ нему на кровать.)*

Васильковъ. Если ты будешь ко мнѣ приставать, я ейбогу отъ тебя съѣду.

Коноплянъ. Не съѣдешь, потомучто подло будетъ. Я твой другъ. Ну рассказывай Володька — кто тебѣ сердце пронзилъ. Я можетъ помогу какъ-нибудь.

Васильковъ. Да никто не пронзилъ! Съ чего ты взялъ, ейбогу.

Коноплянъ. Такъ отчего же ты цѣлые дни на спинѣ лежишь и вздыхаешь. Вонъ и книжка у тебя все на одной страницѣ открыта. Я нарочно замѣтилъ. Денегъ нѣтъ чтоли? Я могу тебѣ одолжить до новой трети. Я вчера Невзорова таки облупилъ порядкомъ. Значить кутимъ!

Васильковъ. Спасибо Ваня. Денегъ не надо. Не то совсѣмъ.

Коноплянъ. Ну такъ чтоже.

Васильковъ. А то, что мнѣ вчера въ канцеляріи скавали, что меня въ деревню усылаютъ... Рубцовъ оттуда просится, захворалъ. Да его и такъ смѣнить пора. Онъ ужъ сколько времени при слабой командѣ. Не весело брать.

Коноплянъ *(щолкнувъ языкомъ.)* Тцц! Э! Это дѣйствительно не того... Да зачѣмъ же «тебя» непремѣнно. Сидоренко сама туда просится. Онъ радъ-радешенекъ хоть на край свѣта уйги, только бы его отъ ученья да отъ карауловъ избавили.

Васильковъ. Ну вотъ поди жь ты! Все Невзоровъ. Онъ меня терять не можетъ. И майору на меня клаузничаютъ. Намедни, какъ прѣхалъ майоръ на ученье, такъ прямо на меня и накинудся. А за что? Все его штуки. Я знаю.

Конопляинъ. Надо его съ адъютантства и казначейства долой спихнуть. Не понимаю какъ это наши офицеры его терпятъ. Всѣ жалуются, а начнутъ выбирать, — глядишь опять Невзоровъ остался.

Васильковъ. Выбирать! Да какой же это выборъ? Майоръ скажетъ: я думаю господа, что поручикъ Невзоровъ вполне благонадежный офицеръ; и пришлетъ выборный листъ подписать. Вотъ тебѣ и дѣлу конецъ.

Конопляинъ. Это такъ, это такъ. Да знаешь что Володька — сунь ему подлецу въ зубы четвертную.

Васильковъ. Какже возьметъ онъ съ меня. Съ другихъ я знаю беретъ безъ зазрѣнія. А на меня еще чего-добраго жаловаться къ майору пойдетъ... Подкунаетъ скажутъ; оскорбленіе чести наноситьъ.

Конопляинъ. За что онъ тебя прижимаетъ скажи ты мнѣ?

Васильковъ. На это причины есть... Ужь я знаю.

Конопляинъ. Видно одну тропивочку съ нимъ куда-нибудь проторили? (*хохочетъ.*) Надо полагать ты у него клубничку отбилъ? а? Ишь смиренница!..

Васильковъ (*краснѣетъ.*) Отбить не отбилъ... а...

Конопляинъ. А — что? Поползновеніе имѣешь? Ну скажи Володька: кто эта особа?..

Васильковъ. Да зачѣмъ тебѣ. Ну, что за любопытство бабье...

Конопляинъ. И вовсе не любопытство... а изъ участія къ тебѣ. Я тебѣ советъ подать могу, — вѣдь я, братъ, по этой части дѣка! Ты еще не знаешь меня хорошенько каковъ я есть.

Васильковъ. Тутъ братъ ты ровно ничего не поможешь.

Конопляинъ. Ой-ли? Развѣ добродѣтельная? Чтожъ я и на счетъ добродѣтельныхъ тоже.. Могу наставить... Право могу... Ты думаешь у меня никогда благородныхъ интрижекъ не было?.. Были, душенька, ейбогу были. Всякія были.

Васильковъ. Да нѣтъ, это все не то... Вотъ ты лучше придумай какъ отъ деревни отдѣлаться.

Конопляинъ. Чтожъ, и объ этомъ подумаемъ... Дай сперва вы-

нить (наливаетъ лисабонскаго, взглянувъ въ окно видитъ на улицѣ Варвару, оставляетъ рюмку и стучитъ въ оконное стекло.) Варвара! Варюха! Не слышитъ бестія (стучитъ сильнѣе.) Услыхала! Идетъ! Славная эта Варька: люблю ее! Весельчакъ дѣвка... Ну, и собой тоже мое почтенье, есть на что поглазѣть.

Тѣже и ВАРВАРА.

(Варвара въ бурнусѣ, большой платокъ на головѣ.)

Коноплинъ (идетъ къ ней на встрѣчу и заключаетъ ее въ объятія.) Варюха! здорово! протягивай свой мордафонъ (цѣлуетъ ее) Гдѣ была шельма?

Варвара (смѣясь.) Гдѣ была тамъ ужъ нѣтъ. И какъ это они меня увидали, ейбогу. Нарочно по той сторонѣ пошла, думаю авось не примѣтятъ. Проказники!

Коноплинъ. Зачѣмъ же ты хотѣла мимо продрать? а? Развѣ такъ съ хорошими пріятелями поступаютъ? Видно ужъ завела кого-нибудь на сторонкѣ? Винись змѣнешь!

Варвара. Ну да, какже! Завела!.. Ужъ кабы завела такъ не оглянулась бы, стучи не стучи въ окошко-то... А спѣшное дѣло было, такъ и торопилась. Барыня къ портнихѣ посылала, за платьемъ за новымъ.

Коноплинъ. Ну ее, барыню! подождетъ. Вѣдь не нынче ей платье-то надѣвать.

Варвара. Такъ чтожъ что не нынче. А ну какъ не хорошо сидитъ, значить перешивать его надобно будетъ; къ завтрашнему-то вечеру пожалуй и не поспѣетъ, коли съ вами тутъ проволандаться.

Васильковъ. А куда же это барыня завтра вечеромъ идетъ, Варенька?

Варвара. А вамъ на что? Много будете знать, — скоро состаритесь...

Васильковъ. Душечка Варя, скажи пожалуста.

Варвара. «Душечка!» Скажите пожалуста какія нѣжности вдругъ припали! а то такъ сидитъ себѣ волкомъ, словечка отъ него не добьешься...

Коноплинъ. Онъ въ огорченіи находится, Варя, ты не обижай у меня его.

Варвара. Въ какомъ такомъ огорченіи... Али Наталья Михайловна не тѣмъ глазкомъ взглянуть изволили...

Васильковъ (*вспыхнувъ.*) Что ты врешь глупости...

Варвара (*хочетъ.*) Посмотрите-ка, посмотрите, ишь зардѣлся! точно вишенка володимерская... Вѣдь какой хорошенькій постреленокъ!

Коноплянъ. Э-э братъ! Такъ вотъ ты куда махнулъ! На счетъ командирши прохаживаешься!

Варвара. А вы и не знали?... Мы ужъ давно эфтимъ дѣломъ-то занимаемся...

Васильковъ (*Конопляну.*) А ты и вѣришь, мало ли она тутъ чего наскажеть...

Варвара. Тю, тю, тю! Сдѣлайте ваше одолженіе! Ужъ кого другого морочте, а не меня... Сама, своими глазами видѣла какъ вы въ саду-то ручку у ней цѣловали...

Коноплянъ. Вонъ какъ ужъ и до ручекъ дошло! Ахъ ты скрытная душа... хоть бы заикнулся...

Варвара. Да больно ужъ робокъ, какъ я на него посмотрю. Она съ нимъ и такъ и сякъ, а онъ все только вздыхаетъ сердешный. И румяный, румяный сдѣлается, какъ поговорить съ ней, словно изъ бани вышелъ.

Васильковъ (*сквозь слезы.*) Полно тебѣ врать Варвара! Это просто чортъ знаетъ что такое...

Варвара. Матушки! Да никакъ онъ плакать собирается... Дай-ка я его потормошу, — авось разсмѣется, (*подходитъ къ нему и щекочитъ его*) что, ревнивъ видно?

Васильковъ (*смѣется.*) Отстань!..

Варвара. Ревнивъ, ревнивъ!.. И къ кому ревнуеть-то — знаю.

Коноплянъ. Ну? неужто соперникъ есть?

Варвара. Есть, да его бояться нечего. Вы только посмѣлѣй дѣйствуйте Володиміръ Андреичъ. Ужъ я вамъ говорю, что васъ на него не смѣняють.

Васильковъ (*вскакивая.*) Въ самомъ дѣлѣ — Варя? Ты какъ знаешь?

Варвара. Ишь, ишь... глазенки-то такъ и горятъ... Видно ужъ больно Наталья-то Михайловна намъ понравилась.

Васильковъ. Такъ ты говоришь Варя, что она имъ не интересуется? Да тебѣ вѣрить-то можно ли?

Варвара. Хотите вѣрите — хотите нѣтъ. Мнѣ что.

Васильковъ. Ну, ну, вѣрю, ты не сердись только...

Варвара. Ну, а коли вѣрите, такъ я вамъ вотъ-что скажу : она просто по васъ съума сходить!.. Втирилась, одно слово. Вы только маху не дайте...

Васильковъ (*обнимаетъ Варвару*). Варя... милочка... какая ты славная!.. Вотъ такъ спасибо.

Варвара. Охъ! вѣдь какъ сжалъ-то; батюшки!.. Ужь онъ думаетъ, что Наталья Михайловна ему попалась. Да пустите! Ну васъ тутъ! Растрепалъ всю.

Коноплянъ. Давай помѣняемся Володька! Я тебѣ мою, а ты мнѣ свою... Варюшка, вѣдь ты не прочь?

Варвара. Ещебы!.. вишь онъ какой милашка!

Коноплянъ (*замалкивалъ на нее*). Убью!

Варвара. Не убьешь, — пожалѣешь!

Васильковъ. Ахъ! Варя... Сослужи службу... вѣкъ благодаренъ буду...

Варвара. Какую? Погворить чтоли барыни? Извольте; — это все въ нашихъ рукахъ. Наталья Михайловна барыня не спѣсивая. Мы съ ней часто объ молодыхъ кавалерахъ разговариваемъ. Да и то сказать, кому ей голубушкѣ и объяснить свои чувства? Все одна да одна. Только со мной и отведеть душеньку.

Васильковъ (*шепчетъ ей на ухо*). Вотъ что Варенька... Передай ты ей письмецо...

Варвара. Можно.

Коноплянъ. Что вы тамъ шепчетесь?..

Варвара. Ужь про-то мы знаемъ! У насъ свои секреты. А вамъ до насъ дѣла нѣтъ.

Коноплянъ. Ты смотри Володька... За двумя зайцами не задумай гоняться... (*Подходитъ къ нимъ, Варвара отстраняетъ его рукой*).

Варвара. Же-ву-при; нельзя ли подальше... (*Василькову*). Готова чтоли цидулка-то?

Васильковъ (*вынимая изъ бокового кармана*). Ужь я цѣлую недѣлю въ карманѣ ношу... Только ты смотри — майору не попадись...

Варвара. Ужь пожалуста! Кого другого учите не васъ. Знаемъ мы всѣ эти фигуры-то.

Васильковъ. И отвѣтъ принесешь?

Варвара. Отчего не принести, коли будетъ. Только сумнѣ-

вдсь я на этотъ счетъ... Писать-то она не любитъ. Осторожна. Не ровень часть..

Конопляннѣ. Ну скоро ли вы тамъ кончите ?

Васильковъ. Кончили.

Варвара. Ну — пора мнѣ домой.

Конопляннѣ. Сиди знай ; не пущу.

Варвара. Нѣтъ голубчикъ , Иванъ Петровичъ , нельзя , ей же богу нельзя. Въ другой разъ — пожалуй ; отчего не провести время. А теперь я и то замѣшкалась.

Конопляннѣ. Ну когда же ты придешь ?..

Варвара. Да не знаю право. Вотъ развѣ завтра , барыня на вечеръ побѣдетъ... я и отпрошусь.

Васильковъ. А ты такъ и не сказала куда она ѣдетъ ?

Варвара. Ну ужъ такъ и быть скажу : къ помѣщицѣ къ этой вотъ , что по дѣламъ хлопотать пріѣхали.

Васильковъ. Къ Утловой ?.. Экъ досадно ! не знакомъ я съ ней !.. Вотъ Невзоровъ , такъ тотъ ужъ чай непременно познакомился. Ужъ какже... ему нельзя... адъютантъ !

Варвара (смѣется). А вы попросите его : онъ васъ съ собой возьметъ !

Конопляннѣ. Такъ вотъ , братъ , онъ тебя за что въ деревню-то выпроваживаетъ ! Онъ тоже къ майоршѣ подлѣзаетъ.

Варвара. Неужели и взаправду васъ въ деревню угнать хотятъ ?

Васильковъ. Хотятъ , Варенька... Ужъ и бумага написана. Только майору подписать осталось.

Варвара. Ну нѣтъ ; ужъ мы эдакого красавчика не выпустимъ. Да Наталья Михайловна безъ васъ просто съ тоски пропадетъ.

Конопляннѣ. Ты ей это скажи Варя ; вотъ-молъ какія пакости адъютантъ дѣлаетъ.

Варвара. Безпремѣнно скажу... И что только этотъ майоръ въ него вѣрился ! Вотъ подумаешь , кого господь покарать захочетъ , такъ сперва разумъ отыметъ. Майоръ его замѣсто родного считаетъ , передъ всѣми офицерами отличаетъ , а того не видитъ , что онъ у него жену отбить хочетъ.

Конопляннѣ. Вчера мнѣ сто рублей проигралъ , Кривоносову пятьдесятъ. А откуда взялъ ? Я знаю что у него ни копѣйки не было. Еще я говорю Кривоносову : не отдасть , братъ , онъ намъ до новой трети. Глядь-анъ сегодня вѣстовой летитъ съ конвертомъ.

Что, спрашиваю его, адъютантъ въ ящикъ ходилъ? ходилъ ваше благородіе. Ужь когда-нибудь и майоръ и всѣ за него поплатятся. Это вѣрно.

Васильковъ. Изъ-за него у Колотверникова роту отняли : тотъ майора при немъ говядиной красной назвалъ...

Варвара (*смѣясь*). А что, развѣ не правда?.. говядина — какъ есть говядина. Теперь хоть бы Наталью Михайловну взять, — ну за что она любить его будетъ?.. Ничего въ немъ нѣтъ благороднаго... Ахъ, ты господи! Опять я зарантовалась съ вами... Прощайте.

Коноплинъ. Да, ты поцѣлуй на прощаньѣ-то... (*Цѣлуетъ ее*).

Васильковъ. Ужь и меня Варя...

Варвара. Ну вотъ выдумали.. А какъ Наталья Михайловна узнаетъ?..

Васильковъ. Ничего!.. мы съ тобой по пріятельски...

Варвара. Ну ужь такъ и быть... (*Поцѣловавъ его, про себя*): Вѣдь эдакая картинка писаная!.. Такъ бы вотъ до смерти и зацѣловала. (*Уходитъ*).

Васильковъ (*про себя*). Ну что-то будетъ!.. А какъ разсердится?.. Чтожъ : тогда въ деревню уйду... вотъ и все...

Коноплинъ. Какъ же ты, братъ, Володька, слабую-то команду примешь, чтоли? А вѣдь неприятно, чортъ побери; съ одной стороны цвѣты наслажденія, такъ-сказать... а съ другой, эта команда... деревушка грязная съ свиньями да телятами! Скверно, скверно, скверно. Больнымъ рапортуйся.

Васильковъ. Чтѣ проку?.. Доктора пришлютъ свидѣтельствовать.

Коноплинъ. Ну чтожъ... Сигизмундъ Казимировичъ хорошій человекъ... Съ нимъ сладишь...

Васильковъ. Это такъ... да вѣдь не вѣкъ же хворать...

Коноплинъ. Ну хоть мѣсяцъ выиграешь... а тамъ что еще будетъ; можетъ-быть Невзоровъ всѣ деньги изъ ящика въ банчикъ спуститъ. Вотъ ему и капуть.

ТѢЖЕ И НЕВЗОРОВЪ.

(Невзоровъ, рыжеватый господинъ. Одѣтъ щеголемъ. Чистыя перчатки; воротничкъ у сюртука узенькій; изъ-подъ галстука выпущены узенькіе воротнички; волосы припомажены и завиты; между третьей и четвертой пуговицей болтается золотая цѣпочка. Безпрестанно оправляется и взглядываетъ въ зеркало).

Коноплинъ (*про себя*). Вотъ нелегкая принесла.

Невзоровъ (*пристукивая шпорами*). *Вопюи!* Что подѣлываете хорошаго, господа! (*протягиваетъ два пальца сперва Коноплину потомъ Василькову*).

Коноплинъ. Ничего, такъ-себѣ... кой о чемъ болтали.

Невзоровъ. Да у васъ тутъ я вижу и жидкости разныя на столѣ.

Коноплинъ. Не хотите ли?

Невзоровъ. Нѣтъ, *grand merci*. Я водки не пью.

Коноплинъ. Ну, лисабону хватите.

Невзоровъ. Нѣтъ. Я нынче кромѣ лафита ничего не пью; вредно. Докторъ запретилъ.

Коноплинъ. Что это вы куда-нибудь на вечеръ собрались?

Невзоровъ. Майорша просила пріѣхать чай пить... Майоръ нынче въ клубѣ играетъ; такъ ей одной скучно. Хочу прочесть ей вслухъ «Корнета Отлетаева», князя Кугушева. Вы читали?

Коноплинъ. Нѣтъ.

Невзоровъ. Напрасно... *Charmant*... А *propos*... Вы знаете мсье Васильковъ, что васъ майоръ приказалъ назначить въ деревню, на смѣну Рубцову; тамъ ужасно скучно. Вы запаситесь книгами. Я могу вамъ служить если хотите...

Васильковъ. У меня есть, покорно васъ благодарю...

Невзоровъ. *Pas de quoi*. Теперь есть, но можетъ-быть потомъ понадобятся, — вы вѣроятно останетесь тамъ довольно долго. Сдѣлайте милость обращайтесь ко мнѣ всегда *sans cérémonie*. Я буду очень счастливъ... Признаюсь вамъ, мнѣ чрезвычайно досадно, что выборъ майора палъ именно на васъ... Я всѣ усилія употреблялъ чтобы отговорить его... Но вы знаете его характеръ... упрямъ какъ, какъ я не знаю что! Впрочемъ, *soyez sûr*, что при первой возможности мы пришлемъ вамъ смѣну. Но правдѣ сказать — теперь почти некого и назначить...

Васильковъ. Сидоренко кажется желалъ...

Невзоровъ. Ну да... c'est vrai; онъ желалъ... Я и говорилъ это майору... Но я не знаю онъ почему—то считаетъ Сидоренку неблагонадежнымъ офицеромъ, которому нельзя довѣрить команды... Онъ даже выразился на этотъ счетъ довольно рѣзко... Я съ этимъ конечно не согласенъ... Сидоренко хотя и любитъ иногда покутить, но онъ исправный офицеръ... Ну, а на васъ ужъ вполне можно положиться. Вы у насъ во всѣхъ отношеніяхъ служите примѣромъ... несмотря на ваши лѣта... Однако я заболтался... (*Вынимаетъ часы и смотритъ.*) Семь часовъ. Какъ разъ пора... Au revoir!.. Получили вы деньги, мсье Конопляинъ?

Конопляинъ. Получилъ—съ. Очень благодаренъ.

Невзоровъ. Прощайте... Ахъ да! Завтра утромъ застрѣльщичые ученье, господа... Майоръ будетъ. (*Уходитъ.*)

КОНОПЛЯИНЪ и ВАСИЛЬКОВЪ

Васильковъ. И все вреть, все вреть... Вонервыхъ майорша его совѣмъ не звала, я увѣренъ... Вовторыхъ онъ самъ напѣлъ въ уши майору чтобы меня отправить... и еще разсыпается въ похвалахъ. Терпѣть не могу такихъ двуличныхъ господъ!

Конопляинъ. И какіе тоны задаетъ! Кромѣ лафиту ничего не пьетъ! Тогда какъ я знаю навѣрное, что дома сивуху глеть. А французскій—то діалектъ какъ подпускаетъ? Мерси, банжуръ — только въдь и знаетъ... ейбогу... Намедни у коробейника французскіе разговоры купилъ. Ну скажи намилость, зачѣмъ французскіе разговоры человѣку, который умѣетъ пофранцузски объясняться? Это онъ все нашему брату линейному пыль въ глаза пускаетъ. Нельзя! Изъ арміи перешолъ. А майоръ чай не налюбуетса на эдакое сокровище. Вотъ дескать у насъ какіе служить... Нигдѣ показать не стыдно.

(Набиваетъ трубку и ложится на диванъ. Васильковъ тоже ложится на кровать и сначала беретса за книгу, но потомъ оставляетъ ее и погружается въ задумчивость.)

II

(Гостинная майорши. Въ глубинѣ стеклянная дверь на терасу. Мягкая мебель, зеркала, фортепьяно. НАТАЛІЯ МИХАЙЛОВНА сидитъ въ большихъ креслахъ, закинувъ голову назадъ. Передъ ней столикъ, на которомъ разбросана женская работа и лежитъ какой-то французскій романъ).

Суркова (*вздыхая*). Ахъ, ахъ, ахъ! что это за скука въ этой глуши!.. Вотъ, подумаешь, участь женщины! Ее воспитываютъ, образуютъ, нѣжатъ... и потомъ чтоже? Выйдеть замужъ и должна сѣдовать за мужемъ богъ-знаеть куда, на край свѣта! Мужчинамъ ничего... У нихъ есть цѣль, занятія, служба. А мы бѣдныя, мы живемъ только сердцемъ, и если судьба заброситъ насъ въ такое мѣсто, къ такимъ людямъ, гдѣ насъ никто не можетъ понять... что намъ остается дѣлать? Томиться и ждать — какъ сказалъ кто-то... (*Молчаніе.*) Какое здѣсь ужасное общество!.. сидятъ у себя съ салными свѣчками, и только при гостяхъ закигаютъ стеариновыя. Отъваются уродами... что за куафюры допотопныя! И хоть бы кто-нибудь умѣлъ пофранцузски... Странно даже, такое невѣжество въ наше время! Правду говорила мнѣ княжна Тарарыкина, когда я передъ отъѣздомъ изъ Москвы пріѣхала съ ней проститься. *Vous mourrez d'ennui cher ange!* Ваша деликатная натура не вынесеть провинціи!.. (*Молчаніе.*) Вѣдь счастье же людямъ! Вотъ Магіе Колакова вышла замужъ за полкового командира; пишетъ мнѣ, что ихъ полкъ стоитъ въ Харьковѣ, — городъ прекрасный, общество образованное, балы, пикники... и между офицерами есть даже нѣсколько человекъ изъ гвардіи. А эти линейные! *c'est une horreur!* Одинъ Васильковъ... конечно онъ еще мальчикъ, но зато премиленькій... Мнѣ кажется его бы можно сформировать... сдѣлать изъ него: *un jeune homme tout à fait comme il faut...* Надо за него хорошенько приняться. Это будетъ даже доброе дѣло... а то эти товарищи пожалуй собьютъ его съ толку; научатъ пьянствовать... кутить. (*Помолчавъ.*) Какъ онъ всегда нѣжно на меня смотреть... а наемдни, въ саду, какъ я ему протянула руку — даже осмѣлился поцѣловать ее... И самъ весь вспыхнулъ! Мнѣ нравится въ немъ эта стыдливость... А рыжій Невзоровъ кажется тоже неравнодушенъ ко мнѣ?.. Онъ не глупъ... но вѣтъ и болтунъ и притомъ фізіономія его мнѣ не нравится. Въ

ней есть что-то кошачье. Я бы не рѣшилась ему довѣриться... (Съ *услишкой*.) *Faute de mieux*, конечно и съ нимъ иногда кокетничаешь!.. нельзя же... а то совѣмъ разучишься быть любезной. Я помню, князь Тарарыкинъ всегда говорилъ: женщина безъ кокетства — это китайскій розанъ: красивъ но безъ аромату!.. (*Молчаніе*.) Что этотъ Васильковъ такъ рѣдко ходитъ?.. боится вѣрно... *Il faut l'appivoiser*... Но странно... куда бы я ни поѣхала, — непременно встрѣчу его на дорогѣ. И въ церкви... онъ всегда становится такъ, чтобы можно было смотрѣть на меня... (*Встаетъ и подходитъ къ зеркалу*.) Мнѣ кажется я ужасно подурнѣла съ тѣхъ поръ какъ живу здѣсь. (*Поправляетъ волосы и вздыхаетъ*.) Красота! красота! Тебя нужно беречь, лелѣять!.. а для кого? когда нѣтъ существа, которое бы ты могла сдѣлать счастливымъ?.. (*Отходитъ отъ зеркала*.) Чтобы этому гадкому мальчишкѣ догадаться, придти сегодня... Alexandre въ клубъ... Скука!..

(Входитъ Варвара.)

Суркова. Ахъ, Варя! Ну что, принесла платье?

Варвара. Принесла-съ... угодно примѣрить!

Суркова. Не хочется что-то... завтра утромъ примѣрю. Теперь, при свѣчкахъ и не увидишь хорошенько какъ сидитъ.

Варвара. Какъ вамъ угодно-съ! Чай прикажете готовить?

Суркова (*думая о другомъ*). Чай? Не рано ли? Впрочемъ пожалуйста готовь.

(Варвара стоитъ на мѣстѣ и видимо хочетъ сказать что-то, но не рѣшается.)

Суркова. Тебѣ вѣрно со двора уйти хочется?

Варвара. Никакъ нѣтъ-съ (*мнется на мѣстѣ*).

Суркова (*смотря на нее пристально*). Ужъ что-нибудь да нужно... Я вижу?

Варвара (*улыбаясь*). Нужно-съ.

Суркова. Говори.

Варвара. Есть къ вамъ порученьеце, Настасья Михайловна, только вы не извольте сердиться.

Суркова. Что такое? какое порученьеце?

Варвара. Отъ Василькова, отъ Владиміра Андрѣича.

Суркова (*краснѣя и стараясь казаться серьезной*). Какое же можетъ-быть порученье отъ Василькова ко мнѣ?

Варвара (*молча подаетъ ей письмо*).

Суркова (*еще болѣе смущенная*). Письмо?

Варвара. Письмо-съ.

Суркова. Вѣрно просить о чемъ-нибудь.

Варвара (*разнодушно*). Должно-быть просить-съ. Его въ деревню угнать хотятъ.

Суркова (*быстро*). Въ деревню? зачѣмъ, кто?

Варвара. Адъютантъ-съ. Съ слабой командой. Ему бѣдненькому отъ адъютанта житья нѣтъ-съ.

Суркова. Но вѣдь онъ долженъ знать, что я въ служебныя дѣла не мѣшаюсь. Хорошо, я прочту... поди (*Варвара идетъ; Суркова кличетъ ее*.) Варвара!

Варвара. Чего изволите-съ

Суркова. Гдѣ же ты его видѣла?

Варвара (*покрасьезъ*). Онъ мнѣ на улицѣ попался-съ, у самой почтовой конторы... я иду мимо съ платьемъ-съ, а онъ оттуда выходитъ.

Суркова (*пристально посмотрѣвъ на нее, сомнительно качаетъ головой*). Не врешь ли ты?

Варвара. Ей-богу, сударыня; хоть сейчасъ провалиться на этомъ мѣстѣ!.. Ужъ какъ онъ меня просилъ-то...

Суркова. Ну... ну... хорошо, ступай.

(Варвара уходитъ.)

Суркова (*одна*). Каково же это?.. Закабалить бѣднаго мальчика въ деревню! Да онъ тамъ пропадетъ совсѣмъ... Я почти увѣрена, что г. Невзоровъ преслѣдуетъ его изъ ревности, потомучто на послѣднемъ вечерѣ у судьи я говорила съ нимъ больше, чѣмъ съ другими. Надо непременно упросить Alexandre! Посмотримъ-ка что онъ пишетъ (*смотритъ на адресъ*.) Какая рука, точно женская (*распечатываетъ и читаетъ; къ концу письма лицо ея оживаетъ, въ губахъ появляется улыбка, въ глазахъ видна радость*.) Да это объясненіе! Никакой просьбы, никакого дѣла! Это онъ все только наговорилъ Варварѣ, чтобъ не навлечь подозрѣнія. Каковъ же? Откуда взялась смѣлость (*перечитываетъ нѣкоторыя мѣста*.) «Одно ваше слово можетъ сдѣлать меня безконечно счастливымъ или погубить навѣкъ. Я васъ люблю больше всего на свѣтѣ, больше самой жизни, люблю давно, но скорѣе умеръ бы, чѣмъ рѣшился высказать на словахъ мое чувство. Незнаю какъ и теперь достало у меня духу писать къ вамъ». Онъ очень мило пишетъ! и главное

видно, что искренно, qu'il a mis toute son âme là dedans. Ахъ боже мой! Но что, если его ушлютъ въ самомъ дѣлѣ? (*Ходить въ волнѣ по комнатѣ. Варвара выглядываетъ въ дверь.*) Alexandre такъ упрямъ; ну ужъ нѣтъ! на этотъ разъ я не уступаю. Ужъ какъ они тамъ себѣ хотятъ (*слышенъ стукъ экипажа, подвѣзжающаго къ крыльцу.*) Кого еще принесло! какая тоска, изволь занимать здѣшнихъ уродовъ, когда въ головѣ совсѣмъ другое. Варвара! Варя! (*Варвара вбѣгаетъ.*) Кто-то подѣхалъ. Вели сказать, что я нездорова, не принимаю. (*Варвара бѣжитъ въ переднюю.*) Отвѣчать или не отвѣчать на его письмо? (*Подумавъ.*) Конечно нѣтъ. Впервыхъ отвѣчать неблагоуразумно... Вовторыхъ, не худо его помучить: когда ихъ помучаешь, этихъ мушкетеровъ, они больше цѣнятъ насъ. А какъ онъ да съ отчаянія вздумаетъ самъ проситься отсюда куда-нибудь.

(Входитъ Варвара съ книгой).

Варвара. Адъютантъ былъ-съ. Вотъ книжку вамъ велѣлъ передать. Очень жалѣетъ.

Суркова. Хорошо, положи. (*Варвара уходитъ.*) Не послать ли за нимъ теперь? Нѣтъ... это ужъ слишкомъ скоро. Подумаетъ, обрадовалась. А впрочемъ онъ вѣроятно будетъ такъ счастливъ, такъ счастливъ, что ему и въ голову не можетъ придти подобная мысль. Онъ не то, что другіе, онъ еще такъ наивенъ, такъ чистъ сердцемъ! Однакожъ все-таки его надо будетъ сначала распечь... надо показать видъ, что я разсердилась. Воображаю, какъ онъ сконфузится, раскраснѣется... Милочка! Варвара, Варвара!

(Варвара входитъ).

Суркова. Варя, мнѣ бы нужно съ нимъ самимъ поговорить хорошенько о томъ, насчетъ чего онъ просить въ своемъ письмѣ... посоветоваться, какъ бы это лучше устроить, чтобъ его не усылали.

Варвара. Чтожъ, сударыня. Прикажете только, онъ духомъ прибѣжить.

Суркова. Но какже это... посылать за нимъ? Барина дома нѣтъ. Могутъ богъ-знаетъ что сказать.

Варвара. Да ктоже скажетъ-то, сударыня? Никто этого и не узнаетъ.

Суркова. Вѣстовые эти... это все такой грубый, необтесанный народъ.

Варвара. Да зачѣмъ же посылать вѣстоваго. Я могу сходить.

Суркова. Развѣ ты сходишь... но вѣдь онъ живетъ не одинъ... его товарищъ пожалуй подумаетъ, что я ему какое-нибудь свиданіе назначаю.

Варвара. Ужъ я сударыня сдѣлаю такъ, что меня никто не увидитъ, вызову черезъ деньщика, да и все тутъ... коли подумаютъ что, такъ про меня... а развѣ на васъ можетъ кто думать. Васъ кажется довольно понимаютъ, какія вы есть. Да товарища чай теперь и дома-то нѣтъ; гдѣ-нибудь въ карты дуется. Я мигомъ следаю...

Суркова. Ну хорошо... только пожалуста...

Варвара. Ужъ будьте спокойны-съ, не сумлѣвайтесь. *(Пробл.)* Ахъ какъ обрадуется соколикъ-то ясный. Ужъ на платье стяну съ него за такую послугу. *(Уходитъ.)*

Суркова *(садится въ кресло)*. Зачѣмъ это я сдѣлала. Ну какъ узнаютъ? Въ этомъ проклятомъ городишкѣ ступить нельзя, чтобы за тобой не слѣдили. Здѣсь принимать кого-нибудь безъ мужа — преступленіе. Они не понимаютъ, эти дикари, какъ люди живутъ въ порядочномъ обществѣ. Боже мой, какъ бьется сердце!.. Не знаю почему мнѣ вдругъ сдѣлалось страшно; это даже смѣшно право, что я трушу мальчика, который никогда не смѣетъ самъ заговорить со мной *(молчаніе)*. А я чувствую, однакожъ, что могу привязаться къ этому мальчику всѣми силами души. О Alexandre! Зачѣмъ ты такой, зачѣмъ ты не можешь понять меня... *(Молчаніе)*. Загадаю въ книгѣ: будетъ ли онъ любить меня такъ, какъ я бы желала, чтобы меня любили. *(Раскрываетъ книгу, привезенную адъютантомъ: изъ нея выпадаетъ записка.)* Что это? Еще записка... Невзоровъ! прошу покорно! И какъ отъ нее несетъ патчули. Вотъ, таиваіс генге, душиться патчули. *(Развертываетъ записку.)* Скажите! тоже открывать свои чувства вздумалъ. Самонадѣянность-то какая! Воображаетъ, что можетъ плѣнить, и кого же — меня? Ну еще положимъ для здѣшнихъ дамъ онъ годится; онъ ничего лучше не видѣли, такъ имъ и Невзоровъ въ диковину. А ужъ я-ю кажется живя въ Москвѣ могла насмотрѣться на порядочныхъ молодыхъ людей. *(Читаетъ.)* И какъ это тяжело. Я думаю, это онъ просто изъ книги какой-нибудь выписалъ. Какое сравненіе съ тѣмъ!.. Можетъ-быть онъ тамъ бумаги дѣловыя хорошо сочинять умѣетъ, а ужъ о чувствахъ писать не мастеръ, нечего сказать. Надо показать ему, что я не только къ нему равнодушна, но даже

презираю его. (*Подумавъ.*) А вотъ мысль! Нельзя ли воспользо-ваться этой запиской и принудить его, чтобы онъ уговорилъ Alexandr'a не усылать Василькова въ деревню. Въ самомъ дѣлѣ, это было бы превосходно. Но я боюсь только, что онъ изъ ревности начнетъ что-нибудь нашоптывать Alexandr'y... Отъ него все стается. Надо обо всемъ этомъ подумать, взвѣсить все это.

(Вбѣгаетъ Варвара).

Варвара (*въ попыхахъ*). Наталья Михайловна, пришолъ! Прикажете его сюда привести.

Суркова (*волнуясь*). Ахъ боже мой, Варя... хорошо ли это... я право не знаю. Ужъ я раскаялась, что тебя послала.

Варвара. Да полноте, сударыня. Никто какъ есть не видѣлъ. Ни одна душа, на дворѣ темно. Да онъ и шолъ—то отъ меня поодадь, по другой сторонѣ. Ужъ примите его, обнадежьте... онъ со-всѣмъ измаялся, бѣдненькій.

Суркова. Ну введи его.

(Варвара исчезаетъ. Суркова подходитъ къ зеркалу и поправляетъ волосы; въ движеніяхъ ея замѣтно что-то лихорадочное. Она опускается въ кресло, потомъ вскакиваетъ и переставляетъ свѣчи со стола на роуль; наконецъ опять садится. Лицо ея въ полумракѣ. Васильковъ входитъ и останавливается въ почтительномъ отдаленіи).

Суркова (*кивая ему головой*). Bonjour, prenez place!

(Васильковъ подходитъ и робко садится около Сурковой. Молчаніе).

Суркова. Я на васъ сердита.

Васильковъ. Наталья Михайловна...

Суркова. Это нехорошо, писать такія письма къ замужней женщинѣ...

Васильковъ (*застѣнчиво*). Простите меня, Наталья Михайловна... я право незнаю, какъ это случилось.

Суркова. Ну что, еслибы это письмо попало въ руки Alexandr'y...

(Васильковъ молчитъ).

Суркова. Онъ могъ бы подумать, что я подаю вамъ поводъ... вы могли навлечь на меня неприятности; это очень, очень опрометчиво съ вашей стороны.

Васильковъ. Я чувствую, Наталья Михайловна, что я поступилъ дурно .. простите меня.

Суркова. И вѣдь все это, что вы пишете... такъ... однѣ фразы, вздоръ...

Васильковъ (*горячась*). Клянусь вамъ, Наталья Михайловна, всѣмъ для меня священнымъ, что я писалъ искренно... Я готовъ на все, чтобъ доказать вамъ, что я за васъ умереть готовъ!.. Вы можете презирать меня, отвергнуть, но не оскорбляйте меня вашимъ сомнѣніемъ.

Суркова. Ну положимъ даже, что вы чувствуете ко мнѣ нѣкоторую привязанность. Но не забудьте, что у меня есть обязанности.

Васильковъ. Наталья Михайловна, мнѣ довольно взгляда, одного ласковаго слова вашего, одной улыбки... только бы вы мнѣ позволили чаще васъ видѣть, быть подлѣ васъ... я ужъ и тѣмъ буду счастливъ, вѣрьте мнѣ, Наталья Михайловна.

Суркова. Но если вы будете часто бывать у меня, начнутся толки, пересуды... вы знаете, какъ здѣсь любятъ сплетничать.

Васильковъ. Я умѣю владѣть собой, Наталья Михайловна; при другихъ я буду отъ васъ дальше, чѣмъ кто-нибудь... ни однимъ взглядомъ я не выкажу своихъ чувствъ. Наталья Михайловна! еслибъ вы только знали, какъ я давно... какъ я... (*слезы мѣшаютъ ему говорить*).

Суркова (*тронутая*). Ну вотъ! какой вы ребенокъ!

Васильковъ (*вдругъ схватываетъ ея руку и крѣпко цѣлуетъ; она старается высвободить ее*). Не отнимайте у меня вашей руки, умоляю васъ... (*Опускается передъ ней на колѣнки и плачетъ, прижавъ ея руку къ своему лицу*).

Суркова. Ну полно же, полно!.. Могутъ услышать люди (*оттираетъ ему слезы своимъ платкомъ*.) Пойдемте лучше въ садъ, вечеръ кажется очень хорошъ; воздухъ васъ освѣжитъ... (*Встаетъ и отворяетъ дверь на терасу*.) Посмотрите какъ тихо, ни одинъ листъ не шелохнется... пройдемтесь немножко по этой аллеѣ; дайте мнѣ вашу руку... (*Васильковъ подаетъ ей руку; они уходятъ*).

Варвара (*входя съ чаемъ, оглядывается*.) Ну, упорхнули! и чай забыли! До чая ли тутъ, разумѣется. Эхъ любовь! Видно ужъ мнѣ за нихъ выпить. Все равно остынетъ, пока они прохладатся тамъ будутъ, придется новаго наливать. Посидѣть на мягкихъ—то креслицахъ (*садится*.) Фу, какъ знатно! Чтò кабы да на мнѣ те-

перича офицеръ женился? А нешто не можетъ этого взаправду случиться? Какъ посмотрю я на этихъ на жовъ офицерскихъ, какія промежъ ихъ есть! просто и непохожи на барынь; ни одѣться онѣ не умѣютъ, ни разговору у нихъ никакого нѣту; такъ какія-то! А есть, что даже и бѣлье на себя сами стирають, ей-богу. Ну ужъ я бы кажется на ихъ мѣстѣ ни въ жисть бѣлья стирать не согласилась. Женись-ка на мнѣ офицеръ, да я всякой барыни носъ утру. Такого форсу задамъ! Шляпку бы это на себя надѣла, по бульвару бы пошла подъ ручку съ супругомъ; бонжуръ, кома ву портеву? Небось, наша сестра лицомъ въ грязь ни гдѣ не ударить. А славно чай въ накладку пить, совсѣмъ не то, что въ прикуску (*выливъ одну чашку, принимается за другую.*) Надо полагать, что вашъ соколикъ свои дѣлишки обдѣлаетъ. Не угонять его въ деревню; что-то больно долго гуляють. Ужъ коли барыня захочетъ, разумѣется не угонять. Супротивъ женской хитрости ни одинъ мушкетеръ какъ-есть не устоитъ. Это вѣрно. И почище майора бывали, да оставались съ носомъ. Никакъ идуть! (*всклещиваетъ, быстро допиваетъ чай и беретъ подносъ съ чашками.*) Убираться поторопѣй. У нихъ небось и апетитъ къ чаю прошолъ, я такъ думаю (*ужодитъ поспѣшно*).

(Входитъ Суркова и Васильковъ).

Суркова (*продолжая разговоръ*). Ужъ у меня есть средство заставить его, а какое, я пока не скажу... Ахъ, Вольдемаръ! еслибы васъ сдѣлали на мѣсто его, это было бы чудо какъ хорошо! Мы видѣлись бы каждый день, такъ вѣдь?

Васильковъ. По нѣскольку разъ въ день. Но этого не можетъ быть! Я не смѣю и вѣрить такому счастью.

Суркова. Вотъ увидите! Но только предупреждаю васъ, мужъ мой вспыльчивъ, взыскателенъ, съ нимъ надо умѣть ладить.

Васильковъ. Я вамъ ручаюсь, Наталья Михайловна, что онъ будетъ доволенъ мной. Я готовъ все снести, лишь бы только быть постоянно около васъ.

Суркова. Надо снискать его довѣрѣе, это первое. Отъ этого все зависеть.

Васильковъ. Конечно-съ, я понимаю это очень хорошо.

Суркова (*улыбаясь*). Помните тоже, что и я взыскательна, и даже еще взыскательнѣе мужа, еще капризнѣе! Я требую безусловной преданности и скромности.

Васильковъ. Я скорѣе умру, Наталья Михайловна, чѣмъ...

Суркова. Вѣрю, вѣрю. Въ вашей скромности я никогда не сомнѣвалась; но знаете? мнѣ кажется... вы должны быть очень непостоянны.

Васильковъ. Я непостояненъ? Испытайте меня, Наталья Михайловна. Сколько бы времени ни тянулось это испытаніе, я...

Суркова. Вы такъ молоды, васъ такъ легко увлечь! Въ ваши гѣта скоро влюбляются. Довольно, чтобъ какая-нибудь хорошенькая дѣвочка сдѣлала вамъ глазки.

Васильковъ (*печально*). Вы напрасно такъ думаете, Наталья Михайловна. Вы еще не знаете меня. Я видѣлъ много, очень много хорошенькихъ, но еще влюбленъ до сихъ поръ никогда не былъ.

Суркова. Будто?

Васильковъ. Клянусь вамъ.

Суркова (*задумчиво*). Незнаю и сама отчето это такъ, но всему что вы говорите, какъ-то невольно вѣрится.

Васильковъ (*тихо беретъ ее за руку*). Это значить, что мои слова искренны.

Суркова. Вы опасный человѣкъ, Вольдемаръ!

Васильковъ. Нѣтъ, кто истинно любитъ, тотъ неопасенъ. Опасны тѣ, у кого любовь только на языкѣ.

Суркова. Напримѣръ Невзоровъ?

Васильковъ. Пожалуй хоть и онъ.

Суркова. А вотъ я его не боюсь, а васъ боюсь.

Васильковъ. Зачѣмъ бояться? не бойтесь, — любите лучше (*цѣлуетъ ея руку*).

Суркова (*съ улыбкой глядитъ ему въ лицо, не откивая руки*). Въ самомъ дѣлѣ?

Васильковъ. Развѣ Александръ Иванычъ въ состояніи оцѣнить ваше сердце, вашъ умъ, понять васъ? онъ весь погруженъ въ службу да въ карты. Еслибъ онъ понималъ какое сокровище послалъ ему Богъ, такъ не сидѣлъ бы по цѣлымъ вечерамъ въ клубѣ. Ну скажите, развѣ я говорю неправду? развѣ онъ любитъ васъ такъ, какъ должно бы васъ любить, какъ вы заслуживаете того.

Суркова (*вздыхая, опускаетъ глаза книзу*). Да, это такъ, Вольдемаръ, и вы правы къ несчастью... Онъ не умѣлъ поддержать моей любви къ нему, онъ самъ виноватъ, что я больше не чувствую къ нему прежней привязанности.

Варвара (*вбѣгая*). Баринъ ѣдутъ-съ...

(Васильковъ и Суркова быстро вскакиваютъ съ мѣста.)

Суркова. Ступайте мосье Васильковъ, я поговорю о вашемъ дѣлѣ съ мужемъ и дамъ вамъ отвѣтъ. Варя проводи ихъ.

(Васильковъ, отвѣсивъ низкій поклонъ, уходитъ въ ту же дверь, откуда привела его Варвара.)

Варвара (*тихо Василькову въ дверяхъ*). Ну чтоже... на платье будетъ?..

(Толкаетъ его въ дверь смѣясь и закрывая ротъ рукой. Суркова садится за роль и наигрываетъ: «скажите ей!»)

Сурковъ (*входитъ*). Здравствуй Наташа-матушка. (*Цѣлуетъ ее въ руку, потомъ въ губы*).

Суркова. Ты что-то сегодня рано?

Сурковъ. Да чего рано; всего двѣ пульки сыграли. Пыхтѣвъ не былъ, захворалъ. Ужъ мы съ болваномъ играли. А я не люблю такъ. Вели-ка чайку сдѣлать, что-то захотѣлось.

(Суркова влечетъ Варвару.)

Варвара. Чего изволите-съ?

Суркова. Чаю барину.

Варвара. А вамъ не прикажете-съ?

Суркова. Пожалуй и я выпью. Я не пила еще.

(Варвара уходитъ.)

Сурковъ. Что такъ?

Суркова. Да такъ зачиталась, а потомъ играть сѣла.

Сурковъ. Видно книжка занимательная попалась?

Суркова (*слегка краснѣя*). Да, романъ одинъ французскій.

Сурковъ. А я вотъ, Наташа, романовъ этихъ не люблю совсѣмъ. Потому я знаю, что этого ничего не было. Выдумка одна. А вѣдь говорятъ этимъ сочинителямъ хорошія деньги платятъ. Вотъ у меня офицеръ одинъ былъ, какъ я еще третьимъ батальономъ командовалъ, Подстинъ, такъ онъ я помню, балъ въ дворянскомъ собраніи описалъ, и послалъ въ газету какую-то — чтожъ ты думаешь, — пятьдесятъ рублей ему выслали. Ейбогу! А говорить, въ одинъ вечеръ написалъ. Пріѣхалъ, говорить, съ балу, да и написалъ. Да еще всю публику, отшлифовалъ. Какъ его потомъ ругали всѣ въ губерніи... просто мое почтеніе.

Суркова (*улыбаясь*). Чтожъ онъ и тебя описалъ?

Сурковъ. Ну вотъ еще выдумала! Меня! Я ему начальникъ былъ. Развѣ онъ смѣетъ. Да онъ позначительнѣе—то никого не тронулъ. А такъ знаешь, мелюзгу разную... чиновниковъ тамъ этихъ, барынь, учителей. Помѣщика тоже одного выставилъ; больно ужъ тотъ мазурку усердно отплясывалъ, такъ что штрипки у панталонъ лопнули. Онъ все это расписалъ, такъ что сейчасъ узнали. Это говорить Колотверниковъ! Нѣтъ! я лучше путешествія люблю. Или вотъ про походы тоже...

(Варвара приноситъ чай и ухаживать.)

Сурковъ (*мѣшая ложечкой въ стаканъ*). Ты какъ—будто не въ духѣ что-то? а?

Суркова. Нѣтъ, ничего.

Сурковъ. То-то. (*Помолчавъ*). Бригадный на той недѣлѣ будетъ.

Суркова. Опять эти смотри!.. Никого цѣлый день не увидишь! Ты приходишь домой сердитый, измученный.

Сурковъ. Что дѣлать, на то служба. Надо къ тому времени стерлядь хорошую припасти. Его превосходительство покушать любить. Боюсь, чтобы нашъ Степка чего не изнакостилъ. Пьянствуетъ крѣпко, шельма. Я ужъ ему сказалъ вчера: сдѣлаешь хорошій обѣдъ — цѣлковый на водку; не сдѣлаешь — трепку, триста вѣплю.

Суркова. Фи, Alexandre!.. какъ тебѣ не стыдно.

Сурковъ. Это вѣдь я такъ только, душа моя, постращать его. Знаешь сама какой это народъ, безъ угрозы ничего съ нимъ не сдѣлаешь. Необразованный. Вотъ теперь грамотѣ ихъ обучать приказаніе вышло, такъ авось умнѣе будутъ. А впрочемъ, вотъ въ заграничныхъ земляхъ, всѣ до одного грамотные, говорятъ; а тоже безъ палки не обходится. Значитъ простой народъ ужъ вездѣ таковъ. Лѣность, нерадѣніе, въ крови у него полагать нужно. Вотъ тоже про негровъ я читалъ.

Суркова (*зѣваетъ*). Ты еще чаю хочешь?

Сурковъ. Нѣтъ, будетъ.

(Стучить ложечкой о стаканъ, опять входитъ Варвара и уноситъ подносъ).

Сурковъ. Что ты мнѣ ни говори, Наташенька, а ты того... не

вдохъ что-то. Не изгадила ли портника платье, что я тебѣ къ иня-
нинамъ выписалъ, а?

Суркова. Нѣтъ, я его еще и не примѣрила. Ты думаешь,
Alexandre, что у меня другихъ заботъ, кромѣ какого-нибудь платья,
и быть не можетъ.

Сурковъ. Нѣтъ, зачѣмъ же, душенька... Я совсѣмъ не думаю.
Я знаю ты у меня образованная, чувствительная.

Суркова. Вотъ видишь, Alexandre, есть точно одна причина.
Я не хотѣла тебѣ говорить ее, но ужь если ты замѣтилъ мое раз-
стройство...

Сурковъ. Скажи, скажи Наташенька, что такое?

Суркова. Только ты долженъ дать мнѣ честное слово, что ты не
будешь горячиться, не выйдешь изъ себя по обыкновенію.

Сурковъ. Гм! честное слово!.. какже это однако, Наташенька.
Ну, а если это что-нибудь такое... ужь очень важное, я не могу по-
ручиться за себя.

Суркова. Долженъ, иначе я тебѣ ничего не скажу.

Сурковъ. Ну, ну, хорошо. Только ты говори скорѣй.

Суркова. Даешь слово не подымать исторію.

Сурковъ. Ну, ну, даю.

Суркова. Слушай же, Alexandre! мнѣ грустно за тебя самага.

Сурковъ. За меня? какъ же это? что-то я въ толкъ не возьму.

Суркова. Да за тебя! Ты такъ довѣрчивъ, добръ съ людьми, ко-
торые этого не стоятъ, которые тебя обманываютъ.

Сурковъ. Обманываютъ? Кто же это такой меня обманываетъ?

Суркова. Твой Невзоровъ.

Сурковъ. Адъютантъ! Какъ? чѣмъ?

Суркова. Вопервыхъ, онъ проигрываетъ въ карты деньги, ко-
торыя беретъ изъ ящика, когда ему угодно, а потомъ передъ по-
вѣркой суммы вкидываетъ ихъ опять.

Сурковъ. Ктоже это тебѣ сказалъ?.. это я думаю вздоръ. Онъ
человѣкъ солидный.

Суркова (*иронически*). Удивительно солидный!.. Но это еще не
все... съ офицеровъ онъ беретъ взятки.

Сурковъ. Ну полно, какія взятки.

Суркова. А вотъ какія. Помнишь, когда ты хотѣлъ дать коман-
дировку въ Казань Дерюгину, — онъ тебѣ отсовѣтовалъ и угово-
рилъ послать Прутикова.

Сурковъ. Ну, помню, чтожъ?

Суркова. Онъ взялъ за это съ Прутикова лошадь, а тебѣ сказать, что купилъ ее. Прутикову хотѣлось повидаться въ Казани съ родными.

Сурковъ (*крутитъ усы*). Гм... скверно! только это все не ошлетни-ли?..

Суркова. И когда составляетъ наградные списки, тоже беретъ съ офицеровъ.

Сурковъ. Но развѣ я, душенька, самъ не знаю, кто какой награды достоинъ.

Суркова. Ужъ пожалуста ты меня не увѣрай. Ты очень часто подписываешь бумаги такъ, не читая... Иначе и нельзя, у тебя столько дѣла! Наконецъ если ты хочешь, чтобы я тебѣ вполне открыла глаза на твоего возлюбленнаго Невзорова, такъ вотъ читай... онъ же имѣлъ смѣлость писать ко мнѣ любовное объясненіе! (*подаетъ ему записку Невзорова*).

Сурковъ (*опышавъ*). Что—о?

Суркова. Читай, читай.

Сурковъ (*прочитавъ записку, вскакиваетъ какъ ужаленный*). Да я его туда ушлю, куда Макаръ телятъ не гонялъ! Уничтожу! Съ лица земли сотру.

Суркова. Ты далъ мнѣ слово Alexandre.

Сурковъ (*ходитъ въ волненіи по комнатѣ*). Что тутъ слово!.. Какъ онъ осмѣлился только! къ начальницѣ къ своей... а! какво... Вѣдь это афронтъ, просто афронтъ...

Суркова (*возвышая голосъ*). Alexandre! опомнись пожалуста; ты не одинъ.

Сурковъ (*цѣлуетъ у ней руку*). Винавать, Наташенька. Ты на меня не сердись. Ты знаешь мой нравъ... особливо коли дѣло до тебя коснется... Да я скорѣй себя оскорбить позволю...

Суркова. Полно же, успокойся Alexandre, поговоримъ хладнокровно, садись сюда, и обсуди все какъ слѣдуетъ.

(Сурковъ садится).

Суркова. Скажи, что ты намѣренъ сдѣлать?..

Сурковъ. Да что дѣлать! обругаю его прежде всего...

Суркова. Опять! послушай лучше моего совѣта.

Сурковъ. Говори, душенька, говори.

Суркова. Впервыхъ, надо смѣнить его съ адъютантства, найти

какой-нибудь предлогъ... всего лучше, сдѣлай повѣрку денегъ, и если тамъ окажется меньше чѣмъ нужно...

Сурковъ. Очень мнѣ нуженъ предлогъ. Да я его и такъ сейчасъ...

Суркова. Вспомни свое честное слово!.. я не хочу чтобъ онъ зналъ, что я тебѣ показала его записку, слышишь ли, Alexandre, я этого никакъ не хочу, иначе мы поссоримся, и ты отъ меня никогда ничего не узнаешь.

Сурковъ. Ну, ну, пожалуй.

Суркова. Предлогъ ты можешь легко найти... ты начальникъ... какая-нибудь неисправность, ошибка въ бумагахъ, мало ли къ чему можно придратъся.

Сурковъ. Ужъ объ этомъ не безпокойся, это все въ нашихъ рукахъ, найдемъ за что спровадить.

Суркова. Ну, а потомъ, потомъ Alexandre, я бы, признаюсь тебѣ, не желала видѣть его здѣсь. Послѣ этой записки онъ сдѣлался мнѣ противенъ. Нельзя ли его перевести въ другой батальонъ.

Сурковъ. Нынче же напишу объ этомъ въ дивизионный штабъ. Дудаковъ, старшій адъютантъ, мигомъ мнѣ это обдѣляетъ... мы съ нимъ свои люди. Я недавно ему коверъ послалъ, у бухарцевъ на мѣновомъ дворѣ купилъ. Славный коверъ; онъ до нихъ охотникъ. А пока мы этого господина къ слабой командѣ въ Верзиловку отправимъ.

Суркова. Но туда ужъ вѣдь кто-то назначенъ... Сидоренко, кажется? или Сидоренко только просился?

Сурковъ. Васильковъ, да мы это отмѣнимъ... Я еще не давалъ предписанія.

Суркова. А кого же ты назначишь на мѣсто Невзорова?

Сурковъ. Объ этомъ надо подумать. Впрочемъ пускай офицеры сами выберутъ зимой... а до тѣхъ поръ кого-нибудь заставимъ исправлять должность.

Суркова. Мнѣ кажется Васильковъ хорошій мальчикъ. Онъ не играетъ въ карты, не пьетъ. Мнѣ бы очень жаль было, еслибъ его послали въ деревню. Со скуки онъ могъ бы избаловаться. Онъ еще такой молоденькій.

Сурковъ. Да это правда... Ну чтожъ, его такъ его. Только неопытенъ онъ еще. Иной разъ недосмотришь чего-нибудь — глядь а изъ штаба выговоръ... Вотъ ужъ Невзоровъ на это хорошгъ былъ.

Суркова. Какъ-будто это такъ трудно привыкнуть. Васильковъ

такой старательный, усердный. И я увѣрена, что если ты его приласкаешь, онъ будетъ тебѣ вполне преданъ. У такого молоденькаго, не испорченнаго мальчика, должно быть благодарное сердце.

Сурковъ. Это такъ, такъ... какая ты у меня умница, Наташенька, все это рассудишь, просто тебя бы батальоннымъ командиромъ сдѣлать.

Суркова (*встаетъ и подходитъ къ Суркову, треплетъ его по щеку*). А ужъ ты у меня такая горячка! совершенный порошок!

Сурковъ (*цѣлуетъ ея руку*). Однакожъ мнѣ пора и на боковую?.. утро вечера мудренѣе... завтра чѣмъ-свѣтъ повѣрку суммы произведу; и ужъ если только хоть одной копѣйки не досчитаюсь, я съ нимъ такъ объяснюсь въ любви, что чудо!.. Вѣстовой!

(Входитъ вѣстовой).

Бѣги въ канцелярію, скажи чтобы повѣстили гг. офицеровъ, что я завтра требую ихъ къ себѣ, въ семь часовъ утра. Проворнѣй, маршъ.

(Вѣстовой повернувшись налѣво-кругомъ, уходитъ. Суркова беретъ свѣчку).

Ну прощай, Наташенька. Ты еще не скоро?.. читать будешь?

Суркова. Нѣтъ, мой другъ, я тоже сейчасъ иду. Варвара! дай мнѣ раздѣться.

Варвара (*входя съ ночной блузой на руки*). Ну что, Наталья Михайловна, не изволили просить барина?

Суркова (*раздѣваясь*). О чемъ?

Варвара. Да насчетъ того, чтобы Василькова-то не угоняли въ деревню.

Суркова. Ахъ да! Говорила, онъ обѣщаль, а тебя это очень интересуетъ?

Варвара. Да вѣдь ужъ больно сокрушается онъ, сударыня. Деньщикъ его сказывалъ, что не ѣсть, не пьеть ничего. Должно быть какую-нибудь зазнобушку сердечную жаль оставить.

Суркова (*бросивъ на нее испытующій взглядъ*). Ты думаешь?

Варвара. Люди молодые-съ!.. Только ужъ скрытный такой-съ, что бѣда. И товарищи-то всѣ такъ его понимаютъ. Ничего, говорить, какъ отъ каменной стѣны, отъ него не вывѣдаешь.

Суркова. Удивляюсь я, какъ это ты все знаешь?

Варвара. Какъ не знать, сударыня, слухами земля полнится.

Суркова (*смѣясь*). А сознайся, Варвара, у тебя вѣрно есть тоже какой-нибудь предметъ?

Варвара (*покраемлевъ*). Что это вы, сударыня, какъ можно...

Суркова. Ты вѣдь хорошенькая, Варя, посмотришь въ зеркало.

Варвара. Ну ужь есть чего смотреть.

Суркова (*вздохнувши и смотря въ зеркало*). Ты лучше меня, Варя.

Варвара. Полноте, барыня, что это, Богъ съ вами! какъ это вамъ говорить—то не грѣшно. Да я вамъ и въ подметки не гожусь.

Суркова (*грозя ей пальцемъ*). Хитрая ты! (*Злѣваетъ*). Прощай, Варя, спать хочу. (*Уходитъ*).

Варвара. Спокойной ночи, пріятнаго сна—съ.

Варвара (*одна, смѣясь*). Хитрая! Ну ужь не знаю, кто изъ насъ изъ двухъ хитрѣе будетъ? Вѣдь какъ она ловко къ майору—то подѣхала! И записку адъютантскую показала... А небось не показала другую! Ну ужь только господа эти! Можно ихъ чести приписать! Всякихъ фигуръ у нихъ наглядисься. Теперь я думаю, нашъ соколикъ—то ясный на одной ножкѣ скачетъ. Осчастливили мы его, голубчика! ха-ха-ха. (*Уходитъ.*)

(У Коношлина и Василькова; деньщикъ убираетъ комнату. Мимо оконъ проходитъ майорскій вѣстовой.)

Деньщикъ (*высовывается въ окно и зоветъ его*). Архиповъ! Архиповъ! куда идешь?

Вѣстовой. Майорша за столаремъ послала.

Деньщикъ. Зайди, братишка. Люльку покуришь.

Вѣстовой. Не время; наказывали скорѣй вернуться.

Деньщикъ. Ну вотъ не время! Заходи. Говорю тебѣ, люльку выкуришь — и съ Богомъ.

Вѣстовой. Ну ужь такъ и быть.

(Входитъ; деньщикъ подаетъ ему коретенькую трубочку, садится на стульяхъ).

Вѣстовой. Майоръ—то ужь нынче лють больно.

Деньщикъ. Ой—ли? что такъ?

Вѣстовой. На казначея осерчалъ. Деньги повѣрять сталъ, да, слышь, рублевъ сто не досчитался. Ужь онъ его, братецъ ты мой, пырнулъ, пырнулъ. Должно что смѣнить.

Деньщикъ. Ну?

Вѣстовой. Ейбогу такъ. Потому ужь больно золь.

Деньщикъ. Ишь, видно въ карты денежки—то продулъ.

Вѣстовой. Нешто картежникъ?

Деньщикъ. И-и! упаси Богъ! То—есть хлѣбомъ его теперича не корми, а только карты ему подай. Вотъ какъ.

Вѣстовой. Ишь ты! А небось намедни Скворцова съ Кузьменкой въ оврагѣ поймалъ, въ орлянку играли, такъ какую имъ баню задалъ.

Деньщикъ. Выпоролъ?

Вѣстовой. Розогъ двѣсти яди накидалъ.

Деньщикъ. Ктоже теперь, братецъ ты мой, казначейство при-
метъ.

Вѣстовой. Господа промежь себя толковали, что твой...

Деньщикъ. Володимиръ Ивановъ?

Вѣстовой. Онъ самый.

Деньщикъ (*самодовоольно*). Важно! Значить и въ деревню назъ теперича не погонять.

Вѣстовой. Должно, что такъ... Ну братецъ ты мой, идти надо. Нѣтъ ли табачку съ горсточку, одолжи. Больно ужь у тебя табакъ—то хорошъ?

Деньщикъ. Извѣстно господскій, возьми пожалуй (*даетъ табакъ изъ офицерскаго кисета*.)

Вѣстовой. Спасибо. — Счастливо оставаться.

Деньщикъ. Съ богомъ. Никакъ господа идутъ.

(Входятъ Конопляинъ и Васильковъ.)

Конопляинъ (*бросая фуражку на столъ и растегивая сюртукъ*.) Уфъ, жарко! Ну братъ Володька, надо съ тебя бутылку шампанскаго на радостяхъ.

Васильковъ. Можно! (*скидаетъ сюртукъ и закуриваетъ папироску*.)

Конопляинъ. Вотъ братецъ неожиданный—то конфузъ! И кто это только майору шепнулъ? Досталось нашему молодцу на орѣхи, нечего сказать... Шуруновъ! (*Деньщикъ входитъ*.) Поздравляй барина, здѣютантскую должность принимаетъ.

Деньщикъ. Честь имѣю проздравить ваше благородіе. Значить въ деревню не поѣдемъ.

Конопляинъ. Значить!

Деньщикъ. А я ужъ и прачкѣ наказывалъ , чтобы бѣлье поскорѣй несла, барину молъ ѣхать нужно.

Коноплинъ. Теперь скажи, чтобъ Невзорову поскорѣй выстирала.

Деньщикъ. Неужели ему ваше благородіе въ деревню выпалило ?

Коноплинъ. Ему !

(Входитъ Варвара.)

Варвара. Наше вамъ почтеніе. Съ радостью !

Коноплинъ (*бросаясь къ ней навстрѣчу.*) Ее ли не доставало ! Ну, Володька разкошеливайся, посылай за шампанскимъ !

Васильковъ (*вынимая деньги.*) Бѣги Шуруповъ , да живѣй. Варя поди-ка сюда, поближе.

Коноплинъ. Опять секретничать. Ужъ вы до чего-нибудь до-секретничаетесь.

(Варвара подходитъ къ Василькову. Онъ суетъ ей что-то въ руку.)

Васильковъ. Это тебѣ Варя, за послугу.

Варвара. Благодарю покорно, Владиміръ Ивановичъ. А вѣдь лихо мы съ Натальей Михайловной дѣлишки-то обдѣляли. Теперь только не плошайте сами (*вслухъ.*) Эхъ чай , адъютантъ нашъ теперь бѣсится !.. Не хочется ему сердешному въ деревню-то...

Деньщикъ (*приноситъ вино.*) Раскупорить прикажете — ваше благородіе.

Коноплинъ. Давай, — я самъ. Это мое дѣло. (*Раскупориваетъ, потомъ наливаетъ въ стаканы.*) За твое здоровье Володька !

Васильковъ. Спасибо. А ты чтожъ Варя.

Варвара. Нѣтъ. Я не стану, какъ можно.

Коноплинъ. Это что ? Пей ! Не то въ глотку выльешь.

Варвара. Нѣтъ ейбогу, не буду.

Коноплинъ. Пей говорю.

Варвара. Да что это, право же... какъ вамъ не стыдно ! Сохрани-богъ барыня услышитъ, что отъ меня виномъ пахнетъ.

Коноплинъ. Ну такъ чтожъ , пусть услышитъ. Пей говорю , не то я съ тобой не хочу и знаться, убирайся !

Васильковъ. Да что ты присталъ къ ней. Ну что тебѣ отъ того, что она выпьетъ.

Конопляннѣ. Какъ она смѣетъ супротивничать! Дисциплины не знаетъ.

Васильковъ. Ну отпей хоть немножко Варя.

Варвара (*беретъ стаканъ и отпиваетъ.*)

Конопляннѣ. Урра! Теперь знаешь Володька за кого надо выпить.

Васильковъ. За кого?

Конопляннѣ. За командиршу? Что? я думаю и ты не откажешься, даромъ что не пьющій?

Васильковъ. Не откажусь. Такъ ужъ и быть. Разъ куда не шло. (*Конопляннѣ наливаетъ, потомъ всѣ пьютъ и кричатъ ура!*) Да здравствуетъ командирша!

Конопляннѣ (*поетъ хриплымъ басомъ*)

Будь командирша намъ вѣчно!

Мы тебя любимъ сердечно,

Наши зажгла ты сердца. Ура!

А. ПЛЕЩЕЕВЪ

СОБОРЪ ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ

(NOTRE-DAME DE PARIS)

РОМАНЪ В. ГЮГО

КНИГА ТРЕТЬЯ (1)

I

СОБОРЪ

Конечно и теперь парижскій соборъ величественное и удивительное зданіе, но какъ бы хорошо оно ни сохранилось въ старости, нельзя удержаться отъ вздоха и негодованія при видѣ разрушеній, слѣданныхъ постепенно людьми и временемъ безъ всякаго уваженія къ памяти Карла Великаго, заложившаго первый камень, и Филиппа-Августа окончившаго дѣло.

На ликѣ этого маститаго царя нашихъ соборовъ, — рядомъ съ каждой морщиной можно замѣтить рану. *Tempus edax, homo edacior*, что я охотно перевелъ бы такъ: время слѣпо, а человекъ глухъ.

Еслибы слѣдить за каждымъ шагомъ разрушенія, на долю времени пришлось бы немного; всего болѣе повинны люди, и притомъ люди искусства. Необходимо употребить здѣсь слово «люди искусства», потомучто въ послѣдніе два вѣка слишкомъ ужь многіе считали себя архитекторами.

Конечно немного найдется такихъ прелестныхъ архитектурныхъ

(1) Время № 9.

памятниковъ, какъ напримѣръ этотъ фасадъ, являющій взгляду три стрѣльчатыхъ портала, цѣлую кружевную цѣпь изъ двадцати-восьми нишъ, огромную центральную звѣзду съ двумя окнами по сторонамъ, какъ священникъ съ двумя дьяконами, высокую и легкую галерею сводовъ, поддерживающую на своихъ тонкихъ колонкахъ тяжелую платформу; наконецъ двѣ массивныя и черныя башни съ черепичными кровлями, гармоничныя части стройнаго цѣлаго, вытянутыя въ пять гигантскихъ этажей и бросающіяся въ глаза прямо, смѣло, со всѣми безчисленными деталями скульптуры, статуи и рѣзбы, могущественно сливающимися съ спокойнымъ величіемъ общей массы. Это громадная каменная симфонія; колоссальное твореніе человѣка и цѣлаго народа, единое и сложное, какъ илліада или романцero, съ которыми оно имѣетъ кровную связь; могучее произведеніе совокупныхъ силъ эпохи, гдѣ въ каждомъ камнѣ является фантазія работника, усовершенствованная геніемъ артиста; твореніе такое разнообразное и могучее, что напоминаетъ созданія самаго божества и носить ихъ двойной характеръ: разнообразіе и вѣчность.

То, что сказано о фасадѣ, можно сказать и о цѣломъ храмѣ; а то что говорится о соборѣ парижской богородицы, можетъ быть примѣнимо ко всѣмъ христіанскимъ церквямъ среднихъ вѣковъ. Въ этомъ искусствѣ, истекающемъ изъ самаго себя, все логично и пропорціонально. Измѣривши мизинецъ, можно имѣть понятіе о цѣломъ великанѣ.

Возвратимся къ фасаду собора, какимъ онъ является еще и теперь, когда любишь серьезнымъ и величественнымъ храмомъ, уничтожающимъ зрителя, по словамъ его хроникеровъ: *quae mole sua terrorem incutit spectantibus*.

Теперь фасаду недостаетъ трехъ важныхъ вещей: вопервыхъ, одиннадцати ступеней, которыя возвышали его надъ землею; потомъ нижняго ряда статуй, занимавшихъ ниши трехъ порталовъ и верхняго ряда двадцати-восьми древнихъ французскихъ королей, украсившихъ галерею перваго этажа отъ Гильдберта до Филипа-Августа, державшихъ въ рукахъ «королевское яблоко».

Ступени уничтожило время, медленно возвышая уровень земли; но отнимая одну за другою одиннадцать ступеней, придававшихъ высоту церкви, время взамѣнъ дало фасаду ея тотъ темный, вѣковой колоритъ, который придаетъ красоту старымъ зданіямъ.

Но кто уничтожилъ два ряда статуй? Кто опустошилъ ниши?

Кто придвигалъ по самой срединѣ фасада эту новую, незаконную стрѣлку? Кто осмѣлился помѣстить рядомъ съ арабесками Бискарнета эту пошлую, тяжолую дверь, съ деревянной скульптурой во вкусь Людовика XV? — Люди, архитектора, художники нашего времени.

А если войдемъ во внутренность храма, кто извергнулъ колоссальнаго св. Христофора, столько же извѣстнаго между статуями, какъ зала палаты юстиціи между торговцами, и страсбургская колокольня между всѣми колокольнями? А эти мириады статуй, населявшихъ церковь между алтаремъ и хорами, колѣнопреклоненныя, во весь ростъ, женщины, мужчины, дѣти, короли, архіепископы, — каменные, мраморные, золотые, даже восковые, кто вынесъ ихъ всѣхъ? Это ужь не время.

А кто замѣнилъ старый готическій ковчегъ, наполненный мощами и святынями, этимъ тяжолымъ мраморнымъ саркофагомъ съ облаками и головами ангеловъ, напоминающими Валь-де-Грасъ или Инвалидовъ? Кто вѣпилъ этотъ тяжолый каменный анахронизмъ на карловингскія плиты Геркандуса? Не Людовикъ ли XIV, исполнявшій обѣтъ Людовика XIII.

А кто вставилъ простыя бѣлыя стекла вмѣсто цвѣтныхъ, на которыя такъ разбѣгались глаза нашихъ предковъ? А что сказали бы дьячки XVI вѣка, еслибъ увидѣли какой желтой краской выпачкали наши вандалы-епископы свой прежній соборъ? Они припомнили бы, что желтымъ цвѣтомъ красились отверженныя зданія въ ихъ время; вспомнили бы отель Petit Bourgoin выпачканный желтой краской за измѣну констабля, «такой прочной краской — говоритъ Соваль — что вѣка не могли заставить ее вылинять». Пожалуй имъ пришлось бы въ голову, что храмъ опозоренъ, и они бы разбѣжались.

А если мы взойдемъ на самую крышу, не останавливаясь на тысячѣ мелкихъ варварствъ, что сдѣлали съ этой прелестной маленькой колокольней, которая такъ же смѣло какъ и ея сосѣдъ шпиль святой часовни (тоже уничтоженный) устремлялась въ небо выше башенъ, стройная, острая, вся изъ рѣзьбы? Одинъ бойкій архитекторъ (1787) отпиллил ее и думалъ, что для покрытія раны достаточно будетъ этого широкаго свинцоваго пластыря, похожаго на крышку костюли. Такъ поступали съ великолѣпнымъ средневѣковымъ искусствомъ во всѣхъ странахъ, особенно во Франціи. Соборъ подвергался тройкому нападению: со стороны времени, которое мѣстами кое-что опрокинуло и наложило печать на всю его наруж-

ность; потомъ отъ революцій политическихъ и религіозныхъ, которыя въ своемъ слѣпкомъ ожесточеніи кинулись на него, изодрали его богатую одежду изъ рѣзбы и скульптуры, перервали его ожерелья изъ арабесокъ, уничтожили его статуи: то за ихъ митры, то за ихъ короны; наконецъ отъ моды, становящейся все безсмысленнѣе и клонящейся къ упадку послѣ своебытныхъ и роскошныхъ модуляцій возрожденія. Моды навредили еще болѣе революцій. Онѣ попали въ живое мѣсто, задѣли самый остовъ искусства; онѣ урѣзали, обезобразили, убили зданіе въ его формѣ и въ символѣ, въ его логикѣ и красотѣ. У нихъ была сверхъ-того претензія передѣлывать по своему, которой нѣтъ ни у времени, ни у революцій. Онѣ нагло воздвигли во имя современнаго вкуса на свѣжихъ ранахъ готическаго искусства свои эфемерныя созданія, свои мраморныя ленты, свои металлическіе уборы: цѣлую ватагу драпировокъ, гирляндъ, каменнаго пламени, бронзовыхъ облаковъ, толстыхъ амуровъ, пухлыхъ херувимовъ, начавшихъ душить искусство въ молельнѣ Катерины Медичи и доконавшихъ его въ будуарѣ Дюбарри.

Итакъ, теперь готическая архитектура терпитъ тройную напасть: морщины и бородавки снаружи—это дѣло времени; насиліе, ломка — это дѣло революцій отъ Лютера до Мирабо; уничтоженіе, урѣзываніе, разрозненіе членовъ, *рестаурація* — это работа профессоровъ греческо-римско-варварская. Это чудное искусство, порожденное вандалами, убито академіями. Къ вѣткамъ и революціямъ, которыя опустошаютъ по-крайней-мѣрѣ съ величіемъ и безпристрастно, присоединилась толпа патентованныхъ архитекторовъ, разрушающихъ безъ вкуса, замѣняющихъ готическія кружева нелѣпыми оборками Людовика XV, во славу Партефона. Это ослиный толчокъ копытомъ умирающему льву. Это старый, склоняющійся дубъ, который точатъ черви.

Какъ далеко теперь отъ того времени, когда Робертъ Сеналисъ, сравнивая соборъ богоматери съ знаменитымъ храмомъ Діаны Ефесской, такъ почитаемымъ прежними язычниками, храмомъ обезсмертившимъ Эрострата, находилъ соборъ галловъ *превосходящимъ его длиною, шириною, высотой и постройкой*.

Соборъ богоматери не можетъ впрочемъ считаться памятникомъ совершеннымъ, законченнымъ. Это уже не романская церковь, но еще и не вполне готическая. Это зданіе не есть типъ. Соборъ богоматери не имѣетъ, какъ аббатство Турну, серьезнаго и массивнаго склада, круглаго и широкаго свода, холоднаго отрицанія украшеній,

величественной простоты зданій, признающихъ господство полукруга. Онъ не есть, какъ соборъ въ Буржѣ, роскошное произведеніе, легкое, разнообразное, густо-сплетенное изъ стрѣлокъ. Невозможно причислить его къ этой семьѣ церквей темныхъ, таинственныхъ, низкихъ и будто подавленныхъ полукругомъ, почти египетскихъ, за исключеніемъ плафона; іероглифическихъ, символическихъ, изобилующихъ въ украшеніяхъ зигзагами болѣе, чѣмъ цвѣтами; цвѣтами болѣе, чѣмъ животными; животными болѣе, чѣмъ людьми; скорѣе произведенія архитектора, чѣмъ архіерея; первое преобразование искусства, носящее слѣды теократической и военной дисциплины, начинающейся отъ восточной имперіи, и оканчивающейся Вильгельмомъ-завоевателемъ. Невозможно помѣстить нашъ соборъ и въ другую семью церквей высокихъ, воздушныхъ, богатыхъ стеклами и скульптурой, церквей острой формы, смѣлой осанки; общинныхъ и буржуазныхъ, выражающихъ тогдашній политическій символъ; свободныхъ, причудливыхъ, какъ произведеніе искусства, второе видоизмѣненіе архитектуры, ужъ не іероглифическое, напоминающее жрецовъ, а артистическое, прогрессивное, популярное, начинающееся съ окончанія крестовыхъ походовъ до Людовика XI. Соборъ богоматери не чисто-романскаго происхожденія, какъ первыя церкви, и не чисто-арабскаго, какъ вторыя.

Это переходное зданіе. Саксонскій архитекторъ оканчивалъ постановку первыхъ столбовъ алтаря, когда стрѣльчатый сводъ, прішедшій изъ крестовыхъ походовъ, предъявилъ свое право и возвысился надъ романскими капителями, заставляя ихъ признать полукругъ. Съ этой минуты стрѣльчатый сводъ преобладаетъ въ храмѣ. Робкій вначалѣ, онъ постепенно расширяется, суживается, сдерживается и еще не смѣетъ взбираться вверхъ стрѣлками и ланцетами, какъ сдѣлалъ это позднѣе въ столькихъ чудесныхъ соборахъ.

Впрочемъ эти переходныя зданія изъ романскаго стиля въ готическій также драгоценны для изученія, какъ и чистые типы. Они выражаютъ оттѣнокъ искусства, который безъ нихъ былъ бы потерянъ. Это прививка стрѣльчатаго свода на полукругъ.

Парижскій соборъ есть въ особенности рѣдкій образчикъ этого вида. Каждая сторона, каждый камень маститаго памятника представляетъ страницу не только исторіи страны, но и исторіи науки и искусства.

Упомянемъ только о главныхъ деталяхъ: маленькая красная

дверь достигаетъ почти высшихъ предѣловъ готическаго изящества XV вѣка, между тѣмъ какъ колоны алтаря своимъ объемомъ и важною подходятъ къ карловингскому аббатству Saint Germain des Prés. Можно подумать, что шесть вѣковъ лежатъ между этими колонами и этой дверью. Даже герметики находятъ въ символахъ главнаго портала удовлетворительное сокращеніе своей науки, полнѣйшимъ іероглифомъ которой была церковь Saint Jacques de la Boucherie. Итакъ, романское аббатство, философская церковь, искусство готическое, саксонское, тяжелый круглый сводъ, напоминающій Григорія VII, символизмъ герметиковъ, которымъ Николай Фламель предназначалъ Лютера, папское единство, расколъ, Saint Germain des Prés, Jacques de la Boucherie, все сплавлено, комбинировано въ соборѣ богородицы. Эта центральная, первоначальная церковь имѣетъ такъ-сказать химерическій составъ: у ней голова одной церкви, члены другой, туловище третьей, по частицѣ отъ всего встрѣчающагося въ прочихъ старыхъ церквяхъ Парижа.

Повторяемъ, эти помѣстные постройки имѣютъ большой интересъ для художника, антикварія и историка. Онѣ даютъ почувствовать до какой степени архитектура — вещь примитивная, доказывая (что доказываютъ и циклопскіе остатки, египетскія пирамиды и гигантскія нагоды индусовъ), что самыя высокія произведенія архитектуры принадлежатъ не столько отдѣльнымъ личностямъ, сколько цѣлому обществу, что они скорѣе порожденіе труда цѣлаго народа, нежели проблескъ генія одного человѣка; это залогъ, оставаемый цѣлой націей; наносы, дѣлаемые вѣками; накопленіе постепенныхъ испареній людской мысли; однимъ словомъ, родъ формации. Каждая волна времени кладетъ свой слой, каждая раса оставляетъ свою печать на зданіи, каждая личность закладываетъ камень. Такъ дѣлаютъ бобры, пчелы и люди. Великій символъ архитектуры Вавилонъ представляетъ обширный улей.

Большія зданія какъ и большія горы, — работа вѣковъ. Часто искусство измѣняется, а онѣ еще держатся: *pendent opera interrupta*, они мирно продолжаютъ, сообразуясь съ измѣненнымъ искусствомъ. Новое искусство беретъ зданіе въ томъ видѣ, въ какомъ его застало, кладетъ на него свою печать, подчиняетъ его себѣ, развиваетъ по своей фантазіи и заканчиваетъ, если можетъ. Дѣло совершается безъ шума, безъ усилій, безъ реакціи, по естественному и спокойному закону. Это принимающаяся прививка, разлитіе растительнаго сока, вновь оживающее растеніе.

Конечно много книгъ, иногда даже исторію всего человѣчества, можно написать объ этомъ постепенномъ водвореніи разныхъ искусствъ на разныхъ высотахъ одного и того же зданія. Человѣкъ, художникъ, личность стирается на этихъ большихъ массахъ безъ авторской подписи: въ нихъ резюмируется духъ человѣчества. Время архитекторъ, а народъ каменщикъ.

Когда разсматриваешь европейско-христіанскую архитектуру, эту меньшую сестру большихъ каменныхъ зданій востока, она представляется глазу, какъ огромная формація, раздѣленная на три рѣзко отличающіяся полосы, лежащія одна надъ другою: полоса романская, полоса готическая, полоса возрожденія, которую бы мы охотно назвали греческо-римской.

Романскій слой, древнѣйшій и глубочайшій, весь занятъ полукругомъ, который возвращается, поддерживаемый греческой колонной въ новѣйшемъ, верхнемъ слоеъ возрожденія. Между обоими стоитъ стрѣлка. Зданія, исключительно принадлежащія одному изъ этихъ трехъ слоевъ, легко отличить по единству и полнотѣ. Таково аббатство Жюмьежъ, реймскій соборъ, церковь святаго креста въ Орлеанѣ. Но эти три слоя перемѣшиваются и соединяются по краямъ, какъ радужныя цвѣта въ свѣтовомъ лучѣ. Отсюда сложныя памятники, зданія переходныя и съ разными оттѣнками. Одно и тоже романское снизу, готическое въ срединѣ, греко-римское сверху. Это потому, что его строили въ продолженіи шести-сотъ лѣтъ. Впрочемъ этотъ видъ рѣдко встрѣчается; образецъ его: башня въ замкѣ d'Etampes. Но памятники двухъ формацій встрѣчаются чаще. Таковъ соборъ парижской богородицы, стрѣльчатое зданіе, нисходящее первыми сводами въ тотъ романскій поясъ, куда погружены порталъ Saint-Denis и первая часть храма Saint-Germain des Prés. Такова прелестная капитульная зала въ Рошвилѣ, у которой романскій слой покрываетъ цѣлую половину. Таковъ руанскій соборъ, который былъ бы совсѣмъ готическій, еслибъ не погрузилъ конецъ своей центральной стрѣлки въ поясъ возрожденія.

Впрочемъ, всѣ эти оттѣнки и различія касаются только поверхности зданій. Это искусство подъ новой оболочкой. Самая суть христіанской церкви незатронута. Всюду то же устройство нижняго сруба, то же логичное распредѣленіе частей. Какова бы ни была скульптурная и разукрашенная оболочка собора, подъ нею всегда найдешь, хоть въ состояніи зародыша, римскую базилику. Она

вѣчно развивается на почвѣ по одному и тому же закону. Всегда два главныхъ отдѣла, пересѣкающихся крестообразно и которыхъ главная оконечность, округленная въ видѣ апсиды, составляетъ хоры для внутреннихъ процессій; всюду нижнія галереи, для часовень боковые проходы, въ которые главная часть впадаетъ колонами. Сверхъ этого число часовень, порталовъ, колоколенъ, стрѣлокъ, измѣняется до безкопечности, по народной фантази. Когда исполнены главныя требованія богослуженія, архитекторъ можетъ дѣлать что хочетъ. Статуи, стекла, розетки, арабески, капители, барельефы, — она комбинируетъ все это по произвольному логариѳму. Отсюда большое внѣшнее разнообразіе зданій, внутри которыхъ царствуетъ единство и порядокъ. Стволъ дерева неизмѣненъ, только вѣтви его капризны.

II

ПАРИЖЪ СЪ ПТИЧЬЯГО ПОЛЕТА

Мы старались, по возможности, возстановить для читателя удивительный храмъ парижской богоматери. Мы въ суммѣ означили красоты, которыми онъ обладалъ въ XV вѣкѣ и которыхъ ему недостаетъ теперь; но мы пропустили самую главную, — это видъ на Парижъ съ его тогдашнихъ башень.

Когда удавалось миновать темную спираль, перпендикулярно прорѣзывающую толстую стѣну колоколенъ и выбраться на одну изъ двухъ высокихъ площадокъ, облитыхъ свѣтомъ и воздухомъ, — глазамъ представлялась со всѣхъ сторонъ чудная картина; видъ *sui generis*, о которомъ могутъ составить себѣ понятіе тѣ изъ читателей, которымъ посчастливилось увидѣть цѣлый готическій городъ, а такихъ городовъ осталось еще небольшое число: Нюрнбергъ въ Баваріи, Витторія въ Испаніи; или изъ меньшихъ образцовъ, но также хорошо сохранившихся: Витре въ Бретаніи, Нордгаузенъ въ Пруссіи.

Парижъ, триста-пятьдесятъ лѣтъ назадъ, Парижъ XV вѣка былъ уже гигантскимъ городомъ. Мы, парижане, ошибаемся, когда говоримъ о приобретеніяхъ, сдѣланныхъ послѣ. Парижъ со времени Людовика XI увеличился не болѣе, какъ на одну треть, и конечно болѣе утратилъ красоты, чѣмъ приобрѣлъ протяженія.

Парижъ родился, какъ извѣстно, на старомъ островкѣ въ Cité, который имѣетъ видъ колыбели. Берега этого островка были его пер-

выми укрѣпленіями, Сена — его первымъ ровомъ. Парижъ простоялъ нѣсколько вѣковъ въ видѣ острова съ двумя мостами: одинъ на сѣверѣ, другой на югѣ, и двумя предмостными прикрытіями, служившими воротами и крѣпостями: Grand Châtelet на правомъ берегу и Petit Châtelet на лѣвомъ. Потомъ, при первыхъ короляхъ, чувствуя себя слишкомъ стѣсненнымъ, Парижъ перешолъ рѣку. Тогда за обоими Châtelet начался первый рядъ стѣнъ и башенъ по обѣимъ сторонамъ Сены. Отъ этой первой ограды оставались еще нѣкоторые слѣды въ прошедшемъ вѣкѣ; теперь уцѣлѣли только воспоминаніе и нѣкоторыя мѣстныя преданія. Мало-по-малу волны домовъ, выталкиваемая изъ центра города, смали эту ограду. Филиппъ-Августъ поставилъ новый предѣлъ. Онъ заключилъ Парижъ въ цѣпь высокихъ и крѣпкихъ башенъ. Впродолженіи цѣлаго столѣтія дома жалась, возвышала свой уровень, какъ вода въ резервуарѣ. Они громоздили этажъ на этажъ, лѣзли другъ на друга, старались стать выше сосѣда, чтобъ дохнуть чистымъ воздухомъ. Улицы становились все уже и уже, площади исчезали. Дома рѣшились наконецъ перескочить ограду, и весело разсѣялись въ долину, безъ всякаго порядка, какъ и слѣдуетъ бѣглецамъ. Тамъ было приволье; разводились даже сады. Съ 1367 года городъ такъ выселился въ предмѣстье, что понадобилась другая ограда, особенно на правомъ берегу; Карлъ V ее построилъ. Но ростъ такого города какъ Парижъ не останавливается: изъ такихъ именно городовъ образуются столицы. Это воронки, въ которыя вливаются всѣ теченія географическія, политическія, нравственныя, умственные цѣлой страны, всѣ естественныя склоны народа; это колодцы цивилизаціи, иногда даже сорныя ямы, въ которыхъ стекаетъ и скопляется капля по каплѣ впродолженіе вѣковъ все, въ чемъ есть жизнь, все что дышетъ и дѣйствуетъ. Ограда Карла V подверглась той же участи какъ и ограда Филиппа-Августа. Съ конца XV столѣтія за нее перешагнули — и предмѣстье распространилось далѣе. Въ XVI вѣкѣ оно, казалось, воротилось назадъ, и все тѣснѣе и тѣснѣе жалось къ старому городу: такъ велико уже было населеніе въ новомъ. Итакъ въ XV столѣтіи Парижъ перешолъ уже три концентрическихъ круга стѣнъ, которыя во времена Юліана Отступника были еще такъ-сказать въ зачаткѣ въ обояхъ Шателе. Могучій городъ заставилъ лопнуть эти четыре пояса, какъ выростающее дитя, которому узко прошлогоднее платье. При Людовикѣ XI мѣстами виднѣлось нѣсколько развалившихся башенъ отъ старой ограды, какъ видѣются нѣкоторыя высокіе холмы

во время наводненія, или какъ архипелагъ стараго Парижа затопленнаго новымъ.

Съ тѣхъ поръ Парижъ еще разъ измѣнился въ ущербъ для нашего глаза; но онъ перешагнулъ за одну только ограду Людовика XV, ограду грязи, достойную поэта ее воспѣвашаго :

Le mur murant Paris rend Paris murmurant!

Въ XV вѣкѣ Парижъ ясно представлялъ три различныхъ города, имѣющихъ каждый свою физиономію, свою специальность, свои нравы, обычаи, привилегіи и исторію: старый городъ, университетъ, городъ. Старый городъ, занимавшій островокъ, былъ меньше всѣхъ частей, и помѣщался между ними какъ маленькая старушка между двумя прекрасными дѣвушками. Университетъ занималъ лѣвый берегъ Сены отъ Турнельскаго замка до башни Нейль, — точки, соотвѣтствующія въ теперешнемъ Парижѣ: одна винному рынку, другая монетной площади. Его ограда заключала въ себѣ гору св. Женевьевы. Высшую точку составляли панскія ворота, т. е. почти теперешнее мѣсто Пантеона. Городъ, самый обширный клочекъ Парижа, занималъ правый берегъ. Его набережная мѣстами прерывающаяся шла вдоль Сены отъ башни Билли до деревянной башни т. е. отъ мѣста, гдѣ теперь запасный дворъ до тюльерійскаго дворца. Эти четыре точки, у которыхъ Сена прорывала ограду, назывались *четырьмя парижскими башнями*. Городъ раскинулся еще шире университета. Высшая его точка была у воротъ Сен-Дени и Сен-Мартенъ, которыхъ мѣсто не измѣнилось.

Какъ мы уже сказали, каждое изъ этихъ подраздѣленій составляло городъ, но городъ слишкомъ специальный чтобы быть полнымъ, городъ не могшій обходиться безъ двухъ остальныхъ частей. Отсюда три совершенно различные вида. Въ старомъ городѣ было изобиліе церквей, въ новомъ — дворцовъ, въ университетѣ — учебныхъ заведеній. Чтобы не останавливаться на вещахъ второстепенныхъ, мы скажемъ только съ общей точки зрѣнія, что островъ принадлежалъ епископу, правый берегъ градскому головѣ, лѣвый ректору. Градской глава Парижа, — чиновникъ королевской службы, а не муниципальный, — былъ поставленъ надъ всѣми. Въ старомъ городѣ былъ соборъ богоматери; въ новомъ Лувръ и Hôtel de Ville; въ университетѣ Сорбона. Въ новомъ городѣ былъ рынокъ, въ старомъ Hôtel-Dieu, въ университетѣ Pré-aux-Clercs. Просту-

цокъ школьниковъ на лѣвомъ берегу судился на островѣ въ палатѣ юстиціи, наказывался на правомъ берегу въ Мондюконѣ, если ректоръ не вступался въ дѣло, чувствуя себя сильнѣйшимъ; потому что у школьниковъ считалось привилегіей быть повѣшенными дома.

Въ XV вѣкѣ Сена омывала пять острововъ въ стѣнахъ Парижа: островъ Волчій, гдѣ тогда былъ строевой лѣсъ, а теперь только дрова; Коровій островъ и островъ Богородицы, — оба пустыя, за исключеніемъ одной землянки, и оба составлявшіе владѣнія епископа. Въ старомъ городѣ островъ Пастуха.

Въ старомъ городѣ было тогда пять мостовъ; три съ правой стороны: мостъ Богоматери и мостъ Мѣняль каменные, мостъ Мельничій деревянный; два съ лѣвой стороны: Маленькій мостъ каменный, св. Михаила деревянный; всѣ они были застроены домами.

Университетъ имѣлъ шестеро воротъ, выстроенныхъ Филиппомъ-Августомъ; это были начиная съ турнельскаго замка: ворота св. Виктора, ворота Борделезскія, ворота Папскія, ворота св. Іакова, ворота св. Михаила, ворота Сен-Жерменскія. Городъ имѣлъ шестеро воротъ, построенныхъ Карломъ V; это были начиная отъ башни Билли: ворота Сен-Антуанъ, ворота Тампля, ворота Сен-Мартенскія, ворота Сен-Дени, ворота Монтмартрскія, ворота Сент-Оноре. Всѣ эти ворота были крѣпки и красивы, что не мѣшаетъ крѣпости. Широкой и глубокой ровъ съ проточною водою омывалъ ограду Парижа; вода проведена была изъ Сены. Ночью запирали ворота, загораживали рѣку съ двухъ концовъ города большими желѣзными цѣпами, и Парижъ спалъ спокойно.

Видѣнные съ верху, эти три части являли глазу перепутанную массу улицъ. Впрочемъ съ перваго взгляда можно было замѣтить, что эти три отрывка составляютъ одно тѣло. Тотчасъ бросались въ глаза двѣ параллельныя, длинныя улицы, почти безъ изгибовъ, проходящія черезъ всѣ три части отъ юга къ сѣверу перпендикулярно Сенѣ, соединяя, перемѣшивая населеніе одной съ населеніемъ двухъ другихъ частей. Первая изъ этихъ улицъ шла отъ воротъ св. Іакова до воротъ Сен-Мартенскихъ; она называлась улицей св. Іакова въ университетской части, жидовской улицей въ старомъ городѣ, улицей св. Мартена въ новомъ; она два раза переходила рѣку подъ именами Маленькаго моста и моста Богоматери. Вторая, называемая улицей Лагарпъ на лѣвомъ берегу, улицей Барил-

лея на островѣ, улицѣ Сен-Дени на правомъ берегу, мостомъ св. Михаила на одномъ рукавѣ Сены, мостомъ Мѣняль на другомъ, шла отъ воротъ Сен-Мишель въ университетъ, до воротъ Сен-Дени въ городъ. Впрочемъ, подъ всѣми этими именами скрывались двѣ улицы-праматери, двѣ артеріи Парижа. Всѣ другія вены тройного города или вливались въ нихъ, или брали изъ нихъ начало.

Независимо отъ этихъ двухъ главныхъ, діаметральныхъ улицъ, пересѣкавшихъ Парижъ въ ширину, и общихъ всей столицѣ, новый городъ и университетъ имѣли каждый свою главную улицу, идущую вдоль параллельно Сенѣ, и пересѣкавшую подъ прямымъ угломъ обѣ *артеріальныя улицы*. Такъ въ городѣ шла прямая улица отъ Сен-Антуанскихъ воротъ къ воротамъ Сен-Оноре; въ университетѣ отъ воротъ св. Виктора до воротъ Сен-Жерменскихъ. Эти два большихъ сообщенія, перекрещиваясь съ двумя первыми, составляли канву, на которой основывался весь спутанный мотокъ парижскихъ улицъ. Въ этой путаницѣ можно еще было различить два главныхъ направленія большихъ улицъ, которыя шли расширяясь отъ мостовъ къ воротамъ.

Еще и теперь существуетъ нѣчто изъ этого плана. Какъ представлялось все это съ башень парижскаго собора въ 1482 году? Мы постараемся рассказать это.

Зрителя, взобравшагося на эту высоту, прежде всего поражаало изобиліе крышъ, трубъ, улицъ, мостовъ, площадей, колоколенъ. Все разомъ бросалось въ глаза: заостренныя крыши, каменная пирамида XI вѣка, обелискъ пятнадцатаго, круглая сторожевая башня, четырехугольная башня церкви, большое, малое, массивное, воздушное. Взглядъ долго терялся въ этомъ лабиринтѣ, гдѣ все имѣло свою оригинальную красоту, отъ обыкновеннаго домика до пышнаго Лувра, украшеннаго тогда цѣлой колонадой башень. Но вотъ начинаютъ выясняться главные массы; глазъ привыкъ ко множеству предметовъ.

Во первыхъ старый городъ, который несмотря на свою тѣсноту имѣетъ нѣкоторыя красоты стила. Мы уже говорили, что въ XV вѣкѣ это судно было прикрѣплено къ обоимъ берегамъ пятью мостами. Эта форма корабля поразила герольдиковъ, потому что Фавень и Пакье говорятъ, что судно въ старомъ гербѣ Парижа происходитъ именно отъ этого сходства, а не отъ осады нормановъ. Для умѣющихъ разбирать его, гербъ есть алгебра и языкъ. Вся исторія второй половины среднихъ вѣковъ написана въ гербахъ.

какъ исторія ихъ первой половины въ символизмѣ романскихъ церквей. Это іероглифы феодализма послѣ іероглифовъ теократіи.

Старый городъ прежде всего представлялся глазу съ своей кормою ва востокъ и носомъ на западъ. Обратясь къ носу, зритель имѣлъ передъ глазами безчисленное множество старыхъ крышъ, надъ которыми широко округлялся куполь часовни, напоминающій вооруженнаго слона съ башней. Только здѣсь эту башню представляла стрѣлка самая изящная, самая кружевная, какую только можно себя представить. Передъ соборомъ три улицы выходили на площадь съ старыми домами. На южной сторонѣ этой площади рисовался сморщенный фасадъ *Hôtel-Dieu* съ крышей какъ-бы покрытой бородавками. Потомъ направо, налѣво, на востокъ, на западъ, несмотря на небольшое пространство города, возвышались колокольни двадцати-одной церкви всѣхъ возможныхъ формъ, временъ и величинъ: отъ низкаго романскаго колокола въ *Saint-Denis du Pas*, до изящныхъ стрѣлокъ св. Ландра. За соборомъ развертывался на сѣверъ монастырь съ готическими галереями; на югъ полу-романскій дворецъ епископа. Въ этомъ множествѣ домовъ глазъ еще различалъ по высокимъ, каменнымъ митрамъ съ сквозными верхушками, украшавшимъ тогда самыя высокія окна дворцовъ, замокъ данный городомъ при Карлѣ VI Ювеналу Урсинскому; немного далѣе дегтярныя бараки рынка *Palus*; еще дальше абсидія св. Жермена; потомъ мѣстами перекрестокъ со множествомъ народа; позорный столбъ на углу улицы; остатокъ мостовой Филипа-Августа, избитой лошадиными копытами, и такъ дурно замѣненной въ XVI вѣкѣ, такъ называемой *ravé de la ligue*; большой пустырь съ прозрачной башенкой, какія дѣлались только въ XV вѣкѣ. Наконецъ вправо отъ часовни, къ западу, располагалась надъ водою группа башенъ палаты юстиціи. Деревья королевскаго сада скрывали островокъ пастуха. Чтоже касается воды, ея не было видно съ башенъ собора: Сена исчезала подъ мостами, а мосты между домами.

Когда взглядъ переходилъ за эти мосты съ кровлями, позеленѣвшими отъ водяныхъ испареній, онъ направлялся влѣво, къ университету; первое зданіе, поражавшее его, былъ большой, низкій снопъ изъ башенъ *Petit Chatélet*, котораго открытый портикъ поглощалъ конецъ малаго мостика; потомъ тянулся длинный рядъ домовъ съ скульптурными украшеніями, съ цвѣтными стеклами, и многоэтажныхъ; вереница мѣщанскихъ жилищъ, вдругъ перестъ-

каемая улицей или большимъ каменнымъ отелемъ, широко распротранившимъ свои сады и службы между этой мелкой челядью. Было пять или шесть такихъ домовъ по набережной, отъ дома герцоговъ Лорренскихъ до Нейльской башни, заканчивающей Парижъ, котораго острья башни впродолженіи трехъ мѣсяцевъ въ году, вырѣзывались черной массой на красномъ фонѣ заходящаго солнца.

Этотъ берегъ Сены былъ всего менѣе торговый; тутъ было вдвое болѣе школьниковъ чѣмъ ремесленниковъ, и собственно набережная продолжалась только отъ моста св. Михаила до Нейльской башни, — остальное было или пустой берегъ, или дома, нижняя часть которыхъ погружалась въ воду.

Тутъ прачки производили страшный содомъ; онѣ кричали, пѣли съ утра до вечера и звонко колотили бѣлье, что и въ наше время составляетъ не послѣднее развлеченіе парижанъ.

Университетъ представлялся глазу сверху компактной массой. Улицы не раздѣляли слишкомъ замѣтно этой кучи угловатыхъ крышъ. Сорокъ два училища занимали равныя части. Красивыя верхушки этихъ зданій были произведеніемъ того же искусства, какъ и простыя крыши, — это была только умноженная квадратура и кубатура одной геометрической фигуры. Выдавалось нѣсколько большихъ зданій чрезвычайно живописныхъ: отель Кюни, существующій и теперь къ счастью художниковъ. Возлѣ него римскій дворецъ Юліана. Было много аббатствъ, въ томъ числѣ бернардинское съ своими тремя колокольнями; св. Женевьевы, которой четырехугольная башня еще существуетъ и заставляетъ жалѣть объ остальномъ; Сорбонна, полу-училище и полу-монастырь. Церкви возвышались надъ всѣмъ, какъ высшая гармонія въ этомъ цѣломъ гармоническомъ акордѣ и смѣло упирали въ небо свои ажурныя стрѣлки.

Почва здѣсь была холмистая. Красиво было смотрѣть съ высоты, какъ эта масса кривыхъ улицъ и домовъ казалось скатывалась въ безпорядкѣ къ водѣ, держась за своихъ сосѣдей. Въ глазахъ рябило отъ постоянно-движущихся черныхъ точекъ: это былъ народъ, видѣнный издали.

Наконецъ въ интервалахъ между домами и колокольнями видѣлся остатокъ позеленѣвшей стѣны и большая, круглая башня. Это была ограда Филипа-Августа. Далѣе зеленѣли луга и шли дороги, да кое-гдѣ рѣдѣли домики. Но что въ особенности приковывало взоръ, это было аббатство.

Когда осматрѣвъ эту часть города зритель обращался къ правому берегу, картина совершенно измѣнялась. Новый городъ не представлялъ такого единства: онъ раздѣлялся на нѣсколько группъ. На востокъ было изобиліе дворцовъ. Четыре почти смежные смотрѣлись въ Сену: Jouy, Sens, Barbeau и домъ королевы. Нѣсколько позеленѣвшихъ мазанокъ, лѣпившихся невдалекѣ, не мѣшали видѣть прекрасныхъ угловъ ихъ фасада. За этими дворцами разстилалась во всѣхъ направленіяхъ огромная и разнообразная ограда чудеснаго дворца St.-Pol, въ которомъ французскій король могъ дать роскошное помѣщеніе двадцати-двумъ дофинамъ съ прислугой и свитой, не считая вельможъ и императора, когда тотъ пріѣзжалъ въ Парижъ, и львовъ, у которыхъ былъ свой дворецъ въ королевскомъ дворцѣ. Тогда помѣщеніе принца состояло неменѣе какъ изъ двѣнадцати комнатъ отъ парадной пріемной до молельни, не считая галерей, бань и другихъ «сверхкомплектныхъ» мѣстъ; у каждаго королевскаго гостя былъ также особенный садъ, а сколько было погребовъ, кладовыхъ, службъ, скотныхъ дворовъ, кузницъ, игръ всѣхъ родовъ, птичниковъ, садковъ, звѣринцевъ, конюшенъ, библіотекъ, арсеналовъ. Вотъ каковъ былъ тогда дворецъ короля! цѣлый городъ въ городѣ.

Что это за масса огромныхъ башенъ, обведенныхъ ровомъ и въ которыхъ бойницъ больше чѣмъ оконъ? Это Бастилія.

Эти черныя точки, которыя издали кажутся столбами, — пушки.

Далѣе съ богатой растительностью разстилается королевскій паркъ, посрединѣ котораго замѣтенъ лабиринтъ, подаренный Людовикомъ XI Куатье. Обсерваторія доктора возвышается уединенной колоной. Страшныя астрологическія наблюденія были совершаемы здѣсь.

На этомъ мѣстѣ теперь королевская площадь.

Центръ города занимала масса частныхъ домовъ, нелишонныхъ своей красоты. Крыши въ столичномъ городѣ, какъ волны морскія, производятъ впечатлѣніе великаго. Сначала идутъ перепутанныя улицы, изображая интересныя фигуры; вокругъ рынка образуется звѣзда. Улицы Сен-Дени и Сен-Мартенъ идутъ одна подлѣ другой съ своими развѣтвленіями, какъ два огромныхъ дерева, перепутавшіяся вѣтвями. Были также красивыя зданія, напр.: Шателе, феодальная башня тринадцатаго вѣка, богатая, четырехугольная колокольня Jacques de la Boucherie; наконецъ домъ съ колонами, о

которомъ мы дали читателю приблизительное понятіе въ описаніи Гревской площади.

Кромѣ дворцовъ и домовъ ясно различался въ новомъ городѣ цѣлый поясъ аббатствъ, охватывавшій его внутренней оградой. Такъ рядомъ съ турнельскимъ паркомъ былъ монастырь св. Екатерины. Между старой и новой Тампльской улицей былъ Тамплъ, мрачное собраніе башень, высокій и уединенный посреди зубчатой ограды. Потомъ аббатство св. Мартена, великолѣпная укрѣпленная церковь, наконецъ Filles-Dieu, возлѣ котораго виднѣлись сгнившія крыши и немощеная площадь двора чудесъ. Это было одно недостойное звѣно въ духовной цѣпи монастырей.

Наконецъ четвертый отдѣлъ новаго города составляли дворцы и юма, собравшіеся у подножія Лувра. Старый Лувръ Филипа-Августа, это неизмѣримое зданіе съ огромной башней, окруженной двадцатью-тремя меньшими, не считая самыхъ маленькихъ, представлялся издали оправленнымъ въ готическую рамку дворца герцоговъ Алансонскихъ и Petit Bourbon. Эта гидра изъ башень, гигантскій стражъ Парижа съ двадцатью-четырьмя головами, съ блестящей металлической чешуею заканчивала городъ на западѣ.

За стѣнами встрѣчались предмѣстья, но въ меньшемъ количествѣ и на дальнѣйшихъ расстояніяхъ, нежели въ университетской части.

Вотъ Парижъ, который въ 1482 году могли видѣть вѣроны съ башень собора богоматери.

Однакожъ Вольтеръ говорилъ *«что до Людовика XIV городъ этотъ имѣлъ только четыре замѣчательныхъ зданія»*: Сорбонну, Val-de-Grâce, Лувръ и не знаю еще что, можетъ-быть Люксамбургъ. Къ счастью Вольтеръ все-таки написалъ Кандида и былъ изъ числа многихъ людей единственный, обладавшій демонскимъ смѣхомъ. Это доказываетъ, что можно быть гениемъ и не понимать нѣкоторыхъ искусствъ. Мольеръ вѣдь думалъ же, что дѣлаетъ большую честь Рафаэлю и Микель-Анджело, называя ихъ : *ces Mignards de leur âge*.

Возвратимся къ Парижу XV вѣка.

Онъ былъ тогда не только красивымъ городомъ: онъ былъ городомъ однороднымъ, архитектурнымъ и историческимъ произведеніемъ среднихъ вѣковъ, каменной хроникой. Это былъ городъ, составленный изъ двухъ только слоевъ: слоя романскаго и готическаго, потому что римскій давно исчезъ, за исключеніемъ зданія

Юліана Отступника. Чтоже касается цельтического слода, его не находили и слѣдовъ даже вырывая колодцы.

Пятьдесятъ лѣтъ позже, когда возрожденіе примѣшало къ этому строгому, но тѣмъ неменѣе разнообразному единству ослѣпительную роскошь своей фантазіи и своихъ системъ, свои полукруги романскіе, греческія колоны и готическія пониженія сводовъ, свою идеальную скульптуру и арабеסקи, свой архитектурный паганизмъ, современный Лютеру, Парижъ сдѣлался еще красивѣе, хотя утратилъ гармонію для глаза и мысли. Это роскошное время было непродолжительно: возрожденіе не удовольствовалося тѣмъ, что само творило, — оно вздумало разрушать; правда, что ему было тѣсно. Готическій Парижъ существовалъ во всей полнотѣ только одно мгновеніе. Едва окончили церковь Jacques de la Boucherie, какъ приступили къ разрушенію стараго Лувра.

Съ тѣхъ поръ городъ все приходилъ въ упадокъ. Готическій Парижъ, задавившій Парижъ романскій, уничтожался въ свою очередь, но какъ назвать Парижъ его замѣнившій?

Въ Тюльери есть Парижъ Екатерины Медичи, въ Hôtel de Ville Парижъ Генриха II, два зданія съ большимъ вкусомъ; Парижъ Генриха IV на королевской площади, — кирпичные фасады съ каменными углами и трехцвѣтные дома; Парижъ Людовика XIII въ Val de Grâce, — сжатая архитектура, своды на подобіе ручекъ у корзинокъ, что-то пузатое въ колонѣ и горбатое въ куполѣ; Парижъ Людовика XIV въ Инвалидахъ, — велико, богато, золочено и холодно; Парижъ Людовика XV въ Saint-Sulpice: банты, облака, макароны, салатъ и все изъ камня; Парижъ Людовика XVI въ Пантеонѣ, — плохая копія съ римскаго св. Петра; Парижъ республиканскій въ медицинской академіи: бѣдная смѣсь римско-греческаго стиля, столько же напоминающая коллизей и партенонъ, какъ конституція третьяго года законы Миноса; Парижъ Наполеона на Вандомской площади: это нѣчто величественное, бронзовая колонна, составленная изъ пушекъ; Парижъ реставраціи на биржѣ, очень бѣлая колонада съ очень гладкими фризами; вся масса четырехугольная и стоила двадцать миліоновъ.

Каждое изъ этихъ характеристическихъ зданій было родоначальникомъ нѣсколькихъ частныхъ домовъ, происхожденіе которыхъ сразу отличить глазъ знатока. Тотъ кто умѣетъ смотрѣть, можетъ возстановить характеръ вѣка и личность короля по одному дверному замку.

Нынѣшній Парижъ не имѣеть цѣльнаго характера. Это собраніе образцовъ архитектуры каждаго вѣка, и притомъ самыя лучшія уничтожены. Столица богатѣеть теперь домами, но какими домами! Если Парижъ будетъ продолжать такимъ образомъ, то ему придется совершенно обновляться каждые пятьдесятъ лѣтъ. Потому—то историческое значеніе его архитектуры съ каждымъ днемъ уменьшается. Памятники искусства становятся очень рѣдки, исчезая отъ наплыва домовъ. Парижъ нашихъ отцовъ былъ каменный, а Парижъ нашихъ внуковъ будетъ уже извѣстковый.

Чтоже касается до новыхъ памятниковъ современнаго Парижа, мы лучше умолчимъ о нихъ, не потому чтобъ мы не были въ состояніи оцѣнить ихъ по достоинству. Святая Женевьева г. Суффло конечно самый лучшій пирогъ, который когда-либо былъ испеченъ изъ камня. Дворецъ почетнаго легіона тоже хорошая кондитерская штука. Куполь на хлѣбномъ рынкѣ вѣрно изображаетъ фуражку англійскаго жокея на высокой лѣстницѣ. Башни Saint-Sulpice, — два большіе кларнета, а чѣмъ же это хуже чего другого; изогнутый телеграфъ очень кстати пришолся на ихъ крышахъ. Порталъ въ Saint-Roch равняется великолѣпіемъ только съ Thomas d'Aquin. Въ немъ также есть Голгофа, на подобіе горба и солнце изъ золоченаго дерева, вещи дѣйствительно достойныя вниманія. Фонарь въ лабиринтѣ ботаническаго сада тоже хитрая штука. Чтоже касается до зданія биржи, греческаго по колонадѣ, римскаго по полукруглымъ окнамъ и дверямъ, время возрожденія по своду, — это въ полномъ смыслѣ, правильный и безукоризненный памятникъ архитектуры: доказательствомъ можетъ служить то, что оно увѣнчано фронтономъ, какого не бывало въ Афинахъ; это прелестная прямая линия, граціозно пересѣкаемая иечными трубами. Прибавимъ еще, что если наружность зданія должна вполнѣ выражать его назначеніе, то какже не удивляться строенію, которое можетъ—быть обращено и въ дворецъ, и въ парламентъ, и въ богадѣльню, и въ школу, и въ манежъ, и въ судебное мѣсто, и въ музей, и въ казарму, и въ гробницу, и въ храмъ, и въ театръ. Пока, это биржа. Зданіе, сверхъ того, должно соответствовать климату. Это построено какъ—разъ для нашего холоднаго и дождливаго неба. Крыша на немъ почти плоская, какъ на востокѣ, такъ что зимой ее метутъ метлами. Зданіе это одинаково могло бы служить биржей во Франціи и храмомъ въ Греціи. Правда, архитектору стоило много труда скрыть циферблатъ, нарушающій чистоту линий фасада, но зато онъ воспроизвелъ колонату, окружающую

все зданіе , подъ которой въ торжественные дни можетъ граціозно тянуться цѣль торговыхъ агентовъ и другихъ представителей коммерціи.

Это, конечно, великолѣпныя зданія; прибавимъ къ нимъ множество разнообразныхъ улицъ, какъ напримѣръ улица Риволи, и я надѣюсь, что Парижъ, видѣнный съ воздушнаго шара, представитъ богатство линий, роскошь деталей, нѣчто грандіозное въ своей простотѣ, напоминающее шашечницу.

Однакожъ, какъ ни хорошъ теперешній Парижъ, попробуйте возстановить въ воображеніи Парижъ XV вѣка; взгляните на свѣтъ божій сквозь этотъ рядъ башенокъ и колоколенъ, разлейте по громадному городу Сену, съ ея зеленовато-желтымъ отблескомъ, переливающуюся, какъ змѣиная чешуя; представьте на голубомъ горизонтѣ готическій профиль стараго Парижа, потопите его въ совершенной тѣмѣ и наблюдайте оригинальную игру свѣта и тѣни въ этомъ лабиринтѣ зданій; пустите теперь лунный лучъ, который неясно вывелъ бы изъ тумана огромныя головы башенъ; или сгустите опять темноту и посмотрите на эти углы и стрѣлки подобные челюсти акулы, рисующіеся на мѣдно-красномъ вечернемъ небѣ.

— Теперь сравните.

Если вамъ хочется получить отъ стараго города впечатлѣніе, котораго никогда не произведетъ новый, взойдите поутру, въ праздничный день на пасхѣ или въ троицу, на какое-нибудь очень возвышенное мѣсто, съ котораго открывалась бы цѣлая столица и ждите когда проснутся колокола. Смотрите, какъ по знаку данному съ неба, потому что его подаетъ самое солнце, содрогаются разомъ эти тысячи храмовъ. Сначала являются отдѣльные звуки, переходящіе отъ одной церкви къ другой, какъ между стигрывающимися музыкантами. Потомъ, вдругъ, видите, потому что, въ нѣкоторыхъ случаяхъ можно видѣть ушами, видите, какъ изъ каждой колоколни, въ одно и тоже время, подымается облако гармоніи. Сначала, звукъ каждаго колокола слышится чисто, отдѣльно отъ прочихъ, потомъ, усиливаясь, всѣ звуки сливаются, растворяются одинъ въ другомъ и составляютъ великолѣпный концертъ. Это уже цѣлая масса звучныхъ вибрацій, отдѣляющаяся отъ каждой колоколни, которая носится, плаваетъ надъ цѣлымъ городомъ и продолжаетъ далеко за горизонтомъ оглушающіе звуковые круги. Между тѣмъ это море гармоніи далеко не хаосъ. Несмотря на глубину, оно не потеряло прозрачности: вы ясно видите каждую группу звуковъ, производимыхъ звономъ. Вы можете

слѣдить за разговоромъ, то важнымъ, то крикливымъ, вы слышите густыя октавы, посылаемыя одною колокольною другою; вы видите какъ онѣ вылетаютъ легкія и свистящія изъ серебрянаго колокола или падаютъ хромые и убогіе изъ деревянаго; вы любуетесь, посреди ихъ, богатой гаммой семи колоколовъ св. Евстафія; вы слышите, какъ между ними быстро пробѣгаютъ рѣзкія нотки, сдѣлаютъ два-три блестящихъ поворота и исчезнутъ какъ молнія. Вонъ асбатовство св. Мартена, рѣзкій пѣвецъ съ разбитымъ голосомъ; вотъ мрачный голосъ Бастиліи; на томъ концѣ баситъ огромная луврская башня. Царственный звонъ Palais de justice непрерывно бросаетъ свои звучныя трели, которыми аккомпанируютъ въ тактъ погребальныя ноты собора богоматери, какъ удары молота по наковальнѣ. Повременамъ, вы слышите разнообразныя звуки отъ тройнаго звона въ Saint Germain des Prés. Отъ времени до времени, эта масса чудныхъ звуковъ разступается и пропускаетъ волну звуковъ Ave-Maria, игривую и сверкающую, какъ огненный снопокъ. Выше, въ самой глубинѣ концерта, вы смутно различаете церковное пѣніе, вылетающее въ скважины запертыхъ дверей и въ поры сводовъ. Вотъ опера, которую стоитъ послушать. Обыкновенно, звуки, раздающіеся въ Парижѣ днемъ, — звуки говорящаго города: ночью слышится его дыханіе и рано поутру его пѣніе. Вслушайтесь же въ это tutti колоколовъ; примѣшайте къ нему миллионы человѣческихъ звуковъ, вѣчную жалобу рѣки, безконечное дыханіе вѣтра, серьезный, отдаленный квартетъ лѣсовъ; умѣрьте этими звуками слишкомъ рѣзкое пѣніе центральныхъ колоколовъ и скажите есть ли на свѣтѣ что-либо полнѣе, радостнѣе, роскошнѣе этой музыки, этихъ десяти тысячъ металлическихъ голосовъ, этого города, превратившагося въ оркестръ, этой симфоніи, равняющейся реву бури.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

I

ДОБРЫЯ ДУШИ

За шестнадцать лѣтъ до начала нашей исторіи, въ воскресенье, въ день св. Квасимодо, живое существо было положено послѣ обѣда въ соборъ парижской богоматери на кровать, придѣланную съ

лѣвой стороны паперти, противъ огромнаго изображенія св. Христофора, на которое колѣнопреклоненная фигура рыцаря Антуана Д'Ессаръ смотрѣла съ 1413 года и котораго уничтожили, не принявъ въ соображеніе его святость. На этой кровати обыкновенно клали подкинутыхъ дѣтей, призывая на нихъ милосердіе молящихся. Ихъ бралъ кто хотѣлъ. Передъ кроватью была мѣдная кружка для подаенія.

Подобіе человѣческаго образа, лежавшее въ это утро на упомянутой кровати, въ высшей степени возбуждало любопытство кружка собравшагося вокругъ нея. Кружокъ состоялъ большею частію изъ прекраснаго пола. Впрочемъ были почти однѣ старухи.

Въ первомъ ряду, ниже всѣхъ наклонившись къ постели, стояли четыре женщины, которыхъ, по сѣрму платью особеннаго покроя, можно было причислить къ какой-нибудь благотворительной общинѣ.

— Что это такое, сестра? говорила одна изъ нихъ, разсматривая маленькое созданіе, которое кричало и ёжилось на кровати, испуганное столькими зрителями.

— Что это съ нами будетъ, царь небесный! Вотъ какія теперь родятся дѣти!

— Ну, я не знаю толка въ ребятахъ, а на этого просто смотрѣть грѣшно.

— Это не ребенокъ.

— Это обезьяна.

— Это какое-то чудище.

— Ну такъ это ужь третье въ нынѣшнемъ мѣсяцѣ; недавно еще божія мать покарала одного насмѣшника.

— Ну ужь чудовище этотъ подкидышъ.

— Онъ оретъ, какъ звѣрь какой.

— Говорятъ что это его преподобіе реймскій епископъ прислалъ нашему.

— Я думаю, что это отродье свиньи и жида, не христіанская душа; его бы утопить надо.

— Или сжечь; ужь вѣрно никто не возьметъ такого приемыша.

— Ахъ бѣдныя кормилицы, которымъ принесутъ этого урода; я бы скорѣе согласилась дать грудь вампиру.

— Больно невинна ты Анна; развѣ ты не видишь, что чучелъ года четыре и что оно гораздо охотнѣе съѣстъ фунтъ говядины, чѣмъ возьметъ твою грудь.

Въ самомъ дѣлѣ, это не былъ новорожденный. Это была очень угловатая движущаяся масса, заключенная въ мѣшокъ, изъ котораго высывалась одна голова. Голова эта была верхъ безобразія; на ней былъ цѣлый лѣсъ рыжихъ волосъ, одинъ только глазъ, огромный ротъ и зубы клыками. Глазъ плакалъ, ротъ кричалъ, а зубы готовы были укусить кто подойдетъ близко. Вся масса двигалась въ мѣшкѣ, къ большому удивленію возраставшей толпы.

Алоиза де Гонделорье, благородная и богатая дама, держащая за руку дѣвочку лѣтъ шести и важно тащившая за собою длинный вуаль своей золотой остроконечной шапочки, остановилась передъ кроватью, а ея маленькая дочка, одѣтая въ шолкъ и бархатъ, прочла по складамъ надпись: *подкинута дѣти*.

— Я думала, что сюда приносятъ въ самомъ дѣлѣ дѣтей, сказала дама, отворачиваясь съ видомъ отвращенія. Она пошла дальше, бросивъ въ кружку серебряную монету, на которую взглянули разомъ всѣ четыре старухи.

Минуту спустя, ученый Робертъ Мистрикаль королевскій протонотарій прошолъ съ большимъ требникомъ въ рукѣ и съ женою, имѣя такимъ образомъ при себѣ своего духовнаго и свѣтскаго регулятора.

— Вотъ ребенокъ, найденный вѣроятно на берегахъ рѣки Флетгона, замѣтилъ онъ.

— У него одинъ только глазъ, замѣтила его жена: — другой закрыть бородавкой.

— Это не бородавка, отвѣчалъ Мистрикаль, — это яйцо, изъ котораго выйдетъ другой такой же демонъ, у котораго изъ глаза выйдетъ третій и т. д.

— Почему ты это знаешь?

— По наукѣ, отвѣчалъ протонотарій.

— Что же будетъ съ нами по милости этого урода?

— Самыя большія несчастія.

— Господи! вскричала одна старуха: — еще въ прошломъ году была чума и, говорятъ, англичане хотятъ высадиться въ Гаролѣ.

— Вотъ королева и не пріѣдетъ въ сентябрѣ; и такъ уже торговля идетъ худо!

— Лучше бы было разложить это чучело на костеръ!

— Да и поджечь его хорошенько.

— Да, это было бы благоразумно, сказалъ Мистрикаль.

Молодой священникъ прислушивался уже нѣсколько минутъ къ

этимъ рѣчамъ. У него было строгое лицо, широкій лобъ, пронзительный взглядъ. Онъ молча пробрался въ толпу, оглядѣвъ «маленькаго колдуна» и протянулъ руку надъ его головой. Пора было, потому что святоши приготавливались уже принести его въ жертву.

— Я беру этого ребенка.

Онъ закрылъ его рясой и унесъ. Присутствующіе съ удивленіемъ проводили его глазами. Онъ исчезъ въ красныхъ воротахъ, ведущихъ изъ церкви въ монастырь.

— Я говорила тебѣ, сестра, сказала одна старуха на ухо другой, что Клодъ Фролло колдунъ.

II

КЛОДЪ ФРОЛЛО

Въ самомъ дѣлѣ Клодъ Фролло былъ далеко не дюжинная личность. Онъ принадлежалъ къ одному изъ тѣхъ семействъ, которыя назывались въ послѣднемъ вѣкѣ *haute bourgeoisie* или *petite noblesse* (высшей буржуазіей или маленькимъ дворянствомъ). Это семейство наследовало отъ братьевъ Пагле владѣніе Торшакъ, котораго двадцать-два дома были предметомъ горячихъ споровъ въ тринадцатомъ вѣкѣ.

Клодъ Фролло, еще съ дѣтства, назначенъ былъ родителями въ духовное званіе. Его читать учили по латинскимъ книгамъ и говорилъ онъ только шопотомъ, опуская глаза. Съ самыхъ малыхъ лѣтъ, отецъ заперъ его въ школу Туршо въ университетѣ. Тамъ-то онъ и выросъ на требникѣ и лексиконѣ.

Это былъ ребенокъ серьезный, печальный, съ удивительнымъ прилежаніемъ и быстрымъ соображеніемъ; онъ не шумѣлъ въ рекреационное время, не раздѣлялъ дебошей товарищей, не зналъ что такое *dare alapas et capillos laniare* и не участвовалъ въ продѣлкѣ 1463 года, которую величали «шестымъ университетскимъ возстаніемъ.» Онъ почти не насмѣхался надъ школьниками изъ Монтего или бурсаками изъ Дорманской школы за ихъ плотно остриженные головы и трехцвѣтное платье *azurini coloris et bruni*, какъ сказано въ кардинальской хартии.

На шестнадцатомъ году, Клодъ Фролло могъ поспорить въ мистическомъ и каноническомъ богословіи съ любимымъ знатокомъ, а въ схоластикѣ съ любимымъ докторомъ Сорбонны.

Пройдя богословіе, онъ перешолъ къ постановленіямъ; отъ *Maitre des Sentences* къ *Capitulaires de Charlemagne*; и въ ненасытной жаждѣ знанія, онъ поглощалъ все что попадало подъ руку: постановленія епископа гиспальскаго, Бушара, епископа вормскаго, епископа шартрскаго, Граціена, сборникъ Григорія IX; потомъ посланіе *Super specula* Гонорія III. Онъ усвоилъ себѣ этотъ смутный періодъ борьбы свѣтскихъ и духовныхъ правъ, періодъ открытій епископомъ Теодоромъ въ 618 и заключенный папой Григоріемъ въ 1227 году.

Потомъ, онъ принялся за медицину и естественныя науки. Онъ изучалъ растенія, яды, онъ умѣлъ лечить лихорадки, ушибы, раны. Жакъ д'Еспаръ призналъ бы его докторомъ и физикомъ; Ричардъ Гелленъ медикомъ и хирургомъ. Онъ изучалъ языки: латинскій, греческій, еврейскій: всѣ три тогда были очень мало извѣстны. У него была лихорадка знанія. Въ восемнадцать лѣтъ, ему уже не оставалось ничего изучать на четырехъ факультетахъ; для этого молодого человѣка въ жизни была одна цѣль: знаніе.

Около этого-то времени, страшно жаркое лѣто 1466 года породило ужасную чуму, жертвой которой пало сорокъ-тысячъ людей и между ними сразила, говорить *Jean de Troyes*, «г. Арну, королевскаго астролога, очень добраго и ученаго человѣка». Разнесся слухъ, что улица Тиршапъ преимущественно подвергается опустошеніямъ чумы. Въ ней жили родные Клода. Молодой человѣкъ съ испугомъ побѣжалъ домой и нашолъ отца и мать умершими еще наканунѣ. Грудной ребенокъ, его младшій братъ, кричалъ одинъ въ колыбели. Вотъ все что оставалось Клоду отъ его семейства; онъ взялъ мальчика на руки и вышелъ съ нимъ изъ дома. До сихъ поръ онъ жилъ только наукой, теперь приходилось ему столкнуться съ жизнью.

Катастрофа эта была кризисомъ въ жизни Клода. Сирота, старшій въ родѣ, глава семейства въ девятнадцать лѣтъ отроду, онъ быстро почувствовалъ переходъ отъ школьныхъ мечтаній къ дѣйствительности и страстно привязался къ меньшому брату; ему было сладко любить живое существо, первую привязанность послѣ своихъ учебныхъ книгъ.

Привязанность эта приняла громадныя размѣры; въ этой дѣвственной душѣ она равнялась первой любви. Разлученный съ родителями въ самомъ раннемъ возрастѣ, сосредоточившій весь умъ и все воображеніе на книгахъ, бѣдный школьникъ не имѣлъ времени почувствовать, что и у него есть сердце. Маленькій братъ, этотъ

круглый сирота доставшійся въ его руки, сдѣлалъ изъ него новаго человѣка. Онъ увидѣлъ, что на свѣтѣ есть многое кромѣ сорбонскихъ умозрѣній и стиховъ Гомера, что человѣку необходима привязанность, что жизнь безъ нѣжности и любви суха и бесплодна. Только онъ вообразилъ себѣ, потомучто время иллюзій еще не прошло, что могутъ существовать однѣ только родственныя привязанности и что любовь къ меньшому брату можетъ наполнить существованіе.

Онъ предался любви къ маленькому Жану съ глубокой, сосредоточенной страстью. Это слабое существо, красивое, розовое и кудрявое, этотъ сирота, имѣющій опорой другого такого же сироту, заставлялъ трепетать его сердце и, по привычкѣ философствовать, онъ серьезно задумался надъ судьбою Жана съ безконечнымъ милосердіемъ. Онъ заботился о немъ, какъ о чемъ-то очень хрупкомъ и драгоценномъ: онъ почти замѣнялъ мать для ребенка.

Ребенокъ былъ еще очень малъ: Клодъ отдалъ его кормилицѣ. Кромѣ Тиршапа, ему досталось послѣ отца помѣстье Муленъ. Это была мельница на холмѣ, возлѣ замка Винчестеръ (Бисетръ). Тамъ была мельничиха съ груднымъ ребенкомъ; это было недалеко отъ университета и Клодъ самъ отнесъ къ ней своего брата.

Съ тѣхъ поръ онъ сталъ очень серьезно смотрѣть на жизнь. Мысль о братѣ сдѣлалась не только отдыхомъ, но и цѣлью его занятій. Онъ рѣшился посвятить всего себя будущности существа, за которое долженъ отвѣчать передъ Богомъ и не имѣть другой цѣли, другого желанія, кромѣ счастья брата. Больше чѣмъ когда-либо, онъ предался своему духовному назначенію. Его достоинства, познанія и качество непосредственнаго вассала парижскаго архіепископа, по торшанскому владѣнію, раскрывала передъ нимъ церковное поприще. Въ двадцать лѣтъ, съ разрѣшенія папы, онъ былъ священникомъ и служилъ въ качествѣ младшаго капелана въ томъ предѣлѣ собора богородицы, который, по причинѣ позднихъ обѣднъ, называется *altare pignorum*.

Его серьезность и постоянныя занятія, отъ которыхъ онъ отрывался только чтобъ навѣстить малютку, приобрѣли ему уваженіе цѣлаго монастыря. Изъ монастыря молва о его учености разошлась въ народъ и превратилась, какъ это часто случается, въ подозрѣніе въ колдовствѣ.

Въ то время, какъ онъ совершивши свою позднюю службу воз-

вращался домой въ день св. Квазимодо, вниманіе его было привлечено крикливымъ голосомъ старухъ у постели подкидышей.

Тогда-то онъ подошелъ къ бѣдному существу, возбуждавшему уже такую ненависть и презрѣніе. Безвыходность положенія, безобразіе, мысль о братѣ, мысль, что умри онъ — и его маленькаго Жана также выставятъ здѣсь на общественное состраданіе, все это разомъ запало ему въ душу. Сильная жалость заговорила въ немъ и онъ унесъ ребенка.

Вытащивъ мальчика изъ мѣшка, онъ нашолъ его очень безобразнымъ. У бѣдняка была на одномъ глазу бородавка, почти не было шеи, горбъ спереди и сзади, ноги кривыя, но онъ казался здоровымъ и сильнымъ и лепеталъ что-то на непонятномъ языкѣ. Сострадательность Клода усилилась при видѣ этого безобразія, и онъ далъ себѣ слово воспитать маленькое существо ради своего брата для того, чтобы проступки, которые впоследствии могъ сдѣлать Жанъ, были ему прощены въ память этого добраго дѣла. Это былъ запасъ добрыхъ дѣлъ, который онъ началъ для маленькаго Жана, въ случаѣ еслибы у послѣдняго оказался недостатокъ въ этой монетѣ, которая одна имѣетъ цѣну при вратахъ рая.

Онъ окрестилъ своего пріемыша и назвалъ его Квазимодо, можетъ быть въ память дня, въ который нашолъ его, или чтобъ означить какое это было несовершенное существо. Въ самомъ дѣлѣ, Квазимодо, кривой, горбатый, кривоногій, былъ только *нѣкое подобіе*.

III

IMMANIS PECORIS CUSTOS, IMMANIOR IPSI

Въ 1482 году Квазимодо уже выросъ. Онъ уже нѣсколько лѣтъ былъ звонаремъ въ соборѣ, благодаря своему покровителю Клоду Фролло, который сдѣлался архидіакономъ, въ свою очередь благодаря своему сюзерену Луи де Бомону, принявшему санъ парижскаго епископа въ 1472 году по смерти Гильома Шартье, по протекціи Оливье Оленя (le Daim), цирюльника королевствовавшего тогда короля Людовика XI.

И такъ Квазимодо былъ соборнымъ звонаремъ.

Съ теченіемъ времени, образовалась какая-то родственная связь между звонаремъ и храмомъ. Отдѣленный отъ свѣта своимъ неиз-

вѣстнымъ происхожденіемъ и рѣдкимъ безобразіемъ, бѣднѣе привыкъ знать въ мірѣ однѣ эти священныя стѣны, приютившія его своею стѣною. Соборъ былъ для него, въ эпоху его тѣлеснаго развитія, яйцомъ, гнѣздомъ, домомъ, отечествомъ, цѣлымъ міромъ.

Была какая-то гармонія между зданіемъ и этимъ существомъ. Когда онъ маленькимъ ребенкомъ ходилъ между его колонами, съ человѣческимъ лицомъ и туловищемъ животнаго, онъ казался особеннымъ твореніемъ, созданнымъ для этого храма, домашнимъ пресмыкающимся на этихъ плитахъ, отражающихъ странныя тѣни романскихъ капителей.

Позднѣе, когда онъ въ первый разъ уцѣпился за колокольную веревку, повисъ на ней и извлекъ первый колокольный звукъ, его пріемный отецъ Клодъ испыталъ ощущеніе, которое бываетъ при первомъ лепетѣ ребенка.

Мало-помалу, безвыходно живя день и ночь въ соборѣ, Квазимодо такъ-сказать сросся съ нимъ, сдѣлался его неотъемлемой частью. Онъ казался не только обитателемъ, но принялъ форму своего жилища, какъ улитка принимаетъ форму своей раковины; это было его жилище, его оболочка. Между древней церковью и имъ существовала таинственная симпатія, какой-то магнетическій токъ, матерьяльное сродство.

Нужно ли упоминать, что нельзя принимать въ буквальномъ смыслѣ всѣхъ фигуръ, которыя мы употребили для выраженія этого непосредственнаго, симметрическаго, почти существеннаго сродства челоѣка со зданіемъ. Понятно также, что во время долгаго житія, Квазимодо изучилъ всѣ тайники собора. Ему часто случалось лазить по фасаду, цѣпляясь за скульптурныя украшенія. Высокія башни, по которымъ онъ ползалъ какъ ящерица, не производили у него головокруженія. Видя какъ онъ легко на нихъ взбирается, можно было подумать, что онъ ихъ сдѣлалъ ручными. Безпрерывное лазанье по всѣмъ высотамъ собора сдѣлало его ловкимъ, какъ обезьяна. Онъ напоминалъ калабрійскихъ дѣтей, которыя, еще не выучившись ходить, плаваютъ и играютъ въ морскихъ волнахъ.

Не только его угловатое тѣло соответствовало готической постройкѣ собора, но также и умъ его. Въ какомъ состояніи находилась эта душа, какую форму приняла она въ этой замкнутой жизни, — опредѣлить трудно. Квазимодо родился кривымъ, хромымъ, горбатымъ. Фролло съ страшными усиліями удалось выучить его говорить. Но судьба преслѣдовала несчастнаго. На четырнадцатомъ

году его постигло новое несчастье; отъ звона колоколовъ лопнула перепонка въ его ушахъ: онъ оглохъ. Единственное сообщеніе съ міромъ посредствомъ слуха для него прекратилось.

Съ нимъ прекратилась и та небольшая доля свѣта о радости, которой пользовался еще Квазимодо. Душа его погрузилась въ безразсвѣтную тьму. Меланхолія бѣдняка сдѣлалась также неизлѣчима, какъ его безобразіе. Глухота сдѣлала его почти нѣмымъ. Чтобы избѣжать насмѣшекъ, онъ добровольно отказался отъ дара слова, который Фролло развилъ съ такимъ трудомъ и говорилъ только когда былъ совершенно одинъ. Поэтому, когда необходимость заставляла его говорить съ другими людьми, языкъ плохо ему повиновался и двигался какъ дверь на заржавѣвшихъ петляхъ.

Еслибъ и удалось намъ проникнуть въ душу Квазимодо сквозь эту грубую оболочку, еслибъ можно было заглянуть въ самую глубь этой несовершенной организаціи, еслибъ дано намъ было вдругъ освѣтить яркимъ лучомъ Психею, привязанную въ глубинѣ этой темной пещеры, мы вѣроятно нашли бы ее сторбленною, въ жалкомъ положеніи, подобно заключеннымъ въ венеціанскихъ тюрьмахъ, которые старились, согнувшись вдвое, въ узкомъ и низкомъ каменномъ ящикѣ.

Извѣстно, что духъ хилѣетъ въ несовершенномъ тѣлѣ. Квазимодо только смутно чувствовалъ въ себѣ присутствіе души, такой же немощной, какъ онъ самъ. Впечатлѣнія теряли большую степень своей силы, пока доходили до его мысли. Мозгъ его былъ особаго устройства; мысли выходили изъ него, принявъ изуродованную форму. Размышленіе тоже неминуемо носило отпечатокъ этого уродства.

Отсюда тысяча оптическихъ обмановъ, тысяча искаженій и уклоненій мысли, то сумасбродной, то тупой.

Первымъ послѣдствіемъ его несчастной организаціи, было неясное представленіе вещественныхъ предметовъ. Онъ не получалъ о нихъ точнаго понятія посредствомъ зрѣнія. Видимый міръ былъ отъ него дальше, чѣмъ отъ другихъ людей.

Второе несчастье было его озлобленіе.

Онъ былъ золъ, потомучто былъ дикъ, а дикость происходила отъ безобразія. Въ его натурѣ была такая же логика, какъ и въ нашей.

Сила, необыкновенно развившаяся въ немъ, еще усиливала его злость. *Malus puer robustus*, говоритъ Гоббесъ.

Надо впрочемъ сказать, что злость можетъ быть не была его врожденнымъ чувствомъ. Съ перваго шага въ жизни, онъ встрѣтилъ презрѣнiе, былъ отвергнутъ. Слова, съ которыми къ нему обращались, всегда выражали насмѣшку или брань. Выростая, онъ видѣлъ вокругъ себя одну ненависть: она-то и возбудила въ немъ злость. Онъ поднялъ оружіе, которое всѣ обращали противъ него.

Впрочемъ онъ вообще избѣгалъ людского общества; соборъ удовлетворялъ его вполне. Его населяли мраморныя фигуры королей, святыхъ, епископовъ, которыя покрайней-мѣрѣ не хотали ему въ лицо, но смотрѣли спокойно и благосклонно. Даже и статуи чудовищъ и демоновъ не выказывали ему ненависти; онъ былъ слишкомъ похожъ на нихъ. Онъ скорѣе смѣялся надъ другими людьми. Святые были его друзья и благословляли его; чудовища также были его друзья и стерегли его. Цѣлые часы проводилъ онъ иногда въ разговорахъ съ какой-нибудь статуей, а если входилъ кто-нибудь, онъ скрывался, какъ застигнутый врасплохъ вздыхатель.

Соборъ былъ для него всей вселенной: онъ замѣнялъ ему природу. Онъ не зналъ другихъ лучей, кромѣ тѣхъ, которые падали изъ его цвѣтныхъ стеколъ; не желалъ другой тѣни, какъ отъ этой каменной листвы, которая разрасталась, населенная птицами, въ саксонскихъ капителяхъ, — другихъ горъ, какъ колосальныя башни, другого океана какъ Парижъ, ревущій подъ его ногами.

Но болѣе всего любилъ онъ въ соборѣ колокола; отъ ихъ звука просыпалась его подавленная душа и онъ бывалъ счастливъ. Онъ любилъ, ласкалъ свои колокола, понималъ ихъ и бесѣдовалъ съ ними. Колокольня и башни были для него большими клѣтками, въ которыхъ воспитывались птицы, поющія только для него. А между тѣмъ, эти же самые колокола и оглушили его; но матери часто чувствуютъ наибольшую нѣжность къ тѣмъ изъ дѣтей, которыя были причиной ихъ сильнѣйшихъ мученій.

Голосъ колоколовъ былъ единственный, который онъ могъ теперь слышать. Потому-то самый большой изъ нихъ былъ его любимцемъ. Его звали *Марвей* и онъ помѣщался въ одной изъ башенъ съ своей сестрой *Жакелиной*, занимавшей меньшую клѣтку. Во второй башнѣ было шесть другихъ колоколовъ, и наконецъ шесть самыхъ маленькихъ помѣщалось у окна, вмѣстѣ съ деревяннымъ колоколомъ, въ которые звонили только съ вечера страстного четверга до свѣтлой заутрени. И такъ сераль Квазимодо состоялъ

изъ пятнадцати колоколовъ; но огромная Марія занимала первое мѣсто.

Трудно вообразить себѣ его радость въ дни торжественнаго звона. Когда архидіаконъ дѣлалъ ему знакъ, что онъ можетъ идти, онъ летѣлъ по винтовой лѣстницѣ, входилъ запыхавшись въ воздушное жилище большого колокола, съ любовью глядѣлъ на него нѣсколько секундъ, начиналъ тихо заговаривать съ нимъ, гладилъ его рукою какъ лошадь, которой предстоитъ долгій путь, жалѣлъ что ему будетъ много работы. •Послѣ этихъ вступительныхъ ласкъ, онъ кричалъ своимъ помощникамъ, стоявшимъ на нижней площадкѣ, что можно начинать. Тѣ вѣщались на канатъ, вѣротъ начиналъ скрипѣть и огромная масса приходила въ движеніе. Квазимодо въ восторгѣ слѣдилъ за нею. Отъ перваго удара вздрагивала доска, на которой онъ стоялъ. Квазимодо вскрикивалъ вслѣдъ за колоколомъ и заливался безумнымъ смѣхомъ. Между тѣмъ движеніе колокола дѣлались быстрѣе; глазъ Квазимодо все болѣе расширился и металъ искры. Наконецъ раздавался полный звонъ, вся башня тряслась, съ Квазимодо катился потъ градомъ; онъ ходилъ назадъ и впередъ, дрожалъ вмѣстѣ съ башней. Раскачавшійся колоколъ обращалъ свою разверстую пасть то къ одной, то къ другой сторонѣ башни и издавалъ ревъ, слышимый за четыре лье. Квазимодо становился передъ этой пастью, наклонялся и выпрямлялся вслѣдъ за колоколомъ, вдыхалъ колеблющійся воздухъ, смотрѣлъ то въ пропасть подъ ногами, то на огромный языкъ колокола, гудящій надъ его ухомъ. Это былъ единственный звукъ, прерывающій для него вѣчную тишину. Онъ радовался ему, какъ птица солнечному лучу. Вдругъ имъ овладѣвала лихорадка; взгляды его дѣлались необыкновенный: онъ дожидался когда колоколъ долетитъ до него, какъ паукъ поджидаетъ муху, и вдругъ бросался на колоколъ со всего размаха. Тогда, вися надъ бездною, онъ схватывалъ чудовище за уши, упирался въ его бока колѣнами, и удваивалъ скорость его раскачиванія всею тяжестью своего тѣла. Башня качалась; онъ кричалъ и скрежеталъ зубами; его рыжіе волосы становились дыбомъ, грудь издавала звукъ кузнечнаго мѣха, глазъ металъ искры, огромный колоколъ гудѣлъ подъ нимъ, и тогда это не былъ колоколъ и Квазимодо, — это было видѣніе, вихрь, буря, странный центавръ, получеловѣкъ и полуколоколъ; ужасный Астольфъ, несущійся на живомъ бронзовомъ гиппогрифѣ.

Присутствіе этого страннаго существа разливало какою-то осо-

бую жизнь въ соборѣ. Изъ него, по словамъ суевѣрныхъ, истекала какая-то таинственная сила, оживлявшая всѣ каменные изваянія старой церкви. И въ самомъ дѣлѣ, соборъ какбы подчинялся ему; онъ ожидалъ его воли, чтобъ возвысить свой сильный голосъ; Квазимодо наполнялъ его, какъ домашній духъ; казалось зданіе дышало имъ. Онъ бывалъ всюду, на всѣхъ точкахъ собора. То замѣчали, со страхомъ, на самой вершинѣ башни, страннаго карлу, лазающаго, ползущаго, перепрыгивающаго съ выпуклости на выпуклость, — это былъ Квазимодо, ищущій гнѣздъ. То натыкались въ одномъ изъ темныхъ угловъ церкви на живую химеру — это былъ Квазимодо въ задумчивости. То видѣли на колокольнѣ безобразную голову и массу уродливыхъ членовъ повисшихъ на веревкѣ — это былъ Квазимодо, звонящій къ вечернѣ. Нерѣдко ночью видали странную фигуру, бродящую по тонкой кружевной балюстрадѣ, окаймляющей верхушки башень — это опять былъ соборный горбунъ. Тогда — говорили сосѣднія кумушки — вся церковь принимала страшный, фантастическій видъ: повсюду раскрывались глаза и рты, слышенъ былъ лай собакъ, шипѣнье змѣй. А если это случилось въ рождественскую ночь, то пока большой колоколъ призываетъ людей къ молитвѣ, церковный фасадъ принималъ такой видъ, какъ-будто порталъ его хочетъ проглотить толпу, а розетка смотритъ на нее съ высоты. Все это происходитъ будто бы отъ присутствія Квазимодо. Египтяне признали бы его богомъ этого храма; средніе вѣка признали его демономъ, а былъ онъ на самомъ дѣлѣ его душою.

Для тѣхъ, кто зналъ о существованіи Квазимодо, соборъ Богоматери кажется теперь пустымъ, осиротѣлымъ, безжизненнымъ. Чувствуется, что чего-то недостаетъ. Это громадное тѣло пусто; это скелетъ; духъ покинулъ его, осталось только его вмѣстилище. Это черепъ, въ которомъ видно мѣсто для глазъ, но нѣтъ самаго глаза.

IV

СОБАКА И ХОЗЯИНЪ

Былъ однакожъ человекъ, котораго Квазимодо исключилъ изъ своей ненависти и любилъ едвали не болѣе самого собора: это былъ Клодъ Фролло.

Исключительность эта объясняется очень просто. Клодь Фролло прирѣлъ его, усыновилъ, вскормилъ. Ребенкомъ, онъ у Клода искалъ защиты отъ собакъ и мальчишекъ. Фролло научилъ его говорить, читать, писать. Наконецъ онъ же сдѣлалъ его звонаремъ, а обручить Квазимодо съ большимъ колоколомъ значило дать Жюльету Ромео.

Благодарность Квазимодо была безграничная, глубокая, страстная, несмотря на постоянно угрюмый видъ и отрывистую рѣчь благодѣтеля. Архидіаконъ имѣлъ въ горбунѣ самаго преданнаго невольника, самаго покорнаго слугу, самую вѣрную собаку. Когда бѣдный звонарь оглохъ, между имъ и Клодомъ установился разговоръ знаками, понятный только имъ двоимъ. Такимъ образомъ архидіаконъ былъ единственное живое существо, съ которымъ Квазимодо не прервалъ сношенія. Въ цѣломъ свѣтѣ у него были только двѣ привязанности: соборъ и Клодь Фролло.

Ничто не могло бы сравниться съ вліяніемъ архидіакона на горбуна и съ привязанностью послѣдняго. Достаточно бы было одного знака, одной мысли сдѣлать пріятное Клоду, чтобы Квазимодо бросился съ вершины собора. Странно было видѣть, какъ эта громадная физическая сила, развившаяся съ лѣтами у горбуна, слѣпо подчинялась другому. Въ этомъ была и сыновняя привязанность и преданность слуги, но также и подчиненіе одного разума другому. Бѣдная, неудавшаяся организація смиренно склонялась передъ сильнымъ и глубокимъ умомъ. Наконецъ сильнѣе всего этого была благодарность. Благодарность, доведенная до такой степени, что мы не знаемъ съ чѣмъ бы сравнить ее. Примѣры этой добродѣтели не часто встрѣчаются между существами человѣческой породы. Скажемъ лучше, что Квазимодо любилъ архидіакона, какъ никогда собака, лошадь или слонъ не любили своего хозяина.

V

ОПЯТЬ КЛОДЪ ФРОЛЛО

Въ 1482 году Квазимодо было около двадцати лѣтъ, Клоду Фролло около тридцати шести. Одинъ выросъ, другой постарѣлъ.

Клодь Фролло былъ уже не простой школьникъ, нѣжный покровитель маленькаго ребенка, молодой философъ-мечтатель, который

зналъ много, но многого и неподозрѣвалъ. Это былъ строгій, важный, угрюмый священникъ, напутствователь душъ, архидіаконъ, правая рука епископа, имѣющій на рукахъ два деканства: Монтлери и Шатофоръ, и сто-семдесятъ-четыре сельскихъ прихода. Это была важная и суровая личность, передъ которой дрожали пѣвчіе, когда онъ медленно проходилъ по хорамъ величественный, задумчивый, съ сложенными руками и головой, такъ низко опущенной на грудь, что видѣнъ былъ одинъ его плѣшивый лобъ.

Домъ Клодъ Фролло не оставилъ однакожь ни науки, ни воспитанія младшаго брата, этихъ двухъ цѣлей его жизни. Время приняло только нѣсколько горечи въ эти прежде столь сладкія занятія. Маленькій Жанъ Фролло, прозванный мельницей, по мѣсту гдѣ выросъ, пошелъ не по тому направленію, которое хотѣлось дать ему Клоду. Онъ рассчитывалъ на ученика набожнаго, послушнаго, исполнительнаго, а маленький братъ, подобно растеніямъ, обманывающимъ старанія садовника, склоняясь въ ту сторону, откуда свѣтитъ солнце, маленький братъ росъ и пускалъ широкіе отпрыски въ сторону лѣни, невѣжества и кутежа. Это былъ настоящій бѣсенокъ, вполне беспорядочный, что заставляло морщиться домъ-Клода, но такой забавный и ловкій бѣсенокъ, что вызывалъ улыбку на губахъ старшаго брата.

Клодъ помѣстилъ его въ ту же школу, въ которой самъ провелъ свою трудолюбивую юность, и тяжело было ему слышать, что это святилище, гордившееся прежде именемъ Фролло, теперь стыдилось его. Онъ часто дѣлалъ брату строгія внушенія по этому поводу, на которыя тотъ обращалъ мало вниманія. Впрочемъ у шалуна было доброе сердце, что видимъ мы въ каждомъ героѣ комедіи, которое однакожь не мѣшало ему продолжать свои похождения тотчасъ послѣ проповѣди старшаго братца. То онъ колотилъ новичковъ (трогательное преданіе, сохранившееся до нашихъ дней), то становился во главѣ школьниковъ, отправлявшихся классически разбивать кабакъ и выпивать вино до послѣдней капли. За этимъ слѣдовалъ великолѣпный латинскій рапортъ, который субъ-инспекторъ, съ плачевной миной, подносилъ Клоду: *Rida, prima causa vinum optimum rotatum*. Наконецъ носился ужасный слухъ для шестнадцатилѣтняго мальчика, будто онъ часто посѣщалъ улицу Глатиньи.

Разочарованный въ своихъ свѣтскихъ привязанностяхъ, Клодъ еще съ большимъ рвеніемъ отдался наукѣ, этой сестрѣ, которая не захохочетъ вамъ въ глаза и всегда платитъ за попеченія, хоть ино-

гда пустой монетой. Онъ дѣлался все ученѣе, слѣдственно все строже какъ священникъ и все печальнѣе какъ человѣкъ. У каждаго изъ насъ есть параллель между нашимъ умомъ, нравами и характеромъ, которые безостановочно развиваются и разрозниваются только при какомъ-нибудь жизненномъ кризисѣ.

Такъ какъ Клодъ, съ ранняго возраста, прошелъ почти весь кругъ человѣческихъ знаній положительныхъ и законныхъ, а жажда дѣятельности была далеко не насыщена, то онъ неминуемо долженъ былъ пойти дальше. Древній символъ змѣи, укусившей себя за хвостъ, всего болѣе можетъ быть примѣненъ къ наукѣ. Клодъ Фролло испыталъ это. Многіе утверждали, что исчерпавъ дозволенные пути науки онъ обратился къ недозволеннымъ. Онъ перепробовалъ всѣ плоды древа познанія, и отъ голода или пресыщенія дошелъ наконецъ до запрещеннаго плода. Онъ принималъ участіе, какъ извѣстно читателю, въ конференціяхъ сорбонскихъ теологовъ, испробовалъ всю кухню, разрѣшаемую четырьмя факультетами и все-таки ощущалъ голодъ. Тогда онъ сталъ подкапываться глубже, дальше всей этой науки матерьяльной и ограниченной, онъ рискнулъ можетъ-быть своею душою и сѣлъ за темную трапезу алхимиковъ, астрологовъ, герметиковъ, которыхъ Аверроесъ, Вильгельмъ парижскій и Николай Фламель были представителями въ средніе вѣка и который восходитъ на востокъ, при свѣтѣ семисвѣчника, до Соломона, Пифагора и Зороастра.

Таковы были покрайней-мѣрѣ людскія предположенія. Положительно вѣрно, что архидіаконъ часто посѣщалъ кладбище *des Saints Innocents*, гдѣ были схоронены его отецъ и мать съ другими жертвами чумы 1466 года, но правда и то что онъ гораздо меньше останавливался надъ ихъ могилами, чѣмъ надъ странными знаками, украшавшими памятникъ Николая Фламеля и Клода Пернеля, схороненныхъ неподалеку.

Часто видѣли какъ онъ проходилъ по ломбардской улицѣ и урядкой пробирался въ маленькій домикъ, который Николай Фламель выстроилъ и въ которомъ умеръ около 1417 года. Съ тѣхъ поръ онъ стоялъ пустой и началъ уже разрушаться: такъ герметики всѣхъ странъ исколупали его стѣны однимъ записываніемъ своихъ именъ. Нѣкоторые изъ сосѣдей утверждали даже, что видѣли будто архидіаконъ рылъ землю въ подвалѣ, столбы котораго были испещрены іероглифами самимъ Фламельемъ. Предполагали, что Фламель зарылъ въ этомъ подвалѣ философскій камень, и алхимики, впродол-

женіи двухъ вѣковъ , перерывали его до тѣхъ поръ , пока домъ не разрушился окончательно.

У архидіакона явилась также особая страсть къ символическому порталу собора богородицы, этой странной страницѣ, написанной каменными буквами епископомъ Вильгельмомъ парижскимъ , который вѣроятно былъ проклятъ за прибавку этого адскаго фронтисписа къ святой поэмѣ, которую выражаетъ все остальное зданіе. Говорятъ, что Клодъ Фролло изучилъ также колоссальную статую св. Христофора, которую народъ прозвалъ *monsieur Legris*. Но что каждому бросалось въ глаза, это его продолжительное сидѣнье на паперти и разсматриваніе скульптурныхъ украшеній портала. Онъ по цѣлымъ часамъ не сводилъ глазъ съ мудрыхъ дѣвъ , прямо державшихъ свѣтильничекъ и съ юродивыхъ, опрокинувшихъ его, или выскивалъ глазами мѣсто, гдѣ можетъ лежать философскій камень , если онъ не скрытъ въ подвалѣ Фламея. Соборъ богородицы былъ въ равной степени дорогъ двумъ существамъ , по совершенно различнымъ побужденіямъ : Клоду Фролло и Квазимодо. Одинъ , неполное подобіе человѣка, любилъ его за красоту и гармонию частей ; другой, страстный ученый, за значеніе, за мифъ, за смыслъ, который въ немъ заключается, за символы разбросанные по его фасаду, за загадочность, съ которой онъ представлялся уму человѣческому.

Положительно знали также, что архидіаконъ устроилъ себѣ на одной изъ башенъ, выходящей на гревскую площадь, неподалеку отъ помѣщенія колоколовъ, маленькую келью, въ которую даже самъ епископъ не входилъ безъ его разрѣшенія. Эта комнатка была сдѣлана на самомъ верху башни епископомъ Гюго безансонскимъ, и въ ней-то онъ производилъ свои колдовства. Никто не зналъ что заключалось въ этой кельѣ, но видѣли ночью красноватый свѣтъ, загоравшійся и исчезающій всегда въ извѣстное время. Пламя это казалось раздували мѣхами. Старухи говорили, что это архидіаконъ раздуваетъ адское пламя.

Все это еще не положительное доказательство колдовства, но достаточное, чтобы предположить его возможность, такъ что архидіаконъ пользовался страшной извѣстностью. Надо однакожь замѣтить, что не было болѣе ревностнаго преслѣдователя и доносчика всякой самаго магіей египетской магіи, будь она самая невинная. Дѣлалось ли это по убѣжденію или изъ желанія укрыть самого себя, но Клодъ Фролло тѣмъ менѣе считался въ монастырѣ душой блуждающей въ предверіи ада. Народъ также не давался въ обманъ. Всякій

здравомыслящій человекъ зналъ, что Квазимодо дьяволъ, а Клодь Фролло колдунъ. Звонарь приставленъ къ архидіакону, чтобы служить ему на землѣ и унести потомъ его душу въ адъ. Итакъ, несмотря на свою строгую жизнь, Клодь Фролло пользовался дурной славой и святоши отрекшались отъ него втихомолку.

Очевидно, что въ душѣ архидіакона произошли съ лѣтами многія потрясенія. Это замѣтно было по его лицу, сквозь которое душа проглядывала какъ сквозь темное облако. Откуда этотъ обнаженный лобъ; отчего голова всегда такъ низко опущена на грудь? Какая тайная мысль вызываетъ на губы эту горькую усмѣшку, между тѣмъ какъ брови сходятся какъ два быка, готовящіеся къ дракѣ? Почему его рѣдкіе волосы посѣдѣли? Откуда этотъ огонь взгляда, дѣлающій глаза похожими на отверстіе раскаленной печи?

Эти симптомы душевной тревоги особенно усилились въ то время когда происходитъ нашъ рассказъ. Нѣсколько разъ церковный прислужникъ убѣгалъ въ страхѣ, встрѣтивъ его одного въ церкви, — такъ странны были его глаза. Часто, во время службы, сосѣди его слышали какъ онъ къ обыкновеннымъ молитвамъ, примѣшивалъ какія-то невнятные фразы. Не одинъ разъ, женщина, которой поручено было мыть церковныя вещи, съ ужасомъ замѣчала слѣды ногтей на стихарѣ архидіакона.

Вмѣстѣ съ тѣмъ строгость его жизни еще усилилась. По сану и по характеру, онъ всегда удалялся отъ женщинъ; теперь онъ возненавидѣлъ ихъ еще болѣе. Одинъ шелестъ шоловаго платья заставлялъ его опускать капюшонъ на глаза. Строгость его по этому поводу дошла до того, что когда г-жа де Божё, дочь короля, желала посѣтить монастырь въ декабрѣ 1481 г., онъ горячо противился этому, напомнивъ епископу, что въ статутѣ св. Варфоломея 1334 г. запрещено входить въ монастырь всякой женщинѣ «молодой или старой, госпожѣ или служанкѣ». На что епископъ вынужденъ былъ отвѣчать ему, что легатъ Одо выдалъ постановленіе, исключющее изъ общаго правила нѣкоторыхъ знатныхъ дамъ: *aliquae magnates mulieres, quae sine scandalo evitari non possunt*. Архидіаконъ протестовалъ и противъ этого, утверждая, что постановленіе легата сто двадцатью семью годами моложе Черной книги, стало-быть было опровергнуто ею. И онъ отказался явиться къ принцессѣ.

Замѣтили также, что его ненависть къ египтянкамъ и цыганкамъ усилилась съ нѣкотораго времени. Онъ выхлопоталъ у епископа указъ, запрещающій имъ плясать въ виду соборной паперти и на-

чалъ очень старательно рыться въ судебныхъ архивахъ , отыскивалъ осужденіе на сожженіе или на висѣлицу за колдовство при помощи козъ , свиней или козловъ .

VI

НЕПОПУЛЯРНОСТЬ

Мы уже говорили , что архидіаконъ и звонарь мало пользовались расположеніемъ людей , живущихъ въ окрестностяхъ собора . Когда они шли вмѣстѣ , что случалось нерѣдко , слуга сзади своего господина , много насмѣшекъ и бранныхъ словъ посылалось имъ вслѣдъ , если только (но это былъ уже совсѣмъ рѣдкій случай) Клодъ Фролло не поднималъ головы и не окидывалъ толпы своимъ пронизательнымъ , внушающимъ уваженіе и трепеть взглядомъ .

То мальчишка рисковалъ своими боками изъ удовольствія всунуть булавку въ горбъ Квазимодо . То молодая дѣвушка , съ большей развязностью чѣмъ слѣдуетъ въ ея лѣта , задѣвала платьемъ архидіакона и пѣла ему подъ носъ : *Niche , niche , le diable est pris* . Иногда куча старухъ , разсѣвшихся на паперти , подымала ворчанье при приближеніи Клода и звонаря , напутствуя ихъ привѣтствіемъ : « вотъ у этого душа такая же безобразная , какъ у того тѣло ! » То толпа школьниковъ посылала имъ латинское привѣтствіе : *Eia ! eia ! Claudius cum claudio !*

Чаще всего ни архидіаконъ , ни звонарь не замѣчали оскорбленій . Чтobъ слышать всѣ эти привѣтствія , Квазимодо былъ слишкомъ глухъ , а Клодъ слишкомъ задумчивъ .

КНИГА ПЯТАЯ

I

АВВАС ВЕАТІ МАВТИНІ

Слава дожъ-Клода разнеслась далеко . Ей обязанъ онъ былъ , около того времени какъ отказался явиться къ г-жѣ де Божѣ , однимъ посѣщеніемъ , о которомъ онъ долго помнилъ .

Это было вечеромъ . Онъ удалился послѣ службы въ свою уеди-

венную келью. Въ ней, кромѣ нѣсколькихъ банокъ съ порошкомъ подозрительнаго свойства, ничто не наводило на мысль о таинственности. Были надписи на стѣнахъ, но только извлеченныя изъ научныхъ книгъ или отцовъ церкви. Архидіаконъ усѣлся при свѣтѣ трехрожковой лампы за кучу манускриптовъ, облокотился на большую книгу de Proedestinatione et libero Arbitrio и перелистывалъ, въ сильной задумчивости, только-что принесенный имъ печатный in folio, единственное произведеніе типографскаго станка во всей его кельѣ. Въ это время стукнули въ дверь.

— Кто тамъ? крикнулъ ученый тономъ привѣтствія голодной собаки, которой помѣшали глотать кость.

Голосъ отвѣчалъ :

— Другъ, Жакъ Куатье.

Онъ отперъ.

Въ самомъ дѣлѣ, это былъ королевскій врачъ, человѣкъ лѣтъ пятидесяти, котораго суровая фізіономія смягчалась хитрымъ взглядомъ. За нимъ слѣдовала другая личность. Оба окутаны были въ сѣрыхъ плащахъ съ головою, руки ихъ были скрыты подъ рукавами, ноги подъ длиннымъ платьемъ, глаза подъ капюшономъ.

— Помогите мнѣ господи, не ожидалъ я такихъ почетныхъ гостей въ этотъ часъ, сказалъ Фролло, бросая безпокойные взгляды на спутника доктора.

— Никогда не поздно посѣтить такого знаменитаго ученаго, какъ домъ-Клодъ Фролло тиршапскій, отвѣчалъ Куатье, растягивая каждое слово какъ шлейфъ знатной дамы.

Тогда начался между гостемъ и архидіакономъ обмѣнъ предварительныхъ учтивоостей, безъ котораго нельзя было въ то время двумъ ученымъ приступить къ серьезному разговору, что впрочемъ не мѣшало имъ отъ души ненавидѣть другъ друга. Впрочемъ и въ наше время похвалы одного ученаго другому заключаютъ на днѣ огромный запасъ жолчи.

Комплименты Фролло намекали всего болѣе на существенныя выгоды, которыя Куатье умѣлъ извлечь, во время своей славной карьеры, изъ болѣзней короля, — алхимическая операція, приносящая гораздо болѣе пользы, чѣмъ отыскиваніе философскаго камня.

— По истинѣ, г. докторъ, я былъ душевно радъ назначенію въ епископы вашего племянника. Онъ кажется епископъ аміенскій?

— Да, г. архидіаконъ, это подлинно милость божія.

— Знаете, что вы были величественны на рождествѣ во главѣ вашихъ подчиненныхъ по счетной палатѣ, г. президентъ.

— Еще только вице-президентъ, не болѣе, домъ-Клодъ.

— Какъ идетъ постройка вашего великолѣпнаго дома? Это просто лувръ. Мнѣ очень нравится абрикосовое дерево, вырѣзанное на двери, съ замысловатой подписью: A l'abri-cotier.

— Увы, домъ-Клодъ, эта каменная постройка стоитъ огромныхъ денегъ. По мѣрѣ окончанія работъ, я раззоряюсь.

— О, у васъ есть еще доходы съ тюрьмы, съ откуповъ со всѣхъ домовъ, лавокъ, прилавковъ, сорныхъ трубъ, харчевень, а это порядочный кусочекъ.

— Мое имѣніе въ Пуасси не принесло мнѣ нынѣшній годъ, никакого дохода.

— А ваши дорожныя пошлины въ Триелъ, въ Сень-Жамъ, въ Сень-Жерменъ всегда неизмѣнны.

— Всего только сто-восемьдесятъ ливровъ, ни копѣйки больше.

— А ваша должность королевскаго совѣтника; на нее-то нельзя пожаловаться.

— Да, но это проклятое помѣстье Полины, о которомъ такъ много толковали, приноситъ менѣе шестидесяти экю золотомъ, и то не каждый годъ.

Въ словахъ домъ-Клода былъ тотъ сардоническій, скрытно-насмѣшливый тонъ, на губахъ блуждала та грустно-злая улыбка, съ которой человѣкъ, сознающій себя несчастнымъ и нравственно-вышимъ, разговариваетъ съ натурой вульгарной. Куатье не замѣчалъ этого.

— Право, сказалъ наконецъ Клодъ, пожимаая ему руку, я радъ что вижу васъ въ такомъ добромъ здоровѣ.

— Много благодаренъ, домъ-Клодъ.

— Кстати, какъ здоровье вашего царственнаго паціента?

— Онъ плохо платитъ своему доктору, отвѣчалъ Куатье, бросая взглядъ на пришедшаго съ нимъ незнакомца.

— Ты находишь, кумъ Куатье? отвѣчалъ незнакомецъ.

Эти слова, произнесенныя тономъ удивленія и упрека обратили на говорящаго вниманіе архидіакона, который до этой минуты и не взглянулъ на него хорошенько. Нужно было содѣйствіе такого вліятельнаго и опаснаго лица, какъ всемогущій докторъ Людовика XI, для того чтобы Фролло допустилъ въ свою келью неизвѣстную лич-

ность. Лицо его и теперь не выразило удовольствія при слѣдующихъ словахъ Куатье.

— Кстати, домъ-Клодъ, я привелъ къ вамъ собрата, который непремѣнно хотѣлъ васъ видѣть, слышавшись о вашей славѣ.

— Онъ также занимается наукой? спросилъ архидіаконъ, устремивъ на спутника Куатье свои пронизательные глаза. Изъ-подъ бровей незнакомца блеснулъ такой же, еще болѣе недовѣрчивый взглядъ. Это былъ, насколько позволялъ разсмотрѣть слабый свѣтъ лампы, старикъ лѣтъ шестидесяти, средняго роста, съ болѣзненнымъ видомъ. Его профиль, хотя съ мѣщанскими линіями, имѣла что-то могучее и строгое; глаза его блистали изъ-подъ круглыхъ бровей, какъ свѣча изъ глубины пещеры, а подъ капюшономъ, закрывавшимъ верхнюю половину лица, можно было угадать широкій, гениальный лобъ.

Онъ самъ отвѣтилъ архидіакону:

— Достопочтенный отецъ, началъ онъ серьезнымъ тономъ: — ваша слава дошла до меня и я рѣшился спросить у васъ совѣта. Я бѣдный провинціальный дворянинъ, снимающій башмаки у дверей великихъ ученыхъ. Мое имя Туранжо.

— Странное имя для дворянина, подумалъ архидіаконъ. Впрочемъ онъ чувствовалъ, что видитъ передъ собою кого-то сильнаго и серьезнаго. Инстинктомъ своего ума онъ угадалъ другой сильный умъ подъ мѣховой шапкой Туранжо, и выраженіе насмѣшливости при разговорѣ съ Куатье исчезло мало-помалу, какъ сумерки съ наступленіемъ ночи. Онъ серьезно усялся на свое обычное мѣсто и подперъ голову рукою. Послѣ нѣсколькихъ минутъ размышленія, онъ знакомъ попросилъ гостей сѣсть и обратился къ Туранжо.

— Вы хотите совѣтоваться со мною, а по какой наукѣ?

— Я болѣнъ, очень болѣнъ; вы, говорятъ, великій эскулапъ и я пришелъ просить у васъ медицинскаго совѣта.

— Медицинскаго! сказалъ архидіаконъ, покачивая головою. Онъ подумалъ нѣсколько минутъ и сказалъ: — Ну, Туранжо, если это на самомъ дѣлѣ ваше имя, обернитесь назадъ и прочтите мой отвѣтъ на стѣнѣ.

Туранжо нашолъ надъ своей головой надпись: *медицина есть химера.*

Между тѣмъ, Куатье, съ замѣтной досадой выслушавшій вопросъ своего сотоварища, пришелъ еще въ большее негодованіе отъ отвѣта. Онъ склонился къ уху Туранжо и сказалъ ему:

— Я говорилъ вамъ, что онъ сумашедшій. Убѣдились ли вы?

— А пожалуй этотъ безумный и правъ, докторъ, отвѣчалъ тотъ съ горькой усмѣшкой.

— Думайте что угодно, сухо отвѣчалъ Куатье и обратился къ архидіакону: — Вы скоры на рѣшенія, домъ-Клодь, и Гипократъ даетъ вамъ не болѣе труда, чѣмъ орѣхъ обезьянѣ. Медицина химера! Будь здѣсь фармацевты, они растерзали бы васъ. Стало быть вы отвергаете вліяніе лекарствъ на кровь, мазей на тѣло? Вы отвергаете цѣлебную силу растений и металовъ, эту вѣчную мировую аптеку, созданную для вѣчно больного человѣка!

— Я не отвергаю ни больныхъ, ни аптеки, холодно отвѣчалъ Клодь, я отвергаю доктора.

— Стало не правда, продолжалъ Куатье съ жаромъ, что подагра есть внутренній лишай, что рану, сдѣланную огнестрѣльнымъ оружіемъ, можно вылечить, приложивъ къ ней жаренную мышъ, что вливаніе молодой крови въ старыя жилы возвращаетъ молодость; не правда развѣ, что дважды два четыре?

Архидіаконъ отвѣчалъ равнодушно: — Есть вещи, о которыхъ я думаю по своему.

Куатье покраснѣлъ отъ злобы.

— Тише, не сердись Куатье, вмѣшался Туранжо, г. архидіаконъ нашъ другъ.

Куатье успокоился, бормоча про себя: впрочемъ, онъ сумашедшій!

— Вы смутили меня, мѣтръ Клодь, началъ Туранжо, послѣ нѣкотораго молчанія, а я хотѣлъ было предложить вамъ еще вопросъ, касающійся моей звѣзды.

— Напрасно вы трудились подниматься по моей лѣстницѣ, милостивый государь, я не вѣрю ни въ медицину, ни въ астрологию.

— Въ самомъ дѣлѣ? спросилъ удивленный собесѣдникъ.

Куатье смѣялся насильственнымъ смѣхомъ. Видите ли наконецъ, что онъ безумный, шепталъ онъ Туранжо: — онъ не вѣритъ въ астрологию!

— Есть ли возможность допустить, продолжалъ Клодь, что каждый звѣздный лучъ — нитка, прикрѣпленная къ головѣ человѣка!

— Чему-жъ вы вѣрите! вскричалъ Туранжо.

Архидіаконъ съ минуту остался въ нерѣшимости, потомъ отвѣчалъ съ мрачной улыбкой: — *Credo in Deum.*

— *Dominius postquam*, прибавилъ Туранжо съ крестнымъ знаменіемъ.

— Амен, сказалъ Куатье.

— Почтенный отецъ, продолжалъ Туранжо, я душевно радъ найти въ васъ такія твердыя религіозныя убѣжденія; но неужели такой ученый какъ вы можете невѣрить въ науку?

— Нѣтъ, отвѣчалъ архидіаконъ, схвативъ Туранжо за руку, и лучъ энтузіазма блеснулъ въ его отуманенномъ взорѣ: — нѣтъ, я не отвергаю науки. Не даромъ я предумыслился въ пыли, недаромъ блуждалъ въ непроходимыхъ изгибахъ пещеры; передо мной мерцалъ слабый свѣтъ, легкое пламя, что-то такое, вѣроятно отблескъ центральной лабораторіи, въ которой люди подстерегли божество.

— Чтоже считаете вы истиннымъ и вѣрнымъ?

— Алхимію.

Куатье вступился. — Конечно, домъ-Клодъ, алхимія имѣетъ свои научныя стороны, но за чтоже оскорблять астрологію и медицину?

— Ничтожество ваше познаніе человѣка! Ничтожество ваше звученіе тѣлъ небесныхъ, съ силою произнесъ архидіаконъ.

— Поспѣшно скаваю! усмѣхаясь промолвилъ Куатье.

— Слушайте, мессиръ Жакъ. Я говорю по совѣсти. Я не королевскій докторъ и мнѣ никто не дарилъ лабиринта для обсерваторіи. Не сердитесь и слушайте. Какую истину извлекли вы, не говорю изъ медицины, это ужъ слишкомъ безумная наука, а изъ астрологіи? Всѣ ваши формулы—заблужденія, между-тѣмъ какъ въ алхиміи есть настоящія открытія. Можете вы развѣ опровергнуть такой результатъ: Ледъ находящійся подъ землею тысячу лѣтъ обращается въ горный хрусталь. Свинецъ родоначальникъ всѣхъ металловъ, потомучто золото не металлъ: это свѣтъ. Свинцу нужно четыре періода, каждый по двѣсти лѣтъ, чтобъ перейти въ состояніе ртути, изъ ртути въ олово, изъ олова въ серебро. Вѣдь это факты, между тѣмъ какъ вѣрить въ магнетическое вліяніе, въ полныи лучъ и въ звѣзды также смѣшно какъ вѣрить что иволга можетъ обратиться въ крота, а хлѣбные колосья въ рыбу особой породы!

— Я изучалъ герметіку, вскричалъ Куатье, и утверждаю.

Воспламенившійся архидіаконъ не далъ ему докончить.

— А я изучалъ медицину, астрологію и герметіку. Здѣсь только заключается истина (говоря это, онъ снялъ съ полки банку съ морешкомъ, о которомъ мы говорили выше). Здѣсь только свѣтъ!

Гипократъ, все это мечта; Уранія мечта, Гермесъ мысль. Золото, это солнце; сдѣлать золото значить быть Богомъ. Вотъ единственная наука. Я до послѣднихъ предметовъ исчерпалъ медицину и астрологию, — ничтожество! ничтожество! Человѣческое тѣло — хаосъ! небесныя тѣла — ничто!

И онъ опустился въ кресло съ вдохновеннымъ лицомъ. Туранжо молча слѣдилъ за нимъ. Куатье сѣлся презрительно улыbnуться и повторялъ, пожимая плечами: безумный!

— А достигли ль вы цѣли, спросилъ вдругъ Туранжо, получили ли вы золото?

— Еслибы я этого достигъ, медленно отвѣчалъ архидіаконъ, короля Франціи звали бы Клодомъ, а не Людовикомъ.

Незнакомецъ нахмурилъ брови.

— Что я говорю, продолжалъ Клодъ съ презрительной улыбкой, что мнѣ корона Франціи, когда я могъ бы возстановить Восточную имперію!

— Вотъ это дѣло! сказалъ Туранжо.

— О, бѣдный безумецъ! сказалъ Куатье.

Архидіаконъ продолжалъ, отвѣчая на свои собственные мысли: — Но нѣтъ, я еще пресмыкаюсь; я царапаю лицо и колѣна о подземные камни. Я только предчувствую, но не вижу! Я не читаю, а только складываю!

— А когда выучитесь читать, станете дѣлать золото?

— Кто сомнѣвается въ этомъ?

— Въ такомъ случаѣ Богу извѣстно какъ мнѣ нужны деньги и я хотѣлъ бы также научиться читать по вашимъ книгамъ. Скажите, достопочтенный отецъ, ваша наука не противна Богу?

На этотъ вопросъ домъ-Клодъ отвѣчалъ съ высококомъфраннымъ спокойствіемъ: Какже бы могъ я быть архидіакономъ?

— Правда, правда. Ну такъ поучите меня складамъ.

Клодъ принялъ торжественную осанку Самуила.

— Старикъ, нужно много лѣтъ, чтобъ пройти эту таинственную стезю. Твоя голова посъдѣла! Къ цѣли приходятъ, правда, съ сѣдой головою, но въ путь отправляются съ черными волосами. Наука и сама умѣетъ засушить и провести морщины по лицу челоука, ей не нужно содѣйствія старости. Если впрочемъ васъ томить жажда познанія, если въ ваши годы вы рѣшаетесь приступить къ азбукѣ мудрыхъ, приходите ко мнѣ, я попробую. Я не пошлаю васъ, бѣднаго старика, смотрѣть внутренность пирамидъ, о

которыхъ говорить Геродотъ , на кирпичную вавилонскую башню, на индійскій храмъ изъ бѣлаго мрамора. Я самъ не видалъ халдейскихъ построекъ по образу Сихры , ни разрушеннаго храма Соломона, ни каменныхъ вратъ гробницы царей израильскихъ. Мы ограничимся отрывками изъ книги Гермеса , которая здѣсь. Я объясню вамъ статую св. Христофора, символъ сѣятеля и двухъ ангеловъ на порталѣ св. часовни , у одного изъ которыхъ одна рука въ чашѣ , а другая въ облакѣ.

Здѣсь Жакъ Куатье , котораго сбили съ толку горячія реплики Фролло , собрался съ силами и прервалъ его , съ торжествующимъ видомъ ученаго , осаживающаго своего собрата : — *Erras, amici Claudi*. Символъ не есть число. Вы принимаете Орфеуса за Гермеса.

— Вы сами ошибаетесь. Дедалусъ это фундаментъ; Орфеусъ стѣна; Гермесъ это зданіе, это цѣлое. Вы придете , когда вамъ будетъ угодно, продолжалъ онъ, обращаясь къ Туранжо, и я покажу вамъ пещинки золота, оставшіяся на днѣ плавильника Николая Фламеля; вы сравните ихъ съ золотомъ Вильгельма парижскаго. Я объясню вамъ таинственный смыслъ греческаго слова *peristera*. Но прежде всего, я заставляю васъ прочесть мраморныя буквы, гранитныя страницы книги. Мы пойдемъ отъ портала Гильома къ св. часовнѣ, потомъ къ дому Фламеля, къ его могилѣ. Мы будемъ вмѣстѣ складывать фасады *Sainte Côme, Sainte Geneviève des Ardents*.

Уже давно Туранжо , какъ ни былъ разуменъ его взглядъ , казалось пересталъ понимать Клода Онъ прервалъ его : — Чтоже это у васъ за книги?

— Вотъ одна изъ нихъ, сказалъ архидіаконъ.

Отворивъ окно кельи , онъ указалъ на громаднѣйшій фасадъ собора богоматери , казавшійся огромнымъ сфинксомъ съ двумя головами; сидящимъ посреди города.

Архидіаконъ смотрѣлъ нѣсколько минутъ молча на гигантское зданіе , потомъ положилъ одну руку на печатную книгу, а другою указывая въ окно, сказалъ со вздохомъ. Увы! *одно убьетъ другое!*

Куатье , поспѣшно заглянувшій въ книгу, вскричалъ : — Да чтоже такого опаснаго видите вы въ *Glossa in epistolas D. Pauli. Norimbergæ, Antonius Koburger, 1474*? Это даже не ново. Это книга Пьера Ломбара толкователя притчей. Опасность можетъ быть въ томъ, что она напечатана?

— Именно , сказалъ Клодъ , продолжая стоять въ задумчивости,

положивъ руку на изданіе, вышедшее изъ знаменитой типографіи Нюрнберга. Увы! маленькія вещи всегда поработаютъ большія; одинъ зубъ можетъ осилить цѣлую массу. Нильская крыса убиваетъ крокодила, книга убьетъ зданіе!

Колоколь о потушеніи огня раздался въ монастырской оградѣ въ то время какъ Куатье шепталъ своему спутнику: Онъ сумасшедшій! — на что и спутникъ отвѣчалъ въ этотъ разъ: — Кажется что такъ!

Это былъ часъ, въ который никто изъ постороннихъ не могъ болѣе оставаться въ монастырѣ. Посѣтители вышли. Туранжо сказалъ, прощаясь съ архидіакономъ: — Я люблю великихъ ученыхъ, а васъ уважаю въ особенности. Приходите завтра въ Турнельскій замокъ и спросите аббата Сен-Мартена турскаго.

Архидіаконъ былъ пораженъ. Онъ понялъ, наконецъ кто былъ Туранжо, припомнивъ мѣсто въ собраніи монастырскихъ грамотъ Сен-Мартена турскаго: *Abbas beati Martini, Scilicet rex Franciæ, est canonicus de consuetudine et habet parvam præbendam quam habet sanctus Venantius et debet sedere in sede thesaurarii.*

Утверждаютъ, что съ этихъ поръ, архидіаконъ имѣлъ частыя совѣщанія съ Людовикомъ XI, когда онъ пріѣзжалъ въ Парижъ, и что вліянію дома-Клода завидовали придворный цирюльникъ и Куатье, позволявшій себѣ даже журить за это короля.

II

ОДНО УБЬЕТЪ ДРУГОЕ

Наши читательницы извиняютъ, если мы остановимся и поищемъ, какая мысль скрывалась подъ словами архидіакона: *Одно убьетъ другое*. Книга убьетъ зданіе.

По нашему мнѣнію, эту мысль нужно понимать двояко. Это была мысль священника, испугъ духовной власти передъ новымъ учителемъ — типографіей. Это кафедра и манускрипты, рѣчь изустная, и рѣчь письменная, возстающіе противъ печатнаго слова. Это восклицаніе пророка предъ будущей эмансипаціей человечества, который видитъ въ будущемъ торжество разума надъ предрассудками, общественнаго мнѣнія надъ вѣковымъ преданіемъ, видитъ свѣтскую власть, свергающую иго Рима. Это предчувствіе философа, который

видитъ, что мысль, улетучившись въ печати, отдѣлится отъ теократическаго начала. Это боязнь солдата, осматривающаго чугунный шарикъ и думающаго: башня падеть. Это значило, что одна сила замѣнить другую, что книгопечатаніе ослабитъ власть папъ.

Но подъ этой простой мыслью скрывалась еще другая, болѣе новая, которую не такъ легко схватить, какъ первую, — такой же философскій взглядъ, только не священника, а ученаго и художника. Это было предчувствіе, что человѣческая мысль, измѣнивъ форму, измѣнитъ и способъ выраженія, что капитальная мысль каждаго поколѣнія не будетъ выражена одинаково; что каменная книга, такая прочная и долговѣчная, уступитъ мѣсто книгѣ бумажной, еще болѣе прочной и долговѣчной. Съ этой стороны, неясная формула архидиакона имѣла еще другой смыслъ; она значила, что одно искусство уничтожить другое, что книгопечатаніе убьетъ архитектуру. Въ самомъ дѣлѣ, съ начала вѣка до XV столѣтія христіанской эры, архитектура была главнымъ выраженіемъ человѣческаго развитія въ материальномъ и нравственномъ отношеніи.

Когда память первыхъ поколѣній была уже слишкомъ переполнена воспоминаніями и живого слова сдѣлалось недостаточно для ихъ передачи, ихъ тотчасъ записали самымъ естественнымъ способомъ: каждое преданіе выражали памятникомъ.

Первые памятники были просто обломки скалъ, *до которыхъ не касалось желѣзо*, говорить Моисей. Архитектура началась какъ всякая письменность. Сначала она была азбукой. Ставили камень вмѣсто буквы и каждый камень былъ іероглифомъ, каждый іероглифъ заключалъ въ себѣ группу идей, какъ капитель на колонѣ. Такъ поступали первыя поколѣнія на всѣхъ концахъ міра. Цельтическіе камни, поставленные ребромъ, находятъ въ азіатской Сибири, въ лампахъ Америки.

Позднѣе изобрѣли слова. Стали класть камень на камень, соединять гранитные слои. Дольманъ и Кромлехъ цельтовъ, этрусскій курганъ, — уже слова. Нѣкоторыя, въ особенности курганъ, суть имена собственные. Иногда, если было много камней и мѣста, писали цѣлую фразу. Огромное количество камней Карнака есть уже цѣлая формула.

Наконецъ составили книги. Преданія породили символы, подъ которыми они скрывались, какъ стволъ дерева подъ листьями; всѣ эти символы, въ которые человѣчество вѣрило, росли, размножались, гнались сложнѣе, первые памятники были уже слишкомъ тѣсны

для нихъ ; эти памятники уже едва выражали первое преданіе, простое, голое и пресмыкающееся по землѣ какъ они сами. Символь долженъ былъ выразиться въ зданіи. Архитектура развивалась наравнѣ съ человѣческой мыслью ; она возросла до гиганта съ тысячью головъ и рукъ, и заключила въ вѣчную форму видимую, осязаемую весь разбросанный символизмъ. Между тѣмъ какъ Дедалъ, который есть сила, — мѣрилъ, Орфей, выражавшій понятіе, пѣлъ ; столбъ, выражающій букву, сводъ слогъ, а пирамида слово, приведенныя въ движеніе геометрическимъ и поѣтическимъ закономъ, группировались, сливались, возвышались этажами до неба, пока не написали, подъ диктантъ общей идеи вѣка, тѣхъ дивныхъ книгъ, которыя въ тоже время были и дивными зданіями, какъ на примѣръ храмъ Соломона.

Общая идея была не только въ основаніи, но и въ формѣ этихъ зданій. Храмъ Соломона былъ не только переплетомъ священной книги, но и самою книгою. Въ каждомъ его отдѣлѣ священники могли ясно читать живое слово, и переходя отъ одного священнаго предмета къ другому, все больше и больше уразумѣвать главный смыслъ, въ самой конкретной формѣ выраженный въ ковчегѣ, тоже архитектурномъ произведеніи. Итакъ смыслъ заключался во внутренности зданія, а выраженіе его въ наружной сторонѣ, какъ человѣческое лицо на гробѣ муміи.

И не только форма, но и мѣста, гдѣ помѣщалось зданіе, выражали ихъ назначеніе. Граціозныя греческія символы красовались на высокихъ горахъ, между тѣмъ какъ безобразныя пагоды индійцевъ скрывались подъ землею, поддерживаемыя рядомъ гранитныхъ слоновъ.

Итакъ въ первыя шесть тысячъ лѣтъ архитектура замѣняла письмо у всѣхъ народовъ, начиная отъ древнѣйшей пагоды Индустана, до кельнскаго собора. Не только каждый религіозный символъ, но и каждая человѣческая мысль имѣетъ свой памятникъ и свою страницу въ этой громадной книгѣ.

Не надо думать, что каменная работа можетъ служить только къ постройкѣ храма, къ выраженію мифа, священнаго символизма, къ изображенію закона на этихъ таинственныхъ иероглифическихъ скрижаляхъ. Еслибы было такъ, архитектура не въ состояніи была бы воспроизвести новѣйшаго состоянія человѣческой мысли: ея листы не имѣли бы обратной стороны, ея книга не была бы полна. Она выражаетъ также и вліяніе философскихъ системъ

Возьмемъ для примѣра хоть средніе вѣка, какъ самыя близкіе къ намъ. Въ ихъ первый періодъ, когда теократія преобладаетъ въ Европѣ, когда Ватиканъ собираетъ вокругъ себя и возстановляетъ элементы новаго Рима изъ остатковъ Рима лежащаго въ развалинахъ у Капитолія, между тѣмъ какъ христіанство создаетъ новый іерархическій міръ, котораго центръ есть духовная власть, — изъ хаоса, подъ рукой христіанъ и варваровъ, встаютъ остатки умершихъ архитектуръ греческой и римской, и создается таинственная романская архитектура, сестра теократическихъ памятниковъ Египта и Индіи, эмблема чистаго католицизма, нетлѣнный іероглифъ единства папской власти. Вся тогдашняя мысль выражается въ этомъ мрачномъ романскомъ стилѣ. Всюду чувствуется власть, единство, непроницаемое, неограниченное, Григорій VII; всюду видѣнъ священникъ, а не человѣкъ, повсюду каста, а не народъ. Но наступили крестовые походы. Это сильное народное движеніе. Нововведеніямъ открыта дорога. Начинается періодъ разныхъ *Jacqueries*, *Pragueries*, лиги. Власть колеблется, единство нарушается. Феодализмъ согласенъ раздѣлить владычество съ теократіей, въ ожиданіи народа, который непременно выдѣлитъ себѣ львиную долю, *quia potior leo*. Сюзерены просвѣчиваютъ сквозь духовную власть, община сквозь феодальныхъ владѣльцевъ. Видъ Европы измѣнился, архитектура тоже измѣнилась. Она перевернула страницу, какъ и цивилизація, и готова писать подъ диктантъ духа новаго времени. Она принесла изъ крестовыхъ походовъ стрѣльчатый сводъ. По мѣрѣ того какъ ослабѣваетъ Римъ, умираетъ и романская архитектура. Іероглифъ покидаетъ соборы и идетъ украшать феодальные замки. Самый соборъ, это догматическое зданіе, подвергшись вторженію буржуа и общинъ, ускользнетъ изъ рукъ священника, чтобъ подпасть власти художника. Художникъ строить его по своему. Прощай таинственность, мифъ, законъ. Здѣсь все дѣло фантазіи и каприза. Былъ бы алтарь, а до остального священнику нѣтъ дѣла: стѣны принадлежатъ художнику. Архитектурная книга не принадлежитъ болѣе Риму, но поэзіи и народу. Отсюда быстрыя и безчисленныя архитектурныя измѣненія въ трехъ вѣкахъ, столь поразительныя послѣ шести или семи-вѣкового застоя романскаго стиля. Искусство шло гигантскими шагами. Геній и народная оригинальность взяли за дѣло епископовъ. Каждое поколѣніе оставляетъ свою строку въ книгѣ; оно вымарываетъ романскіе іероглифы на фасадахъ соборовъ и только кое-гдѣ догматизмъ просвѣчиваетъ изъ

подъ новаго символа. Народная драпировка почти скрываетъ прежній остовъ. Архитектура допускала тогда ужасныя вольности. Цѣлыя капители сплетались изъ монаховъ и монахинь, какъ надъ камнями парижскихъ гостиныхъ. Приключеніе Ноя выставлено было *есльжж буквами*, какъ надъ порталомъ въ Буржъ. Монахъ съ ослиными ушами, со стаканомъ въ рукахъ, смѣющийся въ глаза цѣлой общинѣ, красовался надъ умывальникомъ въ рошвильскомъ аббатствѣ. Тогда для мысли, выраженной на камнѣ, была эпоха свободы печати.

Свобода эта заходила очень далеко. Иногда порталъ, фасадъ, цѣлая церковь представляла символическій смыслъ, совершенно чуждый догмату. Съ XIII вѣка Вильгельмъ парижскій, Николай Фламель въ XV, написали нѣсколько возмутительныхъ страницъ въ этомъ родѣ. *Saint-Jaques de la Boucherie* была цѣлая оппозиція.

Мысль тогда не имѣла другой свободы, потому и выражалась только въ зданіяхъ. Будь она выражена въ другой формѣ, ее бы сожгли на площади рукою палача. И такъ имѣя одинъ только исходъ, мысль стремилась къ нему со всѣхъ сторонъ. Потому-то и возникло такое множество соборовъ въ Европѣ, что едва въришь, хотя несомнѣнныя доказательства передъ глазами. Всѣ матерьяльныя и нравственныя силы общества сосредоточились на одномъ пунктѣ — архитектурѣ. Искусство являлось во всей своей силѣ при постройкѣ церквей.

Всякій, родившійся съ поэтическимъ даромъ, дѣлался архитекторомъ. Общество, сдавленное со всѣхъ сторонъ феодализмомъ, находило исходъ только въ архитектурѣ, и его идиліады принимали форму соборовъ. Всѣ другія искусства подчинялись архитектурѣ: это были труженики для одной цѣли. Архитекторъ, поэтъ, маэстро выражали себя въ скульптурныхъ украшеніяхъ фасада, въ живописи на стеклахъ, въ музыкѣ колоколовъ и органовъ. Даже та бѣдная поэзія въ собственномъ смыслѣ слова, которая помѣщалась на страницахъ манускриптовъ, должна была, чтобы выйти на свѣтъ, какъ-нибудь войти въ составъ зданія, въ формѣ гимна или *прозы*: таже самая роль, какую играли трагедіи Эсхила въ священныя празднествахъ Греціи.

Итакъ до Гуттенберга архитектура была всеобщимъ, главнымъ письмомъ. Въ этой гранитной книгѣ, начатой востокомъ, продолжаемой греческой и римской древностью, средніе вѣка написали

последнюю страницу. Впрочемъ это явленіе народной архитектуры вслѣдъ за архитектурой касты произошло тѣмъ же порядкомъ, какъ и въ другія историческія эпохи. Такъ на востокъ, въ этой колыбели первыхъ временъ, послѣ архитектуры индусовъ архитектура египтянъ, праматерь архитектуры арабской; въ древности послѣ египетской архитектуры, видоизмѣненія которой составляли этрусскій стиль и памятники циклопскіе, является греческая архитектура, продолженіе которой составляетъ романскій стиль; въ новѣйшіе вѣка романская архитектура замѣнилась готической. Раздѣливъ на двѣ стороны эти отдѣлы, въ трехъ старшихъ, индійской, египетской и романской архитектурѣ найдемъ одинъ и тотъ же символъ: теократію, касту, единство, догматъ, миѳъ, Бога; а въ трехъ послѣднихъ: египетской, греческой и готической архитектурѣ, какъ бы ни была различна ихъ форма, одно общее значеніе: свобода, народъ, человѣкъ.

Называйся онъ браминномъ, жрецомъ или папой, присутствіе священника, и только священника, чувствуется въ постройкахъ индійскихъ, египетскихъ и романскихъ. Совсѣмъ другое въ архитектурѣ народной: въ ней менѣе святости, но больше богатства. Въ египетской чувствуется кунаецъ; въ греческой — республиканецъ; въ готической — буржуа.

Общій характеръ теократическихъ построекъ, — неприкосновенность первоначальныхъ линій, страхъ прогреса, сохраненіе первыхъ типовъ, постоянное подчиненіе природныхъ формъ непонятнымъ капризамъ символизма. Это таинственныя книги, которыя могутъ разобрать только посвященные. Впрочемъ всякая форма, и даже безобразіе, имѣетъ въ ней свой непреложный смыслъ. Не требуйте отъ индійскихъ, египетскихъ или романскихъ построекъ улучшенія рисунка или дѣльной работы: всякое измѣненіе считается безбожнымъ. Догматъ разлитъ какъ второй каменный слой на всемъ зданіи. Характеръ народныхъ построекъ напротивъ есть разнообразіе, прогрессъ, оригинальность, богатство, постоянное движеніе. Онѣ уже не признаютъ беззаконнымъ исправлять свои статуи и украшенія. Онѣ сообразуются съ вѣкомъ. Въ нихъ что-то человѣческое примѣшивается къ божественному символу. Оттого-то эти постройки понятны каждой душѣ, каждому уму, каждому воображенію; онѣ еще символическія, но уже настолько доступны пониманію, какъ сама природа. Между теократической архитектурой и этой есть таже разница, какъ между языкомъ священнымъ и обык-

новеннымъ, между іероглифомъ и искусствомъ, между Соломоновъ и Фидіемъ.

Если собрать все, что мы сказали поверхностно, выпуская тысячи доказательствъ и противорѣчій, получится слѣдующее: что архитектура была до XV вѣка главной записной книгой человечества: что въ это время не было ни одной сколько-нибудь сложной мысли, которая не выразилась бы въ зданіи; что всякая народная идея, какъ и всякій религіозный законъ, имѣла свои памятники; что наконецъ все важное, что думали люди, они записывали въ каменной книгѣ. А почему? Потому что всякая мысль религіозная или философская ищетъ распространенія; мысль возбуждавшая одно поколѣніе, хотеть возбудить и другое и оставить слѣды. А манускриптъ — плохой залогъ безсмертія. Зданіе — книга болѣе прочная. Чтобъ уничтожить писанное слово достаточно свѣчи и турка; — чтобы разрушить слово построенное, нужна революція социальная или революція земного шара. Варвары прошли надъ Колизеемъ, потопись можетъ-быть надъ пирамидами.

Въ XV вѣкѣ все измѣнилось.

Мысль нашла способъ размножаться, способъ не только болѣе прочный нежели архитектура, но и болѣе простой и легкій. Архитектура сошла съ пьедестала. Мѣсто каменныхъ буквъ Орфея заняли свинцовыя Гуттенберга.

Книга убила зданіе.

Изобрѣтеніе книгопечатанія одно изъ важнѣйшихъ событій исторіи. Это зародышъ революцій. Это способъ выраженія человеческой мысли, совершенно возобновившейся; это мысль сбрасывающая одну форму, чтобы принять другую, это полная и рѣшительная перемѣна кожи той символической змѣи, которая со временъ Адама изображала умъ.

Подъ печатной формой мысль больше чѣмъ когда-либо безсмертна; она недоступна уничтоженію. Она смѣшивается съ воздухомъ. Во времена архитектуры, она дѣлалась горою и овладѣвала мѣстомъ и вѣкомъ. Теперь она дѣлается стаей птицъ, разлетается во всѣ стороны и занимаетъ разомъ всѣ пункты воздуха и пространства.

Такимъ образомъ она въ болѣе безопасности Изъ прочной она дѣлается живой, переходитъ отъ долговѣчности къ безсмертію. Массу можно разрушить, но какъ истребить вездѣсущее? Во время потопа гора уже будетъ давно покрыта водою, а птицы все еще бу-

дутъ носиться въ воздухѣ, и если завидятъ хоть одинъ ковчегъ, то садутъ на него, дождутся убавленія водъ, и новый міръ, вышедшій изъ этого хаоса, увидитъ надъ собою живую и крылатую мысль погребеннаго міра.

Кромѣ того, этотъ способъ выраженія мысли нетолько самый долговѣчный, но и самый простой, самый удобный, потомучто ему вѣнужно большихъ и громозкихъ атрибутовъ. Тогда какъ мысль, выраженная каменнымъ зданіемъ, требуетъ содѣйствія четырехъ или пяти другихъ искусствъ, бочекъ золота, груды камней, цѣлую массу лѣсовъ и работниковъ, — мысль выражаемая книгой требуетъ только чернилъ и бумаги. Какъ же было человечеству не предпочесть книгопечатанія архитектурѣ? Проройте каналъ ниже уровня рѣки и она измѣнитъ свое теченіе.

Потому-то съ открытіемъ книгопечатанія архитектура бѣднѣетъ, чахнетъ. Чувствуется, что вода спадаетъ, живительная влага высыхаетъ, мысль времени и народовъ отклоняется отъ нея. Охлажденіе это почти еще незамѣтно въ пятнадцатомъ вѣкѣ, книгопечатаніе еще слишкомъ слабо и отнимаетъ у архитектуры только избытокъ жизни; но съ начала XVI болѣзнь архитектуры уже очевидна; она уже не вполне выражаетъ общество, она переходитъ въ искусство классическое; изъ галлійской, европейской, туземной, она дѣлается греческой и римской; изъ истинной и новѣйшей — псевдо-классической. Этотъ-то упадокъ назвали возрожденіемъ. Упадокъ впрочемъ блестящій потомучто древній готическій геній, это солнце, заходящее за гигантскую майнцкую типографію, освѣщаетъ еще своими послѣдними лучами эту смѣшанную массу латинскихъ сводовъ и коринфскихъ колонадъ.

Это-то заходящее солнце мы принимали за новую зорю.

Съ той минуты, какъ архитектура сошла на степень обыкновеннаго искусства, а не всеобъемлющаго, она перестала пользоваться содѣйствіемъ другихъ искусствъ. Они эмансипировались, свергнули иго архитектора и пошли своею дорогою. Самостоятельность придаетъ силу. Лѣпная работа дѣлается скульптурой, расписыванье — живописью, церковные мотивы — музыкой. Будто большая имперія распадается по смерти своего Александра и обращается въ отдѣльныя королевства.

Тогда появились Рафаэль, Микель-Анджело, Жанъ-Гужу, Палестрина, эти свѣтила блистательнаго шестнадцатаго вѣка.

Въ одно время съ искусствомъ, эмансипируется и мысль. Сред-

невѣковыя ереси сдѣлали большой подрывъ католицизму. Шестнадцатый вѣкъ разрушаетъ религиозное единство. Безъ книгопечатанія реформа коснулась бы однихъ догматовъ, — книгопечатаніе сдѣлало изъ нея революцію. Отнимите печать, ересь теряетъ силу. Въ силу ли судьбы или самаго провидѣнія, но Гуттенбергъ былъ предвозвѣстникомъ Лютера.

Когда солнце среднихъ вѣковъ совсѣмъ закатилось, когда готическій геній навсегда потухъ на горизонтѣ искусства, архитектура все болѣе блекнетъ, стирается. Печатная книга, этотъ червь зданія, сосетъ и пожираетъ его. Оно склоняется, худѣетъ видимо; оно становится бѣдно, ничтожно. Оно не выражаетъ болѣе ничего, даже воспоминанія объ искусствѣ другихъ временъ. Предоставленная самой себѣ, покинутая другими искусствами, потому что ее покинула человѣческая мысль, архитектура вербуетъ ремесленниковъ вмѣсто художниковъ. Цвѣтныя стекла замѣняются простыми. Каменьщикъ заступаетъ мѣсто скульптора. Прощай оригинальность, жизнь, разумъ. Она переходитъ изъ копій въ копію. Микель-Аджело, вѣроятно предчувствовавшій ея смерть еще съ XVI вѣка, провелъ послѣднюю идею, идею отчаянія. Этотъ титанъ искусства взгромоздилъ Пантеонъ на Пантеонъ и создалъ Святого-Петра. Это великое произведеніе должно бы было остаться единственной, послѣдней оригинальностью архитектуры, подишью гиганта-художника подъ колоссальнымъ каменнымъ реестромъ, который имъ оканчивался. Послѣ смерти Микель-Аджело что дѣлаетъ эта несчастная архитектура, пережившая самое себя? Она пародируетъ Святого-Петра; это ея жалкая манія. Въ каждомъ вѣкѣ былъ свой соборъ Петра; въ XVII — это Val de grâces; въ XVIII — св. Женевьева. Св. Петръ есть въ каждой странѣ. Въ Лондонѣ свой, въ Петербургѣ свой, въ Парижѣ даже два или три. Бѣдное наслѣдство! послѣднее усиліе ослабвѣвающего искусства передъ окончательнымъ паденіемъ!

Если мы бросимъ взглядъ на архитектуру вообще, отъ XVI до XVIII столѣтія, то замѣтимъ ту же степень упадка. Съ Франциска II, архитектурная форма зданія все болѣе переходитъ въ геометрическую, какъ похудѣвшее тѣло больного. Красивыя линіи искусства замѣняются безукоризненными геометрическими. Зданіе уже больше не зданіе, а многогранникъ. Архитектура между тѣмъ выбивается изъ силъ, чтобы скрыть свою немощность. Вотъ греческій фронтонъ, втирающійся во владѣнія римскаго и обратно. Это все еще пантеонъ на парфенонъ, римскій соборъ Петра. Вотъ кирпич-

ные дома Генриха IV съ каменными углами; королевская площадь, площадь Дофина. Вотъ церкви Людовика XIII, тяжолыя, коренастыя, низкія, съ куполомъ, напоминающимъ горбъ. Вотъ мазаринская архитектура, плохое подражаніе итальянской. Вотъ дворцы Людовика XIV, длинныя казармы для придворныхъ, сухія, холодныя, скучныя. Вотъ наконецъ стиль Людовика XV съ салатомъ, макаронами и всѣми наростами, безобразящими старую и беззубую покетку. Отъ Франциска II до Людовика XV болѣзнь росла въ геометрической прогрессіи. У искусства остались кожа да кости. Оно жалко гибнетъ.

Между тѣмъ что дѣлается съ книгопечатаніемъ? Вся жизнь архитектуры переселилась въ него. По мѣрѣ паденія архитектуры, книгопечатаніе возвышается. Весь запасъ силы, который человѣческая мысль тратила на архитектуру, тратится теперь на книги. Съ XVI столѣтія книгопечатаніе dorосло до архитектуры и начало борьбу съ нею. Въ XVII оно уже царило и было въ состояніи создать литературный вѣкъ. Въ XVIII, послѣ долгаго отдыха при дворѣ Людовика XIV, оно воскресило старое оружіе Лютера въ Вольтеръ, и двинулось въ атаку противъ старой Европы, которой архитектурное выраженіе оно уже убило. Къ концу XVIII вѣка все было разрушено. Въ XIX оно будетъ созидать.

Какое же изъ двухъ искусствъ воспроизводило, впродолженіе трехъ вѣковъ, мысль человѣческую? Которое выражало не только ея литературныя и схоластическія маніи, но и ея глубокое, всеобщее движеніе? Что сливалось и двигалось впередъ вмѣстѣ съ живнью: архитектура или книгопечатаніе?

Книгопечатаніе. Архитектура умерла безвозвратно, убитая печатной книгой, убитая, потому что не можетъ быть такъ долговѣчна, потому что стоить дороже. Каждый соборъ стоитъ миллиарда. Представьте себѣ какой капиталъ нуженъ для вторичной переписки книгъ подобнаго рода, для того чтобы земля вновь покрылась столбными памятниками, что, по словамъ очевидца: «можно бы было сказать, что міръ сбросилъ съ себя покрывало, чтобы облечься въ бѣлую одежду церквей.» (Glaber Radulphus.)

Книга требуетъ такъ мало времени, стоитъ такъ мало и можетъ идти такъ далеко! Чему же удивляться, что вся человѣческая мысль приняла это направленіе. Не говоримъ, что у архитектуры не будетъ повременамъ прекрасныхъ памятниковъ. И подъ владычествомъ книгопечатанія можетъ воздвигнуться колона, составленная

цѣлой арміей изъ пушекъ, какъ и подъ владычествомъ архитектуры создавались илліады и романцеры, магабараты и нибелунги, труды цѣлаго народа изъ собранныхъ и слитыхъ въ одно рапсодій. Трудъ великаго архитектора можетъ явиться въ XX столѣтіи, какъ Дантѣ въ XIII. Но архитектура не будетъ болѣе искусствомъ общимъ, собирательнымъ, владычествующимъ. Великая поэма, великое созданіе человѣчества выйдетъ уже въ печати, а не въ постройкѣ.

Еслибы архитектурѣ случилось снова возвыситься, она не была бы законодательницей; ей пришлось бы подчиниться законамъ литературы, которая прежде была въ зависимости отъ нея. Взаимныя отношенія этихъ двухъ искусствъ измѣнились. Въ архитектурное время поэмы, хотя рѣдкія, походили на памятники. Въ Индіи Віаза странна и непроницаема, какъ погода. Въ Египтѣ поэзія, какъ и зданія, отличается величіемъ и спокойствіемъ линий; въ древней Греціи — красотой, гармоніей и спокойствіемъ; въ христіанской Европѣ, католическое величіе, народная наивность, богатая и роскошная жатва эпохи возрожденія. Илліада походитъ на партеронъ, Гомеръ — на Фидіа. Дантѣ въ XIII вѣкѣ это послѣдняя романская церковь; Шекспиръ въ XVI, — послѣдній готическій соборъ.

Итакъ человѣческій родъ имѣетъ два реестра, два завѣщанія: каменные постройки и книгопечатаніе, библію каменную и библію бумажную. Конечно когда смотришь на объѣмы эти библіи, позволительно сожалѣть о видимомъ величій гранитныхъ буквъ, этой гигантской азбукѣ изъ колонъ, пилястръ и обелисковъ, этомъ родѣ горъ, воздвигнутыхъ человѣческими руками, которыя населяютъ весь міръ отъ пирамиды до стразбургской колокольни. Надо прочитывать прошедшее на этихъ мраморныхъ страницахъ. Надо цѣнить и часто перелистывать эту архитектурную книгу; но не надо отвергать и великаго памятника, который воздвигнуло въ свою очередь книгопечатаніе.

Это зданіе колосально. Не знаю кто-то вычислилъ, что еслибы накладывать книга на книгу всѣ изданія вышедшія изъ-подъ станка со времени Гуттенберга, можно бы заполнить разстояніе между землей и луною; но мы говоримъ не объ этомъ объемѣ. Между тѣмъ когда захочешь мысленно воспроизвести общую сложность типографскихъ произведеній, не представляется ли она нашему воображенію громадной постройкой, опирающейся на всю вселенную, надъ которой человѣчество работаетъ безъ усталы и чудовищная голова

которой теряется въ туманѣ будущаго? Это умственный муравейникъ. Это улей, въ который всѣ воображенія, эти золотыя пчелы, свосятъ свой медъ. У зданія тысяча этажей. Кое-гдѣ въ его нѣдрахъ виднѣются темныя подземелья науки. На фасадѣ его искусство расположило свои кружева и арабески. Въ немъ каждое твореніе отдѣльной личности, какъ бы своеобытно и капризно оно ни было, имѣетъ свое мѣсто. Гармонія вытекаетъ изъ цѣлаго. Отъ собора Шекспира до мечети Байрона тысячи колоколенъ толкутся въ этой метрополиіи мысли. Въ основаніи ея записаны нѣкоторыя заслуги человѣчества, пропущенныя архитектурой: Гидра романцero возвышается дальше со многими другими произведеніями, Ведой и нибелунгами. Впрочемъ великое зданіе все еще неокончено. Печать, эта гигантская машина, высасывающая постоянно всѣ умственные соки общества, безпрестанно извергаетъ новые матерьялы для его продолженія. Все человѣчество за работой; каждый умъ — каменьщикъ; самый слабый все-таки замазываетъ какую-нибудь щель или кладетъ свой камень. Всякій день возвышается новый слой. Независимо отъ оригинальныхъ приношеній каждаго писателя, есть сборные матерьялы. XVIII столѣтіе даетъ энциклопедію, революція Монитера. Это зданіе идетъ безконечными изгибами; тутъ полное смѣшеніе языковъ, постоянная дѣятельность, неутомимый трудъ, ревностный конкурсъ всего человѣчества, ковчегъ для будущихъ поколѣній отъ новаго потопа или нашествія варваровъ. Это новая вавилонская башня, воздвигаемая всѣмъ человѣчествомъ.

КНИГА ШЕСТАЯ

I

БЕЗПРИСТРАСТНЫЙ ВЗГЛЯДЪ НА ДРЕВНЮЮ МАГИСТРАТУРУ

Счастливая личность, въ блаженномъ 1482 году, былъ благородный Робертъ д'Естувиль, шевалье, сиръ де Бейнъ, баронъ д'Иври, совѣтникъ и шамбеланъ короля и прево города Парижа. Прошло уже семнадцать лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ получилъ отъ короля эту должность, считавшуюся скорѣе средствомъ получать доходы, нежели службою. Въ тотъ самый день, какъ Робертъ д'Естувиль замѣнилъ Жака де Вилье въ должности прево, Жакъ Дове смѣнялъ

мессира Эли де Тореть на мѣстѣ перваго президента двора и парламента, Жувенель Урсинскій Пьера де Морвилье въ должности канцлера Франціи, Реньо де Дорманъ Пьера Пюи въ должности королевскаго сборщика податей. Черезъ сколько головъ прошли почести съ тѣхъ поръ, какъ Робертъ д'Естувиль пользовался званіемъ старшины! Оно отдано было ему на сохраненіе *baillée en garde*, какъ говорилось въ патентахъ. Онъ такъ сроднился, проникнулся и сросся съ нимъ, что устоялъ противъ маніи къ переменамъ Людовика XI, короля недовѣрчиваго, придирчиваго и хлопотливаго, который думалъ расширить свою власть посредствомъ частой перемѣны лицъ, занимающихъ важныя должности. Д'Естувиль сдѣлалъ больше: онъ сдѣлалъ свое званіе наслѣдственнымъ и уже около двухъ лѣтъ имя его сына красовалось на ряду съ его собственнымъ въ спискахъ превоства. Рѣдкая и неслыханная милость! Правда, что Робертъ д'Естувиль былъ храбрый воинъ: онъ рѣшительно поднялъ знамя противъ лиги общественнаго блага и поднесъ прекраснаго сахарнаго оленя королевѣ въ день ея вѣзда въ Парижъ въ 14... Онъ сверхъ того пользовался расположеніемъ Тристана Пустынника, старшины королевскихъ маршаловъ. Слѣдственно, существованіе мессира Роберта было самое сладостное. Вопервыхъ, очень хорошее жалованье, къ которому присовокупялись разные доходы и пошлины. Прибавьте къ этому наслажденіе красоваться въ военномъ мундирѣ одному между своими сослуживцами. Развѣ мало имѣть въ своемъ распоряженіи сержантовъ, привратниковъ въ Шателе, двухъ аудиторовъ, шестнадцать комиссаровъ, всю стражу? Развѣ малая вещь имѣть право суда и расправы, колесовать и вѣшать, не считая судопроизводства по первой инстанціи, какъ сказано въ хартіяхъ, надъ виконтствомъ парижскимъ, имѣющимъ семь судебныхъ мѣстъ? Что можно придумать выше наслажденія отдавать приказанія и подсылать приговоры, что ежедневно дѣлалъ мессиръ Робертъ въ вѣшномъ-Шателе, подъ широкими сводами временъ Филиппа-Августа

Эжду-тѣмъ несмотря на всѣ счастливыя условія жизни, мессиръ Робертъ проснулся утромъ 7 января 1482 года въ самомъ худшемъ расположеніи духа. Отчего происходило это дурное рас-положеніе онъ и самъ не зналъ. Потому ли, что день былъ пасмур-ный или что проходившіе мимо молодые парии подсмѣялись надъ нимъ? Можетъ быть это было предчувствіе, что будущій король Карлъ VIII убавитъ на будущій годъ триста-семьдесятъ ливровъ, ше-

свадцать су изъ доходовъ прево? пусть читатель самъ выбираетъ причину; что до насъ, то мы думаемъ просто, что онъ былъ не въ духѣ потому... что былъ не въ духѣ.

Ктому же это было на другой день праздника, когда всѣ скачутъ, въ особенности же блюстители порядка, которымъ придется подчищать грязь въ собственномъ и переносномъ смыслѣ, оставшуюся послѣ праздника въ Парижѣ. Въ этотъ день ему приходилось засѣдать въ Большомъ-Шателе, а судьи всегда стараются быть не въ духѣ въ свой присутственный день, потому что тутъ подвернется какой-нибудь обвиненный, на которомъ законнымъ образомъ можно сорвать досаду и жолчь успокоить.

Между тѣмъ аудіенція началась безъ него. Его подчиненные дѣлали свое дѣло, и съ восьмого часа утра парижскіе граждане мужскаго и женскаго пола, тѣснившіеся въ темномъ углу аудіенцъ-залы, между дубовой загородкой и стѣною, наслаждались зрѣлищемъ, какъ мессиръ Флоріанъ Барбендъенъ, аудиторъ въ Шателе, помощникъ г. прево, чинилъ судъ и расправу, руководясь большею частію своей фантазіей.

Зала была маленькая, темная, низкая. Въ глубинѣ стоялъ столъ и кресло съ лѣнными украшеніями, еще пустое въ ожиданіи прево, а налѣво скамья для аудитора Флоріана. Внизу стоялъ грѣбъ и записывалъ отвѣты, а передъ ними народъ. У двери и стола было много сержантовъ въ платьяхъ изъ фіолетоваго камлота съ бѣлымъ крестомъ. Два сержанта стояли еще у низенькой двери за кресломъ. Одно стрѣльчатое окно освѣщало блѣднымъ январскимъ лучемъ двѣ смѣшныя фигуры: безобразнаго демона, вытѣпленнаго на окраинѣ свода и судью, сидящаго въ глубинѣ залы на лиліяхъ.

Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ за столомъ, между двумя кипами бумагъ, Флоріана Барбендъена сидящаго опершись на локти, уткнувъ лицо въ бѣлый мѣхъ своей мантии, такъ-что виднѣлись одни его брови, краснаго, толстаго, моргающаго глазами, съ жирными щеками и исполненнаго собственнаго достоинства.

Аудиторъ былъ глухъ, — маленькій недостатокъ для аудитора, не мѣшавшій ему чинить расправу. Давно ужъ извѣстно, что судью нужно только представиться слушающимъ, а нашъ почтенный аудиторъ могъ исполнять это со всею добросовѣстностью, потому что никакіе посторонніе звуки не могли имѣть доступа къ его слуху.

Впрочемъ, въ аудиторіи было лицо слѣдившее за каждымъ его

поступкомъ и жестомъ; это былъ Жанъ Фролло, котораго можно было встрѣтить вездѣ, кромѣ школьной скамейки.

— Посмотри, говорилъ онъ Пуспену, стоявшему подлѣ него: — у этого старика вѣрно и глаза отказались: вотъ онъ присудилъ къ денежной пенѣ эту хорошенькую дѣвушку. — А кто эти два дворянина между всей этой сволочью? А, они играли въ кости! Когда же призовуть сюда нашего ректора? Какой большой штрафъ! Не будь я архидьякономъ, если я перестану играть до послѣдней рубашки! Вотъ Тибодъ ла Тибо, эта платится за любовь, а вотъ этотъ старый жандармъ за крѣпкое словцо. Посмотри, что нашъ глухарь перемѣшаетъ и возьметъ штрафъ за любовь съ жандарма. Пстой, кого это вводятъ? Сколько сержантовъ! Клянусь Юпитеромъ, это должна быть крупная дичь! Можетъ даже кабанъ? Такъ и есть. Робенъ, это нашъ вчерашній папа, нашъ звонарь, наша гримаса! Это Квазимодо!

Въ самомъ дѣлѣ это былъ онъ.

Это былъ Квазимодо, связанный, спутанный, подъ прикрытіемъ сильной стражи. Самъ начальникъ стражи былъ на лицо съ гербомъ Франціи на груди и съ гербомъ Парижа на спинѣ. Ничто, кромѣ безобразія подсудимаго не оправдывало такихъ сильныхъ предосторожностей. Квазимодо былъ мраченъ, молчаливъ и спокоенъ. По временамъ только его единственный глазъ бросалъ на веревки сердитые взгляды.

Этимъ же глазомъ обвелъ онъ присутствующихъ, но взглядъ былъ такой тусклый и равнодушный, что даже женщины не испугались, а продолжали смѣясь указывать на него пальцами.

Между-тѣмъ аудиторъ внимательно просмотрѣлъ обвиненіе Квазимодо и на минуту задумался. Благодаря этому обыкновенію, онъ всегда зналъ напередъ имя, званіе; преступленіе подсудимаго, дѣлалъ обычныя реплики на обычные вопросы и успѣвалъ кое-какъ скрывать свою глухоту. Обвинительный актъ былъ для него тѣмъ, чѣмъ собака для слѣпаго. Если недостатокъ его обнаруживался какимъ-нибудь неумѣстнымъ вопросомъ или восклицаніемъ, нѣкоторые приписывали это его глубокимъ соображеніямъ, а другіе его глупости. Въ обоихъ случаяхъ честь магистратуры оставалась неприкосновенной, потому что судѣ приличнѣе быть тупымъ или глубокимъ, нежели глухимъ. Ему такъ ловко удавалось скрывать отъ другихъ свою глухоту, что онъ и самъ началъ въ ней сомнѣваться. Нѣтъ ничего удивительнаго: вѣдь всѣ горбатые поднимаютъ вверхъ

голову, всѣ заики любятъ ораторствовать, всѣ глухіе говорятъ тихо. Онъ допускалъ, что немного тугъ на ухо, и то ради уступки общественному мнѣнію и въ минуты особенной откровенности.

Сообразивъ порядкомъ дѣло Квазимодо, онъ закинулъ назадъ голову, прищурилъ глаза для большей важности и безпристрастія, такъ-что въ эту минуту сдѣлался глухъ и слѣпъ вмѣстѣ. Двойное условіе для всякаго порядочнаго судьи. Въ этомъ-то положеніи онъ приступилъ къ допросу.

— Ваше имя? ●

Одинъ изъ случаевъ, непредусмотрѣнныхъ закономъ, есть допросъ глухого глухому, а онъ-то теперь и представился.

Квазимодо, которому ничто не доказывало, что судья обращается къ нему, продолжалъ молча смотрѣть на него. Судья, котораго ни что непредупредило, что обвиняемый глухъ, думалъ, что тотъ уже отвѣтилъ, какъ это обыкновенно случается, и продолжалъ съ своимъ тупымъ, механическимъ анломбомъ:

— Хорошо. Сколько вамъ лѣтъ?

Квазимодо не отвѣчалъ и на это. Судья продолжалъ:

— Теперь, ваше званіе?

Одинаковое молчаніе. Слушатели начали переглядываться.

— Довольно, продолжалъ невозмутимый аудиторъ, рассчитавъ, что обвиненный имѣлъ время отвѣтить и на послѣдній вопросъ. — Васъ обвиняютъ: 1) въ нарушеніи ночнаго спокойствія города; 2) въ насиліи надъ сумашедшей женщиной; 3) въ возмущеніи противъ королевской стражи. Отвѣчайте на эти три пункта. . . Гретье, записали ли вы что говорилъ подсудимый.

Этотъ неловкій вопросъ встрѣченъ былъ хохотомъ такимъ всеобщимъ и сильнымъ, что даже глухой не могъ не замѣтить. Квазимодо оглянулся и презрительно поднялъ горбъ кверху, между тѣмъ какъ Флоріанъ, удивленный не менѣе его и предположившій, что смѣхъ вызванъ какой-нибудь дерзкой выходкой горбуна, строго прикрикнулъ:

— Такой отвѣтъ заслуживаетъ плети, слышишь ты? Помни, съ кѣмъ говоришь!

Конечно, общая веселость удвоилась при этой выходкѣ. Улыбнулись даже сержанты, несмотря на броню тупости, защищавшую ихъ мыслительныя способности. Одинъ Квазимодо остался серьезенько по той причинѣ, что не понялъ происходящаго. Судья, пришедшій

въ еще большую ярость, рѣшился продолжать въ томъ же тонѣ, чтобъ задать страху и обвиненному и публикѣ.

— Какъ, негодяй! ты смѣешь грубить аудитору, человѣку, которому поручено наблюдать за нравственностью города, контролировать всѣ ремесла и недопускать монополіи; содержать въ чистотѣ улицы, мѣрить дрова, очищать воздухъ отъ вредныхъ испареній, постоянно радѣть о благѣ города, безъ всякой надежды на вознагражденіе! Знаешь ли ты, что меня зовутъ Флоріаномъ Барбедьень, что я первый помощникъ г. прево, притомъ комиссаръ, допросчикъ, контролеръ, облеченный такою же властью!

Когда глухой разговариваетъ съ другимъ глухимъ, одному Богу известно, когда прервется потокъ его рѣчи. Неизвестно, чѣмъ бы окончилось краснорѣчіе Флоріана, еслибы маленькая внутренняя дверь не растворилась передъ особой самого прево.

Барбедьень не смутился, но перенесъ рѣчь на входящего, сдѣлавъ оборотъ въ его сторону:

— Монсеньеръ, сказалъ онъ: — предоставляю вамъ избрать наказаніе этому подсудимому, обвиняемому въ важномъ и неслыханномъ поправаніи законовъ.

Онъ сѣлъ, отирая платкомъ потъ, капающій какъ слезы на лежащія передъ нимъ бумаги. Мессиръ Робертъ д'Естувиль нахмурилъ брови и сдѣлалъ такой грозный знакъ Квазимодо, что тотъ его понялъ.

— Чтó ты надѣлалъ, негодяй! за чтó ты здѣсь?

Бѣднякъ, думая, что прево хочетъ знать его имя, отвѣчалъ глухимъ и рѣзкимъ голосомъ:

— Квазимодо.

Отвѣтъ такъ мало согласовался съ вопросомъ, что присутствующіе вновь разразились хохотомъ.

— Такъ ты и надо мной смѣешься! вскричалъ д'Естувиль, багровѣя отъ гнѣва.

— Звонарь въ соборѣ Богоматери, отвѣчалъ Квазимодо, думая, что отъ него требуютъ опредѣленія его званія.

— Звонарь! повторилъ прево, проснувшійся уже въ такомъ расположеніи духа, которое не требовало расшевеливанія жолчи подобными отвѣтами. — Звонарь! Я велю задать на твоей спинѣ такой трезвонъ! Слышишь!

— Если вы хотите знать мои дѣла, мнѣ пойдетъ двадцать-первый въ день св. Мартена.

Это было ужь слишкомъ.

— А, ты смѣешься надъ властями, негодяй! Господа сержанты, вы сведете этого негодяя къ позорному столбу на Гревской площади и провертите его на колесѣ подъ ударами плети цѣлый часъ. Онъ мнѣ заплатитъ за это! Пусть обвиненіе это прокричатъ по всѣмъ улицамъ съ четырьмя трубачами.

Грефѣе началъ составлять актъ.

— Чортъ поberi! Вотъ правосудіе! закричалъ изъ своего угла Фролло.

Прево обернулся и посмотрѣлъ на Квазимодо сверкающими глазами.

— Кажется негодяй сказалъ *чортъ поberi!* Грефѣе, прибавьте двѣнадцать денье штрафа за бранное слово въ пользу фабрики св. Евстафія. Я имѣлъ особенную вѣру въ этого святого.

Актъ былъ составленъ въ нѣсколько минутъ. Содержаніе его было коротко и ясно. Судебная власть еще не была въ рукахъ Тибо Балье и Роже Бармна, украсившихъ ея отправленія разными кляузами и процедурами вначалѣ XVI вѣка. Въ то время она еще прямо шла къ цѣли и, въ концѣ каждой тропинки, безъ малѣйшихъ пренятствій, виднѣлось колесо, вистѣлица или позорный столбъ. Тогда покрайней-мѣрѣ всякій зналъ, куда идетъ.

Грефѣе представилъ актъ прево, который приложилъ къ нему печать и обратился къ другимъ дѣламъ, въ расположеніи духа способствующаго къ населенію парижскихъ тюремъ. Фролло и Пуспень смѣялись втихомолку. Квазимодо смотрѣлъ на все съ видомъ удивленія.

Между тѣмъ грефѣе, сжалившись надъ осужденнымъ и въ надеждѣ сколько-нибудь смягчить обвиненіе, наклонился какъ можно ближе къ уху аудитора и сказалъ, указывая на Квазимодо:

— Онъ глухъ. Онъ надѣялся, что встрѣтивъ у обвиненнаго одинаковый съ собой недостатокъ, Флоріанъ смягчится. Но, впервыхъ, мы уже говорили, что аудиторъ не любилъ, чтобы замѣчали его глухоту; вовторыхъ, онъ не слышалъ, что говорилъ грефѣе, и чтобы доказать противное сказалъ:

— А, а! этого не зналъ. Въ такомъ случаѣ прибавить еще часть выставки на позорномъ столбу.

И онъ водписалъ приговоръ, измененный такимъ образомъ.

— Подѣломъ! сказалъ Пуспень, непростившій толчекъ Квазимодо. — Это научитъ его обращаться съ людьми.

II

КРЫСЬЯ НОРА

Съ позволенія читателя , мы опять поведемъ его на Гревскую площадь , которую покинули съ Гренгуаромъ , чтобы слѣдовать за Эсмемальдой .

Десять часовъ утра ; повсюду видны слѣды праздника . Площадь покрыта лентами , доскутками , перьями , остатками народнаго торжества . Нѣсколько личностей ходятъ взадъ и впередъ , подправляя ногами головни изъ костровъ или останавливаясь въ раздумьи передъ домомъ съ колонами , являющимъ глазу одни гвозди , на которыхъ держались вчерашнія драпировки . Продавцы лимоннаго квасу проталкиваются между группами . Купцы переговариваются , стоя на порогѣ лавокъ . Праздникъ , посольство , Коппеноль , папа шутовъ переходятъ изъ устъ въ уста . Между тѣмъ четыре конныхъ сержанта , занявшіе мѣста по угламъ позорнаго столба , привлекли къ себѣ часть любопытныхъ .

Если читатель обратитъ свои взоры на полуготическую и полуроманскую башню Роланда , составляющую уголъ набережной на западной сторонѣ , онъ замѣтитъ на одномъ изъ угловъ фасада большой молитвенникъ съ богатыми рисунками , защищенный отъ дождя небольшимъ навѣсомъ , а отъ воровъ рѣшеткой , не мѣшающей однако переворачивать листки . Рядомъ съ молитвенникомъ есть маленькое , овальное отверстие , загороженное крестообразно двумя желѣзными прутьями , единственное отверстие , пропускающее струю свѣта и воздуха въ маленькую келью , безъ двери , сдѣланную въ подвальномъ этажѣ дома въ углубленіи толстой стѣны . Тишина и мракъ этой кельи удваиваются близостью шумной , населенной площади .

Эта келья пользуется общей извѣстностью въ продолженіи трехъ вѣковъ , съ тѣхъ поръ , какъ владѣтельница башни Роланда , послѣ смерти отца , убитаго въ крестовомъ походѣ , первая заключилась въ ней на всю жизнь , оставивъ бѣднымъ и Богу все прочее имущество . Такъ прожила она двадцать лѣтъ , молясь день и ночь о душѣ отца , неимѣя даже камня , чтобъ положить голову , одѣтая въ черное рубище , существуя подаянїемъ , которое прохожіе опускали

въ отверстіе кельи. Передъ смертью, переходя въ другой гробъ, она завѣщала этотъ всѣмъ вдовамъ, сиротамъ или женщинамъ, желающимъ день и ночь плакать и молить о своемъ горѣ.

Бѣдняки, облагодѣтельствованные ею, почтили ея похороны слезами и благословеніями. Либералы рѣшили, что на томъ свѣтѣ справедливость возьметъ свое и стали молиться за умершую Богу, помимо папской власти. Большая часть вознамѣрилась своевольно чтить память благодѣтельницы и обратить въ святыню оставшееся послѣ нея платье. Городъ въ свою очередь пожертвовалъ въ память покойной общій молитвенникъ, который и приколотили рядомъ съ окномъ кельи для того, чтобы прохожіе, останавливаясь для молитвы, вспоминали о милостынѣ и не допускали такимъ образомъ умереть съ голода послѣдовательницъ г-жи Роландъ.

Подобное погребеніе живо было не рѣдкостью въ среднихъ вѣкахъ. Можно было встрѣтить въ самыхъ шумныхъ улицахъ, на самыхъ населенныхъ рынкахъ, почти подъ ногами лошадей и людей, какой-нибудь погребъ, колодезь или хижинку, въ глубинѣ которой молилось день и ночь живое существо, посвятившее себя вѣчному оплакиванію своего горя или проступка. Толпа не обращала на этихъ затворниковъ большого вниманія, ни у кого не шевелились размышленія, способныя возникнуть въ головѣ настоящаго поколѣнія. при видѣ этого страшнаго заточенія, этой переходной точки отъ жизни къ смерти, отъ жилища къ гробу, при видѣ чловѣка, заживо ушедшаго къ мертвымъ; этой лампы, догорающей въ темнотѣ, этого дыханія, этого голоса, этой вѣчной молитвы въ каменномъ ящикѣ; этого лица, навсегда обращеннаго къ другому міру, этого глаза, въ которомъ уже отражается другое соднце, этого уха, приложеннаго къ отверстію могилы, этой души, заключенной въ тѣлѣ, этого тѣла, заключеннаго въ тюрьму и изъ-подъ этой двойной оболочки, вѣчнаго ропота больной души.

Набожность того времени, не вдававшаяся въ тонкости и разсужденія, смотрѣла на нихъ просто. Она уважала, чтитъ жертву, но не анализировала страданій и не жалѣла о нихъ. Заключенному привносили подаваніе, смотрѣли въ окна живъ ли онъ, не знали его имени и съ которыхъ-пуръ началась его добровольная смерть и отвѣчали постороннему, спрашивающему кто гниетъ въ этомъ погребѣ: «затворникъ» если дѣло шло о мужчинѣ, и «затворница» если то была женщина.

Тогда на все смотрѣли безъ метафизики, безъ увеличительнаго

стекла, простымъ глазомъ. Микроскопъ еще не былъ изобрѣтенъ ни для матерьяльныхъ, ни для нравственныхъ явленій.

Несмотря на общее равнодушіе, примѣры заключенія были часты. Въ Парижѣ было множество келій и почти всѣ были заняты. Правда и то, что духовенство заботилось о ихъ населеніи, и за немѣнѣемъ кающихся поселяло въ нихъ прокаженныхъ. На горѣ св. Женевиѣвы подобіе Іова среднихъ вѣковъ было въ продолженіе тридцати лѣтъ семь покаянныхъ псалмовъ, возвышая голосъ сильнѣе къ ночи; теперь антикварію чудится еще его голосъ при входѣ въ улицу *du Puits qui parle*.

Келья въ башнѣ Роланда никогда не оставалась пустою. Со смерти дѣвицы Роландъ, она сиротѣла не болѣе двухъ лѣтъ. Парижское злоязычіе утверждаетъ, что всего менѣе было вдовъ въ ея стѣнахъ.

По обычаю того времени латинская легенда, написанная на стѣнѣ, указывала грамотнымъ прохожимъ на назначеніе кельи. Обычай объяснять назначеніе зданія посредствомъ краткой надписи сохранился до половины XVI вѣка. Такъ надъ тюрьмой замка Турвилъ во Франціи есть еще надпись: *Sileto et spera*; въ Англии, надъ главной дверью гостепріимнаго замка графовъ Кунеръ: *Tuus est*. Тогда въдъ каждое зданіе было цѣлая мысль.

Такъ какъ у кельи башни Роланда не было двери, то большими романскими буквами написано было надъ окномъ:

TU, ORA.

Народъ, не останавливающийся надъ тонкостями и переводящій слова: *Ludovico Magno* — ворота св. Людовика, далъ этому темному и сырому углубленію названіе Крысей норы (*trou-aux-Rats*). Объясненіе если не столько грандіозное, то очень краснорѣчивое.

III

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЕПЕШКИ

Во время нашего разказа келья была обитаема. Если читатель хочетъ узнать кѣмъ, пусть послушаетъ разговоръ трехъ кумушекъ, идущихъ именно къ Гревской площади.

Двѣ изъ нихъ побили костюмъ парижскихъ гражданокъ. Ихъ тонкая рубашка и голубая съ красными клѣтками юбка, ихъ бѣлые

вязанные чулки, ловко натянутые, ихъ четверугольные башмаки изъ краснаго сафьяна съ черными подошвами, въ особенности головной уборъ, родъ воронки, украшенной лентами и кружевами, доказывали, что онѣ принадлежать къ тому класу богатыхъ купчихъ, который составляетъ средину между тѣмъ, что лакеи называютъ *женщиной* и *дамой*. На нихъ не было ни колецъ, ни золотыхъ ожерелей, но видно было, что не бѣдность, а боязнь штрафа заставляетъ ихъ убѣгать роскоши. Третья была одѣта почти также, но въ ея костюмѣ и манерахъ чувствовалось нѣчто, напоминающее жену провинціального нотариуса. Видно было по ея поясу, что она недавно въ Парижѣ. Прибавьте къ этому, что башмаки ея украшены были бантами, полосы юбки шли поперегъ, а не вдоль, и множество другихъ мелочей, оскорбляющихъ вкусъ.

Двѣ первыя шли шагомъ, свойственнымъ парижанкамъ, показывающимъ городъ провинціалкѣ. Провинціалка вела за руку толстаго мальчика, державшаго огромную лепешку.

Къ сожалѣнію мы должны прибавить, что по случаю холодной погоды онъ вмѣсто носового платка употреблялъ свой языкъ.

Ребенка тащили non possibus æquis, какъ говоритъ Виргилій; онъ каждую минуту спотыкался къ великому ужасу своей матери. Правда, что онъ гораздо чаще смотрѣлъ на лепешку, чѣмъ поды ноги. Вѣроятно что-нибудь очень важное заставляло его ограничиваться нѣжными взглядами на нее. Матери слѣдовало бы самой нести лепешку и не обращать мальчика въ Тантала.

Три женщины говорили разомъ.

— Пойдемте скорѣе, демуазель Майета! говорила самая младшая, она же и самая толстая. Я боюсь, что мы опоздаемъ; намъ сказывали въ Шателе, что его сейчасъ повезутъ.

— Что вы, демуазель Ударда Мюнье, подхватила другая парижанка: — онъ будетъ два часа на столбѣ, — поспѣемъ. Видали вы, Майета, какъ вертять на столбѣ?

— Да! отвѣчала провинціалка: — въ Реймсѣ.

— Подите вы съ вашимъ реймскимъ столбомъ, на которомъ вертять однихъ мужиковъ! Важное дѣло!

— Мужиковъ? возразила Майета: — нѣтъ, мы видали важныхъ преступниковъ, такихъ, которые отцовъ и матерей убивали! Мужиковъ? За кого вы насъ принимаете?

Провинціалка готова была разсердиться за нарушеніе чести позорнаго столба, но г-жа Мюнье вовремя перемѣнила разговоръ.

— Кстати, demuазель Майета, каковы наши фламандскіе посланники? видали вы такихъ въ Реймсѣ?

— Признаюсь, только въ Парижѣ и увидишь такихъ! отвѣчала Майета.

— Замѣтили вы того высокаго; онъ говорятъ торгуетъ платьемъ.

— Да, онъ похожъ на Сатурна.

— А этого толстяка, у котораго лицо похоже на животь? А маленькаго, съ красными глазами, хохлатаго какъ репейникъ?

— А на лошадей ихъ стоитъ взглянуть: всѣ одѣты по своей модѣ.

— Ну, моя милая! начала Майета, принявъ въ свою очередь важный видъ: — чтоже бы вы сказали, еслибъ увидѣли, во время коронаціи, лошадей принцевъ и королевскаго отряда. Какіе чепраки и попоны! одни изъ дамасскаго сукна, золотые, на горностаевомъ подбоѣ; другіе бархатные, на куньемъ мѣху; другіе еще всѣ въ золотѣ. Какихъ-то это денегъ стоило! А какіе прекрасные пажы на нихъ сидѣли!

— Все это не мѣшаетъ фламандцамъ имѣть хорошихъ лошадей! сухо отвѣчала Ударда. Они вчера ужинали у городского головы.

— Что вы, сосѣдка. Фламандцы ужинали у кардинала.

— Нѣтъ, у головы.

— Нѣтъ, у кардинала.

— Доказательство, что у головы, въ Отель-де-Валь, когда докторъ Скурабль держалъ имъ латинскую рѣчь, которой они остались очень довольны. Мнѣ говорилъ это мой мужъ.

— У кардинала въ Petit Bourbon, говорятъ вамъ; еще вечеромъ освѣтили волшебными огнями слово «надежда» на его фасадѣ.

— Я вамъ говорю, что нѣтъ.

— Я вамъ говорю, что да.

Дѣло зашло бы можетъ-быть очень далеко, еслибъ Майета не вскричала:

— Посмотрите, сколько народу на мосту, тамъ вѣрно что-нибудь любопытное!

— Да, я слышу барабанъ. Вѣрно это Эсмемальда съ козой. Ну, поскорѣй, Майета, тащите своего мальчугана. Вы вѣдь хотѣли видѣть рѣдкости. Вчера вы видѣли фламандцевъ, сегодня надо смотрѣть цыганку.

— Цыганку! вскричала Майета, бросаясь назадъ и крѣпко сжавъ

руку сыну. — Сохрани меня Богъ! она украдетъ у меня ребенка! Пойдемъ мой голубчикъ!

И она бросилась по набережной подалеже отъ моста. Ребенокъ упалъ, она остановилась. Ударда и Жервеза подошли къ ней.

— Она украдетъ вашего ребенка? вотъ фантазія!

Майета покачала головой.

— Странно, что у затворницы такое же понятіе о цыганкахъ! сказала Ударда.

— Кто эта затворница?

— Сестра Гудула въ башнѣ Роланда.

— Та самая, которой мы несемъ лепешку.

Ударда сдѣлала утвердительный знакъ.

— Именно. Вы ее сейчасъ увидите въ окошечко. Она одинаково мнѣнія съ вами о цыганахъ, предсказывающихъ на улицѣ. Но вы, Майета, почему вы даже смотрѣть на нихъ не хотите?

— О! вскричала Майета, охвативъ руками голову сына: — я не хочу, чтобы со мной случилось тоже, что съ Пакетой Шамфлери.

— Раскажите намъ, милая Майета.

— Видно что вы изъ Парижа, когда не знаете этого. Пакета была хорошенькая восемнадцатилѣтняя дѣвушка, моя ровесница; этому прошло тоже восемнадцать лѣтъ и она сама виною, что не сдѣлалась такой же видной женщиной, какъ я, съ ребенкомъ и мужемъ. Впрочемъ съ четырнадцати лѣтъ ей уже нельзя было думать объ этомъ. Это была дочь Гюнберта, нашего менестреля, который игралъ передъ королемъ Карломъ VII во время его коронаванія. Старикъ умеръ, когда Пакета была еще ребенкомъ. Мать ея была добрая женщина, но къ несчастію ничему не научила дочку. Онѣ жили въ Реймсѣ. Во время коронаціи нашего короля Людовика XI, Пакета была уже такая большая, веселая и хорошенькая, что на нее всѣ заглядывались. Бѣдная дѣвочка! у ней были прекрасные зубы и она любила смѣяться и показывать ихъ, а ужъ извѣстно, что когда дѣвушка много смѣется, придется ей потомъ плакать. Работа шла плохо. Онѣ съ матерью получали за шитье не болѣе шести денье въ недѣлю. Прошли тѣ времена, когда покойный Гюнбертъ получалъ по шести паризи за одну пѣсню. Въ одну зиму, когда у нихъ не было дровъ, щеки Пакеты такъ раскраснѣлись отъ холода, что мужчины стали называть ее маргариткой, и она пропала. Есташъ, смѣй только закусить лепешку! Мы тотчасъ поняли въ чемъ дѣло, когда она разъ пришла въ церковь съ золотымъ кре-

стомъ на шеѣ. Въ четырнадцать-то лѣтъ! Сперва у ней былъ молодой виконтъ де Кормонтрель, потомъ, переходя изъ рукъ въ руки, она попала къ Тъери де Меръ, фонарщику, и ужъ пошла по всѣмъ. Повѣрите ли, въ томъ же самомъ году она стала своими руками постель королю мошенниковъ. Такъ упасть въ одинъ годъ!

Майета вздохнула и отерла слезу.

— Ну, это обыкновенная исторія и я не вижу ни цыганъ, ни дѣтей! сказала одна изъ слушательницъ.

— Не торопитесь. Дитя сейчасъ явится. Въ 66 году, теперь будетъ этому уже шестнадцать лѣтъ, Пакета родила дочь. Бѣдная, какъ она была рада! Ей давно хотѣлось имѣть ребенка. Мать ея уже умерла. У Пакеты не было никого на свѣтѣ, кто бы любилъ ее. Черезъ пять лѣтъ послѣ своей вины, она была очень несчастна. Она была одна на свѣтѣ, на нее указывали пальцами на улицахъ, сержанты ее били, мальчишки поднимали на смѣхъ. Ей было уже двадцать лѣтъ, а это уже старость для женщинъ ея ремесла. Съ каждой морщинкой плата становилась меньше. Зимой ей опять стало холодно и не стало доставать хлѣба. Работать она уже отвыкла, а избаловаться успѣла. Вотъ почему этимъ женщинамъ больше нужно, чѣмъ намъ, когда приходитъ старость.

— Хорошо, а гдѣ же цыгане?

— Погодите, Жервеза, сказала другая парижанка. — Что же бы осталось къ концу, еслибы рассказать все вначалѣ. Продолжайте, Майета. Бѣдная дѣвушка!

Она сдѣлалась очень печальна и похудѣла отъ слезъ. Но ей казалось, что привяжись она къ кому-нибудь или будь кто-нибудь привязанъ къ ней, ей было бы не такъ грустно и стыдно. Полюбить ее могъ одинъ только ребенокъ по своей невинности. Она убѣдилась въ этомъ, отдавшись вору, единственному существу не отказавшемуся отъ нея; черезъ нѣсколько времени она замѣтила, что и воръ ее презираетъ. Такимъ женщинамъ нуженъ любовникъ или дитя, чтобъ наполнить сердце: иначе онѣ очень несчастны. Не имѣя любовника, она вся сосредоточилась на желаніи имѣть ребенка и, такъ какъ въ ней еще оставалась набожность, она день и ночь молила объ этомъ Бога. Богъ умилосердился надъ нею и далъ ей дочку. Нельзя передать ея радости. Это были безконечныя слезы, ласки и поцѣлуи. Она стала кормить ребенка, сдѣлала ему пеленки изъ своего единственного одѣяла и съ тѣхъ поръ не чувствовала ни холода, ни голода. Она даже похорошѣла. Изъ старой дѣвы вышла молодая

мать. Поклонники опять явились и на всѣ выручаемыя деньги Пакета покупала атласные чепчики, кружевныя рубашечки, не забывая завести себѣ одѣяла. «Есташъ, я уже запретила тебѣ ѣсть лепешку.» Маленькая Агнеса, такъ звали ребенка, была разряжена какъ принцеса. У ней была между прочимъ пара такихъ башмачковъ, какіе врядъ ли были у короля Людовика XI! Мать сама вышивала ихъ и положила на это все свое искусство. Это были прелестныя розовыя башмачки, величиною съ мой большой палецъ. Надо было видѣть ихъ на хорошенькихъ розовыхъ ножкахъ ребенка! Впрочемъ не одни только ножки были хороши у Агнесы. Я видѣла ее, когда ей было только четыре мѣсяца: это былъ настоящій херувимъ! Глаза у ней были больше, нежели ротъ, и тончайшіе черныя вьющіеся волосы. Какая бы брюнетка вышла изъ нея въ шестнадцать лѣтъ! Мать влюблялась въ нее съ каждымъ днемъ болѣе. Она ласкала, цѣловала, мыла, наряжала ее, просто готова была съѣсть! Какъ она благодарила Бога! Маленькія розовыя ножки сводили ее съ ума: она вѣчно цѣловала ихъ и не могла надивиться, какъ онѣ малы. Она снимала и надѣвала ей башмачки, разсматривала ножки къ свѣту, пробовала, какъ онѣ будутъ ходить по постелѣ и охотно провела бы всю жизнь у этихъ ногъ.

— Все это хорошо, но о цыганахъ и помина нѣтъ.

— Сейчасъ. Однажды въ Реймсѣ появились странные люди. Это были нищіе подъ предводительствомъ своего герцога и графовъ. Они были смуглы, съ курчавыми волосами и серебряными кольцами въ ушахъ. Женщины были хуже мужчинъ. Лицо ихъ было черно и всегда открыто; на тѣлѣ дрянное рубище: кусокъ грубаго холста черезъ плечо, и волосы какъ конская грива. Дѣти, валявшіяся подъ ихъ ногами, могли бы напугать обезьянъ. Они шли прямо изъ Нижняго Египта въ Реймсѣ черезъ Польшу. Говорятъ, папа ихъ исповѣдывалъ и назначилъ имъ, за грѣхи, странствовать семь лѣтъ, не останавливаясь подъ кровлей. Они пришли гадать въ Реймсѣ, отъ имени алжирскаго короля и нѣмецкаго императора. Этого разушѣтся было довольно, чтобъ не впустить ихъ въ городъ. Тогда вся ватага расположилась у городскихъ воротъ, на холмикѣ, гдѣ теперь мельница. Всѣ жители нанерерывъ ходили смотрѣть на нихъ. Они глядѣли на руку и предсказывали чудеса. Про нихъ носился слухъ, что они воруютъ дѣтей, отрѣзываютъ кошельки и ѣдятъ человѣческое мясо. Умные совѣтовали глупымъ не ходить, а сами отпавлялись тайкомъ. Египтяне рассказывали вещи, способныя уди-

вить кардинала. Матери очень гордились дѣтьми, которымъ цыгане вычитали по рукѣ разные чудеса, написанныя поязычески и потурецки. У одной сынъ будетъ королемъ, у другой паной, у третьей капитаномъ. Бѣдная Пакета не устояла: ей захотѣлось узнать, не будетъ ли ея хорошенькая Агнеса королевой армянской или другой какой-нибудь. Она понесла ее къ цыганамъ, которые принялись ее хвалить, цѣловать своими черными губами, восхищаться ея ручкой, увы! къ великой радости матери. Въ особенности расхвалили пожки и башмачки. Ребенку не было еще года. Она уже улыбалась матери, лепетала, была такая кругленькая и ловкая какъ ангельчикъ. Египтянъ она очень испугалась и заплакала, но мать поцѣловала ее еще крѣпче и ушла, довольная предсказаніями. Малютка будетъ красавица, умница, королева. Мать съ гордостью принесла королеву домой. На другой день, пока дитя еще не просыпалось, она тихонько встала съ постели, приотворила дверь и вышла рассказать сосѣдкѣ, что придетъ время, когда ея Агнесѣ будутъ служить за столомъ король англійскій и эрцгерцогъ египетскій. Возвращаясь домой и не слыша крика, она подумала: ребенокъ спитъ. Дверь была однакожь отворена болѣе, чѣмъ она ее оставила; бѣдная мать бросилась прямо къ постелѣ... Ребенка не было, остался одинъ только башмачокъ. Она бросилась съ лѣстницы, билась головой объ стѣны и кричала: «Кто взялъ мое дитя!» Улица была пустая, домъ уединенный, никто ничего не видалъ. Она пробѣгала весь день какъ сумашедшая, съ растрепанными волосами, страшная; въ глазахъ былъ какой-то огонь, иссушившій слезы. Она останавливала прохожихъ и кричала: «Дочь моя, моя хорошенькая дочка! Кто отдастъ мнѣ ее, я буду служить тому какъ собака, вырву ему сердце свое изъ груди!» Ей встрѣтился кюре изъ Сен-Реми, она говорила ему: «Батюшка, я буду пахать землю ногтями, только отдайте мнѣ мою дочку!» Это было ужасно, даже нашъ прокуроръ плакалъ.

— Бѣдная мать! Вечеромъ, она возвратилась домой. Во время ея отсутствія, сосѣдка видѣла, какъ двѣ цыганки прокрались къ ней съ какимъ-то сверткомъ, потомъ затворили дверь и поспѣшно убѣжали. Съ тѣхъ поръ изъ комнаты Пакеты сталъ раздаваться дѣтскій крикъ. Пакета судорожно захохотала, взлетѣла на лѣстницу, вышибла дверь и вошла... Чтожъ бы вы думали! вмѣсто хорошенькой Агнесы, свѣженькой и розовенькой, по полу ползало и кричало какое-то чудовище, хромое, кривое, изуродованное. Она съ ужасомъ закрыла глаза. Неужели колдуньи превратили мое дитя въ это чу-

ловище! Чудовище поскорѣй унесли, нето она сошла бы съума. Это вѣрно было дитя какой-нибудь цыганки, проданное нечистому. Ему было года четыре и онъ говорилъ какимъ-то нечеловѣческимъ языкомъ, слова были какія-то невѣроятныя. Пакета бросилась на маленькій башмачекъ, единственную вещь въ мірѣ, остававшуюся отъ всего что она любила. Она такъ долго оставалась надъ нимъ безъ движенія, безъ словъ, безъ дыханія, что ее сочли было мертвой. Вдругъ она дрогнула всѣмъ тѣломъ, покрыла башмачекъ неистовыми поцѣлуями и такъ зарыдала, какъ-будто сердце рвалось у ней на части. Мы всѣ съ ней плакали. Она говорила: О моя дочка, хорошенькая моя дочка, гдѣ ты теперь? У всѣхъ душа содрогалась. Я и теперь не могу безъ слезъ вспомнить. Дѣти, вѣдь это часть насъ самихъ. Бѣдный мой Есташъ, ты тоже хорошенькій. Еслибъ вы знали, какъ онъ милъ! Вчера онъ вдругъ говоритъ мнѣ: я хочу быть жандармомъ! О, еслибъ я его лишилась!.. Пакета вдругъ встала и бросилась по городу съ крикомъ: За мной, въ египетскій лагерь, надо сжечь колдуновъ! Цыганъ уже не было. Ночь была темная, такъ что и погоню посылать было бесполезно. На другой день, въ двухъ лье отъ Реймса, нашли остатки костра, нѣсколько ленточекъ, принадлежавшихъ ребенку Пакеты, слѣды крови и землю изрытую козлиными рогами. Прошедшая ночь была суботная; никто не сомнѣвался, что цыгане справляли свой шабашъ и съѣли ребенка пополамъ съ Вельзевуломъ, какъ это всегда дѣлають магометане. Когда все рассказали Пакетѣ, она не заплакала, только пошевелила губами, но словъ не вышло. На другой день у ней волосы посѣдѣли, а на третій она пропала.

— Вотъ, въ самомъ дѣлѣ исторія, отъ которой камень заплачетъ.

— Я не удивляюсь теперь, что вы такъ боитесь цыганъ.

— Особенно, вы хорошо сдѣлали, что увели сына отъ нихъ, потомучто они тоже пришли изъ Польши.

• — Не правда, говорятъ, что они изъ Испаніи и Каталоніи.

— Каталоніи? можетъ-быть, я все смѣшиваю эти названія. Но главное то, что они все-таки египтяне.

— И у нихъ зубы длиннѣе, съѣдятъ ребенка. Я не прочь отъ мысли, что и Эсмеральда готова съѣсть кусочекъ, несмотря на свою деликатность. Ея бѣлая козочка выдѣлываетъ уже черезчуръ муренныя штуки. Тутъ что-то не просто!

Майета шла молча. Она погружена была въ задумчивость, ко-

торая такъ-сказать составляетъ продолженіе грустнаго расказа и останавливается только , когда уже его вибраціи дойдутъ до самыхъ сокровенныхъ фибръ сердца. Жервеза обратилась къ ней : — И никто не узналъ что случилось съ Пакетой? Майета не отвѣчала. Жервеза повторила вопросъ , потрясши ее за руку и назвавши по имени. Майета точно проснулась.

— Что сдѣлалось съ Пакетой? повторила она машинально, какъ бы стараясь вникнуть въ смыслъ этихъ словъ. А! объ ней не было больше и слуха.

Она прибавила, по нѣкоторомъ размышленіи :

— Одни говорили , что она вышла рано поутру изъ Реймса въ ворота Флешанбо ; другіе указываютъ на другое направленіе. Одинъ бѣднякъ нашолъ ея золотой крестъ , — онъ былъ повѣшенъ на каменномъ крестѣ , на ярморочной площади. Этотъ-то подарокъ и сгубилъ ее въ 61 году. Его подарилъ ей красивый виконтъ де Кормонтрель , первый ея любовникъ , и Пакета не хотѣла разстаться съ крестикомъ , несмотря ни на какую крайность : имъ дорожила она какъ жизнью. Когда мы увидали крестикъ , то всѣ подумали , что она умерла. Послѣ говорили нѣкоторые , что видѣли ее босикомъ на парижской дорогѣ. Тогда впрочемъ ей слѣдовало бы выйти изъ Весльскихъ воротъ , а это несогласно съ первыми показаніями. Да она вѣрно такъ и сдѣлала , перешла черезъ Веслу , только отправилась-то дальше Парижа.

— Я васъ не понимаю.

— Весла рѣка, отвѣчала съ грустной улыбкой Майета.

— Бѣдная Пакета, утопилась !

— Утопилась ! повторила Майета. Думалъ ли старикъ Гюнберто, переплывая съ пѣніемъ рѣку, что его маленькая Пакета также со-временемъ переплыветъ ее, только безъ лодки и безъ пѣсенъ.

— А куда дѣвался башмачекъ? спросила Жервеза.

— Пропалъ вмѣстѣ съ матерью.

— Бѣдный маленькій башмачекъ ! сказала Ударда.

Ударда, толстая и чувствительная женщина , готова была молча вздыхать вслѣдъ за Майетой , но любопытство Жервезы все еще не было удовлетворено.

— А чудовище? вдругъ спросила она у Майеты.

— Какое чудовище?

— Маленькое цыганское чудовище , которое колдуньи оставили

Пакетъ вмѣсто дочери. Что вы съ нимъ сдѣлали? Надѣюсь, также утопили его?

— Вовсе нѣтъ, отвѣчала Майета.

— Какъ! стало-быть сожгли? Впрочемъ такъ и слѣдовало поступить съ ребенкомъ колдуньи.

— Ни того, ни другого, Жервеза. Архіепископъ принялъ участіе въ ребенкѣ, произнесъ надъ нимъ заклинаніе, благословилъ его, и выгнавъ злого духа, отправилъ его въ Парижъ, чтобъ выставить его въ придворъ собора Богоматери, на мѣстѣ найденышей.

— Ужъ эти епископы! бормотала Жервеза, потому что они ученые, такъ ужъ и дѣлаютъ все не такъ какъ другіе люди. Скажите пожалуйста! положить чертенка съ подкидышами! не говорите, это навѣрное былъ чертенокъ. Ну, Майета, что же съ нимъ сдѣлали въ Парижъ? Вѣроятно никто не взялъ его.

— Не знаю; въ это самое время мой мужъ купилъ должность сельскаго нотариуса, въ двухъ лье отъ города, и мы потеряли изъ вида эту исторію; тѣмъ болѣе, что передъ нашимъ селеніемъ двѣ высокія горы, которыя заслоняютъ даже реймскія колокольни.

Разговаривая такимъ образомъ, три собесѣдницы дошли до гресской площади. Въ разговорѣ, онѣ не замѣтно миновали келью въ башнѣ Роланда и машинально направлялись къ позорному столбу, который уже окружала густая толпа. По всей вѣроятности, зрѣлище предстоящее имъ изгладило бы вовсе изъ памяти ихъ Крысью нору, еслибы шестилѣтній Есташъ не напомнилъ о ней.

— Мама, сказалъ онъ, какъ бы чувствуя по инстинкту, что цѣль путешествія осталась позади: — можно теперь съѣсть лепешку?

Будь Есташъ половчѣе, то-есть не столько жаденъ, онъ сдѣлалъ бы этотъ вопросъ на возвратномъ пути, когда между Крысьей ворой и ихъ домомъ лежало бы два рукава Сены и пять мостовъ Старога города.

Теперь же, неосторожное напоминаніе пробудило память Майеты.

— Кстати, мы и позабыли затворницу! вскричала она. Покажите же мнѣ вашу Крысью нору: я снесу туда лепешку.

— Сейчасъ, отвѣчала Ударда, это доброе дѣло.

Есташу это вовсе не нравилось.

— Моя лепешка! закричалъ онъ, поднимая плечи, — знакъ величайшаго неудовольствія.

Женщины воротились назадъ и подошли къ кельѣ. Ударда сказала другимъ :

— Не надо всѣмъ разомъ глядѣть въ окошечко , затворница испугается. Сдѣлайте видъ , что читаете молитву , а я посмотрю : она меня немножко знаетъ. Когда будетъ можно , я скажу вамъ .

Она пошла одна къ окошечку . Въ ту минуту , какъ она заглянула въ темную келью , глубокая жалость выразилась во всѣхъ ея чертахъ ; ея веселая , откровенная физиономія быстро измѣнила свое выраженіе , какъ-будто перейдя отъ солнечнаго луча къ лунному ; глаза ея налились слезами , губы подернулись , какъ у человѣка готоваго заплакать . Она сдѣлала знакъ Майетѣ .

Майета подошла на цыпочкахъ , тоже взволнованная , какъ подходятъ къ постелѣ умирающаго .

Въ самомъ дѣлѣ , грустное зрѣлище представилось глазамъ женщинъ , неподвижно и притаивъ дыханіе смотрѣвшихъ въ рѣшотку .

Келья была узенькая , высокая , со сводами . Издали , она походила на митру епископа . Въ углу , на голомъ полу , скорчилась женщина . Подбородокъ ея упирался въ колѣна , которыя она крѣпко прижала къ груди руками . Черная одежда покрывала ее всю широкими складками ; пряди длинныхъ сѣдыхъ волосъ падали на лицо , и спускались до самыхъ ногъ . Въ этой позѣ она казалась , на темномъ фонѣ кельи , какимъ-то страннымъ треугольникомъ , который лучъ свѣта , падающій изъ окна , рѣзко раздѣлялъ на двѣ половины : темную и свѣтлую . Это было одно изъ тѣхъ привидѣній , состоящихъ изъ свѣта и тѣни , которыхъ можно увидѣть во снѣ или въ необыкновенномъ твореніи Гойа , блѣдныхъ , неподвижныхъ , страшныхъ , стоящихъ у рѣшотки тюрьмы или сидящихъ на надгробномъ памятникѣ . Это не было ни мужчина , ни женщина , ни живое существо , ни опредѣленная форма , — это былъ образъ , родъ видѣнія , въ которомъ дѣйствительное и фантастическое пересѣкались какъ свѣтъ тѣнью . Изъ подъ волосъ едва можно было разсмотрѣть профиль похудѣвшаго лица ; изъ подъ платья едва высывалась босая нога на замерзшемъ полу . Абрисъ человѣческой формы , который можно было различить подъ этой траурной оболочкой , приводилъ въ трепеть .

Она казалась изсѣченной изъ камня , безъ движенія , безъ мысли , безъ дыханія . Одѣтая однимъ холстомъ въ январѣ мѣсяцѣ , на холодномъ гранитномъ полу , въ темной тюрьмѣ , окно которой пропускало только свѣтъ , а не солнце , она казалось и не замѣчала всѣхъ этихъ страданій . Можно было подумать , что она окаменѣла вмѣстѣ

съ домою, превратились въ ледъ съ зимою. Руки ея были сложены, глаза устремлены на одну точку. Съ перваго взгляда ее можно было принять за привидѣнiе, со втораго за статую.

Между-тѣмъ ея синiя губы раскрывались для дыханiя и дрожали, также мертвенно и машинально, какъ листья шевелящiеся отъ вѣтра.

Изъ ея глазъ выходилъ взглядъ невыразимый, глубокий, мрачный, постоянно устремленный въ уголь кельи, котораго нельзя было видѣть въ окошко; взглядъ, который казалось сосредоточивалъ всѣ мрачныя мысли этой души на какомъ-то таинственномъ предметѣ.

Три женщины смотрѣли въ окошко. Онѣ заслоняли свѣтъ, но несчастная и не замѣчала этого. Не будемъ ей мѣшать, сказала Ударда — она молится.

Между тѣмъ Майета, съ возрастающимъ любопытствомъ, вглядывалась въ эту исхудалую голову и глаза ея наполнялись слезами. Вотъ было бы странно, прошептала она.

Она просунула голову между желѣзныхъ прутьевъ и увидѣла предметъ, на который устремлены были глаза затворницы.

Когда она подняла голову, лицо ея было все въ слезахъ.

— Какъ зовутъ у васъ эту женщину? спросила она у Ударды.

— Сестрой Гудулой.

— А я назову ее Пакетой Шанфолери.

Тогда, приложивъ палецъ къ губамъ, она сдѣлала знакъ Удардѣ, чтобъ та посмотрѣла.

Ударда взглянула и увидѣла въ углу, куда устремлены были глаза несчастной, розовый башмачекъ, вышитый серебромъ и золотомъ.

Жервеза тоже взглянула и всѣ трое заплакали.

Ни взгляды ихъ, ни слезы не въ состоянiи были разсѣять затворницу. Руки ея оставались сложенными, губы сжатыми, глаза устремленными на одну точку. Для того кто зналъ ея исторiю, зрѣлище было поразительно.

Три женщины не произнесли еще ни одного слова: онѣ не смѣли говорить даже шопотомъ. Это вѣчное молчанiе, великое горе, въ которомъ исчезло все кромѣ одной вещи, производило на нихъ благоговѣйный страхъ. Онѣ молчали и готовы были стать на колѣни. Имъ казалось, что онѣ въ церкви во время страстной недѣли.

Наконецъ Жервеза, самая любопытная и потому менѣе другихъ чувствительная, рѣшилась заставить говорить затворницу.

— Сестра! сестра Гудула!

Она повторила свой зовъ три раза , каждый разъ возвышая голосъ. Затворница не шевельнулась; ни слова, ни взгляда, ни вдоха; ни одного признака жизни.

Ударда , въ свою очередь , произнесла болѣе мягкимъ и ласковымъ голосомъ : Сестра, святая сестра Гудула!

Тоже молчаніе и таже неподвижность.

— Странная женщина! вскричала Жервеза : — ее не разшевелишь пушечнымъ выстрѣломъ.

— Она можетъ-быть глуха, сказала вздохнувъ Ударда.

— Можетъ ослѣпла, прибавила Жервеза.

— Можетъ-быть умерла, сказала Майета.

Если душа и не покинула это недвижимое тѣло, то удалилась въ такую глубину, куда не проникаютъ внѣшнія впечатлѣнія.

— Придется оставить лепешку на окнѣ, сказала Ударда : — пожалуй еще кто-нибудь возьметъ ее; какъ бы разбудить ее?

Есташъ, развлеченный до этой минуты зрѣлищемъ собаки, впряженной въ маленькій экипажъ; вдругъ замѣтилъ, что спутницы его смотрять въ окно и, взобравшись на столбъ, всталъ на ципочки, приложилъ свое круглое личико къ отверстію, крича : мама, и я также хочу смотрѣть!

При этомъ дѣтскомъ голосѣ, свѣжемъ и звучномъ, затворница вздрогнула. Она повернула голову быстрымъ движеніемъ, ея худыя руки раздвинули волосы на лицѣ и она взглянула на ребенка грустностью отчаяніемъ. Взглядъ этотъ былъ какъ молнія. «Господи! вскрикнула она, пряча голову въ колѣни, и казалось ея рѣзкій голосъ разрывалъ ей грудь, — по крайней-мѣрѣ не показывай мнѣ чужихъ дѣтей!

— Здравствуйте, важно произнесъ ребенокъ.

Это потрясеніе разбудило затворницу. Долгая дрожь пробѣжала по всему ея тѣлу; зубы ея застучали, она вполонину подняла голову и сказала, взявъ руками свои голыя ноги : «Охъ, холодно!

— Бѣдняжка, сказала съ участіемъ Ударда, хотите немного огня?

Она отрицательно покачала головою.

— Такъ вотъ немного вина, сказала Ударда, передавая ей бутылку : — выпейте, это васъ согрѣетъ.

Она опять покачала головой, пристально посмотрѣла на Ударду и сказала : воды!

Ударда настаивала. — Нѣтъ сестра, въ январѣ надо пить вино и кушать вотъ эту лепешку, которую мы испекли для васъ.

Она оттолкнула лепешку, и сказала : чернаго хлѣба!

— Жервеза, проникнутая въ свою очередь челоѡткоюлюбіемъ, сняла свой шерстяной платокъ и сказала : надѣньте, вамъ будетъ теплѣе.

Она попрежнему отказалась, указывая на свою одежду.

— Помните же, что вчера былъ праздникъ, сказала Ударда.

— Я замѣчаю это, отвѣчала затворница, вотъ уже другой день нѣтъ воды въ моей кружкѣ.

И она прибавила помолчавъ : « Праздникъ, — меня забываютъ... и хорошо дѣлаютъ. Зачѣмъ людямъ думать обо мнѣ, когда я объ нихъ веду маю. Холоднымъ углямъ холодная зола. »

И какъ бы уставши отъ этихъ словъ, она опустила голову на колѣни. Простая и добрая Ударда, думая, что она опять жалуется на холодъ, наивно сказала ей :

— Такъ хотите огня?

— Огня? произнесла затворница какимъ-то страннымъ тономъ. Вы сожжете дочку мою, которая уже пятнадцать лѣтъ подъ землею!

Все тѣло ея дрожало, и протянувъ свою сухую, бѣлую руку къ рѣшеткѣ, она закричала :

— Унесите ребенка! цыганка придетъ!

Она упала лицомъ на землю и голова ея издала глухой звукъ, ударясь о камень. Женщины подумали, что она умерла. Минуту спустя, она пошевелилась и поползла на колѣняхъ къ углу, гдѣ висѣлъ башмачекъ. Онѣ не смѣли заглянуть въ окно, но слышали тысячи поцѣлуевъ и вздоховъ, сопровождаемыхъ страшными криками и звукомъ головы, бьющейся объ стѣну; наконецъ раздался такой сильный ударъ, что онѣ содрогнулись и не слышали ничего болѣе.

— Она убилась? сказала Жервеза, заглядывая въ окно : — сестра Гудула!

— Сестра Гудула! повторила Ударда.

— Господи! она не шевелится! продолжала Жервеза, она умерла! Гудула! Гудула!

Майета, которой рыданія мѣшали говорить, сдѣлала имъ знакъ и подойдя къ окну, произнесла : Пакета! Пакета Шантолерн!

Ребенокъ неосторожно дунувшій на фитиль ракеты, которая вспыхиваетъ ему въ лицо, не могъ бы быть испуганъ сильнѣе Майеты въ эту минуту.

Затворница вздрогнула всѣмъ тѣломъ, встала на ноги и бросилась къ окну съ сверкающими глазами. Майета и ея спутницы отскочили къ оградѣ набережной.

Между тѣмъ страшное лицо затворницы показалось у рѣшотки. О, сказала она, это цыганка зоветъ меня! и страшно захохотала.

Сцена, происходившая въ эту минуту у позорнаго столба, привлекла ея вниманіе. Лицо ея выразило ужасъ; она протянула изъ окна свои сухія руки и закричала страшнымъ голосомъ: — Опять ты, дочь Египта! Это ты зовешь меня, воровка дѣтей! Будь ты проклята! проклята! проклята!

IV

СЛЕЗА ЗА КАПЛЮ ВОДЫ

Эти слова послужили связью между двумя сценами, разыгравшимися параллельно на двухъ различныхъ пунктахъ, въ одно и тоже время. Одну изъ нихъ мы видѣли въ Крысей норѣ, другую читатель сейчасъ прочтетъ. Свидѣтельницами первой были три уже знакомыя намъ женщины; свидѣтелемъ же второй былъ весь народъ, собравшійся у столба Гревской площади.

Толпа эта, которой сержанты пообѣщали наказаніе кнутомъ, такъ увеличилась и окружила столбъ, что нужно было расталкивать ее съ помощью лошадей и нагаекъ.

Народъ, привыкшій къ ожиданіямъ публичныхъ наказаній, не выражалъ сильнаго нетерпѣнія. Онъ забавлялся разсматриваніемъ столба очень простой постройки, состоящей изъ каменнаго куба, футовъ въ десять вышиною, пустого внутри. Одна крутая каменная ступень, которую называли лѣстницей, вела на верхнюю площадку, на которой видѣлось горизонтальное дубовое колесо. Наказываемаго привязывали къ этому колесу на колѣняхъ, руки назадъ. Деревянный стержень, приводящій въ движеніе вѣреть, спрятаанный внутри зданія, сообщалъ движеніе колесу, такъ что лицо виновнаго обращалось на всѣ стороны площади. Это называлось вертѣтъ на колесѣ.

Столбъ Гревской площади не представлялъ, какъ видите, тѣхъ развлеченій какъ столбъ на рынкѣ. Въ немъ не было никакой архитектурной идеи, ничего монументальнаго. Ни крыши съ желѣзнымъ

крестомъ , ни осмиграннаго фонаря , ни колонокъ на краю крыши , ни рѣзныхъ украшеній , ни скульптуры .

Зрѣлище было незавидное для любителей готической архитектуры , но народъ не обращалъ на это большого вниманія и не требуетъ красоты отъ позорныхъ столбовъ .

Наконецъ привезли осужденнаго и когда ввели его на платформу и привязали къ колесу , въ толпѣ раздался смѣхъ и рукоплесканія . Народъ узналъ Квазимодо .

Переходъ былъ разительный . Наканунѣ , на той же самой площади , его носили съ триумфомъ , въ сопровожденіи герцога Египта , короля Ефіопіи и разныхъ другихъ чиновъ . Замѣчательно , что никому , даже самому Квазимодо , не пришла въ голову мысль объ этомъ контрастѣ . На площади не доставало Гренгуара съ его философіей .

Скоро Мишель Ногаре , присяжный трубачъ его величества , потребовалъ молчанія и прочелъ *черни* (manants) приговоръ скрѣпленный г. прево , потомъ удалился съ своими людьми за телѣгу .

Квазимодо оставался недвижимъ . Всякое сопротивленіе съ его стороны было невозможно , потомучто веревки вѣзывались ему въ тѣло . Это обыкновеніе сохранилось и между нами , цивилизованнымъ народомъ , въ отношеніи къ ручнымъ цѣпямъ . Его втащили , привязали , толкали , но на лицѣ его не выразилось ничего , кромѣ идиотическаго удивленія . Всѣ знали , что онъ глухъ , но тутъ можно было подумать что онъ и ослѣпъ .

Его поставили на колѣни ; онъ сталъ . Его раздѣли до пояса , онъ непошевелился . Его опять притянули веревками , онъ не далъ признака жизни . Только отъ времени до времени онъ тяжело дышалъ , какъ теленокъ , котораго голова свѣсилась и бьется о край телѣги мясника .

— Животное , сказалъ Фролло Пуспену (оба школьника , конечно , последовали за осужденнымъ) , онъ столько же понимаетъ , какъ жукъ запертый въ коробку .

Въ толпѣ раздался громкій смѣхъ , когда увидѣли обнаженный горбъ Квазимодо , его верблюжью грудь и волосатя плечи . Въ это время , человекъ въ городскомъ мундирѣ , приземистый и здоровый , сталъ подлѣ осужденнаго . Имя его тотчасъ разнеслось въ толпѣ . Это былъ Пьера Тортью , палачъ Шателе .

Онъ поставилъ на уголъ столба черныя песочныя часы , верхняя часть которыхъ была полна краснымъ пескомъ , медленно пересыпавшимся въ нижнюю , потомъ снялъ съ одного рукава скюртукъ и всѣ

увидѣли на его рукѣ тонкій кнутъ, съ острыми бѣлыми ремнями, лоснящимися, въ узелкахъ и съ металлическими оконечностями. Лѣвой рукою онъ небрежно заворачивалъ рукавъ правой.

Между тѣмъ, Фролло, возвысивъ свою кудрявую голову надъ толпою, кричалъ :

— Пожалуйте, почтенные господа и прекрасныя барыни! сейчасъ будутъ стегать Квазимодо, звонаря моего брата, архидіакона собора богоматери, полюбуйтесь его восточной архитектурой: спина у него куполомъ, а ноги витыми колонами!

Толпа хохотала, въ особенности дѣвушки и дѣти.

Наконецъ палачъ топнулъ ногой. Колесо завертѣлось. Квазимодо покачулся. Удивленіе, выразившееся на его безобразномъ лицѣ, удвоило всеобщую веселость. Вдругъ, когда колесо при поворотѣ подставило горбъ Квазимодо палачу Пьера, тотъ поднялъ руку. ремешки свиснули въ воздухъ какъ стая змѣй, и съ силой упали на плечи несчастнаго.

Квазимодо подпрыгнулъ, будто пробужденный отъ сна. Онъ началъ понимать. Онъ силился разорвать веревки. Выраженіе изумленія и боли подернуло его лицо, но онъ не испустилъ ни одного вздоха. Только голова его, покачиваясь, обращалась во все стороны, какъ голова буйвола, укушеннаго змѣей.

Второй ударъ послѣдовалъ за первымъ, потомъ третій, четвертый и такъ далѣе. Колесо не переставало вертѣться, и удары сыпаться на спину. Скоро брызнула кровь и стала скатываться тысячью ручьевъ на черныя плечи горбуна; тонкіе ремешки, взвиваясь на воздухъ, окропляли ею толпу.

Квазимодо повидимому пришолъ въ прежнее оцѣпненіе. Онъ попробовалъ было тихонько разорвать веревки. Глазъ его заблѣталъ, черты исказились, члены напряглись и веревки подались нѣсколько. Усиліе было могучее, отчаянное, но путы устояли. Онъ отрещали и ничего болѣе. Квазимодо выбился изъ силъ. Онъ зарылъ свой единственный глазъ, опустилъ голову на грудь и остался недвижимъ.

Съ той минуты ничто не заставило его пошевелиться. Ни кровь, текущая ручьями, ни усиливающіеся удары, ни гнѣвъ палача, входящаго въ экстазъ по мѣрѣ продолжительности наказанія, ни свистъ ужасныхъ ремней.

Наконецъ экзекуторъ Шателе, одѣтый въ черное и сидѣвшій на черной лошади все время около лѣстницы, протянулъ свой коста-

вой жезлъ къ песочницѣ. Палачъ остановился ; колесо перестало вертѣться. Глазъ Квазимодо медленно раскрылся.

Два прислужника палача омыли окровавленные плечи , натерли ихъ какимъ-то снадобьемъ , тотчасъ закрывшимъ всѣ раны и накинули на нихъ родъ желтаго кафтана. Тортью , между тѣмъ , капалъ кровью съ своихъ ремешковъ на площадь.

Для Квазимодо еще не все кончилось. Оставалось выстоять на столбѣ часъ, прибавленный Флоріаномъ Барбедьенъ, къ величайшей славы стараго физиологическаго и психологическаго каламбура Жана де Кюмень : *Surdus absurdus*.

Песочные часы перевернули и оставили страдальца на столбѣ, чтобъ въ точности исполнить правосудіе.

Народъ , въ особенности средневѣковый , въ обществѣ тоже что ребенокъ въ семействѣ. Пока онъ остается въ первобытномъ невѣденіи, про него можно сказать, какъ про ребенка :

Этотъ возрастъ безжалостенъ.

Мы уже видѣли, что Квазимодо былъ предметомъ всеобщей ненависти, впрочемъ и не совершенно напрасно. Не было почти ни одного изъ зрителей его наказанія, который не имѣлъ бы причины пожаловаться на злого соборнаго горбуна. Всѣ были рады что увидѣли его на позорномъ столбѣ; жестокость наказанія и жалкое положеніе , въ которомъ его оставили , не только не смягчило толпы , но еще усилило ея веселость.

Когда общественный судъ кончился, началась частная месть. Здѣсь, какъ и въ большой залъ, всего болѣе отличались женщины. У всѣхъ былъ зубъ противъ него : у однихъ — за злость , у другихъ — за безобразіе. Последнія всего болѣе свирѣпствовали :

— У, маска антихриста! говорила одна.

— Вѣдмачъ! кричала другая.

— За эту гримасу его бы сдѣлали папой, еслибъ сегодня было вчера!

— Теперь онъ дѣлаетъ гримасу на столбѣ, когда-то сдѣлаетъ ее на висѣлицѣ?

— Когда провалишься подъ землю съ твоимъ большимъ колоколомъ, проклятый звонарь?

— И этотъ-то дьяволъ звонитъ къ божественной службѣ!

— Глухарь, кривой, горбунъ, чучело!

— Средство для выкидыша, безъ всякихъ медицинскихъ пособій!

А два школьника пѣли во все горло старый народный припѣвъ :

Une hart
Pour le pendar, d,
Un fagot
Pour le magot.

Тысячи другихъ оскорбленій лились дождемъ, сопровождаемая иногда камнями.

Квазимодо былъ глухъ, но хорошо видѣлъ, а злоба выражалась и на лицахъ и въ жостахъ. Ктому же камни служили поясненіемъ.

Сначала онъ сносилъ терпѣливо. Но мало-помалу это терпѣніе, не измѣнявшее ему подъ ударами палача, истоцилось отъ всѣхъ этихъ мелкихъ жалъ. Астурійскій быкъ, хладнокровный къ нападеніямъ сильного, раздражается лаемъ собакъ.

Онъ навелъ грозный взглядъ на толпу, но взглядъ этотъ былъ безсиленъ, чтобы разогнать этихъ мухъ, кусающихъ его раны. Тогда онъ зашевелился и его яростныя потуги заставили затрещать колесо. Насмѣшки только усилились.

Тогда убѣдившись, что не можетъ порвать своихъ путь, Квазимодо успокоился; только грудь его колыхалась отъ ускореннаго дыханія. На лицѣ его не выражалось чувства стыда: онъ былъ слишкомъ далекъ отъ общества и слишкомъ близокъ къ природѣ, чтобы понимать это чувство. Да и есть ли возможность еще унижить такое безобразное существо? Но гнѣвъ, ненависть, отчаяніе наводили на него мрачное облако, электричество котораго вырывалось молніями изъ единственнаго глаза циклопа.

Это облако разъяснилось однакожь при появленіи ослицы, на которой сидѣлъ священникъ. Лишь только завидѣлъ онъ эту ослицу и этого священника, лицо его прояснилось. Выраженіе злобы смѣнилось странной улыбкой, исполненной кротости и нѣжности. По мѣрѣ приближенія священника, улыбка дѣлалась яснѣе и радостнѣе. Несчастный привѣтствовалъ избавителя. Однакожь когда ослица настолько приблизилась къ столбу, что можно было разсмотрѣть страдальца, священникъ опустилъ глаза, свернулъ съ дороги и посккалъ, какъ человѣкъ, вовсе не желавшій услышать привѣтствіе отъ несчастной жертвы.

Священникъ этотъ былъ архидіаконъ Фролло.

Облако еще больше сгустилось на лицѣ Квазимодо. Улыбка не исчезла еще, но сдѣлалась невыразимо горькая.

Время шло. Уже полтора часа терзали бѣдняка ударами, на-смѣшками и чуть не измозжили камнями.

Вдругъ онъ снова зашевелился съ удвоившимся отчаяніемъ, и прервавъ свое упорное молчаніе, закричалъ рѣзкимъ и гнѣвнымъ голосомъ, скорѣе похожимъ на лай, чѣмъ на человѣческій голосъ: «Пить!» — Воскличаніе это сдѣлалось новымъ поводомъ къ развлеченію добраго парижскаго народа, окружавшаго лѣстницу, народа, который, взятый въ массѣ, былъ неменѣе жестокъ чѣмъ племя бродягъ, къ которымъ мы водили читателя. Сами бродяги составляли только низшій слой народа. Ни одинъ голосъ не возвысился безъ на-смѣшки при крикѣ несчастнаго. Правда, звонарь былъ болѣе страшенъ и гадокъ нежели жалокъ, съ своимъ краснымъ лицомъ, съ котораго катился потъ, съ блуждающимъ глазомъ, пѣною у рта и наполовину-высунутымъ языкомъ. Еслибы даже въ толпѣ и нашлась добрая душа, пожелавшая удовлетворить страдальца, то войти на ступени позорнаго столба считалось такимъ униженіемъ, что одно это остановило бы благодѣтельнаго самарянина.

Помолчавъ съ минуту, Квазимодо простоналъ еще болѣе раздражающимъ голосомъ: «пить!»

Всѣ снова захохотали.

— Вотъ пей! кричалъ Пуспенъ, бросая въ него губку, выпачканую грязью. — Вотъ тебѣ, гадкій глухарь, я твой должникъ.

Женщина кинула ему камень.

— Вотъ это научить тебя будить насъ по утрамъ своимъ чертовскимъ трезвономъ.

— Что, братъ, гнусилъ какой-то калѣка, силясь достать его своей клюкой: — будешь колдовать и нашоиптывать на своей башнѣ?

— Вотъ тебѣ кружка! кричалъ мужчина, бросая разбитый кувшинъ ему въ грудь. — Моя жена родила двухголоваго ребенка, потомучто ты въ это время проходилъ мимо.

— А у меня кошка родила котенка съ шестью лапками, проищала старуха, кинувъ кирпичемъ.

— Пить! повторилъ въ третій разъ изнемогавшій Квазимодо.

Въ эту минуту толпа разступилась. Появилась молодая, странно-одѣтая дѣвушка. За ней слѣдовала бѣлая козочка съ золотыми рогами; въ рукахъ у ней былъ тамбуринъ.

Глазъ Квазимодо засверкалъ. Это была цыганка, которую онъ старался похитить ночью, и за которую былъ наказанъ въ эту минуту, что впрочемъ было не совсѣмъ справедливо: его наказывали

за то, что онъ глухъ и попалъ на глухого судью. Квазимодо не сомнѣвался, что дѣвушка тоже хочетъ отмстить за себя.

Въ самомъ дѣлѣ, она быстро всходила на лѣстницу. Гнѣвъ и досада душили горбуна. Онъ желалъ бы сокрушить зданіе столба, и будь молніей его глаза, рудь они способны поразить египтянку, она обратилась бы въ пепель, не дойдя до платформы.

Она молча подошла къ страдальцу, дѣлавшему невѣроятныя усилія, чтобъ скрыться отъ нея, и отвязавъ отъ пояса бутылку, тихо поднесла ее къ запекшимся губамъ Квазимодо.

Тогда въ этомъ сухомъ и воспламененномъ глазу заблестала слеза и тихо покатила по лицу, искаженному мукой.

Это была быть-можетъ его первая слеза.

Между тѣмъ онъ почти не пилъ. Цыганка сдѣлала свою обычную гримаску, и съ улыбкой прижала къ его губамъ горлышко бутылки. Онъ началъ пить съ жадностью.

Напившись, несчастный протянулъ свои черныя губы, вѣроятно чтобы поцѣловать благодѣтельную руку, но молодая дѣвушка, вѣроятно не потерявшая всѣхъ опасеній, возбужденныхъ вчерашней попыткой горбуна, отдернула руку со страхомъ ребенка, боящагося укушенія вреднаго животнаго.

Бѣдный глухаръ устремилъ на нее взглядъ, полный тоски и упрека.

Повсюду зрѣлище прекрасной, чистой и слабой дѣвушки, пришедшей на помощь безобразію, злобѣ и несчастію, было бы трогательно, — на позорномъ столбѣ оно было удивительно.

Даже народъ былъ пораженъ и кричалъ, хлопая въ ладоши: «браво! браво!»

Въ это-то время затворница увидала изъ своего окна цыганку на эшафотѣ и послала ей свое проклятіе.

V

КОНЕЦЪ ИСТОРИИ ОДНОЙ ЛЕПЕШКИ

Эсмемальда поблѣднѣла, и шатаясь сошла съ лѣстницы.

Голось преслѣдовалъ ее:

— Сходи! сходи, негодная тварь! придетъ и твой чередъ!

— Затворница расходилась! шепталъ народъ, потомучто этихъ

женщинъ боялись и уважали. Тогда не рѣшались нападать на того, кто молился цѣлые дни и ночи.

Наступилъ часъ освобожденія Квазимодо. Его отвязали и толпа разошлась.

Возлѣ Большого моста, Майета, шедшая домой съ подругами, вдругъ остановилась.

— Кстати, Есташъ, гдѣ же лепешка?

— Мама, пока ты говорила съ женщиной въ погребу, пришла большая собака и лизнула лепешку, тогда я взялъ да и съѣлъ ее.

— Какъ, ты съѣлъ ее всю?

— Мама, это собака. Я ей говорилъ, а она не послушалась, тогда и я сталъ ѣсть.

— Ужасный ребенокъ! сказала мать, сердясь и улыбаясь: — Знаете, Ударда, онъ одинъ съѣдаетъ все вишни съ нашего дерева въ саду. Дѣдушка говорить про него, что онъ будетъ капитаномъ. Смотри ты у меня, бутузъ ты эдакой!

Мать въ сердцахъ меня журила :
«Я-ль тебя не нарекала,
Чтобъ любви ты окаянной
Пуще полымя бѣжала, —
Да родительскій зарокъ
Видно былъ тебѣ невпрокъ!»

— Мама! мама! чтожъ мнѣ дѣлать!
Я сама ея боялась,
Да она-то во свѣтлицу,
Не спросясь ко мнѣ вривалась
Сквозь окошко, майскимъ днемъ
Съ каждымъ солнечнымъ лучемъ.

Я бѣжала изъ свѣтлицы,
Въ темный садъ отъ ней бѣжала,
А она мнѣ тихимъ вѣтромъ
Все лицо испцаловала,
И отъ мамы въ ту же ночь
Увела тихонько дочь.

ВСЕВОЛОДЪ КРЕСТОВСКІЙ

1862 г.

НѢСКОЛЬКО СТРАНИЦЪ

ИЗЪ ЗАПИСОКЪ ЛЕКАРЯ

(посвящается В. А. Юшковой)

По окончаніи курса въ университетѣ, гдѣ я пробылъ пять лѣтъ стипендіатомъ, за что долженъ былъ десять лѣтъ прослужить казнѣ, т. е. служить тамъ, куда пошлютъ,—я поступилъ на службу сначала въ Петербургѣ, а потомъ послали меня служить городовымъ врачомъ въ провинцію, за тысячу триста шестьдесятъ и три версты. При этомъ было мнѣ немедленно выдано шестьдесятъ девять рублей и пятьдесятъ девять съ четвертью копѣекъ прогонныхъ денегъ на пару, да подорожная за двумя печатами и надписью: «по казенной надобности».

I

ДОРОГА

Рано утромъ 4 октября всталъ я и тотчасъ же принялся укладываться. Солнышко такъ радушно и весело свѣтило, что меня даже досада взяла: отчего именно сегодня, въ день моего отъѣзда, оно такъ весело свѣтитъ, а вчера, третьяго-дня, за недѣлю до этого все пряталось? Цѣлое утро незамѣтно прошло въ сборахъ, наконецъ часамъ къ двѣнадцати все уже было готово къ отъѣзду.

Ровно въ часъ пополудни я вышелъ на улицу въ мѣховомъ пальто, съ дорожной сумкой черезъ плечо, подошелъ къ первому встрѣчному извозчику, который съ примѣрнымъ усердіемъ

уписывалъ пирогъ съ капустой. «На московскую желѣзную дорогу!» кричу я ему. Онъ сунулъ пирогъ за пазуху и вскочилъ на козлы. «Садитесь.» Я сѣлъ; поѣхали. На Невскомъ противъ публичной бібліотеки я взглянулъ на часы: было ужъ двадцать пять минутъ второго. «Поѣжай скорѣе! торопиль я извозчика: — а то опоздаемъ.» Онъ ударилъ по лошади, та бросилась со всѣхъ ногъ, потскользнулась и грохнулась на мостовую. Вотъ оно: типе бы ѣхали, дальше бы были! подумалъ я.

Билетъ на желѣзной дорогѣ былъ взятъ, вещи сланы. Кой-кто изъ короткихъ моихъ знакомыхъ пришли проводить меня. Мы расцѣловались на прощанье, и я скрылся въ вагонѣ третьяго класса за номеромъ 135. Ударилъ второй звонокъ, за нимъ раздался третій, свистокъ завылъ, вагоны тронулись....

Прощай, Питерь!

«Желалъ бы я знать что думаютъ лошади въ гололедицу?» Такими словами начинается у Гребенки «Дневникъ студента». А у меня въ первыя минуты отъѣзда явилось желаніе знать: что думаютъ мои пріятели послѣ моего отъѣзда? Иной можетъ-быть не успѣлъ еще выйти изъ вокзала и ужъ забылъ про меня:

Aus den Augen, aus dem Sinn!..

Передъ отъѣздомъ одна дама увѣряла меня, что на пятнадцатой верстѣ я непременно заплачу, потомучто Гоголь сказалъ, будтобы всѣ уѣзжающіе плачутъ на пятнадцатой верстѣ — разумѣется если только они ѣдутъ не за пять, не за десять верстъ. Плакать мнѣ однакожь не привелось, потомучто ѣхать вообще было нескучно. Меня развлекали мои желѣзно-дорожные попутчики.

Вдали отъ меня сидѣлъ не очень молодой человѣкъ; рядомъ съ нимъ завяла шѣсто не очень тоже молодая женщина. Она поминутно обращалась къ своему еосѣду съ разными вопросами и любезностями, и должно-быть нрѣпко ему надоѣла, потомучто всякій разъ какъ только она что-нибудь скажетъ, онъ или отворачивался въ уголь, или просто молчалъ, показывая видъ, будто не слышитъ ея любезностей.

Отъ этой странной четы я перешолъ къ одному господину, который былъ худъ какъ спичка, безпрестанно кашлялъ съ кашкинь-то свистомъ; на щекахъ выше обыкновеннаго рѣзко ограничивался румянецъ; и когда онъ заговорилъ шопотомъ, я поду-

маль: хороше голубчикъ, нечего сказать! врядъ-ли дотянешь и до зимы! Этотъ субъектъ хоть и напомнилъ мнѣ кой-кого изъ моихъ пациентовъ, но особеннаго вниманія я на него не обратилъ: встрѣтить чахоточнаго для нашего брата врача вѣдь не богъ-звантъ какая рѣдкость.

Послѣ чахоточнаго я занялся третьей личностью, по всей вѣроятности сѣдой, потомучто изъ-подъ теплой шапки проглядывали на вискахъ бѣлые волосы. Старичекъ повременамъ плакалъ и старался скрыть свои слезы, украдкой прикладывая платокъ къ глазамъ. Но иной разъ онъ не таилъ своего горя, плакалъ открыто, и въ это время лицо его принимало мизантропическое, пожалуй злое выраженіе. Послѣ я узналъ, что старичку было отчего плакать: онъ только-что схоронилъ сына, состоявшаго на службѣ въ Петербургѣ, прямо съ кладбища сѣлъ на московскую желѣзную дорогу и вѣхалъ теперь во Владиміръ — хоронить другого сына....

Тутъ же въ нашемъ отдѣленіи находилась одна молодая дама, а можетъ-быть и дѣвица; подлѣ нея сидѣлъ очень еще молоденькій офицеръ, повидимому только-что выпущенный изъ корпуса. Между ними шолъ жаркій разговоръ, кончившійся тѣмъ, что дама или дѣвица заплакала и при остановкѣ на первой же станиціи просила кондуктора дать ей мѣсто въ другомъ вагонѣ. Какого рода былъ между ними разговоръ, незнаю; я слышалъ только нѣсколько фразъ. Офицеръ говорилъ, наклонясь чуть не къ самому лицу сосѣдки:

— Такъ вы не любите жидовъ за то, что Иуда продалъ Христа?... Ну, а меня вы не продали бы за тридцать золотыхъ?

Лица дамы мнѣ было не видно, но судя по тону, которымъ она проговорила: «Что такое? что вы сказали?» она должно-быть сильно была смущена и обижена словами офицера, который не остановился на этомъ и продолжалъ:

— Такъ за сколько же вы бы продали меня? Больше бы взяли или меньше? за двадцать пять или за тридцать пять?

Что было говорено потомъ, мнѣ неизвѣстно, потомучто я сидѣлъ въ углу у самой двери, которая именно въ это время отворилась и шумъ колесъ не позволялъ слышать что говорилие черезъ двѣ скамейки отъ меня.

ь де-

Возмъ меня сидѣлъ какой-то юноша-полякъ, напротивъ съ

товарищи, тоже молодые и тоже поляки. Между нами вскорѣ завязался разговоръ, и я узналъ, что юноши-поляки были студенты московскаго университета, медики, и всѣ трое изъ виленской губерніи. Одного изъ нихъ звали Бальчини, другого — разумѣется въ шутку — виконтъ де-Бражелонъ, третьяго не помню какъ. Виконтъ де-Бражелонъ былъ превеселый малый и всю дорогу вплоть до Москвы постоянно смѣшалъ своими рассказами и разными выходками не только меня и своихъ товарищей, но нерѣдко и всѣхъ пассажировъ нашего отдѣленія. Такимъ образомъ у насъ составилась въ дорогѣ свой отдѣльный кружокъ. Мы говорили объ университетѣ и разныхъ пустякахъ того времени, близкихъ каждому изъ насъ. Жаловаться на скуку мы не могли, да и вообще въ нашемъ отдѣленіи вагона скучѣ не было мѣста. Проѣхавъ пять станцій, мы, то-есть я и студенты поляки, обращались другъ съ другомъ уже безъ лишннихъ церемоній, по-студенчески, какъ-будто уже нѣсколько лѣтъ были знакомы. Ночью мнѣ страшно захотѣлось спать; заснуть сидя не было возможности, и я легъ на полъ между скамейками. Виконту рѣшительно негдѣ было лечь, и онъ помѣстился или старался помѣститься рядомъ со мной; но спать двоимъ между скамейками было очень тѣсно, и намъ просто приходилось лежать другъ на дружку; мы нестѣсняясь душили и давили другъ друга, и когда право сильного брало верхъ, одинъ изъ насъ совсѣмъ уползалъ подъ скамейку. Мы однакожъ нисколько не были въ претензіи другъ на друга за такое несовсѣмъ деликатное обращеніе и утромъ много надъ этимъ смѣялись.

Я уже сказалъ, что виконтъ былъ человѣкъ очень веселаго нрава, и потому онъ былъ душой нашего небольшого кружка. Но душой всего нашего общества, состоявшаго изъ двадцати ~~человѣкъ~~ ^{человѣкъ}, т. е. всего нашего отдѣленія, былъ офицеръ-грузинъ, по фамиліи Сацерелидзе. Прослуживъ положенныя, онъ возвращался на родину. Отъ того ли, что онъ покончилъ службу и собирался жить безъ дальнихъ хлопотъ да получать сію, или отъ того, что возвращался домой, къ родному или ужь просто у него былъ такой счастливый характеръ, то онъ всю дорогу до Москвы былъ веселъ до-нельзя. Это была чрезвычайно симпатичная натура. Его доброта и готовность услужить каждому, насколько разумѣется позволяли обстоятельства, начивно располагали всѣхъ въ его пользу. Около чудожкой

ставимъ въ наше отдѣленіе водилъ какой-то старичекъ и сѣлъ на мѣсто офицера. Тотъ и не подумалъ заявлять свои права и почти всю ночь простоялъ на ногахъ.

— Чтоже вы стоите? говорили офицеру пассажиры: — вѣдь у васъ есть мѣсто?

— Мнѣ все равно что стоять, что сидѣть, отвѣчалъ офицеръ, — лишь бы ѣхать.

Потомъ дама какая-то, старушка уже весьма почтенныхъ лѣтъ, ужасно беспокоилась о томъ, какъ это, когда поѣдетъ приехать въ Москву, она одна поѣдетъ ночью на Арбатъ? и переспросила всѣхъ пассажировъ, не поѣдетъ ли кто въ ту же сторону. Попутчиковъ однакожъ никого не оказалось, и офицеръ вызвался въ провожатые старушки. Старушка успокоилась.

Потомъ два какихъ-то пассажира затѣяли ссору изъ-за того, что одному хотѣлось открыть окно, а другой не желалъ этого. Одинъ говорилъ, что въ вагонѣ сидѣть нѣтъ возможности — demasiado жарко и душно, и что открыть окно необходимо, съ чѣмъ безъ сомнѣнія согласится все общество. Другой возражалъ, что если открыть окно, то будетъ сквозной вѣтеръ и можно простудиться, съ чѣмъ также безъ сомнѣнія согласится все общество. Преніе начинало принимать широкіе размѣры.

— Вы ужь что-то очень опасаетесь сквозного вѣтру, иронически замѣтилъ одинъ изъ спорящихъ другому: — вы должно-быть боитесь, что онъ заходитъ у васъ въ головѣ?

— Не боитесь ли вы, что у васъ въ карманѣ загуляетъ сквозной вѣтеръ? злобно возразилъ другой.

Послѣ такихъ плохихъ остротъ дѣло чуть не дошло до крутыхъ, безцеремонныхъ ругательствъ, и почему знать, можетъ ли была бы междуусобная война, въ которой волей-неволей можно было принять участіе и все наше общество, такъ какъ враждующія стороны ссылались на его мнѣніе. Принявъ участіе, общество разумѣется само раздѣлилось бы на партіи: за примѣръ партія стала бы за, а другая противъ открытаго на — и богъ вѣсть каковъ былъ бы исходъ нашего общаго сѣванія. *Concordia res parvæ crescunt, discordia res magnæ dilantur*, дѣло извѣстное. Къ счастью революціонное настроеніе умовъ было успокоено все тѣмъ же Саццериадзе: онъ очень деликатно предложилъ одному изъ мятежниковъ перемѣниться съ

нимъ мѣстомъ — и миръ и спокойствіе въ нашемъ обществѣ были восстановлены).

Когда поѣздъ отправился изъ Твери, офицера между нами не оказалось: всякій изъ насъ рѣшилъ, что онъ въ Твери и остался. Отсутствіе офицера было для насъ слишкомъ замѣтно: впродолженіи нѣсколькихъ часовъ къ нему всѣ такъ привыкли, для каждаго изъ насъ онъ былъ точно свой, говорилъ онъ почти неумолкая, шутилъ, острилъ, но острилъ самымъ невиннымъ образомъ. Тихо и скучно стало въ вагонѣ безъ офицера. Намъ всѣмъ было жаль съ нимъ расстаться, точно съ роднымъ. Иные подумали даже, не случилось ли съ нимъ какого несчастья, кто знаетъ? И вдругъ на слѣдующей станціи онъ опять къ намъ является. Общество опять развеселилось. Чтоже оказывается? Особеннаго ничего съ офицеромъ не случилось, а просто онъ второпяхъ попалъ не въ свой вагонъ.

Ночью около валдайской станціи нашъ поѣздъ былъ раздѣленъ на двѣ половины; сначала отправилась одна половина, и когда дали знать по телеграфу о ея прибытіи, тогда тронулась и другая половина нашего поѣзда. Дѣленіе насъ надвое произведено было подъ тѣмъ предлогомъ, что поѣздъ очень великъ и одной машинѣ въ этомъ гористомъ мѣстѣ всѣхъ насъ разомъ не свезти. Нелюбимая нѣсколькихъ верстъ до тверской станціи, мы сбились съ дороги (а солнце какъ на зло свѣтило предобросовѣстно), то-есть поѣздъ нашъ попалъ не на тѣ рельсы, по которымъ бы ему слѣдовало идти, и пока выводили вагоны на другіе рельсы, времени ушло больше получаса. Да и вообще — оттого ли, что вагоновъ было много, или вслѣдствіе другихъ какихъ причинъ, отъ редакціи російскихъ желѣзныхъ дорогъ независящихъ, — нашъ поѣздъ тащился медленно, флегматически, неувлекаясь, хотя на всѣхъ станціяхъ остановки были непродолжительны: такъ напр. на тверской станціи вмѣсто положеннаго часу поѣздъ не простоялъ и получаса, а между тѣмъ вмѣсто восьми часовъ вечера прибылъ въ Москву въ десять. Впрочемъ никто изъ насъ и не думалъ сокрушаться о томъ, что поѣздъ опоздалъ двумя часами; напротивъ, всѣ были чрезвычайно довольны, что вотъ и до Москвы добрались слава-богу всѣ живы-здоровы; швы крестились, приговаривая вполголоса: «слава тебѣ господи, приѣхали!»

Пока я получалъ свои вещи, прошло еще часъ, такъ что

былъ уже двѣнадцатый часъ ночи, когда я вмѣстѣ съ Бальчини отправился на Большую Лубянку въ номера Ермакова. Заняли номеръ. Спросили прежде всего самоваръ; намъ его подали часа черезъ полтора. Потомъ бѣлаго хлѣба спросили, во бѣлаго хлѣба намъ ужъ вовсе не дали: теперь ужъ дескать поздно, да и достать нигдѣ нельзя. А вѣсть-то намъ крѣпко хотѣлось, потому что на тверской станціи мы не успѣли пообѣдать и утѣшались тѣмъ, что вотъ вечеромъ будемъ въ Москвѣ, такъ и загоримъ червячка. Расчетъ оказался весьма невѣренъ и мы стойчески рѣшились потерпѣть до завтра. Спросили другую свѣчу; намъ отвѣчали лаконически: «не полагается». Номера оказались прескверные и дорогіе. Тотъ, который мы занимали, былъ еще дешевле сравнительно съ другими, но и за него съ насъ взяли за сутки полтора рубля, приговаривая: «для васъ только дѣлаемъ уваженіе, а то съ другихъ мы беремъ по два рубля». Въ нашешъ номерѣ дотога было сыро и холодно, что ложасть спать, мы не скинули платья, но еще надѣли шубы и калоши: зубы стучали у насъ отъ дрожи...

Занесъ же вражій духъ меня
На распроклятую фатеру!

приговаривалъ каждый изъ насъ, закутываясь въ шубу.

Утромъ на другой день послѣ чаю Бальчини отправился разыскивать своихъ знакомыхъ, а я въ почтамтѣ, узнать какой дорогой лучше вѣхать: на Рязань или на Владиміръ? Въ почтамтѣ мнѣ сказали, что если я имѣю подорожную по казенной надобности, то лучше будетъ вѣхать по владимірской желѣзной дорогѣ, а потомъ изъ Владиміра по почтовому тракту. Возвратившись въ номеръ, я уложилъ свои вещи. Бальчини еще не приходилъ, мнѣ такъ и не удалось проститься съ нимъ, и я отправился на владимірскую желѣзную дорогу.

Москвы я собственно не видалъ почти совсѣмъ, или если и видѣлъ, то какъ-будто во снѣ. Помню толко, что проѣзжалъ съ вещами на ломовомъ мимо какой-то церкви, которая поразила меня не древностью и не оригинальной красотой архитектуры, а яркимъ краснымъ цвѣтомъ, въ который она была окрашена сверху до низу. Я и спрашиваю извозчика:

— Что это за церковь такая?

— Эта церква хорошая, отвѣчалъ онъ.

— Да ты скажи мнѣ какъ она называется? Во имя какого святого она?

— Всѣхъ святыхъ! сказалъ онъ и рукой махнулъ.

Изъ нумеровъ съ Большой Лубянки до станціи владимірской желѣзной дороги ломовой везъ меня битый часъ. Я радъ былъ поскорѣе выбратъся изъ Москвы. Послѣ скверныхъ нумеровъ Ермакова во мнѣ родилось даже какое-то отвращеніе къ Москвѣ. Послѣ Петербурга она показалась мнѣ неряхой большой руки, неотесаной, непривѣтливой. Я душевно радовался, что не прожилъ въ ней и однихъ сутокъ.

Итакъ я поѣхалъ не на Рязань, какъ было предполагалъ еще въ Петербургѣ, а на Владиміръ. Беру билетъ въ третьемъ классѣ, вхожу въ вагонъ и слышу кто-то ораторствуетъ на другомъ концѣ вагона. Я осмотрѣлся кругомъ. Общее молчаніе меня озадачило. Какой-то старичокъ пастырскимъ тономъ читалъ одному мужику длинную нотацию по поводу срамословія. Всѣ слушали со вниманіемъ.

— Да ты подумай только, что ты сказалъ! убѣждалъ ораторъ. — Вѣдь ты посѣялъ то, чего уже никоемъ силами не вырвешь. Здѣсь вѣдь есть цѣломудренныя дѣвушки, а ты при нихъ такой срамъ говоришь! Ну какъ тебѣ не стыдно! Вѣдь грѣшно такъ ругаться, трижды грѣшно. Неподобаеъ христіанину такія богомерзкія словеса произносить, да еще обзывать имя ту, которая въ утробѣ своей тебя носила, родила и молокомъ отъ своего сосца питала....

Мужикъ просто чуть не плакалъ, слушая благочестивое ставленіе. Общее вниманіе къ гласу добраго пастыря продолжалось до тѣхъ поръ пока проповѣдникъ не занесся за облака и не ударился въ риторику. Тутъ поднялся смѣхъ и ораторъ замолчалъ. Справедливость требуетъ однакожь сказать, что послѣ этого пастырскаго увѣщанія и послѣ отсутствія самого пастыря, который черезъ двѣ станціи уже оставилъ вагонъ, не слышать было въ нашемъ вагонѣ до самаго Владиміра ни одного неприличнаго, крѣпкаго словца. Дѣло обходилось безъ обычныхъ русскихъ присловій.

Нашъ поѣздъ отправился изъ Москвы въ двѣнадцать часовъ дня и въ шесть часовъ вечера пришолъ во Владиміръ. Дорогой я завелъ разговоръ съ сидѣвшимъ подлѣ меня мужичкомъ о различныхъ предметахъ, но болѣе всего о желѣзной дорогѣ и о

французахъ. Мужичекъ сначала былъ очень словоохотливъ, но когда мы проѣзжали по какому-то мосту и при этомъ случаѣ мнѣ вздумалось похвалить французовъ, строившихъ этотъ мостъ, мужикъ какъ-будто обидѣлся, разсердился на меня и сталъ неразговорчивъ, давъ мнѣ предварительно почувствовать, что моя похвала французамъ была ему непонутру.

— Ты вѣдь ничего въ этомъ дѣлѣ не смыслишь, говорилъ онъ мнѣ: — а вотъ дай-ка намъ волю, да обучи насъ, такъ и мы умудрится и не такіе еще хитрые мосты наведемъ, а почище французскихъ.

Потомъ, помолчавъ немного, онъ обратился ко мнѣ съ вопросомъ:

— Чтò-что французы-то ученые! Да ихъ-то кто обучалъ всему этому? Небось у агличанъ переняли?

Признаюсь откровенно, я сталъ втупикъ отъ этого вопроса; но нежелая перечить мужичку, чтобъ не раздражить его еще болѣе, я согласился съ нимъ:

— Да, говорю, у агличанъ.

— Такъ чтò-что у агличанъ? А агличане-то у кого переняли? Небось у нѣмцевъ?

— Да должно-быть у нѣмцевъ, отвѣчалъ я: — недаромъ говорятъ, что нѣмецъ хитрый, обезьяну выдумалъ.

— Такъ по-твоему и выходитъ, что нѣмцы-то значить сами до всего дошли. Оно и выходитъ, что не боги-же горшки-то обжигаютъ. Небось и мы бы сами домыслились, только вотъ ходу-то намъ еще нѣтъ. Ну какъ по-твоему, такъ ли я говорю?

— Такъ, такъ! отвѣчалъ я.

Послѣ этого онъ заговорилъ со своими сосѣдами, которые по всей вѣроятности были плотники, потомучто у однихъ изъ нихъ висѣли за плечами, а у другихъ лежали въ ногахъ подъ лавкой мѣшки и сумки съ разными плотничьими инструментами. Плотники вели рѣчь о заговорахъ. Одинъ изъ нихъ жаловался на боль въ горлѣ, а другой ему на это отвѣчалъ:

— Эхъ братъ! что ты раньше-то не сказалъ, когда былъ въ нашей деревнѣ? Тебя бы вылечили. Вотъ у меня передъ зимнимъ Миколой горло во-какъ распухло, инда духъ совсѣмъ перехватило. Самсоновна мнѣ и говорить: «Ты, говоритъ, сердешной, выдь въ сѣни да стань лицомъ къ восходу, перекрестись три раза и скажи: «Изва, изва! я тебя съѣмъ — съ углами, совсѣмъ!»

Потомъ опять перекрестись и выплюнь.» Такъ какъ бы ты думалъ? Вѣдь на другой же день полегчало, а тамъ и совсѣмъ прешло.

Прежній мой собесѣдникъ мужичекъ вступилъ было опять со мной въ разговоръ, только ужъ не про желѣзную дорогу и не про французовъ, а о заговорахъ. Я старался его убѣдить, что всѣ заговоры — вздоръ, и потомъ жалѣлъ объ этомъ: моему собесѣднику видимо хотѣлось сообщить мнѣ заговоръ чуть-ли не отъ всѣхъ бодѣзней. Я попытался было поправить свой промахъ и сказалъ, что вѣрую въ заговоры, но все это вышло какъ-то ужасно неловко, натянуто; мужичекъ смекнулъ въ чемъ дѣло и наотрѣзъ объявилъ мнѣ, что послѣ этого лучше и не толковать со мной.

— Ты тамъ что ни говори, выговаривалъ онъ мнѣ, — а я вѣдь вижу, даромъ что ты съ бородой и хоть токуешь про французовъ, что они лучше нашихъ, а вѣдь на умѣ-то у тебя совсѣмъ другое. Да и про заговоры-то разсуждать съ тобой непригоже: вѣдь ученаго учить — что мертваго лечить. Вотъ оно что, я тебѣ скажу!

Отъ Москвы до Владиміра тринадцать станцій; всѣ онѣ довольно коротенькія. На одной только станціи нашъ поѣздъ остановился на четверть часа, на остальныхъ же онъ остановился всего на какихъ-нибудь на три минуты, много на пять; не успеешь и папиросы выкурить — и опять въ дорогу.

Въ артели плотниковъ былъ между прочимъ одинъ очень молодой парень, лѣтъ восемнадцати-девятнадцати, такой коренастый съ виду. Онъ былъ какъ-то особенно восторженъ. Вдругъ напримѣръ ни съ того, ни съ сего, ни къ кому необрашаясь, онъ восклицалъ:

— А вѣдь мы славно ѣдемъ!

Иногда онъ пускался въ разсужденія, точно также необрашая ни малѣйшаго вниманія на то, слушаютъ ли его, нѣтъ ли. Я запомнилъ одинъ изъ такихъ монологовъ:

— Перѣжь бывало поднимешься на-утрѣ ни свѣтъ ни заря, да и отправишься пѣшкомъ; идешь-идешь, насилу къ поздней ночи притащишься, да и то понатужишься развѣ. Версть-то шестьдесятъ какъ отсчитаешь, придешь въ избу-то, приляжешь — и ногъ подъ-собой не слышишь, такъ и пролежишь цѣлый день послѣ эдакой ходьбы. Вотъ какъ умаешься! А то заплатишь бы-

вало какому-нибудь дядѣ двугривенный, чтобъ на обозъ подсадить, вотъ и плетешься два дня восемьдесятъ-то верстъ. А теперь поди-кась ужъ сотню отмахали, а ищю солнышко не сѣло!

Во время остановокъ, когда въ паровые котлы на машинѣ подливали воду, онъ приговаривалъ :

— Ишь ты, словно лошадь, пить захотѣла; выбѣжала верстъ двадцать, ну и давай ей корму. Дали — и опять поѣзжай.

Раздавался свистокъ, и парень замѣчалъ при этомъ :

— Заржала! Напилась-наѣлась значить, сыта стала, больше не хочетъ!

Съ владимірской желѣзной дороги, какъ только пришло нашъ поѣздъ, я отправился прямо на почтовую станцію и предъ-явилъ тамъ свою полорожную по казенной надобности. Тутъ я совершенно случайно встрѣтился съ однимъ помѣщикомъ, который ѣхалъ въ Муромъ, и такъ какъ и мнѣ надо было ѣхать тоже на Муромъ, то мы и уговорились ѣхать вмѣстѣ, то-есть платить прогоны пополамъ. Лошади были готовы, чемоданы наши уложены, и мы усѣлись въ тряскую почтовую телегу. Везли насъ прескверно. Отъ Владиміра до Мурома нѣтъ и ста тридцати верстъ, а мы ѣхали ровно двадцать часовъ, значить по шести верстъ въ часъ. Да петербургскіе пѣшеходы уйдутъ дальше. Въ Муромѣ мы переночевали и расстались. Помѣщикъ поѣхалъ въ свое имѣніе, верстахъ въ девяноста за Муромомъ, составлять уставную грамоту. Моя дорога шла въ совершенно противоположную сторону.

Когда я ѣхалъ первую станцію отъ Мурома, мой ямщикъ между разными поощряющими лошадей фразами, вродѣ напри-мѣръ «эхъ вы, родимыя» или «ну-ну соколики», вставлялъ иногда и такую : «эй вы, студенты!»

На этой же станціи повстрѣчались съ нами на дорогѣ медвѣд-чики съ двумя медвѣдями. Я и спрашиваю ямщика :

— Что ты не свернешь въ сторону куда-нибудь, пока проедутъ медвѣдей? Развѣ твои лошади не испугаются ихъ?

— Пошто пугаться! ненадо бы! отвѣчалъ ямщикъ, и изъ его словъ я заключилъ, что ему хотѣлось испытать своихъ лошадей : а что въ самомъ-то дѣлѣ, испугаются онѣ или нѣтъ?

Противъ моего ожиданія, лошади, повстрѣчавшись съ медвѣдями на разстояніи какихъ-нибудь двухъ сажень, стало-быть

довольно близкомъ , не обнаружили особеннаго испугу и только вскося озирались на косолапыхъ , да уши стояли у нихъ топорикомъ , и больше ничего.

Отъ Мурома вплоть до самаго мѣста моей новой службы я ѣхалъ одинъ , потомучто мнѣ не удалось найти ни одного попутчика. Сначала это одиночество было еще сносно : дремучіе муромскіе лѣса , прославленные въ нашихъ пѣсняхъ и легендахъ , нѣсколько развлекали меня ; но потомъ , начиная отъ Арзамаса , когда мнѣ пришлось видѣть только поля да небо , небо да поля , и притомъ поля уже убранныя , съ поблекшей или пожелтѣлой травой , — на меня напала страшная хандра и скука. Никакого-то развлечения по дорогѣ ! Это унылое , какое-то мертвое однообразіе наводило на меня убійственную тоску.

А тутъ опять на станціяхъ новыя удовольствія : клопы и блохи , да вѣчныя придирки смотрителей , да постоянныя просьбы старость и ямщиковъ на волку... Все это раздражало и сердило меня чертовски. Въ дорогѣ не съ кѣмъ было и слова перемолвить ; ямщики попадались большею частью все какіе-то неразговорчивые. И сидишь себѣ одинъ въ телѣгѣ , перебрасываетъ тебя со стороны на сторону и поминутно получаешь въ бокъ толчки , отъ толчковъ дѣлается колютье въ боку ; чѣмъ дальше ѣдешь , тѣмъ боль становится нестерпимѣе. Въ головѣ чувствуется какая-то тяжесть , сердце ноетъ... Рѣдко-рѣдко когда попадется по дорогѣ вѣтряная мельница , или скирды сѣна , или села и деревеньки съ избами крытыми соломой , но все эти отрывки изъ идилліи плохо разгоняли мою тоску. Мнѣ было невыразимо досадно на что-то и самъ незнаю , и я весь свѣтъ посылалъ къ чорту.

Въ такомъ миломъ настроеніи духа пріѣзжаю на станцію Прудки. Какъ на зло , смотритель оказался тутъ прекраснорѣчивѣйшимъ изо всѣхъ смотрителей. Богъ его знаетъ , спалъ ли онъ долго , или долго не говорилъ ни съ кѣмъ , только когда я вошелъ въ комнату , языкъ у него точно съ цѣпи сорвался. Мой смотритель пустился въ такія разсужденія касательно бренности и скоротечности человѣческой жизни вообще , и понесъ такую дичь , что я слушалъ , слушалъ и подошелъ къ оратору и спрашиваю : « а что , лошади скоро будутъ готовы ? » Цицеронъ на минутку опѣшалъ , но только на минуту. Онъ сообразилъ должно-

быть, что надоѣлъ мнѣ своими умствованіями, и поспѣшилъ пережѣвить разговоръ.

— Куда ѣхать изволите? спросилъ онъ меня съ особеннымъ участіемъ.

— Да вѣдь вы видѣли, читали и даже прописывали мою подорожную! отвѣчалъ я скрѣпя сердце. А жолчь такъ и подступала подъ самое горло.

— Такъ-съ.

Смотрителю стало какъ-будто неловко.

— А позвольте спросить, вы надолго изволите ѣхать въ этотъ городъ?

— И самъ незнаю. Это не отъ меня зависитъ. Послали меня, вотъ я и ѣду. Почему знать, можетъ не успѣю я доѣхать до города, какъ дадутъ знать по телеграфу, чтобъ я не туда ѣхалъ, а въ Сибирь куда-нибудь.

— Такъ, такъ-съ; конечно туда и надо отправиться.

Нѣсколько минутъ молчанія. Смотритель пережѣвываетъ предметъ разговора.

— Служить вѣдь должно; что такъ-то задаромъ-то проживаться? Потому вѣдь разныя потребности случаются въ жизни. А гдѣ взять? Ну, а служишь, значить и доходы какіе-нибудь получаешь. Вѣдь человѣкъ тогда только и счастливъ, когда имѣетъ полное свое продовольствіе.

Послѣдняя фраза заняла меня. Смысла ея я не понялъ и просилъ смотрителя растолковать мнѣ, въ чемъ по его мнѣнію заключается счастье и что это такое — полное продовольствіе.

— Да какъ въ чемъ? началъ свое объясненіе смотритель. — Известное дѣло, когда человѣкъ сытъ, значить чего же еще больше этого нужно? Безъ этого вѣдь и жить нельзя. Вотъ почта придетъ, я ее отправлю; вотъ вы пріѣхали, и вамъ лошадей дамъ; ну, а почта не придетъ, да вы бы тоже не пріѣхали — оно вѣдь какъ-будто и ничего, а ѣсть-то все-таки требуется. Ужь такъ созданъ человѣкъ.

Я сталъ разсматривать какъ созданъ смотритель. Свою теорію какъ-видно онъ весьма успѣшно примѣнялъ къ своей натурѣ. Это былъ человѣкъ немного выше средняго роста, толстенькій, жирненькій, съ маленькими глазами и таки порядочнымъ брюшкомъ. Его фигура гораздо яснѣе его словъ разъяснила

миѣ, въ чемъ именно заключается «полное продовольствіе». Этимъ объясненіемъ дѣло однакожъ не кончилось. Смотритель повелъ атаку съ новой стороны, еще нетронутой.

— Грибковъ въ укусуѣ вамъ неугодно ли, или рыжичковъ? А то не любите ли вы грузди моченые? Можно тетерьку или рябчика зажарить. И супъ изъ потроховъ сдѣлаю: свиной вѣдъ здѣсь у насъ много. Яичекъ не пожелаете ли?

Я отъ всего отказался. Непріятель не отступалъ.

— А то самоварчикъ поставить не прикажете ли? У меня есть сливки безподобныя—съ, потому значить свои коровушки. Вотъ бы чайку съ такими сливочками. И къ чаю есть у меня слобныя лепешечки. А то творожку со сметанкой да съ корячкой: легкое кушанье—съ.

Я опять отказался.

— Ну, а водочки—съ? Ужъ рюмочку разрѣшите пропустить.

— Благодарю, я волки не пью.

— Неужели и въ дорогѣ—то этого снабдѣя не употребляете? А я вотъ хоть по крайі деревни пѣшкомъ ли дойду, доѣду ли, — ну ужъ и хочется выпить. Нельзя же безъ этого—съ! Потому потрясешся.

Все это словоизверженіе кончилось тѣмъ, что смотритель спросилъ съ меня прогоны за лишнюю лошадь.

— Да вѣдъ въ моей подорожной сказано, говорю я ему, — давать двѣ лошади; я и плачу на пару. А что миѣ вездѣ припрягаютъ третью, такъ это ужъ дѣло ямщика; я и не прошу везти меня на тройкѣ.

— Такъ—съ, это я понимаю; да время—то теперь видите ли осеннее.

— Чѣмъ же я виновать, что теперь осеннее время?

— Тяжело возить по—осени: грязь, дороги худыя...

— Да вѣдъ до этой станціи везли же меня и не требовали прогоновъ за третью лошадь?

— Тамъ дѣло другое: тамъ были легкія станціи, а наша ужасъ какая тяжолая.

Нежелая вступать въ дальнѣйшія объясненія со смотрителемъ, я закурилъ папироску и легъ на диванъ, показывая видъ, что для меня рѣшительно все равно, ѣхать или сидѣть на станціи. Словами тутъ ничего не подѣлаешь, разсуждалъ я самъ про себя: — надо попробовать, нельзя ли взять хоть терпѣнемъ;

вѣдь только поддайся этимъ алтынникамъ на одной станціи, а тамъ ужъ и поидеть. И какъ это у нихъ дѣлается? Ямщики ли толи передаютъ со станціи на станцію, или ужъ какое-то особенное чутье у этихъ станціонныхъ смотрителей... не понимаю!

Смотритель скрылся, но ненадолго. Не прошло двухъ минутъ, какъ онъ былъ опять передо мной. Ему какъ-виднo хотѣлось вкратцѣ, еп гѣснмѣ провѣрить выводы, къ которымъ привели его мои предыдущіе отвѣты.

— Такъ закусить вы не хотите?

— Нѣтъ, отвѣчаю я нехотя.

— И самоварчика тоже неужно?

— И самоварчика тоже неужно.

— А за третью-то лошадку заплатите?

— Нѣтъ.

Коротенькая пауза.

— Вотъ бы вы подвезли мою родственницу къ Заплаткамъ, началъ онъ ублажающимъ голоскомъ: — отсюдава недалече-сь, всего четыре станціи.

— На это я пожалуй согласенъ.

— Такъ какъ же-сь, заплатите за третью-то лошадку?

— И еще везти вашу родственницу!..

— Это какъ вамъ будетъ угодно.

— Въ такомъ случаѣ я за третью лошаду не плачу, а пусть платитъ за нее ваша родственница.

— Ну хоть за пол-лошадки-то заплатите!

— И за четверть-лошадки платитъ не буду! сказалъ я наконецъ свирѣпо, выведенный окончательно изъ терпѣнья неотвязчивостью смотрителя.

— Ну ужъ Богъ съ вами, коли неужодно вамъ за третью-то лошаду, приплатить. Только позвольте моей-то родственницѣ сѣсть вмѣстѣ съ вами въ телѣжку.

— Извольте, мѣста для нея въ телѣгѣ будетъ.

И поѣхалъ я съ какой-то бабеночкой. На слѣдующихъ трехъ станціяхъ опять таже исторія, то-есть съ меня требовали проговы за третью лошаду. Я отвѣчалъ, что плачу столько, сколько прописано въ подорожной.

— Но вѣдь васъ ѣдетъ двое? замѣчали мнѣ станціонные смотрители.

— Ну такъ вы и требуйте за третью лошаду съ того, кто со

мною ъдѣть. Если платить не будутъ, такъ я одинъ поѣду и платить буду все-таки за двѣ лошади.

Мучители обращались къ моей спутницѣ, а та начинала свой отвѣтъ затверженной формулой: «Со станціи Прудковъ станціонный смотритель такой-то приказалъ вамъ кланяться и просилъ, чтобъ ужъ вы при случаѣ переслали бы меня съ вашей станціи» и т. д. Дѣло улаживалось: денегъ съ нея не брали, и она прелюбезно, то-есть безпрогонно доѣхала со мною до Заплатокъ.

— Какъ отправить-то васъ, право незнаю? сказалъ мнѣ задумчиво смотритель на послѣдней станціи.

— А что спросилъ я: — развѣ лошадей нѣтъ?

— Лошади-то есть, да ямщики-то плачутъ.

— О чемъ же они плачутъ?

— Да никому изъ нихъ нехочется везти васъ.

— Почему же нехочется везти? Вѣдь я прогоны плачу и на водку даю.

— Видите ли, до городу-то отсюда почитай-что ровно тридцать верстъ, а городъ-то, куда вы ѣдете, стоитъ не на тракту, а въ сторонѣ, и верстъ двадцать приходится ѣхать проселкомъ, а теперь въ дожди-то по проселку такая дорога — просто кисель. Ужъ я вашему благородію вотъ что скажу: не согласитесь ли вы ѣхать на вольныхъ? Оно вѣдь все равно, что почтовый ящикъ, что вольный. Я сей минуточки представлю вамъ такого молодца, что скорѣе чѣмъ на нашихъ доѣдете.

Я согласился ѣхать на вольныхъ, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы платить прогоны такіе какъ и почтовому ящику.

По выходѣ со станціи я попробовалъ освѣдомиться у ящика: каковъ городъ Корсаръ? Отвѣты были впрочемъ мало удовлетворительные.

— Кто его знаетъ! говорилъ ящикъ: — онъ вѣдь далеко отъ большой дороги, такъ туда почти-что никто и не ѣздитъ, и ничего про него неслыхать, какъ тамъ люди-то живутъ.

— А кого больше, татаръ или русскихъ въ этомъ городѣ?

— Нѣтъ, тамъ все народъ благочесливый, татаръ-то нѣтъ въ городѣ, а верстахъ въ пятнадцати или маленько побольше живутъ эти поганые нехристи.

Отѣхавъ версты три отъ станціи, я замѣтилъ, что ноги мои исчезли изъ телѣги; произвожу слѣдствіе, куда дѣвались мои но-

ги? Оказалось по слѣдствію, что телѣга, въ которой я ѣхалъ, тоже была не почтовая, а вольная, некрытая внутри ничѣмъ, а только были одни жордочки, такъ что пространство въ телѣгѣ было безграничное. Когда я сѣлся въ телѣгу на станціи, всего этого и не примѣтилъ, все было замаскировано соломой, которая по мѣрѣ того какъ мы ѣхали, сѣялась изъ телѣги какъ изъ рѣшета и наконецъ вся исчезла; тогда пошли въ ходъ мои ноги. Со стороны ямщика я ждалъ извиненій въ неисправности его телѣги, а онъ, разбойникъ эдакой, давай подсмѣиваться надо мной, приговаривая:

— Баринъ, держи свои ноги покрѣпче, а то потеряешь!

Съ версту недоѣзжая до города, я былъ встрѣченъ какимъ-то господиномъ въ шинели, съ тростью въ рукѣ и съ кокардой на фуражкѣ. Повидимому онъ вышелъ за городъ ради прогулки. Ямщикъ снялъ шапку и сказалъ:

— Здравствуйте, Лѣксѣй Лександрычъ!

— Кто это такой! спрашиваю я потомъ у ямщика.

— Непремѣнный. Онъ теперь за городничаго: настоящей-то гу отпуску, такъ онъ и справляетъ за него должность-ту.

А! такъ вотъ оно, главное-то дѣйствующее лицо! подумалъ я. Кто-то другія дѣйствующія лица! Какова-то будетъ постановка на этой новой для меня сценѣ? Какую-то роль придется играть и въ какихъ-то пьесахъ суждено мнѣ быть простымъ зрителемъ? А мало ли какихъ пьесъ разыгрывается вездѣ, на каждомъ шагу — и въ столицѣ, и въ тиши и глуши провинціальной жизни.

Для перваго разу обстановка была недурна: передо мной на возвышеніи красовался городокъ съ домами и церквями; справа горы, покрытыя густымъ лѣсомъ, слѣва необозримыя поля. Ландшаптикъ хоть куда! Точно такой же ландшаптикъ, я помню, былъ на блюдечкѣ, съ котораго меня еще маленькаго пня повла чаемъ.

II

ПЕРВЫЕ ВИЗИТЫ

Было сѣренькое утро въ петербургскомъ вкусѣ; напрыскивалъ мелкій дождь,

Туманы по полю, какъ жолтый дымъ,
Носилися и медленно рѣдѣли.

— Куда-жъ васъ везти-то? спрашивалъ меня ямщикъ на мосту передъ самымъ городомъ.

— Да куда-нибудь. Я всего еще въ первый разъ въ этотъ городъ ѣду, никого не знаю. Не знаю гдѣ и остановиться.

— Такъ не у Бѣлоножки ли? али на постоялый?

— Вези на постоялый.

Пріѣзжаемъ. Грязь, сырость, смрадъ, холодъ, грубость сразу осадили меня, когда я вошелъ въ комнату постоялаго двора. Тутъ я вспомнилъ одного моего знакомаго, который говорилъ мнѣ въ Петербургѣ, что проѣзжая черезъ Корсаръ, онъ остановился на постояломъ дворѣ и спалъ на столахъ. Мнѣ же приходилось быть въ этомъ благословенномъ городкѣ не проѣздомъ и не на короткое время, а остаться въ немъ жить и состоять на службѣ. Вотъ я скорѣе опять въ телѣгу и сказалъ ямщику, чтобъ онъ везъ меня къ Бѣлоножкѣ. Тамъ новая неудача: квартира занята судебнымъ слѣдователемъ. Дѣлать нечего, поѣхали въ третье мѣсто искать квартиру, но и тамъ не было еще конца нашему течевью.

— Ну вези хоть на почтовую станцію, если ужъ негдѣ на первый разъ остановиться, сказалъ я ямщику, проѣхавъ городъ съ одного конца до другого, отыскивая квартиру.

— На пошту значитъ, къ пошмистеру?

— Зачѣмъ къ почмейстеру! я его не знаю, а ты вези меня на почтовую станцію.

— Да на какую же это поштовую станцію? разсуждалъ ямщикъ. — Здѣсь нѣту такой. Развѣ что новѣ dospѣли?.. Перѣжъ не было.

— Какъ нѣтъ? Да вѣдь есть же ямщики, которые возятъ почту: вѣдь у нихъ лошади-то чай на почтовой станціи стоятъ?

— Не знаю я про это дѣло! отвѣчалъ ямщикъ, отрицательно покачавъ головой: — ничего я про это не знаю. А вотъ постоялка я сбѣгаю, спрошаю у кого-нибудь.

И онъ отправился въ первыя же попавшіяся ему на глаза ворота, разсуждая вслухъ самъ съ собою: «Не знаю, не знаю... Развѣ что у Чернышова?... Да нѣтъ, все статья неподходящая... Развѣ вотъ гдѣ!» Онъ какъ-будто вспомнилъ о чемъ-то и торопливо шмыгнулъ за ворота. Минуты черезъ три онъ снова по-

казался въ воротахъ , но на этотъ разъ шолъ уже какъ-то особенно лѣнливо.

— Нечего было и толковать и выспрашивать , говорилъ онъ мнѣ : — моя правда-то выходить. Здѣсь говорятъ , и всего-то навсего два ямщика съ половиной , да и тѣ во своихъ избахъ живутъ. А вотъ мнѣ сказали , что тамо , на площади — онъ указалъ рукой — есть фатера отличная : самъ городничій на ней жилъ. Одно слово господская фатера.

— Ну ладно вези куда знаешь.

Въ сущности для меня было рѣшительно все равно , городничій ли жилъ на той квартирѣ , куда повезъ меня ямщикъ , или пшецъ при полиціи. Мнѣ бы только уголокъ какой найти , гдѣ бы я хоть на одинъ день могъ приютиться послѣ такой утомительной долгой дороги — и тому бы я радъ былъ душевно.

Вотъ ямщикъ привозитъ меня на какую-то площадь , дотога сую и убогую , что она даже вся травой поросла. Среди площади возвышается нѣчто кирпичное , четырехугольное ; въ этомъ возвышеніи съ двухъ противоположныхъ сторонъ сдѣланы углубленія ; въ углубленія вставлены весьма древнія иконы ; содержаніе иконъ темно , такъ что краска на нихъ почти вся полиняла и остались одиѣ досчечки. Впослѣдствіи я узналъ , что на этомъ мѣстѣ въ древнія времена стояла церковь , каменная или деревянная , и по какому поводу она превратилась въ кирпичный столбъ — этого никто мнѣ не могъ разъяснить. На этой-то площади я и поселился въ одномъ изъ маленькихъ домиковъ , ее окружавшихъ.

Маленькой домишко , или вѣрнѣе флигелекъ , гдѣ я нанялъ квартиру , гордился древностью своего происхожденія ; стоялъ какъ-то на бокъ и чуть ли не съ каждымъ годомъ все глубже и глубже садился въ землю : среда видимо заѣдала его ; онъ грустно , исподлобья поглядывалъ на площадь своими тремя окошечками съ позеленѣвшими стеклами и какъ-будто спрашивалъ : кто изъ насъ кого больше красить — я ли площадь или площадь меня? По самыя окна онъ былъ обсыпанъ землей , какъ это бываетъ въ деревняхъ , то-есть сдѣлана завалина , на которой я мечталъ усѣсться въ ясный лѣтній день вмѣстѣ съ какой-нибудь дворняшкой Жучкой и общими силами грѣться на солнышкѣ.

Внутри двѣ комнатки , сырыя , съ угаромъ , нештукатуренныя , но зато оклеенныя грязными , засаленными и несовсѣмъ при-

личного цвѣта оболми. Ужъ лучше бы было оставить голыя бревенчатыя стѣны. Въ одной изъ двухъ комнатъ, въ переднемъ углу, въ деревянной тяжелой рамѣ въ видѣ кіота, висѣлъ большой образъ въ серебряномъ окладѣ. За стекломъ по обѣимъ сторонамъ образа стояли, какъ гласить мѣстное преданіе — болѣе двадцати лѣтъ, вѣнчальные свѣчи, перевязанныя ленточками сомнительнаго цвѣта. Въ самомъ углу за образомъ торчалъ пучекъ вербы. По срединѣ потолка и по бокамъ красовалась лождевая протекція.

Вотъ какого содержанія были «парадныя» комнаты. Кромѣ нихъ была еще прихожая, цвѣтъ и украшеніе моей квартиры. Климатъ въ этой странѣ весьма тяжелый и нездоровый. Съ одной стороны великолѣпно красуется безобразная, полуразвалившаяся большая печь, точно въ банѣ; съ другой стороны маленькое, едва пропускающее свѣтъ, окошечко; кругомъ по стѣнамъ лавки, полъ безъ всякаго ладу и складу, а всякая доска сама по себѣ; въ углахъ плесень. Въ прихожей я даже не снималъ калошъ, всячески избѣгалъ этой арестантской комнаты и появлялся въ ней только для совершенія процесса умыванія.

Самоваръ подавался весь въ морщинахъ, видно что бѣдняга много пожилъ на свѣтѣ; чайникъ курносый, чашка безъ ручки, стакавовъ вовсе не водилось, у блюдечка отбить кажись было нечего: ни носка нѣтъ, ни ручки, а все-таки и у него кусочекъ былъ выломленъ, точно какъ у драчливой собаки — хоть гдѣ-нибудь да выхваченъ хлопокъ шерсти. Объ остальной домашней утвари нечего распространяться: она не нарушала общей гармоніи и не производила безпорядка въ хронологическомъ отношеніи лѣтъ хозяйки и всего ея дома. Напримѣръ столы, стулья, комодъ, диванъ и проч., все это было построено чуть ли не изъ остатковъ нова ковчега и доставлено моей хозяйкѣ прямехонько съ араратскихъ вершинъ.

И сама хозяйка принадлежала къ числу рѣдкостей. Это была старушка-вдова мѣщанка, пренеопрятная, безъ криволиния, охающая и поминутно вопіющая: «охъ господи помилуй!» Что бы ни спросилъ ее, прежде чѣмъ дать отвѣтъ, она сначала болѣзненно жалобно простонетъ «охъ господи помилуй», и только потомъ отвѣчаетъ на вопросъ. Спросишь ее напримѣръ: «Ну что Федосья Сысоевна, поставили самоваръ?» или «принесли мѣъ воды?» Она отвѣчаетъ: «охъ господи по»

милуй! поставила; охъ господи помилуй! принесла.» Какъ-будто она согрѣшила и раскаявалась въ томъ, что самоваръ поставила или воды принесла. Эта божья старушка была первая личность, съ которой по прїѣздѣ волей-неволей пришлось мнѣ покорооче познакомиться.

Такая квартира съ такой хозяйкой, съ дровами и водой стояла въ мѣсяцъ пять рублей.

Имщикъ внесъ въ комнату мои вещи. Прежде всего я спросилъ себѣ умыться, такъ какъ во всю дорогу, то есть въ продолженіе цѣлой недѣли я не умывался ниразу; все какъ-то не доводилось. Мнѣ подали вмѣсто таза большую деревянную чашку, а умывальникъ или кувшинъ замѣнялся кострулей, покрытой со дна и съ боковъ сажей, жаль только что не голандской, а все-россійской, а то бы я непременно нафабрился. По окончаніи обряда умыванія коструля командировалась въ печь и возвратилась оттуда къ обѣду съ кашей.

Былъ уже двѣнадцатый часъ, когда мой туалетъ былъ совершенно оконченъ. Я имѣлъ намѣреніе сдѣлать набѣгъ на сосѣдственныя племена, познакомиться съ нравами и обычаями туземныхъ обитателей.

— А кто у насъ здѣсь по сосѣдству живетъ? спрашиваю я у хозяйки.

— Охъ господи помилуй! протонала хозяйка: — да сосѣдъ-то у насъ исправникъ.

Ну исправникъ такъ исправникъ. Иду къ исправнику.

Домъ исправника былъ извѣстенъ всякому: это былъ единственный во всемъ городѣ двух-этажный, деревянный, новый домъ. Крыльцо со двора, звонка нѣтъ разумѣется, лѣстница кверху. Иду наверхъ, ни души живой не вижу. Но что въ домѣ была хоть одна живая душа, въ этомъ убѣждали меня звуки органа. Это были не тѣ нѣжные, захватывающіе за душу звуки, которые

Лились, лились,

Какъ слезы, мѣрно другъ за другомъ,

нѣтъ, эти звуки были иного разбора. Это были тѣ звуки, которые заставляютъ собаку выть безчеловѣчно. Неприятное собачье чувство стало мнѣ понятно. Я поднялся по лѣстницѣ ступенекъ десять и остановился; вижу — наверху, въ прихожей, возлѣ лѣстницы стоитъ органъ, на которомъ играетъ горничная. По-

стоявъ минуты двѣ, я поднялся на самый верхъ лѣстницы; горничная все вертитъ да вертитъ ручкой органа, а на меня и не взглянетъ; ужъ такъ была упоена она музыкой, что не слышала моего шороху и кашлю, которыми я хотѣлъ вывести ее изъ упоенія. Такъ былъ быстръ до невѣроятности, многихъ ночь не хватало. Музыка была удивительная, органъ гудѣлъ изо всей силы какою-то плясовую русскую пѣсню.

Наконецъ горничная оглянулась, увидала мою фигуру и подбѣжала ко мнѣ.

— Александра Юрьевича нѣтъ дома-съ! проговорила она.

— А скоро онъ будетъ дома?

— Они уѣхали-съ. И неизвѣстно скоро ли будутъ-съ.

Дѣлать нечего, пойду теперь къ судѣ. Судья жилъ на Главной улицѣ, въ собственномъ домѣ. Иду въ Главную улицу. Домъ судьи заключалъ въ себѣ нѣчто манежное: длинное зданіе въ одинъ этажъ, казенной архитектуры. Здѣсь крыльцо было парадное, съ улицы; возлѣ двери былъ устроенъ звонокъ (единственный во всемъ городѣ, какъ оказалось впоследствии), попетербургски. Но не знаю почему, мнѣ захотѣлось попробовать, не отворится ли дверь безъ звонка. Я потянулъ за ручку и дверь отворилась тотчасъ же. Мнѣ представилась такого содержанія сцена: молоденькая, хорошенькая горничная, нагнувшись къ полу, держитъ лѣвой рукой кошку, филейными частями впередъ, и поретъ ее сырими вѣшникомъ. Подсудимая вѣроятно была поймана съ поличнымъ, au flagrant delit, и сѣкли ее конечно по судейскому приговору. Но что меня всего больше поразило, — подсудимая не издавала никакого крика: хотѣла ли она показать твердость своего характера, или ужъ такъ, просто по сознанію всей тяжести своего преступленія, но только она не ревѣла. Когда горничная меня замѣтила, то сейчасъ же и встала.

— Вамъ кого угодно? спрашиваетъ она меня, между тѣмъ какъ жертва ея пустилась бѣжать безъ оглядки, опустивши хвостъ.

Я назвалъ ей судью.

— Ихъ дома нѣтъ-съ, они теперь въ судѣ. А объ васъ какъ доложить?

— Скажите, что былъ здѣшній лекаръ такой-то.

— Какъ здѣшній лекарь? спрашиваетъ меня горничная съ удивленіемъ.

Я объяснилъ ей, что я «новый» лекарь, только-что пріѣхалъ.

Мнѣ однакожъ начинало становиться досадно. Того дома нѣтъ, другого дома нѣтъ. Неужели, думалъ я, возвращаясь отъ судьи — мнѣ придется розыскивать каждаго изъ обитателей Корсара точно также, какъ пришлось розыскивать квартиру? Хоть кого-нибудь да застану же дома. Да и найду къ уѣздному врачу, авось онъ не въ уѣздѣ.

Дѣйствительно онъ былъ дома. Вхожу къ нему и рекомендую :

— Такой-то, здѣшній городской врачъ.

— Наконецъ-то вы пріѣхали! вскричалъ мой собратъ по профессіи : — мы васъ просто заждались. Объ васъ ужъ давнымъ-давно дано знать, что вы опредѣлены въ нашъ городъ. Еще въ сентябрѣ врачебная управа писала мнѣ о вашемъ назначеніи сюда и чтобы я сдалъ вамъ больницу и всѣ дѣла.

Собратъ мой, уѣздный врачъ Николай Федорычъ Исаковъ жилъ въ собственномъ домѣ, со своими, какъ онъ самъ выражался, «стариками», то есть съ отцомъ и матерью. Такъ какъ городского врача не было, то завѣдываніе городской больницей на время поручено было ему.

Между нами завязался вскорѣ оживленный разговоръ, чему помогло то обстоятельство, что Николай Федорычъ и я были медики и притомъ одного поля ягоды, то есть оба мы такъ-сказать цвѣли и зрѣли въ одномъ университетѣ, только разница между нами была та, что онъ раньше меня кончилъ курсъ : такъ-что когда я поступилъ въ университетъ, онъ ужъ былъ на службѣ. Мы говорили о томъ, что и какъ было въ его время и какъ потомъ послѣ него всѣ порядки измѣнились въ университетѣ и въ какомъ видѣ они были уже въ мое время. Говорили о профессорахъ, которыхъ онъ слушалъ и которые сохранились въ университетѣ и въ мое время. Договорились до того, что на поднось внесли въ залу весьма скромную закусточку : водочки, хлѣбца да грибковъ. Приступая къ закусточкѣ, я спросилъ его :

— Какова здѣсь больница?

— Плоха! отвѣчалъ онъ.

— И ужъ будто не найдется въ ней хоть чего-нибудь порядочнаго?

— Ровно ничего, а что и есть, такъ никуда не годится. Всего хуже смотритель, ничего не дѣлаетъ, ви за чѣмъ не смотритъ; дѣлъ вести вовсе не умѣетъ, сколько я ни старался, ничего не могъ съ нимъ подѣлать. Да мнѣ и возможности не было что-нибудь сдѣлать; то меня нѣтъ въ городѣ, въ уѣздъ уѣдешь и не знаешь, что дѣлается въ больницѣ; то онъ принесетъ бумаги подписать передъ самымъ отходомъ почты и когда у меня другого дѣла много; ну гдѣ-жъ тутъ сообразишь да повѣришь!

Мы выпили и закусили, онъ продолжалъ.

— Много вы хлопотъ наживете съ смотрителемъ, приходо-расходныхъ книгъ онъ въ свое время не представляетъ къ подписи, и если вы хотите что-нибудь сдѣлать, такъ требуйте, чтобъ по окончаніи каждаго мѣсяца онъ непременно представлялъ вамъ отчетъ; а то вѣдь мѣсяца по три, по четыре ничего неизвѣстно, какъ онъ ведетъ дѣла, какіе сдѣланы расходы и на что истрачены больничныя деньги. Прежде всего надо приняться именно за смотрителя; въ случаѣ неправильныхъ расходовъ, которые онъ сдѣлаетъ, по закону онъ не отвѣчаетъ, а вся отвѣтственность падетъ на членовъ совѣта больницы, а вы кромя того какъ членъ, еще и предсѣдатель конторы въ больницѣ, такъ вамъ всѣхъ хуже и придется. Хорошо еще, если напугаетъ въ счетахъ и чего не доставетъ, съ васъ только взыщутъ деньги, а то вѣдь и хуже можетъ быть, подъ судъ упекутъ.

— А есть хоть какіе-нибудь хирургическіе инструменты?

— Нѣтъ.

— А лекарства есть?

— Ну это-то хоть немного да есть, впрочемъ хоть оно и есть, но никуда не годится; что годилось, такъ то ужъ давно все издержали, ждите новаго году, тогда вышлютъ изъ Москвы по положенію годовой запасъ лекарствъ, половины-то изъ нихъ и на полгода не хватитъ, тогда опять и сидите безъ лекарствъ. Да вотъ завтра я вамъ передамъ больницу, такъ все сами увидите.

Это было сказано такимъ тономъ, что дескать на словахъ передать невозможно, лучше и не спрашивайте, а завтра все на дѣлѣ лучше поймете, потому я прекратилъ разговоръ о больницѣ.

— А какова практика? спросилъ я.

— Въ городѣ-то отъ практики вы ничего не получите; много что рублей десять во весь годъ.

— Неужели только?

— И это еще много. Пожалуй, если хотите такъ практиковать у васъ будетъ и даже большая, только платить вамъ никто ничего не будетъ, даромъ лечи! Много и бѣдныхъ есть, которымъ нечѣмъ заплатить врачу; еще есть такіе, сами себя лечащіе и даже практикующіе: это гомеопаты и гомеопатки; напримеръ есть одна барыня Ельцина, у ней говорятъ въ базарный день (у насъ базарный день пятница) много бываетъ народу, который пріѣзжаетъ въ городъ изъ деревень, и всѣхъ она лечитъ своими капельками да крупинками. А то вотъ еще и окружный докторъ тоже въ гомеопата претворился, и есть помѣщики, которыхъ онъ гомеопатически лечитъ.

— Ну, а въ уѣздѣ у помѣщиковъ какова практика?

— У кого какъ, случается что иной разъ просятъ, а лошадей-то непришлютъ, вотъ и наймешь самъ, и ѣдешь верстъ за пятнадцать, за двадцать, да назадъ такимъ же манеромъ, а за визитъ получишь сипенькую: воротиться домой, этими же деньгами и расплатишься съ ямщикомъ. И за это еще слава-богу надо сказать, а то изъ своего кармана добавлять приходится.

Я присидѣлъ у Николая Федорыча часа два. Потомъ онъ повелъ меня знакомить съ другими обывателями города и проходя мимо дома казначея, сказалъ:

— Не зайти ли къ казначею Семену Яковличу Бѣлянину? Онъ теперь навѣрно ужъ пообѣдалъ, но спать еще не легъ.

Зашли къ Семену Яковличу. Это была организація худая, тончая, вытянувшаяся далеко вверхъ, прозѣвавшая почему-то въ положенный срокъ пожениться, но еще колебавшаяся, тоже почему-то превратиться въ стараго холостяка, въ сущности же дѣйствительно таковымъ состоящая: съ нѣсколько потраченными и отъ времени полинявшими волосами на головѣ, съ физиономіей сильно подержаной, старающейся пріятно улыбаться. Въ университетѣ Семенъ Яковличъ никогда неучился; онъ даже во снѣ не могъ представить себя студентомъ. Онъ былъ чиновникомъ отъ рожденія и именно казначеемъ; его длинныя, тонкіе, костлявые пальцы были удивительно приспособлены къ быстрѣйшимъ выкладкамъ на счетахъ.

Безъ закуски разумѣется и здѣсь не обошлось. Я выпилъ рябиновой наливки одну, другую рюмочку и т. д. до шести кажется. Я любовался каждый разъ, когда Семенъ Яковличъ валивалъ себѣ рюмку: онъ брался за нее своими науковыми пальчиками съ такой отчетливостью, какъ—будто скидывалъ косточку на счетахъ.

Разговаривать съ этимъ субъектомъ было рѣшительно не о чемъ. «Ну какъ вы находите нашъ городъ? да «вамъ онъ вѣроятно послѣ Петербурга показался деревней?» да «Не скучаете ли вы здѣсь?» это были неизбѣжные вопросы во всякомъ домѣ, куда только я ни заходилъ. Скучно было ихъ слушать, а отвѣчать на нихъ даже не хотѣлось, даже досадно было. Всѣ смотрѣли на меня какъ на столичнаго гуся, какъ—то дико; но признаться откровенно, послѣ подобныхъ вопросовъ я на каждого своего новаго знакомаго посматривалъ какъ на провинціальную утку. Съ Семеномъ Яковличемъ только и можно было разсуждать, что о пяточкахъ да о четвертачкахъ, да пожалуй для разнообразія о фальшивыхъ бумажкахъ. Къ сожалѣнію я зналъ всего только одинъ анекдотъ о пяточкахъ, да и тотъ неказначейскій, а нашъ медицинскій, изъ лекарской практики. «Вообрази какая странная исторія сегодня у меня вышла, говоритъ одинъ изъ оканчивающихъ курсъ студентовъ своему товарищу: — Прихожу къ Темникову — ты вѣдь его знаешь? Отчаянно боленъ. Что такое? Да вотъ, говорятъ его родные, цѣлковый серебряный проглотилъ, теперьдохнуть не можетъ. Ну я посмотрѣлъ на больного и вижу — дѣйствительно малого—то вспучило. Я разумѣется сейчасъ же слабительнаго. Сильнѣйшаго. Принялъ, и чтобы ты думалъ: цѣлковый—то вѣдь вышелъ!» — «Чтоже тутъ страннаго—то, я все—таки не вижу?» — «Да ты слушай. Цѣлковый—то вышелъ, да непросто, а все знаешь пяточками, пяточками...»

Слушатели хохотали и остряли, казначей всѣхъ больше. Онъ даже спросилъ: «только нефальшивыми ли?»

Послѣ этого анекдота я вспомнилъ, что я связанъ съ Семеномъ Яковличемъ узами денежныхъ счетовъ, такъ какъ жалованье, какъ я полагалъ, мнѣ слѣдовало получать отъ него. Вопросъ о жалованьѣ былъ слишкомъ близокъ моему сердцу, чтобы я оставилъ его безъ вниманія.

— А когда вы мнѣ жалованье дадите? спрашиваю я у казначея.

— Да вы не отъ меня будете получать жалованье, отвѣчалъ онъ, принявъ вдругъ пресерьозную, истинно-казначейскую мину, — а вамъ будетъ высылать приказъ изъ губернскаго города.

— Акуратно будутъ высылать каждый мѣсяць?

— Вотъ ужь этого я не знаю; вамъ причитается получать всего въ мѣсяць шестнадцать рублей съ копѣйками, — сумма небольшая, — такъ можетъ-быть будутъ высылать по прошествіи двухъ мѣсяцевъ.

— Какъ же это сдѣлать, чтобъ приказъ въ губернскомъ городѣ узналъ о моемъ пріѣздѣ? спрашивалъ я, такъ какъ юридическія формальности были мнѣ совершенно неизвѣстны.

— Да очень просто: напишите рапортъ въ вашу врачебную управу, что вы прибыли такого-то числа сюда въ городъ къ мѣсту вашей службы, да кромѣ того напишите еще рапортъ о томъ, что вы просите врачебную управу о высылкѣ денегъ слѣдующихъ вамъ въ уплату жалованья, не забудьте, другая-то бумага тоже рапортъ, потому что къ начальству подчиненные пишутъ только рапорты, о чемъ бы ни писали по службѣ; управа ужь отнесется куда слѣдуетъ, вотъ и все.

«Да все!» думалъ я: знаю я это «все»!

Николай Федорычъ вскорѣ ушелъ домой, а я получилъ отъ казначея приглашеніе сѣсть на дрожки и покататься съ нимъ по городу. Вотъ мы и усѣлись вдвоемъ на дрожкахъ древнѣйшей архитектуры; въ четверть часа объѣхали всѣ улицы города, потомъ зашли въ лавку. Семень Яковличъ купилъ разливательную ложку, подсвѣчникъ и миндальныхъ пряниковъ, потому, какъ онъ самъ объяснялъ, что чувствуетъ къ нимъ сильную слабость. Съ своей стороны я купилъ сахару и мыла. Хотѣлъ было еще купить гребенку и щетки для платья и сапогъ, но такого товару неказалось.

Накатавшись досыта, накупивъ обновъ и откушавъ чаю со сливками у казначея, часу въ девятомъ вечера я возвращался домой пѣшкомъ. Осенняя ночь дотога была темна, — хоть глазъ выколи; незная еще мѣстности города; я какъ слѣпой волаѣ огорода, пробирался около стѣнъ домовъ. Во всемъ городѣ не свѣтилось ни одного фонарика; всюду была тишина ненарушаемая не только людскимъ говоромъ, но даже и собачьимъ

лаемъ; на улицѣ я не встрѣтилъ ни одного живого существа, окна почти во всѣхъ домахъ, мимо которыхъ привелось идти, были закрыты ставнями, отчего мнѣ казалось, что я иду не по городу, а въ какомъ-то подземномъ царствѣ и когда я дошелъ до площади, мнѣ стало страшно: вѣрно оттого, что непривыкши ходить въ потемкахъ, я испугался провинціального мраку, ускорилъ шаги и чуть не бѣгомъ пустился по площади къ своимъ пенатамъ...

III

БОЛЬНИЦА

Какъ только я очутился дома, сейчасъ же бросился на кровать нераздѣваясь, но странная вещь — никакъ не могъ заснуть: цѣлую ночь я вертѣлся съ боку на бокъ и заснулъ только лишь передъ утромъ. Не успѣвъ я подняться съ постели, какъ является ко мнѣ Николай Федорычъ — вѣроятно съ цѣлью отомстить мнѣ за вчерашній мой визитъ къ нему. «Пойдемте, говорить, въ больницу.» — «Пожалуй, пойдемте.»

Отправились въ больницу. Дорогой Николай Федорычъ сообщил мнѣ, что начало больницѣ положено лѣтъ десять-пятнадцать тому назадъ: въ то время, говорить, былъ у насъ въ городѣ лекарь такой-то, выстроилъ себѣ домъ, а потомъ и уѣхалъ, на прощанье онъ подарилъ городу свой домъ подъ больницу.

На такъ-называемой Главной улицѣ стоялъ пятиконный домъ съ черной доской надъ среднимъ окномъ; на доскѣ надпись: «Корсарская больница.» Въ наружности больницы изысканаго ничего не было. Да и вообще въ Корсарѣ не любили щеголять внѣшностью: дома всѣ были некрашеные; исключеніе составляла одна лишь городская больница. Такого цвѣта, въ какой она была окрашена, я еще нигдѣ не встрѣчалъ: это былъ какой-то болѣзненный цвѣтъ, грязновато-желтовато-мутновато-сѣровато-скверный цвѣтъ. При больницѣ имѣлся дворъ обширныхъ размѣровъ — вродѣ той площади, на которой я поселился. Около больницы стоялъ погребъ, а въ концѣ двора баня. И погребъ, и баня были крошечныхъ, можно сказать даже игрушечныхъ размѣровъ. Только игрушки эти были сильно подержанныя.

Ну, садъ тоже былъ. Садъ былъ на дворѣ же, и дворъ ничѣмъ не отдѣлялся отъ сада, напротивъ — даже щедро, по-пріятельски дѣлился съ нимъ соромъ и разными нечистотами. Въ саду кромѣ сору и нечистотъ было еще нѣсколько деревьевъ; подъ однимъ изъ нихъ была устроена скамеечка, возлѣ скамеечки трепеталь столікъ на колышкахъ, возлѣ століка былъ колодець.

Николай Федорычъ сказалъ правду: больница дѣйствительно была плоха. Комнаты маленькія, невысокія, съ необыкновенно сухимъ воздухомъ, несмотря на то даже, что крыша сгнила до того, что на потолокъ въ двухъ комнатахъ, гдѣ лежали больные, было счетомъ ровно одиннадцать узоровъ, образовавшихся отъ течи во время дождя, — а воздухъ все-таки былъ сухъ. Несмотря и на то даже, что всѣ печи растрескались такъ, что опасно было ихъ и топить, въ комнатахъ однакожъ было тепло, даже жарко иногда. Это еще больше увеличивало сухость воздуха, отчего, должно полагать, немало потреблялось больными воды. Воду брали обыкновенно изъ колодца. Вода была прескверная: она была жестка на вкусъ — отъ содержащейся въ ней въ большомъ количествѣ извести, и на видъ весьма мутна, вѣроятно оттого, что колодца никогда не чистили. Рядомъ съ двумя комнатами, гдѣ лежали больные, была третья, маленькая комната, въ которой помѣщалась аптека, то-есть нѣсколько полокъ съ банками и пузырьками разной породы, крупной и мелкой, и столъ съ двумя столбиками и съ перекладиной наверху, за которую уцѣпились вѣски. По причинѣ близкаго сосѣдства съ аптекой, въ комнатахъ больныхъ кромѣ больничнаго запаха былъ еще аптекарскій, а въ аптекѣ наоборотъ — кромѣ аптекарскаго больничнѣй.

Въ той же комнатѣ, гдѣ помѣщалась аптека, была и контора больницы. Контору составляли: столъ съ чернильницей, возлѣ стола сидящій съ перомъ и счетами смотритель, да шкафъ съ бумагами: вотъ почему всѣ дѣла и бумаги, хотя нисколько неотносящіяся до аптеки, ужъ непременно отзывались аптекой. Въ этой же комнатѣ повременамъ собирался «совѣтъ больницы», состоящій изъ предсѣдателя и четырехъ членовъ. Предсѣдателемъ былъ увѣднѣй предводитель дворянства, а члены — голова, городничій, начальникъ инвалидной команды и докторъ.

Больница была устроена всего на шесть кроватей.

— Вотъ вамъ и наши больные, теперь ихъ всего трое, — ска-

залъ мнѣ Николай Федорычъ, указывая на троихъ больныхъ, лежавшихъ въ первой комнатѣ. (Вторая комната пуста.)

Всѣ трое были солдаты изъ мѣстной инвалидной команды.

Послѣ этого приступлено было къ «сдачѣ» больницы. Николай Федорычъ сказалъ фельдшеру, чтобъ онъ показалъ мнѣ анатомическіе инструменты, аптеку и при ней посуду — мензурки, вѣсы, ступочки, пестики и другія больнично-аптекарскія принадлежности по описи. Все что мнѣ показалъ фельдшеръ никуда негодилось; а если что и годилось, то было въ слишкомъ маломъ количествѣ, напримѣръ нѣкоторыя лекарства. Только одни клопы, которые не значились въ описи, имѣлись при больницѣ въ достаточномъ числѣ для шести кроватей вообще и для троихъ больныхъ въ особенности. Этихъ *красныхъ* такъ было много, что они изъ кроватей эмигрировали въ щели косяковъ около дверей и оконъ и въ трещины штукагурки и завели по стѣнамъ обширныя, цвѣтушія колоніи, служа украшеніемъ стѣнамъ и оживляя больничный бытъ своей бѣготней по подушкамъ и по больнымъ. Бѣгали же они безъ зазрѣнія всякой совѣсти: бѣгали ночью, бѣгали днемъ. Эта безсовѣстность клоповъ можетъ сравниться развѣ только съ безсовѣстностью того мазурика, который утромъ встрѣчаетъ — чуть ли не на Тучковомъ мосту — одну благочестивую старушку (а та брела отъ заутрени), атакуетъ ее и тащитъ съ нея салопъ. А ужъ свѣтло было. Старушка сначала опѣшѣла, потомъ повала въ чемъ дѣло и закричала: «что ты, батюшка! въ седьмомъ-то часу!» Кромѣ клопяныхъ колоній украшали одну изъ комнатъ, гдѣ лежали больные, старинныя стѣнные часы и своимъ стукомъ съ шипѣніемъ краснорѣчиво выговаривали каждую секунду: *tempus mori!* Аптечную комнату украшало висѣвшее между окнами на стѣнѣ разбитое зеркальце, а изъ-за него выглядывала беззубая, престарѣлая гребенка да грязное полотенце. Аптечныя украшенія были неотъемлемой собственностью фершала Луки Михалыча и должно быть очень ему нравились, потомучто впоследствии, сколько я ни просилъ его припрятать куда-нибудь свою цирюльню, — онъ вѣроятно находилъ мой эстетическій вкусъ недостаточно развитымъ и еще болѣе украшалъ аптеку: то положить обгрызенное и ощипанное гусиное крыло на самое видное мѣсто, то бутылку съ масломъ поставить.

Все богатство больницы состояло въ библіотекѣ, которая помещалась въ аптекѣ, въ шкапу, за стеклами: всего-навсего книгъ

было до шестидесяти, и все библиографическія рѣдкости, вродѣ такихъ напимѣръ: «О пользѣ бадяги, замѣчанія санктпетербургской адмиралтейской госпиталя главнаго лекаря коллежскаго ассесора Юсифа Статковскаго, 1809 года», или «Руководительная врачебная наука», или «Критико-философическое разсмотрѣніе гомеопатической системы. Соч. Ф. Юг. Неймана. Посвящено для употребленія всѣхъ образованныхъ сословіи. Москва 1838». или «Необходимыя средства къ приобрѣтенію полезной и пріятной жизни» и проч. «Москва, 1838». Последняя книжка меня особенно заинтересовала. Безъ сомнѣнія она заинтересовала бы всякаго, кто только стремится къ приобрѣтенію пріятной и полезной жизни. Навѣрно думаю себѣ, прескучившійшая вещь: трактуеть о необходимости трудиться (трудивыіеся да исть), проповѣдуетъ скромную, цѣломудренную жизнь и проч. Раскрываю первую попавшуюся страницу — о радость! книжечка оказалась пресвеселая. «*Чтайъ свиныи не рыли земли.* Поросенку, когда ему недѣль пять, продѣть въ рыло, гдѣ хрящикъ мѣдную проволоку и загнуть съ обоихъ концовъ; она заростеть и не причинитъ ему никакого вреда, а рыть никогда не будетъ землю.» Отсюда я заключилъ, что одно изъ средствъ къ приобрѣтенію полезной и пріятной жизни состоитъ въ томъ, чтобъ свиныи не рыли земли. И такихъ средствъ оказалось въ книжечкѣ, шутка сказать! — четыреста восемьдесятъ! Подавленный бременемъ такой массы средствъ, я спѣшилъ добраться поскорѣе до послѣдней страницы: извѣстно — конецъ дѣло вѣнчаетъ. На этой страницѣ я прочелъ: «*Учишь лгавыхъ собакъ.* Для обученія лгавыхъ собакъ употребляютъ французскіе слова. Когда должно собакѣ встать на заднія ноги, то ей говорятъ: *adrette...* Стой или остановись: *tu beau*, или *тубеъ* и т. д. Вообще очень пріятная и очень полезная книжечка, только не для нашего брата медика.

Изъ журналовъ только и былъ одинъ «Военно-медицинскій», да в тотъ высылался не за текущій годъ, а все были прошлогодніе нумера, въ числѣ неболѣе двухъ-трехъ.

Генеральный смотръ больницы былъ конченъ. Больше на первый разъ въ ней дѣлать мнѣ было нечего. Ближайшее, болѣе подробное знакомство съ ней предстояло конечно впереди.

Въ этотъ же день я побывалъ съ визитомъ и у другого врача, окружного, Андрона Андроныча Простодрека. Онъ кончилъ курсъ въ московскомъ университетѣ. Первый мой визитъ къ нему былъ слишкомъ натянута, даже тяжолъ. Разговоръ у насъ какъ-то не клеился; притомъ же Андронъ Андронычъ держалъ себя почему-то такъ, что хотѣлъ казаться чиномъ выше настоящаго; глаза его постоянно бѣгали по сторонамъ, и сколько я ни старался заглянуть въ зеркало души его, однакожь это мнѣ не удалось не только при первомъ, но и при послѣдующихъ свиданіяхъ: при разговорѣ не только со мной, но и со всѣми онъ никогда не смотрѣлъ человѣку въ глаза. Вообще онъ былъ тучный, породный, полный, словомъ господинъ съ вѣсомъ. Въмѣсто всякой закуски намъ подали у Простодрека кофею. Я больше трехъ недѣль не пилъ кофею и признаюсь, радостно възиграло у меня сердце при видѣ крошечныхъ чашечекъ съ кофеемъ, которыя подали намъ у окружного лекаря. Я уже обонялъ аромать аравійскаго нектара, уже чашечка была у меня въ рукахъ — и счастье

Такъ было близко, такъ возможно!

вдругъ чашечка поскользнулась на блюдечкѣ, слегла на боковую — и нектаръ полился на столъ, со стола на полъ. Я до сихъ поръ не могу безъ трепета сердечнаго вспомнить про эту уважную чашку, и все мнѣ хочется воротить ее! И теперь, когда я пью кофе, какъ бы онъ ни былъ хорошъ, но все онъ не замѣнить мнѣ той чашки кофею, которую мнѣ подали въ Корсарѣ у окружнаго врача и которую я пролилъ...

— Это ничего, не безпокойтесь! успокоивалъ меня Андронъ Андронычъ, въ то время какъ я чуть не со слезами на глазахъ стиралъ носовымъ платкомъ и со стола и на полу пролитый кофею. Наконецъ пришолъ лакей, и мѣсто моего платка заступила грязная тряпка, а за тряпкой послѣдовала щетка. Слѣды преступленія были тщательно стерты и замечены.

— Скажите, докторъ, спрашиваю я Андрона Андроныча: — вы вѣрите въ гомеопатію?

— Н-нѣтъ, проговорилъ онъ съ растановкой, тихо, какъ бы боясь, чтобъ кто не подслушалъ.

— Такъ чтоже васъ заставляеть заниматься гомеопатіей?

— Знаете, много есть помѣщиковъ, которые вѣрятъ въ гомеопатію и хотять лечиться непремѣнно гомеопатически, никакъ

невзаче. Цомолчавъ нѣсколько онъ въ свою очередь спросилъ меня :

— А вы гомеопатіей не занимаетесь?

— Нѣтъ.

— Напрасно; а то была бы и у васъ въ уѣздѣ у помѣщиковъ практика.

Мнѣ оставалось только поблагодарить его за добрый совѣтъ.

— Скажите, какъ мы вамъ кажемся? должно-быть дварьями невѣждами? спросилъ меня Андронъ Андровичъ послѣ разговора о гомеопатіи.

Я не появляю про кого именно онъ спрашиваетъ и съ какою цѣлью, и не зналъ что сказать ему:

— Я вѣдь еще недавно пріѣхалъ въ вашъ городъ и никого еще не знаю; дѣйствительно городъ—то скверный, ну а люди—то кажется еще ничего и т. д. въ этомъ родѣ.

Скоро послѣ этого объясненія я ушелъ.

Визиты мнѣ окончательно надоѣли — и тѣ, которые я дѣлалъ, и тѣ — которые мнѣ дѣлались. Послѣдніе были особенно невыносимы: скука, китайскія церемоніи, переливанье изъ пустаго въ порожнее... Тьфу! даже вспомнить тошно. Одинъ только визитъ приходился мнѣ по душѣ: это былъ визитъ лѣсничаго Гаврилы Гаврилыча Гобоева. Мы съ нимъ были старые знакомые: когда еще я былъ студентомъ, онъ уже кончилъ курсъ и служилъ въ палатѣ; потомъ когда я кончилъ курсъ и уѣхалъ въ Петербургъ, онъ поступилъ въ лѣсничіе въ ту-же губернію и уѣздъ, куда и меня запрятала судьба по распоряженію начальства.

Гаврило Гаврилычъ пріѣхалъ ко мнѣ вечеромъ. Меня не было дома. Онъ уже, не дождавшись меня, выходитъ съ моей квартиры, и въ сѣняхъ ему свѣтила моя хозяйка. Въ это самое время я вернулся домой.

— Охъ господи помилуй! Да вотъ и докторъ пришелъ! вскрикнула моя хозяйка.

— Вы ли это, Инсаровъ? вслѣдъ за крикомъ хозяйки раздался голосъ Гобоева, который сначала не узналъ меня: моя борода привела его въ смущеніе и совершенно сбила съ толку.

Мы обнялись.

— Да за что васъ сюда къ намъ сослали? спросилъ меня Гобоевъ.

— Не послали, отвѣчалъ я: — а послали служить, какъ стипендіата.

Изъ сѣней мы перешли въ комнату, и я спросилъ Гаврила Гаврилыча:

— Какъ это вы узнали, что я пріѣхалъ? И отчего не остались до моего прихода? Хорошо что я скоро вернулся, а то вѣдь бы мы разошлись.

— Я вѣдь живу не въ городѣ, а въ лѣсу, какъ истый лѣсничій, верстѣ за тридцать отсюда; сегодня проѣздомъ попалъ сюда въ городъ, мнѣ и говорятъ, что пріѣхалъ новый докторъ. Кто бы такой, думаю? Фамилію разумѣется ужь переврали, только все-таки была похожа на вашу; я и спросилъ, изъ какого университета? Какъ называли нашъ-то родной университетъ, такъ по нему я сейчасъ и догадался, что новый докторъ — тотъ именно Инсаровъ, котораго я зналъ еще студентомъ. Спрашиваю гдѣ онъ живетъ? сказали на площади возлѣ исправника; я и полетѣлъ. Прихожу, а васъ дома нѣтъ. Дождаться скука, и кому-же я не зналъ, скоро ли вы вернетесь.

Потомъ мы пустились въ разговоры о новомъ нашемъ житьѣ-бытьѣ, пересыпая его старыми воспоминаніями. Гаврило Гаврилычъ сообщилъ мнѣ, что ужь въ городѣ говорятъ про меня, будто я сильно придерживаюсь чарочки, и что даже въ самый первый же день пріѣзда не могъ скрыть своей слабости и хватилъ у казначея черезъ край. Во время разговору Гаврило Гаврилычъ рылся у меня въ чемоданѣ, гдѣ лежали книги, платье и шкатулка. Вытащивъ шкатулку, онъ тряхнулъ ее и сказалъ:

— У, да какъ тяжело! вѣрно вся деньгами набита?

— Нѣтъ, тутъ у меня микроскопъ.

— Вотъ и отлично! Пріѣзжайте ко мнѣ въ лѣсъ съ микроскопомъ, станемъ заниматься ботаникой, зоологіей: словомъ всѣми царствами займемся. Звѣринца устривать неужно, зайцы, волки подъ окнами бѣгаютъ, аквариумъ тоже подъ окномъ — цѣлое болото, поставимъ прямо въ болото микроскопъ, да изъ окна и будемъ разсматривать, что дѣлается въ болотѣ.

Не дожидаясь отвѣта на свои слова онъ спросилъ меня:

— А вотъ что, гдѣ у васъ деньги-то? Отъ дороги можетъ и гроша не осталось? Здѣсь въ городѣ я бываю проѣздомъ, никого тоже какъ и вы не знаю, такъ мы похожи одинъ на другого: я живу въ лѣсу съ волками, да вы теперь хоть и въ городѣ. а

тоже все равно что въ лѣсу; такъ не надо ли вамъ денегъ на первый разъ? Много я вамъ не дамъ, ну а немного—то могу.

И онъ вытащилъ свой бумажникъ.

Мы просидѣли далеко за полночь. Гаврило Гаврилычъ остался у меня ночевать. Рано поутру онъ сталъ собираться домой; при растаньяи я подарилъ ему поношенную гарибальди, пепельницу и муштучекъ. Сѣвъ въ свою тѣлегу онъ закричалъ мнѣ:

— Скучно будетъ такъ прѣзжайте ко мнѣ въ лѣсъ!

IV

Г О Р О Д Ъ

Два—три слова о городѣ, въ которомъ я поселился.

Я былъ еще въ Петербургѣ. Меня «назначили» городовымъ врачомъ въ Корсарь. Очень естественно, что меня взяло любопытство узнать что это за городъ за такой. Отыскиваю въ самомъ новѣйшемъ календарѣ: Корсарь, уѣздный городъ такой—то губернии, число жителей — семь тысячъ съ чѣмъ—то. Гм! думаю себѣ: значить жить еще можно. Даже весело стало. Но потомъ вдругъ я вспомнилъ про одного моего пріятели, тоже городского лекаря. Онъ служилъ въ одномъ богатомъ и многолюдномъ уѣздномъ городѣ, но его увлекала «охота къ перемѣнѣ мѣстъ», и онъ перепросился служить въ другой, совершенно незнакомый ему городъ, въ которомъ по календарю считалось чуть-ли не десять тысячъ жителей. Прѣзжаетъ — ой вей миръ! даже трехъ тысячъ нѣтъ. Онъ ужасно загрустилъ и въ своихъ письмахъ ко мнѣ постоянно жаловался на отчаяннѣйшую скуку. Чтобы не повасть по милости календаря въ подобный просакъ, я рѣшился заглянуть въ прежніе календари: можетъ—быть въ нихъ, чѣмъ старше календарь, тѣмъ больше показано въ Корсарѣ число жителей; покрайней мѣрѣ я могу опредѣлить въ какой прогрессіи прибываетъ или убываетъ тамъ народонаселеніе. Досталъ календарей съ десятокъ. Въ иныхъ или вовсе не было отдельной графы для числа жителей въ нашихъ городахъ, или же вездѣ стояло: «Корсарь — 7000.» Я успокоился.

Прѣзжаю въ Корсарь, и первое, что меня поразило въ самое

сердце, такъ это именно безлюдство, даже безсобачество. Сначала меня это сильно обезпоковло, но потомъ я подумалъ: «ну, должно быть всё по домамъ сидать, всякій своимъ дѣломъ заниматься. Вотъ гдѣ праздность-то изгнана!»

Въ первые же дни по моемъ прїездѣ въ Корсарь, когда я знакомился съ его обывателями, я нѣсколькимъ лицамъ выразилъ свое удивленіе насчетъ безлюдья и безсобачія. Оказалось, что въ городѣ собакъ дѣйствительно нѣтъ, а жителей...

— По календарю значится семь тысячъ, говорю я.

— Помилуйте! какія семь тысячъ! Двухъ не наберется.

Но куда-жь, куда-жь это безслѣдно исчезло пять тысячъ народу? Отъ холеры что-ли всё перемерли? Отъ моровой язвы? «Нѣтъ, говорятъ, ничего такого у насъ не было. Даже землетрясенія не было. Вотъ пожары у насъ были, особенно въ послѣдніе три года, и сильные пожары, около половины города выгорѣло, а чтобъ хоть одинъ человѣкъ сгорѣлъ — этого не было!»

Такъ я ничего и не добился ни отъ городничаго, ни отъ исправника, ни отъ казначея. Я хоть и раньше зналъ, что «всѣ врутъ календари», но по простотѣ душевной полагалъ, что иной разъ они и правду говорятъ. И вдругъ — пятью тысячами человѣкъ меньше... Господи! практики-то на-сколько убыло, практики-то!

Дѣло впрочемъ объяснилось. Его объяснилъ мнѣ лѣсничій Гобоевъ. Изъ его словъ я узналъ, что когда собирались статистическія свѣдѣнія для календаря (это было давно ужъ, лѣтъ десять тому назадъ), тогда дѣйствительно въ Корсарѣ, говорятъ, было тысячъ семь жителей, если только меньше. Календарь такъ и записалъ: «Корсарь, 7000,» а потомъ и пошолъ печатать изъ году въ годъ: «7000,» «7000». А между тѣмъ въ Корсарѣ съ году на годъ все убывало да убывало число жителей: они оставляли понемногу городъ и селились верстахъ въ пяти, семи отъ него, дѣлались крестьянами и образовали цѣлыя деревни: вотъ напримѣръ Морковка, Арбузовка, Адашевка — ну и другія.

Этнографическія свѣдѣнія о Корсарѣ, какъ видите, довольно сумрачны, а про историческія такъ и говорить нечего: тѣ ужъ просто темны. Мѣстное преданіе гласитъ, что онъ во времена Петра I служилъ мѣстомъ ссылки, а до Петра находился во власти татаръ и былъ значительнымъ пограничнымъ городомъ;

даже укрѣпленія въ немъ были : до сихъ поръ еще неподалеку отъ города видны остатки этихъ укрѣпленій — въ образѣ вала, впрочемъ сильно утоптанаго. Кромѣ этого вала татары оставили во себѣ на память еще подземный гулъ. Дѣло въ томъ, что татары (все по тому же преданію), безъ сомнѣнія съ хорошей цѣлью, устроили подъ землей секретные ходы; ходы эти шли по направленію нѣкоторыхъ изъ нынѣшнихъ улицъ, такъ что теперь, когда ѣдешь по этимъ улицамъ — подразумевается лѣтомъ, — то чувствуешь подъ собой какую-то гудящую пустоту. Къ сожалѣнію этого гула я не слыхалъ, такъ какъ мнѣ привелось быть въ Корсарѣ не лѣтомъ, а зимой. Далѣе; извѣстно также по преданію, что Корсаръ сильно бушевалъ во время пугачевщины. Наконецъ, какъ на историческій памятникъ, жители Корсара указываютъ на каменный столбъ, вышиной аршина въ два, который торчитъ на площади около присутственныхъ мѣстъ : по единодушнымъ показаніямъ жителей столбъ этотъ воздвигнутъ въ честь храбрыхъ ратниковъ, на самомъ этомъ мѣстѣ избіенныхъ и тутъ же погребенныхъ. Но что это были за ратники — татары ли, русскіе ли, — когда и за что они пали — граждане корсарскіе не знаютъ. Просто храбрые ратники, да и дѣло съ концомъ.

Этимъ я и закончу взглядъ на прошедшее Корсара. Посмотрите на его настоящее.

Его настоящее нагоняетъ страшную тоску. Изъ любопытства въ него разумѣтся никто не заглядываетъ : до такой степени онъ не любопытенъ. Если кто и заглядываетъ въ него и поселится въ немъ, такъ развѣ по необходимости, хоть бы напимѣръ нашъ братъ, временно-обязанный служивый людъ. Корсаръ такъ скромно ведетъ себя, что на него никто и вниманія не обращаетъ. Онъ какъ-будто и не живетъ совсѣмъ, а только такъ, существуетъ. Если когда городъ и оживлялся нѣсколько, такъ это только въ базарные дни, по пятницамъ. Въ эти дни съѣстные припасы закупались на цѣлую недѣлю, какъ это вообще дѣлается въ нашихъ уфадныхъ городахъ. Мясa напимѣръ или зрѣвъ вы ужь ни въ какой другой день не найдете. Зато водокъ всѣхъ сортовъ, винъ, даже шампанскаго — хоть дюжинами можно было найти во всякую пору дня и ночи. Только эта одна отрасль торговли и процвѣтала въ Корсарѣ. Другія отрасли были ему совершенно неизвѣстны. Не было въ городѣ ни бу-

лочней, ни портного, ни сапожника, ни часовыхъ дѣлъ мастера, ни одной вывѣски. Только на дверяхъ одного дома изображены были графинъ и рюмки и подъ ними надпись свидѣтельствовала, что тутъ «въ хотъ взаведеніе.» Да еще на крышѣ другого дома сидѣлъ золоченый орелъ, и всякій зналъ, что въ этомъ домѣ помѣщается вольная аптека. Ни одинъ почти домъ въ городѣ не былъ обшитъ тесомъ, а всѣ были бревенчатые; многіе крыты просто соломой, а иные въ зимнее время обкладывались соломой даже съ боковъ. Почти при всякомъ домѣ имѣлся огорождь, обнесенный скромно плетнемъ. Улицы разумѣется небогатныя, и въ ненастную погоду, особенно осенью грязь была непроходимая. Ни канавъ для стока воды, ни тротуаровъ нигдѣ не было. Короче, городъ былъ деревня деревней. Все великолѣпіе города заключалось въ двухъ каменныхъ, одно-этажныхъ домахъ, нештукатуренныхъ, похожихъ на амбары, выстроенные близъ базарной площади. Въ этихъ домахъ, въ каждомъ было по лавкѣ, что и составляло корсарскій гостинный дворъ; тутъ-то мы съ казначеемъ и закупали — онъ миндальныхъ пряниковъ, я мыла и сахару. Кромѣ того по Главной улицѣ высились руины каменнаго дома въ два этажа; крыши не было, потолокъ и половъ тоже. Домъ этотъ сгорѣлъ въ послѣдній пожаръ, а хозяева его умерли. Въ городѣ было четыре церкви, и всѣ четыре каменные. До какой степени были бѣдны и малочисленны ихъ приходы, можно судить по тому, что у отца протопопа сверхъ городского прихода былъ еще приходъ въ деревнѣ, верстахъ въ пяти отъ Корсара.

На одномъ концѣ города бѣлѣли каменные стѣны острога. Рядомъ съ нимъ красовались другія каменные палаты, въ два этажа, съ окнами и дверьми. Подъ крышей этихъ палатъ съ лицевой стороны парилъ орелъ съ длинными до безобразія крыльями. Это были присутственныя мѣста. Другой конецъ Корсара тоже не былъ особенно привлекателенъ: двѣ вѣтренныя мельницы, каменный винный подвалъ, подлѣ него стоятъ и лежатъ сероковый бочки, да часовой съ ружьемъ ходить. Невдалекѣ отъ подвала домъ управляющаго откупомъ. Этой части города дано жителями почему-то названіе Вифанів.

Вообще Корсаръ поражалъ своей крайней бѣдностью. Было только и можно объяснить себѣ эмиграцію пяти тысячъ его жителей. Они разсудили, что лучше жить въ деревнѣ да пахать

всю, не быть сытыми, чѣмъ въ городѣ бить баклуши и каждый день сидѣть впрѣголодь. И дѣйствительно, жители сосѣднихъ съ Корсаромъ селъ и деревень были далеко зажиточнѣе горожанъ.

.....

На первой своей квартирѣ я не прожилъ и недѣли: дотога она мнѣ опротивѣла. Одинъ угаръ чего стоилъ... каждый день угаръ, каждый день! Нѣтъ, ужъ это вовсе не по моей головѣ было. Три комнатки нагрѣвались одной печью, въ прихожей, но эта одна стояла трехъ. Жутко мнѣ огъ нея приходилось. Иной разъ дѣло доходило до обмороковъ, а однажды и чуть было и совсѣмъ неотправился на тотъ свѣтъ. Послѣ этого я посвѣшилъ принять самыя рѣшительныя мѣры, именно прискаты другую квартиру. Вскорѣ она была отыскана у казначея. У меня уже все было приготоовлено къ перѣздкѣ, оставалось только расчитаться съ хозяйкой.

— Сколько вамъ слѣдуетъ получить съ меня за пять дней? или какъ вы считаете — за шесть? спрашиваю я ее.

— Охъ господи—помилуй! Да ужъ положите пять—то рубликовъ гладко, такъ я и довольна останусь.

— Что вы, говорю, пять рублей! Да за что? И всего—то прожилъ я у васъ какикъ—нибудь пять дней; это выходитъ по рублю за сутки: вѣдь такую цѣну только въ гостиницахъ ломаютъ. Вѣдь это безсовѣстно съ вашей стороны!

— Охъ господи—помилуй! Да ужъ вы—то поступите по совѣсти, не обидьте бѣдную старуху. За что вы поносите меня, что ужъ будто я безъ совѣсти съ васъ спрашиваю? Охъ господи—помилуй! Одинъ богъ видитъ, кто кого обидитъ! Говорила хозяйка тономъ разбитаго чайника, уставивъ взоры свои на кіотъ, висѣвшую въ переднемъ углу.

— Ну ужъ какъ вы тамъ хотите, отвѣчалъ я, а пяти рублей я вамъ не дамъ, — не-зачто: вѣдь пилъ и ѣлъ я свое. Вотъ у казначея я теперь нанялъ получше вашей квартиру, а она мнѣ съ дровами въ мѣсяцъ стоитъ будетъ пять рублей; а вы за пять дней хотите пять рублей!

— Тамъ я у васъ не знаю, — охъ господи—помилуй! какъ вы сладились съ казначеемъ. Можетъ Семенъ Яковичъ по особой какой милости къ вамъ взялъ съ васъ такъ дешево. И я вѣдь не дорого съ васъ теперь прошу: какъ есть въ акуратъ по моему счету выхолить пять рубликовъ.

— Хороши ваши счеты! говорилъ я, начиная уже терять хладнокровіе: — вамъ бы только содрать! Вотъ у васъ какіе счеты. Да я больше съ вами и говорить не хочу: переѣду да и только, а денегъ вамъ не отдамъ теперь, а послѣ получите мѣсяца черезъ два, теперь у меня нѣтъ денегъ.

— Рази меня царица небесная, коли я въ чемъ согрѣшила! возопила хозяйка, кинулась къ окошку и гнѣвно заговорила:

— Я васъ отъ себя не выпущу! И ворота запиру! Пока денегъ не выложите, не дамъ вамъ съѣхать. Не посмотрю на то, что вы изъ Питера: вѣдь и у насъ тоже свое начальство есть! Сѣйчасъ пойду къ Андрею Александрычу!

Моя хозяйка расходилась ненашутку. Въ это время по двору проходила какая-то женщина. Хозяйка увидала ее изъ окна, высунула въ форточку голову и закричала, что было мочи:

— Эй, сестрица! А сестрица! Запри-ко ворота! Ворота-то запиру! Погоди маненько, не уходи отъ меня!

Ну, думаю себѣ, безъ великаго скандала дѣло какъ видно не обойдется. Нельзя ли будетъ отдѣлаться отъ него, какъ въ нѣмецкомъ клубѣ, тремя рубликами? Вынимаю трехрублевую бумажку и отдаю хозяйкѣ:

— Вотъ вамъ три рубли; больше отъ меня не получите ни копѣйки.

Хозяйка ушла. Все успокоилось. Ворота отперлись и препятствій къ моему выѣзду съ квартиры никакихъ неимѣлось. Я уже совсѣмъ было собрался выѣзжать, какъ входитъ ко мнѣ сестра хозяйки и сладенькимъ голосомъ говорить:

— Здравствуйте, батюшка! Чтѣ это моя-то сестра дура какая, и сосчитаться-то съ вами безъ шуму не могла! Дай, я ей, говорю, ужъ я теперь за тебя пойду, ты опять накричишь тамъ безъ толку. Вотъ, батюшка, вамъ всего слѣдуетъ сдачи пять рублей...

— Какъ пять рублей? Какой сдачи пять рублей? Да возмите вы три рубля, которые я отдалъ вашей сестрѣ, ну этимъ нашъ расчетъ и покончимъ.

— Нѣтъ, батюшка, такъ нельзя. Такъ мы недѣлаемъ. Хотъ и бѣдные люди, хотъ и заступиться за насъ некому, а мы такъ не дѣлаемъ. Вотъ вамъ пять съ полтиной сдачи съ бумажки, невольте получить. Коли не такъ давеча сестра сосчитала, вѣдь ужъ она дура старая. Вы ужъ, батюшка, съ нея незыщете.

Кула ужь ей деньги считать! Изъ ума вѣдь совсѣмъ выжила: своихъ лѣтъ счесть не можетъ. Все, говорить, что ей шестьдесятъ девять лѣтъ, и вѣдь все вретъ: ей ужь теперь семьдесятъ-три. За квартиру съ васъ приходится получить значить пять рублей, значить пять рублей съ полтиной вамъ сдачи. Такъ ли что-ли? Извольте, батюшка, сосчитайте деньги-то.

Я взялъ и началъ считать: сдачи оказалось полтора рубля серебромъ. Тутъ только я понялъ изъ-за чего у меня съ хозяйкой баталія поднялась: она считала на асигнаціи, а я на серебро!

— Такъ, вѣрно, я съ вами согласенъ, сказалъ я.

— Коли вѣрно, такъ ужь на чаекъ-то пожалуйста.

Я далъ ей на чаекъ.

— Не во гнѣвъ вашей милости, батюшка, я спросить васъ хочу: у казначея-то гдѣ вы жить будете — въ домѣ, или во флигирѣ?

— Во флигелѣ, отвѣчалъ я.

— Какой Семень-то Яковличъ добрый для васъ: самъ вѣдь онъ жилъ во флигирѣ, а какъ вы пріѣхали, такъ онъ и уступилъ его вамъ, а вѣдь прежде до васъ никого не пускалъ. У казначея вамъ славное будетъ житье, то-есть просто любо заживете!

— Да чѣмъ же любо-то?

— Какъ чѣмъ? Да вамъ, молодымъ, и женской-то полъ помоложе надо, а у насъ у старухъ какое вамъ веселье! Тамъ сестра у казначея есть. Она вѣдь ужь давно невѣста. Вотъ скоро четыре года какъ я вдовѣю, да съ мужемъ жила почти-что четыре же года; когда я замужъ выходила, такъ она ужь втѣпоры была невѣстой. Да вотъ, поди, что станешь дѣлать-то! Видно еще счастье-то у ней впереди. Вотъ сидитъ-сидитъ въ дѣвкахъ-то, ну можетъ и дождется муженька себѣ. Не намъ чета будетъ.

Меня начиналъ интересовать этотъ разговоръ и я старался поддержать его.

— Чѣмъ же она вамъ не чета? спрашиваю я.

— Ну какъ вамъ сказать чѣмъ? Да тѣмъ, что онъ казначей, она ему сестра, и выходитъ люди-то съ достаткомъ, вето-что мы, мѣщане.

— Да вѣдь бываютъ же и мѣщане съ достаткомъ?

— Какъ не бывать, бываютъ! Да все-таки супротивъ ихъ не

бывать, потому тѣ ужь будутъ благородные, а мы что? Одно слово мѣщане. Поживете сначала во Флигирѣ, потомъ можетъ барыня-то понадравится, и дѣло у васъ сладится — тогда и въ домикъ благословясь переберетесь. Чѣмъ вамъ не любо будетъ житье у казначея!

— Вотъ какъ! ужь вы мнѣ и невѣсту пріискали, и женить хотите! Почему же вы знаете, что я женюсь на казначейской сестрѣ?

— Да ужь у меня на это есть вѣрныя примѣты. Вотъ когда мужъ-то у меня захворалъ, приходитъ ко мнѣ въ тотъ день кума да и говоритъ: «Нѣтъ ли у васъ, говоритъ, картофелю? Дайте, говоритъ, займы. Въ пятницу на базарѣ сами купимъ, тогда и отладимъ». Теперь, говоритъ, у насъ нѣту его вовсе.» Вотъ я и пошла за картофелемъ въ амбаръ и кума вмѣстѣ со мной, и наступила мнѣ она на ногу. «Ну, говорю, кума! знать-то мнѣ овдовѣть.» Такъ вѣдь и случилось: мужъ похворалъ-похворалъ эдакъ съ мѣсяць, да и умеръ. А вы женитесь! — положительно увѣряла меня хозяйкина сестра: — какъ святъ Богъ васъ женить. Ужь у меня на все есть вѣрнѣющія примѣты.

Этимъ разговоромъ и закончилось мое житье на первой квартирѣ въ Корсарѣ. Хозяйка и сестра ея провожали меня за ворота своего дома и на прощанье говорили мнѣ:

— Коли будемъ живы-здоровы, такъ ужь непременно придемъ въ церковь посмотрѣть какъ вѣнчать-то васъ будутъ!

И затѣмъ пожелали мнѣ, моей будущей женѣ и даже будущимъ дѣтямъ всякихъ благъ земныхъ и небесныхъ.

V

ОСТРОГЪ

Кромѣ городской больницы въ моемъ вѣдѣніи находилась еще больница при острогѣ.

Бѣлый и чистый снаружи, острогъ внутри былъ всего меньше бѣлъ и чистъ: стѣны, потолокъ и полъ были черны и грязны какъ въ кузницѣ. Стекла во всѣхъ окнахъ должно-быть съ самаго построения острога нѣразу мылись и оттого пропускали сквозь себя весьма мало свѣту, такъ-что въ нѣкоторыхъ комна-

тахъ или каморахъ и особенно въ коридорѣ, который шолъ цо-
среди острога и раздѣлялъ его на двѣ половины, въ пасмурный
день не узнаешь и человѣка въ лицо. Разъ мнѣ нужно было у
одного больного арестанта посмотрѣть во рту; къ какому окну
я ни подходилъ, все-таки ничего не могъ разглядѣть; просилъ
ужь осторожнаго смотрителя прислать этого арестанта подъ кон-
воемъ въ городскую больницу, чтобъ тамъ его осмотрѣть; но смо-
тритель почему-то не прислалъ — и пришлось лечить больного
на авось, не разсмотрѣвъ и не распознавъ его болѣвани. О ками-
пахъ и говорить нечего: ихъ разумѣется не было, и для провѣт-
риванія только были однѣ форточки, притомъ дурно-устроен-
ныя, отчего воздухъ въ острогѣ всегда былъ сырой, спертый,
пропитанный какимъ-то особеннымъ специфическимъ запахомъ,
словомъ воздухъ самый скверный, какой только можно себѣ пред-
ставить. Человѣкъ пришедшій съ улицы тотчасъ же чувствовалъ
какое-то отравляющее дѣйствіе этого воздуха и вмѣстѣ съ тѣмъ
появлялось у него чувство какого-то непреодолимаго отвращенія,
заставлявшее его поскорѣе уйти изъ этого вертепа. Стѣны внутри
острога около оконъ и дверей были постоянно мокрыя, покры-
ты точно краской толстымъ слоемъ грязи, который составлялся
изъ пыли, сору, сырости и испареній людей. На рамахъ оконъ,
на подоконникахъ, по стѣнамъ въ углахъ, особенно въ нижней
ихъ части, сильно цвѣла плесень, а подъ нарѣ лучше и не за-
глядывать: тамъ была своего рода *Canepa canina* (собачья пе-
щера), что близъ Неаполя, къ которую, какъ извѣстно, если за-
бѣжить собака, то тамъ и околѣетъ.

Таковъ былъ острогъ во время моего пребыванія въ городѣ
Корсарѣ и такимъ остался при моемъ отъѣздѣ изъ этого города.

Всякій разъ когда извѣщали меня о какомъ-нибудь заболѣв-
шемъ арестантѣ, признаюсь откровенно, я шолъ въ острогъ не-
хотя; а ужь по доброй волѣ, такъ чтобы самъ вздумалъ, безъ
повѣстки зайти къ заключеннымъ и освѣдомиться, вѣтъ ли между
ними заболѣвшихъ, я никогда не ходилъ.

Разъ я спрашиваю осторожнаго смотрителя:

— Отчего это у васъ въ острогѣ такъ темно, грязно и сыро?
Вѣдь можно бы держать получше, почище, побѣлѣе, освѣтлѣе?

— Оно бы конечно можно, отвѣчалъ смотритель: — отчего
же нельзя? Да чего это будетъ стоить!

— Ну да просто, говорю: — хоть стекла чтоли помыть, стѣ-

ны подбѣзять, полъ выскоблить, двери почистить — оно бы все-таки лучше было; а то вѣдь ни къ чему прислониться нельзя: вездѣ сырость, плѣсень, грязь.

— Ну стоять ли хлопотать для такого народу, какой здѣсь сидитъ! отвѣчалъ равнодушно смотритель, съ виду и самъ мало чѣмъ отличавшійся отъ острога. Это былъ дряхлый, сморщенный старецъ, плюгавый, обносившійся и духомъ и плотью: на правой щекѣ былъ у него мокрый, расплывшійся лишай, какъ плесень на стѣнахъ острога, а щетинистая борода придавала ему видъ ликобраза. Изъ-за веревкообразнаго галстука высовывался кусокъ грязной рубахи; теплая на ватѣ шапка такъ искусно была засалена, что будто сейчасъ только ее вынули изъ горячихъ щей: такъ казалось и плавалъ по ней жиръ. Овчинная шуба, которую онъ носилъ въ-накидку, отъ вылѣзшей шерсти вся была въ лысивкахъ, какъ-будто лишай съ лица распространился и на шубу. Вицмундиръ тоже заодно съ шубой, шапкой и съ самымъ лицомъ смотрителя былъ изорванъ, замаранъ, весь въ заплаткахъ; только если что и было здороваго, цѣлаго во всемъ острожномъ смотрителѣ, — такъ это однѣ форменныя желтыя пуговицы на его вицмундирѣ. Все и снаружи и внутри смотрителя истлѣло, умирало: глаза оловянные, голосъ дребезжить, только однѣ пуговицы блестятъ и геройски переживаютъ свой вѣкъ.

Нельзя сказать, чтобъ въ острогѣ было просторно. Разъ я встрѣчаюсь въ острогѣ съ смотрителемъ и спрашиваю его:

— Сколько всѣхъ арестантовъ содержится въ острогѣ?

— Въ прежніе годы бывало не больше сорока арестантовъ; настолько человекъ и выстроены острогъ; а вотъ нынче часто доходитъ до семидесяти...

— Отчего же нынче стало больше?

— Да оттого, что комиссаръ съ исправникомъ не тѣ люди, что прежде бывало; особенно вотъ какъ другой-то комиссаръ насталъ, такъ и много теперь сидитъ у насъ въ острогѣ.

— Чтоже дѣлаетъ этотъ комиссаръ, что при немъ больше сидитъ въ острогѣ арестантовъ?

— Этотъ не спускаетъ, не отдѣлаешься отъ него; все-то онъ конокрадство хочетъ вывести. Пользы-то впрочемъ немного: много засадить только по подозрѣнію, а прямыхъ-то уликъ вѣтъ; стануть допрашивать такого молодца, онъ ни въ чемъ не

сознается — ну и выпускаютъ; а какъ онъ на волю-то выйдетъ, такъ и пойдетъ опять свое дѣло дѣлать почище прежняго: извѣстная вещь — посадѣлъ въ острогъ, уму-разуму понабрался.

— По какимъ же преступленіямъ больше всего содержатся въ вашемъ острогѣ?

— Да вотъ всего больше по конокрадству.

И при этомъ смотритель сообщилъ еще нѣкоторыя подробности относительно конокрадства. Говорилъ, что когда опредѣлились новые исправникъ и комиссаръ, такъ въ корсарскомъ уѣздѣ конокрадство стало меньше, но зато въ сосѣднемъ уѣздѣ и въ другихъ мѣстахъ оно приняло широкіе размѣры: «значить — говорилъ онъ — изъ нашего-то уѣзда молодцы перебрались въ другой, гдѣ исправникъ съ комиссаромъ послабѣе.» Говорилъ о томъ, какъ крадутъ лошадей: иной разъ какъ удастся увести лошадь, такъ и гонять на ней какъ можно дальше, даже ускачутъ въ другую губернію, эдакъ вереть за-сто. Выбѣжить лошадь — такъ и барышъ хорошій получать; ну а не выбѣжить, падеть на дорогѣ, такъ что? вѣдь не своя, не купленная, значить и жалѣть о ней нечего! Давай тогда другую доставать.

Тѣснота помѣщенія арестантовъ въ острогѣ вмѣстѣ съ другими неудобствами, грязью, сыростью, испорченнымъ воздухомъ и т. п., служила причиною многихъ болѣзней. Однажды прѣзжаетъ ко мнѣ городничій (это было въ январѣ) и приглашаетъ меня отправиться вмѣстѣ съ нимъ въ острогъ, гдѣ разомъ заболѣло больше половины всѣхъ арестантовъ, какъ говорилъ мнѣ городничій. Мы отправились. Кромѣ необходимыхъ гигиеническихъ средствъ, то-есть чистоты комнатъ, хорошей пищи и т. п. я предложилъ еще, чтобы всѣхъ арестантовъ сводили въ баню и послѣ бани дали бы имъ хоть по полрюмкѣ вина. Смотритель и слышать ничего не хотѣлъ.

— Баню топить не къ чему, говорилъ онъ: — потому что арестанты и безъ того недавно были въ банѣ, а вина дать нельзя, потому что арестантамъ вино пить не позволено.

Мнѣ оставалось дѣйствовать убѣжденіями.

— Знаете что, говорю я смотрителю: — есть много лекарствъ, которыя настаиваются на спиртѣ или на винѣ, на примѣръ тинктуры, эссенціи и т. п., и все-таки ихъ позволяютъ давать арестантамъ; ну не все-ли равно будетъ, что больноій арестантъ

вызвать полрюмки аптекарскаго вина или откупнаго? И нечего баян: баян тоже, какъ лекарство, можетъ быть назначена больному нѣсколькими днями сряду, слѣдовательно нечего обращать вниманія на то, что арестанты недавно были въ банѣ.

Разумѣется дѣло кончилось тѣмъ, что больные арестанты обошлись безъ бань и безъ водки.

Вообще, насколько мнѣ удалось замѣтить, смотритель острога былъ очень хорошій экономъ, судя потому, что въ зимнее время отапливались не всѣ комнаты или каморы острога, отчего когда много было арестантовъ, то въ иной комнатѣ ихъ слыбно не десяти, но пятнадцати человѣкъ и даже больше. Разумѣется при такой скученности воздухъ сильно портился отъ дыханія, а сырость зимой увеличивалась отъ неотопливаемыхъ сосѣднихъ комнатъ и тоже сильно портила воздухъ. Потому я нѣсколько разъ замѣчалъ смотрителю, что топить необходимо во всѣхъ комнатахъ, а въ нѣкоторыхъ даже два въ день, или же постоянно поддерживать хоть небольшой огонь, чтобы черезъ это если несовсѣмъ уничтожить, то хоть сколько-нибудь освѣжить воздухъ. Советовалъ кромѣ того отпирать каждый день на нѣкоторое время форточки. Но всѣ мои убѣжденія и доводы были напрасны. Смотритель каждый разъ флегматически выслушивалъ меня и каждый разъ я слышалъ отъ него одну и ту же пѣсню:

— Сырость въ острогѣ не оттого, что не во всѣхъ комнатахъ топятъ печи, а оттого, что внутри стѣнъ вмѣсто кирпича навалены мусоръ да щепы: тутъ сколько ни топи, только дрова даромъ будешь переводить, а сырости—то не выживешь. А форточки отпирай сколько хочешь, воздухъ все тотъ же будетъ, только холоду занустишь.

Однимъ словомъ смотритель никогда и ни въ чемъ со мной не соглашался и что замѣчательно, онъ всякій разъ кругомъ былъ правъ. Вотъ примѣръ одинъ изъ сотни: всѣ лекарства для больныхъ арестантовъ отпускались обыкновенно изъ аптеки при городской больницѣ. Разъ заболѣлъ одинъ арестантъ. Прописываю ему лекарство, котораго въ городской больничной аптекѣ не оказалось. Я и говорю острожному смотрителю, чтобъ онъ послалъ за лекарствомъ въ вольную аптеку, и всего-то, говорю, оно будетъ стоить какихъ-нибудь пятнадцать копѣекъ ужь никакъ не дороже.

— Въ положеніи не сказано, отвѣчалъ онъ мнѣ: — чтобы брать лекарства изъ вольной аптеки, когда ихъ нѣтъ при городской больницѣ, и по мнѣ будь что будетъ, такъ я ни копѣйки не истрачу, чего не положено.

Больница острога состояла изъ одной небольшой комнаты и находилась рядомъ съ прочими комнатами. Она почти ничѣмъ не отличалась отъ всѣхъ другихъ комнатъ острога: такая же сырая, воздухъ въ ней такой же тяжелый, спертый, какъ и во всемъ острогѣ, только въ ней было какъ-будто немного почище, освѣтлѣе, чѣмъ въ остальныхъ комнатахъ. Вмѣсто нарѣ стояли въ ней двѣ деревянныя кровати съ грубымъ грязнымъ бѣльемъ, вмѣвшимя всего въ одномъ экземплярѣ, такъ что когда приходилось его отдавать въ стирку, то кровати вовсе оставались безъ бѣлья. Посреди комнаты у потолка висѣлъ фонарь, чего не было ни въ одной изъ прочихъ комнатъ.

До семидесяти арестантовъ — и всего только одна комната для больныхъ! Хорошо, если изъ этихъ семидесяти человѣкъ заболѣетъ одинъ, двое; ну а какъ больше? На какія кровати прикажете ихъ класть? да притомъ заболѣютъ такими болѣзнями, которыя требуютъ непременно отдѣлить не только больныхъ отъ здоровыхъ, но даже и больныхъ другъ отъ друга? Даже когда только двое заболѣютъ, но одинъ изъ этихъ больныхъ мужчина, а другой женщина? неужели ихъ запереть въ одну комнату?

Къ счастью мнѣ не пришлось рѣшать этихъ вопросовъ на практикѣ. Въ Корсарѣ я прослужилъ всего три съ половиной мѣсяца; во все это время серьезно больныхъ арестантовъ было немного: одинъ, много два въ мѣсяцъ.

Женщинъ въ острогѣ содержалось мало; все почти одни мужчины, народъ крѣпкій, здоровый. Разумѣется попавъ въ острогъ, они болѣе или менѣе скоро утрачивали свое крѣпкое здоровье, хотя и несомнѣнъ. Большая часть ихъ страдала или скорбутомъ, или поносомъ. Но эти болѣзни не развивались въ сильной степени и никогда отъ нихъ никто не расхварывался до того, чтобы слезъ въ постель.

Разъ меня позвали къ больному въ острогъ. Проходя по коридору мимо дверей больницы, я услыхалъ умоляющій голосъ:

— Ваше высокопревосходительство! выслушайте мою просьбу!

Это возваніе повторялось нѣсколько разъ, и непонимая къ ко-

му оно относится, я обратился къ солдату, который всякій разъ сопровождалъ меня съ ружьемъ въ рукѣ.

— Что это за крикъ въ больницѣ?

— Да это больной, ваше благородіе, васъ зоветъ въ больницу, — отвѣчалъ конвойный.

— Скажите больному, что я нарочно для него пришолъ въ острогъ и сейчасъ буду въ больницу, только сначала зайду къ другимъ арестантамъ, узнать, нѣтъ ли тамъ больныхъ.

Побывалъ у здоровыхъ арестантовъ и пошелъ въ больницу. Тамъ былъ одинъ больной. Только-что я вошелъ въ больницу, онъ упалъ передо мной на колѣни и умолялъ, чтобъ избавилъ его отъ невыносимаго для него одиночнаго заключенія, въ которомъ онъ находился уже болѣе недѣли, и чтобы позволили ему сидѣть вмѣстѣ съ другими арестантами. Я, говорить, просилъ объ этомъ и смотрителя, и начальника ~~линейной~~ команды, но они сказали, чтобъ я обратился къ вашему ~~высоко-~~превосходительству, что не по ихъ, а по вашему приказанію меня посадили одного въ больницу.

Болѣзнь у арестанта была заразительна, но она уже начала проходить и притомъ боясь, чтобъ онъ не сталъ скрывать свою болѣзнь, я позволилъ его перевести въ общую комнату къ прочимъ арестантамъ, предупредивъ больного, чтобъ онъ пилъ и ѣлъ отдѣльно отъ своихъ товарищей.

— Ужь будьте благопадежны! все такъ и буду дѣлать, какъ прикажете, — отвѣчалъ больной арестантъ: — вотъ у меня чашечка своя здѣсь съ водицей.

Онъ подбѣжалъ къ окну, гдѣ у него стояла чашка съ водой, потомъ отъ окна кинулся въ передній уголъ, гдѣ изъ-за трещины штукатурки вытащилъ какую-то бумагу и ложку, приговаривая: — Вотъ у меня и ложечка своя будетъ!

Бумага меня заинтересовала. Для арестанта, сколько я замѣтилъ, она была особенно дорога. Спросить о ней у самого арестанта мнѣ показалось неловко, я и обратился съ вопросомъ къ солдату:

— Что это у больного за бумага?

— Видъ его, ваше благородіе, отвѣчалъ мнѣ конвойный. — Здѣсь каждому арестанту выдается такой видъ: прописывается имя, фамилія, за что посаженъ въ острогъ, и всякій арестантъ этотъ видъ долженъ имѣть завсегда при себѣ, на случай когда

кто спросить. Ну примѣрно вы бы захотѣли узнать кто такой арестантъ и за что сидитъ? Вотъ вы только потребуйте, — онъ сейчасъ вамъ и подастъ этотъ самый видъ.

Забравъ все свое имущество — чашку, ложку и видъ, арестантъ съ радостью вышелъ за мной изъ больничнаго, одиночнаго заключенія.

Этотъ больной былъ крестьянинъ. Да и вообще всѣ арестанты были изъ простаго класа; исключеніе составлялъ только одинъ арестантъ, выдававшій себя за дворянина. По костюму онъ однакожь сильно смахивалъ на дьячка: узкій, длиннополый, чуть не до пятокъ кафтанъ, подпоясанный кушакомъ и шапка вродѣ ермолки, плохо говорили въ пользу дворянской породы ихъ владѣльца.

Въ острогъ этотъ quasi-дворянинъ попалъ за бродяжничество. Разгуливая по городамъ и деревнямъ, онъ забрелъ въ Корсаръ; корсарской полиціи онъ почему-то показался весьма подозрительнымъ человѣкомъ; она «забрала» его и посадила въ острогъ. Предварительно разумѣется были отъ него отобраны показанія о мѣстѣ жительства, о родствѣ его и т. д. Подозрительный человѣкъ показалъ, что онъ дворянинъ изъ сосѣдняго уѣднаго города и т. д. Пошли справки. Пока шли справки, бродяга-дворянинъ сидѣлъ въ острогѣ.

Для дворянъ въ острогѣ, какъ извѣстно, бываетъ отдѣльная комната. Такъ какъ бродяга выдавалъ себя за дворянина, то его и посадили въ эту комнату, одного. Два-три дня одиночнаго заключенія до такой степени сильно на него подѣйствовали, что онъ призналъ за лучшее отрѣчься отъ дворянства.

— Нѣтъ ужъ лучше назваться не дворяниномъ, — говорилъ онъ мнѣ, когда я увидалъ что онъ сидитъ вмѣстѣ съ прочими арестантами-простолюдинами и спросилъ его: почему онъ не сидитъ въ дворянской каморѣ? — Ужъ лучше сказаться недворяниномъ, — покрайней-мѣрѣ вмѣстѣ съ другими посадятъ, а то одному сидѣть въ каморѣ куда какъ тяжело!

Онъ просидѣлъ въ острогѣ недѣли двѣ. Въ эти двѣ недѣли переписка о немъ кончилась. Полиція сосѣдняго города подтвердила показанія бродяги. Тотчасъ по полученіи этого подтвержденія бродягу выпустили изъ острога.

Этотъ арестантъ памятенъ для меня особенно тѣмъ, что по выходѣ изъ острога онъ хотѣлъ меня «пристукнуть.» Дѣло было

такого рода. Встрѣчаюсь я съ нимъ на улицѣ, поздно вечеромъ. Онъ былъ ужасно пьянъ, однакожь узналъ меня. Подходить ко мнѣ и просить денегъ — на штофчикъ, ну всего только на одинъ штофчикъ! Денегъ я ему не далъ. Начинаются моленія: «я пренесчастнѣйшій человекъ въ мірѣ — вотъ вамъ доказательство — я совершенно безвинно былъ посаженъ въ острогъ, гдѣ вы сами изволили меня видѣть — значитъ я не лгу» и т. д. «я знаю, что вы московскій, вѣдь и я тоже московскій» и т. д.

Онъ былъ горохомъ, я былъ стѣной. Его моленіе меня не тронуло, не далъ я ему ни копѣйки. Тутъ онъ мнѣ объявлялъ, что такъ-таки не отстанетъ отъ меня, куда бы я ни пошелъ, онъ отъ меня не отстанетъ. Иду къ себѣ на квартиру. Онъ за мной. Вхожу въ комнату и онъ за мной. Во флигелѣ жилъ я одинъ, прислуги при мнѣ никого не было. Выпроводить этого господина долженъ былъ я самъ, мнѣ этого не хотѣлось. Я сталъ уговаривать его: «вы сперва проспитесь, это будетъ лучше; хмѣль у васъ пройдетъ, тогда вы ко мнѣ придите и я вамъ дамъ денегъ». Дворянинъ разобидѣлся:

— Развѣ я пьяный какой? Что вы думаете, что я пьянъ что ли? кричалъ онъ. Потомъ показалъ свой кулакъ, довольно приличный и пробормоталъ: — пристукну такъ, что и душа вонъ пойдѣтъ!

Незная какъ отдѣлаться отъ такого любезнаго гостя, я опять поскорѣе вышелъ изъ моей квартиры, предполагая, что и гость тоже за мной послѣдуетъ, а тамъ ужъ какъ-нибудь мы разстанемся, лишь бы только вышелъ онъ отъ меня съ квартиры.

Такъ и случилось; вслѣдъ за мной и онъ пошелъ.

— Куда же вы? спрашиваетъ онъ меня за воротами.

— Къ больному! отвѣчаю я.

— А денегъ-то мнѣ когда же дадите?

— Да вотъ ужъ когда вернусь отъ больного, тогда и дамъ.

— Ну итѣтъ, вы на обманъ пошли! Да меня не проведете, я вѣдь отъ васъ не отстану!

Цѣлую улипу онъ шолъ за мной. Дошли до дому городничаго.

— Ужъ не къ городничему ли вы идете? спрашиваетъ онъ меня.

— Да, къ городничему! говорю я.

— Зачѣмъ это?

— Попросить, чтобъ васъ опять посадили въ острогъ, а то вы мнѣ покою не дадите.

— Ну вернитесь! Ну ради-бога не ходите къ городничему! Я къ вамъ больше не пойду! Сейчасъ же отъ васъ отстану, ей-богу отстану!

Я вернулся и онъ пошолъ отъ меня прочь, сказавъ: «вращайте! добраго здоровья вамъ желаю!» Потомъ принялся меня ругать. Вскорѣ я совершенно отъ него скрылся и больше онъ меня не преслѣдовалъ.

На другой день прихожу въ городскую больницу. Сторожъ обращается ко мнѣ съ вопросомъ:

— Ночесъ ваше благородіе изволили прислать больного къ намъ?

— Какого больного? Я никого не посылалъ въ больницу.

— Значить мы хорошо сдѣлали, что послушали Спиридона (онъ указалъ на больного солдата), что вытолкали его почесъ изъ больницы. Спиридонъ—то когда еще здоровъ былъ и въ караулъ ходилъ, такъ видѣлъ его въ острогѣ и слышалъ тамъ, что этотъ больной просто бѣглый какой-то, никуда его не пустили на фатеру, такъ онъ нарочно и подвелъ себя, чтобы посадили въ острогъ, благо тамъ поятъ и кормятъ.

Изъ дальнѣйшихъ распросовъ оказалось, что это былъ не кто иной, какъ осторожный дворянинъ. Разставшись со мной у дому городничаго, онъ прямо и отправился въ больницу. Пришолъ и говорить сторожу: я дескать боленъ и былъ у доктора, онъ и послалъ меня въ больницу. Сторожъ больничный сначала было и повѣрилъ, уложилъ его на кровать, принесъ бѣлье, но когда больной потребовалъ обѣдъ (было часовъ одиннадцать ночи) сторожъ ему и говорить: «какой тебѣ обѣдъ ночью! Вотъ ночью захотѣлъ обѣда! подожди до завтра, будетъ тебѣ обѣдъ!» Больной расшумѣлся и полѣзъ драться со сторожемъ, почему ему онъ обѣдъ не даетъ? Тутъ подошли къ нему всѣ больные, бывшіе въ то время въ больницѣ, въ числѣ ихъ и солдатъ Спиридонъ. Спиридонъ узналъ его и говорить:

— Вонъ его, вонъ изъ больницы, чтобъ духу его не было! онъ вретъ все, что боленъ, онъ вовсе не былъ у доктора, а просто ѣсть захотѣлъ!

Больной не унимался и продолжалъ шумѣть; его просто-

напросто вытолкали изъ больницы. Онъ сталъ ломиться; ему сказали, что сейчасъ его представятъ прямо въ полицію. Убѣжалъ. Убѣгая онъ говорилъ :

— Ужъ лучше не ловите! самъ бы пошелъ въ полицію, а нето въ острогъ, да скверно тамъ : пища плоха да и черно все таково, а то бы отчего еще не посидѣть, народъ все тамъ хорошій, не такіе каналы, какъ вы тутъ въ больницѣ — больного выгнали! Да убудеть васъ что ли, когда бы я пообѣдалъ у васъ да переночевалъ? Эхъ вы! Ужъ казеннаго-то жаль!

АНАТОЛІЙ ИНСАРОВЪ

С М Е Р Т Ъ

(М. Н. Коптевой)

Мнѣ кажется, что я умру въ дорогѣ,
На станціи. Глухая будетъ ночь,
Я не смогу усталость перемочь
И задремлю тихонько на порогѣ.
Тамъ въ темнотѣ мѣняють лошадей,
Среди тѣней и тусклыхъ фонарей
Бубенчиковъ раздались перелавы
И фыркаетъ протяжно конь лѣнивый...

А ночь темна, — безъ звѣздъ и безъ лучей,

И снится мнѣ, что я приѣду скоро,
Что вотъ теперь ужъ конченъ скучный путь,
Что будетъ мнѣ такъ сладко отдохнуть
Средь тихихъ словъ простого разговора,
Подъ жаркій трескъ растопленныхъ печей...

А ночь темна, — безъ звѣздъ и безъ лучей.

Вотъ огоньки блеснули мнѣ привѣтно,
И сердце имъ забилося отвѣтно
И хочется туда летѣть, бѣжать
И новаго такъ много рассказать,
И хочется такъ многихъ мнѣ увидѣть,
По старому любить и ненавидѣть
И страстно жить опять среди людей...

А ночь темна — безъ звѣздъ и безъ лучей.

Темна, темна! И сердце вдругъ упало...
 Ну, стоитъ ли стремиться и желать
 И новое все что-то узнавать?
 И эта мысль мнѣ мозгъ застывшій сжала:
 Такъ тяжела, упорна и одна
 Какъ ночь кругомъ черна и холодна...
 Ну стоитъ ли? Вѣдь все одно и тоже!

Когда-то былъ я лучше и моложе,
 Мнѣ нравилась вся эта трескотня,
 Весь этотъ блескъ такъ радовалъ меня!
 Ну, а теперь... теперь съ меня довольно!
 Но отчего жъ вдругъ сердцу стало больно?

И отчего — все будто холоднѣй
 Сырой туманъ ползетъ съ сырыхъ полей?

Ну пусть ужъ такъ! Пусть тише сердце бьется!
 Холодный мракъ все шире раздается...
 Но хорошо! Вотъ такъ бы все лежать!
 Ни мучиться, ни думать, ни желать
 И мирно спать безъ сновъ — покойно, вѣчно...

И дальше не поѣду я конечно.

О. ВЕРГЪ

* * *

И плескъ, и блескъ рѣчной волны,
Туманы, тѣни ночи синей,
Благоуханія весны
Надъ зеленѣющей пустыней,
Луговъ и свѣжихъ оземей,
Весь этотъ трепеть, щебетанье,
Вся эта яркость и блестянье
Сквозистыхъ рощъ, небось, полей, —
Что свѣтлой, полной жизнью дышать —
И голосовъ несмѣтныхъ хоръ...

Привычный слухъ, спокойный взоръ
Ихъ мало видитъ, мало слышитъ.

Но если въ душныхъ городахъ
Все это вспоминать, въ день туманный,
На людныхъ, сиротныхъ площадяхъ,
Подъ гулъ тревоги неустанной —
Широко, полно дышетъ грудь,
Вольнѣе хочется вздохнуть...
И вотъ сверкнула даль нѣмая
Звенить, щебечеть впереди —

Весна цвѣтеть, благоухая,
Въ твоей взволнованной груди...

С. ВЕРГЪ

ЛѢТНІЯ НѢСНИ

I

Солнце горы золотило,
Золотило облака.
Воды свѣтлыя катила,
Въ яркой зелени рѣка.

И казалось эти воды
Унесли съ собою въ даль,
И недавніа невзгоды
И недавнюю печаль.

И какъ-будто воротилась
Снова дней моихъ весна;
Сердце весело такъ билось,
Такъ душа была ясна.

Все чего душа просила
Такъ напрасно, съ давнихъ поръ,
Все природа ей дарила:
И свободу и просторъ!

II

Ночь пролетала надъ міромъ,
Сны на людей навѣвая;
Съ темно-лазуревой ризы
Сыпались звѣзды сверкая.

Старые мощные дубы,
 Вѣчно-зеленые ели,
 Грустные ивы — листвою,
 Ночи навстрѣчу шумѣли.

Радостно волны журчали,
 Образъ ея отражая,
 Рожь наклонялась, сильнѣе
 Пахла трава луговая.

Крики кузнечиковъ рѣзвыхъ
 И соловьиныя трели,
 Въ хорѣ хвалебномъ сливаясь,
 Въ воздухѣ тихомъ звенѣли.

И улыбалася кротко
 Ночь надъ землею пролетая...
 Съ темно-лазуревой ризы
 Сыпались звѣзды сверкая...

III

Блѣдный лучъ луны пробился
 Сквозь таинственной листвы,
 И приноситъ вѣтеръ теплый
 Запахъ скошенной травы.

Все бы только здѣсь лежалъ я
 Подъ навѣсомъ этихъ ивъ,
 Въ даль иѣмую, въ куполъ звѣздный,
 Взоръ безцѣльно устремивъ ;

Все бы слушалъ какъ вершина
 Ивы дремлющей шумить,
 Какъ на темномъ днѣ оврага
 По камнямъ родникъ журчить.

Это тихое журчанье,
 Шелестъ листьевъ, свѣтъ луны, —
 На меня все навѣваетъ
 Примиряющіе свѣты...

Ночь! съ твоимъ сіаньемъ проткнись,
Для усталого меня
Ты дороже и милѣе
Ярко-блещущаго дня...

А. ПЛЕЩЕЕВЪ

Іюль 1862 г.

ЗЕМСТВО И РАСКОЛЬ

БѢГУНЫ

Формы имперіи, какія далъ народному и государственному складу Россіи Петръ великій, радикально измѣняли на все послѣдующее время внутренній, историческій, созданный свободнымъ бытомъ народнымъ составъ и строй русскаго земства. При Петрѣ возвелось до апотеозы московское единодержавіе. «Роснисаніе Россіи на губерніи и провинціи изъ ближней канцеляріи, изъ кабинета Петра великаго», разрушило естественную, колонизаціонную, историко-этнографическую основу федеральнаго областного земскаго строя и дѣленія. Учрежденіе высшихъ центральныхъ правительственныхъ вѣдомствъ окончательно уничтожило гражданскую и духовную юридическую самобытность областей, слабые признаки которой еще сохранялись отчасти и въ XVII вѣкѣ. Наданіе регламентовъ, инструкцій и уставовъ сглаживало все разнообразіе и стѣсняло, исключало всякую свободу естественнаго, юридическаго, экономическаго, умственнаго и нравственнаго саморазвитія областного земства, устанавливая для него, безъ всякаго отношенія къ разнообразію мѣстныхъ условій, однѣ общія нормы или регулы. Ревизія душъ была завершительнымъ актомъ разложенія исторической организаціи земскаго міра и сословнаго, бюрократическаго, централизаціоннаго строя государства, въ формѣ имперіи всероссійской. Она, во первыхъ, каждую личность прикрѣпляла къ имперіи, записывая каждую душу въ государственную «переписную книгу»; вторыхъ, раскалывала такъ-сказать цѣльный общинный составъ, организмъ земства на сословныя касты, крѣпостныя, служилыя и податныя, военно-духовно-гражданскія. Вотъ главныя начала, которыми по волѣ Петра великаго, въ самыхъ основахъ, преобразовывали земство на разныя сословія имперіи, и которыя; потому во многихъ отношеніяхъ болѣзненно отзывались

въ земствѣ на все послѣдующее время. И вотъ причины, почему общинно-демократическія согласія раскола, поднявши народную оппозицію противъ реформъ Петра великаго, оппозицію недовольнаго земства противъ шведско-нѣмецкихъ формъ тогдашней имперіи, съ самаго начала возстали и доселѣ возстаютъ главнымъ-образомъ противъ всѣхъ указанныхъ началъ государственности. И съ тѣхъ поръ и доньнѣ свою историко-догматическую полемику они ведутъ обыкновенно со времени Петра I, такъ что каждое историко-обличительное сочиненіе федосѣевцевъ, бѣгуновъ начинается или все наполняется обыкновенно бранью «антихриста, ежесть Петра I» и отрицаніемъ всѣхъ его государственныхъ учреждений: сената, синода, регламентовъ, ревизіи душъ, подушной подати, раздѣленія человѣкъ на чины или таблицы о рангахъ и т. д. Изъ этихъ основныхъ началъ народно-бытовой оппозиціи демократическія общины раскола развивали все свое историко-оппозиционное ученіе.

Ревизія душъ была камнемъ преткновенія или главнымъ раздѣвляющимъ началомъ для земства, и потому сопровождалась особеннымъ развитіемъ раскола въ земствѣ. Эпоха первыхъ двухъ ревизій, 1718 и 1742 года, характеризующаяся тяжелой для народа постройкой имперіи, была временемъ самаго болѣзненнаго и напряженнаго хаотическаго движенія податныхъ, служилыхъ и крѣпостныхъ массъ народа. Въ это время въ нихъ сильно развивался духъ отрицанья, и выражался хаотическимъ, безпокойнымъ броженіемъ и бѣгствомъ отъ службы, отъ податей, отъ крѣпостного рабства, бѣгствомъ изъ самой имперіи, за границу. Эпоха слѣдующихъ двухъ ревизій, 1762 и 1782 годовъ, когда начался возвратъ къ установкѣ, къ образованію русскаго сословно-раздѣленнаго общества, ознаменовалась въ исторіи массъ народныхъ сильными, энергическими агитаціями крѣпостного, служилаго и податного земства. Въ этихъ агитаціяхъ преимущественно выразился тотъ духъ недовольства, который наболѣлъ въ сердцахъ податныхъ и крѣпостныхъ массъ народа въ первой половинѣ XVIII столѣтія, и который тогда выражался бѣгствомъ и разбойничествомъ. Основной мотивъ всѣхъ этихъ движеній и физическихъ и нравственныхъ силъ податнаго, крѣпостнаго и служилаго народа составляла — месть за угнетенье и жажда воли. Въ это время, полъ знаменемъ раскола, грянула пугачевщина. Въ это время пророкъ людей божіихъ, освободитель и искупитель душъ крестьянскихъ, съ мистическимъ предчувствіемъ, въ мифическихъ образахъ, возвѣщалъ идею свободы, освобожденія, искупленія душъ народныхъ, возвѣщалъ «отъ странъ пркрутскихъ до сѣверной страны интер-

ской.» Въ это же время, подъ знаменемъ безпоповщиныскаго раскола, явились бѣгуны. Въ бѣгунахъ преимущественно выразилось отрицанье ревизской, военно-служилой и податной прикрѣпленности душъ, личностей къ имперіи и великороссійской церкви и порабоцевности ихъ властямъ и учрежденіямъ той и другой.

Въ настоящемъ очеркѣ мы хотимъ сказать главнымъ образомъ о происхожденіи и значеніи въ народной исторіи согласья бѣгуновъ, касаясь впрочемъ отчасти и прочихъ согласій раскола.

•
I

Съ тридцатыхъ годовъ XVIII столѣтія до пугачевщины, почти не слышно . невидно на сценѣ исторіи огромныхъ массъ провинціального народа. А горемычные, — онѣ тогда страшно стонали. Но отдаленный стонъ народный, по словамъ Щербатова, небылъ внушаемъ и слышенъ среди роскошей столичныхъ. Тогдашнее правительство не знало народа, надъ которымъ держало строгую, деспотическую опеку. Народъ не зналъ правительства, и только испытывалъ кругомъ вопіющія злоупотребленія администраціи и судопроизводства, крѣпостнаго права и проч. «Россія, говоритъ тотъ же историкъ и публицистъ екатерининскаго времени, — Россія не какъ другія страны, гдѣ правительство тщится обнаружить свои операціи передъ народомъ, но о самыхъ вещахъ, касающихся непосредственно до народа, въ совершенной тайнѣ сіе содержитъ. Что я говорю о народѣ? Самыя таковыя дѣла главному правительству неизвѣстны, а знаетъ ихъ токмо тотъ, кому они препоручены. А посему правительство такой повѣренной особѣ сопротивляться не можетъ; самыя операціи его зависятъ отъ хотѣнія того; народъ пребываетъ въ невѣдѣніи и неудовольствіи, иногда и понапрасну. Желаютіе научиться способу неимѣютъ. Размышленія оставлены. Ошибки или злоупотребленія неисправляемы остаются, и ошибка ошибкою и зло зломъ, якобы для исправленія, умножаютъ.» Въ половинѣ XVIII столѣтія правительство было въ самомъ печальномъ невѣдѣніи народа, а народъ передъ нимъ былъ самый жалкій, *peuple des esclaves*, по выраженію англійскаго посланника того времени, Сирлея. Императрица Екатерина II такъ описывала, въ какомъ положеніи наша имперія, когда вступила на престолъ: «Я нашла сухопутную армію въ Пруссіи, за двѣ трети жалованья неполучившую. Въ статсъ-конторѣ именныя указы на выдачу 17,000,000 рублей не выполненные. Монетный дворъ со времени царя Алексѣя Михайловича считалъ денегъ въ обращеніи

100 миллионовъ , изъ которыхъ 40,000,000 почитали вышедшими изъ имперіи вонъ и натурою отправленными , понеже тогда вексельнаго оборота либо вовсе не знали, либо мало употребляли. Почти всѣ отрасли торговли были отданы частнымъ лицамъ въ монополію. Таможни всей имперіи сенатомъ даны были на откупъ за два милліона. 60,000,000 кои остались въ имперіи , были 12 разныхъ вѣсовъ серебряныя деньги отъ 82 пробы по 63, мѣдныя отъ 40 до 32 рублей въ пудѣ. Внутри имперіи, заводскіе и монастырскіе крестьяне почти всѣ были въ явномъ непослушаніи властей , и къ нимъ начали присоединяться мѣстами и помѣщичьи. Правительствующій сенатъ тогда составлялъ одинъ департаментъ. Сей слушалъ апелляціонныя дѣла не экстрактами , но самое дѣло со всѣми обстоятельствами , и чтеніе дѣла о выгонѣ города Масальска занимало при вступленіи моемъ на престолъ первыя шесть недѣль заведенія сената. Въ губерніяхъ такъ худо исполняли приказаніе сената, что въ пословицу вошло говорить : ждуть третьяго указа, понеже по первому и второму не исполняли. Каждая губернія была раздѣлена на провинціи , а къ каждой провинціи были приписаны окружные города , въ коихъ находились воеводы и воеводскіе канцеляріи. Оныя не получали жалованья , и дозволено имъ было кормиться отъ дѣла , хотя взятки строго запрещены были. Сенатъ опредѣлялъ воеводъ , но числа городовъ въ имперіи не зналъ. Когда я требовала реестры городамъ , то признались въ невѣдѣніи оныхъ , даже карты всей имперіи сенатъ отъ основанія своего не имѣлъ. Я бывъ въ сенатѣ , послала пять рублей въ академію наукъ , чрезъ рѣку отъ сената , и купленный тамъ кириловскій печатный атласъ въ тотъ же часъ подарила правительствующему сенату. По востшествіи моемъ на престолъ , сенатъ подалъ мнѣ реестръ городовъ имперіи , по которому явствовало , что оныхъ считали 16,000,000. По прошествіи двухъ лѣтъ , я посадила князя Вяземскаго и тайнаго дѣйствительнаго совѣтника Мельгунова считать доходы. Они вѣсколько лѣтъ считали , переписывались разъ по семи съ каждымъ воеводой , наконецъ сочли 28 миллионовъ. При коронаціи моеи было у меня три секретаря , у cadaго изъ нихъ было по 300 прошеній, итого 900... Въ июнѣ мѣсяцѣ 1763 года побѣхала я въ сенатъ. Слушали дѣло о новой ревизіи , которой двадцатилѣтній срокъ настоялъ , и требовали отъ меня повелѣніе нарядить ревизоровъ по всей имперіи и безчетныя воинскіи команды; считали , что мнѣ 800,000 рублей ревизія не станетъ. Сенаторы въ разговорахъ между собою упоминали о безчисленныхъ слѣдственныхъ дѣлахъ , которыя ревизія за собою повлечетъ , о побѣгахъ въ Польшу и за границу ревизскихъ душъ , объ ущербѣ имперіи отъ всякой реви-

зи, почптая однакожь всё ревизию за нужную вещь. Я слушала весьма долго все, что говорили господа сенатъ, наконецъ уставъ говорить замолчали. Тогда я спросила на что таковой нарядъ войскъ и тягостныя суммы для казны. Нельзя ли инако? Миѣ сказали: такъ дѣлывалось прежде. Я на сіе отвѣтствовала: а миѣ кажется вотъ такъ, — публикуйте по всей имперіи, чтобы каждое селеніе послало о наличномъ числѣ душъ реестръ въ свою военную канцелярію, чтобы канцеляріи прислали въ губерніи, а губерніи въ сенатъ. Человѣка четыре сенаторовъ встали, представляли миѣ, что прописныхъ будетъ безъ числа. Я имъ сказала: поставьте штрафъ на прописныхъ. Паки представляли, что за всѣми уже положенными жестокими наказаніями многое-множество прописныхъ есть. Тогда я имъ говорила: — простите всѣхъ дондесъ прописныхъ по моей просьбѣ и велите селеніямъ прописныхъ донинѣ ввести въ выѣшнія ревизионныя сказки. (Далѣе рассказываетъ Екатерина о томъ, какъ сенаторы стали было горячиться, и съва наконецъ былъ разговоръ о ревизіи, по мысли императрицы). Заводскихъ крестьянъ непослушаніе унижали посланные генералъ-майоры князь Александръ Алексѣичъ Вяземскій, и Александръ Ильичъ Бибииковъ, разсмотря на мѣстѣ жалобы на заводсодержателей, но не единожды принуждены были употребить противу нихъ оружіе и даже до пушекъ, и не увидѣлось возстаніе сихъ людей, дондесе гороблагодатскіе заводы за двумиллионный казнѣ долгъ графа Петра Шувалова возвращены въ коронное управленіе, также иоронцовскіе, чернышоскіе, ягутинскіе и нѣкоторые иные заводы по таковымъ же причинамъ паки въ казенное поступили вѣдомство. Весь вредъ сей произошолъ отъ самовластной раздачи сенатомъ заводовъ сихъ со приписными къ онымъ крестьянами. Щелрость сената тогда доходила до того, что мѣднаго банка трехмиллионный капиталъ почти весь розданъ заводчикамъ, кои умножая заводскихъ крестьянъ работы, платилъ имъ либо безпорядочно, либо вовсе ничего, проматывая взятая отъ казны деньги въ столицѣ.»

При такомъ правительствѣ каково было жить горемычнымъ податнымъ, крѣпостнымъ, рабочимъ, служилымъ массамъ народа?.. Въ глуши провинцій, невѣдомо для правительства, стояли они подъ игомъ губернскихъ и военныхъ канцелярій, подъ игомъ начальниковъ губерній, въ родѣ Тутолминыхъ, Гудовичей, Трескиныхъ, подъ игомъ ландратовъ, ландрихтеровъ, ландкомиссаровъ, комендантовъ, оберъ-комендантовъ, оберъ-ландрихтеровъ, исправниковъ, засѣдателей, становыхъ. И вѣковымъ путемъ тяжко-прожитыхъ опытовъ стали они неволью доходить мало-помалу до того фактическаго, болѣзненно-прочувствованнаго отрицанія, ка-

кое несдержимо и однажды навсегда выразилось въ демократически-отрицательной оппозиціи всѣхъ феодаловскихъ согласій раскола и въ особенности въ согласіи бѣгуновъ. Всѣ массы земства тяжко испытывали горько-жизненное недовольство, и вотъ, во всѣхъ слояхъ его, недовольные доходили до такого отрицанья... Взглянемъ хоть бѣгло, въ частности, на бытъ податного, крѣпостного и служилаго народа, на бытъ купечества, мѣщанства, крестьянства и солдатства, въ эпоху появленія и распространенія согласія бѣгуновъ и передъ ней.

Былинный эпосъ и пѣсни народныхъ воспѣваютъ богатство и веселый, широкій разгулъ гостей новгородскихъ и купцовъ богатыхъ. Не то совѣмъ представляетъ историческая, грустная дѣйствительность. Рабская забитость, крайній недостатокъ духа инициативы, предприимчивости, недостатокъ просвѣщенной рациональности при здоровомъ, практическомъ русскомъ смыслѣ, вотъ печальные результаты историческаго воспитанія нашего купечества и вообще торгово-промышленнаго класса. По происхожденію сродное крестьянству, неохотно и медленно отрываясь отъ коренныхъ историческихъ обычаевъ сель, наше купечество туго поддается и европейскимъ понятіямъ и формамъ быта, указаннымъ Петромъ великимъ. Оно образуетъ какую-то социальную оппозиціонную реакцію, могучую, плотную, сдерживающую силу, посредствующую между сельскимъ крестьянствомъ и городскимъ дворянствомъ, крѣпко, свято, самоупорно охраняющую коренныя начала самобытнаго, народно-крестьянскаго историческаго творчества. Тутъ, въ этой бытовой, тяжело-прожитой самовыдержанности не все самодурная рутинная, а нельзя не обратить вниманія на эту вѣковую, исторически-развившуюся и окрѣпшую силу воли, самостоятельность быта. Большая часть купечества и посадства или мѣщанства, вмѣстѣ съ крестьянами, со временъ царя Алексѣя Михайловича и императора Петра I, пошла въ старообрядство, въ расколъ, и доселѣ упорствуетъ въ немъ. Тутъ, въ этомъ расколѣ не все застой, а есть жизнь, движеніе, поддерживается и воспитывается духъ народнаго саморазвитія, свободной самодѣятельности, самораспорядительности, самостоятельности, самоустройства, самоуправленія. Доказательство на это представляютъ между-прочимъ московскія и петербургскія старообрядскія церковныя собранія XIX вѣка. Не говоримъ покуда о политической письменности старообрядческой. Со временъ Петра великаго большая часть купечества и посадства признала лучшимъ устройствомъ, на основѣ старообрядства, свое, хоть и крѣпко замкнутое, но самобытное, безсловное, братское, богатое общество, съ соборно-

общиннымъ и выборнымъ самоуправленіемъ, чѣмъ соединиться, слиться съ православнымъ обществомъ, разъединеннымъ касталово-сословнымъ антагонизмомъ, управляемымъ какъ машина не своими общественными силами. Къ тому невольно вела купцовъ и посадскихъ историческая обстановка, политическій, общественный бытъ и положеніе ихъ.

На земскомъ соборѣ 1642 года посадскіе, торговые и промышленные люди, во имя стариннаго обычая, излюбленнаго общиннаго самоуправленія, выразили протестъ противъ воеводскаго самоуправства и желаніе собственнаго суда посредствомъ своихъ выборныхъ. Голосъ ихъ не былъ уваженъ. Недовольство торгово-промышленныхъ городскихъ классовъ, также какъ и крестьянское, излилось бунтами по всѣмъ городамъ. Но приказно-государственная сила воспреобладала надъ земскими стремленіями. И въ пятидесятыхъ годахъ XVII вѣка, гости, купецкіе и промышленные люди были уже безгласными жертвами приказнаго произвола. Самъ Петръ великій сожалѣя объ *оскудныхъ и разореннхъ торговыхъ и посадскихъ людей*, и о томъ, что «его великаго государя съ нихъ окладные многіе доходы учинились въ недоимкѣ, а пошлиннымъ сборамъ и инымъ поборамъ большіе недоборы»; самъ Петръ писалъ: «что имъ гостямъ и гостиной и суконной сотни и всѣмъ посадскимъ, купецкимъ и промышленнымъ людямъ, во многихъ ихъ приказныхъ волокитахъ, и отъ приказныхъ разныхъ чиновъ отъ людей въ торгахъ ихъ и во всякихъ промыслахъ чинятся имъ большіе убытки и разоренье, а иные оттого промысловъ своихъ отбыли и оскудали». Ни комерцъ-колегіи и мануфактуръ-колегіи, ни учрежденіе бурмистрской палаты, московской ратуши и городовыхъ земскихъ избъ, съ ихъ приказно-купеческихъ чиновничествомъ, съ президентами ратушей, оберъ-инспекторами и инспекторами крѣпостныхъ дѣлъ, подьячими, надсмотрщиками, сборщиками и расколчниками, купецкими фискалами, — ни одно изъ этихъ учрежденій не улучшило торговли и промышленности купцовъ и посадскихъ, не замѣнило для нихъ самоуправляемой, самостоятельной свободы торговаго и промысла. Напротивъ, инструкціями всѣхъ этихъ учрежденій, торговыми и ремесленными уставами до крайности стѣснено было свободное торгово-промышленное развитіе. Купцы и ремесленники попрежнему были рабы и жертвы казны, бурмистровъ ратушныхъ, бурмистровъ таможенныхъ, кабацкихъ и проч., да воеводъ, дьяковъ и подьячихъ. Не охранялъ ихъ отъ безправія, грабежа и обидъ и верховный контроль надъ правосудіемъ юстицъ-колегіи. Въ уставѣ главнаго магистрата такъ показано ихъ положеніе: «хотя судныя дѣла во всѣхъ губерніяхъ и

провинціяхъ въ смотрѣніи и въ вѣдѣніи подлежатъ въ юстицъ-колегіи, однакожь, понеже купецкіе и ремесленные татлые люди во всѣхъ городахъ обрѣтаются не токмо въ какомъ презрѣніи, но чаще отъ всякихъ обидъ, нападокъ и отягощеній неслыханныхъ еява не всѣ разорены, отчего ихъ весьма умалилось, и уже то есть не безъ влищаго государственнаго вреда.» Точно также мало благоустроивали бытъ купцовъ и ремесленниковъ главный магистратъ съ его регламентомъ и городовые магистраты, учрежденные съ цѣлью предоставить купцамъ нѣкоторыя права самосуда и самоуправления, чтобъ обезпечить ихъ доходы для обезпеченія доходовъ казны. Въмѣсто предоставленія купечеству и ремесленнымъ классамъ свободнаго торгово-промышленнаго саморазвитія, тогдашнее правительство по нѣмецкому образцу дѣлило да подраздѣляло ихъ на гильдіи и цунфты или цехи, подчиняло онекъ альдерменовъ, старостъ. Какъ матерьяльно и нравственно вредны гильдіи объ этомъ будетъ рѣчь дальше. Въмѣсто свободнаго выбора промысла, правительство подробно опредѣляло самыя стѣснительныя, кастально-корпоративные способы приобретенія регулярнаго гражданства, торговаго и ремесленнаго состоянія. Напримѣръ вродѣ такихъ правилъ: «тотъ изъ мастеровыхъ людей, кто не запишется въ цехъ, лишается права на свободное отправленіе ремесла; безъ предьявленія цеховому альдермену и безъ клейма, ремесленникъ не имѣетъ права продавать свое издѣліе, и т. п. Такой приказно-магистратскій, корпоративно-крѣпостной или замкнуто-сословный видъ самоуправления былъ висколько не легче и не лучше приказно-административнаго управленія. Да и тотъ былъ уничтоженъ при преемникахъ Петра. Въмѣстѣ съ уничтоженіемъ главнаго магистрата въ Петербургѣ, городовые ратуши и магистраты подчинены были губернаторамъ и воеводамъ. И послѣ, когда были возстановлены, не выходила изъ-подъ контроля губернаторовъ и секретарей. Какъ деспотствовали надъ купечествомъ начальники губерній и разныя присутственныя мѣста, желающихъ знать это отсылаемъ къ «Запискамъ Державина» и къ «Запискѣ о Сибири», напечатанной въ «Чтеніи общества исторіи и древностей российскихъ» за 1859 г. Вслѣдствіе этого и самыя выборныя общественныя учрежденія — магистраты, а послѣ и думы не имѣли почти никакой самостоятельности, самораспорядительности, по причинѣ преобладанія губернскихъ бюрократическихъ канцелярій и властей. Равнымъ образомъ и выборныя должностныя лица президенты магистратовъ, головы думъ и проч., вслѣдствіе преобладанія приказнаго элемента надъ земскими интересами, становились истыми чиновниками-деспотами. Ужасно читать, какіе были во

второй половинѣ XVIII столѣтія президенты городовыхъ магистратовъ, избиравшіеся иногда изъ военныхъ. Напримѣръ московскій генераль-губернаторъ графъ Салтыковъ доносилъ отъ 17 ноября 1763 года: «Орловскаго магистрата президентъ Дмитрій Дубровинъ купечеству дѣлалъ великія притѣсненія, грабежи и смертоубійства, также и казнѣ похищенія, зачто главнымъ магистратомъ и былъ отрѣшенъ отъ присутствія; но несмотря на то правилъ ту должность своевольно. Во время сего нахальнаго правленія фабрика купца Кузнецова товарищами его разграблена и разорена, а бывшіе на оной работники отчасти разогнаны, избиты и перелучены, и просилъ онъ, Кузнецовъ, въ сенатской конторѣ, отъ которой и посланъ указъ къ находящемуся тамъ кирасирскаго полка полковнику Давыдову, коимъ велѣно ему, обще съ орловскимъ воеводой и съ опредѣленнымъ отъ главнаго магистрата депутатомъ, все по самой справедливости изслѣдовать, а Дубровина съ сообщниками взять подъ караулъ, для пресѣченія неурядковъ и для возстановленія тишины разставить въ городѣ частые пикеты, почему онъ, Дубровинъ, и взять подъ караулъ. А какъ между тѣмъ кирасирскій полкъ въ походъ выступилъ, то мятежники ходятъ и понынѣ такъ, какъ и прежде, въ великомъ множествѣ съ заряжонными ружьями и дубьемъ, бьютъ смертно и увѣчатъ всѣхъ тѣхъ, которые съ ними несогласны» (и такъ далѣе идетъ рассказъ о дѣяніяхъ президента магистрата и его сына). И не только провинціальныя, городовые магистраты, но и петербургскій главный магистратъ во второй половинѣ XVIII столѣтія былъ страшно неустроенъ. Онъ больше притѣснялъ торговыхъ людей, особенно торгующихъ крестьянъ, чѣмъ заботился о безпрепятственности развитія торговли; больше грабилъ купцовъ, чѣмъ поощрялъ и облегчалъ народную торгово-промышленную производительность. Щербатовъ въ «Статистикѣ въ разсужденіи Россіи» писалъ о главномъ магистратѣ: «Сіе мѣсто, долженствующее бы быть защитою и покровомъ купечества и мѣщанства, учинилося вертепъ разбойниковъ, гдѣ ихъ грабятъ и утѣвляютъ другихъ подданныхъ. Сему я нѣкоторые примѣры предложу. Повелѣно, чтобъ всѣ мастеровые были записаны въ цехи; а состояніе россійскаго государства требуетъ, чтобъ благородные имѣли въ домахъ своихъ мастеровыхъ (при существованіи крѣпостнаго права) изъ собственныхъ своихъ людей, которыхъ нельзя удержать, да и нельзя имъ запретить, дабы они и на другихъ не работали, а нужнаго и сходственнаго съ симъ обстоятельствомъ учрежденія нѣтъ. Запрещено крестьянамъ торговать, а великая часть купцовъ ихъ деньгами торгуютъ, или прибыль отъ нихъ получаютъ; исключить ихъ изъ торговли, тѣмъ поте-

рается великое число денегъ, которыя нынѣ въ обращеніи и въ торгу, а не исключить, то купечество разорется; законы старые пребываютъ, новые печатаются, другіе невѣдомые указы именныя магистрату о семъ даются. Не лучше ли бы порядочно сіе разсмотрѣть, и чего неможно запретить, то съ нѣкоторыми выгодами для купцовъ позволить (и крестьянамъ торговать). Въ магистратѣ судятся вексельныя дѣла и дѣла о банкротствѣхъ, а полнаго вексельнаго устава нѣтъ, а банкротскаго и небывало; два или три были сочинены, всѣми мѣстами апробованы, на конфирмацію поданы, но безъ конфирмаціи остались. Послѣдній былъ сочиненъ комиссіей о комерціи, по долгомъ лежаніи пересматриванъ сенатомъ, то-есть мѣстомъ, ненавидящимъ комиссію о комерціи; ибо князь Вяземскій, генералъ-прокуроръ, сіе мѣсто ненавидитъ за то, что оно часто сопротивляется его несходственнымъ съ правилами торговли предпріятіямъ, какъ поелику онъ имѣетъ наблюденіе и о доходахъ государственныхъ. Самъ сенатъ учиня токмо малыя переправки, сей уставъ о банкротствѣхъ апробовалъ за подписаніемъ своимъ и комиссіи о комерціи императрицѣ въ 1774 году подалъ. Но какъ она въ кабинетѣ своемъ хочетъ на всѣ случаи сдѣлать новое пространвѣйшее уложеніе, то сего уставу не апробовала, а между тѣмъ временемъ государство и торговля терпятъ.»

Въ нравственно-юридическомъ отношеніи, купцы и мѣщане много терпѣли обидъ въ судахъ отъ присутственныхъ мѣстъ.

Они много зла терпѣли отъ бюрократическаго канцеляризма, несмотря на ослабленіе его во второй половинѣ XVIII вѣка. «И нынѣ — жаловались купцы во второй половинѣ прошлаго столѣтія — и нынѣ тоже всѣми тѣми монархами (Петромъ, также Анною и Елисаветою, возстановившими учрежденія петровы) купечество отъ канцеляріевъ почти несовсѣмъ отрѣшено, однакоже великое претерпѣваетъ отъ оныхъ притѣсненіе и обиды, которыхъ избѣгнуть никакъ не можно, кольми же паче когда совсѣмъ канцеляріямъ отдано полъ власть будетъ; тогда купцамъ останется дѣлать только то, чтобъ никуда отъ домовъ не отлучаясь, оберегать дома и домашнихъ своихъ, всѣхъ торговъ лишиться и придти въ отчаяніе.» По чрезмѣрной алчно-придирчивой, корыстолюбивой истязательности, чиновники чрезвычайно медленно вели купческія дѣла, пока не получали взятки, или запутывали и рѣшали неправильно. На судъ таскали купцовъ и мѣщанъ насильно, безъ всякихъ предварительныхъ повѣстокъ. Лукавыя судьи формальными допросами запутывали ихъ на судѣ. Военнослужащіе купечеству причиняли обиды и побои; за забранные товары не отдавали денегъ. Дворянство съ презрѣніемъ смотрѣло на купческія дѣ-

тей, какъ «въ грубости рожденныхъ», за то что они попадали въ дворянство. «Черезъ это — по словамъ князя Щербатова — чины уподлились, а служащій корпусъ дворянскій озорчался.» Словомъ, купечество, по словамъ его депутатовъ комиссіи 1767 года, находилось «въ крайнемъ презрѣніи», такъ же какъ и мѣщанство. Недаромъ поэтому представители купечества и мѣщанства въ этой комиссіи, созванной для сочиненія проекта новаго уложенія, представляли между прочимъ: 1) о выборѣ изъ купечества особливыхъ депутатовъ и о дозволеніи онымъ входить во всѣ присутственныя мѣста по дѣламъ купеческимъ; 2) о вчиненіи военно-служащимъ людямъ купечеству никакихъ обидъ и побоевъ и о платежѣ имъ за забранные у купцовъ товары денегъ; 3) о правосудіи и скорѣйшемъ рѣшеніи дѣлъ во всѣхъ присутственныхъ мѣстахъ по просьбамъ отъ купечества; 4) объ уменьшеніи судовъ и о штрафѣ судей; 5) о незабираніи насильно изъ суда въ присутственныя мѣста градскихъ жителей безъ учиненныхъ повѣстокъ; 6) объ избавленіи купечества отъ службы при сборѣ казенномъ, отъ ежегодныхъ выборовъ къ откупщикамъ для приѣма и отдачи вина, такъ-какъ это купечество считало самою большою «конфузіей для себя», и т. п.

Въ коммерческомъ отношеніи купечество и вообще торгово-промышленный классъ страдалъ отъ монополіи казны. Уже въ XVII вѣкѣ, особенно въ царствованіе Алексѣя Михайловича, стало государственно-экономическимъ принципомъ: «какъ бы государевой казнѣ было прибыльнѣе.» Петръ великій, перестроивавшій московское государство въ имперію, неусыпно хлопоталъ о доходахъ и прибыляхъ казны, и потому «о денежныхъ сборахъ» старался особенно «присматриваться», такъ что все, даже и самыя губерніи учреждалъ главнымъ образомъ съ финансовою цѣлью. При немъ впрочемъ казенная монополія въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, на примѣръ въ отношеніи къ фабричной и заводской промышленности и производительности, была поучительнымъ для народа примѣромъ или образцомъ. Но правительство и послѣ Петра великаго не только не ослабляло, а еще голъ отъ году усиливало систему казеннаго монополизма, такъ что къ концу XVIII и къ началу XIX столѣтія монополія возрасла до крайности и стала однимъ тяжелымъ стѣсненіемъ для торговли и промышленности. Мордвиновъ признавалъ въ этомъ одну изъ главныхъ причинъ разстройства финансовъ въ Россіи и обвиненія торговаго класса. «Казна присвоила себѣ единоторжіе, писалъ онъ: а) Черезъ отстраненіе торговаго класса людей отъ казенныхъ поставокъ. Сими отстраненіемъ и посылкою, въ замѣнъ того, во всѣ мѣста казенныхъ чиновниковъ для закупки вещей изъ первыхъ рукъ, ослабле-

на необходимая для общественнаго благосостоянія взаимная связь между производителями, торгующими и потребителями; б) чрезъ ослабленіе въ торговцахъ охоты вступать въ подряды и поставки казенныя. При маломъ числѣ подрядовъ и поставокъ, предоставляемыхъ казною торговому классу людей, самое даже производство на оныя торговъ до безшѣрности затруднено, какъ обрядами самаго производства ихъ, такъ и шѣрами обезпечивающими исправность поставокъ: ибо требуются залого (не беззатруднительные обыкновенно для торгующихъ) не только по такимъ обязательствамъ, кои для выполненія своего требуютъ довольно времени, но даже и на работу, которая съ перваго дня начатія ея, сама по себѣ составляетъ уже залогъ. Къ сему присовокупить должно и ослабленіе самой охоты въ торговыхъ людяхъ вступать въ обязательства съ казною, во первыхъ чрезъ разнообразныя имъ чинимыя притѣсненія, и именно: чрезъ неточное соблюденіе казною контрактовъ, съ ними заключенныхъ, чрезъ меленный платежъ денегъ, чрезъ тягостное продолженіе расчетовъ съ ними и т. п.; и во вторыхъ чрезъ притѣры появленія многихъ казенныхъ поставщиковъ въ разоренномъ и самомъ нищенскомъ состояніи.» Таковъ былъ экономическій гнетъ казны надъ торговымъ сословіемъ.

Въ экономическомъ отношеніи особенно жалко было положеніе безземельныхъ мѣщанъ. Указомъ отъ 14 марта 1746 года окончательно нарушено всенародное, всеобщее значеніе земли, или землевладѣніе. Купцамъ и цеховымъ ремесленникамъ — посадскимъ, мѣщанамъ запрещено, наравнѣ съ дворянами, покупать земли не только съ деревнями, но и безъ деревень. Такимъ образомъ привилегировано было на крѣпостное землевладѣніе одно дворянство, а купечество и мѣщанство, такъ же какъ и крестьянство, лишено свободнаго прана на землю. Отсюда послѣдовало не только юридическое, но и поземельное разъединеніе земства, нарушена поземельная общность, связь, и свободная, взаимная, обоюдная переходность изъ купеческаго и мѣщанскаго состоянія въ сельское, земледѣльческое, и обратно. Лишеніе земли особенно вредно стало для мѣщанства. Неся всѣ крестьянскія повинности и полущныя подати, не имѣя правъ свободнаго промысла, мѣщане лишены были и главнаго источника обезпеченія и дохода — земли. Оттого большая часть изъ нихъ стала представлять самыхъ несчастныхъ тружениковъ, бобылей, нищихъ, чернорабочихъ, прислужниковъ и т. п. Недаромъ въ XVIII вѣкѣ села, по указамъ, весьма неохотно обращались въ города, и крестьяне, не желая быть безземельными мѣщанами, недаромъ упорно отстаивали свои старинныя земли.

Такимъ образомъ и торговый, и ремесленный классъ, и купцы и

мѣщане терпѣли несносныя стѣсненія и лишенія въ самыхъ насущныхъ источникахъ жизни. «Всѣ знаменитѣйшіе народы древнихъ и настоящихъ временъ, — скажемъ словами Мордвинова, — содѣлались богаты отъ торговли и промысловъ. Одна Россія, занимающая половину Европы, сковывала доселѣ свою торговлю и свою промышленность, и правительство ея, ожидая отъ народа великихъ доходовъ, само поражало то, отъ чего и народъ и казначейство могли бы стяжать великія богатства.» Оттого и города въ Россіи не процвѣтали. Щербатовъ въ свое время замѣтилъ: «города нетокмо въ лучшее состояніе приходятъ, но паче ослабѣвають за недостаткомъ купечества, а которое остается, то вѣдущую тягость должно нести.» И удивительно ли послѣ этого, если какой-нибудь безземельный мѣщанинъ, труженикъ горемычный, не находя въ городѣ ни работы хорошей, обеспечивающей житье-бытье, ни покою, а только одно горько-слезное горе-злосчастье, оставлялъ городъ и шолъ куда-нибудь въ бѣгуны, грустно утѣшаясь словами ихъ ученья: «града настоящаго не имамы, но грядущаго зыскуемъ...» У бѣгуновъ же была покрайней-мѣрѣ надежда, было стремленье, основать гдѣ-нибудь на русской же землѣ свой городъ, свою область.

Изъ города пойдемъ по селамъ. Вотъ средневожскія села. Въ XI и XII вѣкахъ, когда была вольнымъ воля на великорусской землѣ, они большею частью только еще устроились, заселялись вновь, путемъ добровольнаго свободнаго перехода вольныхъ охочихъ людей, крестьянъ, путемъ мирной земледѣльческой культуры, куда ходили топоръ, коса и соха, по слѣдамъ мирныхъ хозяйственныхъ путей, *ухожаевъ и становъ*. Тутъ отовсюду перезывались и сами приходили добровольные *приходцы*. Тутъ жили мирные *жилицкіе люди* — крестьяне. До половины или до конца XVI вѣка тутъ не было бѣгства, бродяжничества: только *калики переходжіе* ходили по монастырямъ, да по православному міру съ духовными стихами. До конца XVI или до начала XVII столѣтій, тутъ, какъ и по всей сельской Руси, былъ въ обычаѣ добровольный, свободный переходъ... Но вотъ уничтоженъ мало-помалу, съ тяжкимъ вѣковымъ трудомъ, свободный переходъ крестьянскій. Вслѣдствіе вѣкового систематическаго прикрѣпленія крестьянъ къ сельской, земледѣльческой и казенной землѣ, а посадскихъ людей — къ городамъ, къ посадамъ, — началось повсюду, по всей землѣ великорусской, вмѣсто свободнаго перехода, неудержимое, непрерывное, вѣковое бѣгство и бродяжничество крестьянъ и посадскихъ. Стало и здѣсь, въ этихъ средневожскихъ селахъ такое же бѣгство, бродяжничество. Втеченіе полутора ста лѣтъ, правительство энергически преслѣдо-

вало бѣглыхъ и бродяжъ : во второй половинѣ XVIII столѣтія бѣгство стало униматься , но не останавливалось . И вотъ въ этихъ средневожскихъ селахъ ярославской , владимірской и костромской губерніи , вмѣсто свободнаго перехода и вмѣсто бѣгства и бродяжничества , являются *бѣгуны* , *странники* , особое общинно-демократическое оппозиціонное согласіе , которое принципъ бѣгства возводитъ въ догматъ , бѣгству придаетъ религіозную санкцію , въ бѣгствѣ указываетъ *путь спасенный* . Исходный пунктъ его — село Сопѣлки , хотя основатель его былъ солдатъ изъ мѣщанъ . Такимъ образомъ , вмѣсто старинныхъ хозяйственныхъ путей и ухажаевъ средневожскихъ областей , здѣсь бѣгуны указываютъ народу путь бѣгства , и составляютъ свои маршруты , путевые указатели , куда нужно бѣжать . Эти маршруты будутъ дальше приведены . Вмѣсто старинныхъ осѣдлыхъ *старожилловъ* и *жилицкихъ* или *мірскихъ людей* , являются такъ-называемые *жиловые* или *мірскіе бѣгуны* , т. е. осѣдлые и пристанодержатели , укрыватели странствующихъ бѣгуновъ . Вмѣсто старинныхъ *становъ* и *мѣсть дворовыхъ* являются и у бѣгуновъ свои пристанища , которыя также называются *станомъ* и *мѣстами* . Такой историческій переворотъ произошолъ въ одной области сель ! И изъ этой средневожской области , бѣгуны быстро распространились по селамъ почти во всѣхъ великорусскихъ губерніяхъ и въ Сибирь . Основанное бѣглымъ солдатомъ изъ мѣщанъ согласіе бѣгуновъ скоро охватило большую часть крестьянства . Что же за причины , отчего крестьяне стали обращаться не только въ согласіе филиповцевъ , федосѣевцевъ , поморцевъ , но и въ согласіе бѣгуновъ ? Вѣрно , что-нибудь да тяготило ихъ и побуждало , вмѣсто бѣгства , къ бѣгунству и странничеству...

Или : тамъ , въ повизовомъ заволжьи , пролегала въ первой половинѣ XVIII столѣтія , черезъ степь саратовскую , къ Уралу путь — тропа , которую преданіе называетъ *сиротскою дорогою* . Черезъ все XVIII столѣтіе по ней шли , пробирались въ саратовскія степи , въ юговосточное приуралье и за Уралъ гонимые старовѣры . Между ними большая часть была бѣглые солдаты и крестьяне , преимущественно крѣпостные . На пути этомъ , многіе изъ нихъ селились на хлѣбородныхъ земляхъ саратовской губерніи , и въ концѣ XVIII столѣтія основали вновь нѣсколько селъ , каковы между прочимъ , Березовую-луку , Острую-луку , Красный-яръ , Ивантѣвку , Хворостянку и многія другія , а также весьма значительно заселили города : Хвалыинскъ , Волгскъ , Кузнецкъ , Балашевъ , Аткаръ , Сердобъ и самый Саратовъ , и пробрались далѣе за Яикъ и за Уралъ... Куда шли эти бѣглые крестьяне ? Что гнало ихъ съ роднаго мѣста-жительства ? Чего искали они — воли или земли ?

Не доходимъ до Урала. Тамъ, въ половинѣ XVIII столѣтія, за- двигались, забунтовали заводскіе крестьяне. Что-то и ихъ тяготело!.. Да куда бы путникъ XVIII столѣтія ни пошолъ по Велико-россіи, по селамъ, вездѣ что-то было неладно въ крестьянскомъ міру. Съ 1729 года по 1772 или вилоть до пугачевщины почти не утихали бунты: то здѣсь, то тамъ вспыхивали взрывами, предвѣщавшими страшное вулканическое движеніе — пугачевщину. Прошла гроза пугачевская. Въ 1797 г. опять начались крестьянскія движенія... Что же возмущало крестьянъ? чѣмъ они были недовольны? Чего хотѣли? Посмотримъ хоть бѣгло, на тогдашнее положеніе кре- стьянъ.

Страшное, тяжелое было время для крестьянъ въ 1718—1725 г., когда происходила первая формальная поголовная перепись или ревизія душъ. По указу 1719 года января 22, повсюду разъѣзжали по Россіи разсылщики и офицеры съ командами для отобранія сказокъ. О крестьянахъ дворцовыхъ, патріаршихъ, монастырскихъ, однимъ словомъ, не помѣщичьихъ, они отбирали сказки отъ того, кто ихъ вѣдаетъ: отъ приказчиковъ, старостъ, выборныхъ, за ихъ руками; о помѣщичьихъ крестьянахъ сказки отбирались отъ владѣльцевъ и старостъ, также за руками. Послѣ того происходила повѣрка сказокъ, и гдѣ оказывался излишекъ въ душахъ противъ сказокъ, тамъ этотъ излишекъ въ душахъ, съ причитающеюся на нихъ зем- лей, обращался въ пользу открывателя, или доносчика. И помѣщики и крестьянскія общины, въ лицѣ представителей, строго наказыва- лись за утайку душъ. «Смертныя казни, безъ всякой пощады», ко- фискаціи, цѣпи, «розыски» или слѣдствія съ пытками — вотъ что принесла съ собой первая ревизія. Сколько земли отошло къ роспис- чикамъ, офицерамъ, доносчикамъ, за открытіе утайки душъ! Сколь- ко тысячъ крестьянъ должны были перемѣнить владѣльцевъ, и вы- шедши изъ-подъ власти законныхъ, изстаринныхъ, природныхъ, попасть въ руки новыхъ, нежданныхъ владѣтелей! И несмотря на такую строгость, крестьяне упорно утаивались отъ ревизіи, и ревизія втеченіи восьми лѣтъ не была кончена. Такъ страшно-не- люба, противна была народу поголовная перепись! Многіе переходили въ расколъ изъ-за ревизіи, говоря: «творите съ нами что хо- тите, но въ книги законпреступныя писаться не будемъ, и дру- гимъ не совѣтуемъ, ибо мы записаны въ книги животныя небеса- ваго царя» и т. п. Многіе бѣжали, и скрывались въ лѣсахъ.

Крестьяне привыкши къ прежнимъ общиннымъ, мірскимъ под- ворнымъ переписямъ, въ которыхъ они и посадскіе рассматлива- лись какъ люди свободные, съ пернаго разу увидѣли, что новая ре- визія совершалась помимо крестьянъ, помимо міровъ, помимо ихъ

выборныхъ. Они хорошо поняли, что ревизіей ихъ хотѣли прикрѣпить къ волѣ помѣщика, безъ собственнаго полноправнаго владѣнія землею. Крестьяне почувствовали, что правительство посредствомъ ревизіи передаетъ ихъ во власть помѣщиковъ, отъ лица государства, и на томъ же правѣ безграничнаго господства, на которомъ государство владѣло крестьянами, какъ своими подданными. Изъ помѣстья, въ которомъ записаны крестьяне, они также не могутъ выходить свободно, какъ подданные изъ предѣловъ государства; отъ власти помѣщика такъ же не могутъ освободиться своею волей, какъ жители страны отъ правительства. На основаніи ревизіи, помѣщикъ получилъ право, обезпеченное силой закона, воспрещать крестьянамъ и выходъ изъ его помѣстья, и свободный выборъ промысла, и вступленіе въ бракъ, или избраніе холостой жизни. Въ этомъ—то смыслѣ, первая ревизія составляетъ истинное начало крѣпостного права, и явившись разъ, это право не могло не отразить своего вліянія на всѣхъ сторонахъ народнаго быта. Какую власть получили помѣщики относительно своихъ крестьянъ, такую же власть должны были пріобрѣсть крестьянскія общины относительно своихъ сочленовъ. Отвѣчая за ихъ состоятельность въ исполненіи повинностей, стали и онѣ воспрещать какъ свободный выходъ изъ общины, такъ и выборъ занятія: то и другое стало завѣщать отъ паспортовъ, отъ разныхъ обезпеченій на случай репрутства и т. д. (1). Эта слержанность, прікрѣпленность крестьянъ и къ имперіи въ качествѣ подданныхъ, и къ помѣщикамъ въ качествѣ крѣпостныхъ, и къ общинамъ по паспортамъ и т. п., страшно тяготило крестьянъ, и многихъ выводило изъ терпѣнія. И вотъ, бѣгуны возвѣстили свободу отъ ревизіи, и бѣгство изъ имперіи, или отъ правительства, бѣгство изъ крѣпостного состоянія, бѣгство изъ общины, даже бѣгство изъ семьи и т. д.

Прикрѣпивши крестьянъ къ власти помѣщиковъ, ревизія предала ихъ всѣмъ злоупотребленіямъ крѣпостного права. Помѣщики стали насильно прикрѣплять себѣ и свободныхъ людей, какъ свидѣтельствуешь находящаяся у насъ подъ руками рукописная челобитная одного заслужоннаго служилаго человѣка времени Петра. Уже при Петрѣ во всей силѣ обнаружился произволъ помѣщиковъ. Въ одномъ указѣ самъ онъ писалъ: «Есть нѣкоторые непотребные люди, которые своимъ деревнямъ сами безпутные разорители суть, что ради пьянства, или иного какого непостояннаго житья, вотчины свои нетокмо не снабдѣваютъ и не защищаютъ ни въ чемъ, но

(1) Имущество и личн. права, по указамъ Петра В., г. Лешкова. «Русс. Вѣстн.» Дек. 1861 г.

разоряють, налагая на крестьянъ всякія неслосныя тягости, и въ томъ ихъ бьютъ и мучатъ, и оттого крестьяне, покинувъ тягла свои, бѣгаютъ, и чинится отъ того пустота, а въ государевыхъ полатахъ умножается донмка.» Сплошь и рядомъ были такіе помѣщики, которые не давали крестьянамъ на себя работать, и просто грабили ихъ. Крестьянинъ Посошковъ видѣлъ положеніе крѣпостныхъ крестьянъ въ свое время, и между прочимъ вотъ что писалъ: «есть такіе безчеловѣчные дворяне, что въ работную пору не даютъ крестьянамъ одного дня, чтобы имъ на себя что сработать. Такъ пахатную и сѣнокосную пору всю и потеряютъ у нихъ; или что наложено на ихъ крестьянъ оброку или столовыхъ запасовъ, то положенное заберутъ, да и еще требуютъ съ нихъ излишняго побору, и тѣмъ излишествомъ крестьянство въ нищету повергаютъ; и который крестьянинъ начинаетъ мало-помалу посылтѣе быть, то на него и подати прибавятъ. И за такимъ ихъ порядкомъ, крестьянинъ никогда у такого помѣщика обогатиться не можетъ. И такъ крестьянъ пустошатъ, что у иного и козы не оставляютъ. Отъ такой нужды крестьяне дома свои оставляютъ и бѣгутъ иные въ низовыя мѣста, иные же и въ украинныя, а иные и въ зарубужныя: такъ чужія страны населяютъ, а свою пусту оставляютъ.» Такимъ образомъ и крѣпостное право вынуждало къ бѣгству, воспитывало въ народѣ склонность къ бѣгству, и слѣдовательно за долго приготавливало къ бѣгунству.

Въ эпоху второй ревизіи, 1742 года, еще болѣе усилилось бѣгство крестьянъ. Въ это время, по словамъ бѣгуновъ, погибла церковь, и сохранилась только въ бѣжавшихъ отъ ревизіи. Послѣ второй ревизіи увеличилась и тягость крѣпостного права. Теперь и свободный бѣлякъ-крестьянинъ, по закону, долженъ былъ ужь самъ искать себѣ господина, долженъ былъ просить, какъ милости, чтобы кто-либо изъ привилегированныхъ удостоилъ его принять въ число крѣпостныхъ, съ обязанностью платить за него подушную подать. Помѣщики уполномочены были закономъ — по своему произволу ссылать крестьянъ въ Сибирь, или куда угодно, отдавать въ солдаты, торговать ими, какъ товаромъ, продавать въ рекруты, если находили выгодныхъ покущиковъ, отдѣляя дѣтей отъ родителей. Крѣпостные крестьяне постепенно теряли право собственности. Указомъ 14 февраля 1761 года, крестьянамъ запрещено обязываться векселями и вступать въ поручительство, да и полъ заемныя письма имъ дозволялось брать невначе, какъ съ удостовѣрительнымъ дозволеніемъ отъ помѣщиковъ. Крестьянамъ запрещалось прежнее свободное право торгова въ селѣ ли, или на посадѣ. Уже въ указѣ Петра отъ 27 сент. 1723 г. было постановленіе: «ко-

торые крестьяне не похотятъ въ посады, и имъ никакими торгами не торговать, ни промысловъ никакихъ держать, и въ лавкахъ не сидѣть.» Помѣщичьи крестьяне не иначе могли отправиться для своихъ нуждъ въ ближніе торги, какъ съ дозволеніемъ приказчика и подъ надзоромъ десятскаго или выборнаго. Крестьяне не могли, по прежнему свободному праву, вступить въ купечество безъ увольнительнаго письма помѣщика. Указомъ 3 января 1762 г. повелѣно главному магистрату и его конторѣ «накрѣпко подтвердить, чтобы оныя мѣста дворцовыхъ, синодальныхъ, архіерейскихъ, монастырскихъ и помѣщичьихъ крестьянъ безъ указныхъ отпускныхъ и увольнительныхъ отъ властей и помѣщиковъ писемъ въ купечество отнюдь не записывали.» Понятно, какъ все это было стѣснительно для торгующихъ крестьянъ. Помѣщикъ, вродѣ даже Татищева, при своемъ несносно-отеческомъ опекуствѣ, лишалъ крестьянъ всякой воли и домашней самораспорядительности, морилъ крестьянина трехдневнымъ голодомъ за то, что онъ осмѣлился продать лишіе или ненужные ему курца или поросенка; помѣщикъ требовалъ, чтобы у крестьянина на дворѣ было столько-то коровъ, лошадей, овецъ, оловяныхъ ложекъ и т. п.; а въ противномъ случаѣ отлавалъ его въ батраки, безъ платежа денегъ за работу. Не говоримъ уже о тѣхъ варварскихъ ужасахъ крѣпостного права въ XVIII столѣтіи, про которые слѣдъ вѣрится въ эпоху освобожденія крестьянъ. Подобное крѣпостное состояніе крестьянъ хуже было военной, солдатской службы. Почему крѣпостные дворовые люди и крестьяне, въ началѣ царствованія Елизаветы Петровны, уходили отъ помѣщиковъ и сами добровольно просились въ солдатскую службу, «согласясь немалымъ собраніемъ и порознь», подавали самой императрицѣ челобитныя о запискѣ ихъ въ военную службу. И зато бѣднягамъ, по словамъ указа 2 іюня 1742 г., «учинено имъ на площади съ публикою жестокое наказаніе, а именно: которые подавали челобитныя немалымъ собраніемъ, тѣ биты кнутомъ, а изъ нихъ пушіе къ тому заводчики сосланы въ Сибирь на казенные заводы въ работу вѣчно», и проч.

Говорить ли о жалкомъ, угнетенномъ положеніи заводскихъ крестьянъ? Этотъ особый классъ несчастныхъ, безхозяйственныхъ работниковъ, рабовъ фабричныхъ и заводскихъ, создалъ Петръ I, указомъ 18 января 1721 года, прикрѣпивъ крестьянъ къ заводамъ и фабрикамъ. А потомъ ужъ сами управители заводовъ въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, напримѣръ въ оренбургской, по своему произволу приписывали крестьянъ къ заводамъ. «Изъ чего произошло, — замѣчаетъ кн. Щербатовъ, — что когда большая часть волостей была приписана къ заводамъ, работники часто должны были хо-

дѣть работать отъ близкаго завода къ другому по 700 верстѣ, и крестьяне были разными пронырствами заводчиковъ разоряемы, такъ что при началѣ царствованія императрицы Екатерины повсюду бунты и неудовольствія отъ крестьянъ оказались.» Потомъ сенатъ, какъ мы видѣли изъ словъ Екатерины, самовластно и щедро раздавалъ крестьянъ заводчикамъ, «кои, умножая заводскихъ крестьянъ работы, платили имъ либо безпорядочно, либо вовсе ничего, проматывая взятая изъ казны деньги въ столицѣ.» Вслѣдствіе такого злоупотребленія, крестьяне въ половинѣ XVIII столѣтія стали бунтовать на заводахъ гороблагодатскихъ графа Шувалова, на воронцовскихъ, чернышевскихъ, ягуживскихъ и многихъ другихъ. Крестьянъ унимали оружіемъ и даже пушками.

При такомъ безправіи крестьяне естественно должны были выходить изъ терпѣнія и не на заводахъ только. Съ 1719 по 1773 г. въ разныхъ мѣстахъ они начинали уже волноваться. Таковы напримѣръ были крестьянскія движенія: въ февралѣ 1729 года по поволу распущеннаго въ варогѣ небывалаго указа о полѣ отъ 19 февраля 1728 г., движенія 1741 и 1742 г., когда обнаружилось стремленіе крестьянъ *записываться въ вольницу*, движенія въ 1758 г. въ тамбовскомъ и козловскомъ уѣздахъ, въ Царицынѣ и по Волгѣ, когда обнаружилось стремленіе крестьянъ къ вольному самоустройству на новыхъ, или самими выбранныхъ мѣстахъ; движеніе въ 1760 г. въ арзамаскомъ уѣздѣ и въ галицкой провинціи и т. п. Отрицаніе крѣпостного права крестьяне попрежнему выражали бѣгствомъ, исканіемъ вольнаго поселенія. Въ указѣ отъ 13 января 1758 г. читается: «Сенату отъ 13 ноября 1757 года донесено по жалобамъ помѣщиковъ изъ тамбовскаго и козловскаго уѣздовъ, что крестьяне, забирая свои пожитки и лошадей, бѣгутъ, а другіе чинятъ разглашеніе, якобы оные бѣглые, собравшись въ Царицынѣ и переправясь чрезъ Волгу и порывъ землянки, живутъ и принимать будутъ впредь всякихъ прихожихъ людей. А нѣкоторые крестьяне явнымъ образомъ бѣгутъ же, объявляя при томъ побѣгъ, что они идутъ на поселеніе въ Царицынѣ и Камышенку къ шолковому казенному заводу, гдѣ для принятія ихъ якобы опредѣленъ майоръ Паруберъ.» Военныя команды, отправлявшіяся для усмиренія крестьянъ, дѣйствовали съ непростительною неосторожностью, безчеловѣчно. Отправлялась военная команда съ офицеромъ и съ пушками, сама путемъ незная куда, въ которую деревню, начинала экзекуцію, не смотря ни на какія представленія отъ крестьянъ, что они вовсе не того помѣщика, что они послушны своему владѣльцу и онъ на ихъ выкогда не жаловался; стрѣляла и рубила несчастныхъ крестьянъ и не слушала никакихъ убѣжденій; а послѣ оказывалось, что крестьяне

дѣйствительно правы, что команда должна была идти въ другую деревню, а вовсе не въ ту, которую разорила и опустошила. Манифестъ императора Петра III о вольности дворянства, изданный 18 февраля 1762 года, окончательно обратилъ крестьянъ въ полную собственность помѣщиковъ. Услышавъ о дворянской грамотѣ, крѣпостные люди и особенно крестьяне ждали и себѣ воли отъ службы помѣщикамъ. Они убѣждены были, что помѣщики ихъ временные владѣльцы. Еще крестьянинъ Посошковъ говорилъ: «Крестьянамъ помѣщики не вѣковые владѣльцы, они владѣютъ ими временно.» Такъ думали и всѣ крестьяне. И вотъ, услышавъ о дворянской грамотѣ, крестьяне думали, что и они тогда же получаютъ свободу. Носились слухи, будто новый государь, даровавшій свободу отъ службы дворянамъ, и повелѣвшій на фабрикахъ и заводахъ производить работу вольнонаемными людьми, готовилъ указъ о свободѣ крестьянъ и вообще всѣхъ крѣпостныхъ людей. Слухи эти тотчасъ повелѣужь и къ тому, что въ вѣждорныхъ уѣздахъ крестьяне явно отказались повиноваться помѣщикамъ, ссылаясь на эти слухи. (Манифестъ 19 июня 1762 г. Ц. С. З., № 11,577).

Такъ словно тучи передъ грозой скоплялись элементы крестьянскаго недовольства и повременамъ глухо ужъ взрывались движеніями, предвозвѣщая страшный громовой грохотъ пугачевщины. И ложные указы о волѣ ужъ пророчили про манифестъ Пугачева, обѣщавшій надѣлать народъ «и волей, и землей, и рѣкой, и травами, и морями, и провіантомъ, и порохомъ и свиномъ...»

Между-тѣмъ и крѣпостное право самой черной, градобойной тучей проходило по землѣ русской, по сердцамъ народнымъ чрезъ все XVIII столѣтіе и глубоко отмѣтился слѣдъ его, даже на воцѣдахъ гешерацихъ. Оно много побило, подавило умственныхъ силъ въ народѣ, много причинило деморализаціи энергическому, твердому, богатырскому характеру, широкой, кипучей, богатой натурѣ русскаго народа, буйной, размахистой, сбойчатой волѣ его, много испортило крови въ немъ. Оно выразилось вредно не только материально, въ хозяйственномъ и общественномъ быту народномъ, но и нравственно. Оно отмѣтилось не только въ исторіи царской, не только въ житейскихъ общественныхъ и домашнихъ обычаяхъ, понятіяхъ, фамилныхъ преданіяхъ и народныхъ легендахъ, но и въ языкѣ русскомъ, въ пѣснѣ народной. . . .

Не лучше было положеніе и вольныхъ казенныхъ крестьянъ. Впервыхъ, правительство въ XVIII вѣкѣ, щедро раздавая земли вельможамъ и иноземцамъ, своихъ государственныхъ крестьянъ обдѣляло землей. Въ южныхъ напримѣръ областяхъ удобныя земли оставались во власти у короны, многія лежали впустѣ, а дру-

гія отдавались въ насмѣ для пастыръ, тогда какъ тысячи государственныхъ крестьянъ не имѣли и по осмыслѣнію на работника высылать. Казенные крестьяне были тѣже крѣпостные рабы казны и сельскихъ управъ. Въ первой половинѣ XVIII столѣтія ими управляли больше десяти разныхъ военныхъ и гражданскихъ чиновниковъ. Начальство это было тогда не въ-мочь тяжело для крестьянъ, какъ докладывали императрицѣ Екатеринѣ I Меншиковъ, Остерманъ, Макаровъ и Волковъ: «Нынѣ надъ крестьянами — писали они въ своемъ общемъ мнѣніи — развѣ десять и больше командировъ находится вмѣсто того, что прежде былъ одинъ, а именно изъ воинскихъ, начиная отъ солдата до штана и до генералитета, а изъ гражданскихъ отъ фискаловъ, комиссаровъ, вальдмейстеровъ и прочихъ до воеводъ, изъ которыхъ ныне не пастырями, но волками, въ стадо ворвавшимися назваться могутъ... мужикамъ бѣднымъ страшець одинъ цѣздъ и проздъ офицеровъ и солдатъ, комиссаровъ и однихъ командировъ, коими же паче страшны правещъ и экзекуція, о которыхъ уже и такъ доносятъ, что крестьянскихъ пожитковъ въ владѣніи тѣхъ податей недостаесть, и что крестьяне не только скотъ и пожитки продають, но и дѣтей своихъ закладываютъ, а иные и прозвъ бѣгутъ.» Самые выборные крестьянскіе головы, старосты, сотские и т. п. невольно усвоивъ подъ вліяніемъ приказнаго, имперальскаго значенія всякой службы, стали больше мирофлами, приличными приказными притѣснителями крестьянъ, чѣмъ ихъ излюбленными общинными попечителями. Новое раздѣленіе сельскихъ общинъ при Екатеринѣ II на волости, почти съ одинаковымъ для всѣхъ волостей, арифметически опредѣленнымъ числомъ жителей, введеніе въ сельское управленіе исправниковъ, засѣдателей, становыхъ, писарей — все это были новыя, не столько благоустроительныя, сколько стѣснительныя и даже вредныя для крестьянства мѣры администраціи. Скоро волостныя начальства — исправники, засѣдателя, становые, секретари сильно надобѣли крестьянамъ и возбуждали между ними ропотъ. Негодование, раздраженіе противъ сельскаго чиновничества и суловъ дотогѣ шакнуло въ сердца крестьянъ со второй половины прошлаго столѣтія, что стало изливаться въ письменности простонародной вопіющими, раздражительными сатирами. Особенно раскольники любили составлять такіа сатиры. Вотъ на-примѣръ отрывокъ изъ крестьянской сатирической «просьбы на исправника», находящейся въ старообрядческихъ сборникахъ:

Всепресвѣтлѣйшій и милостивый творецъ,
Создатель небесныхъ и словесныхъ овецъ!

Просимъ мы слезно, низжайшія твари,
Однoдворцы и экономическіе крестьяне,

О чемъ, тому слѣдуютъ пункты :

- 1) Не было въ сердцахъ нашихъ болѣсти,
Когда нераздѣлены были мы на волости,
И всякому крестьянину была свобода;
Когда управлялъ нами воевода,
Тогда съ каждаго жила
По копейкѣ съ души выходило.
- 2) А какъ извѣстно всему свѣту,
Что отъ исправника и секретаря житія нѣту.
По наукѣ ихъ головы и сотскіе воры
Поминутно дѣлаютъ поборы,
Поступаютъ съ нами безчеловѣчно,
Чего не слышать было вѣчно...
Прежде тиранили, ненавидя христовой вѣры,
А сіи мучать, какъ не дашь денегъ или овса мѣры.
Всѣ наши прибитки и доходы
Потребляютъ земскому суду на расходы.
- 3) Суди насъ, владыко, по человѣчеству;
Какія же слуги будемъ мы отечеству?
До крайности дошли, что нечѣмъ и одѣться,
Въ большіе праздники и разговѣться.
Работаемъ, трудимся до поту лица,
А не съѣдимъ въ христовъ-день куриваго яйца;
Ядимъ мякину, обще съ лошадыми...
А какъ придетъ весна,
То жены наши начнутъ ткать красна
Исправнику, секретарю и приказнымъ.
Чтобъ не быть бабамъ нашимъ празднымъ,
Съ каждаго домишку
Берутъ по полупуду льнишку,
И сверхъ того для своей чести
Сбираютъ по полуфунту овечьей шерсти;
Даже со двора по мотку и витокъ,
Каковъ бы ни былъ нашъ пожитокъ.
И какъ они възъзжаютъ,
То плуть-десятской съ сотскимъ изъ дому всѣхъ выговяютъ,
А тѣхъ только оставляютъ, которые помолже,
Да ужъ и говорить о томъ не пригоже!
Приказы ихъ весьма для насъ обидны,
Тебѣ, владыко нашъ, самому очень видны.
Просимъ мы тебя слезно, простирая руки —
Какъ нынѣ страдаютъ адамовы внуки

Отъ властителей такихъ велика намъ бѣда;
 И забавъ насъ, господи, отъ земскаго суда

Въ исходѣ прошлаго и въ началѣ нынѣшняго столѣтія, казенное крестьянство находилось въ самомъ жалкомъ состояніи. Мордвиновъ такъ изобразилъ «крайнее обиженіе земледѣльческаго сословія» въ это время: «Въ Россіи 18 миліоновъ мужскаго пола душъ сѣютъ хлѣбъ чтобъ прокормить 2 или 3 миліона остальныхъ затѣмъ жителей... Дабы при такихъ мрачныхъ обстоятельствахъ, земледѣльческое наше сословіе (каково почти и во всѣхъ государствахъ есть самое бѣднѣйшее) могло какъ ни есть разживаться, то должныствовали бы по крайней мѣрѣ облегчать оное всячески въ казенныхъ поборахъ; напротивъ того, сословіе сіе обремененное у насъ болѣе другихъ, и казенными налогами, и личными повинностями, и рекрутскими наборами, и дальне-срочнымъ служеніемъ въ полкахъ. Что принадлежитъ въ особенности до казенныхъ поселянъ, то великая площадь, занимаемая въ російскомъ государствѣ 12 миліонами сихъ мужскаго и женскаго пола людей, при настоящемъ положеніи у насъ сельскаго хозяйства, не можетъ не оставаться надолго въ дикомъ и скудномъ состояніи. Тамъ, гдѣ сохою скребуть землю не глубже, какъ на 4 пальца, гдѣ работаетъ скотъ малосильный, всегда тощій, гдѣ паренна существуетъ, гдѣ урожаи даютъ отъ 3 до 4 зеренъ, гдѣ и на десятинѣ накашиваютъ 30 или много 50 пудъ сѣна, гдѣ коровы питаются соломою, а люди ѣдятъ хлѣбъ мякинный, конечно, владыкѣ сихъ 12 миліоновъ душъ достаточнаго стяжанія отъ нихъ ожидать не можно. Нѣтъ на семь великомъ удѣлѣ, составляющемъ 4-ю почти часть пространнаго російскаго государства и могущемъ вмѣстить вѣскольکو европейскихъ королевствъ, нѣтъ ни благоустроенныхъ усадьбъ, ни богатыхъ на нивахъ урожаевъ, ни добрыхъ коней, ни удобныхъ къ обработкѣ земля орудій, ни рукодѣльныхъ заведеній, ни обогащающихъ народъ промысловъ, ни сословія иного, кромѣ крестьянскаго, ни лицъ, могущихъ управлять, ни лицъ, могущихъ просвѣщать, нѣтъ и начальныхъ даже учрежденій къ возрожденію впродъ благоустройства. Какое нельпообразное великой части имперіи состояніе. Но въ сей дикости она и на вѣки остаться должна будетъ, если населяющіе ее 12 миліоновъ пахарей и пастуховъ, живя среди мховъ и лебрей, въ грубыхъ деревенскихъ хижинахъ, *оставлены будутъ* безъ всякаго урядства и просвѣщенія ихъ во всемъ, что потребно къ благоленствію народному». Таково было положеніе крестьянства въ теченіи всего XVIII столѣтія. Въ началѣ XVIII столѣтія, именно въ 1713 году, самъ Петръ великій сознавался: «что возрастаютъ на тягость всенародную и умножаются

для лукавыхъ приобретеній и похищеній государственныхъ интересовъ великія неправды и грабительство, и тѣмъ многіе всякихъ чиновъ люди, а *наипаче крестьяне приходятъ въ разоренье и бѣдность.*» Въ началѣ XIX столѣтія, Мордвиновъ изображалъ въ такомъ же видѣ «крайнее обѣдненіе земледѣльческаго сословія». Въ статьѣ о *налогахъ*, онъ тоже замѣчалъ: «въ Россіи земледѣльческое и мѣщанское, сіи два величайшія сословія, на коихъ лежатъ подати, составляющія главныя статьи государственнаго дохода, наиболѣе прочихъ сословій стѣснены и лишены способовъ къ обогащенію». При такомъ уровнѣ бѣдности, при этой равной изобиженности, безправности крестьянъ и мѣщанъ, очень естественно равенство ихъ и въ понятіяхъ и въ стремленіяхъ. Крестьянинъ и солдатъ изъ мѣщанъ, мѣщанинъ и солдатъ изъ крестьянъ — это братья — близнецы, которые сразу поймутъ другъ друга, и равно способны на одну и ту же инициативу. Удивительно ли послѣ этого если какой-нибудь солдатъ изъ мѣщанъ переяславскихъ и крестьянинъ пошехонскій идутъ вмѣстѣ по костромскимъ лѣсамъ, думаютъ одну думу, живутъ въ одной кельѣ, и вмѣстѣ основываютъ и распространяютъ одно согласье бѣгуновъ, и въ ихъ согласье бѣгутъ толпы братій ихъ, и крестьянъ, и мѣщанъ, и солдатъ, и всѣ равно увлекаются новымъ ученіемъ! Стало, у всѣхъ на сердцѣ что-то одно...

Плоть отъ плоти, кровь отъ крови крестьянства, — солдатство, неменѣе крѣпостного народа, тяготилось своимъ крѣпостнымъ положеніемъ въ службѣ царской! ⁽¹⁾ Теперь народъ уже повривыкъ къ рекрутчинѣ. Да и то, надобно только быть въ отдаленной деревнѣ, въ наборъ, чтобъ слышать не въ домахъ только, а по всѣмъ улицамъ раздающійся плачь и рыданье надъ живымъ погребаемымъ молодцомъ... Чтоже было въ ту пору, когда въ первый разъ вышелъ страшный указъ о рекрутскомъ наборѣ, указъ 20 февраля 1705 года о наборѣ съ двадцати дворовъ по рекруту, когда народная семейная жизнь была еще замкнутѣе, самоуглубленнѣе, патриархальнѣе, чѣмъ теперь? Легко представить этотъ стонъ, вопли, рыданія и даже проклетія, какія изливались въ слезныхъ причитаньяхъ надъ рекрутами на учредителя рекрутчины. И тѣмъ болѣе народъ раздражался тогда рекрутскими наборами, что они были слишкомъ часты и разорительны для семействъ крестьянскихъ и посадскихъ, и поглощали самое лучшее, молодое, здоровое, могучее рабочее поколѣніе земства, прoderживая его въ солдатствѣ подъ на-

(1) По выраженію Меншикова, Остермана, Макарова и Волкова, «солдатъ съ крестьяниномъ связанъ какъ душа съ тѣломъ, и когда крестьянина не будетъ, тогда не будетъ и солдата».

лочной дисциплиной, въ казарменной удушливой средѣ, лѣтъ двадцать-пять и болѣе. Если не ошибаемся, при Петрѣ ужь было всѣхъ наборовъ, мѣстныхъ и общихъ, до сорока, въ томъ числѣ однихъ повсемѣстныхъ — до пяти. Тутъ поглощено было народу покрайней-мѣрѣ до 180,000 человекъ на одно регулярное войско что очень немаловажно по тогдашнему числу всего народонаселенія. Только съ 1719 г. по 1725, втеченіи шести лѣтъ, взято въ рекруты болѣе 70,000 человекъ. А съ 1718 года, втеченіи слѣдующихъ пятидесяти лѣтъ, рекрутчина поглотила въ одной великой-Россіи до 1,132,000 рекрутъ, т. е. шесть человекъ изъ положенныхъ въ подушный окладъ. Потомъ, въ какія-нибудь первыя пять лѣтъ царствованія Екатерины II, въ семь наборовъ, рекрутчина забрала до 327,044 человекъ, кромѣ церковныхъ причетниковъ. А какъ набирали рекрутовъ и везли въ полки! «А именно, читаемъ въ указѣ, дацомъ изъ военной коллегіи 20 октября 1719 года: первое, когда въ губерніяхъ рекрутъ сберутъ, то сначала изъ домовъ ихъ ведутъ скованныхъ, а приведчи въ городъ, держать въ великой тѣснотѣ и по тюрьмамъ и острогамъ не по малу временіи, и такими образомъ еще на мѣстѣ изнуравъ, и потомъ отправятъ, не разсуждая по числу людей и по далекости пути, съ однимъ офицеромъ или дворяниномъ, хотя бы тысяча человекъ была, и съ нужнымъ пропитаніемъ, къ тому-жъ поведутъ, упуская удобное время, жестокою распутицею, отчего въ дорогѣ приключаются многія болѣзни, и помираютъ безъ временна, а всего злѣе, что многія безъ покаянія; другіе же, не стерпя такой великой нужды, бѣгутъ, и боясь явиться въ домахъ, пристають къ воровскимъ компаніямъ... Отчего такіа великія въ государствѣ умножились воровскія вооруженныя компаніи, что не отъ такихъ бѣглецовъ. Другіе, хотя бы и съ охотою хотѣли въ службу идти, но видя сначала такой налъ своею братіею непорядокъ, въ великой страхъ приходятъ.» Послѣ Петра, и даже во второй половинѣ прошлаго столѣтія такъ же дурно обращались съ рекрутами. Выѣето того, чтобы этихъ бѣднягъ, и безъ того безутѣшно изобиженныхъ разлукой съ роднымъ семействомъ и проч., угѣшить челоуѣколюбивымъ обхожденіемъ съ ними, ихъ еще обирали «такъ гостыниши корыстныши приметками и употребляли въ партикулярныя работы». Во время набора, до подготовки квартиръ, забритые рекруты въ большомъ множествѣ стояли зимой, въ стужу, на дворѣ, а ночь проводили въ торговыхъ баняхъ въ жару, и т. и. Отрадно ли было родителямъ видѣть въ такомъ положеніи своихъ дѣтей, братьямъ — братьевъ? Приятно ли было несчастнымъ рекрутамъ, еще до службы царской, претерпѣвать такое мученье? Да, не даромъ вѣрно, въ народномъ эпосѣ сложились особыя моло-

децкія рекрутскія пѣсни, какъ сложились они и про все, что только тяжело претерпѣлъ народъ нашъ на своемъ историческомъ вѣку. Вотъ наприимѣръ одна изъ старыѣхъ рекрутскихъ пѣсней :

• Попила, головушка, пила, погуляла,
 За батюшкины, за матушкины, буйвы-головы,
 За братьяны и за невѣстны легкія работы.
 Со радости, со весельяца кудерюшки вьются,
 Со печали русыя стѣкуются,
 Прѣслышали кудерюшки надъ собой невзгоды :
 Невзгоды, мои кудерюшки, большое солдатство,
 Вечоръ-то меня, молодца, вечоръ понимали,
 Рѣзвы ноженьки во желѣзы сковали,
 Бѣлы рученьки назадъ завязали,
 Посадили добраго молодца въ легкія сани,
 Повезали-то меня, добраго молодца, по большой дорогѣ,
 По большой дорогѣ въ симбирскую губернію,
 Поставили добраго молодца на мірскую фатеру,
 Поутру добраго молодца рано поднимали,
 Повели-то добраго молодца меня ко приему,
 Поставили подъ казенную мѣру.
 Я подъ мѣрушку добрый молодецъ не вышелъ,
 И только вышелъ русыми кудрями, черными бровями. •

Служба солдатская нелегче была въ прошломъ столѣтіи рекрутскаго набора. Но при Петрѣ великомъ солдаты ясно понимали свои подвиги и заслуги въ походахъ Петра, и въ тоже время такъ смотрѣли на многія его учрежденія, какъ только сама горькая жизнь, практика народная взвѣшивала ихъ, какъ прочувствовали, претерпѣли, перенесли реформы Петра на плечахъ своихъ податныя, крѣпостныя, рабочія и служилыя массы народа, и какъ должна объ нихъ сказать правдивая, чисто-народная исторія, оцѣнивая ихъ неотвлеченно, не по предзанатымъ идеямъ, а по чувствамъ, по страданіямъ перенесшаго ихъ на себѣ народа, современнаго Петру. Приводимъ здѣсь цѣликомъ замѣчательное «подметное письмо» солдатъ петровскаго времени, напечатанное въ «Чтеніяхъ общ. истор. и древн. росс.» за 1860 г. во II книгѣ :

«Уже тому патнадцать лѣтъ, какъ началась война съ шведомъ, видѣ мы худо не сдѣлали и кровь свою не желѣючи проливали, а и новыцѣ себѣ невидимъ покою, чтобъ отлохмуть годъ или другой, жонъ и дѣтей не видимъ, насъ какъ нарочно мучать, кругомъ обволать Москву, что чрезъ Москву ближе было итѣтить въ Питербурхъ, нежели чрезъ Псковъ. Сравняли насъ съ посохою; уже пришолъ изъ конъяни, изъ дѣсу дрова на себѣ носи, и день и ночь упокою намъ нѣтъ; и деньга, старой окладъ, отнимають, а впредь

намъ добра ждать нечего ; хотъ кого и отъ службы отставятъ, однакожь не покой , тажь служба. И въ Питербурхѣ : уже мы вѣдаемъ, то неоднова говорено, что дамъ отдохнуть , а именно послѣ турецкой акци и полтавской батали, а правды нѣтъ. Вить, мы не ангели, что пятнадцать лѣтъ служи безъ отдыху. Мы на службѣ грѣшимъ, а жоны наши дома иные уже замужъ вышли. Будетъ то, какъ насъ, гдѣ ни есть , въ мори потопить , или гдѣ войдетъ чрезъ волны и всѣхъ поберутъ. Уже вить двѣ причины было въ перьво наръвенскомъ походѣ , въ другой — въ турецкую акцію , смотри и третей причины , либо полонъ дворъ , либо корень нонъ ; уже чрезъ мѣру лѣто и осень ходилъ по морю , чево неслыхано въ овѣтѣ , а зиму также упокою нѣтъ на корабельной работѣ , а иные на камняхъ зимуютъ, съ голоду и съ холоду помираютъ. А государство свое все разорилъ , что уже и въ иныхъ мѣстахъ не сыщешь у мужика овцы. Чево больши отъ Бога хотѣлъ , что въ Помераніи и славу велию показали , тако-жь и въ другихъ мѣстахъ завоевали ; потомъ было отдохнуть и Богу благодареніе воздать , и царство свое управить , развести всякія неправды , утолить сырыхъ нашихъ , въ томъ бы угодно Богу и слава во всѣ страны произошла ; а то , хотя и была fortuna на пятнадцать лѣтъ , а иногда сдѣлается въ пятнадцать минутъ худо и слава вся пройдетъ : въ одной fortunѣ человекъ не можетъ жизнь свою изжить. Уже починъ есть : сдѣлаемъ мы такъ : смолвнмся человекъ 1000 или 2000 ; хотя и непохотятъ которые дворянчики , а иные есть на нашу руку , а въ другихъ полкахъ мы со многими говаравали , всѣ готовы , такожь и черныи народъ , и они такожь говорятъ ; отъ такова распорятку и чрезмѣрной такой войны быть намъ въ великой скудости : но такыхъ-де, щастливыхъ побѣдахъ , не далъ отдохнуть ; танерь пошло , и невѣдамо докуль, олно воевать только и вытвержено. А хотя , де надъ нами несчастье будетъ, то мы и пошли прямо въ швецкія войска : коли де, онъ не умѣетъ нами владѣть , что уже и мы видимъ , какъ гдѣ служить и чуку терпять , а надъ нами уже такъ дѣлаютъ , что не можно человеку вытерпеть. Вить мы не какъ стрѣльцы , не придемъ съ повинною, примутъ насъ вездѣ съ ружьемъ служить. Какъ такъ, что пятнадцать лѣтъ, и уже отдыху нѣтъ ! Вить мы не постриглись въ монастырь ! Что говорятъ : «умная голова , умная голова !» Коли-бы умная голова , могъ бы такую человеческую нужду разсудить : какъ такъ долго служить , и безъ грѣха прожить , и что будетъ на томъ свѣтѣ за такой грѣхъ отвѣчать. Такъ приводитъ , чтобы изъ нашихъ душъ не было ни малаго христіанства. Только полюбился Питербурхъ , развѣ тово ждать, какъ въ тюрьму посадить ? Уже въ Питербурхѣ поморилъ всякихъ чядовъ людей, напрасною смертію, че-

ловѣкъ больше миллиону. Вотъ смотри, такъ сдѣлаетъ надъ нами: какъ шведъ зашолъ въ руки и все свое потерялъ, такъ и насъ гдѣ-нибудь заведетъ, либо въ морѣ потопитъ, или заведчи гдѣ въ камняхъ съ голоду пошоритъ; а ужъ намъ Котлинъ аль злой? Во гдѣ мы шудрость ево всю видимъ? Выдалъ ятуку въ грацкихъ правахъ, учинилъ сенатъ. Что прибыли? Только жалованья берутъ много. Спросилъ бы хотъ у ояного челобитчика, рѣшили-ль хотъ одному безволожитно, прямо, да сыскавъ за такое непослушаніе, хотъ одному штрафъ учинилъ, въ кампаніе ты-бъ ихъ небралъ,» и проч.

И послѣ Петра великаго втеченіи всей первой половины XVIII столѣтія, да нѣсколько и позднѣе, все горька, тяжела была для рекрутъ и солдатъ служба. Да съ чего-нибудь да сложились же эти горемычныя солдатскія пѣсни, которыя пѣлись особенно бѣглыми солдатами. . . .

Бѣглые солдаты и въ наше время есть у насъ какъ и вездѣ. Намъ доволялось читать одно въ высшей степени любопытное современное дѣло о бѣгломъ солдатѣ-раскольникѣ. Доволялось и слышать многое о бѣглыхъ солдатахъ. Но никогда бѣглыхъ солдатъ не было столько, сколько ихъ было въ первой половинѣ прошлаго столѣтія, особенно при Петрѣ великомъ, какъ увидимъ дальше. Главной причиной ихъ бѣгства очевидно было дурное положеніе солдатства.

Таково было въ общихъ чертахъ положеніе податныхъ, крѣпостныхъ и служилыхъ массъ народа, со времени реформъ Петра великаго и въ эпоху развитія, происхожденія и распространенія согласія бѣгуновъ. Все мучило ихъ, возбуждало недовольство и располагало къ бѣгству — единственному спасенію въ безвыходнотажомъ, стѣсненномъ, крѣпостномъ положеніи. И бѣгство въ XVIII вѣкѣ было непрерывное, неудержимое, повсемѣстное, особенно на юговостоки и на западной границѣ. Бѣжать тогда было какою-то роковой необходимостью для податныхъ, крѣпостныхъ и служилыхъ сословій. Бѣгство составляло путь спасенія, единственный способъ совершеннаго и рѣшительнаго отрицанія всего, что не нравилось, что тяготило въ мирѣ. Только и оставалось явиться учителю-бѣгуну, чтобъ возвести бѣгство въ доктрину, въ догматъ, назвать спасеннымъ путемъ. Бѣгство вдохновляло пѣсни народную и выразилось особымъ цикломъ пѣсней, въ молодецкомъ, разбойничьемъ и солдатскомъ народномъ эпосѣ. И какой-то широкій, необъятный, неудержимый, богатырскій разгулъ, просторъ воли выразился въ этихъ пѣсняхъ. Жажда гуляльная, несдержанное стремленіе куда-нибудь въ степь саратовскую, въ степь моздокскую, жажда летать соколомъ, жажда все съ кѣшъ-то сразиться въ чистомъ полѣ — вотъ что выливается въ молодецкой, разгульной

пѣснѣ. Изъ Сибири добрый молодецъ рвется въ великую Россію,
поетъ :

Не пора-то ли мнѣ доброму молодцу
Вхаты во Ростюшку гулять...

И здѣсь попадается въ тюрьму. Въ тюрьмѣ онъ поетъ пѣсню
«про сокола во поимани».

Съ-молоду закалялась въ крови молодецкая жажда гулянья,
склонность къ бѣгству. Про мальчугу пѣсня поетъ :

Вотъ отколь, отколь мальчуга!
Онъ изъ родины бѣжалъ,
Онъ оставилъ мать-старуху
И отца-старика.

Давно рвались, бѣжали удалые буйные молодцы, вольные, гулящие люди всякаго чина, внизъ по Волгѣ, на тихій Донъ казачій, въ степь саратовскую, на Яикъ и въ Приуралье. Горькое, злобное вдовольство Москвой, государствомъ гнало ихъ туда въ XVII вѣкѣ. Провеслась кровавая борьба съ Москвой буйнаго Стеньки Разина и утихла; только тихій Донъ оглашался съ тѣхъ поръ богатырскимъ, вѣковѣчнымъ народнымъ эпосомъ про Степана-свѣта Тимофѣевича, и пѣсни эти вторились на тысячи голосовъ, на разнoобластныя варіаціи и мотивы черезъ все XVIII столѣтіе: и въ тяжолую петровщину, и въ страшно-кровавую бироновщину, и въ буйную, могучую, страшно-грозную пугачевщину. Только вмѣсто сподвижниковъ Стеньки Разина — казаковъ, эти разгульные пѣсни прилагались къ бѣглымъ солдатамъ, къ бѣглымъ рекрутамъ, буйнымъ молодцамъ, да къ разбойникамъ. Затихъ казачій тихій Донъ послѣ Стеньки Разина. Но сквозь всѣ сдержки, положенныя Петромъ, молодецкая, разгульная, буйная удалъ все прорывалась и на тихій Донъ, и въ степь саратовскую, и въ оренбургское Приуралье. Какъ ни преслѣдовали Петръ великій и его преемники стародавнихъ *вольныхъ гулящихъ людей*, а они все-таки разгуливали по чисту полю южно-волжскому. И пѣсня недаромъ слагалась про бѣглыхъ молодцовъ, зашагавшихся, загулявшихся и съ грудью прострѣленную.

Не былившки въ чистомъ полѣ зашаталися,
Зашатався, загулялся доброй молодецъ
На своемъ ли на добромъ конѣ богатырскимъ.
Его бѣла грудь прострѣлена,
Миткалиная рубашечка вся кровью забрызгана.
Прикачнулся добрый молодецъ, привольнулся,
Привольнулся къ тиху Дону и проч.

Рекруты, по словамъ Петра великаго, бѣжали изъ полковъ, и боясь явиться домой, шли въ «воровскія компаніи». А другіе буйные, удалые молодцы бѣжали въ южныя степи, куда въ XVIII вѣкѣ обыкновенно сбѣгались всякаго рода бѣглые люди. И не рекрутчина только могла гнать въ XVIII вѣкѣ въ дикую степь. Мало ли могло быть горечи житейской, семейной, когда быть народа вообще былъ жалокъ, бѣдственъ, печаленъ. И Ломоносовъ въ то время оставилъ свою родную избушку, отца, мать, и бросился въ путь-дорогу далекую, невѣдомую, — и еслибы не обозъ, тоже могъ бы гдѣ-нибудь замерзнуть зимой, или погибнуть какъ-нибудь. И стало-быть много погибало молодцовъ въ дикой степи, когда про нихъ сложились особыя, народныя пѣсни. Напримѣръ вотъ пѣсня «про смерть молодца въ степи».

Не пыль-то въ полѣ запылилася,
 Не туманъ-то съ моря подымается:
 Подымались гуси, лебеди,
 Гуси лебеди, утки сѣрыя.
 Не сами собою они подымались,
 Яснаго сокола они испужались,
 За ѣмъ летитъ старъ сизой орелъ,
 Закричалъ онъ, возгаркнулъ
 Своимъ громкимъ голосомъ:
 Ужъ ты стой, постой младъ ясенъ соколъ!
 Я не бить лечу, я спросить хочу:
 Ужъ и гдѣ ты былъ, гдѣ погуливалъ?
 Я гулялъ погулялъ во дикой степѣ,
 Во дикой степѣ во саратовской;
 Налетали мы на диковинку,
 Тамъ диковинка не малая:
 Лежить тѣло бѣлое,
 Тѣло бѣлое, молодецкое.
 Не убить лежитъ онъ, неизрѣзанный,
 Вострымъ копьцемъ онъ весь исколотый.
 Кругъ его вьются три ласточки:
 Первая ластушка — родной батюшка.
 А вторая ластушка — родная матушка,
 А третья ластушка — молода жена.
 Гдѣ отецъ плачетъ, тутъ ключи текутъ.
 А гдѣ мать плачетъ — Волга матушка прошла,
 А гдѣ жена плачетъ — роса утренняя;
 Солнышко взойдетъ, вся роса спадетъ.

Послѣ къ бѣгунамъ бѣжали и такіе молодцы, бѣжали сыновья и дочери отъ отцовъ и матерей. Пристано-держатели бѣгуновъ скры-

вали ихъ у себя также гостепрѣивно, какъ и разбойниковъ. Разбойники — это особый, многозначительный въ народной исторіи типъ бѣглыхъ. Отъ мифическихъ богатырей, не чуждыхъ тѣмъ разбойничества, отъ новгородскихъ ушкуйниковъ, соединявшихъ въ себѣ съ разбойничьимъ характеромъ типическое новгородское отлечіе, пролагателей путей колонизаціи, торговли и промышленности, отъ Стевки Разина и его сподвижниковъ казаковъ, которые называли себя не ворами, не разбойниками, а Стевки Разина помощниками — до разбойничества XVIII столѣтія и до пугачевщины много перемѣнъ совершилось въ духѣ народномъ, также какъ много перемѣнъ произошло въ бытѣ народномъ, отъ вѣчевой воли до государственной сдержанности, до ревизской, паспортной и т. п. крѣпостности. Разбойничество XVIII столѣтія было уже новымъ, своеобразнымъ характеристическимъ явленіемъ въ народной исторіи. Оно истекало изъ историческаго положенія крѣпостныхъ, служилыхъ и черно-рабочихъ массъ народныхъ въ XVIII вѣкѣ. Особенно порождали его солдатчина, крѣпостное право и деспотизмъ областного начальства. Разбойничество XVIII столѣтія было какимъ-то злобнымъ, свирѣпымъ ищеньемъ, большею частью направленнымъ на богачей, на дворянъ-помѣщиковъ, на начальниковъ. Часто оно было и какимъ-то дикимъ, безразборнымъ разгуломъ могучей физической силы, жаждавшей простора, кипѣвшей какимъ-то неопредѣленнымъ, несознаннымъ злобнымъ чувствомъ ищенія. Но и оно заключало въ себѣ тѣ элементы, которые послѣ вызвали согласіе бѣгуновъ и пугачевщину. Въ разбойничествѣ первой половины XVIII столѣтія выражалась кака-то свирѣпо-метательная народная реакція, такимъ звѣрскимъ явленіемъ, какъ, напримѣръ бироновщина. И разбойничество отчасти тоже было грубымъ, дикимъ отрицаніемъ противно-свободныхъ, противно-народныхъ элементовъ въ государствѣ. Оно было, такъ сказать, дикимъ, лѣснымъ бѣгувствомъ. «Воровскія разбойничьи компаніи» первой половины XVIII столѣтія, — это лѣсныя согласія бѣгуновъ, основанныя не на ученіи, не на доктринѣ, а просто проникнутые разгуломъ, разбойническимъ ищеньемъ и грабежомъ. Оттого послѣ и пристано-держатели бѣгуновъ были въ согласіи съ разбойниками, держали ихъ въ своихъ «пристаняхъ» или «мѣстахъ».

Вообще въ XVIII столѣтіи, во внутреннемъ состояніи земства, много было мотивовъ къ бѣгству всякаго рода. Ревизія душъ, разлѣивъ земство поголовною переписью на военно и гражданско служилыхъ дворянъ, на духовно-служилыхъ церковниковъ, обязанныхъ учиться «въ належау священства», на гильдейско-цеховыхъ торговоремесленныхъ людей, на помѣщичьихъ крѣпостныхъ и на

казенно и дворцово-крѣпостныхъ людей и крестьянъ, вмѣстѣ съ табелью о рангахъ, съ казеннымъ чиновно-служебнымъ раздѣленіемъ школъ, окончательно произвело сословное раздѣленіе земства. Отсюда уже неизбежно развивался сословный антагонизмъ, дошедшій въ половинѣ XVIII столѣтія до полного развитія, до открытой непріязненности сословій. Вслѣдствіе кастально-сословнаго раздѣленія земства, вслѣдствіе отнятія молодыхъ, здоровыхъ, мощныхъ, лучшихъ рабочихъ силъ земства, крестьянства и мѣщанства, отъ мирнаго производительнаго труда, отъ своей земли и общины, для службы отвлеченнымъ, общимъ, ненормальнымъ для массы народной интересамъ имперіи, казны, — естественно пришли въ хаотическое смущеніе и броженіе земскія общины. Вѣковыми сочлененіемъ и постояннымъ измѣненіемъ табелей губерній, вѣковой перестановкой, перепишской областныхъ общинъ изъ одной провинціи въ другую, изъ уѣзда въ уѣздъ, черезполосно, нарушена была самая федеративно-територіальная областная стройность, цѣльность, естественно-историческая привычная расположенность земства, данная всѣмъ вѣковымъ бытомъ, свободнымъ колонизаціонно-хозяйственнымъ земскимъ самоуправствомъ и самораспределеніемъ народа, опредѣленная физико-географическими, мѣстнобытовыми и этнографическими условіями. Вѣковымъ *оземствовавіемъ*, *есылками*, переселеніями, гоненіями перемѣшанъ сложившійся на исторической почвѣ строй и составъ общинъ, міровъ, произведена насильственная хаотическая смѣсь въ составѣ ихъ населенія. Однимъ словомъ, въ земствѣ происходилъ *расколъ*, и кастально-сословный, и политико-географическій или земско-областной, и даже этнографическій. Вслѣдствіе этого раскола, разобщенія разрозненія въ земствѣ, и расколъ старообрядства, расколъ церковно и земско-демократическій развивался еще сильнѣе, и возсталъ противъ раздѣленія челоуѣкъ на чины или на сословія, противъ ревизіи душъ, противъ самой непутунды земли русской, и сталъ питать пуризмъ этнографическій, антагонизмъ къ инновѣрцамъ и къ православнымъ мірянамъ, убѣгалъ *изъ міра*, боялся *оміръщенія*. Вслѣдствіе того же раскола, разобщенія, разрозненія въ земствѣ неизбежно происходила эта расплывчивость, расходчивость въ земствѣ. Такимъ образомъ произошло въ земствѣ бродяжничество и бѣгство. Бѣжали земскіе люди отъ міра, изъ земской общины, потомучто по выраженію раскольниковъ, духъ антихристовъ возвѣялъ на міръ, помутилъ міръ, согласие, разрознилъ членовъ общинъ, сдѣлалъ общины съ ихъ выборными представителями служебными орудіями имперіи. Бѣжали земскіе люди отъ рекрутчины, потомучто она убивала лучшія производительныя рабочія силы, въ самой сѣбѣ

изъ мощи и жизненности, отрывала отъ труда, материально, существенно полезнаго и для дома и для другихъ, отрывала отъ семьи родной, для войнъ, пользы которыхъ на себѣ вовсе не испытывала народъ, а только несъ одинъ ущербъ. Бѣжали земскіе люди отъ налоговъ, отъ податей и повинностей, потомучто они въ первой половинѣ XVIII вѣка были особенно несносны, притомъ подрывала частное благосостояніе земства, земское экономическое самоустройство и самораспоряженіе. Бѣжали далѣе земскіе люди отъ крѣпостнаго ига, потомучто не было мочи жить подъ помѣщичьимъ деспотизмомъ. Бѣжали отовсюду, изъ городовъ, изъ селъ, изъ казармъ, даже изъ школъ. Бѣжали горемычныя церковническія дѣти изъ бурсъ семинарскихъ потомучто больно-тяжело было ихъ, по выраженію духовнаго регламента «жестокостное, инокамъ подобное житіе.» Бѣжали и потому еще, что безвыходно было положеніе ихъ и по окончаніи курса; напримѣръ горемычныя студенты александровской семинаріи, въ 1747 году, такъ вопіяли о своемъ безвыходномъ положеніи по выходѣ изъ бурсы, по случаю вышедшаго въ то время указа о оставленіи въ священники никакъ не равнѣ тридцати лѣтъ: «Гдѣ намъ, нижайшимъ правильныхъ лѣтъ дожидаться? У родителей или сродниковъ? Но тѣхъ большое насъ число не имѣеть. Руководяемъ кормиться? Но того не обучались. Куплями ли промыслять? Но и на двѣ ленты почти у всѣхъ насъ не наберется. А хотя у одного и другого изъ насъ и родитель смѣется, но и самъ онъ на силу пропитаніе имѣеть: какъ же кормить толь возрастнаго сына, отъ котораго и самъ себѣ въ такіа лѣта надѣется помощь, станетъ. При семинаріи уже ни сакъ ни такъ оставаться в тридцати лѣтъ дожидаться вовсе немочно. Ибо и такъ уже бѣдственнос школьническое житіе паче мѣры наскучило, въ котораго можетъ быть давно уже нвые честное себѣ заслужилъ прокормленіе. Итакъ мы, нижайшіе, вмѣсто чаямаго за труды двавалесятилѣтніе награжденія, богъ-вѣсть, съ какою надеждою остаемся. Въ монахи постриженія нѣтъ; въ священники безъ всякаго изъятія, по тридцати лѣтъ требуется; въ дьяковы желаемаго прихожаныго-лосу недостааетъ; въ дьячки же и пономари стыдно и весьма обидно, и кромѣ посмѣванія отъ всѣхъ, и наипаче отъ тѣхъ, которые за ту-постию къ ученію или другимъ коимъ недостаткамъ отставлены отъ семинаріи, и давно по мѣстамъ таковымъ опредѣлены, и живутъ себѣ благополучно, въ совершенномъ житія станѣ, больше нѣтъ чего надѣяться. Отчего и тѣмъ, которые въ классахъ обучаются, уповательно, что охота къ ученію крайне ослабѣеть.» При такомъ положеніи духовныхъ бурсаковъ, удивительно ли что въ XVIII столѣтіи множество изъ нихъ предавалось бѣгству изъ бурсъ. Въ

учительскихъ каталогахъ первой половинѣ прошлаго столѣтія часто отмѣчалось: *semper fugitiosus*. Если и въ наше время еще сильно было въ обычаѣ такъ называемое въ классическихъ журналахъ «нахождение въ бѣгахъ», то можно себѣ представить, что было въ прошломъ столѣтіи. Неудивительно также и то, что во второй четверти XVIII столѣтія церковники, вмѣстѣ съ крѣпостными людьми, поднимали бунты, за то что и ихъ прикрѣпляли къ помѣщикамъ или отдавали въ солдаты.

Короче скажемъ, бѣжали и бѣгали по бѣлу свѣту всякихъ чиновъ люди, но всѣхъ болѣе податные, крѣпостные и служилые. И собирались эти бѣглые въ разныя компаніи, согласья, сконища. Одни, могучіе физическими силами, собирались въ «воровскія и разбойничьи компаніи большія», и чинились по словамъ Петра великаго, вмѣсто его царскаго величества подданныхъ, злодѣи всему государству, собирались больше полустолѣтія, чтобъ произвести наконецъ *пугачевщину*. Другіе, обладая нравственными силами, движимые религіозно-политическими ученіями, бѣжали въ лѣса, въ горы, въ степи, тайно отъ правительства, основывали свои вольно-народныя колоніи, общины, въ противоположность приказно-государственной, преимущественно военной колонизаціи XVIII столѣтія, собирались въ свои мирныя общины, въ *согласья*, стремились къ особно-областному самоуправленію и самоуправленію. Первые, во имя Степекъ Разинныхъ, во имя Пугачевыхъ, собирались въ *воровскія и разбойничьи компаніи*, или въ *многолюдныя и вооруженныя станицы бывлызъ дружокъ, солдатъ, рекрутъ* и казаковъ, и соединяясь съ бѣглыми крѣпостными и разночинцами, помогали, въ пугачевщину, поколебать существующій порядокъ. Вторые во имя стараго вольнонароднаго земскаго устройства, подъ знаменемъ религіозно обрядовой старины, стремились наибольше путемъ мирной пропаганды основать вездѣ по областямъ свои общины, согласья, привести ихъ всѣ, по выраженію Федосѣевского собора 1751 года, *отъ любви и сведименья*, и образовать изъ всѣхъ согласій общій совѣтъ или соборъ. Во второй половинѣ прошлаго и въ первой четверти нынѣшняго столѣтія, зачатки федераціи старообрядческихъ общинъ, зачатки мѣстныхъ и общихъ совѣтовъ или собраній уже обнаруживали значительное развитіе.

Въ первой же половинѣ XVIII столѣтія, расколъ только охранялся, спасался и пропагандировался путемъ бѣгства. Жестокое преслѣдованіе бѣглыхъ и разбойниковъ, жестокое гоненіе раскола, бирюковщина усиливали бѣгство и разбойничество, ускоряли появленіе пугачевщины, озлобляли и усиливали расколъ. Крѣпкія тюрьмы, желѣзныя оковы немсправляли разбойниковъ, не выры-

вали изъ сердець ихъ накинѣвшею закостѣлой злобы. Они и въ тюрьмѣ пѣли о лѣсахъ и станахъ своихъ, какъ гласить старинная пѣсня :

Вы лѣса ли наши, лѣсочки, лѣса наши темные,
 Вы кусты ли наши, кусточки, кусты наши великіе,
 Вы станы ли наши, станочки, станы наши теплые,
 Вы друзья ли наши, братцы, товарищи!
 Лѣса наши всѣ порублены,
 А кусты наши всѣ поломаны,
 Всѣ станы наши разорены,
 Всѣ друзья наши товарищи переловлены.
 Во крѣпкія тюрьмы наши товарищи посажены,
 Рѣзвы ихъ ноженьки въ кандалахъ зацепаны.
 У воротъ-то стоятъ грозные сторожи,
 Грозные сторожи, бравые солдатушки,
 Никуды-то намъ, добрымъ молодцамъ, ни ходу, ни выпуску,
 Ни ходу, ни выпуску изъ крѣпкой тюрьмы.
 Ты возмой, возмой туча грозная,
 Ты разбей-ко, разбей земляны тюрьмы
 Чобы разбойнички-друзья разбѣжались.

Точно также не искоренялся, а только закалялся и крѣпкъ расколъ отъ гоненій. Лѣтописи старообрядческія ужасными чертами изображаютъ страшное время бироновщины. Въ раскольничьей книгѣ, недавно вышедшей за границей, подъ заглавіемъ «церковная исторія», читаемъ на примѣръ такое сказаніе «о мучительствѣ въ станицахъ донскихъ казаковъ».

«Въ царствованіе російской императрицы Анны Іоанновны, посланный полномочный чиновникъ, прибывъ въ станицы донскихъ казаковъ для приведенія ихъ всѣхъ безъ изыятія къ ново-преданнымъ церковнымъ догматамъ, и когда отнюдь не находилъ въ нихъ склонности, принялъ самыя жестокія мѣры, начивалъ отъ верхнихъ станицъ, перебирая поединому каждое семейство разными мучительными пытками, и ничтоже успѣвъ, наконецъ каждому семейству повелѣлъ выходить на берегъ Дона и избирать изъ двухъ едино — или присягать къ принятію новопечатныхъ книгъ въ соединеніе съ великороссійскою церковію, или на висѣлицѣ умирать, и всѣ согласились умереть. Неизъяснимымъ ужасомъ исполнено было зрѣлище, когда изъ каждаго дома отецъ съ матерью и дѣтьми, съ неизъяснимымъ воплемъ и рыданьемъ на берегъ Дона торжественно шли за вѣру умирать, и другъ друга объемяше, отецъ сына, а мать дочь, утопали въ слезахъ. Мучитель подавалъ лишь знакъ, — и вдругъ вздергивались на висѣлицу и умирали, а по умертвіи мучитель повелѣвалъ тѣла бросать въ рѣку, да тѣмъ

пловущими мертвецами возвѣстить и прочимъ нижнимъ станицамъ, какова постигнетъ и тѣхъ година. Сіе дѣлалось первѣе ближе съ приѣзда объ одной сторонѣ Дона, а между тѣмъ прочія станицы, подъ командою мудраго и къ преданіямъ святоотеческимъ всеревностнаго атамана Игнатія Некрасова съ сико-возмжною поспѣшностью и легкостью, въ одну ночь свелись и *поднялись съ бѣгство всего 40,000* самыхъ домохозяевъ съ женами и дѣтьми, оставя на мѣстѣ все свое домовое заведеніе и прочее тяжелое имущество, хотя у многихъ отняты были и самые конскіе табуны; но и изъ нихъ многія семейства только съ тѣломъ и душой присовокупались. Тако сей благочестивый народъ, подъ предводительствомъ своего богомудраго атамана Некрасова единственно направлялись промысломъ божіимъ съ немалымъ препятствіемъ, однако наконецъ благополучно перешолъ Дунай въ турецкіе предѣлы. О такомъ жалостномъ послѣдствіи, сверхъ рукописныхъ исторій, между рукъ старовѣрцевъ находящихся, свидѣтельствуютъ со стороны даже самихъ гонителей полиинныя слова изъ печатнаго изданія, подъ названіемъ исторической, политической и литературный журналъ Сынъ Отечества».

Вслѣдствіе такихъ гоневій, отъ мучительства биренова, по словамъ Болтина, бѣжало за границу неменѣе 250,000 д. муж. пола. Въ той же старообрядческой «церковной исторіи» сказано:

«Здѣсь покрайней-мѣрѣ возведемъ окрестъ мысленныя очи свои и пробѣжимъ общимиъ взглядомъ нетокмо по русскімъ предѣламъ, но и по всей Европѣ, а частью и Азіи для чувствительнаго понятія, како изъ той божественной ограды столь разгнаны были словесныя овцы, что наполнились ими горы и холмы и непроходимыя дебри. Населились отъ вѣковъ ненаселяемыя отдаленныя сибирскія и кавказскія горы. Умножились русскімъ народомъ области: малороссійская, бѣлорусская, польская и бессарабская. Надѣлились тѣмъ же удѣломъ въ значительномъ числѣ цѣлыхъ обществъ многія державы: Турція, европейская и азіатская, Валахія, Молдавія, Австрія и Пруссія. И все такое безчисленное множество русскіаго народа, единственно по причинѣ невозможности внутри Россіи содержать древне-церковныхъ чиновъ и уставовъ подъ жестокимъ притѣсненіемъ и казнью, вынуждено было оставить всю приверженность свою къ отечественной природѣ и искать приѣжища и свободы вѣры въ чужихъ предѣлахъ.»

И въ началѣ второй половины XVIII вѣка бѣглыхъ было множество. И причинъ къ бѣгству было также много. Въ первые годы царствованія Екатерины II, графъ Петръ Ив. Панинъ исчислялъ слѣдующія причины побѣговъ въ Польшу: «Обстоятельства, дѣ-

лающія донынѣ поползновеніе къ побѣгамъ изъ Россіи въ Польшу, примѣчаются быть слѣдующія: 1) строгость духовенства и разныя какъ отъ оныхъ, такъ и отъ свѣтскихъ корыстныя градоначальническія приметы къ затвердѣвшимъ людямъ въ раскольничьемъ суевѣрїи; 2) поборы въ рекруты изъ ближнихъ къ границамъ имѣній, причемъ и заведшее поползновеніе въ нѣкоторыхъ помѣщикахъ продавать въ рекруты отъ цѣлыхъ семей за постороннія, а не за свои уже деревни, и безъ всякаго въ томъ уваженія, какъ огорченія, такъ и разоренія остающимся ихъ семьямъ, въ которыхъ отлачу въ рекруты почитаютъ жены мужей, а отцы дѣтей своихъ за взятыя на убійство и на всегдашнее отъ нихъ отлученіе. 3) Весьма худое и нетолько незначительное содержаніе рекрутъ до отправленія въ полки, но и случающіяся къ нимъ, какъ по многимъ слѣдствіямъ извѣстно, тягостныя корыстныя приметки, такъ что вмѣсто чтобъ имъ, огорченнымъ людямъ чрезъ отлучку отъ семейства своего, дѣлать всякое къ службѣ приласканіе, нестрашились приметками ихъ обирать и употреблять въ партикулярныя работы, да и въ самыхъ резиденціяхъ зимою прежде рекрутъ набиравали, нежели имъ квартиры приуготовляли, слѣдуя обыкновенному порядку полиціи, чтобъ напередъ именной списокъ при доношеніи въ нее вступилъ, а потомъ опредѣленіе и билеты на асигнаціи квартиръ послѣдовали, между тѣмъ же ежедневно въ множествѣ набираемые рекруты принуждены были зимою на дворѣ въ стужѣ, а ночью въ торговыхъ бавяхъ въ жару къ новой службѣ приласканіе получать; остающемуся же ихъ семейству было горестнѣйшимъ то зрѣлищемъ и примѣромъ на будущее для дѣтей ихъ поборы. 4) Ничѣмъ неограниченная помѣщичья власть съ выступленіемъ въ роскоши изъ всей умѣренности, къ сборамъ съ подданныхъ своихъ собственныхъ податей и употребленіемъ оныхъ въ работы, не только превосходить примѣры ближнихъ заграничныхъ жителей, по частенько у многихъ выступающія и изъ сносноности человѣческой. 5) Возвышеніе цѣны безъ уваженія ближняго заграбчнаго примѣру соли, безъ коей никто питаться не можетъ, и вину, къ которому полный русскій народъ неотвращенную уже привычку имѣеть; а при продажѣ первой большія для поселянъ трудности, распространяющіяся до взятости; а строгость во взысканіи вольной винной продажи, употребляемая безъ уваженія же близости границъ, гдѣ въ томъ всякой свободную волю имѣеть. 6) Дыннѣ по великому несчастію распространившееся, особенно въ отдаленныхъ губерніяхъ, провинціяхъ и городахъ, отъ зловреднаго вкоренившагося лихоимства неправосудіе и нерадѣніе безъ корысти никакимъ общимъ дѣламъ и попеченіямъ. 7) Бывшее употребленіе въ выборѣ городскихъ на-

чальниковъ для пользы посылаемыхъ туда персонъ, а не для пользы поручаемыхъ имъ градоначальствъ и дѣлъ.»

По такимъ причинамъ много народу бѣжало въ Польшу, въ Австрію и даже въ Турцію. Въ Польшу старообрядцы малороссійскихъ стародубскихъ слободъ часто переводили бѣглыхъ крестьянъ, солдатъ, казаковъ. Вслѣдствіе указа 14 декабря 1762 года, дозволявшаго всѣмъ бѣглымъ заграницу безпрепятственно возвращаться на мѣста, отведенныя въ Сибири и на юго-востокѣ Великороссіи, — многіе изъ бѣглыхъ, и въ томъ числѣ старообрядцы, выходя изъ Польши и снова пускались въ странствованіе, въ южное завожье.

Въ августѣ 1772 года, пробираясь между толпой бѣглыхъ, изъ-за польской границы бѣглый казакъ, раскольникъ, средняго росту, долголицый, сухощавый; волосы на головѣ русые, борода черная съ просѣдью, глаза каріе, выразительныя; на лѣвомъ вискѣ отъ золотухи шрамъ. На вопросъ: кто? онъ назывался раскольниковомъ и бывшимъ прежде пензенскимъ купцомъ Емельяномъ Ивановымъ. На пограничномъ форпостѣ онъ заявилъ желаніе идти на Иргизъ: ему дали паспортъ, и велѣли ѣхать въ симбирской провинціальной канцеляріи, въ вѣдомствѣ которой находился Иргизъ. Казакъ пошелъ прямо. Тамъ, — гласить старообрядческая пѣсня:

Монастырь верхней издавна стоитъ на крутой горѣ
 Во прекрасной ли во пустынюшкѣ, во зеленой во дубровушкѣ,
 Какъ прекрасенъ садъ, при рѣкѣ древа,
 При древахъ этихъ мелки пташечки.
 Они райскія поютъ пѣсенки,
 Утѣшаютъ же они иноковъ монастырскихъ и всѣхъ трудниковъ.
 Что возговорить имъ игумень рѣчь,
 Наставляя всѣхъ ко спасенію:
 Вы отцы святыи соборныи
 Вы послушайте моего гласу,
 Что и надо намъ признаватися,
 Какъ мы жизнь истеряли
 Всю и во многомъ во смятеніи.
 Возведемъ очи свои къ вышнему,
 Полюемъ слезы, какъ источники,
 Мы просить будемъ самого творца,
 Чтобъ наставилъ насъ ко спасенію,
 Онъ управилъ бы жизнь полезную.
 Вы пѣвцы мои златострунные,
 Воспѣвайте пѣсни пресладкія какъ архангелы.
 Воспѣвайте, аки громъ гремитъ въ удареніяхъ...
 Мы игумену покоряемся,
 Какъ древа вси преклоняемся

А мы вышли вся во долинушку,
 Во зеленую во дубравушку.
 А мы смотримъ вси во зеленой садъ,
 Какъ при той ли, да при пустынушкѣ, при долинушкѣ,
 Протекла рѣка пребогатая;
 Отъ нея же мы, всѣ питаемся,
 Рыболовствомъ всѣ занимаемся.
 Какъ при той же, да при рѣчушкѣ,
 Молодые всѣ вышли иноки,
 И при правныхъ всѣ при лодочкахъ,
 Рыболовнички всѣ держать неводы.

Это былъ монастырь иргизскій. Бѣдный путникъ въ немъ остановился, и былъ принятъ ласково игуменомъ Филаретомъ, который не преминулъ дать ему наставленіе въ духѣ старообрядства.

Гости въ монастырѣ иргизскомъ, странникъ ходилъ по окрестнымъ селамъ; особенно часто ходилъ въ мечетную слободу мальковской волости, гдѣ крестьяне были раскольники, и знакомился съ крестьянами. Игумень иргизскій и незвалъ, какъ и куда потомъ дѣлался незнакомый пришлецъ.

Любопытно вообще какъ тогда, въ эпоху появленія бѣгуновъ, бѣглые расхаживали по бѣлу-свѣту. Но этотъ бѣглець былъ особенно загадоченъ.

Въ ноябрѣ 1772 года, его видѣли съ раскольникомъ мечетной слободы Семеномъ Филиповымъ, въ япцкомъ городкѣ, въ домѣ отставного казака Дениса Пьянкова. Тутъ разъ хозяинъ спросилъ его, по поводу ходившаго на Яикъ слуха:

— Что будто бы въ Царицынѣ явился государь Петръ Федоровичъ!

Бѣглый незнакомецъ съ особенно-утвердительнымъ тономъ отвѣчалъ:

— Это правда, и онъ подлинный царь Петръ Федоровичъ, и хотя его въ Царицынѣ поймали, да онъ ушолъ, а вмѣсто его замутили другого.

— Какъ этому можно стать! Вѣдь Петръ Федоровичъ умеръ! съ сомнѣніемъ возразилъ Пьянковъ.

— Неправда, отвѣчалъ бѣглець: — онъ также спасся и въ Петербургѣ отъ смерти, какъ и въ Царицынѣ.

Пьянковъ, опасаясь бѣды, не захотѣлъ дальше любопытствовать, и замолчалъ. Но бѣглець былъ очень заинтересованъ разговоромъ, и послѣ непродолжительнаго молчанія, самъ завелъ такой разговоръ:

• — Какъ вамъ, яицкимъ казакамъ, не стыдно, что вы терпите такое притѣсненіе въ вашихъ привилегіяхъ!

— Чтожь дѣлать-то? отвѣчалъ Пьянковъ: — такъ видно тому и быть.

— Да не лучше ли вамъ выйти съ Яику, заговорилъ бѣглець: — выйти съ Яику въ турецкую область, на Лобу рѣку, а на выходѣ я вамъ даю денегъ, на каждую семью по двѣнадцати рублей.

При этомъ бѣглець прихвастнулъ, что будто у него на границѣ оставлено до 200 тысячъ рублей, да на 70 тысячъ товару.

— Если же, прибавилъ онъ: — яицкое войско согласится бѣжать, то изъ своихъ денегъ буду оное коштовать.

Пьянковъ съ сомнѣніемъ возразилъ на это:

— Да гдѣ ты таки деньги возьмешь, и что ты подлинно за человекъ?

— Я, отвѣчалъ бѣглець: — я заграничный торговый! и сталъ дальше говорить на ту же тему:

— Когда вы выйдете за границу, то всѣхъ васъ съ радостью встрѣтитъ турецкій паша: онъ, ежели будетъ нужда въ деньгахъ войску на проходъ, то дастъ еще хоть и до пяти мильоновъ рублей.

Пьянковъ не сталъ дальше слушать, и велѣлъ ему больше не говорить такихъ рѣчей. Отъ Пьянкова бѣглець каждый день ходилъ на базаръ, и все толковалъ что-то съ народомъ.

Потомъ, въ іюнѣ мѣсяцѣ 1773 года, видѣли этого таинственнаго бѣглеца, какъ пробирался онъ ужъ изъ тюрьмы казанской на Узени, въ Камышъ-Самору. Мѣсто это тогда было непроходимое: кругомъ лѣсъ, а въ лѣсу тряпны и болота. Тутъ скрывались бѣглецы. Тутъ и вокругъ незнакомаго бѣглеца собралось человекъ семь бѣглыхъ казаковъ, да семь же человекъ раскольничьихъ старцевъ. Тутъ они держали совѣтъ, склонить на свою сторону яицкихъ казаковъ, вовремя плавки рыбы, и съ помощью ихъ взять яицкій городокъ, побить всѣхъ старшинъ и потомъ идти на Оренбургъ...

Затѣмъ видѣли незнакомаго бѣглеца въ половинѣ іюля: онъ ѣхалъ въ Жаловицкій уметъ, отстоящій отъ яицкаго городка въ 50-ти или 60-ти верстахъ, ѣхалъ олянь въ кибиткѣ, запряженной парой лошадей, въ мужичьемъ платьѣ; при немъ было ружье, котелъ мѣдный и мѣшечекъ съ слобными лепешками. По пріѣздѣ въ уметъ, содержателю его, пахатному солдату симбирскаго уѣзда, Степану Максиму Оболяеву, по народному прозванью — Еремной-курицѣ, онъ сказался пензенскимъ купцомъ Иваномъ Ивановымъ: «былъ де онъ въ яицкомъ городкѣ за покупкой рыбы, и тамъ оставя свой обозъ, велѣлъ оному за собой ѣхать, а самъ впередъ поѣхалъ было въ Пензу, но на дорогѣ лошади взбѣялись,

разбили телѣгу»; а потому и просилъ уметчика пробить у него, пока дождется свой обозъ, обѣщая ему за то заплатитъ. Уметчикъ пустилъ пожить. Бѣглый незнакомецъ принялся за промыселъ: сталъ стрѣлать по степи сайгановъ, и ими самъ питался и кормилъ уметчика. Уметчикъ былъ радъ жильцу промышленному, особенно когда увидѣлъ, что жилецъ старообрядецъ, — крестится двуперстнымъ знаменіемъ. Такъ недѣлю пробылъ бѣглый незнакомецъ у уметчика, высматривалъ, да выпытывалъ его, не переметчикъ ли. Черезъ недѣлю онъ наконецъ рѣшился откровеннѣе заговорить съ нимъ:

— Что ты, Степанъ Максимычъ, знаешь: вѣдь я тебя обмавулъ, что сказался пензенскимъ купцомъ, а я вѣдь не купецъ, но дубовскій казакъ, и не Ивановъ меня зовутъ, а Петромъ Ивановымъ.

Уметчикъ Еремина-курица почти и не обратилъ вниманія на эти слова жильца, а заботился главнымъ образомъ объ обозѣ, рассчитывая вѣроятно пожитья отъ него.

— Такъ поэтому ты и объ обозѣ-то солгалъ? только и спросилъ онъ.

Ловкій бѣглець, смекнувъ тотчасъ корыстолюбіе уметчика, и не желая вдругъ оказаться обманщикомъ, отвѣчалъ:

— Нѣтъ, это я не солгалъ, а правда: я на сихъ дняхъ его сюда ожидаю.

Уметчикъ Еремина-курица этому и повѣрилъ, и обходился съ жильцомъ дружно. А этотъ, узнавши простоту его и снисходительность къ бѣглецамъ, рѣшился наконецъ открыть ему свой замыселъ. Черезъ двѣ недѣли, по пріѣздѣ, былъ онъ въ банѣ съ хозяиномъ, и послѣ бани, заведя разговоръ стороной, спросилъ уметчика:

— Что, Степанъ Максимычъ, лавича ты былъ со мной въ банѣ, примѣтилъ ли ты на мнѣ царскіе знаки?

А уметчикъ съ усмѣшкой и равнодушно отвѣчалъ:

— Какіе знаки? я ихъ отроду нетолько невидывалъ, да и не слышивалъ.

Бѣглець теперь совсѣмъ убѣдился, что простотѣ-уметчику можно все говорить.

— Этакая ты простая курица, сказалъ онъ: — ужъ царскихъ знаковъ неслыхивалъ! я тебѣ ихъ когда-нибудь при яцкскихъ казакахъ покажу.

— Чтоже это, Петръ Ивановичъ, спросилъ тутъ уметчикъ, затронутый нѣсколько любопытствомъ: — кчему ты это говоришь? какии на тебѣ быть царскимъ знакамъ?

— Эдакой ты безумный, отвѣчалъ бѣглець: — ужъ того-то не

догадался, к чему я это говорю! Вѣдь я не купецъ и не казакъ, такъ какъ тебѣ сказался, а государь вашъ Петръ Федоровичъ!

Тутъ уметчикъ Еремина-курица испугался, что онъ принималъ жидьца за простаго человѣка, однакожь осмѣлился еще спросить:

— Да какъ же это я слышалъ, что государь померъ?

— Врешь, сказалъ бѣглець: — Петръ Федоровичъ живъ, а не умеръ: ты смотри на меня такъ, какъ на него. Я былъ за моремъ и пріѣхалъ въ Россію прошедшаго года. И услыша, что дяцкіе казаки приведены всѣ въ разоренье, такъ нарочно для нихъ я сюда на выручку пріѣхалъ, и хочу, если Богъ допуститъ, опять вступить на царство.

Уметчикъ тутъ сталъ кланяться и просить прощенья, что обращался съ нимъ попросту. Спустя нѣсколько дней, къ уметчику пріѣхалъ знакомый казакъ, Закладновъ, попросить лошади. Когда Закладновъ сѣлалъ за плетнемъ лошадь, уметчикъ подошелъ къ нему, и указывая на бѣглеца, который виднѣлся изъ сарая, спросилъ полушопотомъ:

— Что, Гриша, какъ ты думаешь объ этомъ человѣкѣ? какой онъ человѣкъ?

— Почему я могу знать что онъ за человѣкъ, отвѣчалъ Закладновъ.

— Вишь, объяснялъ дальше уметчикъ съ какою-то таинственною торжественностью: — вишь это государь Петръ Федоровичъ. Онъ говоритъ, что имѣетъ на себѣ царскіе знаки и нарочно сюда на выручку къ вамъ пріѣхалъ. Онъ приказалъ тебѣ сказать, чтобы ты открывалъ о немъ войсковою руки надежнымъ казакамъ.

Закладновъ содрогнулся. Тутъ бѣглець-самозванецъ вышелъ изъ сарая и сказалъ самъ уже Закладнову:

— Что, Гриша, слышалъ ты отъ Ереминой-курицы обо мнѣ?

— Слышалъ, государь! поклонясь отвѣчалъ Закладновъ.

— Ну смотри же, Гриша, говорилъ бѣглый самозванецъ: — рассказывай обо мнѣ дома надежнымъ людямъ войсковою руки, да смотри объясняй по тайности, такъ чтобы и жены ваши не знали, и берегитесь старшинской руки, чтобы какъ не провѣдали обо мнѣ. Пришли ко мнѣ сюда отъ войска человѣкъ двухъ нарочитыхъ людей: я съ ними поговорю и скажу имъ, что надо сдѣлать.

Накормя Закладного на дорогу завтракомъ, самозванецъ еще разъ провожая его сказалъ:

— Смотри же, Гриша, не забудь, пришли ко мнѣ казаковъ, и самъ съ ними пріѣзжай. Да проворь скорѣе!

— Хорошо, сударь, слышу! отвѣчалъ Закладновъ, и взялся за пропаганду пугачевщины.

Такие между прочим бѣглецы скрывались въ прошломъ вѣкѣ въ массѣ бѣглыхъ, и потомъ мало-помалу выдвигались на отчаянные подвиги или самозванства, или разбойничества, или религіозно политической пропаганды. И вотъ какъ выдвинулся изъ толпы такихъ бѣглецовъ, прошолъ черезъ скиты старообрядческіе знаменитый бѣглый казакъ зимовейской станицы, раскольникъ вѣтковской и иргизской, *Емельянъ Ивановъ Пугачевъ*. И съ какимъ демократическимъ тактомъ началъ онъ свое отчаянное дѣло! Изъ Польши, откуда вышелъ и первый самозванецъ, идетъ онъ прямо въ приуральское заволжье, въ этотъ необъятный, вѣковой притонъ, омутъ сброднаго народа, куда стекались въ XVIII вѣкѣ самые отчаянные бѣглые, послѣдніе вольные, гулящіе и голутвенные люди цыкла и закалу Стеньки Разина, гдѣ скоплялись всѣ элементы, вся накипь, наболь народнаго недовольства, и раскольничьяго, и крѣпостнаго, и заводскаго и проч. Бѣглецъ съ могучей натурой идетъ къ своимъ же сброднымъ бѣглецамъ, къ яцккимъ казакамъ, въ которыхъ тоже еще не охладѣлъ закалъ Стеньки Разина, закалъ, поддерживаемый теперь еще расколомъ. Давно эти сбродные, удалые, буйные молодцы старой повольничьей, ушкуйничьей породы сбѣжались на Яикъ. Сначала они тоже, подобно вольницамъ, дружинамъ Ярмака Тимофѣича или Степана Разина, удалствомъ и разбоями промышляли по Каспійскому морю и по Волгѣ. Потомъ, натѣшившись вдоволь удалыми разбоями, въ волю нагулявшись по широкому раздолью степи саратовской, по Волгѣ и морю, рѣшились наконецъ основать вольную осѣдлую общину: «собрався учинили со вѣтъ» и предались подъ власть Россіи при царѣ Михаилѣ Федоровичѣ. Имъ дана была «жалованная грамота на рѣку Яикъ съ сущими при ней рѣки и притоки и со всякими угоды отъ вершинъ той рѣки до устья». Они набрались бѣглыми всякаго рода, вольными, гулящими людьми и образовали военно-демократическую общину. Демократическая воля въ нихъ до того была сильна, необуздана, что съ 1721 года, когда они подчинены были вѣдѣнію военной колегіи, до 1770 года, они непрерывно вели открытую, неуступную борьбу съ ограничительными притязаніями начальства. Борьба эта достигла высшей степени разгара, когда въ яцккій городокъ пришолъ Пугачевъ. Казаки раздѣлились тогда на двѣ партіи: на *несогласныхъ* или казаковъ *войсковой руки*, и на *согласныхъ* т. е. сторонниковъ старшинъ и правительства или *старшинной руки*. Пугачевъ сразу новлялъ силу и значеніе первой чисто-демократической партіи, и съ нею-то пошолъ въ походъ. И зашевелился, задвигался весь юговосточный край имперіи, зашевелились русскіе и инородцы, затряслось все южное приволжье и заволжье, затряслись уральскіе

заводы и зауральская Сибирь. Полетѣли возмутительные листы, манифесты, не многоглаголиво-краснорѣчивые, а затрогивающіе самое сердце и все вѣсковые помыслы, желанія и ожиданія народа: «дарю волей и землей, и рѣкой, и травами, и морями, и хлебными провіантомъ, и крестомъ, и бороною, и свинцомъ и порохомъ». И слова эти, какъ самая горячая, пламенная искра, просто прожгли сердца въ сердцахъ народныхъ. И пламя пугачевщины пылало. Крѣпостный, тяжело-податный, рабски-служебный, тяжело-чернорабочія основы имперіи заколебались. А буйные, давшіе волю физической силѣ казаки говорили: «то ли еще будетъ, такъ ли еще тряхнемъ Москвою» т. е. государствомъ. И ужаснулось правитель-ство. «Богъ знаетъ, чѣмъ все это кончится!» говорила Екатерина. «Зло превелико, ужасно», писалъ ей Бибиковъ: «ухъ дурно!.. Но Пугачевъ важенъ и не воры казани, а *важно общее недовольствіе.*»

Въ самый разгаръ пугачевщины разъ стоялъ въ Москвѣ на часахъ молодой солдатъ, и пѣлъ такую пѣсню:

Охъ ты, батюшка, Ленбурхъ городъ!
 Про тебя, Ленбурхъ, идетъ славушка,
 Слава добрая, нарѣчье хорошее,
 Було ты, Ленбурхъ, на красѣ стоишь, на крутой горѣ,
 На крутой горѣ, на желтымъ пескѣ,
 На желтымъ пескѣ, рассыпчатымъ,
 На трехъ рѣчушкахъ, да на устьицахъ.
 Да первая рѣчушка течетъ Самарушка.
 Другая рѣчушка — Яикъ рѣка,
 Третья рѣчушка — Уралъ рѣка.
 По Уралѣ рѣкѣ живутъ казаченьки,
 По Самарушкѣ живутъ татарушки,
По Уралу гулялъ генералъ-Пугачъ.
 Какъ во матушкѣ было во каменной-Москвѣ,
 Молодой-то солдатъ на часахъ стоитъ,
 На часахъ стоитъ, себѣ рѣчи говорить:
 «Не дають-то мнѣ, доброму молодцу,
 Волюшку во Ленбурхъ сходить,
 Во Ленбурхъ сходить, *Пугача убить.*»

Но въ то время, какъ этотъ солдатъ, вѣрный царю и отечеству до капли крови, или просто жаждавшій только дать волюшку, разгуль молодецкой силѣ, удали, съ такимъ порывомъ зарился Пугача убить, въ то самое время толпы солдатъ убѣгали съ часовой службы, изъ полковъ, даже изъ крѣпкихъ тюремъ. Издавна, съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ началась въ Россіи рекрутчина, скиты и слободы старообрядческія, глухія провинціальныя захолустья, даже ~~некоторые~~ ~~иногда~~ наполнены были бѣглыми солдатами и рекру-

тами. Полное собраніе законовъ первой половины и особенно первой четверти XVIII вѣка наполнено указами о бѣглыхъ солдатахъ и рекрутахъ. Въ первой четверти прошлаго столѣтія изъ бѣглыхъ солдатъ, драгунъ и рекрутъ образовались многочисленныя «вооруженныя компаніи», къ которымъ приставали бѣглые и крѣпостные люди. Солдатъ по сто, по двѣсти и больше, верхамъ, съ ружьями, въ регулярномъ порядкѣ разъѣзжали по многимъ уѣздамъ и грабили помѣщичьи имѣнья. Лѣса наполнены были большими скопищами бѣглыхъ солдатъ, гдѣ они приставали иногда и къ «разбойничьимъ компаніямъ». Тамъ, въ темной чащѣ лѣсовъ, свѣтились по ночамъ огни: вокругъ нихъ сидѣли солдаты бѣглые, безпашпортные. Или собирались они, «сходились на полянушку, на широкою». И старая, гремучая, завѣщанная бойцами Стеньки Разина пѣсня раздавалась по лѣсамъ :

• Ты взойди-ко, взойди солнце красное,
Обогрѣй ты насъ, добрыхъ молодцевъ,
Солдатъ бѣглыхъ, безпашпортныхъ •.

А. ЩАПОВЪ

ИЗЪ ГОРАЦІЯ

Отрокъ вѣжнѣй, мнѣ не надо
Чаръ полунощныхъ пировъ —
Не несн-жь ты мнѣ изъ сада
Пышныхъ розовыхъ вѣнковъ.

Лучше миртовую вѣтку
Свей вѣнкомъ надъ головой
И пойдемъ скорѣй въ бесѣдку
Подъ навѣсъ лозы густой.

ВСЕВОЛОДЪ КРЕСТОВСКІЙ

ЛЕРМОНТОВЪ И ЕГО НАПРАВЛЕНІЕ

КРАЙНІЯ ГРАНИ РАЗВИТІЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВЗГЛЯДА (¹)

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

ЭЛЕМЕНТЫ ПОЭТИЧЕСКОЙ ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕРМОНТОВА

I

ВВЕДЕНІЕ

Опозиція застоя не даромъ накинута съ ожесточеніемъ на Лермонтова при самомъ первомъ его появленіи на литературную арену.

То была великая художественная сила, которая шла такъ-сказать на помощь къ отрицательному взгляду, узаконивала его неясныя предчувствія, раскрывала ему новые обширные горизонты.

Ни оппозиція застоя, ни самъ отрицательный взглядъ не знали еще тогда, да конечно и не могли знать, что эти обширные горизонты, въ сущности только миражъ, что за ними, за этими туманными картинками, поворотъ къ почвѣ, поворотъ къ народности, что

(¹) Начиная снова прерванный мною на время рядъ статей о «развитіи идеи народности въ нашей литературѣ со смерти Пушкина и до настоящей минуты» я считаю необходимымъ напомнить нумера «Времени» за 1861 годъ: II, III, IV и V, въ которыхъ помѣщены статьи: 1) Вступленіе. Народность и литература. 2) Западничество въ русской литературѣ, причины происхожденія его и силы. 3) Бѣлинскій и отрицательно-централизованннй взглядъ. 4) Опозиція застоя, въкоторыя черты изъ исторіи мракобѣсія.

Глава о Лермонтовѣ составляетъ непосредственное продолженіе начатаго мною изслѣдованія.

въ самомъ Лермонтовѣ готовился по справедливой догадкѣ Гоголя одинъ изъ великихъ живописцевъ нашего быта.

Инстинктивно-пророческое предвиденіе великихъ поэтовъ — фактъ несомнѣнный, хотя вовсе не мистическій, а объясняемый стихійными началами ихъ природы, ея самостоятельными данными, которые, даже и подчиняясь могущественнымъ вѣяніямъ эпохъ, упорно, хотя сначала и смутно заявляютъ свою самостоятельность.

Нѣтъ! я не Байронъ — я другой
Еще невѣдомый избранникъ,
Какъ онъ же чуждый міру странникъ,
Но только съ русскою душой,

говоритъ о себѣ самъ Лермонтовъ въ одномъ изъ своихъ такъ-сказать кабинетныхъ, домашнихъ стихотвореній, — и лучшую характеристику едвали можетъ придумать критика.

Благодаря послѣднему, довольно полному и толковому изданію всего того, что оставилъ намъ въ наслѣдство этотъ великій во всякомъ случаѣ, хотя невысказавшійся даже въ половину духъ, характеристика эта ясна до очевидности.

Въ ней, въ этой характеристикѣ, двѣ стороны. Поэтъ хочетъ заявить свою самостоятельность — но между тѣмъ, фактъ отъ котораго онъ ее отстаиваетъ, т. е. Байронъ и его вліяніе, явнымъ образомъ его еще беспокоитъ. Съ этимъ громаднымъ фактомъ онъ еще мучительно, болѣзненно борется.

Борьба была прервана рокомъ въ тотъ самый мигъ, какъ она только переходила въ новый фазисъ. Едва только еще отдѣлался поэтъ отъ мучившаго его призрака, едва свелъ его изъ туманно-неопредѣленныхъ областей, гдѣ онъ являлся ему «царемъ нѣмымъ и горлымъ» въ общежитійскія сферы, въ которыхъ живетъ и дѣйствуетъ маскированный гвардеецъ Печоринъ, еще онъ неуспѣлъ хорошенько приглядѣться къ пойманному имъ образу, увидать въ немъ комическую сторону, съ которой неминуемо долженъ былъ начаться поворотъ... какъ смерть сразила его.

Великій поэтъ является передъ нами еще весь въ элементахъ, съ проблесками великой правды, но еще неуяснившейся нисколько самостоятельности, не властелиномъ тѣхъ стихій, которыя заключались въ его эпохѣ и въ немъ самомъ какъ высшемъ представителѣ этой эпохи, а еще слѣпою, хотя и могущественною силою, несущуюся впередъ стремительно и почти безсознательно.

Стремленія этой силы для насъ теперь уже прошедшее, и какъ всякое прошедшее могутъ быть разъяснены: въ нихъ можемъ мы теперь уловить залогъ и проблески самостоятельности, можемъ раз-

гадать даже смыслъ ихъ движенія, при пособіи послѣдовавшихъ за Лермонтовымъ литературныхъ явленій, вызванныхъ толчкомъ, который дала его поэтическая сила, но во всякомъ случаѣ самъ онъ для насъ представляется не завершенною, а стихійною силою.

Вотъ почему прежде чѣмъ говорить о немъ самомъ безотносительно, необходимо говорить о тѣхъ элементахъ, изъ которыхъ началась его поэтическая дѣятельность.

Въ Лермонтовѣ, на самый первый, поверхностный взглядъ представляются двѣ стороны. Это: *Арбенинъ* или *Арбенъевъ*, какъ онъ названъ въ прозаическомъ отрывкѣ, «Воспитаніе Арбенъева» (я беру нарочто самое первое, юношески-откровенное и рѣзкое выраженіе типа) и «*Печоринъ*». Внимательное изслѣдованіе поможетъ вѣроятно найти еще и третью сторону, но на первый разъ очевидны только двѣ.

Арбенинъ (или все-равно: Арсеній въ «бояринѣ Оршѣ», «Мцыри», и проч.) это необузданная страстность, рвущаяся на широкій просторъ, почти-что безумная и слѣпая сила, воспитавшаяся въ дикихъ понятіяхъ, вопіющая противъ всякихъ общественныхъ условий, исполненная къ нимъ ожесточенной ненависти. сила, которая сознаетъ на себѣ «печать проклятья» и гордо носитъ на себѣ эту печать; сила отчасти звѣрская, которая сама въ лицѣ Мцыри говорить:

Какъ будто самъ я былъ рожденъ
Въ семействѣ барсовъ и волковъ.

Пояснить возможность такого настроенія души поэта однимъ влияніемъ музыки Байрона, однимъ влияніемъ байронизма, нельзя, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя и отвергнуть того, что Лара коснулся обаяніемъ своей поэзіи, подкрѣпилъ, оправдалъ и толкнулъ впередъ тревожныя требованія души поэта.

Байронъ и его влияніе однимъ словомъ, несомнѣнны, отражаются въ поэтической физиономіи Лермонтова чертами гораздо болѣе рѣзкими, чѣмъ на болѣе гармонической и раньше достигшей самостоятельности натурѣ Пушкина; но самые элементы такого настроенія «русской души» поэта могли зародиться только или подъ гнетомъ жизненной обстановки, славяющей страстные порывы *Мцыри* и *Арсенія*, или на дикомъ просторѣ разгула и неистоваго произвола страстей, на которомъ выросли впечатлѣнія Арбенина.

Вѣдь приглядитесь къ нимъ поближе, къ этимъ туманнымъ, но могучимъ образамъ: — за Ларою и Корсаромъ, проглядываетъ въ нихъ можетъ-быть Стенька Разинъ, хотя съ другой стороны несомнѣнно, что Лара и Корсаръ давили воображеніе поэта.

Не всматриваясь еще заранѣе въ другую сторону лермонтовскаго типа, въ «Печоринѣ», а останавливаясь на этой сторонѣ и неминуемо долженъ говорить 1) сперва:

О Байронѣ и о матерьяхъ важныхъ,

а 2) потомъ о романтическомъ броженіи эпохи, котораго полнѣйшимъ и самымъ яркимъ представителемъ, даже завершителемъ является Лермонтовъ.

Байронъ и байронизмъ какъ общее, и нашъ русскій романтизмъ какъ особенное — вотъ элементы того Лермонтова, какой намъ остался въ его произведеніяхъ. Чтобы добраться до оригинальности этой фizioноміи нужно прежде разсмотрѣть ихъ, эти элементы, слѣдя разумѣется повсюду отношеніе самой натуры поэта къ этимъ элементамъ его эпохи, его обстановки.

II

О БАЙРОНѢ И О МАТЕРЬЯХЪ ВАЖНЫХЪ

Есть большая разница между понятіемъ о Байронѣ его эпохи и нашей, между понятіемъ о немъ его собственнаго отечества и понятіями французовъ, вѣмцевъ и нашихъ, равно какъ и въ самую эпоху его дѣятельности было различіе между взглядомъ толпы и взглядомъ людей, стоявшихъ съ нимъ въ уровень. Гёте смотрѣлъ на Байрона вѣскольکو свысока; онъ изобразилъ его въ «Эйфоріотъ» своего Фауста.

Icarus, Icarus.
Leiden genug!

Молодую, необузданно-порывистую и отчасти неразумную, но ничѣмъ не удержимую силу видѣлъ онъ въ немъ, блестящій метеоръ, рассыпашійся прахомъ. Замѣчательнѣе же всего, что не Прометеемъ, а юношей, только-что вышедшимъ изъ отрочества, представлялъ себѣ многодумный веймарскій старецъ этого, въ глазахъ толпы, мужа борьбы съ людьми и съ судьбою, этого мрачнаго скитальца, проклинавшаго свою туманную родину, этого таинственнаго Лару, душа котораго бездонна, какъ бездна, и темна, какъ бездна. Для него, умѣвшаго однако понимать борьбу прометеевскую, создавшаго сатаническій образъ Фауста, для него, возложившаго нъ уста своего Прометея все энергическое что человѣческая гордость можетъ сказать о себѣ.

Ich — dich ehren? Wofür?

.....

Da sitz ich,
Forme Menschen
Nach meinem Bilde.

Демоническій духъ Байрона былъ ясець, и ясець былъ самъ поэтъ, ясеце можетъ быть чѣмъ былъ онъ, или просто сказать, чѣмъ хотѣлъ быть для самаго себя; хотѣлъ быть — потомучто слышкомъ хотѣлъ казаться таковымъ толпѣ.

Нашъ Пушкинъ, которому дано было расти, т. е. быть и отрокомъ, и юношей, и мужемъ, который былъ бы безъ сомнѣнія и мудрымъ старцемъ, еслибы трагическое начало, тяготѣющее надъ судьбою нашихъ поэтовъ, не пересѣкло нити его теченія въ самую пору мужества, представляя себѣ этого «властителя духа» своего поколѣнія въ видѣ моря, обращаясь къ сему послѣднему:

Онъ былъ, о море! твой пѣвецъ...
Твой образъ былъ на немъ означенъ,
Онъ духомъ созданъ былъ твоимъ,
Какъ ты, великъ, могучъ и мраченъ,
Какъ ты, ничѣмъ неукротимъ.

Въ другихъ случаяхъ онъ называетъ его «поэтомъ гордости», («Какъ Байронъ, гордости поэтъ») и, разумѣя глубоко значеніе его поэзіи, равно какъ и самый ея источникъ:

Лордъ Байронъ прихотью удачною
Облекъ въ унылый романтизмъ
И безнадежный эгоизмъ...

ясно видятъ притомъ, какимъ вѣкомъ эта поэзія вызвана:

Свидѣтелями бывъ вчерашняго паденья,
Едва опомнились младыя поколѣнья,
Жестокихъ опытовъ собирая поздній плодъ;
Онѣ торопятся съ расходомъ свести приходъ,
Имъ вѣкогда шутить, обѣдать у Темиры,
Иль спорить о стихахъ. Звукъ новой, чудной лиры,
Звукъ лиры Байрона едва развлекъ ихъ могъ.

Ламартинъ одинъ почти призналъ въ Байронѣ то, чѣмъ Байронъ хотѣлъ казаться, — поэтическаго сатану, и даже полвергъ, въ угоду байроновскому обаянію, сомнѣнію вопросъ о томъ, точно ли зло есть зло, и добро — добро?

Toi dont le monde encore ignore le vrai nom,
Esprit mystérieux, mortel, ange ou démon,

Qui que tu sois, Byron, bon ou fatal génie —
 J'aime de tes concerts la sauvage harmonie,
 Comme j'aime le bruit de la foudre et des vents,
 Se mêlant dans l'orage à la voix des torrents;
 La nuit est ton séjour, l'horreur est ton domaine,
 L'aigle, roi des déserts dédaigne ainsi la plaine :
 Il ne veut, comme toi que des rocs escarpés
 Que l'hiver a blanchis, que la foudre a frappés...

Наконецъ любопытно еще отношеніе къ Байрону Жуковскаго и Козлова, поэтовъ не равныхъ между собою по силамъ дарованій, но такъ-сказать однозвучныхъ; любопытно какъ свидѣтельство могущественнаго вліянія Байрона на натуры, даже совершенно чуждыя мрачнаго байроновскаго настроенія, на натуры кроткія и задумчивыя: вліяніе это указываетъ на одну изъ существенныхъ сторонъ байронова таланта, одну изъ тѣхъ сторонъ, которыми онъ самъ былъ отраженіемъ существенныхъ сторонъ духа человѣческаго. Все что есть мрачно-унылаго, фантастически-тревожнаго, безотрадно-горестнаго въ душѣ человѣческой и что по существу своему составляетъ только крайнюю и сильнѣйшую степень грусти, меланхоліи, суевѣрныхъ предчувствій и суевѣрныхъ обаяній, лежащихъ въ основѣ поэзіи Жуковскаго и въ тонѣ таланта Козлова, — все это нашло для себя въ Байронѣ самаго глубокаго и энергическаго выразителя: никто короче его не знакомъ съ мрачнымъ міромъ однообразно-болѣзненныхъ скорбей, въ которомъ мелькаютъ только

образы безъ лицъ,
 Безъ протяженія и границъ.

Никто не постигъ такъ глубоко всего что есть величаво-унылаго въ развалинахъ, никто не знаетъ такъ хорошо призрачной натуры привидѣній, дѣйствія производимаго на организмъ прикосновеніемъ ихъ длинныхъ мраморно-бѣлыхъ и провзительно холодныхъ перстовъ («Явленіе Франчески Альпу»), никто не подмѣтилъ такъ вѣрно и страшно, судорожныхъ движеній пальцевъ, «невольна бьющихся о чело»; никто не сумѣетъ заставить, какъ онъ, страдать читателя вмѣстѣ съ его Ларой всѣми ужасами безсонной и таинственной ночи. Байронъ великій виртуозъ на этихъ струнахъ души, виртуозъ, извлекающій изъ этихъ тревожныхъ струнъ звуки, потрясающіе натуру человѣческую вообще, и потому естественно, что онъ дѣйствовалъ магически на такія натуры, въ которыхъ особенно развита была чуткость этихъ струнъ.

Наконецъ, что касается до отношеній толпы или лучше-сказать

мѣщанства къ Байрону, то едвали не ясиѣ всѣхъ усмотрѣлъ и поразительнѣе высказалъ всю неправильность, фальшь и смѣшную сторону этихъ отношеній нашъ Грибоѣдовъ, заставившій своего Репетилова разсуждать съ достойными членами его «секретнѣйшаго союза по четвергамъ»

О камерахъ, присяжныхъ,
О Байронѣ... ну, объ матеряхъ важныхъ.

Въ самомъ дѣлѣ для свѣтской толпы, Французской ли, нашей ли — та и другая равно невѣжественны — тупоумной ли нѣмецкой, Байронъ равно принадлежалъ къ числу «важныхъ матерій», о которыхъ можно потолковать на досужи, т. е. пережевывать взгляды людей высшихъ, не понимая ихъ.

Отношеніе къ Байрону собственной его страны опредѣлялось все тѣмъ, что онъ былъ эксцентрикъ и, какъ таковой, не подлежалъ уже никакому дальнѣйшему суду; довольно того, что онъ вышелъ изъ условныхъ орбитъ условнѣйшаго существованія: онъ могъ быть хуже или лучше того, чѣмъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ, это уже ничего не прибавило и не убавило бы въ его эксцентрическомъ образѣ.

Таковы различныя отношенія собственно къ Байрону и къ его таланту. На всѣхъ онъ болѣе подѣйствовалъ такъ-сказать стихійными своими началами: Гёте видѣлъ нѣчто слѣпое въ необузданной силѣ его таланта; Пушкинъ, поэтизируя эту слѣпую силу, проникалъ разумно въ ея личныя пружины; Жуковский и Козловъ сочувствовали великому виртуозу на струнахъ души, имъ также, хотя и не въ такомъ сильномъ стрѣ, доступныхъ... Ламартинъ только въ посланіи, изъ котораго приводилъ я отрывокъ, посланіи въ которомъ Байронъ, каковымъ онъ хочетъ казаться, изображается, надобно отдать справедливость, — весьма поэтически, — Ламартинъ только, какъ выразитель въ этомъ случаѣ потребностей цѣлой пресыщенной и виѣстѣ жадной эпохи, взявъ все на вѣру и притомъ имъ впервые узаконено слѣпое стихійное начало, *байронизмъ*, это особое повѣтріе, особый зловѣщій и фосфорическій блескъ, увѣнчавшій сначала голову Байрона и перелетѣвшій на нѣсколько другихъ головъ; байронизмъ, которому не подчинялись конечно, но тѣмъ не менѣе глубоко сочувствовали великіе и равные Байрону поэты: Пушкинъ и Мицкевичъ; байронизмъ, котораго печать легла и на даровитомъ нѣмцѣ Гейне, превратившись изъ ироніи ирачной и сплинической въ иронію болѣзненно-ядовитую и полу-нахальную, полусентиментальную, и на даровитомъ французѣ Альфредѣ де Мюссе, претворившись у него изъ безотраднaго смѣха въ беззаботно-

наглый и вмѣстѣ навный цинизмъ или въ слезы тоски и стоны искренняго раскаянія, какъ напримѣръ въ «Confessions d'un enfant du siècle»; байронизмъ воплотившійся наконецъ и достигшій крайнихъ предѣловъ своихъ въ яркомъ и могучемъ талантѣ Лермонтова и въ немъ окончательно истощившійся, ибо дальнѣйшее отношеніе къ байронизму самаго Лермонтова, который былъ

не Байронъ, а другой
Еще невѣдомый избранникъ.

было бы непременно комическое, а лицо Печорина и такъ уже одной ногой стоитъ въ области комическаго, что и оказалось, когда писатель не безъ дарованія вздумалъ послѣ Лермонтова повторить этотъ образъ въ лицѣ Тамарина.

Байронизмъ, какъ нѣкоторое повѣтріе, выразилъ свое вліяніе двоякимъ образомъ: во первыхъ онъ пожиралъ страстныхъ натуры, слѣно и искренно ему отдававшіяся и искавшія въ немъ опрагматизованія своихъ безобразій, и такое вліяніе ни на комъ не отразилось такъ трагически, какъ на нашемъ безвременно и бесплодно погибшемъ даровитомъ Полежаевѣ. Нѣсколько напряженно, но искренне въ основахъ и чрезвычайно сильно выразилось это вліяніе въ такомъ напримѣръ изображеніи:

Кто видѣлъ образъ мертвеца,
Который демонскою силой,
Вражду съ темною могилой,
Живеть и страждетъ безъ конца?
Въ часъ полуночи молчаливой,
При свѣтѣ сумрачномъ луны
Изъ подземельной стороны
Исходитъ призракъ боязливый...

.....
Вотъ мой удѣлъ, — игра страстей!
Живой стою при дверяхъ гроба,
И скоро, скоро месть и злоба
На вѣкъ уснутъ въ груди моей.
Кумиры счастья и свободы
Не существуютъ для меня,
И членъ ненужный бытія,
Не оскверню собой природы...

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что изображавшій себя такимъ образомъ несчастный поэтъ, какъ ни падалъ онъ, но все-таки много клевсталъ на себя, и въ этой постоянной клеветѣ на себя, въ постоянномъ стремленіи развивать напряженно-мрачныя стороны ду-

ши, заключалось все зло байронизма — зло страшное, когда оно оказывает свое вліяніе на натуры, подобныя натурѣ Полежаева. Найдя оправданіе, такъ-сказать опозтизированіе своихъ внутреннихъ тревогъ въ словѣ вождя вѣка, онѣ съ какимъ-то упоеніемъ отдавались стремительному потоку страстей, отдавались *наслажденію страданій* :

Въ моей тоскѣ, въ неволѣ безотрадной,
Я не страдалъ, какъ робкая жена :
Меня несла противная волна,
Несла на смерть, и гибель не страшна
Казалась мнѣ въ пучинѣ безпощадной.
И мракъ небесъ, и громъ, и черный валъ
Любилъ встрѣчать я съ думою суровой —
И свисту бурь подъ молніей багровой
Внимать, какъ мужъ отважный и готовый
Испить до дна губительный фіалъ.

Было въ самомъ дѣлѣ нѣчто обаятельное въ этихъ самовольно развиваемыхъ страданіяхъ, что-то сладкое и вмѣстѣ лихорадочно-болѣзненное въ этомъ состояніи духа, что-то безвыходное въ этой тоскѣ, отвергающей даже живительный лучъ свѣта :

Я трепеталъ, чтобъ истина меня,
Какъ яркій лучъ, внезапно осѣня,
Не извлекла изъ тьмы ожесточенья...

Но тяжела была расплата за это болѣзненное сладострастіе сердца, и тяжесть расплаты можетъ быть нигдѣ не высказана съ такою грустью и искренностью какъ въ слѣдующихъ, полежаевскихъ же стихахъ :

Я встрѣчаю зарю
И печально смотрю
Какъ кропинки дождя,
По эфиру слѣтя,
Благотворно живутъ
Попираемый прахъ,
И кипятъ и блестятъ
Въ серебристыхъ звѣздахъ
На увядшихъ листахъ
Пожелтѣвшихъ луговъ.
Сила горней росы,
Какъ божественный зовъ,
Ихъ младыя красы
И крѣпить и растить.

Чтожъ кропинки дожда
 Вашъ бальзамъ не живить
 Моего бытія?
 Что въ вечерней тиши,
 Какъ пріятный обманъ,
 Не исцѣлитъ онъ ранъ
 Охладѣлой души?..
 Ахъ не цвѣтъ полевой
 Жжетъ полднейной порой
 Разрушительный зной, —
 Сокрушаетъ тоска
 Молодого пѣвца,
 Какъ въ землѣ мертвеца
 Гробовая доска...
 Я увялъ и увялъ
 Навсегда, навсегда!
 И блаженства не зналъ
 Никогда, никогда!
 И я жилъ, но я жилъ
 На погибель свою...
 Буйной жизнью убилъ
 Я надежду мою...
 Не разцвѣлъ, а отцвѣлъ
 Въ утрѣ пасмурныхъ дней,
 Что любилъ, въ томъ нашоуъ
 Гибель жизни моей...

 Не кропите-жъ меня
 Вы, росинки дожда!

Съ другой стороны байронизмъ, какъ повѣтріе, выразился въ
 общежитіи живыми пародіями, заставившими Пушкина спраши-
 вать, даже нѣсколько во вредъ своему герою :

Чудакъ печальный и опасный,
 Созданье ада иль небесъ,
 Сей ангелъ иль надменный бѣсъ...
 Чтожъ онъ? Ужели подражанье,
 Ничтожный призракъ, иль еще
 Москвичъ въ гарольдовомъ плащѣ,
 Чужихъ причудъ истолкованье,
 Словъ модныхъ полный лексиконъ,
 Ужъ не пародія ли онъ?

Въ томъ и другомъ случаѣ байронизмъ, безъ малѣйшаго сомнѣ-
 нія, имѣлъ вредное, можно сказать пагубное вліяніе. Въ немъ была

неправда, стало быть и безнравственность постольку, поскольку неправда. Неправда же его заключалась въ неправильномъ отношеніи къ врачнымъ сторонамъ души, къ темнымъ слѣпымъ силамъ, которымъ байронизмъ подчинялъ человѣческую натуру; все, что до того, т. е. до байронизма, нѣкоторымъ образомъ скрывалось или порицалось, порицалось даже и тѣми, которые не вѣрили ни во что святое: — безбожіе, эгоизмъ, сухая гордость, злобная иронія въ отношеніи къ людямъ, безстыдство отношеній къ женщинамъ, — все то, однимъ словомъ, что прежде выступало подъ благопристойною маской самой чинной нравственности въ какой-нибудь сухой Sitten-Lehre, барона фонъ-Книгге, въ какомъ-нибудь изъ романовъ XVIII вѣка, — все это явилось безъ маски въ байронизмѣ и прямо сказало міру «поклоняйся мнѣ откровенному, какъ ты доселѣ кланялся мнѣ прикрытому». Но между тѣмъ, такъ какъ сама по себѣ высокая поэтическая натура Байрона не могла же принять спокойно обоготворенія эгоизма, то оно и выразилось въ ней тоской или ироніей, что естественнымъ образомъ окружило эгоизмъ поэтическимъ ореоломъ. Можно сказать, что самая крайность неправды была слѣдствіемъ правдивости и поэтичности натуры Байрона. Ненавидя маску ханжества и лицемерія, подъ которою прятался до него эгоизмъ, самъ развращенный ученіями и опытами вѣка, поэтъ, чѣмъ носить маску, готовъ былъ лучше клеветать на самого себя: таковъ онъ, когда смѣется своимъ сатаническимъ хохотомъ надъ тѣмъ, что матросы съѣли донъ-жуанова учителя; таковъ онъ, поющій неистовый гимнъ чувственности по поводу любви Донъ-Жуана и Гайде; таковъ онъ въ анализѣ отношеній леди Аделины къ Жуану, — все это неправда, все это напряженіе, клевета на самого себя и на душу человѣческую, клевета, прорывающаяся съ одной стороны изъ прихоти человѣка, пресыщеннаго изображеніями условной и истрепаной добродѣтели, изображеніями весьма приторными, а съ другой стороны, изъ правдиваго негодованія на ложь и лицемеріе жизни.

Байронъ есть пламенный поэтической личности противъ всего условнаго въ окружавшемъ его обществѣ, и потому можетъ быть судимъ только съ высшей точки зрѣнія христіанскаго суда, но не съ точки зрѣнія нравственности того общества, которую постоянно казнила его муза: онъ ничего много не сдѣлалъ, какъ обнажилъ только то что прикрывалось ветхимъ покровомъ условнаго, сорвалъ маску съ обоготвореннаго втихомолку эгоизма, и какъ истинный, глубокий поэтъ, воспѣлъ торжество этого страшнаго начала съ тоской и яловитой ироніей. Въ нѣхъ-то, въ этой тоскѣ и ироніи — его великая сила, ибо они — горестный плачъ

объ утраченныхъ и необрѣтаемыхъ идеалахъ ; въ нихъ-то, въ этой же тоскѣ и прони — его слабость, ибо съ ними связаны у него шаткость основъ міросозерцанія, отсутствіе нравственнаго, т. е. цѣлостнаго взгляда, отсутствіе возможности суда надъ жизнью, и поэтому самому, отсутствіе возможности быть поэтомъ эпическимъ или драматическимъ, вообще быть чѣмъ-либо, кромѣ величайшаго поэта лирическаго, или лучше сказать величайшаго лирическаго виртуоза на извѣстныхъ указанныхъ мною струнахъ. Вышнее обладаніе этими струнами, есть правда, красота и сила его поэзіи, и не безнравственностью, т. е. не ложью, а правдою увлекалъ онъ и доселѣ увлекаетъ поколѣнія, увлекалъ даже мудрецовъ, каковы былъ Гёте, даже людей ему равныхъ, каковы были Пушкинъ и Мицкевичъ. Ложь въ поэзіи блеснетъ, какъ метеоръ, и какъ метеоръ же разсыплется прахомъ, но постоянное въ извѣстной степени дѣйствіе имѣетъ поэзія Байрона, ибо постоянно затрогиваетъ она чувствованія, живущія въ глубинѣ сердца: она не сдѣлана искусственно, она порождена духомъ человѣческимъ. Поколѣе чело- вѣчество способно мучительно любить, глубоко чувствовать оскорбленіе и жажду мести, стенать посреди мукъ и гордо поднимать голову передъ сѣкирой палача — до тѣхъ поръ оно будетъ жадно чистить и Гаура и исповѣдь Уго передъ казнью въ Паризинѣ; доколѣе живеть въ духѣ чело- вѣческомъ необузданное стремленіе, готовое иногда ломать всѣ преграды, полагаемыя условнымъ общежитіемъ, доколѣе обаятельно будутъ дѣйствовать на людей мрачные образы Корсара, Лары, Чайльдъ-Гарольда, Альона и иныхъ чадъ мятежной души поэта. Байронъ есть поэтическое воплощеніе протеста, и въ этомъ опять таки его сила и его слабость: сила его въ томъ, что протесту, вызываемому всегда болѣе или менѣе неправдою, душа горячо сочувствуетъ; слабость въ томъ, что протестъ этотъ есть протестъ слѣпой, протестъ безъ идеала, протестъ самъ по себѣ и самъ отъ себя. Повторяю, что Байронъ ничего иного не дѣлаетъ, какъ срываетъ благопристойную маску съ дикаго по существу эгоизма, вѣнчаетъ его не втихомолку уже, а прямо, — но какъ поэтъ истинный и глубокій, вѣнчаетъ съ тоской и проніей.

Въ Байронѣ очевидна стало-быть не безнравственность, а отсутствіе нравственнаго идеала, протестъ противъ неправды безъ сознанія правды. Байронъ поэтъ отчаянія и сатанинскаго смѣха потому только, что не имѣетъ нравственнаго полномочія быть поэтомъ *истиннаго* смѣха, коимъ — ибо комизмъ есть правое отношеніе къ неправдѣ жизни во имя идеала, на прочныхъ основахъ покоящагося, — комизмъ есть праведный судъ надъ уклонившеюся отъ идеала жизнію; казнь, совершаемая надъ нею зрячимъ художе-

ствомъ. Если же идеалы подорваны и между тѣмъ душа не въ силахъ помириться съ неправдою жизни по своей высшей поэтической природѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ по отсутствіи нравственной мѣры, не можетъ прямо назвать неправды неправдою, то единственнымъ выходомъ для музы поэта будетъ безпощадно ироническая казнь надъ неправдою жизни, казнь обращающаяся и на самого себя, насколько въ его собственную натуру въѣлась эта неправда, проникла до мозга костей и насколько онъ самъ, какъ поэтъ, сознаетъ это искреннѣй и глубже другихъ. Возьмите самую вопіющую безнравственность въ любой поэмѣ Байрона, — вы увидите, что она есть только казнь, совершенная поэтомъ надъ другой, прикрытою мншурною хламидой безнравственностью: безнравственно напримѣръ отношеніе Уго и Паризивы, но въ сущности оно есть только казнь, совершаемая надъ герцогомъ Азо, и казнь совершенно справедливая; скиталецъ Гарольдъ исполненъ пороку столь справедливаго негодованія противъ мелочности и суетности свѣтской толпы, противъ гнетущихъ жизнь условныхъ понятій, что скитальчество его становится понятно. Вездѣ однимъ словомъ муза Байрона есть Немезида жизни; Немезида, въ свою очередь обращающая бичъ на самого поэта, какъ далеко на несвободнаго отъ неправды, а напротивъ проникнутаго ею до мозга костей, и посылающая прометеева коршуна терзать его собственное сердце.

Но снимая такимъ образомъ съ Байрона единичную отвѣтственность за отсутствіе въ поэзіи его идеальнаго созерцанія, замѣняемаго тоскою и иронією, созерцанія, котораго создать нельзя, а взята при совершенномъ разложеніи жизни не откуда, тѣмъ не менѣе можно указать на него, какъ на примѣръ весьма печальный раздвоенія между поэтическимъ и нравственнымъ созерцаніемъ, раздвоенія вреднаго въ отношеніи къ художеству тѣмъ, что оно: во-первыхъ лишило натуру поэта извѣстной полноты и цѣлости, вслѣдствіе чего онъ остался только лирикомъ, со всѣми своими стремленіями къ эпосу и драмѣ; во-вторыхъ тѣмъ, что вслѣдствіе такого раздвоенія вся поэзія Байрона есть не что иное, какъ гениальная импровизація или лучше сказать постоянная проба на нѣкоторыхъ его, въ особенности доступныхъ ей струнахъ, именно на струнахъ ощущеній мрачныхъ, фантастическихъ, тревожныхъ и негодующихъ. Вслѣдствіе отсутствія поэтически-нравственнаго и гармонически-цѣлостнаго взгляда, у Байрона нѣтъ суда надъ жизнью и надъ создаваемыми образами, того суда, который напримѣръ даетъ возможность и полномочіе Шекспиру, имѣвшему прямое и цѣлостное воззрѣніе на жизнь, казнить неумолимою и расчитанною казнію своего Фольстафа, жирнаго, сквернаго, но остроумнаго, милаго и гениально-ваглаго Фоль-

стафа, быть может также близкаго его душѣ, какъ близокъ онѣ былъ душѣ казнящаго его своею холодною Гевриха, — того суда, который суроваго Данта заставилъ обречь мукамъ ада Франческу да-Римини, несмотря на страстное къ ней сочувствіе; того суда, котораго враждебное отношеніе къ дѣйствительности, противурѣчающей ясно сознаваемому идеалу, не можетъ быть инымъ, какъ казнящимъ, — трагически ли казнящимъ Макбета, Отелло, Лира и Гамлета, Уголино и Франческу, или комически казнящимъ Фольстафа, Сквозника-Дмухановскаго, Самсона Силыча Большова, и того суда, при которомъ только и возможно въ художествѣ созданіе живыхъ лицъ и отношеніе къ образамъ, какъ къ живымъ лицамъ — отношеніе Шекспира, Мольера, Данта, Сервантеса, Пушкина, — начиная съ его Онѣгина, — Диккенса, Гоголя. Вслѣдствіе же односторонней своей виртуозности, поэзія Байрона однообразна, а потому утомительно дѣйствуетъ на душу. Байрона можно читать только такъ — сказать пріемами и притомъ въ извѣстныя минуты душевнаго настроенія, хотя правда, что тогда онѣ кажется зато высшимъ язъ поэтовъ. Въ силѣ его есть именно что-то стихійно-слѣпое, такъ что пушкинское удоболеніе его морю остается едва ли не вѣрнѣйшимъ опредѣленіемъ его значенія. Эта сила бунтуетъ во имя самаго бунта, безъ всякихъ другихъ полномочій — поднятая эгоизмомъ, безобразіемъ, безнравственностью общественныхъ понятій и въ неправдѣ этихъ понятій заключается оправданіе для нея самой, хотя и лишонной свѣта правды — и судима она можетъ быть не съ точки зрѣнія той общественной нравственности, которою она вызвана, какъ прямое послѣдствіе и вмѣстѣ казнь. Съ этой точки зрѣнія Гёте и Шиллеръ поэты столь же, какъ и Байронъ, безнравственные, но вѣдь есть же причина, почему впервыхъ высшія стремленія духа въ этихъ блистательнѣйшихъ представителяхъ жизни духа на западѣ, въ этихъ великихъ міровыхъ силахъ, всегда являлись чѣмъ-то враждебнымъ условіямъ окружавшаго ихъ общества и почему съ другой стороны враждебное отношеніе къ неправдѣ жизни не имѣетъ у нихъ возможности возвыситься до колизма, почему напримѣръ Шиллеръ вмѣсто того, чтобы какъ нашъ Гоголь въ «Ревизорѣ» смѣлою кистью начертать картину вопіющихъ неправдъ жизни, предпочитаетъ возстать на зло зломъ же, на безнравственность безнравственностью же, на мѣщанство — страшною утопіею «разбойниковъ». *Si ferrum non sanat ignis sanat!* И замѣтите, что тотъ же самый образъ, который Шиллеръ осуществилъ сначала въ разбойникѣ Моорѣ, является потомъ въ свѣтлыхъ призракахъ Позы, Юанны и Телля; есть причина, почему Гёте вмѣсто того, чтобы просто насмѣяться въ комической картинѣ надъ мѣ-

щанской нѣмецкой семейностью, какъ напрімѣръ насмѣялся надъ семейнымъ безобразіемъ самодурства Островскій во имя высшаго идеала семейственности, — Гёте, говорю я, создаетъ утопію въ своихъ «Wahlverwandschaften», а въ этой утопіи еще до Занда возникаетъ на святость и неизблемость семейныхъ узъ вообще. Комизмъ есть отношеніе высшаго къ низшему, отношеніе къ неправдѣ съ смѣхомъ во имя оскорбляемой ею и твердо сознаваемой поэтомъ правды. Когда Гоголь напрімѣръ казнить взяточничество, — вы не бойтесь за комика, чтобы у него съ взяточничествомъ или развратомъ было что либо общее: но Гёте, враждебно относящійся къ нѣщанской нравственности, и самъ часто впадаетъ въ нее въ своемъ Вильгельмѣ Мейстерѣ; а Шиллеръ только на высотѣ отвлеченныхъ идеаловъ уберегаетъ себя отъ паденія. Но Байронъ, съ сатанинскимъ хохотомъ и съ глубокою тоскою обоготворяющій эгоизмъ, тѣмъ не менѣе обоготворяетъ его, т. е. не можетъ подняться выше этого эгоизма поэтическимъ созерцаніемъ; велика еще заслуга его и въ томъ, что обоготворяя идола, онъ плачетъ о необходимости обоготворенія, язвительно хохочетъ и надъ жизнью, и надъ самимъ собою, обоготворителемъ идола. Въ немъ все-таки глубоко чувство правды, чувство поэзіи! — Я положилъ и положилъ кажется правильно различіе между Байрономъ и байронизмомъ, обозначивши дѣйствіе сего послѣдняго, какъ повѣтрія, пожравшаго силы, зловѣщаго сіянія, перелетѣвшаго съ головы Байрона на головы двухъ байрончиковъ весьма даровитыхъ, Мюссе и Гейне, изъ которыхъ первый замѣчательнѣе въ высокой степени искренностью и обиліемъ казни надъ самимъ собою, а другой фальшивостью неспѣлимой, возведенною въ принципъ и погубившею необузданно страстную натуру Полежаева. Что касается до Лермонтова, въ которомъ байронизмъ воплотился въ высшей степени ярко, то прежде всего въ жизни, въ которой онъ явился, онъ не представляетъ того значенія, какое имѣлъ Байронъ въ отношеніи къ жизни, которой онъ былъ отразителемъ. Лермонтовъ не болѣе какъ случайное повѣтріе, міражъ иного, чуждаго міра; правда, его поэзія есть правда жизни мелкой по объему и значенію, теряющейся въ безбрежномъ морѣ народной жизни: казнь совершаемая этою, все-таки поэтическою правдою надъ маленькимъ муравейникомъ, въ отношеніи къ которому она справедлива, имѣетъ сколько-нибудь общее значеніе только какъ казнь одинокаго отношенія этого муравейника: весь Лермонтовъ и вся его правда — въ горестныхъ сознаніяхъ, что:

Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда,
что:

Дубовый листокъ оторвался отъ вѣтки родимой,

что:

... не жду отъ жизни ничего я
И не жаль мнѣ прошлаго ни чуть,

что наконецъ для него:

... жизнь, какъ посмотришь съ холоднымъ вниманьемъ вокругъ,
Такая пустая и глупая шутка.

Горе или лучше сказать отчаяніе вслѣдствіе сознанія своего одиночества, своей разъединенности съ жизнью; глубочайшее презрѣніе къ мелочности той жизни, которою создано одиночество, вотъ правда лермонтовской поэзіи, вотъ въ чемъ сила и искренность ея стонovah... Еслибы Пушкинъ остался подъ искусственными вліяніями, тяготѣющими надъ первыми его вдохновеніями, онъ впалъ бы въ тоже мрачное отчаяніе; еслибы съ другой стороны Лермонтовъ не былъ постигнутъ общею трагическою участью русскихъ поэтовъ, онъ оправдалъ бы собственныя предчувствія о томъ, что онъ

Не Байронъ, а другой
Еще невѣдомый избранникъ.

И въ немъ вѣроятно, какъ справедливо сказалъ Гоголь, готовился одинъ изъ великихъ живописцевъ родного быта. Не даромъ же по собственному сознанію «любилъ онъ родну», «но странною любовью, не побѣдитъ ея разсудокъ мой.» Говорить о Лермонтовѣ, какъ о русскомъ Байронѣ, нѣтъ никакой возможности серьезно: стоитъ только приложить байронизмъ къ той пошлой свѣтской сферѣ, въ которой къ сожалѣнію вращался нашъ поэтъ, чтобы дѣло приняло оборотъ комическій: стоитъ наприимѣръ представить себѣ типъ женскій, къ которому обращены слѣдующія строки:

Въ толпѣ другъ друга мы узнали,
Сошлись и разошлись вновь.

Или другой, который опоэтизированъ такъ:

Ей нравиться долго нельзя,
Какъ цѣпь, ей несносна привычка..
Она ускользнетъ какъ змѣя,
Порхнетъ и умчится какъ птичка.

Стоитъ представить только эти типы осуществленными въ кругѣ лермонтовскаго муравейника, въ жалкой свѣтской дѣйствительности и взглянуть на нихъ съ высоты идеаловъ, цѣлостно и свято хранимыхъ въ великой, не муравейной средѣ жизни, чтобы эти типы

тотчасъ же развѣнчать, назвать прямо по имени и поставить на настоящее мѣсто въ комическомъ свѣтѣ. Печоринъ, какъ только вышелъ изъ лермонтовской рамки, чрезвычайно искусной, тотчасъ сталъ въ Тамаринѣ фигуροю комическою. Съ образами Байрона вы ничего подобнаго не сдѣлаете, ибо если вы сведете ихъ съ пьесталовъ, такъ нечего будетъ поставить на ихъ мѣсто: они точно крайнія грани общественности, ея поэтическія верхушки.

Но представьте себѣ байроновскія требованія души, очевидныя въ лермонтовскихъ юношескихъ образахъ, подъ гнетомъ ли или на дикомъ просторѣ развившіяся противоположенныя стремленія, въ столкновеніи съ нашимъ лиценымъ общежитіемъ и притомъ съ условнѣйшею изъ міражныхъ сферъ этого сверху сложившагося общежитія, съ искусственнѣйшею изъ нихъ, съ сферою свѣтскою.

Если эти стремленія точно то, за что онѣ выдаютъ себя, или лучше сказать чѣмъ они сами себѣ кажутся, то онѣ *совсѣмъ* противоположенныя стремленія, *совсѣмъ*, а не только въ условномъ смыслѣ противоположенныя — и паденіе или казнь ждутъ ихъ неминуемо. Мрачныя, зловѣщія предчувствія такого страшнаго исхода отражаются во многихъ изъ лирическихъ стихотвореній поэта и въ особенности въ стихотворенія :

Не смѣйся надъ моею пророческой тоской,
Я зналъ: ударъ судьбы меня не обойдетъ, и проч.

Если же въ этихъ стремленіяхъ есть извѣстная натяжка, извѣстная напряженность, то первое чтó закрадется въ душу человѣка, тревожимаго ими, будетъ конечно сомнѣніе; но на первый разъ еще не истинно разумное сомнѣніе въ законности произвола личности, а только сомнѣніе въ силѣ самой личности.

Вглядитесь внимательнѣе въ эту нелѣпую, съ дѣтской небрежностью набросанную, хаотическую драму «Маскарадъ», и первый, но уже очевидный слѣдъ такого сомнѣнія увидите вы въ лицѣ князя Звѣздича, котораго баронеса, одна изъ героинь драмы, опредѣляетъ такъ :

Безнравственный, безбожный,
Себялюбивый, злой — но слабый человѣкъ.

Въ очеркѣ Звѣздича выразилась минута первой схватки разрушительной личности съ условнѣйшею изъ сферъ общежитія, — схватки, которая кончилась не къ чести дикихъ требованій и необъятнаго самолюбія. Слѣды этой же первой эпохи, породившей разувѣреніе въ собственныхъ силахъ, отпечатлѣлись во множествѣ

стихотвореній, изъ которыхъ одни замѣчательны наиболѣе по извѣстной строфѣ, вполне опредѣляющей минуту подобнаго душевнаго настроенія :

Любить! Но кого же? на время не стоитъ труда,
 А вѣчно любить невозможно!
*Въ себя ли заглянешь? тамъ прошлаго нѣтъ и слѣда,
 И радость и горе и все такъ ничтожно.*

И много неудавшихся Арбениныхъ, оказавшихся при столкновении съ условною свѣтскою сферою жизни сологубовскими Леонидными, отозвались на эти строки горькаго, тяжелаго разубѣжденія; одни только Звѣздичи собою совершенно довольны.

Между тѣмъ лицо Звѣздича и нѣсколько подобныхъ стихотвореній — это тотъ пунктъ, съ котораго въ натурѣ нравственной т. е. крѣпкой и цѣльной, должно начаться правильное, т. е. комическое и притомъ безпощадно комическое отношеніе къ дикому произволу личности, оказавшемуся несостоятельнымъ.

Но до комическаго отношенія Лермонтовъ еще не дошелъ. Ему надобно было окончательно раздѣлаться съ давнишнимъ его образомъ, окончательно свести его въ общежитейскія формы, и вотъ, все еще поэтизируя его, онъ создалъ Печорина.

Въ сущности что такое Печоринъ? Смѣсь арбенинской необузданности съ свѣтскою холодною и безсовѣстною Звѣздича, или пожалуй, поэтизированный и «приподнятый» Звѣздичъ. Первоначальный, незрѣлый очеркъ Звѣздича показываетъ между-тѣмъ однако, что въ Лермонтовѣ сидѣлъ тоже своего рода Иванъ Петровичъ Бѣлкинъ, который рано или поздно сперва «убоялся» мрачнаго Сильвіо, потомъ пожалуй «продернулъ бы» критикой простаго здраваго смысла и провѣрилъ бы простымъ чувствомъ колоссальный образъ Демона.

Но о томъ что *было бы*, разсуждать довольно смѣшно. Въ томъ, что осталось намъ отъ Лермонтова, мы видимъ еще только тревожныя и бунтующія начала, ищущія опредѣленнаго воплощенія въ образы.

Пояснить *однимъ* Байрономъ и *однимъ* вѣяніемъ байронизма крайнее развитіе этихъ тревожныхъ началъ въ поэзіи Лермонтова — невозможно.

Кромѣ того, что эти тревожныя начала не чужды вообще нашей народной сущности, они въ особенности бушевали въ ту эпоху, которой Лермонтовъ былъ завершителемъ: въ эпоху нашего русскаго романтическаго броженія.

III

НАШЪ РОМАНТИЗМЪ

«*Романтизмъ* — писалъ Бѣлинскій въ заключительной статьѣ «Литературныхъ мечтаній» — «вотъ первое слово, огласившее пушкинскій періодъ; *народность* — вотъ альфа и омега новаго періода.»

Чтобы понять это раздѣленіе эпохъ, дѣлаемое Бѣлинскимъ, должно припомнить факты, о которыхъ уже говорилъ я въ одной изъ предшествовавшихъ статей.

Время, въ которое писалъ Бѣлинскій свои «литературныя мечтанія», было временемъ господства историческаго повѣтрія въ литературѣ.

Это была эпоха историческихъ романовъ, выходившихъ дюжинами въ мѣсяцъ въ Москвѣ и въ Петербургѣ, — романовъ, въ которыхъ большею частію изображенія предковъ были прямо списаны съ кучеровъ ихъ потомковъ, которыхъ *народность* заключалась только въ разговорахъ ямщиковъ, да и то еще подслушанныхъ и переданныхъ невѣрно и не свободно, а *историческое* заключалось въ описаніяхъ старыхъ боярскихъ одеждъ и вооруженій, да столовъ и кушавій, въ которыхъ *оригинальна* была только дерзость авторовъ, изображавшихъ съ равною безцвѣтностью всякую эпоху нашей исторіи... Разумѣется, что я говорю это не о романахъ Загоскина, не о романахъ Полевого, которыхъ никакъ не слѣдуетъ ставить на одну доску съ его драмами, этими несчастными плодами несчастной эпохи его дѣятельности, и въ особенности не о романахъ Лажечникова. Это были блестящія исключенія, хотя, надобно сказать правду, только даровитость и какая-то оригинальная задуманность тона выкупаютъ романы Загоскина; только смѣлыя замашки, только стремленія къ проведенію новыхъ историческихъ мыслей, вѣрныхъ или невѣрныхъ, но во всякомъ случаѣ имѣвшихъ отрицательное значеніе, сообщаютъ нѣкоторую жизнь Симеону Кирдяевъ, Клятвѣ при гробѣ господнемъ, и другимъ попыткамъ Полевого, который вовсе не былъ рожденъ творцемъ и художникомъ, и только романы Лажечникова остались и уцѣлѣли для насъ, со всѣми ихъ огромными пожалуй недостатками, но и огромными достоинствами... Все же остальное вполнѣ стоило нападокъ Бѣлинскаго. Писались, или лучше сказать фабриковались эти штуки по извѣст-

нымъ рецептамъ: московскія издѣлія по загоскинскимъ, петербургскія по болгаринскимъ.

Кромѣ того историческое повѣтріе ударилось и въ другую область, въ драму. На сценѣ постоянно горлачили и хвастали Ляпуновъ, кобѣнился Мининъ въ видѣ дѣвы орлеанской, и поистинѣ въ грязь стаскивались эти великія и доблестныя тѣни. Опять должно и тутъ исключить нѣсколько попытокъ хомяковскихъ, несмотря на ихъ странный въ приложеніи къ нашему быту шиллеровскій лиризмъ, подававшій поводъ къ правдивымъ и язвительнымъ насмѣшкамъ, да пожалуй погодинскихъ, хотя менѣе всего къ художеству способенъ достопочтенный нашъ историкъ, и только глубокое знаніе, столь же глубокое чутье историческое и пламенная любовь къ быту предковъ, подкупали въ отношеніи къ его драмамъ небольшой кругъ друзей, между прочимъ Пушкина, который вовсе не иронически писалъ къ нему извѣстное письмо объ его Марѣ-посадницѣ. Замѣчательный фактъ, что хомяковскія и погодинскія попытки, т. е. единственные остатки историко-драматическаго повѣтрія, о которыхъ можно вспомнить съ нѣкоторымъ уваженіемъ, не пользовались въ то время никакимъ успѣхомъ; на сценѣ свирѣпствовали Ляпуновы и ломались Минины...

Таково было состояніе литературы, которое Бѣлинскій охарактеризовалъ какъ стремленіе къ народности и отдѣлилъ отъ прежняго, отъ стремленія романтическаго. Прежде всего самое отдѣленіе такое было неправильно. Эпоха была и долго еще оставалась романтическою; самъ Бѣлинскій былъ еще въ то время романтикомъ и потому—то въ послѣдствіи, разъяснивши себѣ окончательно вопросы, всю свою энергическую вражду обратилъ онъ на романтизмъ, преслѣдуя и бичуя его вездно... Но понятіе о романтизмѣ — до сихъ поръ столь мало разъясненное понятіе, что в воюя съ романтизмомъ, Бѣлинскій долго еще былъ романтикомъ, только въ другой кожѣ, да едвали и пересталъ быть имъ до конца своего поприща. Нѣтъ покрайней-мѣрѣ сомнѣній, что Бѣлинскій второй эпохи своего развитія, т. е. развитія нашего общаго критическаго сознанія — эпохи и «Наблюдателя» зеленого цвѣта и «Отечественныхъ записокъ» 1839, былъ романтикомъ гегелизма и съ наивно-страстною энергіею бичевалъ въ себѣ и во всѣхъ романтика старой формы, романтика французскаго романтизма.

Да и что называть романтизмомъ, мы доселѣ еще едвали можемъ дать себѣ ясный и окончательный отчетъ.

Поэзія Жуковскаго — романтизмъ.

Гюго — романтикъ.

Полежаевъ и Марлинскій — романтики.

Гамлетъ Полевого и Мочалова — романтикъ.

А Кольцовъ развѣ не романтикъ? А Лермонтовъ въ Арбенинѣ и Мицѣри, развѣ не романтикъ?

Все это романтизмъ, и все это весьма различно, такъ различно, что не имѣетъ никакихъ связующихъ пунктовъ.

Романтическое въ искусствѣ и въ жизни на первый разъ представляется отношеніемъ души къ жизни несвободнымъ, подчиненнымъ, несознательнымъ, а съ другой стороны оно же, это подчиненное чему-то отношеніе, есть и то тревожное, то вѣчно-недовольное настоящимъ, что живетъ въ груди человѣка и рвется на просторъ изъ груди, и чему недовольно цѣлаго міра, — тотъ огонь, о которомъ говоритъ Мицѣри, что онъ

Отъ юныхъ дней

Таяся жилъ въ груди моей...

И онъ прожогъ свою тюрьму.

Начало это несвободно, потомучто оно стихійно, но оно же, тревожное и кипящее, служитъ толчкомъ къ освобожденію человѣческаго сознанія отъ всего стихійнаго; оно же разрушаетъ кумиры темныхъ боговъ, хотя подчинено имъ еще само, и подчинено потому, что слишкомъ хорошо помнить, еще чувствуетъ на себѣ ихъ силу и вліяніе, но само въ тоже время есть вѣяніе. Романтическое такого рода было и въ древнемъ мірѣ, и Шатобрианъ, одинъ изъ самыхъ наивныхъ романтиковъ, чутьемъ романтика отыскиваетъ романтическія вѣянія въ древнихъ поэтахъ; романтическое есть и въ средневѣковомъ мірѣ, и въ новомъ мірѣ, и въ стремленіяхъ гётевскаго Фауста, и въ лихорадкѣ Байрона, и въ судорогахъ французской словесности тридцатыхъ годовъ. Романтическое является во всякую эпоху, только-что вырвавшуюся изъ какого-либо сильнаго моральнаго переворота, въ переходные моменты сознанія.

Я упомянулъ имя Шатобриана — и въ самомъ дѣлѣ, это одинъ изъ самыхъ характеристическихъ представителей одной стороны романтическаго вѣянія, и та страница въ его «Mémoires d'Outre-tombe», гдѣ онъ называетъ себя предшественникомъ Байрона, не покажется нисколько хвастовствомъ тому, кто читалъ «Начезовъ», «Рене», «Аталу». Что такое «Рене», какъ не исповѣдь самаго Шатобриана? Сквозь всю шумиху фразъ и старыхъ формъ, затрудняющихъ для читателей новаго времени чтеніе поэмы «Начезы», не прорывается ли тотъ недугъ *de la mélancolie ardente*, который конечно не въ одинаковой степени грызъ и автора «Генія христіанства», и автора «Чайльда Гарольда»? Что такое Рене, какъ не болѣзненный первенецъ XIX вѣка, получившій въ наслѣдіе безотрад-

ный скептицизмъ, не совладѣвшій съ нимъ и не усвоившій какъ Байронъ рокового наслѣдства, а бросившійся напротивъ съ отчаянія въ обожаніе разрушающихся, но величавыхъ старыхъ формъ? Что такое «Рене», какъ не тотъ же «Корсаръ и Лара», только не переступившій страшной бездны, въ которую они ринулись, а остановившійся передъ нею въ болѣзненномъ недоумѣніи? А помните ли вы исповѣдь Эвдора въ «Les Martyrs» — единственный, но зато истинно-поэтический оазисъ этого надутаго романа? Надъ этимъ отрывкомъ носится романтическое вѣяніе переходныхъ эпохъ. Въ тяжелой скорби, терзающей героя, въ безсознательномъ пресыщеніи жизнью его и всѣхъ лицъ его окружающихъ, въ безумно-лихорадочномъ порывѣ страсти къ Веллеаѣ пробивается тотъ же романтический недугъ, то же тревожное начало, которое равно способно и къ плачу по старомъ мірѣ и къ его разрушенію, только неспособно ни къ какому созиданію. Поэтому-то у Шатобріана есть странное чутье на открытіе романтической струи повсюду; чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только развернуть на любой страницѣ второй томъ «*généie du Christianisme*», гдѣ подмѣчаетъ онъ порывы романтическіе у Виргилія, ищетъ романтической струи въ самой одиссеѣ Гомера, ищетъ только этой одной струи надобно прибавить, указываетъ на нее всегда правильно и ею только въ состояніи отъ души увлекаться.

Зачѣмъ же спрашивается, назвали романскимъ это начало стихійное и тревожно-лихорадочное, которое было обще многимъ эпохамъ, и вѣроятно будетъ обще многимъ другимъ, этотъ энтузіазмъ и жаръ съ напряженнымъ бѣніемъ пульса, который равно болѣзненъ, окажется ли онъ сладкою, но все-таки тревожною и развѣдающею мечтательностью Жуковского, тоскою ли по прошедшемъ Шатобріана, мрачнымъ ли и сосредоточеннымъ отрицаніемъ Байрона, безтрепетно ли роющимся въ глубь жизни и души анализомъ другого великаго и равнаго Байрону поэта, Гюго, лихорадкою ли литературы тридцатыхъ годовъ, борьбою ли съ этимъ началомъ свѣтлой и ясной пушкинской натуры, подчиненіемъ ли ему до моральнаго уничтоженія натуры Марлинскаго и Полежаева, мочаловскими ли созданіями, воплями ли огаревскихъ «монологовъ», или естовскими «странными», но для души ясными намеками на какіе-то звуки, которые

Львуть къ моему изголовью,
Полны они томной разлуки
Дрожать небывалой любовью;

которые

Такъ томно и грустно-небрежно,

Въ свой міръ разцѣвленный увосать
И ластятся къ сердцу такъ вѣжно
И такъ умирительно просятъ...

Зачѣмъ же назвали, говорю я, исключительно *романскимъ* это начало, которое столь же, если не болѣе свойственно и нашей русской природѣ, которое не разъ закруживало эту природу до безвыходной хандры, до лермонтовскаго ожесточенія и злонѣщихъ предчувствій, до тургеневскаго раздвоенія и расслабленія, а въ сферахъ болѣе грубыхъ до полежаевскаго цинизма и до запоя Любима Торцова?..

Неудачное названіе придумано въ неудачную эпоху — въ эпоху такъ-называемой романтической реакціи, доходившей въ Германіи, странѣ послѣдовательности логическаго мышленія, до безумствъ «Доктора любви» Захарія Вернера и до католическаго отупѣнія братьевъ Шлегелей!.. Въ этой своей формѣ — въ формѣ тоски по прошедшемъ, доходящей до кукольной комедіи въ отношеніи къ прошедшему, романтизмъ намъ мало свойственъ. Самое наше славянофильство далеко не то, что романтизмъ Гёрреса и братьевъ Шлегелей, ибо подъ формами его таятся нѣчто живое, нѣчто иное, ибо иная была наша историческая судьба, и иное вслѣдствіе того возникло у насъ отношеніе къ нашему прошедшему.

Поэзія Жуковскаго, несмотря на великій талантъ Жуковскаго, мало привилась въ нашей жизни. Поэтъ остался для насъ дорогъ какъ поэтъ истинный, но тихо-грустное вѣяніе его пѣсней, туманныя порыванія въ даль встрѣтили себѣ отпоръ въ нашемъ здоровомъ юморѣ или тотчасъ же доведены были до послѣднихъ границъ смѣшнаго русскою послѣдовательностью, дошли до комическаго въ *наименѣхъ* повѣстяхъ, романахъ и драмахъ Полевого, котораго «Блаженство безумія», «Аббадона» и «Уголино», въ этомъ отношеніи факты драгоцѣннѣйшіе.

Крайность развитія этой стороны романтизма необходимо вызвала и реакцію.

Было время и притомъ очень недавнее, когда все романтическое безъ различія клеймилось насмѣшкою, когда мы всѣ пытались казнить въ себѣ самихъ то, что называлось нами романтизмомъ, и что гораздо добросовѣстнѣе будемъ называть началомъ тревожнаго порыванія, тревожнаго стремленія, соединеннаго съ давленіемъ и гнетомъ разрушеннаго, но еще памятнаго, еще вліяющаго прошедшаго. Анализируя безтрепетно самихъ себя, мы дошли наконецъ до судорожнаго и болѣзненнаго смѣха тургеневскаго Гамлета Щигровскаго уѣзда надъ тревожнымъ порываніемъ, до совершеннаго невѣрія въ тревожное начало жизни, къ которому приводилъ ана-

лизъ Толстого, до попытокъ положительныхъ успокоеній, которыя выражали собою комедіи Островскаго... На чемъ же разрѣшился процессъ нашъ? Казнь романтизма, повсюду совершавшаяся во все это время въ общемъ мышленіи и отражавшаяся во всей современной литературѣ, кончается однако вовсе не такъ рѣшительно, какъ она начиналась. Часто и въ самое продолженіе борьбы эта казнь представляла извѣстное изображеніе змѣя, кусающаго собственный хвостъ, т. е. конецъ анализа бывалъ часто поворотомъ къ началу; притомъ же весьма у немногихъ изъ насъ доставало послѣдовательности, на основаніи вражды къ тревожному началу, взглянуть какъ на незаконныя, на многія сочувствія, въ которыхъ мы воспитались. *Храбрыхъ* въ этомъ дѣлѣ нашлось повторыю немного, а тѣмъ, которые нашлись, храбрость ровно ничего не стоила, т. е. они по натурѣ лишены были органовъ для пониманія того, съ чѣмъ другимъ тяжело было разставаться. Многіе храбрились сначала, а потомъ рѣшительно теряли храбрость и возвращались потихоньку къ незаконнымъ сочувствіямъ. Тургеневъ принялся было казнить Рудина, а въ эпитогъ круто поворотилъ къ апотеозѣ. Голоса, вопіяшіе на Лермонтова за то, что онъ мало уважаетъ своего «Максима Максимыча», нашли мало сочувствія. Толстой, сохраняя всю силу своего безтрепетнаго анализа, вналъ въ переходную, — конечно мы на это крѣпко надѣемся, — но тѣмъ неменѣе очевидную апатію мышленія. Писемскій тщетно пытался опозитизировать точку зрѣнія на жизнь губернскаго правленія: ни сила таланта, ни правда манеры, ни новостъ приемовъ не спасли отъ анти-поэтической сухости его большія, стремившіяся къ цѣлости произведенія.

Въ жару борьбы мы забыли многое что романтизмъ намъ далъ: мы, какъ и самъ выразитель нашего критическаго сознанія, Бѣлинскій, осудили самымъ строгимъ судомъ, предали анафемѣ *тридцатые* годы нашей литературы.

У насъ въ эти годы, за исключеніемъ Пушкина и нѣсколькихъ лариковъ его окружавшихъ, было конечно немного. Представителями романтизма съ его тревожной стороны были Марлинскій, Полежаевъ и въ особенности Лажечниковъ. Былъ еще представитель могущественный, чародѣй, который творилъ около себя міры однимъ словомъ, однимъ дыханіемъ, но отъ него кромѣ вѣанія этого дыханія ничего не осталось, и такъ еще мало отвыкли мы отъ казенщины и рутинности въ приемахъ, что о немъ какъ-то странно говорить, говоря о писателяхъ, о литературѣ. Я разумѣю Мочалова, великаго актера, имѣвшаго огромное моральное вліяніе на все молодое поколѣніе тридцатыхъ годовъ, великаго выразителя, который былъ гораздо больше почти всего имъ выражаемаго, — Мочалова, слѣдъ

котораго остался только въ памяти его поколѣнія, да въ пламенныхъ и высокопоэтическихъ страницахъ Бѣлинскаго объ игрѣ его въ Гамлетѣ. Единственный человекъ, который въ ту эпоху стоялъ съ Мочаловымъ въ уровень богатствомъ романтическихъ элементовъ въ душѣ, Лажечниковъ, не давалъ ему никакой пищи, потому что писалъ романы а не драмы: эпохи новой, эпохи типовъ гениальный выразитель не дождался, и онъ творилъ изъ самыхъ бѣдныхъ матерьяловъ, творилъ, впагая въ скудныя формы свое душевное богатство.

Для людей, отвыкшихъ отъ казенщины въ мысли и чувствѣ, будетъ поэтому нисколько не странно, что имя трагика Мочалова попало въ критическую статью о литературѣ: это сдѣлалось потому же самому, почему имя Грановскаго, оставившаго по себѣ очень скудныя письменныя, литературныя слѣды, займетъ самое значительное мѣсто въ очеркахъ другой литературной эпохи, тогда какъ множество много-писавшихъ господъ будутъ упомянуты только по именамъ. Какъ съ Грановскимъ сливается цѣлое жизненное возрѣніе, цѣлое направленіе дѣятельности, такъ съ Мочаловымъ сливается эпоха романтизма въ мысли, романтизма въ искусствѣ, романтизма въ жизни — и если пришлось говорить о романтизмѣ, то нельзя миновать его имени.

Бѣлинскій, какъ воулощенное критическое сознаніе эпохи, можетъ-быть сильнѣе всѣхъ подвергался вліянію этой стороны романтическаго вѣянія. Можно сказать, что оно наполняло всю его страстную душу въ періодъ отъ 1834 года, отъ ряда статей «Литературныя мечтанія» до 1838 года, когда онъ въ «Наблюдателѣ зеленаго цвѣта» спѣлъ ему послѣднюю прощальную пѣсню въ страстныхъ и великолѣпныхъ «статьяхъ о Гамлетѣ и игрѣ въ немъ Мочалова», на половину уже впрочемъ пропитанныхъ мистическимъ гегелизмомъ, т. е. новымъ видомъ романтизма.

Это «романтическое вѣяніе» съ одной стороны пришло къ намъ извнѣ, но съ другой стороны нашло въ насъ самихъ, въ нашей натурѣ готовые даяныя къ его воспріятію. Тяжкую борьбу выдержала съ этимъ бурнымъ вѣяніемъ великая природы Пушкина. Но то, что одолялъ Пушкинъ, надъ чѣмъ сталъ онъ властелиномъ, что привелъ въ мѣру и гармонию, то другихъ, мевѣ сильныхъ, закруживало въ какомъ-то угарѣ — и сколько жертвъ пало закруженныхъ этимъ вихремъ: Марлинскій, Полежаевъ, Владиміръ Соколовскій, самъ Мочаловъ, Иеронимъ Южный... Есть книги, которыя представляютъ собою для наблюдателя нравственнаго міра такой же интересъ многоговорящей уродливости, какъ остатки допотопнаго міра для геолога. Такая книга напрямѣръ, весь Бестужевъ (Марлинскій)

съ шумной его нравъ, съ насильственными порывами безумней страстности — совершенно ненужными. потомучто у него было достаточно настоящей страстности, съ дѣтскими промаками и широкими замашками, съ зародышами глубокихъ мыслей... Его уже нельзя читать въ настоящую эпоху — потомучто онъ и въ своей-то эпохѣ промелькнулъ метеоромъ; но тѣ элементы, которые такъ дико бушуютъ въ Амалятъ-бѣгѣ, въ его безконечно тянувшемся Муламурѣ, вы ими же, только сплоченными мочучею властительною рукою художника, любуетесь въ созданіяхъ Лермонтова.

Отношеніе Бѣлинскаго къ этому, въ 1834 году еще модному, еще любимому писателю истинно изумительно и наводитъ на многія размышленія. Оцѣнка Марлинскаго Бѣлинскимъ въ «Литературныхъ мечтаніяхъ» несравненно выше и вѣрнѣе оцѣнки Марлинскаго имъ же въ «Отечественныхъ Запискахъ» сороковыхъ годовъ. Въ ней дорого то, что Бѣлинскій тутъ еще самъ романтикъ — да и какой еще! романтикъ французскаго романтизма! тогда какъ въ сороковыхъ годахъ, перешедши горнило гегелизма правой стороны и отринувши эту форму — онъ уже относится къ Марлинскому съ слишкомъ отдаленной и эпохѣ Марлинскаго чуждой высоты требованій.

Къ этой оцѣнкѣ почти нечего прибавить и въ наше время, какъ къ чисто-художественной; слѣдуетъ только помягнуть ее тамъ, гдѣ наше сознаніе выросло до болѣе яснаго разумнія. Но общій тонъ ея до сихъ поръ и вѣренъ и дорогъ, несмотря на то, что Бѣлинскій является здѣсь фанатическимъ поклонникомъ лицъ, подобныхъ Феррагюсу и Монриво, и что самъ онъ потомъ съ такою же наивною яростію преслѣдовалъ поклоненіе этимъ призракамъ, веренося озлобленіе неофита гегелиста на всю французскую литературу...

Вотъ этотъ фактъ, этотъ быстрый переворотъ, совершившіеся въ Бѣлинскомъ, въ представителѣ критическаго сознанія цѣлой эпохи, и важенъ въ высочайшей степени. Мы замѣтять, что Пушкинъ никогда не увлекался юной французской словесностію, и умѣлъ между тѣмъ оцѣнить въ ней перлъ дарованія А. де Мюссе, — но Пушкинъ не пережилъ уже тревожное вліяніе поэзіи, поэзіи Байрона — и юная французская словесность застала его уже въ зрѣлую эпоху развитія. Мы замѣтять, что И. В. Кирѣевскій, авторъ перваго философскаго взгляда на нашу литературу, остался чуждъ этому вліянію, равно какъ и его кружокъ; но Кирѣевскій и его кружокъ были чистые теоретики, таковыми остались и такими окончательно являются. На натуры живыя, подобные натурамъ Надеждина и Бѣлинскаго, это вѣяніе должно было сильно подѣйствовать. На

натуры, богато одаренныя художественными силами, но недостаточно зрѣлыя, какъ натура Полежаева, или недостаточно гармоническія, какъ натура Лажечникова, это вѣяніе опять-таки должно было дѣйствовать сильно. Кто изъ насъ, дѣтей той эпохи, ушелъ изъ-подъ этого вѣянія?

Тѣмъ болѣе, что вліяніе-то было сильное. Вѣдь «Notre-Dame» Виктора Гюго расшевелила даже старика Гёте — и понятно почему; на что онъ слегка намекнулъ въ своей «Миньонѣ», то гениальный уродъ, какъ долго титуловали мы великаго поэта, развилъ до крайнихъ предѣловъ поэтическаго въ своей Эмеральдѣ! Вѣдь и теперь еще надобно большія, напряженныя усилія дѣлать надъ собою, чтобы начавши читать «Notre-Dame», не забрести, искренне не забрести вмѣстѣ съ голоднымъ поэтомъ Пьеромъ Гренгуаромъ за цыганочкой и ея козочкѣй въ *Cour des miracles*; не увлечься потомъ до страстнаго сочувствія судьбою бѣдной мушки, надъ которой вѣетъ сѣть злой наукы-судьба; не проклинать этого злого паука съ другою его жертвою Клавдіемъ Фролло; удержаться отъ головокруженія и проч. и проч. И вѣдь право, тотъ лирическій восторгъ, съ которымъ одинъ изъ нашихъ тогдашнихъ путешественниковъ, нынѣ едва ли помнящій или даже можетъ-быть постаравшійся забыть эти впечатлѣнія, описывалъ въ «Телескопѣ» свое восхожденіе на башни «Notre-Dame» и свое свиданіе съ В. Гюго, гораздо понятнѣе той принужденной и сочиненной холодности или того величественнаго презрѣнія, съ которыми долго говорили мы о гениальномъ произведеніи и о самомъ гениальномъ поэтѣ. Да и не Гюго одинъ; въ молодыхъ повѣстяхъ, *безнравственныхъ* драмахъ А. Дюма, разнѣивающагося въ послѣдствіи на «Монте-Кристо» и «Мущкатеровъ», бьетъ такъ лихорадочно пульсъ, kloкочетъ такая лава страсти, хоть бы въ маленькомъ рассказѣ: «Маскерадъ» или въ драмѣ «Антонн» (а вдобавку припомнимъ еще, что въ «Антонн» мы видѣли Мочалова — да и какого Мочалова!) что потребна и теперь особенная крѣпость нервовъ для того, чтобы эти вѣянія извѣстнымъ образомъ на насъ не подѣйствовали. Скажу болѣе — они, эти вѣянія, должны были быть пережиты всѣмъ отъ романовъ Гюго до «Мертваго осла и обезглавленной женщины» Ж. Жанена... Эти вѣянія отразились и притомъ отразились двойственно, созидательно съ одной стороны и разрушительно съ другой, на дѣятельности полнѣйшей и даровитѣйшей художнической натуры тридцатыхъ годовъ — *Лажечникова*.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что перейдя бездну, лежащую между написанными въ *карамановскомъ* духѣ «Воспоминаніями офицера» и послѣдующими романами, натура богатая безсознательнымъ чувствомъ, женственно-страстною впечатлительностью, но положитель-

но лишонная самообладанія, Лажечниковъ, подъ вліаніємъ вѣяніа, возвысившійся до «Ледяного дома» и «Бусурмана», переживши вѣніе, отдавши ему дань — упалъ до «Бѣленькихъ и червенькихъ», до драмы «Еврейка» и проч.

Поразительнѣйшее явленіе этогъ огромный талантъ безъ всякаго мѣрила, въ которомъ романтизмъ получилъ русскій характеръ, — талантъ, могущественный до созданія истинно-народныхъ типовъ и безтактно сопоставляющій съ этими типами фигуры сумасбродныхъ художниковъ à la Кукольникъ, сладкихъ мечтателей à la Полевой. Но о немъ и его значеніи уже достаточно говорили я во второй главѣ моего изслѣдованія.

Другимъ яркимъ представителемъ этой эпохи былъ Полежаевъ, великое, погибшее дарованіе, о которомъ уже говорено въ этой статьѣ по поводу байронизма и о которомъ еще болѣе необходимо говорить, когда начинаешь вести рѣчь о нашемъ романтическомъ броженіи.

Въ самомъ дѣлѣ взгляните пристальнѣе въ ту поэтическую фазіономию, которая встаетъ изъ-за отрывочныхъ, часто небрежныхъ, но иррациональныхъ и пламенныхъ пѣсенъ Полежаева, и вы признаете то лицо, которое устами Арбенина говорить :

На жизни я своей узналъ печать проклятья,
И холодно закрылъ объятія
Для чувствъ и счастья земли.

Только Лермонтовъ уже прямо и безтрепетно начинаетъ съ того, чѣмъ безнадежно и отчаянно кончилъ Полежаевъ, — съ положительной невозможности процесса нравственнаго возрожденія. О чѣмъ Полежаевъ еще стонетъ, если не плачетъ, о томъ Лермонтовъ говоритъ уже съ холодной и иронической тоской. Полежаевъ, рисуя иракъ и адъ собственнаго душевнаго міра, говорить :

Есть духи зла — неистовыя чада
Благословеннаго творца,
Удѣлъ ихъ, — грусть, отчаянье, отрада,
А жизнь — мученье безъ конца,

и описывая судъ, совершившійся надъ падшими духами, кончаетъ такъ :

Съ тѣхъ поръ, враги прекраснаго сознанья
Таятся горестно во мглѣ —
И мучить ихъ и жечь безъ состраданья
Печать проклятья на челѣ.
Напрасно ждуть преступныя свободы,

Они противны небесамъ —
 Не долетитъ въ объятія природы
 Ихъ недостойный эфиръ.

Дермонтовъ безъ страха и угрызений, съ ледяной провѣей становится на сторону тревожнаго, отрицательнаго начала въ своемъ «Демонѣ» и въ своей «Сказкѣ для дѣтей»; онъ съ ядовитымъ наслажденіемъ идетъ объ руку съ мрачнымъ призракомъ, имъ же вызваннымъ, видитъ вмѣстѣ съ нимъ,

..... съ невольною отрадой
 Преступный сонъ подъ сѣнію палаты,
 Корыстный трудъ предъ тощею лампадой
 И страшныхъ тайнъ звездъ печальный рая;

ловить какъ этотъ же зловѣщій призракъ

..... блуждающіе звуки,
 Веселый смѣхъ и крикъ послѣдней муки.

подслушиваетъ «въ молитвахъ — упрекъ»

Въ бреду любви безстыдное желанье,
 Звездъ обманъ, безумство или страданье.

Состояніе духа, конечно болѣе послѣдовательное, но едвали не болѣе насильственное, нежели дрожь и знобъ страданія и страха, смѣшанные съ неукротимою страстностью и гордостью отчаянія, которые слышны въ лежаевскихъ звукахъ.

Мрачныя, зловѣщія предчувствія, терзавшія душу Полежаева, вырывали порою изъ души его энергическіе стоны вродѣ пьесы «Осужденный» въ особенности ея начала:

Я осужденъ къ позорной казни,
 Меня законъ приговорилъ;
 Но я печальный мракъ могилъ
 На плахѣ встрѣчу безъ боязни,
 Окончу дни мои какъ жилъ.
 Къ чему раскаянье и слезы
 Передъ безчувственной толпой,
 Когда назначено судьбой
 Миѣ слышать вопли и угрозы
 И гулъ проклятій за собой?
 Давно душой моей мاتهжной
 Какой-то демонъ овладѣлъ
 И я зловѣщій мой удѣлъ,
 Неотразимый, неизбежный,

Въ дали туманной усотрѣлъ...
 Не розы свѣтлаго нафоса,
 Не ласки Гурій въ тишинѣ,
 Не искры яхонта въ вивѣ,
Но смерть, сѣкеры и колеса
Всегда мнѣ грезились во снѣ.

(Стихотворенія Полежаев. Москва 1857 г. стр. 59, 60.)

Эти мрачныя, зловѣщія предчувствія, звучащія стонѡмъ и трепетѡмъ ужаса, совершенно понятны будутъ, если читатели припомянутъ обстановку, изъ которой вышелъ Полежаевъ. У Лермонтова такъ же выдадутся впослѣдствіи эти мрачныя, зловѣщія предчувствія, но самый каинскій трепетъ получить у него что-то в извительное и вмѣстѣ могущественное въ стихотвореніи «Несмѣйся надъ моею пророческой тоскою» или въ другомъ:

Гляжу на будущность съ боязнью,
 Гляжу на прошлое съ тоской,
 И какъ преступникъ передъ казнью
 Ищу кругомъ души родной.

У Лермонтова все оледенится, застынетъ въ суровой и жестокой гордости. Онъ съ наслажденіемъ будетъ, вмѣстѣ съ своимъ Арсеніемъ, всматриваться въ смерть и разрушеніе:

Но приближаясь видитъ онъ
 На тонкихъ бѣлыхъ кружевахъ
 Чернѣющій слоями прахъ
 И ткани паутинъ сѣдыхъ
 Вкругъ занавѣсокъ парчевыхъ...
 Тогда въ окно свѣтлицы той
 Упалъ заката лучъ златой,
 Играя. На коверъ цвѣтной
 Арсеній голову склонилъ...
 Но вдругъ затрясся, отскочилъ
 И вскрикнулъ, будто на змѣю
 Поставилъ онъ пату свою.
 Увы! теперь онъ былъ бы радъ,
 Когда бъ быстрѣй чѣмъ мысль нѣтъ взглядъ
 Въ него проникъ смертельный ядъ.
Громаду бѣлую костей
И жолтый черепъ безъ очей
Съ улыбкой вѣчной и намой —
Вотъ что узрѣлъ онъ предъ собой.
Густая, длинная коса,
Плечь бѣломраморныхъ краса

*Разсыпавшись къ сухимъ костямъ
Кой идя прилипла, и тамъ,
Гдѣ сердце чистое такой
Любовью билось огневою,
Давно безъ пищи ужъ бродилъ
Кровавый червь — жилецъ могилъ.*

Уже и по одному такому многознаменательному мѣсту, мы всѣ были вправѣ видѣть въ поэтѣ, что онъ самъ въ себѣ провидѣлъ, т. е. «не Байрона, а другого, еще невѣдомаго избранника» и притомъ «съ русской душой», ибо только русская душа способна дойти до такой безпощаднѣйшей послѣдовательности мысли или чувства, въ ихъ приложеніи на практикѣ, и отъ этой трагической, еще мрачной безтрепетности — одинъ только шагъ до простыхъ отношеній графа Толстого къ идеѣ смерти и до его безпощаднаго анализа этой идеи, или даже до рассказовъ извѣстнаго рассказчика о смерти старухи, или о плачѣ барыни о покойномъ мужѣ — рассказовъ, въ которыхъ въ самой смерти уловлено и подмѣчено то чтò въ ней можетъ-быть комическаго. А между тѣмъ безтрепетность Лермонтова есть еще романтизмъ, выходитъ какъ уже сказано, изъ состоянія духа болѣе послѣдовательнаго, но зато болѣе насильственнаго чѣмъ настроеніе полежаевское въ пѣсняхъ «Черная коса», «Мертвая голова» и проч.

Ледяное, ироническое спокойствіе Лермонтова — только кора, которою покрылся романтизмъ, да и кора эта иногда спадаетъ, какъ напримѣръ въ пѣсняхъ «къ ребенку», «1 января», гдѣ поэтъ, измѣняя своей искусственной холодности, плачетъ искренно, уносясь въ своего рода «Dahin!» въ романтическій міръ воспоминаній:

И если какъ-нибудь на мигъ удастся мнѣ
Забиться памятью, къ недавней старинѣ,
Лечу я вольной, вольной птицей,
И вижу я себя ребенкомъ и кругомъ
Родныя всѣ мѣста, высокій барскій домъ
И саль съ разрушенной теплицей.
Зеленой сѣтью травъ подернуть спящій прудъ,
А за прудомъ село дымится и встаютъ
Вдали туманы надъ полями.
Въ алею темную вхожу я, сквозь кусты
Глядитъ вечерній лучъ, и желтые листы
Шумятъ подъ робкими шагами
И странная тоска тѣснитъ ужъ грудь мою.
Я думаю объ ней, я плачу и люблю,
Люблю мечты моей созданье,
Съ глазами полными лазурнаго огня,

Съ улыбкой розовой, какъ молодого дня
За рощей первое сіянье!

Подобнаго рода порывы тоскующаго глубоко и искренне чувства рѣдкіе у Лермонтова, постоянно встрѣчающіеся у Полежаева («Черные глаза», «Зачѣмъ задумчивыхъ очей»), нашли для себя особенный голосъ впоследствии въ поэтѣ: «Монологовъ» «Дилжанса» и другихъ дышащихъ глубоко и неподдѣльною скорбію стихотвореній, въ поэтѣ, который несмотря на безыскусственность и небрежность своихъ пѣсней, занимаетъ очень важное мѣсто въ исторіи нашего душевнаго броженія, какъ искреннѣйшій поэтъ скорбей своего поколѣнія, выразитель хотя и однообразный, но глубокий его задушевнѣйшихъ стонувъ...

АПОЛЛОНЪ ГРИГОРЬЕВЪ

НАШИ ДОМАШНІЯ ДѢЛА

СОВРЕМЕННЫЯ ЗАМѢТКИ

Основныя преобразованія судебной части въ Россіи. — Рѣчь волостного старшины. — Хитрая барыня. — Введеніе уставныхъ грамотъ. — Вольнонаемный трудъ въ сельскомъ хозяйствѣ. — Экономическая будущность Россіи. — Земско-хозяйственныя учрежденія. — Кошерный сборъ. — Рекрутскій наборъ. — Золотое дѣло. — Акціонерныя дѣла. — Николаевская желѣзная дорога. — Непостижимыя исторіи.

Громаднѣйшій переворотъ готовится въ судьбѣ Россіи, переворотъ радикальный, охватывающій всю нашу внутреннюю жизнь, преобразованіе, которое по огромной важности своей почти равняется освобожденію крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Переворотъ еще только готовится, но главныя основанія его уже утверждены, упрочены за Россіей. Двадцать девятого сентября высочайше утверждены основныя положенія преобразованія судебной части въ Россіи въ смыслѣ самыхъ серьезныхъ улучшеній. Эти основныя положенія еще не введены въ жизнь: правительство еще работаетъ надъ составленіемъ законоположеній сообразно съ утвержденными началами, еще будутъ приняты переходныя мѣры, при помощи которыхъ совершится окончательное вступленіе Россіи въ новую, юридически-полноправную жизнь, и срокъ этихъ мѣръ еще неизвѣстенъ; еще самый текстъ законоположеній можетъ имѣть вліяніе на степень дѣйствительности основныхъ положеній; но правительство обнародовало эти положенія, и тѣмъ исполнило пламеннѣйшія желанія всѣхъ любящихъ Россію. Будемъ теперь съ нетерпѣніемъ ждать обѣщанныхъ преобразованій, зная очень хорошо, что существующіе теперь такъ-называемые порядки судебной части признаются неудовлетворительными не только частными людьми, но и самымъ правительствомъ. Это неудовлетворительное существуетъ покаместъ, но всякій видитъ очень хорошо, что это не куколка, изъ

которой должна вывестись бабочка, что ожидаемый теперь порядок не только не похожъ на вынѣшній, какъ бабочка не похожа на куколку, но и не имѣетъ съ нимъ ровно ничего общаго, тогда какъ органы куколки всѣ прямо и непосредственно переходятъ въ органы бабочки.

Переворотъ въ судебной части у насъ произойдетъ полнѣйшій: новое выработается не изъ стараго, фениксъ сгоритъ до тла и прахъ его развѣется вѣтромъ, а на мѣсто его явится не фениксъ, а нѣчто совершенно другое.

Основанія новаго судоустройства могутъ быть выражены въ четырехъ пунктахъ :

1) Власть судебная *отдѣляется* отъ исполнительной, административной и законодательной.

2) Судебныя засѣданія для рѣшенія гражданскихъ и уголовныхъ дѣлъ происходятъ *публично* въ присутствіи тяжущихся, обвиняемыхъ, свидѣтелей и *постороннихъ лицъ* (§ 60).

3) Каждое окончательное рѣшеніе состоявшееся публично можетъ быть *напечатано* какъ самимъ судомъ, такъ и частными лицами и обсуждаемо спми послѣдними въ юридическихъ журналахъ, съ сохраненіемъ должнаго къ суду и его членамъ уваженія. (§ 62)

4) *Различіе подсудности* по сословіямъ *отмѣняется*. (§ 17)

Во всемъ этомъ нѣтъ и слѣда тѣхъ засѣданій, которыя у насъ теперь называются судами, и правительство, принимая эти четыре пункта, крайне огорчаетъ тѣхъ убогихъ публицистовъ, которые увѣряютъ, будто всякая новая мѣра должна постепенно вытекать изъ старыхъ, укрѣпившихся временемъ и обычаями формъ. Какимъ образомъ изъ канцелярской тайны можетъ произойти публичность? Какъ изъ зависимости судебной власти отъ администраціи произошла бы независимость? Какъ изъ различія подсудности могла бы произойти отмѣна этого различія? Конечно, правительство предупреждаетъ насъ, что будетъ переходное время, но это будетъ только «предѣленный порядокъ постепеннаго введенія въ дѣйствіе новыхъ уставовъ и положеній.» Само собою разумѣется, что невозможно въ одинъ день установить по цѣлой Россіи и мировыхъ судей, и окружные суды, и присяжныхъ засѣдателей, и судебныя палаты, и присяжныхъ повѣренныхъ; на все это нужно время, но кто же не видитъ, что благо Россіи зависитъ отъ того, чтобы это время было какъ можно короче, и чтобы новые уставы и положенія не имѣли ни малѣйшаго сходства со всѣмъ существовавшимъ. Остается только громко пожалѣть тѣхъ подсудимыхъ и тяжущихся, которые будутъ въ какихъ-нибудь отношеніяхъ съ судебною властью втеченіе всего времени отъ 29 сентября до окончательнаго введенія въ дѣй-

ствіе новыхъ уставовъ и положеній, потому что черезъ нѣсколько мѣсяцевъ положеніе измѣнится къ величайшей выгодѣ всѣхъ привлеченныхъ или прибѣгающихъ къ суду. Начиная съ бѣдняка, подозреваемого въ убійствѣ, до счастливица, отыскивающего полтора миліона наслѣдства, всѣ почувствуютъ величайшее облегченіе своей участи.

«Власть обвинительная отдѣляется отъ судебной.» Прокуроръ преслѣдуетъ обвиняемого, но судить его не можетъ. На это учреждается особенная судебная власть, которая безъ всякаго участія властей административныхъ разсматриваетъ уголовныя дѣла и постановляетъ приговоры. Въ публичномъ засѣданіи суда доказательства, обнаруженныя предварительнымъ слѣдствіемъ, повѣряются и дополняются. Въ основныхъ положеніяхъ преобразованія у части судебной части не видно въ какой мѣрѣ будутъ измѣнены правила о предварительныхъ слѣдствіяхъ, и будетъ ли попрежнему подозреваемый сидѣть цѣлые годы въ острогѣ, ожидая окончанія предварительнаго слѣдствія. Если предварительное слѣдствіе остается безпредѣльно въ рукахъ администраціи, то не останется ли въ дѣлахъ прежней медленности и прежняго административнаго произвола? Въ главѣ «о дознаніяхъ и предварительныхъ слѣдствіяхъ» сказано, что полиція производитъ только дознанія о преступленіяхъ и проступкахъ, а потомъ учиненное полиціею дознаніе передается ею непосредственно мѣстному судебному слѣдователю. Полиція, при производствѣ дознанія, можетъ задерживать подозреваемыхъ въ преступленіяхъ только въ случаяхъ законами опредѣленныхъ, и по задержаніи кого-либо, должна немедленно увѣдомить о семъ судебного слѣдователя и прокурора. Далѣе судебный слѣдователь приступаетъ къ предварительному слѣдствію: 1) по требованіямъ прокуроровъ, 2) по сообщеніямъ присутственныхъ мѣстъ и должностныхъ лицъ, 3) по жалобамъ и объявленіямъ частныхъ лицъ и 4) по собственному усмотрѣнію. Въ «основныхъ положеніяхъ» мы не могли отыскать опредѣленія степени зависимости судебного слѣдователя отъ администраціи. Въ судебномъ слѣдователѣ заключается весь ключъ будущаго устройства судебной части, и нѣтъ никакого сомнѣнія, что недавно введенныя правила о судебныхъ слѣдователяхъ должны будутъ быть точно такъ же радикально измѣнены, какъ и всѣ законы, касающіеся судебной части. При нынѣшнемъ положеніи вещей судебный слѣдователь ивогда долженъ начать двадцать слѣдствій въ одинъ день, на другой день пятнадцать, на третій семьнадцать, въ разныхъ частяхъ уѣзда, и т. д. Поватно, что въ слѣдствіяхъ нельзя ожидать особенной быстроты; законъ и не опредѣляетъ никакого срока на производство слѣдствій, что было бы даже

невозможно по самой сущности дѣла. Стало-быть ожидаемый законъ измѣнить также и положеніе судебныхъ слѣдователей, въ видахъ точнѣйшаго опредѣленія ихъ отношеній и степени ихъ независимости отъ администраціи.

Участь человѣка, попавшаго подъ предварительное дознаніе, обезпечена только въ томъ отношеніи, что онъ непременно долженъ быть допрошенъ втеченіи сутокъ. Но что будетъ за тѣмъ и какъ будетъ производиться дознаніе, и чѣмъ обезпеченъ подозрѣваемый, что предварительное дознаніе не будетъ продолжаться вѣскольکو лѣтъ, — это покажетъ еще неизвѣстно и разъяснится впоследствии. Но когда судебный слѣдователь признаетъ предварительное слѣдствіе оконченнымъ, онъ представляетъ его прокурору окружнаго суда. Если прокуроръ найдетъ, что подозрѣваемый долженъ быть преданъ суду, то онъ составляетъ обвинительный актъ, который предъявляется судомъ обвиняемому, съ предоставленіемъ ему указать, кого онъ признаетъ нужнымъ вызвать въ судъ къ судебному слѣдствію и кого избираетъ своимъ защитникомъ. Обвиняемый и его защитникъ могутъ требовать выдачи имъ копій съ обвинительнаго акта и рассмотреть подлинное слѣдствіе въ канцеляріи суда подъ намежающимъ надзоромъ. Затѣмъ судебное публичное засѣданіе начинается чтеніемъ обвинительнаго акта. Обнаруженныя при предварительномъ слѣдствіи доказательства повѣряются и дополняются въ судѣ: 1) рассмотрѣніемъ подлинныхъ протоколовъ объ осмотрахъ, выемкахъ, обыскахъ и другихъ письменныхъ и вещественныхъ доказательствъ, и 2) отобраніемъ показаній отъ подсудимаго, свѣдующихъ людей, свидѣтелей и участвующихъ въ дѣлѣ лицъ. Для полного разъясненія дѣла, въ допросахъ и преніяхъ на судѣ принимаютъ участіе прокуроръ, подсудимый, его защитникъ и лицо, потерявшее отъ преступленія. Члены суда и присяжные засѣдатели могутъ требовать разъясненій; послѣднее слово въ преніяхъ на судѣ принадлежитъ всегда обвиняемому или его защитнику. Потомъ предсѣдатель суда вручаетъ старшему присяжному засѣдателю письменные вопросы: 1) о дѣйствительности событія, подавшаго поводъ къ обвиненію и 2) о винѣ или невинности подсудимаго по предметамъ обвиненія. Присяжные засѣдатели разрѣшаютъ предложенные имъ вопросы по большинству голосовъ. Въ случаѣ равенства голосовъ дается преимущество тому мнѣнію, которое оправдываетъ подсудимаго.

Такимъ образомъ всякому подсудимому обезпечено справедливое рѣшеніе его дѣла, съ той минуты, какъ онъ преланъ суду; но во все время предварительнаго слѣдствія, то-есть въ самое тяжелое для обвиняемаго время онъ будетъ находиться въ такихъ же точно

обстоятельствахъ, какія существуютъ и теперь, если ожидаемыми законоположеніями это не будетъ измѣнено.

Въ основныхъ положеніяхъ преобразованія судебной части постановлены также правила о судопроизводствѣ по преступленіямъ и проступкамъ по службѣ. Наложеніе на должностныя лица взыска- ній административнымъ порядкомъ, за упущенія по службѣ, производится на прежнемъ основаніи. Но когда начальство передаетъ обвиняемаго суду, то оно обязано привести всѣ предметы обвиненія въ такую ясность, чтобы постановленіе о преданіи суду служило обвинительнымъ актомъ, и чтобы судебному мѣсту можно было приступить въ его засѣданіи прямо къ судебному слѣдствію. Затѣмъ дѣла о преступленіяхъ и проступкахъ по службѣ производятся въ судебныхъ мѣстахъ и кассационныхъ департаментахъ сената по общимъ правиламъ уголовного судопроизводства. Въ подробныхъ уставахъ и положеніяхъ конечно будутъ опредѣлены права лица, напрасно обвиняемаго въ преступленіи по службѣ. У насъ прежде нерѣдко простая минутная прихоть начальника отдавала подчиненнаго подъ судъ; затѣмъ по суду подчиненный оказывался ни въ чемъ ни душой ни тѣломъ не виноватымъ. Но дѣло было уже совершенно-непоправимо, точно такъ же какъ непоправимо лишеніе жизни. За пребываніе подъ судомъ, несмотря ни на какое блистательнѣйшее оправданіе подсудимаго, на доказательство совершенной его невинности, онъ лишается службы, теряетъ свою карьеру, теряетъ право на пенсію. Неизвѣстно, будетъ ли въ подробныхъ уставахъ и положеніяхъ постановлено что-нибудь въ огражденіе подчиненныхъ отъ произвола начальства и чѣмъ подчиненный будетъ огражденъ: преданіемъ ли суду неправильно обвинившаго начальника, или денежнымъ штрафомъ, или чѣмъ другимъ, или будутъ отмѣнены всѣ послѣдствія неправильнаго обвиненія и безвиннаго нахожденія подъ судомъ.

По гражданскому судопроизводству преобразованіе производится тоже радикальное. Гражданское судопроизводство будетъ гласное, такъ что Россія наконецъ будетъ избавлена отъ безконечнаго многописанія, отъ такихъ объемистыхъ дѣлъ, которыя трудно увезти на двухъ возахъ. Канцелярская тайна, источникъ тысячи злоупотребленій, уничтожается. Тяжущимся и ихъ повѣреннымъ открывается свободный доступъ къ обзорнѣю судебного производства, и никакое дѣйствіе, показаніе или требованіе одной стороны не должно быть скрывасемо отъ другой. Всѣ необходимыя для разъясненія дѣла свидѣнія и справки собираются самими тяжущимися и судъ не входитъ по этому предмету ни въ какую переписку съ другими мѣстами и лицами, но выдаетъ тяжущимся, по просьбѣ ихъ, свидѣ-

тельства для полученія этихъ справокъ и свѣдѣній. Число подаваемыхъ тяжущимися состязательныхъ бумагъ ограничивается четырьмя: по двѣ для каждой стороны. Затѣмъ докладъ будетъ производиться въ публичномъ засѣданіи суда не секретаремъ, а однимъ изъ членовъ. По объясненіи докладчиковъ сущности дѣла, начнется состязаніе сторонъ. По окончаніи словеснаго состязанія, предсѣдатель излагаетъ вкратцѣ сущность дѣла и требованія сторонъ, и за тѣмъ судъ постановляетъ рѣшенія по общимъ правиламъ.

Нѣтъ возможности въ короткихъ словахъ передать всѣ тѣ подробности ожидаемаго преобразования судебной части, которыя изложены въ «Основныхъ положеніяхъ.» Читатели наши, безъ сомнѣнія, прочитали въ подлинникѣ «Основныя положенія». Теперь приняты мѣры для составленія подробныхъ уставовъ и положеній, для чего и составлена въ государственной канцеляріи особая коммиссія. Теперь она собираетъ свѣдѣнія о составѣ, кругѣ дѣйствій и дѣлопроизводствѣ различныхъ судебныхъ мѣстъ, такъ какъ это необходимо имѣть въ виду для точнаго и успѣшнаго окончанія всего вообще поручаемаго коммиссіи дѣла, особенно по составленію проектовъ, касающихся судоустройства. Само собою разумѣется, что коммиссія извѣстенъ и кругъ дѣйствій и дѣлопроизводство различныхъ судебныхъ мѣстъ, какъ извѣстно это всякому, читавшему Сводъ Законовъ; но надо полагать, что коммиссія наводитъ справки о личномъ составѣ судовъ и о количествѣ въ нихъ дѣлъ, чтобы сообразно съ этимъ опредѣлить въ какой мѣрѣ нужны намъ образованные юристы въ особенности и образованные люди вообще, — стало-быть въ какой мѣрѣ необходимы намъ университеты и еще университеты.

Громадное дѣло возложено на коммиссію. И нельзя не порадоваться, что ей предоставлено приглашать въ свои засѣданія юристовъ, «замѣчанія коихъ могутъ принести пользу при предварительномъ обсужденіи работъ.» Къ участию въ засѣданіяхъ будутъ призваны также нѣкоторые предсѣдатели или товарищи предсѣдателей судебныхъ палатъ, предсѣдатели коммерческихъ судовъ и прокуроры, и *нѣкоторые другія лица.* Само собою разумѣется, что чѣмъ больше будетъ этихъ лицъ, до извѣстнаго предѣла, тѣмъ многостороннѣе будетъ обсуждено дѣло, тѣмъ прочнѣе установится вновь вводимый порядокъ, тѣмъ меньше впоследствии потребуетъ перемѣн и тѣмъ съ большею благодарностью Россія приметъ новые суды, и тѣмъ охотнѣе предастъ своему обычному великодушному забвенію старое.

Объ этомъ весьма наивно и дѣльно выразился волостной стар-

шна Иванъ Никитинъ, на обѣдѣ, который онъ давалъ въ день тезоименитства императора, у себя дома, въ боромскомъ погостѣ великолукскаго уѣзда (псков. губ.) Народъ обѣдалъ на дворѣ, а мировой посредникъ и сосѣдніе помѣщики въ домѣ у старшины. Во время обѣда Иванъ Никитинъ обратился къ присутствующимъ съ слѣдующими словами: «милостивые государи, забудемъ старыя наши отношенія въ крѣпостномъ правѣ, и будемъ жить пососѣдски. Вы не забывайте насъ, не чуждайтесь насъ, а мы васъ не забудемъ.» Въ этихъ словахъ заключается окончательная ликвидація крѣпостнаго права: забудемъ крѣпостныя отношенія, но людей, бывшихъ съ нами въ этихъ отношеніяхъ, не забудемъ и не оставимъ; дѣло только въ томъ, чтобы они насъ не чуждались, а сблизились бы съ нами, да не совершали бы продѣлокъ вроде той, которая случилась недавно въ новоржевскомъ уѣздѣ.

Тамъ, именно въ третьемъ мировомъ участкѣ (посредникъ Кревицынъ), въкоторая помѣщица, имя которой скромно умалчивается въ «Сѣверной Почтѣ», запродала постороннему лицу часть усалебной земли, принадлежащей временно-обязаннымъ крестьянамъ, на ея землѣ поселеннымъ, да кстатѣ запродала и бывшій въ постоянномъ ихъ пользованіи прогонъ для скота. Все это совершилось послѣ обнародованія положеній объ освобожденіи крестьянъ. Запроданныя мѣста были надлежащимъ образомъ загорожены, и новые владѣльцы стали стѣснять крестьянъ. Къ счастью мировой посредникъ не далъ себя обойти и привелъ надлежащее толкованіе закона, по которому запродажа владѣльцемъ постороннимъ лицамъ земель, состоящихъ въ пользованіи крестьянъ, не должна служить основаніемъ къ отрѣзкѣ этихъ земель отъ крестьянскаго надѣла. Такимъ образомъ помѣщицѣ не удалось обмануть крестьянъ и мирового посредника, да въ добавокъ она еще будетъ вѣдаться судомъ съ людьми, купившими у нея крестьянскія земли, да еще судомъ прежнимъ, основаннымъ на канцелярскихъ тайнствахъ и поощреніи бумажныхъ фабрикантовъ.

Уставныя грамоты вводятся и представляются чрезвычайно медленно. Срокъ, назначенный положеніями для составленія грамотъ самими помѣщиками, уже давно кончился и близокъ къ окончанію срокъ, опредѣленный для повсемѣстнаго введенія грамотъ. Помѣщики нерѣдко представляютъ посредникамъ уставныя грамоты, несогласныя съ положеніями. Чтобы покончить съ ними, распоряженіемъ министерства постановлено не возвращать болѣе такія грамоты помѣщикамъ для исправленія, съ тѣмъ, чтобы ихъ исправляли или составляли вновь уже сами мировые посредники.

Къ началу прошедшаго сентября всего представлено 71,212 уста-

вныхъ грамотъ , и изъ нихъ введено въ дѣйствіе только 39,371. Крестьяне, обладающіе уже дѣйствующими уставными грамотами, составляютъ нѣсколько болѣе третьей доли (именно 37½ процентовъ) общаго числа временно-обязанныхъ крестьянъ. Но дѣло въ томъ , что когда нужно , мы умѣемъ и петоропиться. По этому можно надѣяться, что къ назначенному сроку, до истеченія котораго остается еще около полугода, грамоты будутъ введены въ дѣйствіе повсемѣстно.

Впрочемъ есть уже много мировыхъ участковъ , въ которыхъ всѣ до одной грамоты и составлены и введены уже въ дѣйствіе. Такихъ мировыхъ участковъ пятьдесятъ два. Есть даже цѣлыя два уѣзда, въ которыхъ введены всѣ грамоты.

И тогда Россія окончательно вступитъ въ періодъ вольнонаемнаго труда , и тогда только начнетъ мало-помалу уясняться наша экономическая будущность. Теперь уже многіе помѣщики сократили свою запашку и обрабатываютъ меньшее противъ прежняго количество земли. Между прочимъ это видно изъ одной замѣчательной статьи , помѣщенной въ калужскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ. Статья эта составлена изъ свѣдѣній, присланныхъ тринадцатью мировыми посредниками, и потому достоверность фактовъ, въ ней сообщаемыхъ , не можетъ подлежать сомнѣнію. Оказывается , что вольнонаемный трудъ въ сельскомъ хозяйствѣ далеко не даетъ тѣхъ удовлетворительныхъ результатовъ , какіе отъ него ожидалось. Обработка земли обходится помѣщикамъ такъ дорого , что не окупается произведеніями земли, или едва окупается. Поэтому помѣщики обрабатываютъ лишь лучшія свои земли, а остальные отдають въ наемъ крестьянамъ. Желających нанимать земли весьма много, такъ что распахиваются старыя залежи , запущенныя по негодности.

Теперь оказывается несомнѣннымъ , что наше сельское хозяйство должно по необходимости измѣниться радикально, сообразно съ происходящимъ радикальнымъ измѣненіемъ нашего сельскаго быта , и что наука должна и здѣсь быть руководительницею наступающихъ преобразованій. Теперь оказывается , что мы не имѣемъ понятія о необходимой въ сельскомъ хозяйствѣ расчетливости. Благодаря крѣпостному труду, мы еще не считали, во что намъ самимъ обходится четверть хлѣба , и теперь еще надо учиться считать. Бывали примѣры, что помѣщикъ не зналъ куда дѣвать своихъ рабочихъ, на какую работу ихъ поставить, и приказывалъ рыть въ саду прудъ, который на другой годъ приказывалъ засыпать. Теперь этого уже нельзя , потому что невольво кидается въ глаза итогъ того, во что подобная бесполезная работа обойдется. Но это примѣръ уже

слишкомъ рѣзкій. Цѣны на хлѣбъ устанавлились у насъ безо всякаго отношенія къ тому, во сколько производителю обходится пудъ хлѣба, потому что у производителя не было твердаго основанія для этого расчета. Теперь основаніе есть, и несмотря на нѣкоторую стѣснительность общаго положенія, всякій хозяинъ лучше захочетъ заплатить дорого, но знать сколько именно, чѣмъ блуждать въ хозяйственной мглѣ. Результатъ выходитъ въ высшей степени благопріятный для раціональнаго хозяйства; оказывается, что безъ введенія машинъ, безъ улучшенія породъ скота, безъ прочныхъ каменныхъ построекъ, безъ строжайшей расчетливости помѣщикъ не въ состояніи будетъ соперничать на рынкѣ съ крестьянскимъ хлѣбомъ.

До сихъ поръ наша экономическая дѣятельность вся носила на себѣ печать крѣпостного труда, и не было такой отрасли дѣятельности, на которой не отзывалось бы это учрежденіе, теперь отжившее. Начать съ того, что Россія считалась, и до сихъ поръ считается у нѣкоторыхъ экономистовъ государствомъ, самую природою созданнымъ для земледѣлія. На томъ основанія, что мы отправляемъ за границу ленъ и покупаемъ полотно изъ нашего льну приготовленное, они увѣряютъ, будто такъ всегда и должно быть, и что кромѣ льну, пеньки, хлѣба, кожъ и сала мы никогда ничего не должны производить. Они въ своихъ горемычныхъ трактатахъ, пышно именуемыхъ политическою экономіей, увѣряютъ, будто Россія вѣчно будетъ государствомъ земледѣльческимъ. Восемь мѣсяцевъ зима, восемь мѣсяцевъ земледѣлецъ вынужденъ даромъ ѣсть свой хлѣбъ, — и это страна по преимуществу земледѣльская? При отсутствіи удобныхъ глубокихъ рѣкъ, въ добавокъ еще полгода покрытыхъ льдомъ — страна земледѣльская? При зимнемъ пути, по которому на каждой верстѣ твердо стоитъ по двѣсти пятидесяти замороженныхъ волнъ морскихъ, называемыхъ ухабами, и причиняющихъ самому здоровому путешественнику морскую болѣзнь, если не членовредительство — страна земледѣльская? — Мы не ставемъ, конечно, произносить рѣшительнаго приговора объ экономической будущности Россіи; но никто, конечно, не усомнится, что съ окончательнымъ освобожденіемъ крестьянъ наша дѣятельность приметъ другое направленіе: Россія не останется государствомъ чисто земледѣльческимъ. Понятно само собою, что при существованіи крѣпостного права, помѣщики всего проще могли извлекать изъ своихъ крѣпостныхъ какой-нибудь доходъ при помощи земледѣльской работы, потому что въ земледѣліи большая часть производительнаго труда возлагается на даровыя силы природы, а то, что приходится на долю человѣка, можетъ быть сдѣлано

болѣе или менѣе тщательно, безъ рѣзкаго вліянія на болѣе или менѣе обильные результаты. Въ другихъ отрасляхъ промышленности на даровыя силы природы люди расчитываютъ гораздо менѣе, и несравненно большей тщательности требуется отъ человѣческаго труда. Этой тщательности, отчетливости нельзя было ожидать отъ крѣпостного труда. Къ тому еще наша паспортная система и нашъ полушныи окладъ привязывали человѣка къ землѣ, такъ что ежели человѣкъ и жилъ внѣ своей общины, то всегда невидимая цѣпь въ видѣ паспортнаго срока привязывала его къ мѣсту рожденія. Съ переменною паспортной системы и съ перехода окладовъ съ душъ на имущество исчезнетъ и это стѣсненіе. Тогда, при помощи нѣкоторыхъ облегченій, экономическая дѣятельность наша приметъ свое естественное направленіе, но какое именно, это едали кто теперь можетъ сказать на сколько-нибудь прочныхъ основаніяхъ.

Въ калужской губерніи, говорятъ, крестьяне охотно нанвмаютъ помѣщачьи земли. Прекрасно; они конечно видятъ въ этомъ свои выгоды и извлекаютъ ихъ даже изъ плохихъ, заброшенныхъ участковъ. Но дѣло въ томъ, что навсегда въ такомъ положеніи дѣла остаться не могутъ. Запущенныя за негодностью старыя залежи отъ времени поправляются, но при усиленной разработкѣ истощаются весьма скоро. Приверженцы англійскихъ взглядовъ на нашу торговлю не хотятъ этого знать, не хотятъ справиться съ земледѣльческою химіей и съ статистикой, и увѣряютъ, будто страна вѣчно можетъ производить хлѣбныя растенія и безнаказанно вывозить свои продукты. Пусть же они справятся, въ какомъ положеніи теперь земли Мариланда, Кентуки и сѣверной Каролины, считавшіяся плодороднѣйшими на земномъ шарѣ. Они узнаютъ, что эти земли, вслѣдствіе усиленной обработки, потеряли всякую производительность и съ трудомъ родятъ дрянныя сорныя травы. Пусть они спросятъ опытныхъ хозяевъ хотя екатеринославской губерніи, велики ли тамъ средніе урожан. Они узнаютъ, что самыя считается тамъ урожаемъ далеко не самымъ дурнымъ, и что наши великолѣпныя черноземы выпахались, такъ что и они уже требуютъ перехода на рациональное хозяйство. Пусть же они взглянуть въ земледѣльческую химію: тамъ они узнаютъ, что составныя части зерна заключаются въ почвѣ въ очень ограниченномъ количествѣ, что самая богатѣйшая почва наконецъ истощается, если съ нея постоянно увозить эти драгоценныя составныя части; что для поддержанія плодородія эти части должны въ томъ или въ другомъ видѣ возвращаться въ почву, а то на мѣсто плодородія явится наконецъ мерзость запустѣнія. Калужскіе крестьяне знаютъ это все очень хорошо, и если теперь охотно канду-

лись на дешовыя помѣщичьи земли, то разумѣется не для того, чтобы поддержать въ нихъ плодородіе, а чтобы извлечь изъ нихъ теперь же какъ можно болѣе продажныхъ продуктовъ. А послѣ — хоть трава тамъ не рости. Послѣ, года черезъ три-четыре необходимо будетъ удобреніе, безъ котораго съ выпаханной земли не соберешь и сѣмянъ. А гдѣ взять удобреніе, that is the question.

Любители англійскихъ взглядовъ на нашу торговлю не хотятъ этого знать, и стараются витать въ самыхъ высокихъ и далекихъ отъ дѣйствительности сферахъ, не удостоиваютъ свести счеты съ удобреніемъ, съ навозомъ, съ этой альфой и омегой земледѣлія. Если мы тутъ и сосчитаемъ для нихъ во что обходится въ калужской губерніи возъ навозу, то это не послужитъ имъ въ пользу, потому что они привыкли вертѣться въ софизмахъ подальше отъ земли и отъ дѣйствительности.

Одинъ англичанинъ, случайно попавшій съ нами въ богатое имѣніе калужской губерніи, въ жиздринскомъ уѣздѣ, въ первый разъ увидѣлъ русскаго пашущаго мужика, и никакъ не хотѣлъ повѣрить, что это онъ на лошади нашетъ. Онъ все старался увѣрить, что это какое-нибудь странное порожденіе чахоточной курицы и отставного козла. Происхожденіе туземныхъ крошечныхъ коровъ должно объясняться такимъ же загадочнымъ чудомъ. Но мы будемъ рассчитывать на скотъ нѣсколько болѣе крупный, напримѣръ корову цѣною рублей въ пятьдесятъ.

Расходъ на нее. Коровы достанетъ круглымъ счетомъ на пять лѣтъ, — она или устарѣетъ, или подохнетъ отъ чумы. Стало-быть надо откладывать каждый годъ по десяти рублей на покупку новой. Это соотвѣтствуетъ ремонту коровы или страховой за нее преміи. Затѣмъ необходимо ее кормить хорошо, чтобы она дала какъ можно больше молока. Для этого въ калужской губерніи дается 200 пудъ сѣна по 8 копѣекъ, всего на 16 рублей. Пастуху за лѣто изойдетъ два рубля. Посыпать въ поило муки рубля хоть на три въ годъ, да на подстилку употребить 70 пудъ озимой соломы, хоть по пяти копѣекъ, всего на 3 руб. 50 коп. За помѣщеніе и уходъ надо положить хоть пять съ полтиной. Выходитъ, что исправному крестьянину содержаніе коровы средней руки обходится круглый годъ неменьше сорока рублей, не считая покупки.

Приходъ, Пятидесяти-рублевая корова даетъ молока ребятишкамъ по три штофа въ день, — по одной копѣйкѣ за штофъ, всего на десять рублей, да при хорошей хозяйкѣ два пуда масла, всего на 12 руб., да теленка на три рубля. Весь приходъ отъ коровы 25 рублей. Оказывается, что съ коровы въ годъ чистаго убытку пятнадцать рублей. Но сверхъ того въ годъ можно собрать двадцать возовъ

навозу, который и обходится крестьянину по 75 копѣекъ возъ. Чтобы порядочно удобрить на три года десятину, нужно 80 возовъ съ четырехъ коровъ, всего на 60 рублей, не считая вывозки.

Такимъ образомъ, чтобы земля, занимаемая у помѣщика, не истощалась, необходимо крестьянину держать на каждыя три десятины во всѣхъ трехъ поляхъ по четыре коровы, кромѣ тѣхъ, которыя нужны для удобренія конопляника и своего собственного надѣла. Это значитъ ипаче, что ему нужно затрачивать ежегодно по двадцати рублей на каждую арендуемую десятину, не считая арендной платы и всего того, во что обойдется обработка. Очевидно, что этого мы еще очень долго не дождемся, и земля, если только исполнятся желанія приверженцевъ англійскихъ взглядовъ на нашу торговлю, должна весьма скоро истощиться, страна должна дичать все болѣе и болѣе, народонаселеніе при безхлѣбницѣ увеличиваться не можетъ. Яснѣе солнца, что дѣла такъ идти не могутъ. Свободная дѣятельность свободныхъ людей покажетъ, какое направленіе приметъ наша экономическая дѣятельность.

Если же въ самомъ дѣлѣ Россія повѣритъ англійскимъ совѣтамъ, да сдѣлается государствомъ исключительно земледѣльческимъ, что будетъ тогда, въ случаѣ благопріятнаго урожая въ Европѣ? Въ нынѣшнемъ году отчасти такъ и случилось; хлѣба отпущено за границу на четыреста-тысячъ четвертей менѣе, нежели въ прошломъ году. Не хотятъ они понять, что тогда намъ у тѣхъ же англичанъ не на что будетъ купить сахару, хлопчатой бумаги, мѣкательныхъ товаровъ и т. д. Не хотятъ они понять, что для народа несравненно выгоднѣе увеличеніе внутренней торговли на рубль, чѣмъ увеличеніе вышней на сто рублей. Но обо всемъ этомъ въ другой разъ. Очень много накопилось фактовъ, которые слѣдуетъ еще занести въ нашу лѣтопись.

Облегченіе крѣпостной зависимости до введенія уставныхъ грамотъ отозвалось уже въ высшей степени благопріятно на поступленіи податей и государственныхъ земскихъ повинностей. Въ прошедшемъ году вмѣсто ожидаемыхъ 70,440,501 рубля поступило на 2,004,965 рублей болѣе, стало-быть недоимка уменьшается, такъ что къ нынѣшнему году оставалось недоимки всего $4\frac{3}{4}$ мильона рублей.

Предпринято преобразование земско-хозяйственныхъ дѣлъ въ Россіи. Завѣдываніе имуществами, капиталами и денежными сборами земства; составленіе смѣтъ и раскладокъ денежныхъ сборовъ, устройство и содержаніе земскихъ зданій и тѣхъ путей сообщенія, которые будутъ отнесены къ разряду земскихъ; мѣры обезпеченія народнаго продовольствія, общественное призрѣніе, взаимное стра-

хованіе строеній, попеченіе о развитіи мѣстной торговли и промысловъ, и еще нѣкоторыя другія дѣла возлагаются на уѣздныя и губернскія земскія собранія и управы. Всѣ члены этихъ собраній и управъ будутъ избираемы землевладѣльцами, городскими жителями всѣхъ сословій, — волостные старшины и сельскіе старосты. Земскія учрежденія будутъ обсуживать, опредѣлять и приводить въ исполненіе всѣ мѣры, необходимыя для хода земскихъ дѣлъ по губерніи или по уѣзду, и будутъ дѣйствовать самостоятельно въ дѣлахъ, отнесенныхъ къ ихъ вѣдомству. Собранія будутъ имѣть общую распорядительную власть и контроль по земскимъ дѣламъ, а управы будутъ приводить въ дѣйствіе распоряженія собраній. Теперь въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ составляется окончательная редакція проекта положенія о земско-хозяйственныхъ учрежденіяхъ для внесенія на разсмотрѣніе государственнаго совѣта.

И совершенно по всѣмъ частямъ управленія готовятся или происходятъ дѣятельныя преобразованія. Между многими готовящимися переѣнами, готовится также и облегченіе участи евреевъ, которыхъ права очень ограничены, которые до сихъ поръ прикрѣплены къ землѣ извѣстныхъ губерній, именно юго-западныхъ, и имѣютъ право жить только тамъ. Въ другихъ губерніяхъ они живутъ только при исполненіи извѣстныхъ условій, напримѣръ объявивъ значительный торговый капиталъ. И въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ имъ позволено жить, они пользуются не всѣми гражданскими правами, и одно изъ самыхъ тяжелыхъ ограниченій есть такъ называемый *кошерный* сборъ. Кто жила въ югозападныхъ губерніяхъ, тотъ знаетъ очень хорошо, что это за сборъ. Въ послѣднее время онъ отмѣненъ въ царствѣ Польскомъ, но у насъ онъ находится еще въ полной силѣ, и чуть ли не въ томъ же номерѣ «Сѣверной Почты», гдѣ объявлено, что въ царствѣ Польскомъ евреи избавляются отъ кошернаго сбора, объявлены торга на отдачу этихъ сборовъ съ торговъ въ подольскомъ губернскомъ правленіи.

Кошерный или коробочный сборъ происходитъ отчасти отъ религиозной вражды. Въ концѣ прошлаго столѣтія, когда бывшія польскія губерніи стали присоединяться къ Россіи, при ревизіи и повѣркѣ дѣлъ оказалось, что многія еврейскія общества были должны нѣкоторымъ помѣщикамъ, духовнымъ лицамъ и костеламъ. Они занимали деньги на устройство своихъ школъ и на постройку синагогъ. Встарину, извѣстно, деньги отдавались за громадныя проценты, и потому многія синагоги не въ состояніи были уплачивать костеламъ процентовъ, не говоря уже о капиталѣ. Мало-помалу долги росли, и вслѣдствіе крайней бѣдности

еврейскихъ обществъ становились неоплатными. Поэтому цѣлыя еврейскія общества были въ чистой кабалѣ у своихъ займодавцевъ. Тогда правительство рѣшило освободить евреевъ, и приняло на себя уплату ихъ долговъ, устройвъ для этого особенный сборъ съ обществъ, независимо отъ подушнаго и всякихъ другихъ окладовъ. До сихъ поръ это совершенно справедливо и понятно: взятая займы деньги должны быть уплачены; но форма этого добавочнаго, новаго сбора, бывшая въ то время не дурною, по нынѣшнимъ понятіямъ оказывается совершенно устарѣлою, безнравственною, и въ царствѣ Польскомъ поэтому и отиѣнена. Дѣло вотъ въ чемъ: по закону Моисея, всякое животное, убиваемое на пищу еврея, должно быть убито съ извѣстными приѣмами, обрядами, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. Только такимъ образомъ убитое животное считается чистымъ и годнымъ въ пищу еврея, если при этомъ вдобавокъ окажется при разсмотрѣніи внутренностей все въ надлежащемъ порядкѣ. Такое мясо называется *кошернымъ* или *кошеръ*, а мясо наше, убитое обыкновенными христіанскими мясниками, называется нечистымъ или *трефнымъ*. Постановлено было отдавать на откупъ право убивать скотъ и домашнюю птицу по моисеевскимъ правиламъ, и продавать эти вещи евреямъ. Напилось много евреевъ, желающихъ взять на откупъ мясное продовольствіе своихъ единоувѣрцевъ, вслѣдствіе великой выгодности и заманчивости всякаго откупнаго дѣла, всякой монополіи. За вѣкторый уѣздный городъ откупщикъ платитъ, положимъ, полторы тысячи въ годъ, и разумѣется выручаетъ четыре или пять тысячъ, потомучто иначе онъ не взялъ бы откупа, не платилъ бы въ казну за мѣсяць или за годъ деньги впередъ. Выручаетъ онъ свои деньги, продавая своимъ единоувѣрцамъ кошерное мясо дороже, нежели покупаютъ обыкновенное трешное мясо христіане. Чтобы оградить евреевъ отъ преувеличеннаго грабежа откупщика и отъ всякихъ съ его стороны прижимокъ, постановлена такса, для разныхъ мѣстностей различная, смотря по степени благосостоянія жителей и по многолюдству. Есть мѣста, гдѣ откупщикъ продаетъ кошерное мясо только двумя копѣйками за фунтъ дороже противъ христіанской таксы: это въ деревняхъ и небольшихъ мѣстечкахъ. Въ другихъ мѣстахъ эта разница доходитъ до трехъ копѣекъ, до 4, до 5 и даже до $7\frac{1}{2}$ копѣекъ съ фунта. Это уже въ большихъ губернскихъ городахъ, гдѣ еврей имѣютъ право жить. Въ губернскомъ городѣ благочестивый еврей покупаетъ фунтъ говядины за пятнадцать копѣекъ, когда христіанинъ платитъ за тотъ же фунтъ семь съ половиной копѣекъ. Сверхъ того еврей самъ не имѣетъ права зарѣзать курицу, гуся, индѣйку или барана, еслибы даже онъ очень хо-

рошо зналъ довольно простыя и несложныя правила моисеева закона касательно этого дѣла. Онъ долженъ снести свою курицу къ откупщику или къ рѣзнику, который и совершитъ обрядъ зарѣзанія, получивъ за это впередъ сколько назначено по таксѣ. При этомъ разумѣется, что если еврей заплатитъ за эту работу десять копѣекъ, то не всѣ эти деньги поступаютъ въ казну, а около двухъ третей изъ нихъ, а можетъ быть и три четверти, или даже болѣе идутъ откупщику.

Понятно само собою, какое пагубное вліяніе имѣетъ на здоровье евреевъ эта искусственная, привилегированная дороговизна мясной пищи. По необходимости имъ приходится удовольствоваться пищею растительной, страдать худосочиемъ и кожными болѣзнями ради барышей своего кошернаго откупщика.

Сверхъ того въ это дѣло вкралось безчисленное множество злоупотребленій, которыя неизбежны во всемъ человѣческомъ, а въ откупномъ дѣлѣ накладываются самою сущностью откупа, монополію.

Кошерные откупщики по большей части народъ очень богатый. Нѣкоторые изъ нихъ берутъ на откупъ цѣлую губернію, и двѣ, и три; но такъ какъ торги производятся на каждый городъ и на каждое мѣстечко отдѣльно, то у нихъ есть подставныя лица, при помощи которыхъ они съ большимъ удобствомъ обходятъ законъ. Въ силу богатства, они находятся въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ съ раввинами и разными учителями, которые наблюдаютъ за благочестивымъ исполненіемъ правилъ, касающихся кошернаго мяса. Каждый еврей имѣетъ полнѣйшее гражданское право покупать мясо трешное, которое вдвое дешевле, имѣетъ право самъ убить барана; но раввины и учителя бдительно слѣдятъ за барышами откупщика, поддерживая религіозный предрасудокъ своихъ единовѣрцевъ. Такимъ образомъ выходитъ, что кошерный сборъ есть штрафъ, платимый евреямъ за то, что онъ исполняетъ моисеевъ законъ, то есть за то, что онъ еврей. Правительство въ царствѣ Польскомъ поняло, что такой штрафъ не соотвѣтствуетъ ни духу времени, ни вѣротерпимости, и отмѣнило этотъ сборъ, предоставивъ евреямъ ѣсть что они хотятъ, и при убоѣ скота исполнять или не исполнять какіе бы то ни было обряды. Эта мѣра гѣмъ благодѣтельнаѣ, что кошерный сборъ былъ сопряженъ еще съ большимъ количествомъ злоупотребленій.

Является жидокъ къ своему рѣзнику съ бараномъ. Купленъ этотъ баранъ на деньги, добытыя всяческими правдами и неправдами, при помощи неутомимой бѣготни, съ перенесеніемъ всевозможныхъ оскорбленій и величайшихъ лишеній. Рѣзникъ беретъ

впередъ установленную плату и надлежащимъ орудіемъ съ должными обрядами совершаетъ зарѣзаніе барана. Но на бѣду при вскрытіи внутренностей оказывается, что баранъ не кошеръ, а трэфъ, потому что у него замѣчается какая-нибудь дѣйствительная или мнимая аномалія во внутренностяхъ, что-нибудь противное моисееву закону. Возникаетъ споръ. Жидокъ не можетъ ѣсть своего барана; онъ долженъ уступить его рѣзнику, который можетъ пролатъ его христіанамъ. Рѣзникъ предлагаетъ за барана полцѣны; жидокъ требуетъ назадъ свой двугривейный, заплаченный впередъ, за убой скотины на кошеръ. Но при соблюденія всѣхъ обрядовъ вышло мясо не кошерное. Кто виноватъ? Однако завязывается тяжба, поступаетъ куда слѣдуетъ прошеніе. Резолюція не удовлетворяетъ просителя, онъ восходитъ по инстанціямъ выше и выше, такъ что дѣло идетъ уже вообще о прѣвѣсеніи евреевъ кошерными откупщиками.

Евреи знаютъ очень хорошо, что по закону кошерный откупъ или коробочный сборъ назначается на содержаніе раввинскихъ училищъ, синагогъ, больницъ и остатки зачисляются въ уплату податей за бѣднѣйшія еврейскія общества той губерніи, въ которой образовались эти остатки. Поэтому въ убѣжденія всѣхъ еврейскихъ обществъ проникла мысль, что коробочный или кошерный сборъ существуетъ взаимно податей; поэтому еврейскія общества вовсе не заботятся о сборѣ податей, всегда рассчитывая на остатки отъ кошернаго сбора, и нигдѣ по цѣлой Россіи не накапливается столько недоимокъ, какъ на евреяхъ. Они никакъ не могутъ понять, какъ это выходитъ, что они платятъ, платятъ откупщику, переплатятъ за кошеръ втрое больше, чѣмъ нужно на уплату податей, а все-таки подати платить приходится своимъ порядкомъ. Отсюда неудовольствіе на христіанъ, которые будто бы берутъ податей втрое больше, нежели нужно, тогда какъ всѣ ихъ платежи поступаютъ на обогащеніе нѣсколькихъ такъ-называемыхъ капитальныхъ евреевъ откупщиковъ.

Несмотря на всю очевидную тягость этого сбора, между евреями далеко вѣтъ согласія во взглядахъ на кошерные откупа. Тѣ, у которыхъ есть нѣкоторый капиталецъ, увѣряютъ, будто эти откупа — благодѣяніе для евреевъ, такое благодѣяніе, которое слѣдовало бы даже усилить посредствомъ возвышенія таксы, и заставить ихъ платить за мясо не пятнадцать, а тридцать копѣекъ тамъ гдѣ христіане платятъ по семи, съ тѣмъ только, чтобы уже откупщикъ уплачивалъ за общество всѣ подати. Они говорятъ, что такимъ образомъ прямой душевой налогъ будетъ обращенъ въ косвенный, который будетъ уплачиваться совершенно незамѣтно копѣйками, а въ

казну будетъ поступать сполава, отъ откупщика, да еще впередъ за какое угодно время. Тутъ они пустятся въ доказательства, какъ выгоденъ для платящаго и собирающаго непрямой налогъ въ сравненіи съ прямымъ, и какъ тутъ естественно само-собою выходитъ пропорціональное распределеніе налога, смотря по состоянію и заработкамъ человѣка. Тутъ выйдетъ такъ, что не хочешь или не можешь платить, — не покупай только мяса, если оно по твоимъ средствамъ слишкомъ дорого, живи на пищѣ св. Антонія, забудь требованія своего организма, забудь, что твои зубы и кишечный каналъ устроены для растительной и въ тоже время для животной пищи, хворай отъ этого, умирай, но если не хочешь платить — не плати. Другіе евреи, не обладающіе болѣе или менѣе круглымъ капиталомъ, не имѣющіе надежды взять со временемъ кошерный откупъ и понимающіе сущность дѣла, говорятъ, что это разоренье, прямой налогъ на первую жизненную потребность.

Но въ царствѣ Польскомъ, гдѣ евреи живутъ на тѣхъ же основаніяхъ и при тѣхъ же условіяхъ, что и въ нашихъ югозападныхъ губерніяхъ, кошерные сборы уничтожены. Будемъ надѣяться, что они скоро уничтожатся и у насъ, причемъ евреямъ можно будетъ ѣсть что вздумается, не платя откупщику за право ѣсть, то-есть существовать, втрое больше, нежели платится за это въ казну.

Евреи платятъ еще свѣчной сборъ, поручаемый тому же кошерному откупщику. Извѣстно, что вслѣкую недѣлю въ шабашъ они собираются, чтобы читать установленныя священныя книги, и что при этомъ зажигаются свѣчи, на cadaго изъ членовъ семейства по одной. За зажиганіе этихъ свѣчей они тоже платятъ извѣстный штрафъ своему откупщику. Тутъ дѣло такъ ясно говоритъ само за себя, что вѣтъ надобности какимъ-нибудь образомъ анализировать этотъ налогъ на религіозный обрядъ.

Такимъ образомъ евреи стѣснены весьма значительно, и огромное количество ихъ живетъ въ крайней бѣдности, съ огромнымъ количествомъ дѣтей, вопреки мудрому закону, открытому купеческою провицательностью Мальтуса. Живутъ они обыкновенно въ страшной тѣснотѣ, и въ своихъ занятіяхъ, ремеслахъ соперничаютъ другъ съ другомъ до послѣдней крайности, чтобы только какимъ-нибудь образомъ просуществовать. Въ какомъ-нибудь крошечномъ мѣстечкѣ случается встрѣтить двухъ и даже трехъ весьма искусныхъ ювелировъ, десятковъ слесарей, двадцать кузнецовъ и множество другихъ ремесленниковъ, тогда какъ для удовлетворенія мѣстныхъ потребностей за глаза было бы довольно и десятой доли этихъ мастеровыхъ. И каждый изъ этихъ бѣдняковъ имѣетъ претензію

жить своимъ ремесломъ, и еще прокармливать свое семейство, состоящее душъ изъ двѣнадцати маленькихъ дѣтей. Отъ этого является отчаянная конкуренція, столь благодѣтельная во всякомъ случаѣ, какъ увѣряютъ политикоэкономы. Сбивая одинъ другому цѣны, они наконецъ работаютъ за такую дешовую цѣну, что уже нѣтъ возможности работать не только хорошо, но сколько-нибудь сносно. И толпятся они такимъ образомъ можетъ-быть у самой границы сосѣдней губерніи, гдѣ они не имѣютъ правъ гражданства. И тутъ же рядомъ съ ними въ сосѣдней губерніи, какъ на примѣръ въ курской, почти вовсе нѣтъ мастеровыхъ, такъ что если въ молотилкѣ или вѣялкѣ сломается какъ-нибудь винтъ, то приходится остановить работу и везти всю машину въ Харьковъ или въ Москву, въ починку. Если есть хотя тѣнь правды въ томъ, что евреи вредятъ христіанскому населенію того края, въ которомъ они живутъ, разоряя крестьянъ своимъ настойчивымъ добываніемъ барышей всѣми неправдами, то на это одна только причина: относительная пустота еврейскаго населенія и невозможность выселиться туда, гдѣ нужна ихъ работа, гдѣ они могутъ быть полезны прямымъ, честнымъ трудомъ. Это не во гнѣвъ будь сказано въ какой-нибудь московской газетѣ, весьма сердитой на евреевъ.

Всего еврейскаго населенія у насъ въ Россіи мильонъ четыреста тысячъ душъ. Живутъ они въ извѣстныхъ только губерніяхъ, слишкомъ тѣсно, чувствуютъ себя такъ-сказать въ непріятельскомъ лагерѣ, несмотря на отчаянную конкуренцію держатся другъ за друга, пользуются въ случаѣ крайности покровительствомъ своего кошернаго откупщика, ихъ же обирающаго, сами страдаютъ отъ тѣсноты и естественнымъ образомъ стѣсняють другихъ. Когда имъ дано будетъ право гражданства въ цѣлой Россіи, то они расплзутся по всему государству, сдѣлаются незамѣтны, исчезнутъ, поглотятся большинствомъ, потому что ихъ придется только одинъ на сто христіанскихъ душъ. Положимъ, что они не станутъ заниматься земледѣліемъ, но они пополнятъ весьма чувствительный у насъ недостатокъ въ мастеровыхъ. Опять-таки не во гнѣвъ будь сказано московской газетѣ, они на примѣръ весьма могутъ быть очень ловкими винокурами и вступить въ конкуренцію съ винокурами остзейскими. Чѣмъ же для насъ русскихъ выгоднѣе остзейскій винокуръ или слесарь, въ сравненіи съ винокуромъ или слесаремъ евреемъ? Впрочемъ можетъ-быть мы и ошибаемся: у московскихъ газетъ бываютъ иногда непостижимыя для обыкновенныхъ смертныхъ фантазіи.

Впрочемъ довольно о евреяхъ: мы возвратимся къ нимъ, когда возникнетъ вопросъ объ уравненіи ихъ правъ съ христіанами, о

дарованіи имъ въ Россіи правъ гражданства, уже дарованныхъ въ Польшѣ.

Между нашими домашними дѣлами не послѣднее мѣсто занимаетъ объявленный на будущій годъ рекрутскій наборъ. Наши податныя сословія шесть лѣтъ не тревожились вѣстью о рекрутскомъ наборѣ, и въ это время обстоятельства такъ перемѣнились, что извѣстіе о наборѣ, сколько намъ извѣстно, не произвело той ужасающей тревоги, какъ это бывало встарину. Бывало по деревнямъ поднимется вой и плачь: матери, обнимая голову сыновей, причитываютъ и голосятъ какъ надъ покойниками; отцы съ своею сосредоточенною, страшною покорностью судьбѣ, гдѣ-нибудь въ клѣткѣ или въ конюшнѣ украдкой отираютъ кулакомъ выдавленную горемъ слезу. Теперь стало совсѣмъ другое. Во всѣхъ деревняхъ, въ самыхъ дальнихъ захолустьяхъ извѣстно теперь, что солдатское житье не хуже мужицкаго, а мѣстами и гораздо лучше; что солдатъ не бьютъ, какъ бывало встарину, за малѣйшій проступокъ, съ свѣршною жестокостію; что срокъ службы сталъ гораздо короче, такъ что на службу не уходятъ всѣ лучшіе годы жизни, или вѣрнѣе сказать, вся жизнь; что солдатъ содержатъ хорошо, кормятъ сытно, гораздо лучше, нежели въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ѣдятъ крестьяне. Извѣстно, что у насъ, въ странѣ по преимуществу земледѣльческой, какъ увѣряютъ такъ-называемые политикоэкономы и вольное экономическое общество, крестьяне иногда вынуждены печь хлѣбъ если не пополамъ съ мякиной, то по крайней мѣрѣ съ значительною примѣсью этого неудобоваримаго вещества, — солдатамъ же выдается мука чистая, безъ примѣси. Все это въ деревняхъ очень хорошо извѣстно, и вѣсть о наборѣ вовсе не произвела тягостнаго впечатлѣнія. Нѣсколько приуныли только тѣ молодые люди, которые давно уже на дурномъ счету у своихъ обществъ и угодаютъ непременно подъ красную шапку, причѣмъ придется оставить деревню, печь, красныхъ дѣвушекъ и прочія пріятности сельскаго быта. Но опять же и то сказать, авось Богъ милостивъ, можетъ-быть какъ-нибудь гроза и пройдетъ. А если не пройдетъ, то чтоже, вѣдь подъ красной шапкой люди живутъ, да еще прииѣваючи.

Для предстоящаго набора приваты нѣкоторыя облегчительныя мѣры, въ ожиданіи окончательнаго пересмотра рекрутскаго устава. Впервыхъ прощено двадцать-пять тысячъ рекрутъ, числившихся въ долгу за помѣщичьи имѣніями по долговымъ рекрутскимъ должамъ. Вовторыхъ, уменьшена мѣра роста, который долженъ имѣть каждый рекрутъ, на цѣлыя три четверти вершка, такъ что теперь солдаты могутъ быть не болѣе 2 арш. 3 вершк. ростомъ. Это обстоятельство показываетъ значительное измельчаніе породы, которая

уже не производить тѣхъ сажонныхъ голіфовъ, которые въ прошломъ столѣтіи посылались отъ насъ въ подарокъ иностраннымъ государямъ цѣлыми отрядами. Въ третьихъ, рекрутскія присутствія назначены теперь въ каждомъ уѣздномъ городѣ, вмѣсто того, что прежде бывало по одному рекрутскому присутствію на два и на три уѣзда, что весьма сократитъ дальніе переѣзды, какіе приходилось дѣлать рекрутамъ, отдатчикамъ и всѣмъ провожающимъ родственникамъ. Въ четвертыхъ, пограничныя съ Австріею и Пруссіею на стоверстномъ растояніи жители не избавляются, какъ прежде, отъ рекрутства, а несутъ эту повинность наравнѣ съ другими, что до нѣкоторой степени облегчитъ все остальное населеніе имперіи. Въ пятыхъ, теперь младшимъ возрастомъ поступленія въ рекруты охотниковъ назначено не 17 лѣтъ, какъ это было прежде, а 21 годъ, на томъ основаніи, что семнадцатилѣтній юноша еще не можетъ вполне разумно располагать своею участью. Сверхъ того впродолженіе рекруты въ рекрутское присутствіе будутъ вводимы въ сорочкѣ, а не голые. Дворянамъ и класнымъ чиновникамъ дозволено заниматься въ рекруты. Употребленіе гербовой бумаги по дѣламъ рекрутскимъ отмѣняется. Самый составъ рекрутскихъ присутствій измѣненъ; въ число членовъ ихъ внесены кандидаты на мѣста мировыхъ посредниковъ и городскіе головы. Прежде, ежели очередной рекрутъ скроется, на его мѣсто сдавался подочередной, съ тѣмъ, что онъ возвращался въ первобытное состояніе если очередной отыскивался и поступалъ на службу и если сверхъ того не прошло шести мѣсяцевъ со дня поступленія на службу подочередного. Теперь этотъ шестимѣсячный срокъ отмѣненъ, и принятой на службу подочередной можетъ во всякое время возвратиться въ первобытное состояніе, если только тотъ, за кого онъ принятъ, поступитъ на службу. Но изъ всѣхъ облегченій важнѣйшее и по послѣдствіямъ благотѣльнѣйшее есть слѣдующее: перемѣна рекрута охотникомъ дозволялась по рекрутскому уставу только отдѣльнымъ семействамъ и только въ опредѣленные сроки, — братъ могъ замѣнить брата не далѣе, какъ въ теченіи года со дня его присма, а для представленія наемника срокъ полагался только въ полгода. Теперь *замѣна рекрута охотникомъ разрѣшается во всякое время*, какъ обществамъ такъ и отдѣльнымъ семействамъ и лицамъ; братья, или родственники одной семьи или цѣлыя общества *могутъ принять бремя рекрутской повинности на себя сообща и смѣнять другъ друга поочередно*. Всякій легко замѣтитъ, что это радикальнѣйшая перемѣна, и если общества будутъ пользоваться значительною долею самостоятельности и самоуправленія, которыя одни только и могутъ подвинуть впередъ ихъ развитіе, то они поймутъ, что отъ нихъ вполне зависитъ срокъ

военной службы, что они могутъ ограничить его пятью годами, семью годами, четырьмя годами, какъ они найдутъ выгоднѣйшимъ. Прежде общества неимѣли права назначать рекрутамъ наградныхъ денегъ болѣе шести рублей, а семействамъ ихъ выдавать въ пособіе болѣе двухъ сотъ рублей. Теперь это стѣснительное для общества ограниченіе отмѣнено; сумма награды и пособія совершенно предоставлена усмотрѣнію самаго общества, съ тѣмъ только, чтобы каждый рекрутъ лично получилъ не менѣе трехъ рублей. Но можетъ-быть развитія общества найдутъ, что имъ выгоднѣе не выдавать семействамъ рекрутъ пособія, а только ограничить военную службу извѣстнымъ срокомъ, съ тѣмъ, чтобы на мѣсто кажлаго поступившаго, по истеченіи пяти напримѣръ лѣтъ, представлять новаго рекрута, а прежде принятаго возвращать обществу и семейству. Можетъ-быть окажется полезнымъ, въ развитыхъ обществахъ, безъ исключенія каждаго изъ молодыхъ людей проводить черезъ пятилѣтнюю практическую военную школу, чтобы каждый умѣлъ владѣть ружьемъ, чтобы каждый былъ хорошимъ стрѣлкомъ, зналъ службу, и возвращался бы въ общество, къ прежнимъ своимъ занятіямъ, всегда готовый, по призыву отечества, явиться въ ряды его защитниковъ не жалкимъ ополченцемъ, не злосчастнымъ волонтеромъ, какъ волонтеры сѣверо-американскіе, неимѣющіе понятія о ружьѣ до перваго сраженія, куда бросить ихъ неповоротливый, нерасторопный и верѣшительный предводитель, а настоящими, знающими свое дѣло солдатами. Такой взглядъ со стороны обществъ на военную службу значительно облегчилъ бы и правительство, которое всегда имѣло бы такимъ образомъ въ запасъ, на случай непредвидѣннаго вѣшняго столкновенія, богатый благонадежный и сверхъ того даровой резервъ. Нельзя не пожелать, чтобы общества какъ городскія, такъ и сельскія вполне поняли это послѣднее указанное манифестомъ радикальное преобразование и воспользовались имъ въ полномъ его объемѣ, со всѣми благодѣтельными его послѣдствіями.

Говоря вообще о преобразованіяхъ, нельзя не вспомнить о томъ, какое готовится по золотопромышленности, которая до сихъ поръ платитъ слишкомъ большую подать. Въ тридцатыхъ годахъ платилось въ казну 15 процентовъ со всякаго количества добытаго золота. Въ 1840 году открыты были очень богатые розсыши по рѣкѣ Удерею, и подать съ нихъ положена въ 24 процента, а въ прочихъ мѣстахъ Сибири 20 проц. Сверхъ того платилось съ каждаго фунта по 4 рубля на администрацію, да еще въкоторыя другіе платежи, доходившіе до трехъ и даже четырехъ процентовъ, такъ что всякій, добывшій золота около пуда, на десять тысячъ рублей, платилъ въ

казну отъ 2400 до 3000 рублей, независимо отъ расходовъ на добываніе, тоже огромныхъ. Въ богатомъ верхнеудинскомъ округѣ добываніе золота было разрѣшено, но обложено совершенно запротекельною податью съ приисковъ небольшихъ, именно въ 30 процентовъ, независимо отъ четырехъ-рублевого платежа на администрацію и проч., и разумѣется, независимо отъ разныхъ косвенныхъ, не прямыхъ, тайныхъ расходовъ. Поэтому верхнеудинскіе прииски почти не давали дохода и мало-помалу оставались, несмотря на богатое содержаніе въ нихъ золота. Чтобы сколько-нибудь подвинуть дѣло, въ 1849 году была принята пропорціональная подать, по количеству добываемаго золота. Всѣ прииски были раздѣлены на десять разрядовъ: кто добывалъ менѣе пуда, платилъ въ казну 300 рублей, не считывая подати съ добычи на проценты. Второй разрядъ, отъ 1 до 2 пудъ платилъ пять проц., третій, до 5 пудъ платилъ 10 проц.; четвертый, до 10 пудъ — 15 проц.; пятый, до 15 пудъ, платилъ за первые десять пудъ по 17 проц., а выше этого количества 25 проц., и т. д. Десятый разрядъ, за добычу золота болѣе 50 пудъ платилъ въ казну 35 процентовъ. Въ силу такого громаднаго налога, золотые промыслы постоянно падали. Въ 51 году добыто всего 1035 пудъ, въ 52-й только 900 пудъ, въ 53-й 878 пудъ. Въ тысяча первый разъ доказана была та несомнѣнная истина, что слишкомъ высокій налогъ всегда обманываетъ возлагаемыя на него надежды. Въ 1854 году составлены были новыя правила, въ видѣ опыта, на три года: всѣ прииски по добычѣ золота раздѣлены на четыре разряда, до 2, до 5, до 10 пудъ и болѣе 10 пудъ, съ податю въ 5, 10, 15 и 20 процентовъ и съ платою отъ каждаго лигатурнаго фунта по 4, 6, 8 и 10 рублей. Вслѣдъ за этимъ постановленіемъ началось увеличеніе добычи золота и возрастаніе казенныхъ прибылей. Въ 1855 году добыто 1110 пудъ, въ слѣдующемъ году 1177 п., потомъ 1275 п., потомъ 1301 п., а казна получила подати 177, 184, 203 и 207 пудъ, гораздо болѣе предшествовавшихъ лѣтъ, несмотря на то, что тогда процентъ брался высшій. Въ официальномъ сообщеніи сказано, что «произведенный опытъ *снущаетъ основательное предположеніе*, что еще въ которое пониженіе подати содѣйствовало бы увеличенію добычи золота, причемъ и доходы фиска остались бы безъ уменьшенія.»

А золото покажется намъ нужно до зарѣзу, вопреки всему тому, что говорятъ политикоэкономы, проповѣдующіе авглійскіе взгляды на нашу торговлю. Они увѣряютъ, что драгоценные металлы необходимы только какъ орудіе мѣны, что они товаръ, довольно удобно представляющій всякій другой товаръ, и что ежели мы вывеземъ за границу пудъ золота, то—есть ежели у насъ пудомъ стало меньше

то мы же въ выигрышѣ, потому что не даромъ пудъ бросили, а получили за него извѣстное количество тканей для своей одежды, или машинъ, для производства новыхъ цѣнностей, или истративъ его во время путешествія, получили извѣстное количество умственного свѣту. Золото и серебро были у насъ непродуцательны, стало-быть бесполезны, тогда какъ одежда приноситъ прямую пользу, предохраняя насъ отъ холоду, машины производятъ новые предметы мѣны, а говорить о пользѣ умственного свѣта какъ-то даже неприлично: такъ это ясно само собою. Ктому же золото — что вода, всегда найдетъ свой уровень, и всегда съ большою охотою естественно приливаетъ туда, гдѣ оно дорого, и уходитъ оттуда, гдѣ оно дешево и проч. и проч. Мало ли чего не говорятъ наши политико-экономы.

Но не хотятъ понять эти господа, не хотятъ видѣть очевидности. Золото, какъ представитель цѣнностей, уходитъ за границу и охотно возвращается, правда, но только въ обмѣнъ опять-таки на другія цѣнности, а не даромъ. Положимъ, что въ нѣкоторомъ царствѣ имѣется извѣстная сумма звонкой монеты изъ драгоцѣнныхъ металовъ, хоть на примѣръ 150 миліоновъ рублей. Положимъ также, что это царство имѣетъ нужду въ предметахъ заграничной промышленности. Прекрасно. Это хорошая нужда, она составляетъ источникъ, причину международныхъ сношеній, ключъ къ общенію народовъ, задатокъ братства между людьми; къ какимъ бы различными національностямъ они ни принадлежали. Все это очень хорошо. Но политическая экономія выработала между прочимъ ту неоспоримую истину, что торговля есть обмѣнъ продуктовъ, и деньги тутъ составляютъ только удобныхъ представителей. Приобрѣтаетъ взятое нами въ примѣръ нѣкоторое царство различныхъ продуктовъ заграничной фабрикаціи на 500 положимъ миліоновъ въ нѣсколько лѣтъ, платитъ за нихъ своими сырыми продуктами 410 миліоновъ, а остальные 90 миліоновъ приплачиваетъ звонкою монетой. Продукты ввозятся, распределяются, тратятся; потомъ сводится балансъ. Оказывается, что жители царства или для краткости само царство состоятъ должнымъ за границу своихъ продуктовъ на 90 миліоновъ, что одно средство воротить монету, необходимое орудіе мѣны, состоитъ въ томъ, чтобы отдать этотъ долгъ продуктами своего труда: тогда возвратятся и отосланные представители труда, драгоцѣнные металы. Но на бѣду случись за границей благопріятный урожай: царство и не можетъ заплатить долга на примѣръ хлѣбомъ; оно и радо бы заплатить, да не берутъ, говорятъ не надо, отдавайте чѣмъ-нибудь другимъ. Чтобы какъ-нибудь извернуться, царство дѣлаетъ заемъ; но что такое заемъ, это извѣстно. Дѣлается

заемъ только тогда, когда вѣтъ готовыхъ продуктовъ труда для полученія за нихъ звонкой монеты, стало-быть закладывается будущій трудъ нашего и слѣдующихъ поколѣній, иначе сказать берется деньги впередъ за будущую работу. Каково-то будетъ потомъ отработывать, хотя заемъ, пока онъ въ рукахъ, еще не истраченъ, дѣло очень удобное.

Царство могло перетратить сказанные 90 миліоновъ рублей, могло и не перетратить, все это было въ его волѣ или лучше сказать это зависѣло отъ соображеній каждаго лица, тратившаго деньги на покупку предметовъ заграничной промышленности. Но еслибы передъ этимъ всѣ лучшіе граждане царства собрались и обсудили дѣло, не могли ли бы они прійти къ слѣдующему заключенію: вымѣнивая за границей трико первѣйшаго свойства ковры-Персію, машины тамъ этакія какія-нибудь на такое количество нашего хлѣба, кожъ и сала, какого теперъ выставить не можемъ, мы обязуемся отдать ихъ впослѣдствіи, а покажѣсть разницу досылаемъ деньгами. Это весьма удобно, но не совсѣмъ расчетливо. Мы очевидно теряемъ, хотя нѣкоторые изъ насъ въ данную минуту выиграютъ. Мы лишаемъ себя необходимаго орудія мѣны, и чтобы воротать его, придется 90 миліоновъ рублей отослать сырыми продуктами и въ обмѣнъ за нихъ получить не трико первѣйшаго свойства, не ковры, не машины, которыя намъ такъ необходимы, а презрѣнный металлъ, который относительно такъ-сказать тоже необходимъ. Но что намъ будетъ дѣлать, если заграничные торговцы, отвратительные эгоисты, не захотятъ во всякое время, когда намъ ни вздумается, принять наши хлѣбъ, сало и кожи, отговариваясь тѣмъ, что покажѣсть не требуется, навѣдайтесь въ другое время? Какъ намъ быть, если у нихъ своего хлѣба родится довольно? Что намъ наконецъ дѣлать, если они въ своемъ грубомъ, отъявленномъ эгоизмѣ зная, что мы нуждаемся въ презрѣнномъ металлѣ, то есть нуждаемся въ отдачѣ имъ продуктовъ, станутъ прижимать насъ и давать слишкомъ мало металла въ обмѣнъ на хлѣбъ, сало и кожу? Входить въ долги вообще дѣло скверное, но денежный, металлическій долгъ несравненно легче того, котораго предметъ — товары, которыхъ достоинство неопредѣлено, сроки отдачи и цѣны не назначены. По этому непридержатъ ли намъ нѣсколько свою склонность входить въ долги. Политическая экономія, которой нѣкоторые любители такъ усердно стараются навязать титулъ науки, увѣряетъ, будто въ государствѣ *всегда* находится въ обращеніи столько золота и серебра, сколько ихъ требуется торговыми оборотами, но мы собственнымъ опытомъ познавая, что это вздоръ, и потому считаемъ нужнымъ принять нѣ-

которыя мѣры. Пусть это будетъ стѣснительно для нѣкоторыхъ, пусть это непріятно будетъ иностранцамъ, которые стараются увѣрить насъ, будто для насъ свободная безрасчетность всего выгоднѣе; но такъ какъ отъ своей безрасчетности все-таки приходится плохо намъ, а не имъ, то мы и распорядимся дома какъ намъ выгоднѣе.

Еще такъ называемая наука увѣрять, что во Франціи слишкомъ много находится въ обращеніи и въ банковыхъ подвалахъ драгоценныхъ металловъ, именно до тысячи мильоновъ рублей, что составляетъ на каждаго изъ 37 мильоновъ жителей по 27 рублей. «Наука» увѣрять, будто столь огромное накопленіе металловъ невыгодно для Франціи. Чтоже? Значить 60 мильоновъ рублей, находящихся въ обращеніи въ Россіи, или по 86 коп. на человѣка выгодно? Значить въ государствѣ *never* находится въ обращеніи столько золота, сколько требуется торговыми оборотами? И почему же это было бы невыгодно? Золото въ рукахъ того, кому оно принадлежитъ, представляетъ квитанцію въ полученіи отъ него товаровъ или труда на такую-то сумму, обязательство возвратить ихъ или другихъ товаровъ на такую же сумму. Слѣдовательно ему должны, все равно кто,—хоть цѣлый свѣтъ долженъ различныхъ товаровъ и продуктовъ на имѣющееся въ наличности количество золота. Весьма выгодное положеніе всеобщаго кредитора, могущаго потребовать уплаты товарами во всякое время, когда ему вздумается или когда придетъ нужда.

Хотя въ Англіи имѣется въ обращеніи и банковыхъ фондахъ не болѣе 450 мильоновъ рублей звонкою монетой, или по 17 рублей на человѣка, но это вовсе не значить, что такая пропорція выгоднѣе, и что и при такой пропорціи можно дѣлать большіе обороты, если хорошо организованы банки и если вошли въ обычай платежи посредствомъ переводныхъ бумагъ.

При этомъ не мѣшаетъ оговориться, что мы вовсе не считаемъ полезнымъ запрещеніе вывоза драгоценныхъ металловъ изъ государства. Кромѣ того, что это невыгодно, это было бы и бесполезно: въ Испаніи всегда было мало золота и серебра, хотя вывозъ ихъ за границу наказывался смертною казнью. Для удержанія въ странѣ нормальнаго количества золота нужны другія мѣры, болѣе дѣйствительныя.

Въ Англію привозится золота и серебра каждый годъ до 250 мильоновъ рублей и почти столько же вывозится, такъ что годовой оборотъ этими металами доходитъ тамъ до 500 мильоновъ. Значительная доля вывоза идетъ на заимообразное удовлетвореніе потребностей другихъ государствъ, что конечно равняется обложенію

рѣчнымъ налогомъ труда нынѣшняго и будущихъ поколѣній чуждыхъ народовъ.

Изъ Россіи въ 1857 году вывезено золота и серебра на $23\frac{1}{2}$ мил., а привезено $8\frac{3}{4}$ мил. Въ 1858 году отпущено $30\frac{3}{4}$ мил., а привезено $6\frac{1}{2}$ мил. Въ 1859 году отпущено $28\frac{1}{2}$ мил., а привезено только $2\frac{3}{4}$ мил. Вотъ уже въ три только года $82\frac{3}{4}$ мил. вывезено, а привезено только 18; стало-быть количество нашихъ металовъ уменьшилось въ три года на $64\frac{3}{4}$ мил. рублей или въ годъ на $21\frac{1}{2}$ мил. Слѣдуетъ замѣтить, что въ это число еще не включены драгоценные металы, идущіе всякій годъ за границу на уплату процентовъ по вѣнскимъ государственнымъ займамъ, что какъ извѣстно составляетъ не малую сумму; вывозъ этотъ не входитъ въ официальные отчеты. Сюда еще не включены издержки нашихъ путешественниковъ, платежи правительства по различнымъ заказамъ, содержащимъ всѣхъ нашихъ посольствъ и консульствъ, которымъ жалованье выдается золотомъ, и наконецъ платежи по акціямъ и облигаціямъ главнаго общества желѣзныхъ дорогъ. Если принять все это въ соображеніе, то ежегодная у насъ убыль золота дойдетъ очень далеко за исчисленные нами $21\frac{1}{2}$ мил. руб., уходящихъ за границу по частнымъ торговымъ оборотамъ.

Слѣдовательно за границу вывозилось въ эти три года не только все то количество золота, которое добывалось въ рудникахъ и розсыпяхъ Сибири и Урала на казенныхъ и частныхъ заводахъ, но приходилось извлечь изъ обращенія большія суммы.

1860 годъ представляетъ уже значительное улучшеніе, указывающее далеко еще не на барыши, а только на начало уплаты долговъ. Въ этомъ году отпущено товаровъ за границу на 22 миліона болѣе, чѣмъ привезено, а вывозъ золота и серебра только на $2\frac{5}{4}$ миліона превышаетъ привозъ. Отчетъ за 1861 годъ еще не обнаружанъ до сихъ поръ, но судя по нѣкоторымъ извѣстнымъ даннымъ, торговые обороты этого года почти равнялись предшествующему году. Произошло это не вслѣдствіе того, что всѣми почувствована была необходимость приостановить чрезмѣрную выписку товаровъ изъ-за границы, а просто потому, что курсы наши чрезвычайно упали, такъ что окончательно прекратилась возможность съ выгодой скупать золотую монету. Сверхъ того въ весьма значительныхъ размѣрахъ уменьшилась отправка денегъ за границу по правительственнымъ и частнымъ заказамъ машинъ (по морскому министерству состоялось высочайшее повелѣніе о заказѣ непременно въ Россіи тѣхъ судовъ и машинъ, которыя могутъ быть сдѣланы здѣсь, а не за границей), а наши путешественники бросаютъ за границей далеко уже не тѣ сумашедшія суммы, какъ бывало прежде. Все это

значительно поправляетъ общее наше положеніе. Къ тому же внутренній кредитъ нашъ начинаетъ мало-помалу возстановляться, благодаря послѣднему займу въ 15 миліоновъ фунтовъ стерлинговъ, назначенному на выкупъ изъ народнаго обращенія кредитныхъ билетовъ. Правда, что размѣнный фондъ государственнаго банка съ полутораста миліоновъ дошелъ до ста, однако теперь онъ опять влѣзаетъ къ увеличенію. Кредитныхъ билетовъ находится въ обращеніи все еще около 700 миліоновъ, но размѣвъ ихъ на золото и серебро открытъ и въ скоромъ времени вѣроятно развѣдъ въ цѣвѣ между билетами и металомъ исчезнетъ. Бумажные знаки или безпроцентные банковые билеты необходимы въ народномъ обращеніи, и всегда останутся въ обращеніи на ряду съ звонкою монетой, если только они свободно будутъ обмѣниваться на монету въ конторахъ банка или въ уѣздныхъ казначействахъ. Отпускъ золота за границу на уплату процентовъ по государственнымъ займамъ будетъ конечно продолжаться, даже вслѣдствіе послѣднихъ займовъ вѣскольکو увеличится; но надобно надѣяться, что при помощи вѣкоторой умѣренности, основанной на прямомъ торговомъ расчетѣ, мы вѣскольکو приостановимъ излишне роскошную выписку товаровъ изъ-за границы, что избавитъ насъ отъ вывоза золота; а съ другой стороны облегченіе постановленій, существующихъ относительно золотопромышленности увеличитъ количество добываемаго у насъ золота, которое конечно будетъ болѣе вынѣшняго, т. е. болѣе 21 миліона въ годъ.

Само собою разумѣется, что на поправленіе акціонерныхъ нашихъ дѣлъ это не будетъ имѣть ни малѣйшаго вліянія, потому что вовсе не безденежье виновато въ крайнемъ разореніи акціонерныхъ обществъ. Напротивъ, эти общества собрали пропасть денегъ, и ежели разорились, то по одной только причинѣ, именно вслѣдствіе нашего лотическаго *авось*. Это вовсе не тотъ авось, который у другихъ народовъ называется рискомъ и безъ котораго, говорятъ, ничего нельзя выиграть; это и не лотерейная игра, въ которой на тысячу билетовъ приходится одинъ выигрышъ; это невѣроятно-малѣпое предоставленіе своей участи не случаю, не какому-нибудь непредвидѣннымъ обстоятельству, а почти навѣрное-извѣстной неудачѣ; это хроническое самоотверженіе по случаю дѣла сдѣлать маленькое усиліе, чтобы уберечься.

А во всемъ виноваты два-три иностранныя слова, не переведенныя надлежащимъ образомъ на нашъ языкъ, причемъ вошли и въ обычай иностранныя понятія, вовсе не подходящія къ дѣлу. Обыкновенно соберутся акціонеры, и въ первомъ собраніи выберутъ директоровъ, какихъ-нибудь финансовыхъ или административныхъ

тузовъ. По привычкѣ быть тузами въ другихъ сферахъ, они не мѣняютъ своей масти и передъ акціонерами, да сверхъ того, заняты дѣлами внѣ акціонернаго общества, они здѣсь дѣлами вовсе не занимаются, а только подписываютъ предписанія, полномочія, выдачи, или съ общественной суммой «живутъ какъ съ собственной казной.» Но будь здѣсь иностранное слово хорошо переведено на нашъ языкъ и наши народно-общинные нравы, дѣла не приняла бы такого траурнаго оборота. Не директоровъ должны избирать общества, а управляющихъ-приказчиковъ. Дѣло торговое, промышленное, денежное, такъ незачѣмъ тутъ дирекція, совѣтъ управленія и проч. Тутъ нужны холоди, приказчики, повѣренные, а не директоры-распорядители, директора-учредители, управляющіе. Названіе, титулъ чрезвычайно много у насъ значать, да и не только у насъ, но и вездѣ. Собралась община денежныхъ вкладчиковъ, произошла между ними складчина. Хозяева складчины, безъ различія суммъ вкладовъ, всѣ на одинаково равныхъ правахъ должны выбрать исполнителей своихъ плавовъ, холодовъ, повѣренныхъ, приказчиковъ. Во первыхъ тузы не согласились бы на такіе унижительные (въ ихъ глазахъ) титулы, вотъ уже и огромный выигрышъ. Потомъ тѣ, которые приняли бы должности, чувствовали бы себя на надлежащемъ мѣстѣ, понимали бы, что они подчиненные міру, а не начальники ему. Это чувство весьма помогало бы правильному веденію дѣла. Сами вкладчики смотрѣли бы на себя иначе, лснѣ понимали бы, что они хозяева дѣла, стало быть всѣ отношенія были бы несравненно ближе къ дѣйствительному, настоящему своему значенію. Акціонеры въ качествѣ хозяевъ наблюдали бы за ходомъ своего дѣла, а директоры, въ качествѣ повѣренныхъ и приказчиковъ, дѣлали бы свое дѣло какъ слѣдуетъ, зная, что за ротозѣйство хозяина спуска не дасть, а за безтолковую растрату общественныхъ денегъ на міру бываетъ и расправа, потому что общество потребуетъ строгаго отчета, какъ хозяинъ отъ приказчика, а не такъ, какъ всепокорнѣйшій акціонеръ отъ ясновельможнаго директора-распорядителя.

А дѣла акціонерныхъ компаній окончательно теперь въ упадкѣ. Биржевыя вѣдомости недѣли двѣ тому назадъ увѣрали, будто «положеніе нашего акціонернаго рынка, послѣ долговременнаго застоя и полной апатіи къ покупкамъ, представляетъ нынѣ конечный результатъ биржевого акціонернаго кризиса: акціи упали въ цѣнѣ до крайняго предѣла и дальнѣйшее пониженіе ихъ невѣроятно.» Слѣдуетъ замѣтить, что это было биржевое самообольщеніе. Конечный результатъ кризиса видѣть не положенъ, крайній предѣлъ упадка цѣны не опредѣленъ, и если нехочется вѣрить возможно-

сти дальнѣйшаго пониженія, то это не удержитъ цѣнъ отъ дальнѣйшаго пониженія. Въ началѣ нынѣшняго года акціи падали въ цѣнѣ, — это всякій помнитъ. Теперь лучшія акціи, то-есть тѣ, которыя до сихъ поръ продаются дороже своей номинальной цѣны, упали противъ цѣнъ, бывшихъ въ началѣ года, на 6, на 11 и даже на 13 процентовъ. Это акціи общества «Надежда», «бумагопрядильной мануфактуры», «перваго страхового общества» и «застрахованія капиталовъ и доходовъ». Акціи «россійско-американской компаніи» продаются теперь по номинальной цѣнѣ, но ниже, чѣмъ въ началѣ года на 19 процентовъ. Какъ ни жаль акціонеровъ за такую огромную потерю, нельзя однакоже не радоваться, за колошей, алеутовъ и прочихъ краснокожихъ и бѣлокожихъ крѣпостныхъ этой компаніи. Если дѣла компаніи идутъ дурно, то это значитъ что дѣла колошей и алеутовъ идутъ лучше прежняго, и всякій можетъ радоваться упадку акцій сѣверо-американской компаніи или приходитъ отъ этого въ глубокую печаль, смотря по тому, кому онъ сочувствуетъ: эксплуатируемому или эксплуататору. Остальныя акціи упали противъ цѣнъ, бывшихъ въ началѣ года, отъ 3 до 35 процентовъ. Но кто же можетъ удостовѣрить, что пониженіе цѣнъ не будетъ продолжаться? На это нѣтъ никакого ручательства, потому что неслыхать даже о пересмотрѣ уставовъ, о перемѣнѣ системы, — а только одно это и можетъ остановить дальнѣйшее пониженіе цѣнъ.

Само собою разумѣется, что акціи съ поручительствомъ правительства не подвержены такому упадку какъ всѣ остальные; такъ облигаціи и акціи главнаго общества желѣзныхъ дорогъ продаются почти по номинальной цѣнѣ, а открытіе движенія по всей варшавской линіи вѣроятно еще возвыситъ ихъ цѣну, въ особенности въ наступающую зиму, когда начнется сухопутный привозъ товаровъ. Но объ этой дорогѣ и объ этомъ обществѣ мы поговоримъ въ свое время.

Дѣла николаевской желѣзной дороги процвѣтаютъ. Она выручила въ первые восемь мѣсяцевъ нынѣшняго года 5,467,792 рубля; втеченіе одного августа выручено 722,951 рубль за перевозку пассажировъ, грузовъ, товаровъ, багажа и почты. Пересматривая ежемѣсячные отчеты этой дороги, замѣчаемъ, что наибольшій доходъ ея — отъ пассажировъ, и именно тѣхъ, которые ѣздятъ на пассажирскомъ, а не на почтовомъ поѣздѣ. Въ августѣ, въ сентябрѣ и въ октябрѣ, когда рабочіе изъ Петербурга ѣдутъ по деревнямъ, домой, доходъ наибольшій, точно такъ же какъ и въ весенніе мѣсяцы, когда рабочіе съѣзжаются въ столицу. Въ остальные мѣсяцы дѣла идутъ гораздо тише: почтовые поѣзды иной разъ бываютъ почти пусты. Зато пассажирскіе поѣзды третьяго класса бываютъ

чрезмѣрно переполнены. Кому не случилось заглянуть въ тотъ залъ, гдѣ берутъ билеты третьеклассные пассажиры (4 руб. до Москвы), тотъ не можетъ составить себѣ ни малѣйшаго понятія о томъ что тамъ происходитъ. Поѣзды изъ Петербурга отправляются въ часъ и въ два часа пополудни; при огромномъ стеченіи народа иногда въ промежуткѣ отправляется еще поѣздъ. Желающихъ ѣхать бываетъ въ осеннее время около тысячи человекъ за разъ. Касиръ одинъ. Онъ долженъ вырѣзать изъ книги отъ 700 до 800 билетовъ на каждый поѣздъ, или около двухъ тысячъ билетовъ втеченіе трехъ часовъ; на каждый изъ нихъ наложить штемпель и за каждый изъ нихъ получить деньги и дать сдачи. Чтобы вся масса желающихъ ѣхать не задавила касира вмѣстѣ съ его прилавкомъ, устроены перила, вдоль которыхъ желающихимъ ѣхать приходится стоять поодиначкѣ, подходить стало-быть поочереди, по мѣрѣ того, какъ получившій билетъ уходитъ, уступая мѣсто слѣдующимъ. Когда за перилами не помѣщаются еще неудовлетворенные желающіе, они становятся ниѣ перилья и дѣлаютъ такъ-называемый хвостъ, *on fait la queue*. Все это придумано чрезвычайно хорошо. Но за перилами и въ хвостѣ находится человекъ двѣсти. Пока мѣстъ касиръ удовлетворяетъ перваго, всѣмъ среднимъ, отъ второго до сто-девяносто-девятаго приходится жутко. Пламенно стремясь къ одной цѣли, они слегка надавливаютъ другъ друга, но двѣсти легонькихъ давленій равняются чуть ли не давленію трехъ атмосферъ. Ктому же вся почтеннѣйшая публика одѣта въ овчинные тулупы (зима на дворѣ), да у каждаго за плечами котомка съ имуществомъ или мѣшокъ пуда въ полтора. Разогрѣваніе человека въ кипящей смоли никакъ не можетъ быть тягостнѣе того, что тутъ испытываетъ публика. Но пожалуй, это бы еще ничего: во первыхъ паръ костей не ломить, а вовторыхъ помучился, пропрѣлъ какой-нибудь часть, съѣлъ потомъ на машину, и считаешь себя будто дома, — тутъ уже несомнѣнна минута, въ которую пріѣдешь на свою станцію. Но каково же это для здоровья, выйти изъ этого ада на морозъ и на сквозномъ вѣтру отыскивать себѣ мѣста, переходя изъ вагона въ вагонъ. Не лучше ли было бы устроить двѣ или три касы, чтобы публика, дающая дорогѣ наибольшій доходъ, не теряла шокрайней мѣрѣ здоровья.

Понятно, что двѣсти-первому стать въ хвостѣ — страшная перспектива, потому что онъ скоро перестанетъ быть послѣднимъ, только-что примкветъ къ нему новый желающій, тамъ явится третій, и пойдетъ давленіе такъ-сказать гидравлическое. Поэтому публика поднимается на хитрости. Мужики, дѣлающіе хвостъ въ рѣшотки, честнѣйшимъ образомъ стоятъ одинъ за другимъ, не пере-

бывая очереди. Но вотъ является какое-нибудь пальто, только не мужикъ, и насильственно втирается въ очередь, нарушая права всего хвоста, бездально, безошливно увеличивая его муку. И замѣчательно, что никто не протестуетъ, никто не поднимаетъ голоса, чтобы выгнать притѣснителя, чтобы заставить наглеца занять свое мѣсто въ очереди. Публика съ поразительнымъ терпѣніемъ переноситъ злоупотребленіе. Только разумѣется, что-нибудь нехорошее накапливается. Или какая-нибудь барыня подойдетъ къ периламъ, за которыми прѣдетъ очередная публика, и попроситъ кого-нибудь ближайшаго къ цѣли взять и для нея билетецъ, до такой-то станціи. И беретъ у нея деньги прѣющій, и беретъ для нея билетецъ, не думая о томъ, что позади его по этому случаю цѣлую лишнюю минуту страдаетъ хвостъ.

Но вотъ потопролитіе кончилось; счастливецъ съ билетомъ спѣшить въ вагонъ, и тутъ оказывается степень нравственнаго развитія нашей публики. Вы входите въ вагонъ и обращаетесь къ первому лицу, которое сидитъ одно на лавкѣ, назначасмой для двухъ пассажировъ: — возлѣ васъ мѣсто не занято? — Занято, отвѣчаетъ лицо съ надутою важностью, и вретъ, чтобы удобнѣе сидѣть одному. — А возлѣ васъ мѣсто свободно? — Здѣсь мой мужъ сидитъ, сейчасъ придетъ, — отвѣчаетъ особа, и нагло вретъ, чтобы удобнѣе сидѣть одной. Проходя долго по вагону, вы наконецъ встрѣчаете простодушно-привѣтливый взглядъ и радушныя слова: свободно, свободно, садись, кормилецъ!

Вопросъ о степени нравственнаго развитія въ некоторой публики сводится непосредственно къ вопросу объ образованіи, о просвѣщеніи, о развитіи умственномъ. Намъ приходится теперь принять рѣшительныя мѣры для того, чтобы образованіе подвинулось впередъ. Это становится необходимымъ даже по хозяйственнымъ соображеніямъ; этого прямо требуютъ наши выгоды, не говоря уже о человѣческомъ достоинствѣ. Преобразованія судебной части требуютъ юристовъ въ огромномъ количествѣ; сельское хозяйство силою обстоятельствъ поставлено такъ, что должно принять новое, рациональное направленіе и требуетъ естественниковъ и камералистовъ; крайняя нужда въ различныхъ фабрикахъ и заводахъ вызываетъ химиковъ, технологовъ, механиковъ и минералоговъ; всеобщій недостатокъ дорогъ требуетъ инженеровъ; наконецъ духъ времени требуетъ честныхъ, нравственно развитыхъ гражданъ, а съ духомъ времени ктоже совладаетъ? Пусть никто и не пробуетъ: совладать нельзя.

Если мы не поторопимся удовлетворить всѣмъ этимъ законнѣй-

шимъ и настоятельнѣйшимъ требованіямъ, то наша лѣтопись будетъ обыкновенно и нормально слѣдующаго содержанія:

Орловской губерніи малозархангельскаго уѣзда въ селѣ Фошнѣ, жена кантониста Трофима Яковлева, Анна Семенова, изрубила себѣ топоромъ обѣ ноги и спину. Она объяснила, что къ ней приходилъ какой-то старичекъ и совѣтовалъ ей удавиться, отъ чего она отказалась; но потомъ тотъ же старичекъ, взявши топоръ, отрубилъ ей на лѣвой ногѣ палецъ, и передавая ей топоръ, сказалъ, чтобы она себя рубила, что она и исполнила, желая испытать трехдневную муку, которую претерпѣлъ Спаситель. Признаковъ помѣшательства въ Семеновой не замѣчено, а извѣстно только, что она шла за поемъ.

Въ августовской книжкѣ «Трудовъ экономическаго общества» г. Гакъ увѣряетъ, будто *предметъ кирпичныхъ заводовъ и кирпичное производство* составляетъ важную отрасль политической экономіи. Тоже ученое общество, которое распространяетъ такіа глубокія истины, поручаетъ временное отправление должности своего ученаго секретаря, бывшаго за границей, — лицу, не имѣющему никакого ученаго или экономическаго авторитета.

Тамбовской губ. липецкаго уѣзда села Алексѣвки крестьянинъ Никита Абросимовъ проповѣдывалъ, что 29 іюля между заутренней и обѣдой будетъ свѣтопреставленіе. Народъ началъ толпами стекаться къ Абросимову не только изъ своего села, но изъ Ивановки, Семеновки и Головщины. На мѣсто происшествія долженъ былъ пріѣхать становой приставъ, чтобы доказать народу заблужденіе проповѣдника Абросимова, потерявшаго разсудокъ.

6 сентября г. Холневъ, секретарь «Вольнаго экономическаго общества», неизвѣстно для какой цѣли и въ какихъ видахъ посланный на деньги общества на лондонскую выставку, читалъ въ собраніи краткій отчетъ о своей поѣздкѣ. Изъ этого отчета оказывается, что поѣздка была вовсе бесполезна, ни къ чему не повела, да и не могла повести. Г. Холневъ повторилъ то, что мы уже знаемъ изъ газетъ, именно что образцы хлѣбныхъ зеренъ были самого дурнаго качества, ленъ и пенька низшихъ сортовъ, а изъ минеральныхъ богатствъ былъ выставленъ, по энергическому выраженію самого г. Холнева, «какой-то хламъ, какъ бы съ толкучаго рынка: большіе, грязные и запыленные образцы, расположенные почти на самомъ полу, безо всякой системы.» Въ добавокъ г. Холневъ имѣлъ неосторожность напомнить о нашей сельско-хозяйственной выставкѣ, не имѣвшей каталога и стоившей обществу огромныхъ денегъ. На лондонской выставкѣ тоже не было каталога нашихъ вещей. «Такова уже видно судьба нашихъ каталоговъ, что они всегда послѣ носибъ-

вають», неосторожно замѣчаетъ г. Ходневъ, но не упоминаетъ, кому поручено было составленіе каталога и кто за него взялся, — не тотъ ли самый господинъ, который распорядился нашею выставкой въ Петербургѣ?

Г. Дмитревскій въ «Москов. вѣдом.» высчитываетъ, что московскій купеческій клубъ получаетъ отъ одной игры въ лото-домино около ста тысячъ рублей серебромъ въ годъ, взимая по пятидесяти коп. за каждую сыгранную партію.

Въ подольскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ напечатано: 29 іюля крестьянинъ с. Глинянца, Михальчукъ, семидесяти лѣтъ, страдавшій съ давняго времени чахоткой, умеръ отъ удара въ лицо, нанесеннаго мировымъ посредникомъ 4 участка брацлавскаго уѣзда, Запольскимъ.

НО ПОВОДУ ГОДИЧНОЙ ВЫСТАВКИ ВЪ АКАДЕМІИ ХУДОЖЕСТВЪ

Почтенное зданіе академіи, мрачное и безлюдное весь годъ, съ потемнѣлыми копіями и гипсами въ пыли, съ холодною лѣстницей и длинными коридорами; тѣсныя студіи молодыхъ художниковъ, страдающихъ надъ разными Агамемнонами, Харонами и Тирзисами, этими чистилищами, сквозь которыя непременно суждено пройти грѣшнику искусства, чтобы сподобиться медали; тяжелая дубовая дверь входа на заперѣ; швейцаръ такой же тяжелый на подъемъ, при появленіи рѣдкаго посѣтителя, какого-нибудь заѣзжаго чудака, осматривающаго Петербургъ какъ рѣдкость; все это, неподвижное, запертое и затхлое, съ наступленіемъ осени, начинаетъ вдругъ обнаруживать признаки движенія, оживать отъ хлынувшаго извнѣ свѣжаго воздуха, выползаетъ на свѣтъ и въ началѣ сентября доказывать свое рѣшительное существованіе раскрытою настежь дверью. Холсты, рисунки, чертежи, гипсы, иногда мраморы, съ нѣкоторыхъ поръ всегда фотографіи (а современнымъ вѣроятно будетъ и что-нибудь другое — выдѣланныя кожи напримѣръ), несутся, везутся и тащатся изъ закоулковъ всякаго рода и изъ мастерскихъ. (Слово мастерская надо принимать впрочемъ болѣе за метафору: собственно мастерскихъ въ Петербургѣ вовсе нѣтъ, а есть болѣе или менѣе неудобныя комнаты, гдѣ художники, поработавшіе въ странахъ съ мастерскими, долго приноравливаются какъ-нибудь работать, пока не придутъ къ убѣжденію, что лучшее средство — совсѣмъ не работать...) Но не одна только дверь въ швейцарскую, дверь въ храмъ безсмертія, или покрайней-мѣрѣ сбыта художественнаго товара, осенью

Отперта для званыхъ и незваныхъ —
Особенно изъ иностранныхъ.

Академическій совѣтъ въ мундирахъ произноситъ слово жизни или смерти Тирзисамъ и Агамемнонамъ. Слѣдствіемъ бываетъ по-

явленіе ярлыковъ надъ произведеніями искусства: «удостоенъ первой золотой медалі, признанъ академикомъ, профессоромъ» и т. п. Приятно доносится до слуха рассказы свѣдущихъ людей о томъ, какъ вѣрныя стражи чистоты искусства, признавая весьма основательно, что тогда изъ чистаго источника и могутъ истекать настоящіе Харовы и Тирзисы, подвергаютъ при этомъ тщательному изслѣдованію нравственную сторону производителей — почему благоправіе, т. е. послушаніе и соединенныя съ нимъ добродѣтели, получаютъ (или по крайней мѣрѣ до сихъ поръ получали) заслуженную награду; свойства же противоположныя, т. е. безнравственность, достойно наказуются...

При общемъ упадкѣ нравственности вообще, нельзя не остановиться съ вѣкоторымъ даже удивленіемъ передъ совѣтомъ нравственности академіи и не остановиться у его порога читателя...

Совѣтъ этотъ, читатель, состоитъ изъ 12 членовъ, и начало несмѣлвости, о которомъ вамъ толкуютъ по поводу новаго учрежденія верховныхъ судей, имѣетъ здѣсь давно свое приложеніе. Совѣтъ такимъ образомъ есть пожизненная собственность опредѣленнаго числа заслуженныхъ профессоровъ. Этотъ художественный ареопагъ, недоступный для современнаго художника, представляетъ въ полномъ своемъ собраніи тысячелѣтіе русскаго искусства и онъ-то рукою указываетъ дорогу молодымъ дарованіямъ (!). Одна смерть властва вѣсти новое лицо въ старую залу стараго совѣта, но вѣ тутъ сила сплоченности подставляетъ ему ногу, и подъ видомъ новаго лица вводитъ безличность или продолженіе фирмы, какъ это было еще не такъ давно съ кресломъ профессора пейзажной живописи. Профессоръ этотъ получалъ свое званіе преемственно отъ отца и не выдержалъ бы тогда, а теперь и подавно, конкурса не только что съ такими профессорами-художниками, каковы Боголюбовъ, Лягоріо, Эрассъ и др., но даже и съ весьма многими учениками, которыми онъ присуждаетъ преміи и которыхъ можетъ-быть лишаетъ премій...

Правда, молодые художники влекутся болѣе отъ старыхъ профессоровъ совѣта къ профессорамъ-художникамъ, находящимся внѣ совѣта, но вѣдь это уже во всякомъ случаѣ *безнравственность*. И вотъ ученикъ, имѣя странилице экзамена передъ собою, волей или неволей бредетъ за приказаніями къ своему начальнику-

(!) Между членами совѣта есть люди старѣе 90 лѣтъ; нѣтъ исключенія, можно назвать двухъ-трехъ замѣчательныхъ художниковъ, сохранившихъ способность быть руководителями и судьями въ искусствѣ: довольно назвать Пименова, Бруни, А. Брюлова...

професору, держа картину какъ хлѣбъ-соль предъ собою (такая уже заведена форма).

— Гм! это что у тебя тамъ? спрашиваетъ наставникъ со свойственною фамильярностью.

— Программа, ваше п—ство... Агамемнонь, ваше п—ство, отвѣчаетъ ученикъ.

— Гм! Агамемнонь. Такъ это у тебя Агамемнонь? Хорошо. Ну, такъ чтоже тебѣ надо отъ меня?

— Не прикажете ли чего, ваше п—ство...

— Гм! произноситъ професоръ, разваливаясь въ креслахъ: — держи, братецъ, картину перелъ собою, какъ слѣдуетъ, — ничего не вижу... И вытаскивъ очки изъ футляра, его превосходительство начинаетъ водить глазами по картинѣ — иногда пальцемъ, а иной разъ табакеркою или зонтикомъ, если изволило вернуться съ прогулки.

— Стиля нѣтъ у васъ нынче, — рѣшаетъ онъ, укладывая очки обратно въ футляръ. А впрочемъ, ступай себѣ, братецъ, съ богомъ — дѣлай какъ знаешь. Только къ молодымъ професорамъ не ходи. У нихъ неуваженію къ старшимъ только наберешься. *Слышь!* А не то медали тебѣ какъ своихъ ушей невидать. *Слышь!*

Послѣ такого или почти такого полезнаго назиданія, художникъ отправляется, сохраняя по возможности инкогнито, къ одному изъ молодыхъ набираться, выѣстѣ съ неуваженіемъ къ старшимъ, чему-нибудь по части умѣнья писать картины.

Ну что еслибы сдѣлать обмѣнъ ролей, т. е. професоровъ съ учениками и совѣтами признать за професоровъ академіи и членовъ академическаго совѣта, а професоровъ безъ учениковъ и совѣтовъ оставить на покоѣ, на пенсіи, въ высокомъ чинѣ, какъ хотите, но только не на аренѣ художественныхъ подвиговъ, превратившихся для нихъ въ бремя не по силамъ? Отчего бы не назначить конкурса, по истеченіи опредѣленнаго срока, на право занимать кресло въ совѣтѣ? Это не позволяло бы професору художественные интересы мѣнять на чиновные и въ тоже время давало бы возможность молодому, свѣжему дѣятелю войти въ составъ совѣта, на мѣсто отставшаго или облевившагося. Подрядная иконопись, само собою разумѣется, не должна бы давать правъ истинной живописи, но при обсужденіи вопроса о продолженіи занятія должности професора академіи, слѣдовало бы требовать самостоятельной живой работы отъ конкурента. Тогда увидѣли бы всѣ, кто продолжаетъ быть професоромъ-художникомъ и кто сдѣлался чиновникомъ? А теперь, даровавія сильныя и развитыя современно (каковы напримѣръ гг. Худяковъ, Боголюбовъ, Лагоріо, Эрасси, Соколовъ и другіе) устра-

нены отъ права сказать свое слово въ стѣнахъ академіи и только подъ секретомъ могутъ учить молодыхъ художниковъ, чтобы не повредить имъ на экзаменѣ. Московское училище званія и живописи, которому посчастливилось приобрести себѣ Сорокина (старшаго), неумѣло даже найти свѣтлаго угла г. Худякову, гдѣ онъ могъ бы работать и вынудило его черезъ то переселиться въ Петербургъ. Здѣсь, благодаря опустѣлой мастерской одного академика, умѣвшаго себѣ добыть это диво, Худяковъ имѣетъ покрайшѣ мѣрѣ довольно пространства и свѣту, чтобы помѣстить холстъ, на которомъ пишетъ. А у профессоровъ—чиновниковъ половинна зданія академіи подъ квартирами, и свѣтъ обширныхъ оконъ только мѣшаетъ имъ спать покойно.

Вообще положеніе нашихъ молодыхъ профессоровъ въ академіи совершенно противоположно ихъ правамъ на это положеніе: въ свѣтѣ они, какъ сказано, не имѣютъ голоса, и только нѣкоторые изъ нихъ получили недавно помѣщеніе, въ которомъ могутъ работать; всѣ большіе заказы отъ правительства отданы и отдаются безъ конкурса чиновникамъ академіи, и кисти людей даровитыхъ служатъ откупщикамъ, которые одни въ состояніи покуда выплачивать большія деньги за ихъ картины. Съ прекращеніемъ откупа придется вѣроятно понизить цѣны, отчего впрочемъ выиграютъ не только истинные любители съ размѣрами кармановъ болѣе скромными, чѣмъ у откупа, но и художники, переставъ состоять, на старомъ положеніи, подъ покровительствомъ денежныхъ меценатовъ. Нѣтъ сомнѣнія, что художники не захотятъ долго оставаться подъ этою опекою и свергнуть съ себя, какъ русская литература, иго богачей, покровительственно относившихся когда-то къ писателю и несомнѣнно еще отвыкшихъ относиться такимъ образомъ къ художнику. Когда монополія капиталовъ въ области художества прекратится, послѣдняя перестанетъ быть невѣдомою странною для большинства публики. Еще Петербургъ и Москва покрайней-мѣрѣ изрѣдка напоминаютъ своими выставками, что есть нѣчто кромѣ литографій въ эстампныхъ магазинахъ и образовъ на золотомъ фонѣ; прочія же мѣста Россіи почти незнаютъ вовсе что такое картина. За свои большія деньги, художникъ, самъ того не подозревая, продаетъ часто свою извѣстность, потому что картина, перешедшая изъ мастерской прямо въ залу какого-нибудь откупщика или московскаго торговаго мецената, за немногими исключеніями, хоронится для публики. Только усерднѣе посѣтителемъ мастерскихъ художниковъ и извѣстны всѣ ихъ работы; самыя лучшія по большей части остаются тайной для публики: ревнивый ихъ заказчикъ не хочетъ даже подразнить ими чужихъ глазъ и не пу-

оказать на выставку, какъ строгій отецъ своихъ дочерей на балъ. Пусть не говорятъ и перестанутъ думать, что искусство есть роскошь, достоинствѣ богатства: аѣтъ, искусство есть потребность образованнаго общества, средство къ смягченію нравовъ и очищенію вкуса. Оно должно стремиться къ тому, чтобы картина по возможности, на ряду съ книгой, вошла въ небогатія жилища людей, ощущающихъ свѣтъ и утѣшеніа, въ чемъ бы они ни проявлялись: въ звукахъ, печатномъ словѣ, или краскахъ. Задача искусства — вовсе не забавить богача — она гораздо возвышеннѣе. Искусство (по выраженію одного знаменитаго писателя) «вѣщаетъ съ зарницами личнаго счастья, единственное несомнѣнное благо наше.»

Съ нѣкоторыхъ поръ учреждена въ Петербургѣ (и кажется также въ Москвѣ) постоянная выставка художественныхъ произведеній. Въ Петербургѣ она помѣщалась сперва далеко отъ центра города, въ зданіи биржи, и одни отчаянные любители чувствовали въ себѣ довольно храбрости, чтобы предпринимать эстетическіе походы «на тѣ острова, гдѣ растетъ тризнь-трава.» Послѣ нестойкій художниковъ и нѣкоторыхъ изъ этихъ отчаянныхъ, меценаты перевели выставку на Невскій проспектъ. Къ ихъ крайнему удивленію, заловаго помѣщенія остаются почти также пусты, какъ и залы стараго. А удивляться-то собственно нечему: неудача въ выборѣ перваго пристанища успѣла охладить вниманіе публики къ постоянной выставкѣ; привычка же къ тому, что все носящее названіе художественнаго произведенія соединено съ понятіемъ о большахъ деньгахъ, породило убѣжденіе въ недоступности впускной цѣны на предстоящую выставку. Выставьте цѣну (а она очень умеренна: 15 коп.) на наружныхъ дверяхъ и въ окнахъ — и вы увидите, что посетители лезутъ.

Заговоривъ объ этой выставкѣ, я вовсе неуклонюсь отъ выставки *академической*: одна дополняетъ другую, также какъ одна и избираетъ другую. Дѣйствительно, на постоянной выставкѣ, всякое или почти всякое произведеніе (исключеніе составляютъ собственности ревнителей ховловъ) можетъ появиться во всякое время года, не дожидаясь, когда двери академіи украсятся представителями порядка. Такимъ образомъ, только-что кончившая работа художника показывается въ помѣщеніи на Невскомъ проспектѣ. Простоявъ недѣлю, другую, она замѣняется новою, и на годичную выставку попадаетъ только непроданная или прямо вышедшая изъ мастерской. Отъ этого-то въ послѣдніе годы, особенно въ самый холодный, академическія выставки все малочисленнѣе и бѣднѣе количествомъ (и даже отчасти качествомъ) своихъ произведеній. Допропущенному заляются въ полную составъ только программы учениковъ.

Все это мало известно большинству публики; иначе небольшие залы постоянной выставки (1), богато снабженные отборными произведениями современных и старых мастеровъ, нашихъ и иностранныхъ, доставляемыхъ изъ мастерскихъ и изъ лучшихъ галерей Петербурга — вѣрно бывали бы полны. Между гуляющими ежедневно нашлось бы не мало людей, готовыхъ вынуть изъ кошелька 15 к., чтобы отдохнуть, кто душою, а кто и просто ногамъ... А вслѣдъ ли знаетъ, что эти 15 копѣекъ имѣютъ назначеніе помогать даровитымъ бѣднякамъ художникамъ, и что изъ нихъ, со взносами членовъ общества поощренія художниковъ, образуется капиталъ, воспитывающій и уже воспитавшій не одного замѣчательнаго живописца, скульптора и т. д.? Общество поощренія художниковъ дѣйствительно ихъ поощряетъ, только публика — то мало поощряетъ такое общество. Причиной тому, мнѣ кажется, все та же неизвѣстность и исключительность, окружающія наши предприятия во части художествъ. Еслибы всѣмъ было известно, что входя членомъ въ это общество, поощритель, за свои 10 рублей въ годъ, имѣетъ разные права и привилегіи, какъ-то: бесплатный входъ на постоянную выставку; право бесплатнаго выигрыша на художественной ежегодной лотерей, гдѣ разыгрываются, только для однихъ членовъ, оригинальныя картины, рисунки, гравюры и проч., сверхъ того, вслучи невывыигрыша, непремѣнное полученіе, въ видѣ преміи, особаго вѣщана, — еслибы все это было хорощенько извѣстно, то великодушнѣе жертвователей, не замедлило бы обнаружиться... Жаль, если и при такихъ соблазнительныхъ правахъ членовъ, общество поощренія художниковъ останется безъ членовъ и постоянная выставка — эта драгоценная школа для развитія эстетическаго вкуса публики и для готоваго во всякое время назиданія художниковъ, молодыхъ и зрѣлыхъ, должна будетъ закрыться... Меценаты, нанявшіе помѣщенія на Невскомъ проспектѣ, захотѣли ли еще нести дефицитъ на себя, — да и нестыдно ли достѣточной части публики, бросающей охотно деньги на всякія наслажденія кромѣ эстетическихъ, предоставлять кому-нибудь исключительное право прокормленія художествъ...

Нѣстати о профессорахъ-художникахъ, остающихся въ штатѣ. Пишущему эти строки колежительно извѣстно, что многіе изъ вышнихъ молодыхъ профессоровъ согласились бы занять мѣста профессоровъ-преподавателей живописи при учебныхъ округахъ и поселиться въ Харьковѣ, Одессѣ, Казани, Кіевѣ или Москвѣ. Посмотрѣте, какъ это способствовало бы развитію эстетическаго чув-

(1) Противу Аничкова дворца, на Невскомъ проспектѣ.

ства цѣлаго края: мастерская художника, открытая для всѣхъ, приучала бы глазъ не однихъ посѣтителей университета къ произведеніямъ искусства и рождала охоту къ приобретенію картинъ, взамѣвъ золоченыхъ обоевъ, которые богатые провинціалы выписываютъ за большія деньги изъ Петербурга. Молодые люди, съ призваніемъ къ искусству, лишонные средствъ добраться до Москвы и Петербурга, нашли бы готовую школу у себя подъ рукою и развились бы современемъ въ художниковъ, или приобрѣли бы своими работами нѣкоторыя матерьяльныя средства, чтобы довершить развитіе въ академіи. Довольно вспомнить, что многіе изъ лучшихъ современныхъ талантовъ нашихъ: Худяковъ, братья Сорокины и др., почувствовали призваніе къ искусству въ деревняхъ, недѣ указкой простыхъ иконописцевъ. Что же было бы, еслибъ они встрѣтили сразу опытнаго и даровитаго художника-профессора, до котораго не было бы нужды добираться путями всевозможныхъ лишеній, преодолевая тѣ препятствія, какія встрѣчаетъ бездомный бѣднякъ, пѣшкомъ пршедшій въ московское училище живописи и ваянія, или въ петербургскую академію художествъ. А теперь взгляните на каталоги выставокъ: есть ли хоть одно произведеніе, присланное изъ провинціи? Ни одного. Есть ли кому заказать хоть портретъ въ губернскомъ городѣ? у кого купить пейзажъ или картину! Нѣтъ, рѣшительно нѣтъ! Въ Крыму правда есть Айвазовскій, и около него образовалось нѣсколько художниковъ; но Айвазовскій живетъ у себя въ деревнѣ, и потому ему труднѣе составить школу, чѣмъ жителю большого города. Миѣ удалось видѣть очень недурные пейзажи одного изъ его учениковъ въ Харьковѣ, куда они попали случайно. Выслалъ еще когда-то одну или двѣ картины на выставку Гарановичъ изъ Оренбурга, но Гарановичъ ученикъ Карла Брюллова, занесенный обстоятельствами изъ Петербурга на границы Киргизіи. Вообще же далѣе столицъ не проникъ свѣтъ искусства въ Россіи, и дурно-освѣщенныя улицы губерній вполнѣ соответствуютъ мраку по этой части. Такъ будетъ до тѣхъ поръ, пока художники, полныя силы и готовности къ труду, останутся (а пока они остаются) въ сѣрой атмосферѣ петербургскихъ четвертыхъ этажей или заднихъ дворовъ академіи. Мало того: виды Италіи и Швейцаріи не сойдутъ со станковъ художниковъ, пока они не станутъ проживать внутри Россіи: мимолетныя ихъ поѣздки за стѣнами не достаточны для усвоенія характера новой для нихъ страны. Говорю новой, потому что всѣ они учены на образцахъ и на природѣ иныхъ странъ; глазъ ихъ привыкъ улавлять иные краски, иные очертанія. Я не думаю оскорбить г. Боголюбова, навривѣръ, сказавши, что его картины изъ русской приволжской

природы (невыставленные) отстали отъ его же картинъ, изображающихъ Италію, Нормандію, Голландію и т. п. А отчего это? Оттого что художникъ много и пристально учился надъ тѣми мѣстностями и только схватилъ на лету общій-видъ мѣстностей приволжскихъ; оттого что роскошныя краски еще горятъ въ его глазахъ и мѣшаютъ видѣть блѣдые, бѣдные тоны этихъ картинъ.

Живописцы быта (жанристы) обваруживаютъ болѣе влеченія къ русской, или покрайней-мѣрѣ петербургской жизни, введенные въ нее смѣлымъ Федотовымъ. Впрочемъ это происходить можетъ-быть и оттого, что за нею не надо ѣздить. Собственно *русскій бытъ* дается и въ этой области немногимъ. Нельзя не замѣтить также самоотверженнаго поступка академіи, наложившей, какъ Сатурні, свои руки на собственныхъ ея чадъ — Тирзисовъ и Агамемноновъ; замѣняемыхъ для конкурса Іоаннами III и стрѣльцами. Бѣдные исполнители программъ спасены такимъ образомъ отъ переодѣванья русскихъ Архиповъ и Матривъ въ боговъ и царей Греціи, а посѣтители выставки — отъ непріятности быть свидѣтелями этого страннаго маскарада.

Затѣмъ общій видъ выставки похожъ на всѣ бывшія и вѣроятно будущія виды академическихъ выставокъ; вообще нѣсколько произведеній солистовъ послѣдней залы (античной) утопаютъ въ хорахъ и между статистами, наполняющими остальные залы, — только на этотъ разъ и первыхъ и вторыхъ численно менѣе обыкновеннаго; еслибы вторыхъ было еще менѣе, то было бы еще лучше. Незбѣжныя, родовые признаки выставки — вакханка и пейзажи братьевъ Чернецовыхъ на лицо. Вакханка такая же розовая, какъ принято быть вообще вакханкамъ на выставкахъ; пейзажи такіе же сѣрые, словно писанные горохомъ, какими и подобаетъ быть пейзажамъ братьевъ Чернецовыхъ.

Кисть заслужонныхъ братьевъ, передавшая счастливому человечеству Волгу «отъ Твери до Астрахани», Палестину и Египеть, не мѣняя красокъ на палитрѣ, произвела изъ ихъ остатковъ на этотъ разъ какъ кажется видъ Чукотскаго-носа, который только для удовольствія публики названъ въ каталогѣ видомъ южнаго берега Крыма.

Портреты есть тоже такіе, какіе должны быть на выставкахъ: портреты явныхъ господъ съ вышученными глазами, купцовъ съ золотыми медалями на шеѣ, барынь съ лорнетами и въ бархатныхъ платьяхъ, словомъ такіе какъ слѣдуетъ. Но и этихъ статистовъ что-то уродило меньше; побило ли ихъ фотографіями, или всѣ иные господа, купцы и барыни успѣли прежде перенести свои отличительныя черты на холсты, только этого украше-

нія первыхъ залъ куда какъ поубыло. Чужаковъ, распечатывающихъ письма, закуривающихъ папироску и т. п. даже не видно вовсе. Оливъ совсѣмъ зеленый господишь, правда, передалъ особенность своего колорита, или своего художника, и тѣмъ въскользко слобрилъ общую безцвѣтность портретнаго отдѣла, про который пришлось бы иначе отозваться словами паспорта: лицо круглое, носъ обыкновенный, подбородокъ выбивающійся, глаза чистые, овобыхъ примѣтъ не имѣется. Какой-то проказникъ еще нюхаетъ табачекъ, всѣ проаіе ведутъ себя скучно.

Въ самомъ дѣлѣ портретная живопись остановилась, упала съ нѣкоторыхъ пертъ: сильныхъ портретистовъ невидно болѣе. Приѣхала работы Макарова можно видѣть въ каждомъ домѣ, но ихъ не увидите на выставкѣ: это произведенія гостинныхъ. Горавскій, сумевшій своими первыми опытами большого мастера въ портретной живописи, какъ-то колеблется, терлетъ старую дорогу и новой еще не видитъ; доказательство — его работы на выставкѣ. Прочіе работаютъ старательно и честно, но въдъ и фотографическіе станки тоже честно и старательно работаютъ. Портретисты-акварелисты — вашъ Рауловъ и зѣвзжій ривлянинъ Беллоли, каждый въ своемъ родѣ выставили вещи, достойныя полной похвалы, — одинъ чрезвычайно сильныя, другой граціозныя, и вотъ единственные замѣчательныя портреты выставки. Академія, вѣроятно ища пятевъ, не нашла неприличнымъ рядомъ съ Беллоли выставить оптическіе портреты Штейнберговъ и компаніи, а можетъ быть и это сдѣлаше въ удовольствіе публики. Спора нѣтъ, на промышленной выставкѣ эти громады-фотографіи могли бы назваться художественными, какъ тканья шелковыя картины ліонскихъ фабрикъ; но на художественной они кажутся немножко промышленными. Трудно также доискаться причины присутствія на *художественной* выставкѣ нѣкоторыхъ заказовъ для церквей.

По части пейзажей солстами леляются: Эрасси, Боголюбовъ, Клоуъ и Дюкеръ (Дягорію и Мещерскій ничего не выставили). Дюкеръ молодой художникъ, одаренный такою способностью видѣть природу и передавать ея краски съ правдою такою поразительною, что работы его во многихъ отношеніяхъ превосходятъ работы вѣрныхъ художниковъ. Его деревья — совершенство рисунка и письма. Такъ никто у насъ не напишетъ деревьевъ.

Г. Дюкеръ чисто лелялся въ прошлую зиму на постоянной выставкѣ: всѣ его пейзажи болѣе зтюдъ, чѣмъ картинны, это копінъ съ природы; но начинать такъ и слѣдуетъ: натура лучшая школа для художника. Будетъ ли г. Дюкеръ также удачно сочинять, какъ онъ копируетъ — сказать пока трудно; но, повторяю, копиру-

нать натуру лучше нельзя. Вдобавокъ краски его сѣжи, сѣтлы, и блѣдный типъ сѣвера усвоенъ имъ пломь. Выставленные имъ на этотъ разъ два пейзажа такъ просты, что не всакій даже остановится передъ ними. Но кто всматривался въ природу, тотъ прикуется къ этому дереву, разметавшему свои роскошныя партіи и оквозищему глубокимъ и сѣтлымъ воздухомъ, тотъ не оторвется отъ этой быстро-бѣгущей рѣчки. Работы г. Дюкера — просто отрывки изъ живой природы. Чтѣ если молодой художникъ разрабатываетъ свой талантъ добросовѣстно, какой изъ него выйдетъ замѣчательный мастеръ!

Пейзажи г. Клода, особенно ночной, имѣютъ также много хорошаго; борьба огненнаго освѣщенія, охватывааго группу людей перваго плана, съ освѣщеніемъ звѣздной ночи, выдержаны прекрасно. Такая же противоположность солнечнаго свѣта и тѣни на дневномъ пейзажѣ гораздо менѣе удалась художнику въ отношеніи естественности и правды.

Г. Эрасси признанъ профессоромъ за четыре выставленные имъ пейзажа. Лѣтъ около пятнадцати посѣтители выставки привыкли встрѣчать работы этого художника въ залахъ академіи. Девочеііе Эрасси — одинъ изъ назидательныхъ примѣровъ для молодыхъ дарованій: сначала на натурѣ, потомъ въ женевской мастерской Калама оно развивалось и разрабатывалось неутомимо, усладчиво, послѣдовательно, и наконецъ является въ полномъ расцвѣтѣ собственного сознанія. Прежнее сходство Эрасси съ его женевскимъ учителемъ, доволившее иногда до *qui pro quo*, исчезло совершенно въ новыхъ произведеніяхъ молодого профессора, который является со своею собственною фizioноміею. Если выставленные виды Швейцаріи и напомнятъ кому-нибудь о Каламѣ, то это покажетъ только, что Каламъ и Швейцарія въ понятіяхъ зрителя не могутъ быть разведены, какъ законно-обвѣнчанные супруги. Болѣе основательный наблюдатель увидитъ сейчасъ, что озеро напимѣръ и сочинено и написано совсѣмъ не по-каламовски, и что въ немъ видна одна только Швейцарія, безъ всякаго Калама на прилачу.

«Озеро» Эрасси — лучшее его произведеніе. Сколько воздуха, утреннаго пару въ глубинѣ картины, которая такъ сквозна, что высокое дерево перваго плана совсѣмъ отдѣляется отъ фона и стоитъ само по себѣ, далеко отъ горъ и озера; между нимъ и нимъ — безпредѣльность, и видишь ясно, что дерево можно обойти со всѣхъ сторонъ. Лиловатыя горы мягко уходятъ въ пространство, отражаясь въ невозмутимой утренней тишинѣ воды. На небѣ ни облачка; будетъ восхитительный день. Первый влинь уже облитъ пригрѣвающими лучами солнца, а въ роцѣ еще царствуютъ ночная

прохлада и тѣнь. И надъ всѣмъ этимъ вѣетъ та кроткая тишина, та свѣжесть и какая-то торжественная простота, какія свойственны одной Швейцаріи. На картинѣ Эрасси лежитъ печать страны, а для художественнаго произведенія это огромное достоинство.

Рядомъ съ озеромъ Швейцаріи стоитъ озеро или большой прудъ въ Малороссіи. Тамъ было утро; здѣсь — вечеръ. Тамъ вставала чудный лѣтній полдень изъ-за горъ; здѣсь уходитъ знойный день съ равнины. Горячія облака столпились на западномъ склонѣ неба. Даль утонула в сквозитъ въ вечернемъ заревѣ, отраженномъ въ засыпающемъ прудѣ... А дубы и тополи уже облеклись сумерками и вода утратила цвѣта заката... Еще минута — и черная ночь спустится своимъ южнымъ мигомъ на прудъ, и на деревья, и на едва мелькающую вдали церковь Диканьки.

Трудно сказать: которая изъ двухъ картинъ лучше. Сила, съ какою написана вторая, производитъ своего рода противоположность мягкой манерѣ первой, и обѣ вмѣстѣ показываютъ искусство художника въ полномъ его проявленіи.

Остальные два пейзажа (одинъ тоже швейцарскій и другой тоже малороссійскій) очень хороши каждый самъ по себѣ.

Въ настоящее время Эрасси — въ Италіи, гдѣ онъ еще никогда не былъ. Художникъ во всей силѣ своего развитія, неутомимый труженикъ и почти фанатикъ искусства, какимъ всѣ признаютъ Эрасси, подъ впечатлѣніемъ этой страны искусства, долженъ излиться лучшими своими красками и самыми пламенными вдохновеніями. Счастливъ тотъ, кто видитъ берега средиземнаго моря и снѣжющія Аппенины, съ кипарисными и пивновыми рощами у подошвы, — съ блѣдною зеленью оливы на яркомъ небѣ, тысячелѣтними каменными дубами, бѣлой акаціей и лавромъ... кто все, чѣмъ околдовываетъ Италія, какъ неувимую улыбкою, можетъ запечатлѣть на холстѣ, хоть частію, хотя въ отрывкахъ и намекахъ красокъ.

А какія краски! Картина г. Боголюбова блистательно о томъ свидѣтельствуетъ. Это яркое воспоминаніе Италіи такъ и мечется въ глаза полуденными тонами «золотого свѣтлаго юга» поэта. Не всегда и не всякому художнику удается общій мотивъ картины такъ счастливо, какъ удался этотъ южный мотивъ Боголюбову. Конечно Боголюбовъ писалъ картины и лучшія — позамысловатѣе и оконченнѣе; но конечно также, небольшое произведеніе выставки, одво изъ самыхъ эффектныхъ по каталогу и широкому письму. На немъ тоже печать страны. Отъ него возстаютъ въ памяти

Тотъ край, тотъ берегъ, съ его полуденнымъ сіяньемъ,
Гдѣ вѣчный блескъ и ранній цвѣтъ,

Гдѣ повднихъ, блѣдныхъ розъ дыханьемъ
Декабрьскій воздухъ разогрѣтъ...

И нескоро выгонять его изъ головы и сердца

Сводъ небесъ зелено-блѣдный,
Скука, холодъ и гранить!

Мудрено ли, послѣ этого, что долго, и крѣпко сидятъ въ душѣ и въ памяти художника тѣ далекія краски, тѣ чудные очерки, пбкуда иное — родное, убогое и тусклое, не затмитъ блеска чужого, но роскошно-пльнительнаго...

Всѣ, или почти всѣ, лучшія произведенія выставки посвящены не Россіи — это все еще отголоски «прекраснаго далека». Даже лучшія картины быта (жанры) или привезены прямо изъ Италіи, или родились подъ петербургскимъ небомъ, о которомъ не думалъ художникъ, перенесшій съ собою въ этюдахъ и воспоминанія небо Италіи, ея жизнь или хотя и *нашу* жизнь, но въ проявленіи болѣе романтическомъ и съ другою обстановкою подъ разными вліяніями страны любви и красоты... Таковы, между прочимъ картины гг. Реймерса и Хулякова. Первая — совсѣмъ итальянская, безъ всякой русской примѣси, даже безъ примѣси чего-либо особенно своего: все это мы видѣли и видимъ чуть не на каждой выставкѣ въ Петербургѣ, Парижѣ, Римѣ — особенно въ Римѣ. Сюжетъ (если только можно назвать это сюжетомъ) картины Реймерса (осенній сборъ винограда въ окрестностяхъ Рима) почти такой же новый, какъ *сюжеты* вакханокъ, дѣвушекъ у фонтана, семействъ нищаго, пифераровъ и т. п. Въ Римѣ, гдѣ сосредоточены всѣ художественныя народности, каждую зиму каждая изъ нихъ ставитъ непремѣнно по одному сбору винограда. У насъ памятиѣ другихъ были сборы винограда (кромѣ брюловскаго) гг. Орлова и Тимашевскаго: у перваго, какъ всегда, людной праздникъ олицетворялся тремя полу-фигурами, изъ которыхъ одна скалить зубы... у него же римскій карнавалъ, съ двигающимися, скачущими, кидящими букеты и муку, бѣснующимися тысячами народа, воплощался въ одну женскую полуфигуру съ букетомъ, и тоже съ оскаленными зубами. Г. Тимашевскій собиралъ виноградъ en grand, какъ и г. Реймерсъ, — на большомъ холстѣ, посредствомъ цѣлыхъ и многочисленныхъ фигуръ; нѣкоторыя изъ нихъ плясали также искусно, какъ тѣ балетныя солисты, которые вертятся мельницею на сценѣ. Г. Реймерсъ обошелся со своимъ виноградомъ нѣсколько иначе: безъ балета, съ замѣчательнымъ блескомъ красокъ и мастерствомъ группировки, но содержаія въ картинѣ оттого не прибыло. Глядя на работу г. Реймерса,

исполненную съ большимъ искусствомъ, влусомъ и адекватнѣмъ дѣла, жалѣешь о потраченномъ дарованіи на такой пустой предметъ. Что онъ вполне овладѣлъ умѣньемъ разставить фигуры, ловко и вѣрно нарисовать и написать ихъ — въ томъ картина вполне удостовѣряетъ; но еще пріятнѣе было бы удостовѣриться въ умѣньи художника *задумать* картину. А что умѣнья этого г. Реймерсу не занимать-стать — тому порукой нѣкоторыя изъ его прежнихъ небольшихъ работъ (похороны напримѣръ, съ фигурой женщины въ траурѣ): Зачѣмъ же было затѣвать большую картину съ намѣреніемъ блеснуть однимъ вышнимъ достоинствомъ? Развѣ для полученія званія профессора? Но неужели за картину съ содержаніемъ, какое это не дается?

Еще одно замѣчаніе: при большихъ достоинствахъ рисунка и письма г. Реймерса, не хотѣлось бы встрѣчать въ его работахъ какого-то прелезатаго, какъ бы заказаннаго себѣ художникомъ пріема, вслѣдствіе чего большая его картина, чрезвычайно свѣдая и колоритная, грѣшитъ нѣсколько противъ натуры: дневной свѣтъ ея — скорѣе освѣщеніе сцены солнечными лампами, чѣмъ свѣтъ солнца. Всѣ прочія работы, г. Реймерса, меньшихъ размѣровъ, предельныя по мотивамъ и исполненію, подверглись еще болѣе капризу его манеры: онѣ точно прошли сквозь старыя картины разныхъ галерей, сквозь нихъ прокатаны и около нихъ цабралась коготи, потускнѣли. Зачѣмъ это? Безспорно, старая картина, подъ пеленою времени, имѣетъ свою особенную, какую-то таинственную прелесть. Но это происходитъ оттого, что сквозь эту пелену глазъ проявляетъ мысленно до первоначальныхъ красокъ, о цотерѣ которыхъ скорбитъ, какъ о роблекшей свѣжести шокъ красавицы, воображая ихъ себѣ можетъ быть даже цѣлующе, чѣмъ онѣ были... Но прямо коптить свои свѣжія произведенія, стирать со шокъ румянецъ, цре-вращая ихъ въ «новѣйшіе антики», какъ выражался одинъ губер-скій купецъ о своихъ товарахъ, право уже черезчуръ капризно. Дарованіе, какимъ надѣлила природа г. Реймерса, можетъ и должна обходиться безъ этихъ приправъ; матерьялы только не свѣжіе нуждаются въ приностяхъ, — свѣжая пища хороша и сама по себѣ...

Взгляните на картину г. Худякова «Тайное посѣщеніе»; или вспомните его «Игру въ мячъ»: онѣ безъ всякихъ приправъ, а кѣй станетъ жалеть о томъ? «Игра въ мячъ» даже не приправлена и особеннымъ содержаніемъ: беззаботные люди, подъ базующимъ ихъ солнцемъ, предаются пустой игрѣ, какъ чему-то важному — и только; но безукоризненная правда и простота, съ какими отнесся художникъ къ своему изображенію, дѣлаютъ изъ его картины безъ содержанія — картину полную содержанія: это жизнь проста-

родъа Италіи въ живѣ, какъ она есть, безъ всякаго ухищренія и перелачнаго въ тѣхъ краскахъ, какія есть въ ней самой, а не въ фантазій живописца, насмотрѣвшагося галерей. Оттого-то, глядя на нее, вспоминаешь живую Италію, а глядя на картины г. Реймерса (мелія) вспоминаешь галерею Италіи... (1)

Нынѣшняя работа г. Худякова не всякаго даже заставитъ остановиться передъ собою. Иные назовутъ ее (и даже называютъ) пусткомъ, шуткою, не болѣе. Дѣйствительно, вещь не важная: холстъ небольшой, три-четыре фигуры, да и тѣ ничего особеннаго не дѣлаютъ: блондинка въ амазонкѣ, брюнетъ въ высокихъ запыленныхъ сапогахъ; смуглая римская простолоудинка у колыбели; рововый ребенокъ въ атласѣ и кружевѣ и черномазый въ расстрепаной рубашкѣ... И никто даже руками не размахиваетъ; ни краски, ни движенія — ничто не бьетъ въ глаза. Точно пустякъ — шутка художника, не болѣе. Но такими пустяками на вселій художникъ забавляется и не всякій можетъ дошутиться до такихъ шутокъ. Впрочемъ и шуточной-то картина г. Худякова покажется развѣ тому, кто мало знакомъ съ заключенною въ ней драмою и съ той сферой, гдѣ она разыгрывается, надъ кому нужны красные плащи, кинжалы, кровь, таинственное ночное освѣщеніе, фавелы, ракуры мертвыхъ тѣлъ и разныя страсти, въ которыхъ

Все есть, коль нѣтъ обмана...

Страсти, разыгрывающіяся въ картинкѣ г. Худякова, одѣты въ обыденное платье, освѣщены яркимъ, откровеннымъ солнцемъ, отчасти и вызвавшимъ-то ихъ наружу; онѣ проявляются смелымъ, безъ рѣзкихъ тѣлодвиженій, благовоспитанно и прилично, — словомъ, это страсти какъ онѣ есть въ известномъ кругу, и влюбавокъ, при условіяхъ голубыхъ глазъ и сѣвернаго женскаго личика, только загорѣвшаго подъ тѣмъ небомъ, которое надъ уже прямо и рождаетъ загорѣлыхъ брюнетовъ... да еще какихъ соблазнительныхъ для голубыхъ глазъ брюнетовъ!

Жизнь сѣверной женщины на пескахъ и дюнахъ только въ половину жизнь: кровь ея, согрѣтая березовымъ дровами, густѣетъ и недвижется. Все тому способствуетъ: холодъ на улицѣ, холодъ въ обычаяхъ, холодъ въ той полонднѣ челоуѣчества, который приносятъ свой юный жаръ на жертвенникъ канцелярій и департаментовъ, или расточаетъ на минеральныхъ водахъ и у разныхъ губительныхъ

(1) Позже явились на выставкѣ этюды и сцена *Келлера*, молодого художника, бывшаго въ Италіи насчетъ общества поощренія художествъ. Работы эти отличаютъ рѣшительное дарованіе, и по правдѣ красокъ составляютъ противоположность работамъ г. Реймерса.

Минчъ, привлекая къ себѣ фортуна, но не привлекая женщины иначе, какъ развѣ только законнымъ образомъ... Мудрево ли, что прозвешенія Италіи и Франціи, даже какого-нибудь Бадень-Бадена или самой Вѣны, съ груднымъ теноромъ, со скрипкою подъ бородею или съ метаньемъ по воздуху своего тѣла обтянутого въ трико, являются какини-то метеорами нивыхъ сферъ, болѣе горячихъ и фосфорическихъ въ этомъ сѣверномъ мірѣ холодной золотухи и гемороя. И боже, какія батареи биноклей направляютъ логи и какъ воспламеняется кровь бель-этажей и всѣхъ вообще этажей отъ одного присутствія въ залѣ этихъ зажигательныхъ снарядовъ! Полиція дѣйствуетъ очевъ неосмотрительно, терпя ихъ присутствіе въ городѣ, гдѣ пожарная команда дурно устроена... Но платоническій пожаръ только обжигаетъ глаза, далѣе его не допустить брамтъ-мауэры приличія, общественнаго надзора, чина и другихъ гасительныхъ средствъ благоустроенной жизни. Погодите однако: потушонная вспышка возьметъ свое при другихъ обстоятельствахъ, подадѣе, гдѣ приличіе на время можно сбросить какъ тѣсный корсетъ, чтобъ нѣсколько размять съ дѣтства зашнурованныя чувства... И вотъ, настроенная на романтической ладъ, спѣшитъ, съ замирающимъ сердцемъ, молодая женщина, бывшая только статскою совѣтницею, генеральшею, на Каменномъ острову или въ Петоргофѣ — въ страну Петрарка и Лауры. Она воображаетъ себѣ и вообразить боится, что тамъ, въ этой странѣ чудесъ, эти могучіе красавцы, съ глазами камъ почъ и какъ огонь, съ волосами чернѣе ночи, встрѣтятся на каждомъ шагѣ, что и лакей на запяткахъ даже будетъ итальянецъ, и кучеръ на козлахъ; что подобно тому, какъ кто-то, описывая Германію, сказалъ: «Вы знаете, что такое одинъ нѣмецъ? Ну, представьте же себѣ цѣлую страну населенную нѣмцами», что также точно въ Италіи, только вмѣсто нѣмцевъ — все чистые итальянцы. Всякій прохожій по улицѣ, всякая фраза долетѣвшая до уха — приводитъ въ восторгъ бѣдную женщину: герои театра и звуки арій, измѣнявшіе теченіе ея крови въ театрѣ по одному разу въ недѣлю, — здѣсь толпа, говоръ этой толпы. А южный воздухъ! что за шутки такіа онъ шутитъ съ ея кровью, что за маки разсыпаетъ онъ на ея щоки — маки, неусыпляющіе, но отъ которыхъ пьянѣютъ глаза, кружатся голова... А тутъ еще этотъ металлическій говоръ за окнами — говоръ голосовъ, производящихъ дрожь, какъ струна виолончеля подъ смычкомъ... Скорѣе на балконъ... спѣши на улицу; лови минуту жизни, о которой ты мечтала всю жизнь, спеленутая душа!.. Солнце бросаетъ свое послѣднее золото на верхушки храмовъ; развалины стоятъ розовыя въ заревѣ заката... длинныя лиловыя тѣни пошли надъ городомъ и улеглись по улицамъ, не пло-

падаютъ... Колоколъ Петра ударилъ асве-Maria, и сорокъ-сороковъ колоколенъ Рима наполнили вечеръ своимъ перекликающимся пѣніемъ... Шаги на улицахъ умножаются. Рамъ дождался сумерокъ и начинаетъ жить... Февраль наполнилъ воздухъ запахомъ цвѣтущаго миндаля и бѣлой акации... Скорѣе на Пинчіо, на Villa Medicis, Borghese!.. Какъ прекрасны и статны всѣ эти люди, которыхъ обгоняешь, которыхъ встрѣтить и къ которымъ прикуется глазами загорѣлая бѣлокурая головка.

— Oh, bella biondina! раздается вдругъ подъ самымъ ухомъ, и помутившіеся голубые глаза встрѣчаются съ черными глазами съ поволокой—ухъ, съ какими глазами! такихъ и на сценѣ она не видѣла... покрайней-мѣрѣ такъ близко не видѣла...

И все это: вечеръ, и глаза, и звуки виолончели уже прямо къ ней направленныя, — все шутитъ съ нею шутки, какихъ она не знала прежде... Смотришь, новый февраль, вновь наполя воздухъ миндалемъ и акаціей, уже сводитъ бѣлокурую головку съ смуглою и черноволосою на одну картину, въ избу загорѣлой простолюдинки, къ люлькѣ — къ тайному посѣщенію... Понятно ли теперь содержаніе работы Худякова «Тайное посѣщеніе», которое могло бы быть названо также южнымъ изверженіемъ сѣвернаго волкана. Этимъ изверженіемъ обязанъ не одинъ красивый прислужникъ кофейни или обтесчикъ мрамора въ мастерской ваятеля титуломъ маркиза, купленного на заложенные въ опекуновомъ совѣтѣ саратовскія и яныя души и правомъ на ихъ законное обладаніе... Покуда право это еще незаконно, происходятъ пассажи, вродѣ подмѣченныхъ г. Худяковымъ. Окрестности Рима — это царство художниковъ и кормилицъ — знаетъ не одну тайну такихъ тайныхъ посѣщеній...

Картина г. Худякова поднимаетъ завѣсу, или говоря проще, открываетъ дверь потаеннаго уголка, въ которомъ спрятано грѣшное послѣдствіе февральскихъ вечеровъ на виллахъ и проулкахъ святаго города... Въ избу простолюдинки заѣхала, катаясь верхомъ, молодая женщина, съ знакомымъ круглымъ очертаніемъ лица, такимъ же круглымъ носикомъ и русыми волосами, миловидная, какъ бывають миловидны тѣ женщины, которыхъ принято называть *жмельскими*. Верхомъ безъ кавалера не ѣздитъ — и у нея есть кавалеръ, но только не скучная необходимость своей страны, а цвѣтокъ, сорванный на пути кратковременной свободы и жизни почти поэтической въ странѣ, гдѣ есть изъ чего выбрать по части цвѣтовъ. Это красивый юноша-итальянецъ, съ недавно-пробившимся усомъ и мягкимъ пушкомъ на подбородкѣ, съ волосами черными какъ смоль и густыми какъ руно... О, какъ онъ не похожъ на молодыхъ

столоначальниковъ Петербурга и даже на офицеровъ въ бѣлыхъ фуражкахъ, потрясающихъ прохожихъ своими рысаями... Съ вопросомъ на губахъ и счастьемъ во взорѣ, она смотритъ на своего красиваго юношу, нѣсколько тупо и почти перепуганно уткнувшагося на малютку въ люлькѣ — такого же бѣлокураго и кругленькаго, какъ мать... Радъ ли онъ, какъ и она, или только потрясенъ важностью послѣдствій? Чего онъ боится? что его удивляетъ? Кому же какъ не ему было знать о возможности послѣдствій? Картина не даетъ положительнаго отвѣта на ваши вопросы. Додумывайте сами что хотите... Надъ люлькою, бокомъ къ зрителю, сидитъ красивая итальянка, сдвинувшая немножко розовое атласное одѣяльцо со спящаго ребенка, чтобы лучше показать его родителямъ. Бѣдное дитя спитъ также спокойно, какъ существо, котораго будущность определена и обезпечена. А какая это загадочная будущность! Страшно за малютку! Срокъ пашпорта, срокъ домашняго отпуска, истощившійся кредитивъ банкира — все можетъ лишить его завтра же и его розоваго одѣяльца, и кружевомъ обшитаго чепчика, и вкуснаго молока здоровой кормилицы, которая продовольствуетъ пока свое собственное дѣтище, грязное, смуглое, взерошенное и полунагое, средствами козы, такъ восхитительно озаренной на картинѣ полоскою яркаго свѣта, упавшаго въ растворенную дверь... Вотъ вамъ и вся картина г. Худякова. Всѣ дѣйствующія лица: женщина въ амазонкѣ, ея спутникъ въ запыленныхъ сапогахъ, кормилица, ребенокъ въ люлькѣ и ребенокъ на полу, съ мѣдными образками, перевернувшимися съ груди на спину, даже коза — исполнены съ мастерствомъ и граціею, какіе встрѣтишь рѣдко у нашихъ художниковъ. Кисть г. Худякова пріятная и мягкая, передаетъ всю правду дѣйствительности въ ея истинныхъ краскахъ, не прибѣгая ни къ какимъ приправамъ или эффектамъ. Строгость рисунка и сочиненія до послѣднихъ подробностей достойны настоящаго профессора, которому отнюдь не слѣдуетъ оставаться безъ вліянія въ академіи.

Но до сихъ поръ было упомянуто только о главныхъ лицахъ «тайнаго посѣщенія». Остаются еще неглавныя — двѣ верховыя лошади, играющія и дыблящіяся въ рукахъ наряднаго негра. Онѣ видны въ открытую дверь избы и составляютъ какъ бы фонъ картины. По поводу этихъ-то второстепенныхъ лицъ и нельзя не сказать нѣсколько словъ, нето чтобы порицанія, но несогласія со взглядомъ автора картины. Миѣ кажется, что положеніе лошадей, сбѣжавшихъ, судя по запыленнымъ саногамъ кавалера, не одну и не двѣ версты, елвали избрано удачно: глядя на нихъ скорѣе можно подумать, что ихъ только-что вывели изъ конюшни, и что отъѣздъ

впереди. Самое присутствіе тутъ негра, хотя и составляющаго выгодное пятно въ картинѣ, сбиваетъ съ толку. Я слышалъ кругомъ вопросы: «не на востокѣ ли происходитъ дѣйствіе?» Конечно у богатой барыни *заграницею* можетъ быть негръ, и даже часто бываетъ. Но едвали она возьметъ его съ собою, отправляясь на *тайное* посѣщеніе. Притомъ же художникъ добровольно лишилъ себя, насчетъ негра, одной изъ характерныхъ чертъ страны, имъ изображаемой: я говорю объ уличныхъ *факинахъ* — этихъ полу-нагихъ Ювовъ Италиі, существующихъ мѣдными крупницами, падающими отъ кошельковъ *форестьера* (иностранца). Пріѣзжіе волей-неволей должны были бы отдать поволя своихъ лошадей одному (еслибъ умѣли отдѣлаться отъ многихъ) изъ этихъ хозяевъ улицъ, площадей и городскихъ воротъ Италиі. Ихъ характерныя фигуры, любопытство превышающее всякое воображеніе, лакомое ожиданіе полачки за услугу — все это дало бы художнику не пятно только, но и превосходный типъ, который настолько же пояснилъ бы, гдѣ происходитъ дѣйствіе, насколько негръ это затемняетъ. Да негръ и неволь: Брюловъ непременно поставилъ бы тутъ негра.

Этимъ оканчиваются произведенія нерусскихъ, или смѣшанныхъ картинъ быта (жанра) на выставкѣ. Всѣ прочія чисто свои и вышли болѣе или менѣе изъ Федотова, какъ Минерва изъ головы Юпитера. На многихъ изъ нихъ (напримѣръ: «Кредиторъ описываетъ имѣнье вдовы» или «Первое число») Федотовъ оставилъ такіе замѣтные слѣды, какъ учитель на работѣ учениковъ. Прочія болѣе самостоятельны, да и авторы ихъ болѣе зрѣлы. Таковы двѣ простонародныя сцены гг. Перова и Попова. Первое мѣсто между ними занимаетъ картина *г. Перова*, явившаяся уже послѣ составленія каталога и исчезнувшая на другой же день съ выставки, *по причинамъ отъ художества независящимъ*.

Г. Перовъ обнаружилъ рѣшительное дарованіе два года назадъ своею работою: «Сынъ дьячка произведенный въ чинъ». Теперь это сатирическое дарованіе является съ сатирою, которую можно назвать «картиною безобразія русской жизни». Изъ избы зажиточнаго мужика только-что вышелъ крестный ходъ и удаляется по улицѣ, прелестствуемый пономаремъ въ затрапезной хламидѣ. Нѣсколько молодыхъ парней и мужиковъ, изъ грамотныхъ, одинъ почтенный старичокъ, нето мастеровой, нето дворовый, но во всякомъ случаѣ большой мастеръ выпить, въ стеганомъ халатѣ, тоже пожившемъ на своемъ вѣку, молодая бабенка, шлепаютъ по грязи, водтыкавши полы и поютъ. Съ крыльца спускается духовная особа въ облаченіи и дьячокъ сзади... Судя по операціи, совершаемой въ это время надъ хозяиномъ, проводившею дорогихъ гостей хозяй-

кою, — надо полагать, что въ избѣ была закуска. На голову этого достойнаго амфитріона льется цѣлый потокъ холодной воды изъ привѣшеннаго къ крымечной перекладинкѣ большого чайника и стекаетъ ручьемъ на гостя (тоже мужичка), поваливагося замертво подъ крыльцомъ. Осень; по небу ходять низко тучи, гонимыя вѣтромъ. Все это такъ вѣрно и такъ безобразно, что г. Перова нельзя не поздравить съ умѣньемъ попадать не въ бровь, а прямо въ глазъ. Типы фигуръ и техническое исполненіе превосходны: такъ впоору работать и совсѣмъ зрѣлымъ художникамъ.

Мотивъ картины 1. *Попова* элегической, но простой и потому хватающей за сердце: абольная крестьянка, исхудалая отъ недуга, лежитъ въ рабочую пору на соломѣ въ избѣ; надъ нею машетъ вѣткою дѣвочка лѣтъ восьми и качаетъ въ тоже время колыбель, изъ которой выглядываетъ кулачокъ ребенка, по всѣмъ вѣроятіямъ надрывающагося отъ крика. А въ открытую дверь идетъ лѣтнее тепло и солнце кладетъ свою золотую полосу на полъ. Желтѣющая нива, уставленная снопами, кишитъ рабочимъ людомъ.

Остальныя картины быта принадлежатъ жизни чиновниковъ, мастеровыхъ и того отдѣла человечества, которое всего лучше можно назвать *петербургскимъ*. Это міръ истертыхъ лицъ—мушкетеровъ и жалованій по двѣнадцати рублей въ мѣсяць, міръ Петровичей и Акакіевъ Акакіевичей, открытый для искусства Гоголемъ, — сцены жалкой бѣдности и смѣшного довольства, мелкихъ стремленій и крупныхъ надеій Федотова, слезы вдовы, у которой описываютъ за долгъ бѣдняка или пьяницы мужа послѣднюю старую нитку, причемъ каска квартальнаго является роковымъ символомъ въ комнатѣ... Грязь невѣжество или роковое бѣдствіе всюду. Въ этотъ-то міръ перенесли свои палитры наши молодые художники быта, и надо имъ отдать справедливость, что если не всегда удачнымъ исполненіемъ, то почти всегда болѣе или менѣе удачною затѣею они привлекаютъ къ себѣ зрителей. Послѣднее обстоятельство даже отчасти балуетъ ихъ и оттого-то исполненіе часто далеко отстаетъ отъ сюжета.

Между сценами изъ быта *петербургскаго человечества* особенно привлекательна сцена 1. *Клодта*: «Бѣдная невѣста». Сумерки. Вдали, на потухшемъ осенне-свѣжемъ петербургскомъ небѣ рисуется церковь. Сквозь открытую дверь видны свѣчи и оклады образовъ. Изъ темной улицы, мимо поцѣзда богатаго дома, молчаливо, почти робко направляются къ церкви старушка, скромно одѣтая и дѣвушка въ бѣломъ платьѣ съ бѣлымъ вѣнкомъ на головѣ и покрываломъ невѣсты. Мальчикъ въ курточкѣ, вѣрно меньшей братъ невѣсты, безъ шапки, несетъ образъ. Сзади —

дѣвчонка-горничная тащить большой дождевой зонтикъ, на всякій случай. У невѣсты на плечахъ, тоже на всякій случай, накинута бѣдненькая мантилья. Отъ всего этого такъ и вѣсть скромною, забитою долей, тощимъ обѣдомъ, тѣснымъ уголкомъ въ деревянномъ домикѣ, *Песками*, *Подъ-таврическимъ* и тому подобными мѣстностями Петербурга, куда богатые люди тоже уносятъ иногда свой сытый покой въ высокія палаты, сметающія каждый годъ по десятку такихъ деревянныхъ, кривыхъ, повалившихся на-бокъ убѣжищъ бѣдности. И вотъ одна изъ нарядныхъ обитательницъ этихъ палатъ, возвращаясь домой, въ сопровожденіи ливрейнаго лакея, окидываетъ своимъ лорнетомъ бѣдную невѣсту, и вѣрно будетъ рассказывать со смѣхомъ у чайнаго стола о необыкновенномъ покрое ея платья... Лакей «изъ хорошихъ домовъ» почти недоволенъ встрѣчей: всякая мошь сволочь тоже болтается подъ ногами у барыни...

«Сватовство» 1. *Петрова* (ученика) происходитъ разомъ отъ Голая и отъ Федотова: къ Петровичу-портному, сидящему на столѣ, на корточкахъ, какъ и слѣдуетъ сидѣть истинному портному, является съ предложеніемъ руки, сердца и чива его краснощекой дочери гемороидальный герой въ вицъ-мундирѣ о двѣнадцати рубляхъ жалованья. Отъ такого казуса, подмастерье — русскій парень съ бородкой, почесываетъ у себя въ затылкѣ: «Эхъ, мошь, не миѣ досталась — пропадай дѣвка!» Дѣвка тоже потупилась и украдкой поглядываетъ на парня... Можетъ быть имъ жалко чего-нибудь. Теперь она чиновницею станетъ, знатность не позволить: noblesse oblige. Петровичъ, какъ человекъ благополучно дожившій на корточкахъ до блестящей лысины и очковъ на носу и надъ сердцемъ котораго приютуженный шовъ приобрѣлъ почти кровные права, неприятно развлеченъ въ эту торжественную минуту семьянина необузданностью босого мальчика, который зазѣвался и уронилъ на полъ раскаленный утюгъ, да еще дуетъ себѣ на пальцы, а утюга не поднимаетъ. Петровичъ съ угрозой и неудовольствіемъ смотритъ на нарушителя порядка: «Погоди, дескать, дай благословить, я тебя ужо!» Старуха-портниха — та поглощена однимъ зрѣлищемъ своей дочери-невѣсты, будущей чиновницы... А будущая чиновница?.. Не ея ли это долю предсказываетъ на своей картинѣ 2. *Кошелев* (*Первое число*)? Пригорюнившаяся, худая и блѣдная, надъ пустымъ бумажникомъ мужа, который пришолъ въ первое число мѣсяца домой съ однимъ запасомъ хмѣля да ругательствъ и болѣзненно храпять, растянувшись на оборванномъ диванѣ: вотъ она — будущая чиновница. Парень, почесывающій въ головѣ, принесъ ли бы еще ей худшую долю — неизвѣстно...

Чтобы покончить со сценами изъ быта петербургскаго челоѣчества, укажу на «опись имѣнія вдовы» г. *Журавлева*, съ очень типичными квартальнымъ, приказнымъ и купцомъ-кредиторомъ (извиняющими нѣсколько излишнее родство сюжета съ «Вдовушкой» Федотова), и еще г. Перова (автора «безобразія») «Дилетантъ». Толстый майоръ (чина не видно, но если онъ не майорскій, то начальству слѣдуетъ поспѣшить вознести дилетанта въ это званіе за его *deportement* ⁽¹⁾). Майоръ съ брюшкомъ и коротенькими жирными ножками занимается живописью. Онъ сострепалъ что-то такое, что возбуждаетъ въ немъ удовольствіе. Прищуривъ глазъ и откинувшись назадъ, онъ изслѣдуетъ свое произведеніе вмѣстѣ съ майоршей, всѣящей съ мужемъ пудовъ кончено болѣе десяти. Сложивъ руку въ зрительную трубу, она тоже рассматриваетъ эффектъ майорской кисти. Законный отпрыскъ художественныхъ родителей, невсосавшій еще съ молокомъ вкусовъ сноей матери, предается въ это время самымъ матерьяльнымъ побужденіямъ природы, лезетъ ручонкою за талью майорши... Г. Перовъ дѣйствительно одаренъ большою способностью *отрицанія*, какъ принято выражаться, а по моему — положительнымъ умѣньемъ смѣяться надъ тѣмъ, что смѣшно.

Большія картины выставкѣ (называемыя обыкновенно историческими) менѣе всего могутъ заставить говорить о себѣ, и даже тѣмъ менѣе, чѣмъ онѣ болѣе. Что напримѣръ можно сказать объ очень большомъ холстѣ г. Венига, «Два ангела, возвѣщающіе гибель Содома», гдѣ все есть — и познаніе, и трудъ, и пожалуй даже право на званіе профессора, но нѣтъ чего-то такого, что дѣлаетъ изъ труда произведеніе, изъ познаній — пользу, т. е. достиженіе впечатлѣнія, нѣтъ себя, — словомъ, нѣтъ... таланта. Что сказать о «Положеніи во гробъ», г. Тимашевскаго? Развѣ то, что по краскамъ оно гораздо лучше картины г. Венига; но нѣтъ и въ немъ — однѣ воспоминанія разныхъ галерей Италіи... Говорить ли объ Александрѣ Невскомѣ, въ двухъ видахъ, профессора Моллера, или о «Явленіи ангела женамъ мирноспидамъ», г. Ксенофонтова, гдѣ художникъ точно раскололъ сперва свои фигуры на двое и потомъ приставилъ ихъ къ холсту, отчего онѣ вышли какъ-то плоско и бокомъ... Поменьше картины и получше: «Убійство архіепископа лѣжскаго» г. *Страшнскаго* даже было бы совсѣмъ хорошо, еслибы ошибка въ освѣщеніи не испортила нѣсколько дѣла. Картина, величиной въ нѣсколько аршинъ, вся кака-то каленая, багровая, какъ-будто она изображаетъ пожаръ, а ей надо представить просто

(1) Помните одного изъ героевъ Дикенса съ его знаменитымъ *deportement*!

залу освѣщенную лампами. Г. Страшинскій настолько же пережарилъ свою картину, насколько г. Реймерсъ свою недожарилъ, и отъ этого обѣ теряютъ. Впрочемъ у г. Страшинскаго и движенія, и экспрессіи гораздо болѣе, чѣмъ у г. Реймерса, да и самое сочиненіе сложнѣе. Несмотря на нѣкоторые недостатки и между прочимъ на отсутствіе центра, отчего зритель развлеченъ отдѣльностями, картина г. Страшинскаго все-таки лучшее произведеніе выставки по части большихъ картинъ. Дарованіе у художника несомнѣнное и значительно разработанное.

Небольшая картина г. *Мясоедова* «Побѣгъ Гришки Отрепьева изъ корчмы» очень хороша по типамъ и движенію. Изъ картинъ русской исторіи — она положительно лучшая. Отрепьевъ въ окнѣ, съ ножомъ въ рукѣ, какъ волкъ ослабившійся на ухватившаго его за кушакъ человѣка, просто мастерская фигура...

Но если живопись настоящей выставки не представила ничего крупнаго, или крупныя ея явленія оказались мелкими, то зодчество обогатилось приобрѣтеніемъ, хотя и въ копіи, безцѣннаго памятника искусства. Архитекторъ г. *Нодбекъ* привезъ изъ Испаніи слѣпки *Алямбры*, воспроизведенной имъ съ необыкновеннымъ совершенствомъ. Это просто каменное кружево. Художникъ посвятилъ десять лѣтъ жизни на свой утомительный трудъ, но зато онъ перевесъ подъ финское небо Петербурга одинъ изъ блистательнѣйшихъ остатковъ мавританскаго зодчества. Зала, въ четверть настоящей величины, собранная въ цѣломъ, поразительна болѣе всего изваяніями потолка: точь-в-точь столониты повисли надъ головою... Прочія воспроизведенія разложены въ частяхъ, и ими, вмѣстѣ съ собранною залой, занята вся большая брюловская комната академіи.

Слѣпки г. *Нодбека* публикѣ не показывались — изъ опасенія, какъ слышно, чтобъ ихъ не разбили. Такимъ образомъ ихъ точно никто не разобьетъ, но никто и не увидитъ; а неужто это была цѣль десятилѣтней работы художника! Убережь *Алямбру* отъ рукъ, готовыхъ ее расколотить, конечно необходимо, но не бережь же ее отъ глазъ, умѣющихъ только смотрѣть...

П. К.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ

Общее положеніе.

Прусскія дѣла. — Прекращеніе конституціоннаго образа правленія въ Пруссіи. — Возвращеніе къ абсолютному. — Закрытіе палатъ.

Итальяскія дѣла. — Прощеніе Гарibaldi. — Ходъ его болѣзни. — Папа и Францискъ II.

Греко-славянскій или восточный вопросъ. — Возстаніе въ Греціи. — Удаленіе короля. — Очеркъ исторіи греческаго королевства. — Сущность восточнаго вопроса. — Выгоды окончательныхъ рѣшеній.

Последнія извѣстія.

Если взять человѣка, который никогда не обращалъ большого вниманія на политическія дѣла западной Европы, не имѣлъ времени или не хотѣлъ познакомиться съ дѣлами внутренняго быта и вѣнскихъ отношеній западныхъ державъ и стало-быть не посвященъ во всѣ не очень таинственныя тайны стремленій, соображеній и комбинацій кабинетовъ, — если взять такого человѣка, и до нѣкоторой степени подробно описать ему нынѣшнее общее положеніе политическихъ дѣлъ въ Европѣ, то онъ подумаетъ, что все это сказка, вродѣ плохого французскаго романа съ преувеличенною, натянутою запутанностью завязки и интриги. Два-три отдѣльныя явленія онъ понялъ бы совершенно, но остальное показалось бы ему уродливымъ коверканьемъ празднаго воображенія. И много времени, много усилій стоило бы человѣку окончательное убѣжденіе въ томъ, что все это голая дѣйствительность и самая истинная правда. Но и тому, кто взялся бы познакомить свѣжаго человѣка съ этою дѣйствительностью, было не легко это сдѣлать: пришлось бы рассказывать о существованіи такихъ установившихся, но условныхъ понятій, которыя не объясняются обыкновеннымъ здравымъ смысломъ; пришлось бы называть нормальными такія положенія, которыя противорѣчатъ всему тому что свѣжій человѣкъ привыкъ считать естественнымъ, наконецъ надо бы называть нравственнымъ то, что во всякой другой сферѣ считается преступнымъ. Ничего нѣтъ

мудрецаго, что свѣжій человѣкъ счелъ бы своего рассказчика сумасшедшимъ, или вошелъ бы въ роль бѣднаго титулярнаго совѣтника Поприщина.

Есть на свѣтѣ одинъ народъ, который считаетъ себя первымъ народомъ на свѣтѣ; есть и другой народъ, который тоже себя считаетъ первымъ. У каждаго изъ этихъ народовъ есть, какъ водится, правительство, и каждое въ этомъ только пунктѣ съ своимъ народомъ совершенно согласно. Но такъ какъ два первые нумера невозможны, то они и готовы во всякое время между собою подрагаться, каждый имѣя въ виду низвести своего сосѣда по вторые нумера, чтобы остаться неоспоримо первымъ, и тогда распорядиться безъ помѣхи выгоднѣйшимъ для себя образомъ. Оба они однако знаютъ, что драка — дѣло невыгодное, тѣмъ болѣе, что между равносильными противниками никогда неизвѣстно чѣмъ она кончится, и чтобы какъ-нибудь нечаянно не покориться, заключаютъ между собою союзы, трактаты, договоры, застраховываясь отъ невыгодъ войны-торговыми барышами. Одинъ изъ этихъ народовъ лѣтъ двадцать жилъ на всей своей волѣ, крѣпко стѣсняя свое правительство; но одинъ изъ стѣсненныхъ правителей счелъ полезнѣйшимъ для блага народа переимѣнить давленіе и стѣснить народъ. У другого народа правительство давно не было стѣсняемо и всегда пользовалось всеобщимъ уваженіемъ, распорядясь произвольно; имя ему капиталъ. Стало-быть оба соперника пользуются одинаковыми условіями по отношенію къ правительству, хотя и въ разныхъ формахъ. Каждый изъ соперниковъ силится имѣть возможно большее вліяніе на другихъ, и въ дальнихъ странахъ оба заботятся о распространеніи цивилизаціи, т. е. торговли, т. е. своихъ барышей. Все-таки боясь столкновенія между собою, они вступаютъ въ частые союзы для распространенія цивилизаціи посредствомъ пушекъ, какъ на примѣръ въ Китаѣ и въ Мексикѣ, и по поводу различныхъ внѣшнихъ вопросовъ часто заранѣе условливаются, какъ дѣйствовать. Куда одинъ пошлетъ свои корабли, туда и другой, чтобы неуступить сопернику исключительнаго вліянія, и оба тратятъ громаднѣйшія суммы на постройку непроницаемыхъ кораблей и недолимыхъ крѣпостей, защищаясь другъ противъ друга. Одинъ изъ этихъ двухъ народовъ все-таки счастливѣе другого и въ своей внѣшней политикѣ своснѣе нежели другой, потому собственно, что во главѣ его правленія стоитъ штыкъ, тогда какъ во главѣ другого — капиталъ, а штыкъ, еслибы даже онъ былъ самымъ дурнымъ на свѣтѣ штыкомъ, все-таки лучше капитала: у него хоть когда-нибудь, хоть изрѣдка могутъ проявляться добрыя чувства, проскальзывать стремленія къ справедливости, тогда какъ капиталъ никогда себѣ неиз-

мѣняетъ , на одну минуту не теряетъ своей холодной бездушности, своего непреклоннаго, всеугнетающаго деспотизма.

Скучая очень вмѣшательствомъ штыка во всѣ дѣла ближнихъ и дальнихъ сосѣдей , капиталъ придумалъ очень хитрое начало , *невмѣшательства*, и постарался доказать штыку, что никуда же это не годится безпрестанно всовываться вездѣ , гдѣ насъ не спрашиваютъ. Штыкъ съ этимъ совершенно согласился, нашолъ это вполнѣ справедливымъ , и продолжаетъ всюду всовываться , потому что нельзя же ему отказаться отъ своей природы и , чтобы сдѣлать удовольствіе сосѣду, перестать быть штыкомъ. Поэтому правило невмѣшательства остается, но допускаются нѣкоторыя исключенія , здѣсь , тамъ , въ другомъ мѣстѣ , въ третьемъ , словомъ сказать вездѣ. Штыкъ остается въ чужой столицѣ; капиталъ состоитъ опекуномъ при одномъ умирающемъ государствѣ , считаетъ его копѣйки и терпѣливо ждетъ его смерти для полученія наслѣдства. Особенно торопиться ему и нечего , да и выгоды не торопиться , потому что фактически наслѣдство въ рукахъ , а тогда придется тревожить вопросъ о формѣ.

Рядомъ съ умирающимъ государствомъ есть другое , маленькое, меньше любой изъ нашихъ губервій ; въ немъ произошла перемѣна правленія : король чужеземецъ удаленъ , народъ хочетъ устроиться по своему. Казалось бы здѣсь-то и надо невмѣшиваться; но капиталъ послалъ свои корабли , штыкъ послалъ свои , — вмѣшались будто бы для поддержанія начала невмѣшательства. Значить , ожидаются барыши.

Еще въ одномъ государствѣ , по распоряженію правительства, рененъ и взять въ плѣнъ доблестный сынъ своего отечества. Штыкъ весьма доволенъ , потому что не очень любитъ чужія доблести. Капиталъ не вмѣшивается, не вида тутъ никакой выгоды на барыши. Народъ подвластный капиталу требуетъ вмѣшательства своего правительства , но капиталъ находитъ другія помѣщенія и спокойно воздерживается подъ пятью замками.

Еще одно государство имѣло хартію, которой присягали всѣ. Въ послѣднее время правительство нарушило ее и начинаетъ преслѣдовать людей, крѣпко стоявшихъ за свои убѣжденія, несмотря на свои служебныя отношенія. Оно восторжествовало надъ хартіей , одержало полнѣйшую побѣду, и теперь не знаетъ какъ отдѣлаться отъ своего торжества.

Есть и еще одно государство, въ которомъ правительство устроило для разнообразныхъ своихъ подданныхъ однообразную колодку земнаго счастья и свободы, — ни дать ни взять какъ еслибы вначальство какого-нибудь учебнаго заведенія для воспитанниковъ разныхъ

лѣтъ и возрастовъ вздумало шить совершенно одинаковыя сапоги. Одному они велики, другому не лѣзуть, вовсе не входятъ на ногу; а начальство говорить: ничего, — надѣвай, если приказано. И выходитъ, что никто недоволенъ: ни начальство, ни воспитанникъ. Начальство сердится, называетъ воспитанника строптивымъ, безпокойнымъ; стѣсненная нога ломить и не даетъ воспитаннику ступить, и наконецъ самый сапогъ изъ гнилого товара трещить по швамъ и расплзается. Не догадались, — если уже такъ необходимо шить сапоги по одной колодкѣ, — сдѣлать ихъ какъ можно просторнѣе, потому что младшіе воспитанники имѣютъ способность расти очень скоро, въ особенности ежели ихъ развитіе висколько нестѣснено; да сверхъ того доказано, что просторные сапоги въ зимнее время лучше держать тепло и отъ малѣйшаго движенія не долаются по швамъ.

Много еще удивительныхъ и совершенно неправдоподобныхъ вещей можно бы наскзать свѣжсму человѣку; но все равно, лучше и не рассказывать, потому что онъ не повѣритъ. Чтобы все это видѣть и слышать не возмущаясь, нужна особенная привычка, которая извиняетъ то что неизвинимо, оправдываетъ то что не можетъ быть, не должно быть оправдано, и придумываетъ уловки и извороты, посредствомъ которыхъ черное выставляется въ бѣломъ свѣтѣ, а бѣлое вдругъ и неожиданно оказывается совершенно чернымъ.

ПРУССКІЯ ДѢЛА

Официальная газета великаго герцогства баденскаго въ замѣчательной статьѣ: «Наше положеніе относительно прусскаго конституціоннаго кризиса» превосходно опредѣляетъ значеніе того, что произошло въ Пруссіи. Обращаемъ на эту статью особенное вниманіе читателей, потому что она помѣщена въ правительственномъ органѣ, который долго молчалъ объ общегерманскихъ дѣлахъ.

«Прусская конституція нарушена въ одномъ изъ своихъ главнѣйшихъ пунктовъ, — это событіе, богатое послѣдствіями, важная ошибка, которая обратится противъ совершившихъ ее съ силою обратно пропорціоальною той легкости, съ какою она совершена. Девяносто девятый параграфъ прусской уставной грамоты говоритъ до послѣдней степени ясно: «приходъ и расходъ государства должны быть на каждый годъ предложены заранѣе и вписаны въ смѣту, которая утверждается ежегодно закономъ.» Два собранія, — то, которое кончилось распущеніемъ палаты депутатовъ весною нынѣшняго года, и то, которое только-что закрыто, работали надъ утверженіемъ смѣты на нынѣшній годъ. Вслѣдствіе закрытія собранія оказывается невозможнымъ кончить начатое дѣло, и мини-

стерство объявило, что оно будетъ управлять безъ смѣты, и безъ предварительнаго смѣтнаго прихода-расходнаго закона будетъ распоряжаться государственными расходами, которые, по точному смыслу уставной грамоты, могутъ производиться только на основаніи этого закона. Правительство отринуло 134 миліона, на которые получило законное согласіе, и предпочло незаконно истратить съ чѣмъ-то 170 миліоновъ. Но какъ бы ни легко было совершить незаконность, она все-таки продолжаетъ оставаться незаконностію, и эта кажущаяся легкость исполненія откликнется со временемъ очень тяжело. Сколько разъ прусскій кабинетъ можетъ повторить ту же самую продѣлку? Съ 1859 года народное движеніе въ Германіи клонилось къ тому, чтобы довѣрить Пруссіи наше политическое возрожденіе или воскресеніе; а нынче нетолько свободномыслящіе люди, ревниво стоящіе за всякое обезпеченіе свободы, но и самые безусловные сторонники германскаго единства вынуждены признаться, что Пруссія не имѣетъ свойствъ, необходимыхъ для предводительствованія такимъ движеніемъ. Правительство, неимѣющее никакого уваженія къ своему парламенту, не можетъ создать *германскій парламентъ*, а германское единство не можетъ быть основано безъ воли народа. Народное стремленіе, вслѣдствіе переворота происшедшаго въ Пруссіи, потеряло такъ-сказать сборный пунктъ и ограничивается собою.»

По всей справедливости слѣдуетъ замѣтить, что прусское правительство нарушило свою уставную грамоту не какъ-нибудь торопливо, сгоряча, въ припадкѣ гнѣва на палату народныхъ представителей, не соглашавшихся платить на военныя издержки столько, сколько назначило правительство. Нѣтъ, правительство знало рѣшеніе палаты, не торопясь обдумало свое рѣшеніе, дало время всѣмъ высказаться, привести всѣ доводы, пригрозило неутвержденіемъ смѣты въ верхней палатѣ, устроило благообразную обстановку посредствомъ форменной ириадки, отринуло утвержденную въ сокращенномъ видѣ смѣту, и спокойно, какъ слѣдуетъ увѣренной въ себя силѣ, объявило, что нарушаетъ уставную грамоту потому, что такъ хочетъ. Оказалось, что всѣмъ давали высказаться собственно для обнаруженія большей или меньшей самостоятельности убѣжденій каждаго изъ членовъ палаты.

Съ другой стороны справедливость требуетъ замѣтить, что во все время повидимому бурныхъ преній о смѣтѣ, члены палаты вели себя въ высшей степени умѣренно, строго держались закона, требовали только законности и не дозволяли себѣ ни одного малѣйшаго увлеченія. Въ своихъ протестаціяхъ самыя рѣзкія мѣста члены цитировали изъ чужихъ ораторовъ, такъ что все выходило

въ высшей степени прилично, и самый щекотливый министр не могъ оскорбиться.

Положено было протестовать противъ расходовъ, совершаемыхъ сверхъ утвержденной палатою смѣты. Протестаціи эти были въ разныхъ формахъ, но сущность была одна и таже: продолженіе расходовъ, однажды и экстраординарно разрѣшенныхъ на 1860 и 61 годы, составляетъ въ 1862 году передержку противъ смѣты; эта передержка ложится на отвѣтственность королевскаго правительства и не можетъ быть покрыта иначе, какъ съ согласія обѣихъ палатъ особымъ закономъ. Палата заранѣе протестуетъ противъ возможности предположить, будто она молча соглашается на продолженіе тѣхъ же расходовъ въ 1863 году, и не допускаетъ иныхъ расходовъ, кромѣ обусловленныхъ быстрымъ переходомъ съ военнаго положенія на мирную ногу, при условіи двухлѣтней военной службы.

Сверхъ того палата изъявляла свое неудовольствіе по поводу позднаго представленія смѣты, и объясняла это не безопасностью со стороны министерства, а преднамѣреннымъ промедленіемъ. «Въ такомъ же точно положеніи находилась палата общинъ въ Англіи, во времена Питта, — говоритъ одинъ изъ ораторовъ, — и тогда въ протестѣ палаты было сказано: будетъ считаться тяжкимъ преступленіемъ, дерзкимъ посягательствомъ на довѣріе общества, насиліемъ противъ уставной грамоты поступокъ всякаго чиновника министерства финансовъ, который заплатитъ или прикажетъ заплатить малѣйшую сумму, не утвержденную предварительно парламентскимъ постановленіемъ».

Въ самомъ дѣлѣ смѣта тогда только есть смѣта, когда составлена до начала расходовъ. Это въ 99 параграфѣ и обозначается словомъ «заранѣе». Палата не хотѣла даже употребить слова «протестуемъ», а выразилась гораздо умѣреннѣе, говоря, что она «приглашаетъ» министерство. Ей легко было быть умѣренною, потому что она предъявляла только свои несомнѣнныя права, тогда какъ министерство стояло внѣ своихъ правъ отъ перваго слова до послѣдняго. Приходорасходная государственная смѣта есть главное основаніе всякой конституціи; но въ Пруссіи нѣтъ другого важнѣйшаго закона объ отвѣтственности министровъ, хотя собственно говоря, эта отвѣтственность сама собою вытекаетъ изъ уставной грамоты; тамъ нѣтъ еще закона объ отказѣ платить подати, ни объ отказѣ утвердить смѣту, но у палаты имѣется конституціонное право участвовать въ составленіи и утвержденіи смѣты. Это *minimum*, при помощи котораго возможенъ какой-нибудь законный конституціонный порядокъ. Но это *minimum* должно быть неукосновенно.

Если уничтожить 99 параграфъ или согласиться въ немъ на какую-нибудь уступку, то конституція не существуетъ. Во всѣхъ конституціяхъ на свѣтѣ, въ финансовомъ вопросѣ первую роль играетъ нижняя палата, потому что она непосредственно избирается тѣми, кто платитъ подати. Если она отвергла какой-нибудь расходъ, то онъ этимъ самымъ вычеркивается изъ смѣты, не можетъ уже составлять ея часть. Но вѣскольکو лѣтъ тому назадъ нынѣшній президентъ совѣта министровъ эту простую теорію разбивалъ противоположными началами, говоря: «если смѣта не утверждена, то можно управлять безъ смѣты, а если утвержденная палатою смѣта не правится, можно составить другую». Нечего говорить, въ какой мѣрѣ эти начала согласны съ существующею уставною грамотой, тѣмъ болѣе, что прусскій народъ достаточно развитъ для пониманія финансоваго вопроса, и знаетъ что значить растрчивать жизненные силы страны въ самовольныхъ расходахъ; сверхъ того народъ имѣетъ вѣру въ установившееся и нравственное право, которое все-таки произноситъ послѣднее слово въ судьбахъ народовъ. Въ народѣ прусскомъ заключается огромнѣйшій запасъ силъ, которыя приведутъ его къ побѣдѣ, помогутъ сопротивляться и страдать, чтобы побѣдить непостижимое легкомысліе, съ которымъ министерство смѣется надъ конституціей.

Что должно бы произойти, еслибы верхняя палата не утвердила смѣты? Тогда не было бы никакой смѣты, а такъ какъ безъ смѣты государство существовать не можетъ, то изъ этого прямо слѣдуетъ, что правительство должно представить другую, исключивъ изъ нея всѣ неприятные пункты. Въ случаѣ если и другая была бы отвергнута верхнею палатою, палата обязана была бы заняться разсмотрѣніемъ третьей. Но еслибы упущено было время, вслѣдствіе постоянныхъ отказовъ верхней палаты, пришлось бы наконецъ прибѣгнуть къ силѣ, на употребленіе которой такъ тонко намекнулъ предсѣдатель совѣта министровъ; но сила должна бы быть употреблена противъ тѣхъ, кто злонамѣренно не платитъ, злонамѣренно отказывается отъ утверждаемыхъ 133 миліоновъ, злонамѣренно упустилъ время. И тогда наступитъ минута, столь горячо желаемая прусскимъ народомъ уже столько лѣтъ сряду; тогда доказана будетъ ясно и очевидно необходимость совершенно преобразовать верхнюю палату, составляющую важное препятствіе цивилизаціи въ Пруссіи.

Возвращаясь опять къ 99 параграфу, замѣтимъ, что смѣта каждаго года есть особенный каждый разъ законъ. По смыслу прусской уставной грамоты всякій законъ обсуживается въ двухъ палатахъ и утверждается королемъ, стало-быть всякій законъ есть продуктъ

тройственнаго согласія трехъ властей. Такимъ образомъ палата депутатовъ одна не можетъ разрѣшать расходы; это разрѣшеніе должно всегда сопровождаться двумя другими. Но далѣе надо различать: не нужно трехъ отказовъ, чтобы отвергнуть смѣту; довольно чтобы недоставало одного утвержденія, — и смѣта не допускается. Еслибы существовалъ законъ объ отвѣтственности министровъ, то въ случаѣ крайней необходимости министръ переступаетъ конституцію, и тогда его положеніе исполнено высоконравственнаго значенія. Когда въ 1766 году Питтъ нарушилъ уставную грамоту, чтобы спасти отъ голода цѣлое народонаселеніе, онъ спокойно могъ явиться передъ народными представителями. Когда генералъ Йоркъ 30 декабря 1812 года заключилъ въ Таурогенѣ конвенцію, въ силу которой не спросясь короля отложился отъ французскихъ войскъ и принялъ нейтральное положеніе, онъ очень хорошо зналъ, что преступилъ границы своей власти; но онъ могъ спокойно предложить королю выборъ между утвержденіемъ его конвенціи и наденіемъ его съдой головы. Когда министръ знаетъ, что онъ подлежитъ законной отвѣтственности, пусть онъ нарушаетъ уставную грамоту, пускай въ крайнемъ случаѣ онъ становится выше закона; вначе онъ оскорбляетъ здравый смыслъ и нравственное чувство народа.

Когда смѣта была окончателъно разсмотрѣна въ палатѣ и утверждена въ измѣненномъ видѣ, она перешла на разсмотрѣніе верхней палаты. Послѣ краткихъ предварительныхъ превій, графъ Арнимъ-Бойценбургъ предложилъ отвергнуть смѣту, измѣненную палатою депутатовъ, и утвердить ту, которая предложена была министерствомъ. 150 голосовъ противъ 17 отвергли смѣту, измѣненную парламентомъ, и потомъ 114 голосовъ противъ 44 утвердили смѣту, составленную министерствомъ.

На другой же день, 13 октября, президентъ палаты депутатовъ, достопочтенный старецъ фонъ-Грабовъ, прочелъ въ засѣданіи постановленіе верхней палаты касательно смѣты на 1862 годъ и прибавилъ: я горько и откровенно сожалею, что намъ черезъ меня пришлось узнать это горестное рѣшеніе. Я глубоко убѣжденъ, что верхняя палата поступила противно вашей конституціи; но я не имѣю права не подвергнуть верхнихъ постановленій обсужденію этой палаты, и потому предлагаю передать ихъ смѣтной комиссіи, которая должна будетъ представить намъ свой отчетъ черезъ часъ.

Дѣйствительно, менѣе чѣмъ черезъ часъ комиссія представила слѣдующій проектъ заключенія:

«Палата депутатовъ объявляетъ, что постановленіе верхней палаты не ограничивается принятіемъ или непринятіемъ постановлен-

ной палатою депутатовъ смѣты, которая только и была представлена на разсмотрѣніе; напротивъ, отвергнувъ постановленіе палаты депутатовъ, она утвердила непредставленную ей на разсмотрѣніе смѣту правительства; такое постановленіе противно точному смыслу и тексту 62 параграфа уставной грамоты, и потому считается за ничто и не существуетъ. Королевское правительство не можетъ вывести никакого права изъ этого постановленія верхней палаты.»

Это заключеніе утверждается палатою единогласно. Потомъ г. Бисмаркъ прочелъ королевское посланіе, созывающее палаты во дворецъ для ихъ закрытія. Наконецъ президентъ Грабовъ сдѣлалъ бѣглое обзорѣніе всего того что сдѣлала палата, и выразилъ надежду, что королю удастся разрѣшить нынѣшнее затрудненіе въ смыслѣ уставной грамоты. Кончилъ онъ, три раза провозгласивъ: «да здравствуетъ король, непоколебимо стоящій на почвѣ конституціи, которой онъ присягалъ, и да здравствуетъ конституція!» Члены палаты съ восторгомъ повторили этотъ крикъ.

Въ тотъ же день палата была закрыта королевскимъ посланіемъ. Многие изъ членовъ въ тотъ же день уѣхали изъ Берлина.

Послѣ этого началось запрещеніе нѣкоторыхъ номеровъ различныхъ газетъ, началось преслѣдованіе нѣкоторыхъ чиновниковъ, которые были членами распущенной палаты, подавали голоса противъ смѣты, составленной министерствомъ. Началось представленіе королю различныхъ депутацій, поздравляющихъ его величество съ благополучнымъ избавленіемъ отъ палаты. Нѣкоторымъ депутаціямъ король отвѣчалъ между прочимъ: «Я твердо рѣшился не оставлять болѣе ни одного изъ доставшихся мнѣ преемственно правъ. Скажите это пославшимъ васъ. Богъ всемогущій всегда покровительствовалъ Пруссіи и будетъ продолжать намъ покровительствовать. Девизъ Пруссіи есть: Съ Богомъ за короля и отечество!»

Побѣда министерства надъ прусскою уставною грамотой была чрезвычайно легка, точно также, какъ итальянскому министерству легко досталась побѣда при Аспромонте. Чтобы далѣе съ успѣхомъ вести дѣла, необходимо сообразить всѣ обстоятельства, взвѣсить всѣ возможности, собрать мнѣнія людей компетентныхъ, посоветоваться съ первыми знатоками и мастерами государственныхъ переворотовъ въ извѣстномъ смыслѣ. Нынѣшній президентъ совѣта министровъ г. Бисмаркъ-Шенгаузенъ, какъ извѣстно, нѣкоторое время былъ посланникомъ въ Парижѣ. Теперь онъ опять уѣхалъ въ Парижъ, подъ предлогомъ представленія императору королевскаго письма, отзывающаго его съ поста посланника.

ИТАЛЬЯНСКІЯ ДѢЛА

Итальянскія дѣла происходятъ теперь въ разныхъ мѣстахъ, въ Парижѣ, въ Біарицѣ, въ Лондонѣ, только не въ Италіи. Тамъ лежитъ только больной человѣкъ съ прострѣленной ногой и ожидаетъ операци и смерти. Но смерть его конечно не страшитъ. Столько разъ онъ выдалъ ее лицомъ къ лицу, столько разъ былъ къ ней готовъ, что теперь она его не удивитъ. Но страшно ему оставить свою Италію, проститься съ нею въ такое время, когда еще ей необходимъ такой преданный сынъ, бросить ее на произволъ біаррицкихъ распоряженій и можетъ быть очень честныхъ, но очень, очень далеко негеніальныхъ опекуновъ. Что станется съ его твореніемъ? Кто подниметъ его изъ унженія? Чье обожаемое имя подниметъ массы противъ притѣснителя? Чей голосъ вдохнетъ въ эти массы увлеченіе, необходимое для великаго дѣла? А энтузіазмъ простываетъ; онъ, раненый, это чувствуетъ, и боится это сознать ясно и отчетливо, потому что въ этомъ сознаніи смерть, не его, раненаго смерть, которая ровно ничего не значитъ, а политическая смерть прекрасной Италіи, которой чужеземецъ не даетъ стать на ноги, не даетъ укрѣпиться, опериться, которому въ этомъ помогаютъ мѣщански умѣренные и акуратные опекуны. И къ невыносимому физическому страданію присоединяется глубокое страданіе нравственное, и могучій, несокрушимый организмъ наконецъ уступаетъ адскимъ страданіямъ. Само собою разумѣется, что извѣстіе о прощеніи не опечалило его и не порадовало. Онъ лежалъ, закрывши глаза, въ полуусыпленіи, когда ему объявленъ былъ королевскій декретъ, нѣсколько открывъ глаза, сказалъ «а!» и опять погрузился въ болѣзненный полусонъ. А между тѣмъ стоило обратить вниманіе на этотъ актъ и предшествовавшій ему докладъ, какъ на любопытнѣйшіе документы внутренней дипломатіи.

Въ докладѣ сказано, что поводы, заставившіе министровъ воспротивиться великодушнымъ стремленіямъ короленскаго сердца, болѣе не существуютъ; владычество законовъ восстановлено и утверждено. Довѣріе къ открытой и въ тоже время мудрой политикѣ короля умѣрило нетерпѣніе, которое подвинуло Гарибальди на путь возстанія и привело аспромонтскую катастрофу. Всякому стало очевидно, что когда онъ сражался во имя короля, то совершалъ чудеса, а когда онъ, забывъ свои обязанности, употребилъ оружіе противъ королевскихъ правъ, то немедленно пораженъ былъ неудачей. Теперь усюкоенная Италія, вспоминая услуги, оказанныя раненымъ героемъ, желаетъ забыть его заблужденія. Пока надо было бороться

съ возстаніемъ, правительство принимало самыя дѣятельныя мѣры, а теперь, когда всякая опасность прошла, можно исполнить общее желаніе и даровать помилованіе. Въ текстѣ королевскаго декрета Гарибальди не упоминають; сказано только, что зачинщики и соучастники событій и попытокъ къ возстанію, бывшихъ въ прошломъ августѣ мѣсяцѣ въ южныхъ провинціяхъ, и не виновные въ обыкновенныхъ преступленіяхъ, освобождаются отъ всякой ответственности передъ судомъ. Исключаются изъ этого прощенія военные какъ сухопутные, такъ и моряки. — Коротко, но не совсѣмъ ясно.

Главный зачинщикъ тоже военный генералъ итальянской сухопутной службы; его сынъ военный полковникъ. По точному смыслу декрета оказалось, что зачинщикъ не прощенъ, такъ какъ объ немъ—то шло все дѣло, противъ него только юстиція не имѣла оружія, о немъ только болѣла и болитъ его Италия. Но не придираясь къ словамъ, не ловя министерство на промахѣ въ выраженіи, зачинщикъ сказалъ только «а!» и не протестовалъ противъ прощенія: для него не въ томъ заключалось главное дѣло. Италия ничего не выигрывала и не проигрывала отъ этого декрета, потому что ея боецъ во всякомъ случаѣ выбылъ изъ строя, и сколько столѣтій пройдетъ, пока она дождется такого же!

Съ самаго начала состояніе раны было очень удовлетворительно: была надежда не только на полное, но и на скорое выздоровленіе. Но не всѣ врачи были такого мнѣнія. Докторъ Палашіано былъ того мнѣнія, что пуля осталась въ ранѣ; того же мнѣнія были два другіе врача. Но четыре доктора, бывшіе постоянно при больномъ, и съ ними еще два итальянскіе профессора и англійская знаменитость докторъ Партриджъ, считали, что пули нѣтъ въ ранѣ и что заживленіе произойдетъ безпрепятственно. Оптимисты въ этотъ случаѣ основывались на томъ, что пули нельзя найти, что различные куски шерсти и кожи, увлеченные пулей въ рану, вышли сами собою вместе съ гноемъ, тогда какъ еслибы въ ранѣ была и пуля, то она не выпустила бы этихъ кусковъ, притиснувъ ихъ къ стѣнкамъ раны. Песимисты возражали, что неестественное положеніе ступни прямо указываетъ на то, что между костями находится постороннее тѣло. Потомъ рана имѣетъ одно только отверстіе, и если пуля вышла, то могла выйти только обратно, отскочивъ отъ кости; но этого допустить нельзя, потому что берсальеры стрѣляли на очень близкомъ разстояніи, не болѣе девяти саженъ, а на этомъ разстояніи копическая пуля изъ наръзнаго ружья летитъ еще съ полною силой, и не расплывается, какъ обыкновенная круглая пуля. Сверхъ того легкость, съ какою вышли изъ раны предметы, увлеченные туда пулей, ничего

не доказываетъ, потому что пуля по своей конической формѣ и вращательному движенію, проникая въ тѣло, весьма могла оставить за собой увлеченныя въ тѣло лоскуты одежды. Такъ сначала споръ и небылъ рѣшонъ. А между тѣмъ состояніе больного становилось хуже и хуже, такъ что надо было 10 октября созвать консультацію. Разсмотрѣвъ больное мѣсто врачи нашли сильную опухоль выше щиколки, и приписали это явленіе припадку ревматизма, который явился и въ другихъ суставахъ, вслѣдствіе переменчиваго состоянія атмосферы. Исследуя рану зондомъ, легко проникнуть въ боковую вѣтвь, глубиною дюйма въ два: тамъ замѣчаются неровности обломанной кости. Конецъ зонда останавливается близъ вѣшной щиколки, не встрѣчая твердаго тѣла. Нагноеніе хорошаго качества и пропорціовальное объему раны. Вокругъ сустава значительная отечвая опухоль. На нѣсколько линій впереди вѣшной щиколки замѣчается краснота кожи; прикосновеніе въ этомъ мѣстѣ производитъ сильную боль, а въ глубинѣ можно примѣтить нѣкоторое сопротивленіе. При давленіи подъ щиколкой, изъ раны выходитъ гной. Общее состояніе больного удовлетворительно, всѣ отправленія совершаются нормально. Однако онъ сильно похудѣлъ, что уже неизбежно вслѣдствіе продолжительной неподвижности и страданій отъ раны и отъ ревматизма. Изъ всего хода болѣзни и изъ состоянія раны выведено, что рана очень серьезная, потому что имѣется переломъ внутренней щиколки, и суставъ обнаженъ; потому что нельзя положительно сказать, чтобы пуля тамъ не было, наконецъ потому что у больного есть расположеніе къ ломотѣ. Несмотря на все это, можно произнести предсказаніе благоприятное, хотя и могутъ произойти осложненія, болѣзнь можетъ затянуться и усилиться.

До сихъ поръ больной лежалъ въ небольшомъ фортѣ Вариньяно, принадлежащемъ къ системѣ укрѣпленій Спеція. Въ этомъ фортѣ есть лазаретъ, обширное помѣщеніе для каторжниковъ и морской запасный магазинъ. Остроумный г. Ратацци чрезвычайно искусно помѣстилъ своего плѣнника вмѣстѣ съ каторжниками. Чтобы дойти до помѣщенія больного, надо было пробраться въ отравленной атмосферѣ среди работающихъ въ цѣпяхъ арестантовъ. У входа къ больному всегда стояло два карабинера съ заряженными ружьями. Мѣсто печальное: тюрьма и больница въ одно время, слышенъ звукъ цѣпей, чувствуется запахъ лекарствъ; страшное мѣсто.

Посѣтитель, желающій видѣть больного, пройдя часовыхъ, попадаетъ въ отрядъ красныхъ рубашекъ: это штабъ раненаго. Въ первой комнатѣ находится вѣчный дежурный старый докторъ Рипаря, сердитый, ворчунъ, недоступный; мало говорить, никогда не

смѣется, но плачетъ иногда, видя страданія своего больного. Ежели посятитель не принадлежитъ къ числу друзей и старыхъ знакомыхъ, то дальше этой комнаты онъ и не попадетъ. Проникнуть къ больному можно только черезъ длинный рядъ небольшихъ лазаретныхъ комнатъ, изъ которыхъ каждая занята однимъ или двумя изъ преданнѣйшихъ друзей.

Несмотря на ужасающія страданія, Гарибальди и въ болѣзни сохранилъ ту величаво-спокойную простоту, которая такъ привлекала къ нему всякаго, кто къ нему приближался. Говорилъ онъ мало, охотнѣе слушалъ, и если скажетъ что-нибудь, то съ необычайною краткостью и точностью, удивительно вѣрно и удачно. Ненависти въ немъ рѣшительно не было замѣтно ни къ кому, и въ этомъ отсутствіи гнѣва было что-то величественное. Онъ не любилъ говорить о себѣ, о своихъ страданіяхъ и ранѣ; тридцать дней онъ пробылъ безъ сна и ни разу не жаловался.

Авгдійскій докторъ Партриджъ осматривалъ его больную ногу, трогалъ ее, шупалъ и давилъ во всѣхъ направленіяхъ. Замѣчая, что на лицѣ больного не шевелится ни одинъ мускулъ, онъ наконецъ испугался и спросилъ: «Неужели вамъ не больно?» — Очень, отвѣчалъ больной. Тогда онъ снова принялся за осмотръ. — «Здѣсь какъ?» спросилъ онъ. — Боль не большая. — «А тутъ?» — Очень больно. — «Здѣсь?» — Мука невыносимая, отвѣчалъ больной своимъ обычнымъ, кротко спокойнымъ голосомъ. Можетъ-быть эта стойкость и обманула англійскаго хирурга.

Пятка и суставъ обнажились, такъ что вся нога должна была лежать на икрѣ; нога привязана перевязкою къ особенной подставкѣ, такъ что она постоянно виситъ.

Жизнь въ Вариньяно была печальная; въ теченіе дня случалось одно только происшествіе, — прибытіе почты; всякій ждалъ и надѣялся писемъ. Одинъ Гарибальди не ждалъ и не надѣялся ничего; если дадутъ ему газеты, то онъ читаетъ, забудутъ дать — не спрашиваетъ. Писемъ получалъ онъ много, но конечно ему подавали только тѣ, которыя до него лично касались. Не было возможности только перечестъ письма отъ разныхъ лекарокъ и знахарей, которые предлагали его лечить. Онъ получалъ много подарковъ, оружія, книгъ, всякой провизіи. Одна дама прислала ему изъ Манчестера изъ своихъ оранжерей винограду. Въ Спеціи нѣсколько стрѣлковъ охотились постоянно только для его стола.

Между тѣмъ время шло; всѣ окончательно убѣдились, что пуля осталась въ ранѣ, а рѣшительныхъ мѣръ не принимали. Пріѣхалъ г. Бергани, по мнѣнію котораго необходимо немедленно отнять ногу; но для этого надобно перевести его изъ Вариньяно, не защищен-

наго горами отъ сѣвернаго вѣтра, что въ его ломотномъ расподоженіи вредно. Еслибы Гарибальди былъ какой-нибудь неизвѣстный бѣдникъ или обыкновенный больной, то съ нимъ справились бы весьма скоро, вынули бы пулю или отняли бы ногу. Но тутъ возбуждаемое больнымъ сочувствіе было причиною надежды вылечить его безъ отнятія ноги. Думали пособить дѣлу тщательнѣйшимъ уходомъ, внимательнѣйшимъ, ежеминутнымъ присмотромъ, и можетъ-быть потеряли слишкомъ много времени.

22 октября больной былъ перевезенъ черезъ заливъ изъ форта Вариньяно въ самую Спецію. Положили его на лодку, взятую на буксиръ арсенальнымъ пароходомъ; потомъ его буксировала шлюпка съ корабля «il Re Galantuomo». Горькое совпаденіе обстоятельствъ. Это слово изобрѣтено самимъ больнымъ въ то счастливое время, когда онъ взялъ Италію и отдалъ ее королю. Отъ короля имя перешло къ кораблю, съ котораго шлюпка буксировала чуть не похоронную лодку. На пристани палатку сняли съ лодки и вынули оттуда больного на большомъ креслѣ, въ полулежащемъ положеніи. Нѣсколько человекъ подняли его и понесли. Народу собралось множество, но всѣ молчали и молча снимали шапки, какъ передъ громомъ. Больной отвѣчалъ на поклоны движеніемъ руки. Народъ замѣтилъ, что онъ похудѣлъ и въ тоже время какъ-то отекъ. Вокругъ носилокъ шло человекъ двѣнадцать въ красныхъ рубашкахъ и нѣсколько друзей въ обыкновенномъ платьѣ. Самъ онъ былъ тоже въ красной рубашкѣ покрытой сѣрымъ плащемъ. На головѣ у него была низенькая сѣрая шляпа; одинъ изъ друзей прикрывалъ его зонтикомъ отъ солнца.

Теперь надо ожидать извѣстій о результатахъ консилиума: отнимутъ ногу или попробуютъ вынуть пулю со стороны внѣшней щиколки? Но Италія въ страстномъ напряженіи ожидая развязки, трепещетъ и боится несчастнаго исхода. Въ теченіи семи недѣль потеряннаго времени не успѣло ли уже развиться худосочіе, которое вслѣдъ за операціей убьетъ больного? На консилиумъ ѣдетъ опять докторъ Партриджъ, съѣзжаются другія европейскія хирургическія знаменитости. Но успѣютъ ли они что-нибудь сдѣлать? Что они могутъ сдѣлать противъ худосочія? Не придется ли имъ только своимъ безсиліемъ доказать г. Ратацци старую поговорку, что одинъ бросить камень въ воду, а десять умныхъ не вытащать.

Между тѣмъ пока больной лежалъ въ страшныхъ мукахъ, благополучно совершилось бракосочетаніе дочери короля Виктора-Эммануила съ королемъ португальскимъ. Торжества по этому случаю были пышныя, великолѣпныя; различные города прислали разныхъ

свадебныя приношенія, большею частію художественныя; король ихъ благодарилъ.

Сильно поговариваютъ о перемѣнахъ, имѣющихъ произойти въ составѣ министерства, и важность ихъ весьма понятна, если принять въ соображеніе, что президентомъ совѣта министровъ останется тотъ же господинъ Ратацци, министръ внутреннихъ дѣлъ сдѣлается министромъ финансовъ, министръ финансовъ возьметъ портфель публичныхъ работъ, а министръ публичныхъ работъ займется министерствомъ внутреннихъ дѣлъ. Впрочемъ, можетъ-быть произойдетъ перетасовка другого рода, карты подтасуются въ другомъ порядкѣ; но игра останется все таже. Благодаря безславію министерства, его неумѣнью воспользоваться рѣдкимъ въ жизни народовъ энтузіазмомъ, овладѣвшимъ Италіей, эта прекрасная страна поставлена въ такое положеніе могущественнымъ покровительствомъ императора Наполеона III, что всякая перемѣна министра во Франціи отзывается болѣзненнымъ или радостнымъ образомъ на Италію. Такъ перемѣнился тамъ министръ иностранныхъ дѣлъ: мѣсто г. Тувенеля занялъ г. Друэнъ-де-Люи. Это произошло совершенно неожиданно какъ все, что дѣлаетъ императоръ Наполеонъ III. И вотъ officialный міръ заволновался: что будетъ? какъ будетъ? какъ новый министръ будетъ смотрѣть на итальянскій вопросъ? Но бѣдныя политики могутъ быть совершенно спокойны: онъ будетъ смотрѣть глазами своего императора. «Все мое, сказалъ булатъ.»

Папа находится теперь въ Кастель Гандольфо. Онъ ищетъ развлечения отъ своихъ великихъ заботъ въ маленькихъ поѣздкахъ въ сосѣдніе городки и деревни. По большей части его вездѣ народъ встрѣчаетъ выраженіями сочувствія и преданности. Злые языки увѣряютъ, будто эти встрѣчи устроиваются клерикалами для доказательства передъ цѣлымъ міромъ, что народъ блаженствуетъ подъ управленіемъ обожаемаго папы-короля. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ однакоже святого отца встрѣчаютъ довольно враждебно, иногда просто холодно, вовсе его незамѣчая, а иногда раздаются свистки.

Король Францискъ II все еще живетъ въ Квириналѣ, но скоро намѣренъ переѣхать въ свой купленный дворецъ Боргезе. Папа уговаривалъ его остаться, представляя, что въ Квириналѣ онъ находится прямо подъ его непосредственнымъ покровительствомъ, тогда какъ во дворцѣ Боргезе онъ уже не въ состояніи будетъ дать швейцарскихъ тѣлохранителей и устроить обстановку, подобающую бывшему королю. Однако Францискъ II все-таки намѣренъ переѣхать, можетъ-быть изъ деликатности, чтобы не отягощать папскую казну содержаніемъ ста-двадцати человекъ его свиты. Но онъ можетъ-быть совершенно спокоенъ. Кромѣ того, что папская область даетъ

перялочный доходъ, имѣется еще доходъ со всего католичества, ливарій св. Петра, котораго достанетъ на содержаніе бывшего короля, съ его свитою и швейцарцами.

Греко-славянскій или восточный вопросъ

Недавно Европа была удивлена маленькою телеграфическою депешей изъ Корфу отъ 23 октября: «Ожидаютъ сегодня провозглашенія временнаго правительства. Произошли безпорядки въ Миссолонгѣ, Акарнаніи, Патрасѣ и Мессении. Войска охраняютъ тюрьмы и казначейства.» То-есть какъ же это слѣдовало понимать? Зачѣмъ было временное правительство, когда имѣется постоянное, учрежденное властью и вліаніемъ великихъ европейскихъ державъ. И что за безпорядки? Какого свойства? Весьма недавнее возстаніе въ Навидинъ было болѣе нежели безпорядкомъ, однако постоянное правительство привело все въ порядокъ, и не оказалось надобности въ правительствѣ временномъ. Невольно навязывалось внимательному читателю газетъ, что это извѣстіе изъ Корфу, находящагося подъ тѣснѣйшимъ покровительствомъ Англіи, что въ Лондонѣ, конечно, послано болѣе подробное донесеніе, а Европѣ достались только непонятные отрывки. Понятно, что телеграфная станція въ Корфу прежде всего обратилась къ своему правительству.

Отъ 24 числа была депеша уже изъ Триеста. Въ ней сказано было, что временное правительство учреждено для всего королевства, что будетъ созвано народное собраніе и что въ Афинахъ спокойно. Опять загадка. Но и этого короткаго извѣстія довольно было для газетъ, чтобы составить большія, порою даже очень дѣльные статьи по поводу правъ Греціи на распоряженіе своею участію и необходимости удержать верховное господство Порты надъ христіанскими ея подданными, все равно — греки они или славяне.

Отъ 25 числа явились уже извѣстія болѣе подробныя. Изъ Смирны получена депеша, возвѣщающая что переворотъ въ Греціи произошелъ омончательно 22-го, стало-быть 23-го былъ весьма хорошо извѣстенъ въ Корфу, но не возвѣщенъ Европѣ ради предосторожности, чтобы Англія имѣла время принять свои мѣры. Король Отонъ отказался отъ престола въ пользу своего брата, и уѣхалъ. Временное правительство провозгласило удаленіе отъ престола баварской династіи. Король съ королевой уѣзжали изъ Афинъ съ тѣмъ, чтобы осмотрѣть нѣкоторыя мѣста своего государства. Въ ихъ отсутствіе совершился переворотъ, такъ что на возвратномъ пути король не присталъ къ берегу въ Циреѣ, а остановился на якорѣ въ Саламинскомъ заливѣ. Тотчасъ же къ его пароходу подо-

шли и стали съ обѣихъ сторонъ два фрегата, французскій и авглійскій. Къ ихъ величествамъ королю Отону и королевы немедленно явились представители постороннихъ державъ, увѣдомили о совершившейся революціи и совѣтовали не дѣлать ей никакихъ уступокъ. Говорятъ, что особенно г. Больверъ подстрекалъ дворъ къ самой упорной настойчивости, обѣщая самую дѣятельную помощь со стороны Англіи. Тогда король отказался входить въ какія бы то ни было сношенія съ Булгарисомъ, предсѣвателемъ временнаго правительства, и уѣхалъ. 27 октября король Отонъ и королева Амалия утромъ благополучно прибыли въ Корфу и въ тотъ же день отправились по направленію къ Венеціи. Въ тотъ же самый день вечеромъ французская эскадра Средиземнаго моря вышла изъ Тулона въ греческія воды. 29 числа около полудня король и королева благополучно прибыли въ Венецію. Въ тотъ же день четыре австрійскіе корабли получили приказаніе отплыть въ греческія воды. Такимъ образомъ временное правительство въ Греціи находится подъ внимательнымъ надзоромъ, если не подъ тѣсною опекою трехъ эскадръ, изъ которыхъ по крайней-мѣрѣ двѣ прямо поддерживаютъ Турцію и прямо враждебны всякому греческому движенію. Газета «Times» уже успѣла подать свой голосъ касательно греческаго переворота, и заявила, что Греція имѣла право такимъ образомъ распорядиться съ своею династіей, а что Англія съ своей стороны не желаетъ избранія на греческій престолъ принца Альфреда, но не станетъ противиться избранію или герцога лейхтенбергскаго, или графа фландрскаго, или князя Ипсилави.

Вотъ и все, что мы покажемъ знаемъ о греческомъ возстаніи и о сверженіи короля Отона, перваго и послѣдняго греческаго короля баварской династіи. Хотя фактовъ о самомъ возстаніи извѣстно еще весьма немного, но источники и причины его очень хорошо извѣстны. Какъ явленіе органическое, это возстаніе сдѣлалось не случайно, не вдругъ: оно было неизбѣжнымъ слѣдствіемъ всего предыдущаго, оно было такъ-сказать продолженіемъ войны за независимость. Эта война была только прервана тридцатилѣтнимъ царствованіемъ короля Отона. Это весьма продолжительное время для переставшаго управлять короля, но въ жизни народа это не очень длинный срокъ, провавшій впрочемъ для Греціи не даромъ.

Въ 1825 году Порта собрала всѣ свои силы, чтобы подавить греческое возстаніе, которое втеченіи четырехъ лѣтъ сдѣлало уже значительные успѣхи, несмотря на всѣ ужасы самой опустошительной и варварской войны. Ибрагимъ, паша морейскій, съ египетскими войсками, начиналъ одолѣвать возстаніе. Число сожженныхъ

нимъ городовъ и деревень считалось уже сотнями; греческіе плѣнники и плѣнницы цѣлыми корабельными грузами вывозились уже въ Египетъ на продажу въ неволю. Къ концу осени 1825 года вся Морея превратилась въ пустыню. Но и тутъ греки еще не палали духомъ; они продолжали отчаянно отстаивать только-что мелькнувшую для нихъ независимость. Наконецъ ожесточенность борьбы подвинула великія державы къ дѣятельному вмѣшательству, особенно потому, что онѣ сильно боялись, чтобы не вмѣшалась въ дѣло одна Россія, что дало бы ей рѣшительный перевѣсъ въ восточныхъ дѣлахъ.

Англія открыла въ Петербургѣ переговоры, которые привели 4 апрѣля 1826 года къ подписанію протокола. Россія съ Англіей условились (а послѣ къ нимъ пристала и Франція), что Греція будетъ управляться туземнымъ княземъ, будетъ имѣть полную свободу вѣры и торговли, и будетъ платить Портѣ извѣстную дань, находясь все-таки подъ ея покровительствомъ. Протоколъ былъ предложенъ Портѣ; но она его отвергла безусловно особеннымъ ультиматумомъ 10 іюня 1827 года, такъ что великимъ державамъ осталось только или вовсе отказаться отъ всякаго вмѣшательства въ греческія дѣла, или подкрѣпить свои представленія оружіемъ. Переговоры тянулись цѣлые четырнадцать мѣсяцевъ. 6 іюля 1827 года великія державы подписали трактатъ о независимости Греціи и немедленно предписали адмираламъ, командовавшимъ ихъ флотами въ Средиземномъ морѣ, противиться всякой новой присылкѣ египетскихъ войскъ въ Грецію, но прибѣгнуть къ употребленію силы только въ такомъ случаѣ, если Ибрагимъ-паша первый начнетъ неприязненныя дѣйствія. 20 октября дѣйствительно произошла битва, въ которой при Наваринѣ уничтоженъ былъ турецко-египетскій флотъ. Державы придавали наваринскому сраженію какое-то двусмысленное значеніе. Поэтому Турція снова заговорила свысока и потребовала окончательной покорности Мореи. Въ концѣ года посланники трехъ державъ уѣхали изъ Константинополя. Дипломатическія сношенія съ Турціей кончились.

Битва при Наваринѣ нѣсколько ободрила грековъ, которые потому одержали нѣсколько незначительныхъ побѣдъ. Въ началѣ 1828 года пріѣхалъ графъ Каподистрія, избранный на семь лѣтъ президентомъ греческой республики, и немедленно занялся организаціей того, что оставалось въ Греціи. Дѣло это было чрезвычайно трудно. Семь лѣтъ войны за независимость совершенно разстроили греческіе финансы, породили внутреннія несогласія и межлоусобія. Военныя операціи были незначительны, по неимѣнію войскъ, такъ что даже не было возможности заставить Ибрагима-пашу выйти

нать Морен, несмотря на то, что великія державы требовали его удаленія. Вообще дѣла шли чрезвычайно медленно. Только въ концѣ августа 1828 года въ Морей высадилось 14,000 французовъ, которые и выгнали Ибрагима. Благодаря неутомимой дѣятельности графа Каподистрія раны Греціи начали мало-помалу заживать, хотя со всѣхъ сторонъ являлось еще множество недовольныхъ, и были частыя возстанія противъ власти президента. Такъ прошолъ весь 1829 г. Между тѣмъ въ Лондонѣ собиралась особенная конференція для обсужденія греческихъ дѣлъ. Къ 3 февраля 1830 г. Греція объявлена государствомъ независимымъ съ опредѣленными на конференціи границами, и престолъ ея отдавался принцу Леопольду саксен-кобургскому. Сначала принцъ согласился взять на себя управленіе Греціею, и тотчасъ сталъ хлопотать объ увеличеніи данныхъ Греціи границъ, доказывая, что постановленныя на конференціяхъ границы малы, неудовлетворительны, не обезпечиваютъ независимости и безопасности новаго государства. Но Англія в тогдѣ ревниво берегла Турцію: домогательства принца не имѣли никакого успѣха; пробывъ три съ половиною мѣсяца номинальнымъ королемъ Греціи, онъ отказался 21 мая.

Тутъ вскорѣ вспыхнула іюльская революція, а съ нею вмѣстѣ и другія важныя перемѣны въ Европѣ. Это остановило работы лондонскихъ конференцій по греческимъ дѣламъ, а въ самой Греціи откликнулось возстаніями въ разныхъ мѣстахъ. Президентъ долженъ былъ прибѣгнуть къ вооруженной силѣ для сбора налоговъ; повсюду были неудовольствія, смуты, и наконецъ вспыхнуло междоусобіе по случаю ареста нѣкогого Полизондеса, редактора журнала «Аполлонъ». Командиръ русской эскадры въ Средиземномъ морѣ потребовалъ, чтобы выданъ былъ весь греческій флотъ, стоявшій тогда близъ острова Пароса. Міаулисъ рѣшился тогда на страшное дѣло: чтобы не выдать флота русскимъ, чтобы этотъ флотъ не послужилъ президенту новымъ орудіемъ будтобы для угнетенія Греціи, онъ смегъ двадцать-восемь большихъ кораблей и взорвалъ укрѣпленія паросскаго порта. Казалось, что Греція должна была погибнуть въ судорогахъ междоусобной войны; но убійство президента на нѣкоторое время возстановило миръ между партіями. Новый президентъ, Августинъ Каподистрія, точно такъ же вынужденъ былъ усмирять различныя возстанія до тѣхъ поръ, пока не пришло извѣстіе о протоколѣ лондонскихъ конференцій 7 марта 1832 года, объ избраніи принца Оттона баварскаго королемъ Греціи.

Между великими державами и Баваріей заключенъ былъ 7 мая договоръ; имъ формально утверждался принцъ Оттонъ королемъ греческимъ, учреждалось регентство для управленія отъ его имени

до совершеннолѣтія; великія державы обѣщали свое ручательство за Грецію по случаю займа въ 60 миліоновъ франковъ, а Баварія обязалась послать въ Грецію регентство и 3500 человекъ войска. Потомъ народное собраніе въ Навплии единодушно выбрало принца Отона своимъ королемъ. Только къ 6 октября назначено было въ Мюнхенѣ регентство, состоящее изъ генерала Арманшперга, генерала Гейдеггера и статскаго совѣтника Маурера. 30 января 1833 года это регентство съ юнымъ королемъ прибыло къ Навплии, но вышло на берегъ не ранѣе 6 февраля, когда высадились привезенныя войска и заняли караулы. Такая осторожность произвела уже неблагопріятное впечатлѣніе на вѣрноподанныхъ. Народъ, привыкшій двѣнадцать лѣтъ сряду драться за свою независимость и жизнь ставить нивочто, считалъ неумѣстнымъ дѣломъ тѣ мелочныя предосторожности, которыя принимались при высадкѣ.

Регентство немедленно принялось за дѣло, и надо отдать ему справедливость, съ большою энергіей. Пошли преобразованія, какія требовались для устройства Греціи по баварскому образцу съ нѣмцами во главѣ всѣхъ важныхъ мѣстъ. Гражданскія и военныя должности занимались преимущественно нѣмцами, такъ что природныя греки оттерты были на второй планъ и въ должности съ малыми окладами жалованья. Министры были конечно нѣмцы, генералы нѣмцы, суля нѣмцы, офицеры нѣмцы, чиновники нѣмцы, такъ что народъ чистосердечнѣйшимъ образомъ возненавидѣлъ все иностранное, въ особенноти нѣмецкое. Потомъ, когда король, достигнувъ совершеннолѣтія, вступилъ въ бракъ съ принцессой голштейнъ-ольденбургскаго дома, что еще болѣе усилило вліяніе нѣмцевъ въ Греціи, то народъ уже ненавидѣлъ и своего короля. Но греки были очень терпѣливы, и установившійся порядокъ вещей тянулся бы вѣроятно до сихъ поръ, еслибы не подвернулся денежный вопросъ, весьма интересовавшій и великія державы.

Заемъ въ 60 миліоновъ франковъ мало-помалу былъ истраченъ, а правительство не сумѣло распорядиться такъ, чтобы при помощи его создать себѣ способы уплаты процентовъ и погашенія. Въмѣсто того, чтобы употребить заемъ преимущественно на упроченіе матеріальнаго благосостоянія страны, правительство весь его потратило на содержаніе огромнаго, ненужнаго по числу войска количества генераловъ и на содержаніе самой хитрой системы администраціи, вовсе несообразной съ истинными потребностями страны. Не доставало наконецъ денегъ не только на уплату процентовъ по вѣнскому займу, но и на внутреннія потребности. Россія, Франція и Англія подписали наконецъ въ Лондонѣ протоколъ и общую ноту, переданную королю въ сентябрѣ 1843 года. Его просили озаботиться

уплатою процентовъ и погашенія займа, удалить отъ публичныхъ должностей иностранцевъ и созвать народное собраніе.

Когда недовольные узнали, что и великія державы недовольны греческимъ правительствомъ, тотчасъ же въ Афинахъ вспыхнуло возстаніе, удавшееся потомучто войска, подъ начальствомъ Карлержи и Макріяниса, приняли въ немъ дѣятельное участіе. Король принужденъ былъ уволить свое нѣмецкое министерство и пригласить новое, національное. Созвано было народное собраніе для обсужденія новой уставной грамоты. Послѣ продолжительныхъ и шумныхъ толковъ и споровъ, сочинено было уложеніе по образцу французской хартіи 1830 года. Король ему присягнулъ, и дѣла могли бы пойти очень хорошо, если бы постоянная вражда партій не тормозила всего хода. Англии и Франціи постоянно казалось, что Россія интригуетъ въ Афинахъ для приобрѣтенія себѣ исключительнаго вліянія на дѣла. Поэтому онѣ сами непрерывно интриговали и расшевеливали всевозможныя оппозиціи всякій разъ, какъ только принималась мѣра, могущая, по ихъ мнѣнію быть хотя въ малѣйшей степени благопріятною для воображаемаго вліянія Россіи. Не останавливаясь этимъ, англійское правительство все съ большею настойчивостью и горечью требовало своихъ денегъ у государства, лишоннаго всякихъ средствъ. Лордъ Пальмерстонъ, недовольный тѣмъ, что Греція своимъ отпаденіемъ ослабила его обожаемую Турцію, требовалъ денегъ съ настойчивостью неумолимо. 11 января 1850 года англійская эскадра Средиземнаго моря стала на якорь противъ Пирея и предъявила правительству различныя требованія, и между прочимъ требованія португальскаго еврея Пачифико, которому надо было заплатить 800,000 драхмъ убытковъ, будто бы понесенныхъ имъ во время какого-то возстанія. Сверхъ того англійскій адмиралъ требовалъ уступки въ пользу Англии двухъ острововъ Элафонизи и Сапіенца. Англійскіе политики сами знали очень хорошо, что большая часть этихъ требованій не имѣетъ ни малѣйшаго основанія; но все это было только предлогомъ, чтобы начать борьбу противъ русскаго вліянія на востокъ. Въ этомъ собственно и заключается весь восточный вопросъ.

Въ европейской Турціи находится болѣе оиднадцати миліоновъ жителей, исповѣдующихъ греческую и армянскую вѣру, тогда какъ поклонниковъ ислама нѣтъ и четырехъ миліоновъ. Если разсматривать Турцію по племенамъ, то окажется, что славянъ тамъ 7,700,000 душъ, а грековъ 1,050,000. Эти-то цифры и не даютъ спокойно спать лорду Пальмерстону, потомучто въ самомъ дѣлѣ Россія могла бы имѣть покровительственное значеніе и по славянскому племени своему и по греческой вѣрѣ. Для Англии теперь гла-

вное дѣло — имѣть одинокое, безраздѣльное вліяніе на торговлю Турціи; для этого нужно убавить русское вліяніе и ослабить все, что въ Турціи можетъ принять какую-нибудь самостоятельность. Греки, какъ наиболѣе развитой народъ, имѣютъ претензію, сдѣлавъ Византію своей столицей, быть повелителями турецкихъ славянъ, такъ какъ они тоже греческой вѣры.

Такимъ образомъ весь восточный вопросъ для Англіи заключается въ возможномъ стѣсненіи двухъ національностей, греческой и славянской и собственно для того, чтобы предотвратить могущее возникнуть исключительное вліяніе Россіи въ нынѣшнихъ турецкихъ областяхъ. Но обстоятельства сходятся такъ, что стѣсненіе грековъ и славянъ въ пользу османовъ кажется непостижимымъ туркофильствомъ, которое въ чистомъ видѣ было бы непостижимо въ сколько нибудь мыслящемъ человѣкѣ. Однакоже изъ чего бы ни происходило туркофильство, оно есть крайняя нелѣпость, показывающая все-таки плохое пониманіе турецкихъ дѣлъ. Въ Турціи почти восемь миліоновъ славянъ и только одинъ миліонъ съ чѣмъ-то грековъ. Когда турки будутъ вычеркнуты изъ Европы (а это будетъ непремѣнно и неизбѣжно; весь вопросъ только во времени), то все-таки останутся два враждебные между собою элемента: славянской и греческой. У грековъ есть старинная мечта, которая въ политическихъ тамошнихъ кружкахъ технически называется «великая идея», — это завоеваніе или занятіе нынѣшней Турціи, пораженіе турецкихъ славянъ и основаніе византійской имперіи. Разумѣется само-собою, что славяне по мнѣнію грековъ тутъ будутъ играть такую же роль, какъ въ Чехіи или въ Познань; иначе греки не представляютъ себѣ византійской имперіи. Но ихъ меньше нежели славянъ, и потому едва ли имъ скоро и легко удастся устроить себѣ хорошую и прочную имперію. Славяне разумѣется охотнѣе согласятся быть въ неволѣ у грековъ, нежели у мусульманъ, если уже нелѣпа будетъ дѣлать никакого выбора; но есть еще третья возможность, весьма заманчивая, это свобода совершенная, безъ мусульманскаго да и безъ греческаго гнета. Ктому же въ случаѣ войны за независимость, придется довольно удобно, за одинъ походъ, такъ-сказать сбрасывать всякое иго. Такимъ образомъ пространство, занимаемое теперь Турціей, очень долгое время не будетъ представлять ничего прочнаго, такъ что лордъ Пальмерстонъ и его преемники совершенно могутъ быть на этотъ счетъ спокойны. Пуще всего имъ страшно, что турецкіе славяне въ числѣ восьми миліоновъ, соединившись съ славянами австрійскими, въ числѣ пятнадцати миліоновъ примкнутъ къ Россіи, для которой увеличеніе въ 23 миліона составитъ опасное для европейскаго равновѣсія, черезъ мѣру могущественное

государство. И на этотъ счетъ они могутъ быть совершенно покойны. Россіи слишкомъ много дѣла у себя дома, чтобы ей можно было расходовать силы еще наружу.

Чтобы сбросить турецкое иго, славяне еще могутъ соединиться съ греками и дѣйствовать заодно чрезвычайно дружно, но потому только-что главное дѣло будетъ покончено, цѣль будетъ достигнута, начнутся такія междоусобія, какихъ Европа можетъ-быть и не видала. Чего же лорду Пальмерстону бояться? отчего было такъ сильно хлопотать объ униженіи, оскорбленіи и разореніи маленькаго государства? Не въ томъ ли вся сила, что греческая торговля стала развиваться и процвѣтать, что отъ греческихъ капиталистовъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ не стало житья англійскимъ финансовымъ тузамъ? Кажется, что это вѣрнѣйшее разрѣшеніе сущности дѣла.

По случаю исторіи съ евреемъ Пачифико, англійскій адмиралъ объявилъ, что ежели ему втеченіи 24-хъ часовъ не будутъ выплачены деньги по всѣмъ требованіямъ, то онъ употребитъ силу. Министерство объявило, что его требованія неосновательны, и 19 января началась блокада всѣхъ греческихъ портовъ англійскимъ флотомъ. Въ мѣсяцъ захвачено было болѣе двухъ-сотъ торговыхъ и военныхъ кораблей, а греческому правительству ничего не оставалось дѣлать, кромѣ какъ протестовать въ Парижѣ и въ Петербургѣ. Франція и Россія протестовали въ Лондонѣ; а между тѣмъ торговля остановилась, капиталы, обезсиленные, притаялись, и пальмеретоновская цѣль достигалась самымъ блестящимъ образомъ. Напрасно французскій посланникъ въ Афинахъ давалъ знать англійской эскадрѣ, что посредничество Франціи въ этомъ дѣлѣ принято еевджемскимъ кабинетомъ; англійскій посолъ увѣрялъ, будто онъ не имѣетъ касательно снятія блокады никакихъ инструкцій отъ своего правительства, и стѣсненіе греческой торговли продолжалось. Въ концѣ апрѣля окончательно прекратилась блокада, когда лордъ Пальмерстонъ убавилъ сумму всѣхъ своихъ требованій съ 800 до 33 тысячъ драхмъ. Такое мелочно-торгашеское поведеніе Англіи во всемъ дѣлѣ Пачифико, необходимость уступить представленіямъ Россіи и Франціи и даже самая убавка требованій сильно уронили Англію на востокѣ; зато Россія выиграла и своимъ заступничествомъ и тѣмъ еще, что обѣщала не требовать у Греціи процентовъ по займу до тѣхъ поръ пока эта страна не поправится отъ послѣдствій блокады и слишкомъ жестокой предшествовавшей зимы.

Въ августѣ того же года король Отонъ, не имѣвшій дѣтей, отправился въ Баварію устроить дѣло по наследству греческаго престола; въ его отсутствіе королева была регентшей, впродолженіи цѣлаго года. Во все это время она умѣла заслужить общую не-

любовь самую даже манерою своего обращенія. Она всегда держала себя съ неестественною важностью повѣроитно высоко и далеко отъ земли и всѣхъ земныхъ интересовъ, радостей и печалей, отъ всего человѣческаго. Когда король возвратился, ничего не устроивъ для наслѣдства своего престола, то нашолъ свое королевство въ такомъ же точно неустройствѣ, какииъ его оставилъ. Греція была раздираема мѣстными, туземными интригами и безпорядками въ соединеніи съ интригами дипломатическими. Англійскіе и французскіе посланники постоянно вели таинственныя, подземныя интриги противъ воображаемыхъ русскихъ интригъ, и путали дѣла такъ, что сами потомъ не могли распутать. Все имъ казалось, что Россія старается приобрести исключительное вліяніе на тамошніа дѣла, и всякое новое министерство было окружаемо такими кознями, происками и подкопами, что долго удержаться не могло и падало. А русское вліяніе въ самомъ дѣлѣ было; Греція въ самомъ дѣлѣ тяготѣла и до сихъ поръ тяготѣеть къ Россіи по двумъ весьма важнымъ причинамъ, которихъ дипломаты истребить не къ состояніи. Первая — искренняя ненависть противъ Турціи со стороны Россіи и Греціи; оба государства дружно соединяются въ одномъ чувствѣ: во враждѣ за угнетеніе своихъ единоплеменниковъ османами. Вторая — единство вѣры и опять вражда за угнетеніе общей религіи въ турецкихъ областяхъ. Тутъ дипломатія ровно ничего не сдѣлаетъ.

По этому ничего нѣтъ удивительнаго, что греки всякій разъ были глубоко благодарны Россіи за всякое предпріятіе противъ Турціи, со времени еще Петра I. Поэтому повятно, что когда вспыхнула наша послѣдняя турецкая война, въ концѣ 1853 года, то на греко-турецкой границѣ вспыхнуло сильное возстаніе. Спиридіонъ Коранскаки провозгласилъ крестовый походъ противъ турокъ, съ тѣмъ, чтобы завоевать «влинскую имперію или смерть!» Движеніе скоро охватило всю Фессалию и весь Эпиръ; изъ Афинъ отправился корпусъ волонтеровъ на помощь возстанію; вскорѣ за тѣмъ отправился другой корпусъ, подъ начальствомъ вице-президента палаты депутатовъ. Турецкое правительство требовало отозванія волонтеровъ, но греческое правительство не рѣшалось это сдѣлать, такъ что наконецъ турецкій посланникъ выѣхалъ изъ Афинъ (21 марта 1853 года), а черезъ нѣсколько дней послѣ того, Англія и Франція объявили войну Россіи. Чтобы облегчить Турціи подавленіе греческаго возстанія, французскія и англійскія войска высадились въ Ширезъ и заняли всѣ тамошніа укрѣпленія. Послѣ того въ англійскихъ газетахъ точно также какъ и во французскихъ долгое время раздавались радостные гимны въ честь торжества западной дипло-

маціи, которая раскрыла и подавила русскія интриги. Дѣйствительно, греческое возстаніе было вскорѣ подавлено турецкими силами, которыя уже не были отвлечены войной съ Россіей.

И до сихъ поръ Греція чувствуетъ тоже и всегда будетъ чувствовать то что говорилъ принцъ Леопольдъ саксенъ-кобургскій, именно что великія державы, вслѣдствіе отдаленныхъ соображеній, поспешили отрѣзать ей естественныя границы, достаточныя для самостоятельности и независимости государства. Въ 1830 году не былъ рѣшонъ, а только отложенъ греческій вопросъ. Безъ сомнѣнія теперь его рѣшеніе нѣсколько труднѣе, нежели было тридцать два года тому назадъ; но въ дѣлахъ политическихъ всегда такъ бываетъ, что отложенный вопросъ отъ времени запутывается и осложняется всѣми обстоятельствами, которыя въ теченіе даннаго времени воспослѣдовали. Теперь здравая политика уже бросаетъ старинное правило, будто время, давность узаконяетъ какое угодно безобразное и незаконное явленіе. Оказалось, что у народовъ память гораздо лучше, нежели всегда полагали управляющіе, и что несравненно выгоднѣе рѣшить дѣло несовсѣмъ выгодно, но окончательно, чѣмъ отложить рѣшеніе въ долгій ящикъ. Еврона можетъ это видѣть на каждомъ шагу, по поводу вопросовъ римскаго, аспромонтскаго, венгерскаго, аграмскаго, берлинскаго-конституціоннаго, вашингтонскаго, шлезвигъ-голштинскаго, кургессенскаго и еще множество другихъ, включая сюда и шумный вопросъ восточный или грекославянскій.

Рѣшеніе римскаго вопроса отложено въ долгій ящикъ ради кажущихся выгодъ настоящаго времени. Чтоже изъ этого вышло и неизбѣжно выйдетъ? Отцы іезуиты, которыхъ меньше всего можно обвинять въ томъ, что они понапрасну теряютъ время, хлопочуть между тѣмъ изо всѣхъ силъ, чтобы доставить торжество своему дѣлу; во Франціи въ высшихъ сферахъ ихъ вліяніе процвѣтаетъ, и мало-помалу они докажутъ всѣмъ и каждому, какъ дважды два четыре, что Италіи совсѣмъ не нужно Рима, и что не только католичество, но и все христіанство безъ свѣтскаго значенія папы пропадетъ, будетъ хуже какого-нибудь магометанства, что вѣчныя муки (слѣдуютъ подробности о кипящей смолѣ, желѣзныхъ крючьяхъ и т. п.) ожидаютъ тѣхъ, кто не употребляетъ всего своего вліянія въ пользу свѣтской власти папы. Отъ этихъ проповѣдей въ церквахъ и наединѣ, въ канцеляріяхъ и булуарахъ, въ конторахъ и въ театрахъ разрѣшеніе римскаго вопроса становится день ото дня труднѣе. А между тѣмъ ему нужно же разрѣшиться; необходимо ему чѣмъ-нибудь кончиться. И когда наконецъ пробьетъ часъ его рѣшенія, кто знаетъ, съ какими насиліями это будетъ сопря-

жено, какіе расколы и секты въ католичествѣ это произведетъ какимъ нравственнымъ распаденіемъ общество будетъ сопровождаться.

Римскій вопросъ шолъ къ своему разрѣшенію, когда Гарибальди сказалъ: Римъ или смерть. Будь на мѣстѣ г. Ратацци гениальный чело-вѣкъ, или покрайней-мѣрѣ даровитый, какъ Кавуръ, извѣстно очень хорошо что онъ сталъ бы дѣлать. Онъ прежде всего не сдѣлалъ бы аспромонтской ошибки, о которой итальянскіе генералы, самые военные, говорятъ уже теперь, что еслибы теперь они получили приказаніе остановить Гарибальди, то всѣ вышли бы въ отставку. Кавуръ не отложилъ бы римскаго вопроса. Онъ предоставилъ бы полный просторъ энтузіазму итальянцевъ, подъ рукой пособлялъ бы имъ вооружаться, подъ рукой помогалъ бы военнымъ упражненіямъ волонтеровъ, накопилъ бы около мильона такого войска и потомъ поговорилъ бы съ императоромъ французовъ, на правахъ полнѣйшаго равенства, хотя и въ надлежащихъ прилично-дипломатическихъ формахъ: дескать, извините, — народъ, пользуясь вполне своими конституціонными правами, вооружился и требуетъ Рима; не благоволите ли намъ его уступить, а у насъ ни много, ни мало, мильонъ нарѣзныхъ ружей, и каждое попадаетъ въ туза. Конечно императоръ французовъ говорилъ бы съ нимъ иначе, нежели говорить теперь со своимъ покорнѣйшимъ слугою, предсѣдателемъ туринскаго министерства, г. Ратацци. И дѣло кончилось бы миролюбиво, безъ разрыва, безъ кровопролитія, съ подобающимъ приличіемъ. А теперь какъ? Энтузіазмъ итальянцевъ простываетъ, охлажденный большими военными движеніями для приведенія гражданъ будто бы въ порядокъ. А римскій вопросъ все-таки выступаетъ на сцену; рано или поздно онъ поведетъ къ разрыву, къ войнѣ, и обойдется несравненно дороже.

Точно также отложенъ въ долгій ящикъ венгерскій вопросъ. Императоръ весьма удобно могъ бы подарить мадьярамъ всѣ тѣ права, которыхъ они теперь добиваются. Но тогда это былъ бы подарокъ. А теперь все-таки придется сдѣлать всѣ требуемыя уступки, только насильно, пройдя сквозь униженіе насилія, потерѣвъ неудачу въ говорливомъ, но глубоко бесполезномъ рейхсратѣ, выдержавъ нѣсколько лишнихъ лѣтъ крайняго безденежья и надавивъ на разноплеменные народы нѣсколько лишнихъ очень болашихъ мозолей.

Въ Пруссіи конституціонная форма правленія, установившаяся вслѣдствіе кроваваго переворота тридцать лѣтъ тому назадъ, отложена въ долгій ящикъ. Но прусаки не даромъ привыкли стремиться къ самоуправленію, къ конституціонной формѣ, в что рано или

поздно во всякомъ случаѣ придется имъ уступить эту форму со всею ея сущностью. Вся разница во времени.

Въ Вашингтонѣ отдѣленіе южныхъ штатовъ отъ сѣверныхъ тоже отложено; только въ промежутокъ между заявленіемъ желанія отдѣлиться и окончательнымъ отдѣленіемъ вставлена продолжительная, бесполезная и свирѣпая рѣзня. Опять—таки дѣло вкуса, однако болѣе или менѣе хорошаго, человѣческаго. Меньше нежели въ годъ истреблено съ одной только стороны сто-тридцать тысячъ человѣкъ, да вѣроятно столько же съ другой. А между тѣмъ отдѣленіе все-таки совершится: предупредить его нѣтъ никакой возможности, потому что причина его заключается не въ чьей-нибудь волѣ, не въ капризѣ, а въ физическихъ, климатическихъ условіяхъ враждующихъ между собою странъ. Если даже сѣверъ одержитъ верхъ, покорить возставшій югъ и заставить его уступить всѣ свои права, то это будетъ только на время. Климатическія и физическія условія отъ этого не перемѣнятся; они опять поднимутъ югъ, потому что они сильнѣе не только сѣвера, но и всего человѣчества.

Тоже самое можно сказать и о знаменитомъ восточномъ вопросѣ, который возникаетъ теперь съ новой силой по поводу отреченія отъ престола греческаго короля Отона. Тридцать два года тому назадъ Греціи слѣдовало предоставить ея естественныя границы. Отложили это дѣло, оставили болѣе мильона грековъ подъ турецкимъ игомъ. Рано или поздно греки турецкіе и греки греческіе составятъ одинъ народъ; въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Но времени потеряно много, такъ что множество новыхъ, тогда не существовавшихъ интересовъ втянуто въ это дѣло и пролито много крови въ Крыму, на Дунаѣ, въ Сербіи, въ Босніи, въ Черногорѣ. Съ тѣхъ поръ, все вслѣдствіе откладыванья, множество англійскихъ денегъ перешло въ Турцію, и всѣ капиталисты, влаждующіе облигаціями турецкихъ займовъ, требуютъ поддержанія турецкой независимости. Съ тѣхъ поръ Черногорье унижено, сотни тысячъ людей легло въ Крыму, мильоны денегъ истрачено на веденіе въ Константинополь интригъ и производство всевозможныхъ наездоровъ. И все это совершенно напрасно, вслѣдствіе слѣпота консерваторства вочто бы нистало.

Еслибы англійское правительство тридцать пять лѣтъ тому назадъ слѣдовало собственному побужденію, то оно поступило бы не такъ, какъ пришлось поступить, послушавшись общественнаго мнѣнія и требованій филеленовъ или любителей Греціи. Сначала оно ирѣдко держалось своихъ холодныхъ расчетовъ въ восточномъ вопросѣ. Христіане бились отчаянно, погибали поголовно; Давелиха

и другія женщины владѣли ружьемъ не хуже мужчинъ и выходили драться съ патронами въ подолѣ и съ груднымъ ребенкомъ за плечами. Народъ терпѣлъ всевозможныя вужды, голодъ, мученическую смерть, отстаивая свою рождавшуюся политическую независимость. Въ это время англійская политика держала свои корабли возлѣ приморскихъ пунктовъ, осажденныхъ турками и не допускала грековъ подвозить провіантъ и боевые снаряды своимъ братьямъ, умиравшимъ съ голоду и переставшимъ стрѣлять по немилѣнной зарлдовѣ. Это была настоящая, хорошая англійская политика, и это было логично, при англійскомъ воззрѣніи на восточный вопросъ; слѣдовало ожидать поголовнаго истребленія грековъ и даже отчасти ему помогать двумя-тремя небольшими высадками въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ греки особенно удачно выдерживали турецкій натискъ. Но англійская публика стала наконецъ сочувствовать грекамъ; множество замѣчательныхъ людей поѣхало изъ Англїи сражаться въ рядахъ грековъ; состоялся даже на биржѣ греческій заемъ, и правительство было увлечено противъ воли. Однако оно уступило общественному мнѣнію не совсѣмъ. Въмѣсто того, чтобы отдать грекамъ все греческое, оно оставило большую половину въ неволѣ, и посредствомъ этой несчастной полумѣры надѣлало только себѣ пропасть лишнихъ хлопотъ, именно для поддержанія невозможнаго существованія турецкой имперїи. Чтобы ее уберечь, чтобы она не развалилась отъ малѣйшаго сосѣдскаго дуновения, приходится принимать даже забавныя мѣры предосторожности.

Такъ напримѣръ, мѣсяца три тому назадъ, велѣлъ за возстаніемъ въ Навплин, въ Греціи состоялся законъ о національной гвардіи или гражданской стражѣ. Это было хорошее дѣло: нація хотѣла вооружиться, и правительство на это согласилось. Въ прошломъ году такимъ же образомъ вооружилась Сербїя. Тогда англійскій посланникъ заставилъ Порту протестовать противъ учрежденія гражданской стражи въ Сербїи; въ тогдашней нотѣ писалось, что княжество, по случаю своихъ вассальныхъ отношеній, не имѣетъ права безъ особеннаго разрѣшенія вооружаться. Сербскій князь опровергнулъ эти претензіи. Въ Греціи Порты не имѣетъ права опираться на вассальныя отношенія и ставить себя въ роль высокой покровительницы, но въ нотѣ 25 августа нынѣшняго года сказано, что «статья третья закона о гражданской стражѣ, допуская на службу даже иностранцевъ, можетъ нарушить спокойствіе Турціи.» Если въ греческую гражданскую стражу будутъ поступать турецкіе подданные, заявивъ только желаніе перейти въ подданство Греціи, то это составитъ новый замаскированный способъ рекрутскаго набора, совершенно противнаго, — сказано въ турецкой нотѣ, — «друже-

скимъ отношеніямъ Порты оттоманской къ эллинскому правительству.» Эти новыя элліны будутъ поддерживать съ своими турецкими соотечественниками безпокойныя для Порты сношенія и распространять духъ непокорности и возмущеній. Англійскій посланникъ въ Афинахъ, въ нотѣ 6 сентября, выражаетъ тѣже самыя опасенія, и обѣ ноты требуютъ, чтобы «эллинское правительство, въ доказательство того, что оно цѣнитъ хорошія отношенія къ Портѣ, уничтожило это неудобство.»

Греческій министръ иностранныхъ дѣлъ отвѣчалъ, что «оно съ большимъ удивленіемъ видѣлъ, какой смыслъ турецкое министерство придаетъ третьей статьѣ. Гражданская стража есть учрежденіе, которое страна дастъ себѣ во всей полнотѣ своихъ самостоятельныхъ правъ. Лондонскіе протоколы не постановили этой самостоятельности никакихъ предѣловъ. Греція будетъ устроить у себя такія учрежденія, какія найдетъ полезными для своего благосостоянія и безопасности, причемъ никакая держава не имѣетъ права мѣшаться въ ея внутреннія дѣла. Къ тому же въ законѣ не говорится о турецкихъ подданныхъ, законъ даетъ правительству полномочіе распространять безразлично на всѣхъ безъ исключенія иностранцевъ, желающихъ вступить въ подданство, одну изъ тягостей, лежащихъ на подданныхъ. Сама Порта тотчасъ принимаетъ въ свое подданство всякаго иностранца, который только изъявитъ на это желаніе, безо всякихъ условій и ручательствъ. Какъ же можно опасаться, чтобы жители Фессалии и Эпира рѣшились оставить свои дома единственно съ тою цѣлью, чтобы записаться въ греческую народную стражу?..» Англійскому посланнику отвѣчено было почти тоже самое и выражено очень ясно, что Греція, допустивъ третью статью въ законѣ о гражданской стражѣ, нисколько не уклонилась отъ правъ, неоспоримо принадлежащихъ ей, какъ націи независимой.

Греція, само собою разумѣется, совершенно права, но не о томъ рѣчь. Съ тѣхъ поръ, какъ Турція имѣетъ основаніе рассчитывать на рѣшительную поддержку со стороны Англии, она находитъ, что всѣ на свѣтѣ наступаютъ ей на ногу, и уже ничѣмъ ее не переувѣришь, что никто не наступалъ. Эти двѣ ноты прямо показываютъ, что для Турціи вооруженные христіане по близости ея границъ во всякомъ случаѣ подозрительны и непріятны, и что сверхъ того Англія неуслышно печется о томъ, чтобы ея милому дѣтищу не грозило на небѣ ни одно славянское или греческое облачко, затѣмъ—то дѣтище и прикрывается густою, непроглядною тучей англійскаго протектората.

По поводу нынѣшнихъ событій въ Греціи, мы увидимъ много любопытнаго со стороны англійской политики. Вѣроятно будутъ

въкоторыя колебанія между требованіями христіанской цивилизаціи и потребностями капитала. Говориться будетъ за Грецію и дѣлаться будетъ противъ нея. И все это въ самомъ недалекомъ будущемъ. Англійская эскадра уже усыпала берега Греціи.

Послѣднія извѣстія

Недавно во Франціи былъ поединокъ, о которомъ кстати вспомнить по поводу войны. Герцогъ де-Граммонъ-Гадерусъ дрался съ г. Дильономъ, редакторомъ журнала «Спортъ», и убилъ его на-попалъ. Война эта возгорѣлась слѣдующимъ образомъ. Г. Дильонъ, описывая какія-то скачки, невѣрно или несправедливо выразился о герцогѣ де-Граммонѣ; можетъ-быть выразился до нѣкоторой степени колко. На это герцогъ написалъ отвѣтъ и послалъ въ редакцію. Г. Дильонъ грубаго отвѣта не напечаталъ. Тогда молодой герцогъ (какъ называютъ его французскія газеты) напечаталъ свой отвѣтъ въ бельгійскомъ журналѣ. Только что узналъ объ этомъ редакторъ «Спорта», тотчасъ распѣтушился и послалъ къ герцогу двухъ секундантовъ. Тотъ сначала не хотѣлъ драться, на томъ основаніи, что господинъ Дильонъ принадлежитъ къ простому званію. Это съ нашей стороны не выдумка, не клевета; это дѣйствительно такъ было. Выходить что для молодого герцога безъ слѣда прошла французская революція, которая вычеркнула всѣ званія изъ кодекса и изъ нравовъ. Дѣло было негласнымъ образомъ передано на обсужденіе жокей-клуба, который въ современномъ (французскомъ) духѣ рѣшилъ, что молодой герцогъ имѣетъ право принять вызовъ. Тогда секунданты г. Дильона выбрали оружіемъ пистолеть, на что г. де-Граммонъ не согласился, желая не застрѣлить, а заколотъ своего неприятеля. Произошелъ споръ. Снова спрошенный жокей-клубъ сказалъ, что оскорбленъ тутъ молодой герцогъ и потому онъ можетъ выбирать оружіе. Рѣшено было рѣзаться, а не стрѣляться. Произошла встрѣча, и молодой герцогъ прокололъ своему противнику лѣвое легкое. Убійца успѣлъ ухватить въ Бельгію, и тамъ разумѣется на него будутъ смотрѣть не какъ на убійцу.

Одинъ изъ прусскихъ, кажется, королей прошлаго столѣтія, недовольный огромнымъ количествомъ поединковъ, происходившихъ безпреставно, несмотря на строгія запрещенія, наконецъ разрѣшилъ всякія дуэли вообще, какимъ угодно оружіемъ, безпрепятственно, хоть даже публично. Постановлено было однако непремѣннымъ условіемъ, чтобы однимъ изъ секундантовъ непремѣнно былъ палачъ, который былъ обязанъ оставшагося въ живыхъ тутъ же на мѣстѣ повѣсить. «Какое несчастіе быть слишкомъ счастливымъ въ подоб-

ной встрѣчѣ», замѣчаютъ газеты, которыя и по этому случаю не могутъ воздержаться отъ страстишки состричь, хоть пиджака, хоть косы, а все-таки оостричь.

Въ Лондонѣ на дняхъ повѣсили женщину за убійство. За немѣнѣемъ политическихъ занимательныхъ новостей, такъ-какъ парламентъ закрытъ, это зрѣлище было принято публикою съ восторгомъ. Окна на площади отдавались въ наемъ за баснословную цѣну; на крышахъ домовъ при помощи особаго устройства, разставлены были стулья для зрителей. Торговцы бинोकлями накануне распродали весь свой товаръ. Любители, нежелающіе платити, заняли свои даровыя мѣста на площади еще съ вечера, вооруженные патентованными зонтиками. Представленіе началось въ назначенный часъ. Главное дѣйствующее лицо взошло какъ слѣдуетъ на лѣстницу съ двумя секундантами, которые наложили ей на шею заранѣе приготовленный и хорошо приспособленный аппаратъ. Черезъ минуту все было кончено; трупъ качался въ воздухѣ еще цѣлый часъ послѣ того. Какъ заплачившіе, такъ и незаплачившіе за мѣсто получили желаемое удовольствіе. Можно подожити, что антрепренеры, выстроившіе мѣста амфитеатромъ на площади и на крышахъ, получили въ этотъ день чистаго барыша около девяти тысячъ рублей, да столько же, если не больше, за окна, выходящія на площадь. Сверхъ того стеченіе народу на площади дало возможность хорошо расторгнуться многимъ разносчикамъ, да получили значительный барышъ продавцы описаній продеса. Всего можно полагать отъ 25 до 30 тысячъ рублей чистаго барыша отъ одного представленія. Поэтому одному уже видно, какъ процвѣтаетъ въ Англіи промышленность.

28 октября манчестерскій городской банкъ учрежденный, какъ извѣстно, на акціяхъ, прекратилъ свои платежи, по случаю огромныхъ недочетовъ. Оказалось, что директоръ банка, г. Андрю, получившій 35,000 рублей жалованья, слишкомъ сильно попользовался на счетъ акціонеровъ. Онъ арестованъ и, разумѣется, будетъ содѣлать въ каторжную работу въ Австралію. Акціонеры цѣлаго свѣта могутъ утѣшиться: и въ Англіи директоры «пользуются».

29 октября была у Гарибальди консультація. Собрали было самнадцать знаменитѣйшихъ въ Европѣ хирурговъ, въ числѣ которыхъ далеко не послѣднее мѣсто занималъ Н. И. Пироговъ. Они все рѣшили, что пуля находится въ ранѣ и что надо будетъ прооперировать

новое изслѣдованіе для точнаго опредѣленія ея мѣста. Докторъ Нелатонъ (Французская хирургическая знаменитость) объявилъ, что вынуть пулю будетъ легко и выздоровленіе послѣдуетъ быстро. Къ несчастію, намъ еще неизвѣстно что сказали объ исходѣ болѣзни и операціи другія знаменитости.

КУПЦЫ — РЕФОРМАТОРЫ ГИМНАЗИЙ

Двѣ болѣе другихъ важныя, въ количественномъ отношеніи, петербургскія газеты — «Сѣверная пчела» (№ 246 13 сент. 1862) и «С. Петербургскія вѣдомости» сообщаютъ будто :

«Вѣкоторые московскіе купцы берутъ дѣтей своихъ изъ гимназій, полагая, что дѣти ихъ получаютъ тамъ воспитаніе *недовольно религіозное и нравственное* и находя, что знаніе латинскаго языка, которому обучаютъ въ гимназіяхъ, для нихъ *безполезно*. Говорятъ, что эти родители намѣреваются устроить въ Москвѣ, насчетъ общества, свою особенную гимназію съ тѣмъ, чтобы *само общество* завѣдывало *хозяйственною* частію заведенія, безъ всякаго посторонняго вмѣшательства, а чтобы учебною и воспитательною частію распоряжался одинъ изъ московскихъ священниковъ, заслужившій общее уваженіе и любовь *купцовъ*. Если же это предположеніе не удастся (такія предположенія иногда удаются), то тѣже лица полагаютъ отдать своихъ сыновей въ одинъ *частный* пансіонъ съ тѣмъ, чтобы тотъ же священникъ (т. е. заслужившій любовь *купцовъ*) имѣлъ постоянное наблюденіе за учебною и воспитательною частію въ ономъ.»

Изъ этого читатель можетъ вполнѣ убѣдиться въ совершенной неосновательности весьма распространеннаго мнѣнія, будто наши купцы — мертвый народъ въ дѣлѣ распространенія образованія. Помните, наши купцы начинаютъ являться даже реформаторами гимназій, и какіе еще купцы? — московскіе. Несовершенство, недостатки нашего гимназическаго воспитанія замѣтили наконецъ наши *пльнѣмк* и *мамы*; мало того, они протестуютъ противъ гимназическаго воспитанія, берутъ изъ гимназій, изъ *науки* — своихъ любезныхъ дитятокъ, и хотятъ заводить свои гимназій, по *своему* учить ихъ наукамъ. Чтожъ, пора наконецъ и имъ взяться за умъ, пора вспомнить и имъ, что мы начали новое тысячелѣтіе... Мы даже долго не вѣрили, когда прочитали въ нашихъ петербургскихъ газетахъ тѣ строки, которыя сейчасъ выписали; но наконецъ должны были повѣрить авторитетнымъ газетамъ, хотя правду ска-

затѣ, для совершеннаго убѣжденія въ полюбившихъ драгоценныхъ слухахъ, стоило бы нарочно прокатиться въ Москву...

Чтоже такое въ гимназическомъ воспитаніи возбудило благородный протестъ московскихъ купцовъ и полтакиваетъ ихъ на полезную для общественнаго образованія дѣятельность? Два обстоятельства: во первыхъ, что тамѣшнее гимназическое воспитаніе будто бы недовольно религіозно и нравственно, и вторыхъ, что въ кругъ его введено преподаваніе латинскаго языка, которое совершенно бесполезно для купеческихъ дѣтей. Ну, въ послѣднемъ случаѣ именитое купечество сообразило какъ-будто неладно. Это хорошо оно сообразило, что *знаніе* латинскаго языка совершенно *бесполезно* для ихъ дѣтей; противъ этого мы ни слова: пусть въ самомъ дѣлѣ наконецъ провалится сквозь землю вся эта заморщина!.. Но зачѣмъ же брать дѣтей изъ заведенія, если въ этомъ заведеніи читается одинъ лишній предметъ, положимъ и бесполезный для дѣтей? Ну, пусть они и не слушаютъ этого бесполезнаго предмета... Въдѣ московскіе купцы всегда могли бы слѣдать, что ихъ дѣти проползали бы ходить въ гимназіи и не поганились бы тамъ латынью. Видно главное-то дѣло въ первомъ обстоятельствѣ. Оно такъ и есть. Если въ самомъ дѣлѣ воспитаніе въ московскихъ гимназіяхъ недовольно религіозно и нравственно — по взгляду московскихъ купцовъ; въ которыхъ вѣроятно по ихъ собственному мнѣнію, только и живетъ до сихъ поръ настоящее-то благочестіе, — то это ужъ фактъ не мелочной, а дѣло первой важности. Тутъ ужъ нельзя не обратить вниманія на московскія гимназіи... Купцы московскіе совершенно правы, вполне здраво относятся къ прогрессу и должны обратить на себя общее вниманіе русскаго общества. А московскимъ гимназіямъ пожалуй придется плохо. Въ самомъ дѣлѣ имъ нужно быть впередъ поосмотрительнѣе. «Сѣверная пчела» первая побаивается за нихъ. Она тутъ же говоритъ и надѣется, что гг. директоры московскихъ гимназій и преподаватели разъяснятъ путемъ печати падающее на нихъ обвиненіе (?). Въ то же время «Сѣверная пчела» до того любезна и сострадательна, что, выражая свою невольную радость проявляющемуся между купцами стремленію учредить свою собственную гимназію, заодно молвитъ словечко и въ пользу московскихъ гимназій, предполагая, будто недовѣріе къ нимъ со стороны московскихъ купцовъ есть «совершенно незаслуженное» недѣвѣріе. Милая, хотя и странная эта «Сѣверная пчела»: почему-то въ ней весьма сильно развита слабость *трусить за другихъ*. Пусть бы трусила только за себя...

Наши московскіе купцы, реформаторы московскихъ гимназій, думаютъ, что ихъ дѣти произойдутъ настоящую науку, слѣдаются нрав-

странными только тогда, когда будутъ воспитываться не въ мундирной директорской гимназiи, а подъ исключительнымъ всестороннимъ вліяніемъ священника и именно того, кого они любятъ. Мы не сомнѣваемся, что московскіе купцы достигнутъ своей цѣли. Они именно увидятъ лѣтѣй своихъ такими, какими имъ хочется. Мы даже рады за ихъ роль реформаторовъ гимназiй, потому что чрезъ нихъ можетъ быть получаемъ правильное понятіе о нашихъ гимназiяхъ; думаемъ даже, что самымъ московскимъ гимназiямъ весьма лестно быть признанными достойными реформы — по взгляду такихъ реформаторовъ, какъ московскіе купцы. Но непонятно, какимъ же это образомъ многіе знаменитые воспитатели, — возьмемъ хоть Оуэна — совсѣмъ противоположными путями, сдѣлали своихъ питомцевъ изъ отъявленныхъ негодяевъ честными, нравственными гражданами? За что это тысячи людей цѣлую жизнь свою благословляли потому имя Роберта Оуэна, какъ своего великаго благодѣтеля? Какой секретъ былъ у Роберта Оуэна, добивались узнать многіе другіе знаменитые люди, въ свою очередь тоже великіе благодѣтели челоѣчества, которые изъ далекихъ странъ пріѣзжали къ нему сказать съ нимъ слова два-три?.. Трудно выяснитъ все это такъ, чтобы хоть *чуть-чуть* поняли московскіе реформаторы. Есть люди, которыхъ можно изумить, потѣшить, расшевелить, задѣть за живое, но только не убѣдить; и есть люди которыхъ и убѣдишь, но они все-таки будутъ противъ тебя...

Впрочемъ попробуемъ въ настоящемъ случаѣ воспользоваться однимъ извѣстнымъ намъ психологическимъ секретомъ; чтобы заставить своихъ противниковъ согласиться съ нашими мыслями, будемъ сначала сами побольше соглашаться съ ними, тѣмъ болѣе, что вѣдь на самомъ дѣлѣ мы почти согласны съ нашими московскими реформаторами... Право такъ.

Мы сами очень часто нападали на мысль о недостаткахъ нашего гимназическаго воспитанiя (не преподаванiя) и именно о недостаткахъ въ томъ отношенiи, что оно не довольно нравственное. По всѣмъ другимъ сторонамъ наши гимназiи постепенно улучшаются и идутъ впередъ; мало идутъ впередъ относительно только этой важной стороны. Въ этомъ, повторяемъ, мы совершенно согласны съ московскими купцами.

Воперважь, въ нашихъ гимназiяхъ большею частію не *воспитываютъ* мальчиковъ въ нравственномъ и религіозномъ отношенiи, а *учатъ* ихъ извѣстной религіи и извѣстной системѣ нравственности; религія и нравственность есть для мальчиковъ не дѣло ихъ жизни, а одинъ изъ предметовъ школьнаго изученiя, подобный другимъ отдѣльнымъ предметамъ гимназическаго курса; въ семь лѣтъ

они проходятъ подвѣднѣй курсъ религіи и нравственности, получаютъ всегда въ своихъ атестатахъ безукоризненныя отмѣтки въ своемъ поведеніи и въ успѣхахъ, оказанныхъ ими въ религіи, отмѣтки, въ которыхъхъ будто на ладонь выложены ихъ нравственныя стороны, потому что даже превращены въ наглядныя математическія формулы, такъ что сейчасъ видишь кто каковъ гусь, сейчасъ видишь, напримеръ что этому только одной единицы недостаетъ, чтобы быть совершенно нравственнымъ, а этотъ дѣльми двумя единицами ниже его по нравственности, а слѣдовательно малый неадеждный... Надобно здѣсь впрочемъ отдать честь нашимъ воспитателямъ, которые весьма заботятся, чтобы математическія величины, которыя они ставятъ на атестатахъ своихъ питомцевъ для выраженія ихъ нравственнаго состоянія, вполне точно соответствовали этому состоянію; для этого нѣкоторые мудрые воспитатели обязываютъ комитетныхъ надзирателей ежедневно въ особо-заведенныхъ книгахъ отмѣнять балами поведеніе каждаго изъ вѣранныхъ имъ мальчиковъ, и потомъ въ концѣ гола, или трети, выводятъ общій балъ. О рациональности такого приема не можетъ возникнуть и вопроса: тутъ ужъ какъ ни юли другой, а непременно получить достойное, потому что очевидно общій балъ ставить не начальство, а каждый воспитанникъ самъ себя; начальство тутъ изобрѣтаетъ завидную возможность оставаться въ совершенно-страдательномъ положеніи... спокойнѣе... Взглядъ на нравственность, какъ на нѣчто идеальное-высокое, и главное — вѣднѣе, что наносимъ слоюмъ ложится на воспитанниковъ, а не воспитывается въ нихъ самихъ при помощи обыденныхъ, мидутнѣхъ проявленій ихъ воли и сердца (хотя конечно не многіе изъ нашихъ воспитателей признаютъ въ себѣ такой взглядъ), есть весьма не удачный по жизненнымъ результатамъ взглядъ. Учить воспитанника нравственности — это значитъ навязывать ему извѣстное чувство, извѣстную добродѣтель, а это въ свою очередь значитъ приучить его двоюдушничать, лицемерить; тогда какъ подправляя, очищая, облагораживая каждую особенность, или вообще каждое свойство *собственной* природы воспитанника, вы прямо и неизбежно будете образовывать въ немъ честный, прямой, искренній характеръ. Воспитанникъ, выучившій наизусть курсъ нравственности, пожалуй скоро забудетъ его, какъ забываетъ онъ все, что выучиваетъ *на зубу*; или пожалуй еще въ самомъ заведеніи пропуститъ его мимо ушей. Въ такомъ случаѣ ему придется остаться *самимъ собою*, съ дѣльными своей природы, весьма мало тронутымъ школьнымъ воспитаніемъ. Но это еще ничего, если школьная нравственность пройдетъ мимо ушей воспитанника и онъ останется пока безъ нравствен-

ваго достоинства; впереди у него все-таки останется возможность нормального нравственного развитія. Большая же часть натуръ сродняется съ школьною наносною нравственностью, превращаетъ ее въ сокъ и кровь своей жизни, а лучшіе природные человѣческіе инстинкты остаются задавленными, страдательными. Передъ нами поднимается цѣлый рой этихъ лицемѣрно-пошлыхъ, бездушныхъ натуряшекъ, искажонныхъ принятою отъ другихъ моралью... При вопросѣ, кто они такіе, — онѣ самодовольно осматриваются и много припоминаютъ извѣстную степень своего секретарства, или совѣтничества. Мало-помалу они въ самомъ дѣлѣ убѣждаются, будто лучше другихъ... Какъ видите, читатель, московскіе купцы совершенно справедливо съ недоумѣемъ взглянули на нравственное и религіозное воспитаніе гимназій. Положимъ всѣ гимназіи, потому надѣмся и московскія, въ настоящее время начинаютъ выбиваться изъ средневѣковой нормы воспитанія; но вѣдь еще только выбиваются, а московскимъ купцамъ не дожидаться же, особенно когда подъ руками у нихъ есть людя, которые легко могутъ поправить все дѣло. Новые воспитатели, которымъ они вполне вѣрятъ своихъ дѣтей, конечно поведутъ нравственное ихъ воспитаніе совершенно иначе и лучше. Они не будутъ преподавать имъ извѣстную нравственную теорію, существующую уже весьма давно, какъ въ гимназіяхъ, не отдадутъ ихъ подъ вліяніе многихъ предразсудковъ, хотя бы милыхъ имъ самимъ и до сихъ поръ идущихъ изъ рода въ родъ путемъ преданія, а въ полномъ смыслѣ *воспитаютъ* въ мальчикахъ зачатки правильной человѣческой жизни, воспитаютъ въ нихъ добрыхъ гражданъ съ честнымъ и свѣтлымъ взглядомъ на жизнь. Ихъ воспитаніе конечно не создастъ такихъ ничтожныхъ натуръ, какія, мы видѣли, создаетъ школьная наносная нравственность, выучиваемая наизусть...

Восторыхъ, наше школьное воспитаніе съ нравственной стороны весьма плохо рекомендуетъ система наказаній, существующая въ практикѣ (но не въ уставахъ) во всѣхъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Прежде всего наказаніе за шалость, за проступокъ, каково бы оно ни было, есть приемъ *самъ по себѣ* весьма нерациональный. Положимъ, всякая шалость, всякій проступокъ есть ошибочное, ненормальное дѣйствіе, положимъ даже есть вредъ, зло; зачѣмъ же, если разъ произошелъ вредъ, случилось зло, еще снова дѣлать вредъ, производить зло, т. е. назначать наказаніе за него? Развѣ можетъ когда-нибудь быть оправдано разсудкомъ то, что такъ или иначе увеличиваетъ сумму зла? Но, скажутъ, хотя наказаніе само по себѣ есть тоже зло, но оно имѣетъ хорошую цѣль и употребляется всегда какъ средство къ достиженію добра.

Ужели же всякое средство, если даже оно есть чистое зло, можетъ быть оправдано доброю цѣлью? Вѣдь это отзывается логикою патера Родена. А наказаніе дѣйствительно всегда есть чистое зло, потому что оно дѣйствіе исполнѣ свободное, преднамѣренное и сознательное. Даже всякая шалость, всякій проступокъ съ этой стороны всегда есть меньшее зло, чѣмъ наказаніе; весьма трудно представить, чтобы шалости и проступки произволились, и особенно школьниками, такъ—сказать изъ чистой любви къ искусству, ради самихъ шалостей и проступковъ: они всегда вызываются чѣмъ-нибудь внѣшнимъ, предшествующимъ, либо окружающимъ ихъ, либо порождаются юношескимъ легкомысліемъ; въ иныхъ случаяхъ они совсѣмъ не могутъ не быть. Совсѣмъ нельзя этого сказать о другомъ злѣ — наказаніи, которое поѣтому всегда есть большое зло. А мы всѣ увѣрены, что наказывать за шалости, воздавать за меньшее зло большимъ, мстить легковѣрному мальчику солидно—сознаннымъ и какъ—бы законнымъ образомъ, это значитъ нравственно воспитывать его!.. Далѣе, чистая ложь, будто школьное наказаніе можетъ когда-нибудь привести къ добру, т. е. будучи нераціонально *само по себѣ*, оно не оправдывается и *практическими* результатами. На первыхъ порахъ наказаніе всегда до-нельзя *возмущаетъ* мальчика; многіе изъ нихъ всю жизнь потомъ съ негодованіемъ вспоминаютъ, какъ ихъ первый разъ наказали, хотя многіе воспитатели часто замѣчаютъ имъ, наказывая, что впоследствии они сами будутъ благодарны за наказаніе, а въ возмущенномъ, ненормальномъ состояніи каждому мальчику гораздо естественнѣе сдѣлать новый проступокъ, новое зло, чѣмъ обсудить прежнее и раскаяться въ немъ. Такъ всегда и бываетъ. Всегда мальчикъ, котораго наказываютъ, затаиваетъ въ себѣ заисъ кипучей злости, которая очевидно никогда не приводитъ, да и не можетъ привести ни къ чему хорошему. Послѣ каждаго наказанія онъ непрѣменно становится хуже. Всякое наказаніе есть униженіе, обида; а униженіе развѣ можетъ воспитывать, возвышать нравственно? Каждый изъ насъ конечно самъ переживалъ состояніе мальчика, сдѣлавшаго извѣстный проступокъ, состояніе мучительное, сжимающее сердце, собирающее въ себя, упрекающее; подобное состояніе всегда есть *большое* нравственное состояніе, экстренное, болѣе другихъ чуткое и потому весьма удобное и даже драгоценное для нравственнаго вліянія на воспитанника со стороны воспитателя. Войдя воспитатель въ такое его состояніе, коснись бережно его больного мѣста, отнесись гуманно къ его страданію, которое уже и есть наказаніе за его проступокъ, и если только воспитатель не мушкетерная кукла, а человекъ съ душою и сердцемъ, онъ сумѣетъ извлечь слезы изъ вос-

питавника, за который дѣйствительно тотъ будетъ потомъ долго, долго благодаренъ. Самъ мальчикъ, сдѣлавшій шалость, инстинктивно всегда желаетъ такого образа дѣйствованія со стороны своего воспитателя; его природа возмущается при одной мысли, что сейчасъ придутъ расправляться съ нимъ; онъ уже безконечно презираетъ и ненавидитъ воспитателя, отъ котораго еще только ждетъ наказанія, тогда какъ онъ безконечно уважалъ бы его, еслибы тотъ понасмѣялся надъ его тщательное состояніе и отнесся къ нему именно какъ воспитатель, а не какъ раздаватель казней. Всякій проступокъ есть зло нравственное, покрайней-мѣрѣ въ немъ заслуживаетъ порицанія только зло нравственное; ясно это какъ дважды-два четыре, что и дѣйствовать на него должно только однимъ нравственнымъ образомъ, а не чрезъ наказаніе, которое всегда сопряжено бываетъ съ видимымъ физическимъ зломъ. Нравственную боль безнравственно лечить физическою болью. Всякій мальчикъ всегда будетъ пораженъ и задумается надъ собою, если даже совсѣмъ не дѣйствовать на него нравственнымъ образомъ, а просто оставить его только безъ физическаго наказанія; всякій мальчикъ, сдѣлавшій проступокъ, до наказанія бываетъ несравненно лучше, чѣмъ послѣ наказанія. А что сказать о томъ состояніи воспитанниковъ, когда они, переиспытавши нѣсколько разъ всѣ роды наказаній, перестаютъ наковецъ и возмущаться ими, когда наказанія опошлываются, когда они со стороны мальчиковъ вызываютъ больше смѣха, нежели раскаянія; когда мальчикъ, поставленный на колѣни, смѣется, дѣлаетъ гримасы товарищамъ и высовываетъ языкъ воспитателю?.. А то, что этотъ мальчикъ — жалкое существо, и не исключеніе изъ общей массы, а напротивъ прямое, законное слѣдствіе системы наказаній, существующей въ нашихъ заведеніяхъ. Когда мальчика неизбежно систематически подвергаютъ чрезъ наказанія всевозможнымъ родамъ униженій, то было бы странно и требовать, чтобы онъ возвышался, облагораживался нравственно; напротивъ ему и слѣдуетъ все болѣе и болѣе онускаться, унижаться. На высунутый имъ воспитателю языкъ, воспитатель долженъ нелюбоваться какъ на плодъ, какъ на торжество и гордость своей системы. А наказанія необходимо опошлываются во всякомъ заведеніи. Это происходитъ оттого, что число родовъ и видовъ наказаній никогда не можетъ соответствовать даже одной четверти числа родовъ и видовъ школьныхъ шалостей и проступковъ. Шалости и проступки, какъ нравственныя явленія, весьма многочисленны и разнообразны; самыя похожія одна на другую шалости рѣдко бываютъ одинаковы, и большею частію отбѣиваются каждая своими особенными характеристическими чертами. Поэтому и на-

казаньямъ , чтобы быть справедливыми и точными , слѣдовало бы также видоизмѣняться и отбѣняться характеристическими особенностями ; но такъ какъ они всегда сопряжены болѣе или менѣе съ физическою болью и вообще составляютъ видимое элс , то умножать и видоизмѣнять ихъ было бы ужъ слишкомъ нехорошо и нечеловѣчно. Отъ этого въ педагогической практикѣ рѣдко можно насчитать больше десяти извѣстныхъ видовъ наказаній , которые поэтому повторяются каждый день и даже весьма много разъ каждый день , опошляваются , теряютъ всякую цѣну и чуть ли не превращаются въ забаву. А хороша забава, нечего сказать ! Правда, есть нѣкоторые воспитатели, которые ухищряются до-нельзя видоизмѣнять наказанія, ухищряются по возможности въ наказанія выразить всегда характеръ самаго проступка, чтобы пристыдить виноватаго. Такъ напримѣръ, если мальчикъ ругается гадкими словами, то, написавши на клочкѣ бумаги «за сквернословіе», заткнуть ему клочокъ за воротникъ и поставить на колѣни; если что-нибудь онъ разбилъ, или взялъ чужое, то дадутъ эту разбитую или присвоенную вещь ему въ руки и опять поставить на колѣни и проч. Но не нужно забывать, что и на стыдливость мальчика нужно дѣйствовать весьма осторожно. Стыдливость — это такое нѣжное и щекотливое чувство, что оно заглушается и тратится отъ подобныхъ крупныхъ, грубоватыхъ, несвойственныхъ приемовъ. Разъ, другой выставленная на публичный позоръ стыдливость просто напросто превращается въ безстыдство. А все оттого, что и тутъ не хотятъ довольствоваться только нравственнымъ томленіемъ виновнаго, а еще примѣшиваютъ непременно и томленіе физическое — наказаніе. Остричь и каламбурить можно на словахъ, въ бесѣдахъ съ друзьями, а каламбурить въ дѣйствіяхъ, да еще такихъ, которые имѣютъ цѣлью быть воспитательными дѣйствіями, какъ напримѣръ наказанія — непростительно. Въ подобномъ остроумничаньи наказаніями проглядываетъ дѣйствительно одна здравая по нашему мнѣнію педагогическая идея, уже высказанная нами: та, что воспитатель при помощи самаго проступка провинившагося мальчика долженъ отыскать источникъ для нравственнаго воздѣйствія и исправленія мальчика; но если онъ въ образѣ своего дѣйствованія не довольствуется чисто-нравственными стимулами, а усиливается изобрѣсти еще соотвѣтствующее имъ по характеру физическое принужденіе, то выходитъ просто жалко и смѣшно.

Вообще *система наказаній* и со стороны *практическихъ* результатовъ есть весьма ненадежный элементъ нравственнаго воспитанія ювоншества. Возьмемъ любое изъ общепотребительныхъ въ заведеніяхъ наказаній, и мы увидимъ, что оно всегда гораздо болѣе

приносить вреда, нежели пользы. Мальчикъ невнимательно сидитъ во время лекціи, смѣется; его оставляютъ безъ обѣда. То, что нехорошо смѣяться въ класѣ, онъ очень хорошо знаетъ самъ и прежде нежели смѣялся, и прежде нежели, послѣ смѣха, приказали ему остаться безъ обѣда; зачѣмъ же оставляютъ его безъ обѣда? Зачѣмъ хотятъ достигать результата, который уже существуетъ? Скажутъ затѣмъ, что онъ и знаетъ, что нехорошо смѣяться на лекціи, а все-таки смѣялся, такъ чтобъ не забывалъ. Но въ такомъ случаѣ онъ и послѣ того, какъ останется безъ обѣда, все равно одинаково будетъ смѣяться, потому что сдѣлалъ свой проступокъ, смѣялся не оттого, что забылъ, что не надо смѣяться, а оттого, что были причины и обстоятельства, побуждшія его къ смѣху, которыя могутъ быть и послѣ. Скажутъ, такъ вотъ онъ затѣмъ долженъ остаться безъ обѣда, чтобъ знаетъ, что ни при какихъ причинахъ и обстоятельствахъ онъ не долженъ смѣяться на лекціи. Прекрасно, это послѣднее знаніе для него весьма необходимо; оно можетъ предотвратить проступокъ съ его стороны на будущее время, но зачѣмъ же этого духовнаго результата достигать такимъ неблагороднымъ насмѣиемъ физической природы, какъ оставленіе безъ обѣда? Для этого нужно показать ему ясно, какъ дважды-два четыре, что смѣяться на лекціи глупо, при какихъ бы то нибыло обстоятельствахъ; объяснить это такъ, чтобы онъ уважалъ ваши слова и исполнялъ бы ихъ вполнѣ, а оставлять безъ обѣда дѣло все-таки лишнее. Скажутъ, сколько ни объясняй воспитатель, этого недостаточно. То-то вотъ и есть: значить воспитатель не умѣетъ придать цѣны и вѣсу своимъ словамъ, значить его не уважаетъ, или мало уважаетъ виновный; въ этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ виновать уже не столько мальчикъ, сколько воспитатель; слѣдовательно, если уже необходимо оставаться кому-нибудь безъ обѣда, то по всей справедливости слѣдуетъ оставаться воспитателю... Притомъ, если виновный мальчикъ такого рода, что сколько ему ни толкуй, все равно, то и сколько ни оставяй безъ обѣда, одинаково будетъ все равно. Итакъ наказаніе остаться безъ обѣда виновному мальчику — дѣло лишнее и нераціональное. Но этого мало. Положимъ онъ въ самомъ дѣлѣ остался безъ обѣда. Изъ этого вѣдь выйдутъ еще кой-какія *послѣдствія*. Ему обидно быть голоднымъ; онъ либо подговоритъ товарищей вынести ему что-нибудь съѣстное, либо самъ доставитъ себѣ разнымъ плутовствомъ обѣдъ изъ своего же заведенія, или со стороны; пойдутъ новые обманы, новые проступки, какъ съ его стороны, такъ и со стороны другихъ постороннихъ лицъ, которыхъ онъ, по милости уже одного воспитателя, запутаетъ въ свою исторію... Наконецъ, если

даже ничего этого не случится, и мальчикъ останется безъ обѣда, т. е. если мѣра воспитателя вполне будетъ выполнена, — то и тогда случится болѣе худого, чѣмъ хорошаго. Мальчикъ всю остальную часть дня проведетъ въ неестественномъ злостномъ состояніи; по свойству этого состоянія, будетъ дѣлать все и всѣмъ наперекоръ; вообще надѣлаетъ гораздо болѣе худого, чѣмъ сколько надѣлалъ бы пообѣдавши, и главное не выучитъ урока къ слѣдующему дню, потому что этому будутъ препятствовать не только нравственныя причины, но и физическая — голодъ. Это только когда ливнопольные дѣятели были у насъ воспитателями юншества, была справедлива поговорка: «*satur venter non studet libenter*», а теперь каждому извѣстно, что если сытое брюхо учится плохо, то голодное совсѣмъ не можетъ учиться. Возьмемъ другое, весьма употребительное наказаніе — заключеніе въ карцеръ, куда посадили воспитанника, положимъ за то, что онъ курилъ табакъ. Онъ сидитъ тамъ двое-трое сутокъ; его выпускаютъ. Зачѣмъ его, спрашивается, сажали въ карцеръ? Какая польза и какой смыслъ этого наказанія? Вѣдь онъ и послѣ карцера, при первомъ вольномъ шагѣ, закуритъ папиросу, да и въ карцерѣ пожалуй *затягивался*. Вѣдь почему онъ куритъ табакъ? Потому что у него есть табакъ; вотъ и уничтожьте причины проступка, сдѣлайте такъ, чтобы онъ не имѣлъ табаку въ заведеніи, если ужъ не хотите, чтобы онъ курилъ табакъ. Это трудно сдѣлать? тогда подумайте хорошенько, стоитъ ли еще и дѣлать; и если видите у него папиросу въ зубахъ, возьмите папиросу, возьмите отъ него всѣ папиросы и считайтесь съ нимъ нравственнымъ образомъ; но только пожалуйста не ведите его въ карцеръ, потому что впервыя вы сами косвеннымъ образомъ виноваты въ его проступкѣ, а вѣдь сами вы только провожаете его до карцера, и второрыхъ — карцеръ принесетъ ему не пользу, а вредъ. Мальчикъ напрасно потеряетъ время, можетъ-быть захвораетъ отъ невыносимой тоски, отъ нечего дѣлать подымется на какія-нибудь продѣлки; если онъ мальчикъ не дюжинный, впечатлительный и самолюбивый, — можетъ первый разъ натолкнуться на самыя печальныя мысли, которыя послѣдствіи, при подобныхъ обстоятельствахъ всегда будутъ преслѣдовать его, какъ демоны-искусители; и во всемъ этомъ уже прямо будетъ виновато одно наказаніе, которымъ ему мстятъ за его проступокъ. Еще весьма распространено наказаніе — лишеніе отпуска къ роднымъ. Наказаніе въ высшей степени нераціональное въ дѣлѣ нравственнаго воспитанія. Никакое начальство не можетъ никогда такъ благотворно и энергично вліять на нравственное развитіе своего воспитанника, какъ семья на своего живого члена, ка-

кое бы нибыло отеческое начальство и какова бы нибыла семья. А какъ же можетъ отозваться на нравственномъ воспитаніи мальчика подобное наказаніе, разрывающее и оскорбляющее всегда живой и священный союзъ его съ семьею, прекращающее ему доступъ къ тому источнику, который всегда такъ благотворно вліяетъ на его нравственное воспитаніе? Притомъ въ наказаніи лишеніемъ отпуски воспитанника къ роднымъ, есть явная несообразность. Заведеніе должно имѣть отношенія къ воспитаннику, именно какъ къ *воспитаннику* своему, какъ къ мальчику извѣстныхъ способностей и наклонностей, какъ къ мальчику, опредѣленному въ училище для извѣстной опредѣленной цѣли, — а не какъ къ *сыну* извѣстнаго отца и матери, не какъ къ члену извѣстной семьи; сфера его сыновнихъ отношеній, равно какъ на примѣръ сфера его религіозной совѣсти, должна быть совершенно выдѣлена изъ-подъ администраціи заведенія. Нелогично ему, провинившемуся какъ лѣнивому, или дурному *воспитаннику*, отвѣчать и нести наказаніе какъ *сыну*, — можетъ-быть и примѣрному сыну. Дурныхъ же послѣдствій для него и послѣ этого наказанія равно можетъ быть очень много, какъ и послѣ всякаго другого наказанія.

Существуетъ въ нашихъ заведеніяхъ, по милости системы наказаній, еще одно обыкновеніе, парализирующее нравственное воспитаніе юношества, а не способствующее воспитанію. Это *табунное* (извините за слово, оскорбляющее гуманное чувство) разбирательство дѣла, если сдѣлана шалость, а между тѣмъ виновный неизвѣстенъ. Въ такомъ случаѣ обыкновенно имѣютъ дѣло съ цѣлымъ *классомъ*, съ цѣлою *массою* воспитанниковъ и ведутъ съ ними сдѣдующую нравственную рѣчь: «вы сами должны отыскать виновнаго или виновныхъ изъ среди-себя, а если вѣтъ, то мы не будемъ разбирать Сидора, Петра, Карпа, Ивана и Матфея, *не будемъ разбирать кто правъ и кто виноватъ*, а накажемъ всѣхъ», и дѣйствительно наказываютъ всѣхъ. Прежде всего что сказать о томъ, что *сами* воспитанники должны отыскать виновныхъ? Почему это они должны дѣлать дѣло начальства, или помогать ему?.. Далѣе, — кто это говорить: мы не будемъ разбирать *право и виноватаго*? Ужели человѣкъ, поставленный нравственно воспитывать юношество? Чтоже послѣ такихъ словъ будутъ думать о воспитателяхъ воспитанники? Будутъ ли, да и могутъ ли воспитанники уважать ихъ? И какъ чрезъ такой непедагогическій образъ дѣйствования воспитатели сами себя нравственно унижаютъ предъ воспитанниками. Притомъ тѣже воспитатели въ настоящемъ случаѣ нравственно унижаютъ и воспитанниковъ. Въ подобной ихъ тактикѣ весьма ясно проглядываетъ обидный, унижающій, обезличивающій взглядъ на воспитанниковъ,

какъ на безправную массу, какъ на *табунъ* животныхъ, гдѣ не разбираютъ отдельныхъ экземпляровъ, и гдѣ по отношенію ко всемъ одинъ и тѣже мѣры, одинъ способъ дѣйствованія. Если виновные, которыхъ два-три неизвѣстны и товарищамъ своимъ и не назовутъ сами себя, то благотворно ли подѣйствуетъ на многихъ отдельныхъ лицъ, совершенно невинныхъ, то обстоятельство, что они будутъ терпѣть наказаніе совершенно невинно?.. Что сказать о такомъ образѣ дѣйствованія воспитателей, который лишонъ даже элемента юридической правды? Но положимъ товарищи нападутъ на слѣдъ виновныхъ; сколько опять тутъ неизбѣжно произойдетъ зла отъ ссоры товарищей виновныхъ съ невинными! По этому поводу могутъ разсориться самые задушевные друзья. Сколько потомъ будетъ затаеннаго враждебнаго чувства въ груди виновныхъ противъ нѣкоторыхъ изъ невинныхъ, послѣ того какъ виновныхъ выдадутъ и начальство накажетъ ихъ еще строже! И проч. и проч.

Вотъ что такое система наказаній и к чему она всегда приводитъ. Между тѣмъ она органической, необходимый элементъ нашего воспитанія; безъ нея въ нашихъ заведеніяхъ педагогика не дѣлаетъ ни шагу. Легче представить преступника, помилованнаго за преступленіе чѣмъ школьника, ненаказаннаго за дѣтскую шалость. Откуда это и что за убѣжденіе такое, что ежели школьникъ напакоститъ, то и ему непременно нужно напакостить, и его *дѣлать*-таки самого?! Развѣ эта своего рода месть, то воздаяніе зломъ за зло, можетъ воспитывать, можетъ исправлять? Впрочемъ извѣстно, откуда такія убѣжденія: они отзываются добрымъ старымъ временемъ... Вспомнимъ мысль хоть божественнаго Платона, что наказаніе — это не только неизбѣжное *слѣдствіе* проступка, но даже *неотъемлемое право* виновнаго. Вспомнимъ культы неумолимаго правосудія боговъ, древніе и вестоль древніе. Вспомнимъ громоносныя слова Эммануила Канта, что еслибы завтра рушился весь міръ, то сегодня все-таки послѣдній виновный долженъ быть наказанъ. Зачѣмъ и долго ли будутъ оставаться эти призраки, когда въ человѣчествѣ засвѣтились великія имена: Бентама, Шопенгауера, Конта, Гутчесова, Оуэна, Литтре, Фурье, и другія современныя намъ?..

Наказаніе никогда не воспитываетъ и не можетъ быть элементомъ воспитанія. Но безъ системы наказаній не будетъ никакой возможности поддерживать въ заведеніи извѣстный внѣшній порядокъ, дисциплину. Настанетъ война всѣхъ противъ всѣхъ. Чѣмъ, скажутъ намъ, будете сдерживать вы внѣшнее поведеніе воспитанниковъ въ извѣстныхъ границахъ?.. А зачѣмъ же вамъ и хлопотать очень о внѣшнемъ поведеніи воспитанниковъ? Не для

попарнаго же шествія, не для церемоніальныхъ выправокъ они живутъ у васъ. Притомъ развѣ только наказаніями, или страхомъ наказаній, развѣ только этими внѣшними и весьма нецеремонными стимулами вы удерживаете внѣшнее поведеніе воспитанниковъ въ извѣстныхъ границахъ?.. Хорошо же. Мы только съ своей стороны къ вашему же удивленію сильно сомнѣваемся въ этомъ. Воспитанники исполняютъ извѣстный внѣшній порядокъ въ своей школьной жизни тогда, когда *понимаютъ* или *испытываютъ* на *самомъ дѣлѣ*, что это хорошо для нихъ самихъ; на наказанія же они всегда смотрятъ какъ на несправедливую и случайную кару судьбы и не по нимъ располагаютъ жизнь свою... Если исполнять какую-нибудь отдѣльную статью заведеннаго порядка они не видятъ никакого резона и не ощущаютъ въ исполненіи ея никакой пользы для себя, то какимъ бы ни пришлось подвергаться имъ наказаніямъ, все-таки они весьма небрежно и неохотно будутъ исполнять ее. Всякій, кто сколько-нибудь знакомъ съ школьною жизнью, подтвердитъ это. И это понятно безъ фактовъ: требованіе воспитателей, подкрѣпленное угрозами наказаній, не мирится въ настоящемъ случаѣ съ требованіями собственной природы воспитанника, и потому, исключая самые рѣдкіе отдѣльные случаи, вообще перевѣсъ будетъ конечно на сторонѣ природы. А такого рода отдѣльныхъ статей внѣшняго порядка школьной жизни весьма много. Объ этихъ именно статьяхъ идетъ всегда дѣло въ тѣхъ случаяхъ, когда воспитатель говоритъ съ жаромъ воспитаннику: вы еще смѣете разсуждать? вамъ сказано и basta! и—тогда воспитанникъ, дѣйствительно, перестаетъ разсуждать и смотритъ на воспитателя изумленными глазами. Къ чему существуютъ такія статьи въ правилахъ поведенія воспитанниковъ? А вѣдь, собственно для нихъ нужна, да только для нихъ и можетъ быть нужна, система наказаній... *Нравственное* поведеніе, правильное направленіе чувствъ, особенностей характера воспитанниковъ должно быть воспитываемо, да и достаточно всегда можетъ быть воспитано только нравственнымъ воздѣйствіемъ воспитателя. Нравственную силу воспитанника точно также нужно воспитывать, какъ и умственную. Какъ вы развиваете умъ воспитанника? Вы сначала сами уясните ему, до послѣдней возможности дѣло, потомъ возбуждаете въ немъ его собственную умственную самостоятельность, и такъ какъ она слаба, то постепенно поддерживаете и укрѣплете ее; но лучше ли, яснѣе ли, скорѣе ли въ самомъ дѣлѣ пойметъ воспитанникъ извѣстную объявляемую ему истину, если учитель пригрозитъ ему за неповиновеніе наказаніемъ и дѣйствительно накажетъ? Точно такимъ же образомъ воспитатель долженъ вліять и на нравственную сторону воспита-

ника; точно также и тутъ, если воспитатель, самъ вліяя на чувство и особенности характера и воли воспитанника, исправляя его нравственную дѣятельность, вдругъ пригрозитъ ему наказаніемъ за извѣстный проступокъ и дѣйствительно накажетъ, то для нравственной силы, воспитанника, ненормально выразившейся въ проступкѣ, это рѣшительно все-равно. Она не исправится отъ наказанія, она только оскорбится и загрубѣетъ отъ соприкосновенія съ грубымъ и чуждымъ себѣ элементомъ. Что же касается извѣснаго порядка *опшнннннн* поведенія, то объясните воспитанникамъ, убѣдите ихъ здравымъ разсужденіемъ, что извѣстный порядокъ, для нихъ же самихъ — благо, польза, и что дѣйствительно рационально въ этомъ порядкѣ, въ чемъ они увидятъ дѣйствительную для себя пользу — то всегда будутъ они исполнять опять-таки безъ системы наказаній; система наказаній, повторяемъ, будетъ необходима только для тѣхъ отдѣльныхъ статей порядка, весьма впрочемъ многихъ, въ которыхъ воспитанники не увидятъ достаточно здраваго смысла и пользы для себя. Скажутъ, извѣстныя статьи педагогической практики, извѣстный образъ жизни воспитанниковъ должно устанавливать и обсуживать начальство, которое безъ этого не будетъ имѣть своей самостоятельности. Кто же споритъ, что именно начальство должно *обсуживать* все; самостоятельность его и должна болѣе всего состоять въ томъ, чтобы дѣло обсуживанія не доставалось вмѣсто начальства на долю воспитанниковъ. Но вѣдь люди, которые будутъ спорить съ нами для поддержанія самостоятельности начальства, будутъ требовать, чтобы исполняемы были строго всѣ статьи внѣшняго порядка школьной жизни безъ разговоровъ о томъ, какая изъ нихъ рациональна, и какая нераціональна, и для этого признаютъ вполне необходимою систему наказаній. Хорошо же, если начальство стремится къ такой капризной самостоятельности! Хорошо же, нечего сказать, если оно, только для поддержанія такой своей самостоятельности, будетъ сохранять систему наказаній!

Такимъ образомъ система наказаній въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ парализируетъ нравственное вліяніе воспитателей на воспитанниковъ, унижаетъ, какъ мы видѣли, и первыхъ и послѣднихъ. Поэтому весьма понятно, что нѣкоторые московскіе купцы съ недоувѣріемъ взглянули на нравственное воспитаніе въ московскихъ гимназіяхъ и берутъ оттуда дѣтей своихъ. Въ новой, проектируемой ими гимназіи, нравственные элементы будутъ конечно пониматься во всей широтѣ и высотѣ, ни въ какомъ случаѣ не будутъ сведены въ каталогъ узкихъ предписаній, въ перечень общепринятыхъ, узаконенныхъ давностію мелочей, и главное, по всей

вѣроятности, не будутъ вдавливаться въ нихъ дѣтей физическими принужденіями, системою наказаній... Мы горячо вѣримъ и сочувствуемъ этому, потому что зачѣмъ было бы въ противномъ случаѣ московскимъ купцамъ брать дѣтей своихъ изъ гимназій?.. Совершенно незачѣмъ....

Въ *третьихъ*, нравственное состояніе въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ находится въ неудовлетворительномъ состояніи отъ такъ называемаго *надзирательства* въ томъ statu quo, въ какомъ требуютъ, чтобы оно существовало, и въ какомъ большею частію оно дѣйствительно и существуетъ. Опредѣлить должность надзирателя вдругъ въ краткихъ и опредѣленныхъ чертахъ—дѣло невозможное. Прежде всего онъ нравственный *воспитатель* юности, вообще контролирующій жизнь воспитанниковъ въ заведеніи, изучающій ее и вліяющій на нее, смотря по степени собственнаго нравственнаго развитія. Потомъ — онъ надзиратель, который въ продолженіи двадцати-четырехъ часовъ долженъ *видимымъ* образомъ слѣдить за каждымъ шагомъ, каждымъ вѣшнимъ движеніемъ воспитанниковъ, вѣренныхъ ему, и смотрѣть притомъ за ними во всѣ глаза, чтобы, какъ говоритъ начальство, сами воспитанники видѣли, что неослабный надзоръ надзирателя не прекращается надъ ними ни на одну минуту. Вы ясно видите, что чрезъ это расширеніе надзирательской должности, къ прежнему чисто-*нравственному воспитательному* элементу уже примѣшался элементъ *полицейскій*, такъ что надзиратель оказывается уже и воспитателемъ и отчасти кварталнымъ надзирателемъ. Далѣе, онъ *гувернеръ*, подъ руководствомъ котораго идутъ приготовительныя домашнія учебныя занятія воспитанниковъ въ класовъ, — и *учитель*, потому что за отсутствіемъ собственно-патентованныхъ учителей, обязанъ занимать ихъ класъ). Потомъ онъ обязанъ смотрѣть за *одежею* воспитанниковъ, пересматривать ихъ сапоги, бѣлье, прическу, — по желанію воспитанниковъ, на ихъ деньги доставлять имъ булки, пирожное, — обязанъ укладывать ихъ спать и стараться не прозѣвать, чтобы они не просыпались раньше его; т. е., какъ сами видите, — онъ гувернеръ, весьма много смахивающій на *лакея и дячку*. Можно и еще отыскать въ нашемъ надзирательствѣ нѣсколько сторонъ, но довольно и этихъ. Спрашиваемъ, возможно ли вообще какому бы то нибыло человѣку хоть на половину добросовѣстно исполнить подобную сложно-разнородную должность, исполнить только *вообще* количественно, не разговаривая пока, будетъ ли это исполненіе нравственно-благоотворно вліять на развитіе воспитанниковъ, или нѣтъ? Возможно ли представить въ человѣкѣ присутствіе такой счастливой и отчасти странной всесторонности, чтобы онъ безотлучно двадцать-

четыре часа могъ быть при воспитанникахъ , чтобы онъ могъ быть учителемъ *всѣхъ* наукъ , чтобы онъ былъ въ состояніи или захотѣлъ изъ человѣка съ высокими нравственно-воспитательными тенденціями тутъ же вдругъ превращаться въ полицейскую штучку , и быть отчасти лаксемъ и дьялкой? Скажутъ , слишкомъ несправедливый и отжившій взглядъ , будто нравственное вліяніе надзирателя на воспитанниковъ можетъ страдать , если надзиратель въ тоже время будетъ заниматься мелочами внѣшней жизни воспитанниковъ , — будто занятіе подобными мелочами можетъ унижать самого надзирателя. Напротивъ , прибавятъ , чѣмъ цѣльнѣе , всестороннѣе вліяніе надзирателя , тѣмъ больше чести для него самого , тѣмъ больше нравственныхъ плодовъ для воспитанниковъ . Такое возраженіе совершенно справедливо съ общей гуманной точки зрѣнія на вещи ; но не забудемъ , что мы стоимъ на частной и своеобразной *школьной* почвѣ . Конечно , никакого , самой высокой природы человѣка не унижить то обстоятельство , если онъ вычиститъ другому сапоги , не унижить ни предъ нимъ самимъ , ни предо мною съ вами читатель , но всегда это обстоятельство унизило бы его въ глазахъ школьниковъ средняго учебнаго заведенія . Для раціональнаго взгляда на такіа мелочи нужно вообще слишкомъ немелко быть развитымъ , ну а вѣдь отъ мальчиковъ-школьниковъ напрасно было бы этого требовать . Это только *мамашу* свою мальчикъ одинаково уважаетъ и любитъ , и въ то время когда она учитъ его молитвамъ , и въ то время когда моетъ ему шейку и причесываетъ головку , потомучто во всемъ этомъ ухаживаніи мальчикъ ощущаетъ нѣжное , сладостное родственное чувство ; ухаживаніе же надзирателя , хоть бы оно дѣйствительно было ухаживаніемъ , хоть бы даже осмысливалось извѣстнымъ официально-отеческимъ чувствомъ , всегда для него не повутру , всегда вызываетъ въ немъ досаду , и главное , опошливаетъ предъ его глазами личность самаго надзирателя . Въ школьной сферѣ вообще чѣмъ многостороннѣе будетъ служба надзирателя , тѣмъ меньше въ глазахъ воспитанниковъ она будетъ имѣть важности и значенія и тѣмъ меньше слѣдовательно принесетъ хорошихъ результатовъ . Всякій надзиратель есть человѣкъ съ извѣстными слабостями и недостатками , такъ какъ онъ поставленъ въ необходимость дѣйствовать на воспитанниковъ *всеми* родами вліяній , то этимъ самымъ поставленъ въ печальную необходимость сдѣлаться извѣстнымъ имъ со всѣхъ своихъ сторонъ и дурныхъ и хорошихъ ; между тѣмъ школьники бѣдовый народъ и мигомъ *подымутъ на зубки* всѣ его слабости до единой . Мало этого , какъ лицо по отношенію къ нимъ все-таки стороннее , оппозиціонное , официальное и во всякомъ случаѣ не милое , онъ въ ихъ глазахъ превратится въ *воплощеніе*

однѣхъ именно слабыхъ своихъ сторонѣ , которыми школьники и будутъ потомъ тѣшиться , совершенно оставляя въ сторонѣ — достойныя его стороны... Вотъ и ждите послѣ этого нравственныхъ результатовъ отъ вліянія надзирателя на воспитанниковъ ! Надзиратель напримѣръ пришолъ въ класъ вмѣсто отсутствующаго учителя и начинаетъ заниматься съ воспитанниками. Если даже онъ знаетъ предметъ , которымъ пришолъ заниматься не хуже самого учителя (а это можетъ быть весьма рѣдко), то и тогда воспитанники смотрятъ на него все-таки *скептически* , слѣдятъ исключительно за новою его *ролью* , а не за *содержаньемъ* его лекціи ; для воспитанниковъ , слѣдовательно , пользы никакой , а для надзирателя , самое лучшее , если только онъ не провалится въ ихъ мнѣніи. А если онъ знаетъ предметъ похуже настоящаго учителя , или вообще знаетъ предметъ , но не сумѣетъ стать на точку зрѣнія прежняго учителя , или просто — будетъ выражаться иначе , нежели тотъ (что естественно почти всегда и бываетъ), то его кредитъ у воспитанниковъ на уваженіе къ себѣ мгновенно падаетъ : мальчишки просто начинаютъ диспутировать съ нимъ , да еще съ полнымъ сознаньемъ своего превосходства предъ нимъ , бѣднымъ импровизированнымъ учителемъ ! Вотъ и опять ждите съ его стороны нравственнаго вліянія на воспитанниковъ , требуйте побольше нравственныхъ результатовъ ! А каково дорого обходится надзирателю то требованіе его службы въ настоящемъ *statu quo* , что онъ безотлучно долженъ торчать при воспитанникахъ день и ночь ! Прежде всего , для него это *физически* невозможно , и отлучаясь по необходимости , онъ долженъ *плутовать* , что конечно видятъ и понимаютъ воспитанники. Надзирателю напримѣръ нужно нѣсколько разъ отлучиться покурить , два раза выпить чаю , есть и еще нужды , для которыхъ неизбѣжно ему отлучиться еще два раза. Кромѣ подобныхъ постоянныхъ нуждъ , могутъ быть еще нѣкоторыя случайныя. Далѣе , есть огромная *нравственная* невыгода для надзирателя быть при воспитанникахъ безотлучно сутки. Кто изучалъ человѣка съ его психической стороны , тотъ знаетъ , что въ одинаковомъ равномъ состояніи , въ одной и той же роли человѣку оставаться долго весьма трудно , а въ роли , требующей такой энергіи , такого общаго напряженія силъ , и притомъ такой продолжительной (сутки), какова роль надзирателя средняго учебнаго заведенія , даже совершенно невозможно. Это всякій надзиратель подтвердитъ своимъ собственнымъ опытомъ. Во все *продолженіе* дежурства ему весьма рѣдко бываетъ психически возможно остаться въ равномъ состояніи. Къ половинѣ и къ концу дня , его непременно либо одолѣетъ утомленіе , и упадетъ на него апатія , либо онъ слѣдается раздражителемъ , досадливъ ,

придирчивъ поэтому къ воспитанникамъ, даже несправедливъ. Судите опять, какіе отъ этого должны произойти результаты для его нравственнаго вліянія на воспитанниковъ. Но положимъ, для *надзирателя* весьма неудобно исполнять требованіе его службы, о которомъ мы говоримъ, но можетъ быть для *самихъ воспитанниковъ* исполненіе этого требованія благотворно? А вотъ посмотримъ, въ какой мѣрѣ оно благотворно и для нихъ. Можетъ ли заключаться что-нибудь существенно-благотворное въ томъ условіи школьной жизни воспитанниковъ, что они видятъ подлѣ себя надзирателя день и ночь, чувствуютъ себя связанными по рукамъ и по ногамъ, чувствуютъ какъ онъ слѣдитъ за каждымъ жестомъ, словомъ, шуткою каждого изъ нихъ? Нѣкто весьма справедливо замѣтилъ, что человѣку весьма трудно оставаться *собою*, быть какимъ онъ обыкновенно бываетъ, когда ему извѣстно, что со стороны наблюдаютъ за нимъ. Чуть только въ мальчикѣ зародится искра сознанія, т. е. чуть онъ сознаетъ себя чѣмъ-то *отдѣльнымъ* и отъ вещей міра внѣшняго и отъ существъ, подобныхъ себѣ, у него въ тоже время естественно и необходимо является потребность жить своею *отдѣльною*, единичною жизнію, не быть связаннымъ въ этой своей единичной жизни чужою волею, вообще внѣшними условіями, внѣшнимъ насиліемъ; это первое проявленіе въ немъ *человѣческой свободы*, которая въ свою очередь есть первое и существеннѣйшее условіе нормальной *человѣческой нравственности*. И вотъ это-то стремленіе быть *собою*, быть въ сферѣ своей единичной жизни, такъ-сказать одному безъ другого, эти первые росточки личной свободы и убиваются аргусовскимъ надзоромъ надзирателя. Надзиратель, котораго цѣль нравственное воспитаніе юношей, своимъ неослабнымъ надзоромъ самъ уничтожаетъ въ воспитанникахъ то, что больше всего, и скорѣе всего привело бы его къ его цѣли. Воспитанники отъ неослабнаго надзора надзирателя необходимо превращаются мало-помалу въ *лицемѣровъ*: тутъ въ жизни ихъ неизбѣжно развиваются до крайности два образа дѣйствій: либо замашка *скрытничать*, заператься донельзя, непризнаваться даже въ томъ что сейчасъ всѣ видѣли собственными глазами, либо страсть съ намѣреніемъ, или неволью *рисоваться* предъ надзирателемъ. Они непременно живутъ двойственною жизнію: одною для самихъ себя, дѣтскою, искреннею, другою для надзирателя, фальшивою, *лицемѣрною*; они свыкаются мало-помалу съ этою жизнію, такъ что въ обыкновенную естественную ихъ жизнь превращается именно эта жизнь, неестественная, двойственно-лицемѣрная. Имъ до того противно, если надзиратель какъ-нибудь случайно увидитъ ихъ *самихъ по себѣ*, какъ они есть, что они совершенно возмущаются въ такихъ случаяхъ. Мальчикъ

напримѣръ забудется иной разъ и дѣлаетъ себѣ что-нибудь въ уголку такое, что совершенно не составляетъ шалости, но чего по вкоренившемуся въ него въ школѣ обыкновенію, онъ никогда не сталъ бы дѣлать подъ глазомъ надзирателя. Если чрезъ нѣсколько времени онъ замѣтитъ, что надзиратель наблюдалъ и наблюдаетъ за нимъ, тогда онъ непремѣнно всыхнетъ, покраснѣетъ, смутится, какъ-будто слѣлалъ какое-нибудь преступленіе. Да чего проще: мальчикъ напримѣръ почесалъ у себя сзади, — чтожъ, криминала нѣтъ никакого, а между тѣмъ, если это видѣлъ надзиратель, мальчикъ возмущается до крайности. Что это значитъ? Это именно и значитъ то, что воспитанники привыкли лицемѣрить, скрывать предъ надзирателемъ, а между тѣмъ въ приведенныхъ случаяхъ надзиратель засталъ ихъ наединѣ съ собою, безъ лицемѣрія; понятно отчего имъ неловко: они какъ-будто жалуютъ объ этомъ. Отъ этого именно условія жизни, т. е. вѣчнаго неослабнаго надзора надзирателей, изъ нашихъ среднихъ *святскихъ* школъ и выходятъ нерѣдко пассивныя, мелкія натуры, въ которыхъ фальшь не всегда потомъ уничтожается и такую великою школою, какъ *жизнь*. Хотя въ нихъ какъ-бы въ нѣкоторые живые чемоданы, каждый воспитатель и учитель и положилъ отъ себя нѣчто, но они большею частью остаются и навсегда чемоданами, безъ самостоятельно-выработанныхъ убѣжденій, безъ самостоятельно-развитаго благородства и правильной человѣческой чести. Чему же удивляться, если потомъ они совершенно равнодушно склоняютъ свою шею равно и для кулака и для искательства?.. А между тѣмъ наши попечительныя гимназическія начальства до сихъ поръ еще хлопочутъ, чтобы какъ-нибудь надзиратель не отошелъ отъ воспитанниковъ; они не могутъ быть спокойны, когда не увѣрены, что надзиратель дѣйствительно *надзираетъ*. Интересно обратить вниманіе на тѣ слова, которыми нѣкоторые мудрецы убѣждаютъ надзирателей неотходить отъ воспитанниковъ. «Вы когда-нибудь полмѣйте, — какой шумъ и гамъ бываетъ, чуть только вы отлучитесь», говорятъ они. Дѣйствительно, когда надзиратель уйдетъ, — все измѣняется, всѣ мальчики какъ-будто перерождаются. Да и еще бы: они вѣдь цѣлый день только и ждутъ, пока исчезнетъ этотъ чловѣкъ, котораго даже всѣ вѣшнія черты лица, всѣ особенности походки, голоса, пріемовъ давно уже опротивѣли имъ, который вообще *опошленъ* въ ихъ глазахъ до крайности. Ихъ лица веселяются, движенія развязываются; они вполне отдаются искренней и шумной радости, почувявъ свободу. Они милы въ это время, и нравственнѣе, выше, чѣмъ когда-нибудь; только въ этомъ положеніи изъ нихъ и можетъ выйти *семья* братьевъ, а не толпа *школьниковъ*. Шумъ дѣйствительно бываетъ большой, но какой смыслъ

ниѣтъ этотъ шумъ?.. Ясно, что фактъ, ради котораго начальство требуетъ безотлучнаго присутствія надзирателя при воспитанникахъ, громко говоритъ какъ-разъ противъ него. Теперь представьте себѣ положеніе надзирателя, вполне рационально понимающаго свою должность, ясно виѣщаго и глубоко сознающаго, что для него желѣно было бы дѣйствовать такъ, какъ требуетъ дѣйствовать *казенное* пониманіе его службы, во все-таки поставленнаго въ необходимость дѣйствовать по казенному! И представьте себѣ потомъ положеніе воспитанниковъ, которыхъ судьба надѣлила другого рода надзирателями, *примѣрными* надзирателями, которыхъ *точностью* любитъ начальство, поощряетъ ее и вполне удовлетворяется ею. Нечего сказать, — завидныя положенія и стоятъ одно другого!

Такимъ образомъ величайшая, благороднѣйшая и благодѣлнѣйшая служба человечеству и обществу — служба воспитателя — въ нашихъ средне-учебныхъ свѣтскихъ заведеніяхъ, чрезъ присоединеніе въ ней къ чисто-*воспитательному* элементу совершенно-чуждыхъ и разнородныхъ элементовъ *дядьки* и *полицейскаго*, до того уничтожается, становится безсильною, противорѣчающею себѣ, что въ своемъ *statu quo* большею частію не воспитываетъ юношества, а скорѣе препятствуетъ его здоровому, нормальному воспитанію. Между-тѣмъ, повторяемъ, она можетъ-быть и всегда будетъ величайшею и благодѣлнѣйшею службою, именно если очистить ее отъ чуждыхъ дѣлу воспитанія элементовъ. Пусть надзиратель не связываетъ воспитанниковъ по рукамъ и ногамъ своимъ постояннымъ видимымъ присутствіемъ, пусть напротивъ заботится о томъ, чтобы они вполне всегда были собою, отдавались своимъ природнымъ инстинктамъ, — пусть является въ ихъ кругъ только тогда, когда есть какая-нибудь опредѣленная нужда; но за то въ это время пусть сумѣетъ поставить себя, такъ невидимо овладѣтъ ихъ умами и волями, чтобы ихъ дѣйствія невольно сдерживались уваженіемъ къ нему, — чтобы и безъ него тяготѣло надъ ними его присутствіе, чтобы личность надзирателя была любимая и симпатичная личность, не опошленная и докучливая. Воспитаніе приметъ тутъ существенно иной характеръ: воспитанникъ будетъ вести правильный образъ жизни и развитія — самъ отъ себя, — по собственному состоянію и желанію, а не потому, что его будетъ подталкивать къ этому вѣчный его спутникъ — надзиратель. Дѣйствительно, много еще недостатковъ въ нашихъ гимназіяхъ и московскихъ и петербургскихъ и губернскихъ, но онѣ совершенствуются и нѣтъ сомнѣнія, что воспитаніе въ нихъ современемъ будетъ удовлетворительно. Теперь же, по нашему мнѣнію, московскіе купцы правы. Воспитаніе

въ гимназіяхъ еще очень плохо. Гимназія нашихъ реформаторовъ можетъ выйти и лучше. Особенно если они отрицаютъ современное гимназическое воспитаніе въ томъ именно смыслѣ, въ которомъ единственно можно отрицать его и который мы попробовали изложить въ этой статьѣ. Вѣдь не новую же, небывалую свѣтскую бурсу хотятъ сочинить наши реформаторы изъ своей новой гимназіи? Вѣдь не о новыхъ же «Бурсацкихъ типахъ» хлопчутъ они въ самомъ дѣлѣ? Это было бы такъ нелѣпо, что и возможности этого вѣрять не хочется... А впрочемъ... А впрочемъ подождемъ и увидимъ. *Finis coronat opus.*

И. РОДВИЦЪ

ЩЕКотЛИВЫЙ ВОПРОСЪ

СТАТЬЯ СО СВИСТОМЪ, СЪ ПРЕВРАЩЕНІЯМИ И ПЕРЕОДЪВАНЬЯМИ

Въ нашей литературѣ раздался недавно очень щекотливый вопросъ, именно: «кто виновать?» Это «кто виновать?» крикнуло недавно «Современное Слово» и его крикъ немедленно слѣлся съ безчисленнымъ хоромъ тѣхъ голосовъ, которые давно уже спрашиваютъ и справляются, кстати и некстати: «кто виновать?» Ктожъ наконецъ виновать? Статья «Современнаго Слова» продолжалась четыре номера (1); ее многіе читали съ жадностію; мы тоже съ крайнимъ любопытствомъ прочли ее и все-таки не узнали кто виновать. Мало того, намъ показалось, что вопросъ поставленъ сбивчиво и что дѣло затемнѣно. Оговоримся: мы вовсе не хотѣли нападать на «Современное Слово». Вопросъ конечно поставленъ неточно, но намъ понятна и цѣль, съ которой онъ такъ поставленъ. Тутъ точность сознательно была пожертвована извѣстному результату. Собственно съ этой точки зрѣнія все ясно. Но вопросъ въ томъ: можно ли такимъ способомъ достигать извѣстныхъ и заранѣе поставленныхъ результатовъ? Достигаетъ ли наконецъ статья какого-нибудь результата? Такой вопросъ показался намъ въ своемъ родѣ любопытнымъ. Мы соображали, подводили, рѣшали, и нѣкоторую часть нашихъ выводовъ хотимъ теперь сообщить нашимъ читателямъ. Но прежде всего изложимъ содержаніе статьи «Современнаго Слова».

Въ послѣднее время раздавались повсемѣстно крики, обвинявшіе нашу молодежь; раздаются и теперь. Худо то, что рядомъ съ дѣльными, заботливыми вопросами нерѣдко раздавались и предположенія опасныя, нелѣпыя, вредныя, которые были даже гораздо вреднѣе для самихъ обвинителей, чѣмъ для обвиненныхъ. Нелѣпица

(1) - Современное Слово - №№ 99, 100, 101, 102.

подобныхъ обвиненій падаетъ каждую минуту и современемъ падетъ окончательно, а нелѣпость иныхъ обвинителей перейдетъ въ исторію. Это хоть бы и ничего, въ исторію-то, но вѣдь и современное мнѣніе высказывается. Оно есть и теперь. Нѣкоторые даже рады были приписать все зло молодежи, и конечно на этомъ одномъ не успокоились. Естественно, что тотчасъ же и самъ собою, во всемъ обществѣ, возникъ вопросъ: «Ктожъ виновать? Кто наущалъ молодежь и съ пути ее совращалъ?» Эти вопросы раздались и въ литературѣ; посыпались яростныя обвиненія и обличенія. Но замѣчательно, что изъ всѣхъ яростныхъ особенною яростію отличались именно тѣ, которые чувствовали, что у нихъ самихъ рыльце наиболѣе въ пушкѣ. Они искали виновныхъ всюду, и вблизи и вдали, ругались, изъ себя выходили и кричали такимъ голосомъ, что ихъ чуть не въ Парижѣ было слышно. Къ нимъ приставало все болѣе и болѣе литературнаго народу (чтожъ дѣлать, мода!) и еще недавно Николай Филиповичъ Павловъ бросилъ всему этому народу, всему этому новому направленію и новому слову свое горькое слово проклятія, свой стихъ

Облитый горечью и злостью,

т. е. хоть и не стихъ, а прозу, но эта проза стоитъ стиха. Онъ говорить въ своемъ объявленіи объ изданіи газеты «Наше Время» въ 63 году слѣдующее:

«Въ литературѣ и въ настроеніи общества произошла перемѣна. Разные общественные вопросы выяснились. Теперь въ нашемъ смыслѣ говорятъ столько голосовъ, что мы боимся остаться назад и уступить имъ въ рвеніи.»

Такая филиппика отъ Николая Филиповича многозначительна. Его обвиняютъ что онъ ретроградъ. Намъ кажется что къ Николаю Филиповичу такое слово какъ-то нейдетъ: не по носу табакъ. Впрочемъ положимъ, что онъ и дѣйствительно ретроградъ, если судить его теперь сравнительно съ его прежней дѣятельностью въ то модное прогрессивное время лѣтъ пять тому назадъ, когда роль прогрессиста сулила почетъ и выгоду. Но къ обвиненіямъ въ ретроградствѣ онъ кажется совершенно равнодушенъ. Есть такіе люди, которые не только не жмутся отъ иныхъ обвиненій, но отъ этого дѣвѣтъ лица у нихъ становится лучше. Покрайней-мѣрѣ обвиненія сходили съ него какъ съ гуся вода. Разумѣется защита его одна, какъ и у всѣхъ въ такихъ случаяхъ: «говорю дескать по убѣжденію». Мы не споримъ и о томъ, что г. Павловъ былъ убѣжденъ; даже обходимъ вопросъ: чѣмъ именно онъ былъ убѣжденъ? Вѣдь намъ лично никакого и дѣла-то нѣтъ собственно до г. Павлова

и его убѣжденій. Зантересовало насъ только теперешнее интересное его положеніе: вдругъ такой человѣкъ, какъ онъ, начинаетъ замѣчать, что многіе, даже изъ тѣхъ самыхъ, которые еще такъ недавно смотрѣли на него свысока, которые подчасъ изливали на него свою жолчь, свой ядъ и насмѣшки; что тѣ самые рвутся теперь въ запуски, чтобъ говорить и писать въ томъ же тонѣ и духѣ какъ онъ. Мало того: рвутся до такой степени, что онъ уже опасается, чтобъ эта накинувшаяся вдругъ толпа не оттерла его совсѣмъ отъ тѣхъ благъ и плодовъ, которые онъ завоевалъ своимъ литературнымъ талантомъ. Онъ боится за свою литературную идею, за свою литературную собственность; ею пользуются, ее расхищаютъ и вотъ, съ горькимъ смѣхомъ онъ принужденъ свидѣтельствовать, что онъ, онъ самъ, боится отстать отъ новыхъ литературныхъ талантовъ, онъ! отстать!!! Развѣ это не стоитъ стиха, облитого горечью и злостью? развѣ это не демоническій хохотъ изъ Москвы? развѣ это не монологъ московскаго въ нѣкоторомъ ролѣ Гамлета надъ черепомъ Юрика, королевскаго шута:

«Ахъ бѣдный Юрикъ! Зналъ я его, Горацио; онъ былъ весельчакъ и умница...»

Шутъ Юрикъ, разумѣется представляетъ въ этомъ случаѣ русскую литературу. Весельчакъ! Умница! Даже самъ г. Краевскій, наименѣйшій г. Краевскій, который вовсе никогда не бывалъ ни весельчакомъ, ни... ну и такъ далѣе (!), даже и г. Краевскій, и тотъ кричитъ въ своемъ искликомъ объявленіи о «Голосѣ», что отказывается отъ республики, что онъ не хочетъ вторично впасть въ ошибку, которую уже до него сдѣлала Франція. Моргентъ-фри, дескать, теперь ужъ не надуешь Андрея Александровича. Какъ будто онъ былъ надутъ и прежде! Какъ будто и прежде-то кто-нибудь стоялъ собственно за республику! Какъ будто собственно республики искала и добивалась Франція въ сорокъ восьмомъ году? Какъ будто республики желаетъ кто-нибудь и теперь! О невинность! о рутину рутинъ! Но... это все покамѣстъ въ сторону. Мы остановились на томъ, что повсемѣстно у насъ раздались вопросы: кто виноватъ? Затѣмъ стали искать виноватыхъ. Затѣмъ стали намекать, указывать, обличать. Ярость распространялась все сильнѣе и сильнѣе; иныхъ и не спрашивали, но они лѣзли сами. Иныхъ обвиняемыхъ, особенно такихъ, которые почему-либо не могли защищаться, окричали наиболѣе, даже съ ругательствами. Всѣхъ злѣе

(!) Въ своей литературной дѣятельности разумѣется; никогда не позволимъ мы себѣ коснуться частной жизни литературныхъ дѣятелей нашихъ, ибо она для насъ священна.

въ этомъ смыслѣ работалъ профессоръ отъ литературы «Русскій Вѣстникъ» и его редакторъ г. Катковъ. И вотъ теперь «Современное Слово», занявшись окончательно формулированіемъ и рѣшеніемъ этого вопроса, выводитъ презабавную вещь: именно что г.—то Катковъ и былъ родоначальникомъ всѣхъ нашихъ злокачественныхъ увлеченій; что онъ, онъ—главнѣйшій преслѣдователь виновныхъ, такъ—сказать Немезида всѣхъ неблагомыслящихъ, сыщикъ и избличитель преступниковъ, совлекавшихъ нашу молодежь съ пути истиннаго, что онъ, этотъ самый г. Катковъ и есть этотъ самый главный преступникъ; что онъ началъ первый, что примѣромъ своимъ онъ расплодилъ и послѣднихъ, что отъ него весь сыр-боръ загорѣлся, что наконецъ и такъ далѣе, и такъ далѣе, и такъ далѣе. Надо отдать справедливость «Современному Слову»: процессъ г. Каткова изложенъ чрезвычайно ясно, удовлетворительно, избличительно и поразительно. Съ поразительною ясностію выводится, какъ, еще въ древнія времена, во времена баснословныя, тотчасъ же послѣ осады Трои, — виновать, — Севастополя, начался «Русскій Вѣстникъ» въ Москвѣ. Общій духъ всѣхъ русскихъ былъ тогда настроенъ и разстроенъ въ высочайшей степени! Требовали реформъ, заговорили о злоупотребленіяхъ, рѣшали колоссальные вопросы въ одинъ присѣсть, преслѣдовали г. Владимира Зотова, рѣшались докопаться до корня, откопать этотъ корень, и ничего не выкопали. Чтобъ откопать этотъ корень и начался «Русскій Вѣстникъ», съ англійскимъ началомъ и шроборомъ въ Москвѣ

.... Какъ провозвѣстникъ
Московскихъ думъ и англійскихъ началъ.

«Современное Слово» съ необыкновенною послѣдовательностію повѣствуетъ какъ «Русскій Вѣстникъ», соблазнилъ сначала все поколѣніе и всю молодежь развратной картинной англійскихъ началъ, а уже потомъ началъ проповѣдывать и московскія думы. Затѣмъ «Современное Слово» приступаетъ къ исторіи московскихъ думъ и проникаетъ при семъ даже въ самую таинственную сущность вещей. Мало того: пускается въ археологическія изысканія, стряхая пыль съ древнѣйшихъ хартій и цитуетъ древнѣйшихъ мудрецовъ, такъ сказать Гостомысловъ «Русскаго Вѣстника», а именно Николая Филипповича Павлова, г. Леонтьева, г. Байбороду, и проч., и проч. Страхнули даже пыль съ мирнопочивающихъ, но незабвенныхъ статей г. Громеки «О полиціи въ полиціи». Привели цитаты изъ «Біографа—оріенталиста» и «Чинovníка» — статей драгоцѣнныхъ и наполнявшихъ въ свое время весь міръ изумленіемъ. Какъ жаль, что ничего не цити-

ровали при семъ удобномъ случаѣ изъ замѣчательной статьи того же автора о дерзости и нечѣстности посыпанья пескомъ московскихъ тротуаровъ въ іюлѣ мѣсяцѣ. Ужъ все бы одно къ одному! Наконецъ, къ довершенію картины, изображено было пространно и тоже съ поразительной ясностью, какъ г. Катковъ, столь заботящійся о сохраненіи невинности и нравственнаго цѣломудрія учащихся юношей, заботящійся объ укорененіи въ ихъ сердцахъ почтительности къ профессорамъ и авторитетамъ, и обличающій всѣхъ тѣхъ, которые лишь подозрѣваемы были въ соблазнѣ невинности этихъ отроковъ, — какъ этотъ же самый г. Катковъ, единственно изъ удовольствія повредить профессору Крылову, поощрялъ, допускалъ и поощрялъ въ своемъ журналѣ статьи, которыя именно вели къ возбужденію юношества противъ ихъ наставниковъ и учителей, и тѣмъ самымъ зарождалъ скептицизмъ, цинизмъ и нигилизмъ въ ихъ сердцахъ, достойныхъ лучшей участи. И такъ далѣе, и такъ далѣе, всего не пересчитаешь; однимъ словомъ изъ четырехъ номеровъ «Современнаго Слова» выходитъ ясно какъ день, что г. Катковъ, выдающій теперь себя въ нѣкоторомъ смыслѣ за гевіа хранителя нашего, грѣшнѣе того козла, на которомъ исповѣдывались древніе евреи, а потомъ навьюченнаго грѣхами своими пускали въ степь. Родоначальникомъ всѣхъ винъ и провинностей, всѣхъ прогресистовъ и нигилистовъ нашихъ, «Современное Слово» выставляетъ г. Каткова, великодушно щадя при семъ случаѣ товарища и сотрудника его, г. Леонтьева. Послѣ всего этого отвѣтъ на вопросъ становится ясенъ! Вопр. Кто виновать? Отв. Катковъ.

Вотъ безпристрастное и по возможности полное извлеченіе статьи «Современнаго Слова.»

Какой же вопросъ зародился у насъ послѣ этой статьи? Мы упомянули, что и мы начали соблазняться многораазличными вопросами и привели одинъ изъ этихъ вопросовъ: достигаетъ ли такая статья хоть какого-нибудь результата? Въ самомъ дѣлѣ: что руководило публициста? Къ какой цѣли стремился онъ? Неужели къ одному только скандалу? Но вѣдь это все равно, что искусство для искусства. А ужъ выше позора, какъ служить искусству для искусства, въ наше время не существуетъ.

Замѣтимъ, что мы уже не станемъ теперь распространяться о томъ, что самъ по себѣ вопросъ неясенъ и поставленъ сбивчиво, хотя мы и упомянули объ этомъ вскользь на первой страницѣ и хотя матерья эта очень интересная. Въ самомъ дѣлѣ, если уже сказано: «кто виновать?» значитъ несомнѣнно признается существованіе «вины», а если признается существованіе «вины», значитъ

допускается и виновникъ, какъ отдельное лицо, какъ единица. Такъ и дѣлаетъ «Современное Слово», называя и допуская виновника. А это невозможно. Виновника при такой постановкѣ вопроса найти трудно; тутъ можно еще, пожалуй, допустить зло, но не вину, следовательно нельзя найти и первоначальнаго виновника. Въ этомъ смыслѣ г. Катковъ въ виновника не годится, — ни г. Катковъ, ни Бѣлинскій, ни ктобы-то нибылъ. Въ этомъ столько же какъ и они виноваты и Пушкинъ, и Фонъ-Визинъ, и Кантемиръ, и Ломоносовъ. Пойдемъ дальше: Столько же, именно столько же, если не больше, виноваты и Лапласъ, и Галилей и Коперникъ. Это дѣло — клубокъ. Тутъ дѣйствительно можно добраться до Арговавтовъ, или крайней-мѣрѣ до призванія трехъ князей варяжскихъ, до сихъ поръ невѣдомо откуда.

Намъ можетъ-быть и очень бы хотѣлось распространиться на эту тему побольше, но разные обстоятельства мѣшаютъ на этотъ разъ. Ктому же насъ особенно привлекаетъ вышепоставленный вопросъ о цѣли статьи «Современнаго Слова», о чемъ мы уже и начали говорить. Мы упомянули о скандалѣ; но мы первые и отвергаемъ эту причину. Статья слишкомъ серьезно и горячо написана. Тутъ цѣль была другая. Какая же? Неужели «Современное Слово» имѣло въ виду подѣйствовать на самого г. Каткова лично, на его сознаніе, совѣсть, упрекнуть его, убѣдить его и вывести на путь истинный? Нѣтъ, и такая цѣль была бы нелѣпою. Такіе господа, какъ г. Катковъ, не выводятся такими путями на путь истинный. Приемъ совершенно не тотъ. Но если и это не такъ, то не имѣло ли въ виду «Современное Слово» подѣйствовать своими доводами на иныхъ специалистовъ, чтобъ имъ помочь и направить ихъ при рѣшеніи иныхъ вопросовъ? Но, сколько мы можемъ судить, специалисты такихъ извѣщеній въ руководство не принимаютъ и ими никогда не стѣсняются. Однимъ словомъ, чтобъ не перебирать всѣхъ нашихъ догадокъ, скажемъ одно: мы остановились на единственно-возможной причинѣ, а именно: цѣль «Современнаго Слова» была — довести публикѣ. Такъ-таки формальный доносъ, для настоящаго и полнаго обличенія настоящихъ виновниковъ дѣла, виновниковъ разумѣется въ смыслѣ «Современнаго Слова». Такіе доносы и извѣщенія разумѣется сами по себѣ допускаются, потому что представляются всей публикѣ. Они — гласность, обличеніе, они даже иногда необходимы. Представляется характеръ и образъ дѣятельности извѣстныхъ лицъ, вѣрно рисуется эта дѣятельность, выводится абсурдъ и зазоръ этой дѣятельности, и все это, по возможности, освѣщается бенгальскимъ огнемъ, для удобства разсматриванья.

Но если и такъ, что же выходитъ изъ этого? Неужели въ самомъ

дѣлъ «Современное Слово» работало только для того, чтобъ изобличить г. Каткова лично и выставить всю его суть. Но если такъ, то понашему, оно оказало г. Каткову даже услугу. Вопросъ теперь именно такъ поставленъ, что г. Катковъ имѣеть превосходный предлогъ отвѣчать на него со всѣми выгодами на своей сторонѣ, между прочими и потому, что вопросъ заданъ ему въ самомъ крайнемъ видѣ:

— Ты виноватъ? признавайся.

— Кто, я виноватъ? можетъ спросить г. Катковъ, — въ чемъ? въ томъ, что отъ меня сыр-боръ загорѣлся? — Хорошо, пусть; но вѣдь я раскаялся. Въ томъ ли, что я преслѣдую теперь моихъ же послѣдователей? Но чѣмъ же другимъ могъ бы я сильнѣе заявить мое раскаяніе, заявить поворотъ въ моихъ убѣжденіяхъ? Преслѣдую зло, — значить ненавижу его; преслѣдую моихъ же послѣдователей, — значить преслѣдую самого себя за прежнюю дѣятельность. Въ томъ ли, что я перемѣнилъ убѣжденія, но.. »

Но тутъ намъ внезапно представилась другая картина. Это было видѣніе, сонъ, мечта, что угодно, но фактъ тотъ, что она намъ представилась. Предъ нами явилась величественной архитектуры, блистательно освѣщенная огнями. Что это: клубъ, манежъ, парламентъ? Нѣтъ, это не парламентъ; пьютъ и ѣдятъ, а въ парламентѣ только говорятъ. Длинные столы тянутся черезъ всю комнату, а за столами сотни гостей. Это вѣрно какой-нибудь обѣдъ по поводу, что-то торжественное, клубное, пахнетъ митингомъ. Купать кончили, но по британскому обычаю все еще пьютъ. Вдругъ подымается издатель журнала и проситъ слова. Онъ желаетъ самъ передъ почтеннымъ собраніемъ изложить свое дѣло; онъ хочетъ объясниться; онъ говоритъ, что его принуждаютъ къ тому его обвинители (слушайте, слушайте!) онъ присовокупляетъ, что ихъ находится немало и въ числѣ гостей... (шумъ), что вся Москва, а слѣдовательно и вся планета интересуются рѣшеніемъ вопроса. (Слушайте, слушайте!) онъ хочетъ сказать рѣчь... (браво! bis!) Раздаются вопли одобренія и радости. Поспѣшно назначается президентъ (лицо безъ рѣчей и занимающееся римскими древностями), воздвигается трибуна. Ораторъ всходитъ на нее съ торжественною важностью. Онъ бодръ, въ лицѣ его сіяетъ самоувѣренность; нѣсколько насмѣшливая, но чрезвычайно идущая къ дѣлу улыбка бродитъ на губахъ его. Онъ прилично шуритъ глаза, пытливо обводитъ взглядомъ все общество и нѣсколько минутъ наблюдаетъ молчаніе. Въ это время усиліями президента и нѣсколькихъ аждентльменовъ, его помощниковъ, молчаніе и тишина восстанавливаются. Взоры всѣхъ жадно устремлены на оратора. Онъ начинаетъ:

Милорды и господа!

Я намѣренъ говорить о себѣ. Меня побуждаютъ къ тому мои обвинители. Не думайте впрочемъ, что я хочу защищаться, оправдываться. О нѣтъ! Я просто хочу поговорить о своихъ дѣлахъ, такъ, послѣ объѣда, такъ сказать за бокаломъ вина. Очень приятно говорить о себѣ въ такомъ почтенномъ собраніи. Но не думайте однакоже, что я особенно люблю говорить о себѣ. Не скрою, я самолюбивъ и очень люблю помечтать иногда о своемъ значеніи и о своей славѣ. Но говорить, — о, я говорю только въ рѣдкихъ случаяхъ, когда надо, такъ сказать, выпалить изъ пушки, когда надо раздавить, скосить, уничтожить. И я раздавливаю, скашиваю и уничтожаю. Но къ чему скрывать? Признаюсь вполне: если я взойду теперь на эту трибуну и объявлю, что начну говорить о дѣлахъ моихъ, и о себѣ лично, то единственно въ томъ убѣжденіи, что такимъ разговоромъ доставлю необыкновенное удовольствіе всему почтенному собранію (шумъ). Скажу болѣе: я увѣренъ, что съ тѣхъ поръ, какъ стали существовать на свѣтѣ собранья, клубы, парламенты, митинги и проч., не было и не будетъ предмета болѣе интереснаго, любопытнаго, важнаго и благороднаго, какъ тотъ, о которомъ я намѣренъ сейчасъ повести рѣчь передъ почтеннымъ собраньемъ.

(Начинается страшный шумъ. Нѣсколько сотъ членовъ собранья режутъ во все горло. Президентъ тицетно звонитъ въ колокольчикъ. Шумъ не умолкаетъ. Во все это время ораторъ гордо стоитъ въ благородной позѣ и снисходительно улыбается. Онъ не сердится за шумъ и какъ-бы любитъся имъ; онъ увѣренъ въ побѣдѣ. Лѣвая рука его опирается на столъ, правая заложена за жилетъ. Но въ собраньи чрезвычайно много приверженцевъ и обожателей оратора. Мало-помалу они одерживаютъ верхъ и шумъ затихаетъ. Нѣсколько ярыхъ прогресистовъ съ лѣвой стороны еще долго не могутъ успокоиться. Особенно отличается своимъ волненіемъ одинъ джентльменъ изъ нигилистовъ, съ растрепанными волосами, крайній лѣвый. Онъ рѣшительно не можетъ успокоиться. Ораторъ прикладываетъ къ глазу стеклышко и минуты двѣ его разсматриваетъ какъ букашку. Повидимому это выводитъ противниковъ его изъ послѣдняго терпѣнія. Раздаются возгласы: «Ретроградъ! отступникъ! милордъ!» Но молчаніе все-таки наконецъ восстанавливается и ораторъ продолжаетъ, уже увѣренный въ побѣдѣ).

Милорды и господа! Я совершенно былъ увѣренъ, что вы затѣете изъ-за моихъ словъ шумъ, и вовсе не сержусь за него. Не

думаю, рѣшительно не думаю, чтобъ я хоть чѣмъ-нибудь могъ нарушить законы парламентскихъ формъ. Они для меня священны. Прошу вникнуть въ дѣло: я признаюсь, что очень уважаю себя и считаю свои интересы выше всего на свѣтѣ. Но развѣ найдется здѣсь хоть одинъ нобльменъ, изъ всего почтеннаго собранья, который бы не уважалъ себя и не считалъ своихъ интересовъ выше всего на свѣтѣ? Чтоже, если я сверхъ того признаюсь, что не только люблю и уважаю, но даже нѣсколько обожаю себя? Скажу болѣе: я даже желаю, чтобъ всѣ обожали меня и считаю, что это только мнѣ должное. Обращаюсь опять къ почтенному собранью: есть ли здѣсь хоть одинъ нобльменъ, который бы не желалъ себѣ того же самого? Вся разница въ томъ, что я говорю объ этомъ публично, а другіе нѣтъ, потому что не умѣютъ говорить о себѣ публично. Но впервыхъ, почему же не говорить объ этомъ публично? Всякій британецъ имѣетъ привилегію оригинальности. Я хочу говорить то, что думаю, и увѣренъ, что выражая мнѣніе о важности моей особы и моихъ интересовъ, не только не манкирую передъ почтеннымъ собраніемъ, но даже дѣлаю ему честь моею снисходительною откровенностью.

Голосъ съ правой стороны (*сквозь зубы*). Остроумно и... и... я забавно.

Другой голосъ. Чувства настоящаго британца.

Лицо оратора выражаетъ ощущеніе удовлетвореннаго самолюбія. Собранье очевидно склоняется, въ о громномъ большинствѣ, въ его пользу, а на лѣвой сторонѣ ропотъ усиливается. Начинаютъ кричать: «безъ лишнихъ словъ, безъ фразерства! къ вопросу, къ вопросу!»!

Ораторъ. Начну съ необходимыхъ объясненій. Я даже занимался литературой. Я перевелъ Ромео и Джульету, я написалъ еще одну статью, кажется о Пушкинѣ. Я писалъ еще... но право я уже забылъ, объ чемъ я писалъ. Тѣмъ неменѣе мнѣ очень хотѣлось быть извѣстнымъ. К чему ложная деликатность: я откровенно считалъ себя и считаю выше всѣхъ моихъ современниковъ. Надѣюсь, что никого не оскорбляю въ почтенномъ собраньи. Но случая для меня не было. Онъ наступилъ во время нашего всеобщаго обновленія. Я затѣялъ тогда мой удивительный журналъ, и пустилъ въ ходъ англійскія начала. Само собою, что я тотчасъ же завоевалъ значеніе, деньги и безсмертную славу. И вдругъ, теперь, нѣсколько страннѣхъ джентльменовъ (не скажу жалкихъ, хотя и сожалѣю о нихъ) объявляютъ... намекаютъ... однимъ словомъ, вздумали нафискалить на меня публикѣ и доносить, что я веду дѣла свои по

последнимъ вопросамъ несовѣсть... какъ бы это выразиться по-натиѣ,... однимъ словомъ, будто бы несовѣсть честно.

Разъяренный нигилистъ съ лѣвой стороны громкимъ голосомъ: «совѣсть нечестно!»

Ропотъ пробѣгаетъ по собранію. Ораторъ нѣсколько смущается отъ такого прямого и громкаго восклицанія. Улыбка впрочемъ не сходитъ съ устъ его. Разъяренный членъ, чувствуя что совершилъ подвигъ, смотритъ на него отчаянно, прямо въ упоръ. Водаряется глубокое молчанье. Всѣ ждуть съ напряженіемъ, чѣмъ разрѣшится ссора.

Ораторъ (*сдержаннымъ, но глубоко внушительнымъ голосомъ*): Я не вслушался и желаю, чтобъ почтенный членъ повторилъ слова свои.

Нигилистъ (*громовымъ и страшно внушительнымъ голосомъ*): На вашу уклончивую фразу: «несовѣсть честно», я возразилъ, что совѣсть нечестно! Ну, что вы на это скажете?

Ораторъ. Въ такомъ случаѣ я принужденъ обратиться къ нашему почтенному спикеру и препоручить ему спросить у почтеннаго члена: въ обидномъ или не въ обидномъ для меня смыслѣ сказаны слова его?

Нигилистъ. Пусть понимаетъ какъ хочетъ, въ какомъ угодно смыслѣ.

Ораторъ. При всемъ уваженіи къ почтенному члену, я не могу удовлетвориться его отвѣтомъ, и потому принужденъ снова утрудить высококороднаго спикера. Я желаю положительнѣе знать: въ обидномъ или не въ обидномъ смыслѣ сказаны были слова почтеннаго опонента?

Нигилистъ (*сверкая глазами и стукнувъ кулакомъ объ столѣ*): Въ обидномъ! и жалѣю что не могу еще сильнѣе выразиться.

(Сильный шумъ. Нигилистъ вскакиваетъ съ мѣста, какъ бы не помня себя отъ ужаса. Ораторъ, хотя нѣсколько блѣдный, еще разъ спокойно обращается къ спикеру).

Ораторъ. Въ такомъ случаѣ я долженъ особенно просить уважаемаго друга моего передать почтенному опоненту, что я, въ величайшему моему сожалѣнію, долженъ буду немедленно упомянуть о четвертакѣ, внезапно пропавшемъ со стола редакціи.

Неистовый шумъ. Опонентъ въ высшей степени ярости. Его усноковываютъ всеми средствами. Кричать со всѣхъ сторонъ, что онъ мѣшаетъ, что чрезъ него можетъ прекратиться рѣчь, чтобъ онъ убирался вонъ. «Вонъ его, вонъ!» Прогрѣссты на этотъ разъ уступаютъ. Ораторъ пылливо и съ достоинствомъ оглаживаетъ собравше.

Нигилистъ (*съ великимъ съ сдѣланнымъ отъраженіемъ*). Я говорю не въ обиду, а во всеобщемъ смыслѣ.

Ораторъ (*съ поспѣшностью*): Въ такомъ случаѣ я объявляю почтенному члену, что съ своей стороны готовъ взять назадъ вопросъ о внезапно пропавшемъ четвертакѣ.

Нигилистъ. Отвяжитесь съ вашимъ четвертакомъ!.. Я говорю не въ обиду, а во всеобщемъ смыслѣ и...и довольно съ васъ!

Ораторъ торжествуетъ, и объявляетъ, что онъ совершенно доволенъ; онъ предлагаетъ даже выпить съ почтеннымъ оппонентомъ рюмку вина. Оппонентъ что-то рычитъ про себя въ знакъ согласія. Поднимаютъ бокалы, выпивается вино. Спокойствіе восстанавливается совершенно. Ораторъ продолжаетъ внушительнымъ голосомъ, ударяя на каждомъ словѣ:

— Итакъ я говорилъ, что нѣсколько странныхъ, скажу болѣе, — жалкихъ (язвительно смотря на нигилиста) вредныхъ, сумасшедшихъ крикуновъ, (надѣюсь, что слова мои не могутъ быть приняты за личную обиду почтеннымъ оппонентомъ) вздумади стоять на томъ, что будто бы я поступаю теперь не совсѣмъ честно. Да, не совсѣмъ честно; я стою на выраженіи хотя можетъ быть оно все еще не имѣетъ счастья нравиться почтенному лжентльмену. Но на чемъ же основываются ихъ обвиненія? Впервыхъ, если я и проповѣдывалъ англійскія начала, то ктоже увѣрилъ ихъ, что я поступать буду по этимъ началамъ? (Смѣхъ.) Но это въ сторону. Это только вопросъ о свободѣ личности и дѣйствій. Признаюсь, я до такой степени презираю всѣхъ моихъ обвинителей, настоящихъ и будущихъ, что никогда не соглашусь сдѣлать имъ честь защищаться передъ ними. И если говорю теперь передъ такимъ почтеннымъ собраніемъ, то единственно для того, что самъ хочу позабавиться. Наши мнѣнія дѣло семейное и я увѣренъ, что ни одно слово, произнесенное здѣсь, не перейдетъ за эти двери. А впрочемъ мнѣ все равно... (кое-гдѣ раздаются крики одобренія. Слушайте! Слушайте!)

Нигилистъ ворчитъ заглушеннымъ голосомъ: Да вѣдь это мажскарадъ... Мы не въ Англии... шутовство!

Ораторъ. Продолжаю со всѣмъ достоинствомъ, которымъ я обязанъ самому себѣ. Впервыхъ: утверждаютъ, что будто бы я изложеніемъ англійскихъ началъ развратилъ общество и особенно юную часть его, что я возбуждалъ... и проч. и проч. Это мнѣ просто смѣшно. Обхожу въ время вопросъ о возбужденіи общества и займусь его «юною частію», т. е. школьниками. Точно никто не знаетъ эту юную часть, точно никто самъ изъ нихъ не былъ юнымъ и не помнить какъ развивается юношество, особенно на нашей почвѣ! Но ра-

завѣ можно что-нибудь скрыть отъ нашего юношества, отъ этихъ не сформированныхъ, но вострыхъ, пытливыхъ, скептическихъ умовъ? Замѣчательно, что все наше юношество полно скептицизма и недовѣрія къ авторитетамъ. Это кажется законъ нашей почвы. Но кому они ввѣрятся, кто заслужитъ ихъ уваженіе, затѣмъ они идутъ съ энтузіазмомъ. Признаюсь мнѣ некогда было заслуживать ихъ энтузіазмъ къ моей персонѣ. Ктому же пришлось бы пожалуй заслуживать средствами неприличными моей особѣ, моему значенію въ свѣтѣ, моему достоинству. Фамиллярности и всего этого прочаго я не терплю; а всѣ эти нравственныя равенства, духовныя братства и проч. и проч. все это уже фамиллярносьгъ. Тѣмъ не менѣе я желалъ поклоненія, хотя бы и отъ этихъ беззапыхъ мальчишекъ. Я вообще люблю поклоненіе. Я люблю его даже отъ тѣхъ, которыхъ въ высшей степени не уважаю и презираю. Я слишкомъ гордъ, чтобъ скрывать что-нибудь въ этомъ случаѣ передъ почтеннымъ собраніемъ.

Нигилистъ. Да мы не въ Англіи! что вы! Вы просто заигрались.

Ораторъ (съ презрительнымъ взглядомъ на нигилиста и дѣлая намѣренно видъ что подавляетъ насмѣшливую улыбку). Продолжаю: я надѣялся, что у меня достанетъ ума, чтобъ овладѣть нашими юношами безъ большого труда. Но они увлеклись въ другую сторону и пошли за моими послѣдователями. Такъ и должно было быть; я тотчасъ же увидѣлъ что это трудъ потерянный, да и собственно выгоды приносить не много. Школьниками можно всегда овладѣть, хотъ бы и розгой. (Браво, браво!) Кажется моему почтенному оценти розги не нравятся? (Язвительно смотритъ на нигилиста, тотъ отвѣчаетъ ему тѣмъ же). Итакъ я предпочелъ заняться самимъ обществомъ, о чемъ и поведу теперь рѣчь передъ почтеннымъ собраніемъ. Положимъ я и дѣйствовалъ на него англійскими началами. Но, во первыхъ, я остановился на извѣстномъ пунктѣ. Разумѣется я во все время поступалъ и поступаю чрезвычайно ловко, такъ что сначала всѣ думали, что я никогда не остановлюсь въ прогрессивномъ движеніи; но вольно-жъ имъ думать! Тогда поднялись разные общественные вопросы. Мы разрѣшили ихъ въ извѣстной степени и въ извѣстномъ видѣ представляли свой идеалъ. Мы знали, что мы могли это дѣлать и пользовались обстоятельствами? О томъ, о чемъ мы говорили, можно всегда говорить и мы это знали. Иначе какъ уничтожить и математику, и желѣзныя дороги, и инженеровъ, и все. Ну, я и трактовалъ до извѣстной степени объ извѣстныхъ матерьяхъ. Ктожъ виноватъ, что они сунулись дальше? Чѣмъ въ этомъ случаѣ я зачинщикъ? Я остановился на извѣстной точкѣ и

знать ничего не хочу. (Браво!) Кто мнѣ велѣлъ идти дальше? Какое мнѣ дѣло? Мы въ сторонѣ. Мало того: мы должны преслѣдовать ихъ, обвинять ихъ для нашей же пользы, для нашего самосохраненія. Это вообще выгодно, даже во всѣхъ отношеніяхъ. А я люблю выгоду во всякомъ случаѣ и прежде всего придерживаюсь практической сторны во всѣхъ обстоятельствахъ. (Страшные аплодисменты. Лѣвая сторона выражаетъ сильное безпокойство.)

Ораторъ (*продолжая съ наслажденіемъ*): Сейчасъ я сослался на практицизмъ. Практицизмъ — свойство всякаго истиннаго британца. Но сознаюсь съ гордостью: Есть одинъ пунктъ, на которомъ я страшный идеалистъ, и даже, при случаѣ, готовъ пожертвовать и практической стороной дѣла. Этотъ пунктъ — собственное мое самолюбіе. Не совѣтую въ этомъ случаѣ раздражать меня. Тутъ ужъ я несмотрю на выгоды, и рука моя, готовая всегда пожать дружески руку моего обожателя, — рука моя, всегда и вездѣ найдетъ непочтительнаго къ моимъ достоинствамъ. Будь онъ хоть подъ землей, за морями, я достану его вездѣ, и задамъ ему такой боксъ, что до новыхъ вѣвниковъ не забудеть! Вотъ этимъ-то самолюбіемъ и объясняется вся моя литературная дѣятельность. Изъ самолюбія я и журналъ основалъ. Я хотѣлъ первенствовать, блистать, и покорять.

Я ввелъ англійскія начала. Разскажу вамъ откровенно какъ было дѣло: Англійскія начала для насъ тѣмъ хороши, что тутъ и то, и другое, и третье, и парламентъ, и пресса, и присяжные и т. д. и т. д. а тогда, съ непривычки, все это было какъ-то особенно соблазнительно, всѣ этимъ бредили, начинали съ азавъ; я очень хорошо зналъ до чего дойдутъ.

Николай Филиповичъ (*съ своего мѣста*). Или лучше ни до чего не дойдутъ.

Ораторъ. Я совершенно согласенъ съ высокороднымъ барономъ и очень благодаренъ за его замѣчаніе... Итакъ, я очень хорошо зналъ до чего дойдутъ; но какъ же было не воспользоваться случаемъ? Ктому же англійскія начала, — это для насъ, не совсѣмъ приготовленныхъ, (т. е. я разумѣется говорю о публикѣ; я-то приготовленъ) ну-съ, это для насъ есть до такой степени что-то'неудовимое растяжимое, — и свободой пахнетъ и аристократическимъ элементамъ льститъ, — до такой степени способное, въ крайнемъ случаѣ (т. е. когда припрутъ къ стѣнѣ) къ переливанію изъ пустого въ порожнее, что невозможно было упустить случай и не схватиться за нихъ. Наконецъ и то, что эти начала способны волюнъ отвлечь общество отъ начала народнаго, національнаго, а я его терпѣть не могу (браво, bravo, yes, yes). Скажу болѣе: я ненавижу его. Я уже объявилъ разъ, что даже самой народности не признаю и очень былъ

радь, когда петербургскіе передовые ревьюи со мною заодно во все горло и называли ретроградми тѣ, которые стоятъ за народъ и признають его самостоятельность, т. е. желаютъ освободить его отъ будущаго, вторичнаго, нравственнаго крѣпостнаго состоянія, отъ будущей опеки иностранныхъ книжекъ, отъ всѣхъ говоруновъ, желающихъ его осчастливить, отнявъ у него напередъ самостоятельность и свободу. Всѣ эти крошечные Петры великіе возбуждали во мнѣ ужасный смѣхъ, но я радъ былъ за нихъ: пусть идутъ впередъ, думалъ я, пусть идутъ; пусть идутъ! (Смѣхъ и крики одобренія).

Нигилистъ. Вздоръ! болтовня!

Ораторъ (*сіяя самодовольствомъ и наипреренно не замѣчая нимиклиста*). Но я отыгся. Я сказалъ что въ Россіи англійскія начала вообще выѣють вѣчто обаятельное. Въ Москвѣ же они популярны. Не помнитъ ли кто изъ почтенныхъ джентльменовъ князя Григорія, того самого, о которомъ упоминаетъ поэтъ въ своей комедіи, въ разговорѣ Репетилова съ этимъ безтолковымъ Чацкимъ (впрочемъ превосходнымъ и истиннымъ джентльменомъ)

Вопервыхъ князь Григорій,
Вѣкъ съ англичанами, вся англійская складка;
И также онъ сквозь зубы говорить,
И также коротко обстриженъ для порядка.

Я зналъ этого превосходнаго и незабвеннаго нобльмена, князя Григорія. Онъ даже занялъ у меня книгу, которую и забылъ отдать; но я уже давно простилъ ему это. Онъ тоже стоялъ на англійскихъ началахъ. Тѣже которые шли далѣе его, ушли потомъ очень далеко (смѣхъ, браво, браво!) Князь Григорій испугался и уѣхалъ въ свою деревню. Помню я видѣлъ его потомъ въ деревнѣ, въ его развалившемся деревянномъ замкѣ. Онъ разорился, и носилъ стеганный ватный халатикъ, хандрилъ, нисъ и расправлялся на конюшнѣ съ своимъ камердинеромъ Сенълой, ходившимъ въ сюртукъ съ продранными локтями. Отъ англійскихъ началъ почти ничего не осталось. Вся англійская складка исчезла безвозвратно. И послѣ этого обвиняютъ меня, что я развращалъ общество? Я очень хорошо зналъ, что англійская складка у насъ въ Москвѣ, когда доходить до дѣла, исчезаетъ тотчасъ же и безвозвратно. Разумѣется я самъ смотрю на дѣло неизмѣримо серьезнѣе... гм... да, я всегда уважалъ Великобританію... (браво, браво, уез, уез). Я только въ томъ смыслѣ сейчасъ говорилъ, что за нее ужъ никакъ нельзя обвинять въ развращеніи. Почему-жъ не позабыться этой складкой когда она такъ невѣрна и прищипта? Конечно общество требовало обновленія серьезнаго. Но на первыхъ порахъ и англоманія могла послужить. Я и

употребилъ ее въ дѣло. Въ англословіи есть и еще одно драгоценное свойство, (о Боже, сколько въ ней драгоценныхъ свойствъ!) именно: она — дѣло готовое, устроенное, оконченное. Говорить, проповѣдуешь и разумѣется ни одной іоты не уступаешь изъ своихъ убѣжденій (именно потому, что ничего уступить нельзя, ничего измѣнить, потому что все безъ насъ уже сдѣлано, а мы-то форсишь и куражился надъ готовымъ! однимъ словомъ дѣло цѣльное и устроенное). А тѣмъ самымъ вы тотчасъ же достигаете двухъ выгодъ. Во-первыхъ прослывете крѣпко-убѣжденнымъ и стойкимъ, потому что ничего не уступаете, а вторыхъ, можно проповѣдывать безъ конца, а на дѣлѣ...

Нигилистъ (съ левой стороны). Ни съ мѣста!

Ораторъ. Именно ни съ мѣста! я совершенно согласенъ съ джентльменомъ.

Нигилистъ. А еще лучше два шага впередъ, а три назадъ.

Ораторъ (съ нѣкоторой злобой). Я вдвойнѣ согласенъ съ почтеннымъ джентльменомъ, который любитъ такъ часто меня прерывать, и благодарю его за его замѣчаніе.

Почтенный новльменъ съ правой стороны. Два шага впередъ и три назадъ, это значитъ ровно одинъ шагъ назадъ.

Ораторъ (нетерпливо и не безъ ироніи). Я совершенно согласенъ съ высокороднымъ маркизомъ и нахожу догадку его чрезвычайно остроумною. Но продолжаю...

Президентъ (прерывая оратора). Такъ какъ пошло на перерывы, то и я осмѣлюсь позволить себѣ одно замѣчаніе. Высокородный лордъ и почтенный другъ мой вѣроятно позволитъ ему замѣтить, что онъ отчасти на себя клеветаетъ. Теперь онъ выпилъ нѣсколько бокаловъ вина и увлекается нѣкоторыми великосвѣтскими замашками. Онъ видимо форситъ передъ нами и ставитъ себя гораздо хуже, чѣмъ онъ есть на самомъ дѣлѣ. Надѣюсь благородный другъ мой не разсердится за мое замѣчаніе. Поднимаю этотъ бокалъ за его здоровье и считаю за честь во всеуслышаніе провозгласить, что благородный лордъ искалъ истинной пользы при основаніи своего журнала и уже многократно заявлялъ себя самой разнообразной полезной дѣятельностью. (Хнычетъ отъ удивленія).

Николай Филиновичъ (съ своего мѣста). Миѣ хочется сдѣлать одно сравненіе по вопросу о полезной общественной дѣятельности. Въ нашемъ дѣствіи я думаю мы всѣ любимъ врать съ копытани. Если привязать бумажку къ ниточкѣ и дергать ее передъ котенкомъ, онъ начинаетъ ловить ее. Потомъ раздражается, увлекается игрой и наконецъ совершенно принимаетъ ее за настоящую мышь, ловить ее, грызеть, терзать лапками. Вотъ точно такъ

бываетъ и съ нами по поводу этой общественной пользы. Мы болѣею частью эгоисты (и это прекрасно) люди положительные и самолюбивые. Я не про насъ однихъ говорю; я говорю про весь свѣтъ, про всѣхъ безъ исключенія, даже про самыхъ передовыхъ нашихъ прогресистовъ. Ну кто изъ насъ въ самомъ дѣлѣ способенъ увлечься общественной пользой? Что до меня, такъ я даже убѣжденъ, что заботы объ общественной пользѣ и быть не можетъ ни у кого на свѣтѣ, да никогда и не было; все это обманъ и надуванье, но надуванье превосходное и необходимое; оно законъ природы. Но несмотря на это, при случаѣ, мы дѣйствительно можемъ увлечься игрой, какъ и тотъ котенокъ. При всѣхъ начинаніяхъ нашихъ мы увѣряемъ публику, что стремимся къ ея пользѣ и даже готовы за нее свою жизнь отдать. Такъ какъ у насъ бываютъ всегда и конкуренты, то мы до того иногда раздражаемся и увлекаемся этой игрой, что наконецъ даже самихъ себя увѣряемъ, что служимъ общественной пользѣ, что хлопочемъ только о ней, и что она-то и есть вѣнецъ всѣхъ нашихъ желаній. Такъ ли я говорю? Обращаюсь къ совѣсти всего почтеннаго собранія и спрашиваю: есть ли хоть одинъ джентльменъ на свѣтѣ, который поступалъ бы иначе! Впрочемъ предупреждаю, мнѣ даже пріятнѣе будетъ если вслухъ со мной никто не согласится. Это будетъ гораздо приличнѣе. А формы приличія — это все, самое главное. Всѣ мы вѣдь такая дрянь (я говорю про всѣхъ, то-есть пожалуй хоть про все человѣчество) что не буди этихъ спасительныхъ формъ, мы бы тотчасъ же передрались и перекусались. И потому блаженно общество, которое выжило себя эти формы, остановилось на нихъ и умѣетъ ихъ отстаивать. Я за формы. Но вся бѣда, что мы русскіе еще до нихъ не доросли. Что же касается до мнѣнія моего объ общественной пользѣ, то я въ немъ убѣжденъ совершенно.

(Громкій крикъ олобренія. Но прогресисты вскакиваютъ съ мѣстъ своихъ и неистово протестуютъ. Многіе кричатъ, что готовы сейчасъ на костеръ за свои убѣжденія. Имъ отвѣчаютъ съ правой стороны: «что костеръ! и костеръ изъ самолюбія, все изъ самолюбія!». Шумъ продолжается долго, наконецъ мало-помалу старавіями президента видимое спокойствіе возобновляется.)

Ораторъ. Милорды и господа! Я торжественно объявляю, что совершенно согласенъ съ высокороднымъ баронетомъ, сдѣлавшимъ свое остроумное замѣчаніе о бумажкѣ и лотенкѣ. Да, въ основаніе всеобщей пользы полагается всегда наша собственная. Это совершенно согласно съ личнымъ началомъ, т. е. началомъ западнымъ, а слѣдственно и британскимъ, въ противоположность началу стал-

ному, общинаному, котораго я никогда не пойму. Кстати, по поводу чисто личной выгоды: припоминаю теперь одно безсмысленное обвиненіе, которое воздвигаютъ на меня мои оппоненты. Говорятъ что будтобы я, когда-то преслѣдуя моимъ гнѣвомъ и сарказмами одного профессора, старался повредить его авторитету даже въ стѣнахъ аудиторіи, и тѣмъ самымъ нарушалъ въ студентахъ уваженіе къ профессору. Но это дичь, совершенная дичь! Развѣ я того именно добивался, чтобъ искоренить въ студентахъ уваженіе къ профессору и вообще къ авторитету наставника? Я просто былъ увлеченъ самодлюбіемъ, положимъ раздражительнымъ, мелкимъ (я слишкомъ гордъ, чтобъ скрывать это); но мнѣ надо было излить свой гнѣвъ на профессора и я не остановился даже и передъ аудиторіей, потому что въ такихъ случаяхъ не останавливаюсь ни передъ чѣмъ. Я не пощадилъ юношей, говорятъ мнѣ. Но что значить для меня юноши, когда меня самого задѣваютъ? Зачѣмъ они сами подвернулись мнѣ на дорогѣ! (yes, yes, bravo! bravo!) Развращалъ, возбуждалъ, возмущалъ! Но это смѣшно и противно. Кромѣ того, что вы уже знаете мой взглядъ на юношество и мое мнѣніе, что они и безъ нашихъ возбужденій и развращеній все видятъ и понимаютъ насквозь, кромѣ этого, спрашиваю васъ окончательно: хотѣлъ ли я ихъ возбуждать? У меня было въ виду только доконать профессора и я доконалъ его! (вторичные аплодисменты.)

Голоса съ лѣвой стороны. Это наконецъ несносно! все только о себѣ! Къ дѣлу, къ дѣлу!

Ораторъ. Кстати, насчетъ возбужденій. Вотъ уже болѣе мѣсяца какъ высокородный маркизъ Андрю вынулъ свое объявленіе о новой газетѣ: «Умѣренный Басокъ». Но послѣ этого и этотъ почтенный нобльменъ возбуждаетъ общество? Посмотрите, въ объявленіи сказано:

«Мы вѣримъ, что хорошія учрежденія способствуютъ къ развитію въ обществѣ гражданскихъ доблестей, но вмѣстѣ съ тѣмъ убѣждены, что даже наилучшія учрежденія останутся мертвою буквою, если само общество будетъ равнодушно къ дѣламъ общественнымъ. Дѣятельная инициатива самого общества необходима.

Вслѣдствіе этого, мы съ своей стороны постараемся постоянно и настойчиво возбуждать дѣятельность общества на такихъ предметахъ, которые указаны ей закономъ и т. д. и т. д.

— Слышали? Онъ хочетъ, да еще *постоянно и настойчиво* возбуждать общество къ дѣятельности и когда же? Теперь, теперь, когда мы не знаемъ куда дѣваться отъ дѣятелей и отъ жажды дѣятельности? А онъ еще возбуждать хочетъ? (Смѣхъ.) Положимъ уважаемый маркизъ нацисалъ это отъ невинности...

Голосъ съ правой стороны. Позвольте! Высокородный лордъ очевидно забываетъ, что высокородный и уважаемый маркизъ говорить о дѣятельности, указанной закономъ. Слѣдственно тутъ возбужденіе много рода.

Ораторъ. Я ничего не забываю. Но все-таки не могу понять объявленія.

Николай Филиповичъ. Я совершенно его понимаю. Маркизъ конечно говорить о гражданскихъ и военныхъ чиновникахъ и хочетъ ихъ возбуждать къ лучшей дѣятельности, т. е. чтобъ они служилъ вѣрно и прилежно и т. д. и т. д. Однимъ словомъ это тирада изъ прописей, чтобъ чѣмъ-нибудь наполнить объявленіе. Впрочемъ иначе и понять нельзя.

Ораторъ. Во всякомъ случаѣ я хотѣлъ только поставить на видъ какъ легко можно злоупотреблять словоцъ «возбужденіе». Но оставимъ это. Я...

Гнѣвные голоса съ лѣвой стороны. Да кончите ли вы наконецъ! все я, да я! это невозможно! къ вопросу! къ вопросу!

Ораторъ. Джентльмены, я полагаю, что нахожусь въ самой сущности вопроса. Я защищаюсь, или лучше сказать забавляюсь анализированіемъ всѣхъ способовъ, которыми могу защищаться. Это такъ сказать игра... И такъ какъ собственно меня она забавляетъ, то надѣюсь, что и почтенное собраніе съ удовольствіемъ меня слушаетъ (Yes, yes!). Я вменно хочу разсвогрѣть тотчасъ же еще одинъ способъ къ моей защитѣ. Неловкіе враги мои оборачиваютъ на меня теперь мое же оружіе и хотятъ меня добить упреками въ неблагонамѣренности. Но ужь если на то пошло, то съ этой точки зрѣнія мои способы къ защитѣ великолѣпны: вы доказываете, друзья мои, что я теперь то и то, но что я самъ былъ неблагонамѣренъ и возбуждалъ... Но боже-мой, вѣдь это было да сплыло. Теперь я благонамѣренъ и не возбуждаю. Я одумался, я воротился (хотя я вькогда не возвращался, а всегда стоялъ на той же точкѣ, какъ и теперь. Вольно-жъ было имъ самимъ еще сначала меня высихнуть на такой недосталь. Но это только способъ защиты). Я принесъ наконецъ богатые и сладкіе плоды:

• Съ плодами сладкими принесъ кошницу Тавръ.

Наконецъ я...

Николай Филиповичъ. Я тоже принесъ плоды, но за мой десертъ рассчитываю на весь обѣдъ.

Ораторъ, Кричатъ: зачѣмъ я не объявилъ, что измѣнлю убѣжденія. Смѣшной вопросъ. Не если вы и безъ того замѣтили что я ихъ измѣнилъ, к чему-жъ объявлять? И однакоже въ чемъ я тогда

я ихъ измѣнилъ? повторю, я точно такъ же какъ и былъ въ самомъ началѣ. Но положимъ еще разъ, что я измѣнился. Кричать, что я преслѣдую тѣхъ, которые пошли дальше меня. Но во первыхъ, чѣмъ же иначе я бы могъ заявить мои новыя убѣжденія? А вторыхъ, я именно преслѣдую ихъ за то, что они пошли дальше меня.

Голоса (браво, браво, ловко, хорошо!)

Ораторъ. Но я все насчетъ этихъ убѣжденій, милорды. Признаюсь, подчасъ меня это даже начинаетъ бѣсить: всѣ съ убѣжденіями! у всѣхъ какая-то мода, какая-то ярость убѣжденій. И все это шарлатанство, и вздоръ!

Съ лѣвой стороны (не вздоръ! не вздоръ.)

Нигилистъ съ лѣвой стороны. Нѣтъ! здѣсь невозможно сидѣть; я уйду!

Ораторъ. Кстати: я намѣренъ еще разъ повеселить почтенное собраніе. Тотъ же самый высокородный маркизъ, о которомъ мы сейчасъ говорили, подписался и подъ другимъ объявленіемъ вмѣстѣ съ однимъ, чрезвычайно почтеннымъ и уважаемымъ нобльменомъ. Они оба издавали и продолжаютъ издавать вмѣстѣ одинъ извѣстный своею древностію толстый журналъ: «Старухины записки». Вотъ слово въ слово тирада изъ объявленія объ изданіи этого журнала въ будущемъ году. Все это по поводу убѣжденій:

«Вопросы общественныя, политика внѣшняя и интересы литературныя и историческія — вотъ главные предметы, которымъ обыкновенно посвящены всѣ періодическія изданія, ежемѣсячныя, точно также, какъ и ежедневныя. Если газета преимущественно слѣдитъ за интересами дня и летучими извѣстіями, то журналъ, по нашему глубокому убѣжденію, долженъ быть преимущественно посвященъ болѣе подробному, менѣе торопливому разсмотрѣнію вопросовъ, возникающихъ въ жизни. Иначе какая же его цѣль при существованіи ежедневныхъ газетъ, гораздо раньше овладѣвающихъ событіями, фактами?»

— Чтожъ и это убѣжденіе, что ли? Оба думали цѣлый годъ и выдумали удивительную новость: что газета говоритъ только про ежедневныя новости, а журналъ за весь мѣсяць. Да еще увѣряютъ, что это ихъ глубокое убѣжденіе. (Смѣхъ). Это какая-то мода на убѣжденія, манія...

Николай Филиповичъ. А я такъ просто думаю, что это сатира. Оба нобльмена хотѣли написать пародію на современныя объявленія.

Почтенный нобльменъ (съ правой стороны). Непремѣнно... Высокородный маркизъ очень остроуменъ... когда захочетъ.

Ораторъ. Совершенно готовъ согласиться съ высокороднымъ nobleменомъ, сдѣлавшимъ это замѣчаніе, но ужъ если пошло на примѣры, то я приведу сейчасъ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ примѣровъ нещелковости враговъ нашихъ. Въ журнальномъ мірѣ существуетъ одинъ джентльменъ...

Голоса съ лѣвой стороны. Но вы злоупотребили терпѣніемъ нашимъ! Къ вопросу, къ вопросу!

Ораторъ (съ досадою). Джентльмены, я убѣжденъ, что я нахожусь въ самомъ центрѣ вопроса и продолжаю...

Голоса съ правой стороны, yes, yes, все это очень забавно.

Ораторъ. Я знаю, что это забавно. Случай, который я хочу рассказать имѣетъ даже нѣкоторое сходство съ моими собственными обстоятельствами (браво! браво!). И такъ: въ журнальномъ мірѣ существуетъ одинъ, впрочемъ весьма почтенный джентльменъ, издающій одинъ журналъ съ весьма мрачнымъ направленіемъ. Человѣкъ онъ ловкій, а потому выѣзжаетъ на благонамѣренности. Враги его отыскивали, что когда-то у него была какая-то Лурлея, полногрудая Лурлея, къ которой онъ писалъ въ свое время стихи...

Одинъ голосъ. Ахъ это тотъ... какъ его... изъ кувыркателей.

Ораторъ. Совсѣмъ не изъ кувыркателей. Почтенные члены, ошибаются положительно: вовсе не изъ кувыркателей и трасучекъ. Именно на благонавія онъ и основалъ свою защиту. Я хочу показать вамъ какую подходящую для него же самую точку опоры его ставятъ враги его. Отклонили они эту Лурлею и ужасно обрадовались. «А! такъ вотъ какъ! Толкуешь о благонавіи, а у тебя Лурлея была полногрудая». «Да что жъ такое» могъ бы отвѣчать имъ издатель мрачной газеты, чтожъ такое что была. Она была, а теперь и нѣтъ. Чѣмъ же можетъ такой случай поколебать направленіе моего мрачнаго журнала? Да тѣмъ паче (я увлекаюсь и говорю даже слогомъ почтеннаго журналиста) тѣмъ паче, что она была. Тѣмъ явственнѣе спасеніе мое, ибо утоналъ въ смрадной нечистотѣ, а теперь прозрѣлъ и просіялъ. Тѣмъ внушительнѣе обращеніе мое, и тѣмъ паче оправдалось то, что обратило меня. Что тычете вы мнѣ теперь сію Лурлею? О моего окаянства! О смрада бѣсовскаго! Да нусть я похотствовалъ съ Лурлеей за ея полногрудіе. Но теперь ея нѣтъ и неужели вы, окаянные невѣгласи, не видите, что тѣмъ паче слава спасенія моего объявляется?..

Голосъ съ правой стороны: Да, пожалуй...

Дряхлый, козлиный голосъ (*оттуда, же отъ дряхлаго джентльмена съ оставшими зубами*). И... и... полногрудая?

Ораторъ. На этотъ счетъ, къ сожалѣнію, я не могу доставить

почтенному виконту точнѣйшихъ свѣдѣній. Но однакоже, милорды и джентльмены: Не похожъ ли хоть отчасти этотъ случай на мой? Я тоже могу защищаться въ этомъ же родѣ. Что упрекаете вы меня за прежнее, скажу я имъ всѣмъ: прежнее давно прошло и теперь я не только принесъ плоды, но даже сами вы замѣчаете, что пробиваюсь статьями «о сухихъ туманахъ». Въ портфель редакціи...

Нигилистъ (*съ лъвой стороны*). Просто въ шкапу. Какой тамъ еще портфель редакціи!

Ораторъ (*нѣсколько язвительнымъ тономъ*). Миѣ кажется почетный членъ еще не привыкъ къ парламентскимъ формамъ выраженій.

Нигилистъ. И слава-богу, если они только въ этомъ и состоятъ! Какія тутъ формы! По моему и въ парламентѣ рѣжь правду.

Ораторъ. Правду? А четвертакъ?

Нигилистъ (*въ изступленіи*). Послушайте, если вы еще разъ скажете слово объ этомъ проклятомъ четвертакѣ, то я... я...

Ораторъ. Что?

Нигилистъ. Я... я ужъ и не знаю, что тогда скажу!

Николай Филиповичъ (*язвительно*). Почтенный членъ, хоть я не люблю парламентскихъ формъ, но очевидно наблюдаетъ ихъ... въ крайнихъ случаяхъ...

Нигилистъ. Вздоръ! Я ничего не наблюдаю... Я... я... я требую, положительно требую, чтобъ ораторъ немедленно объяснился объ этомъ проклятомъ четвертакѣ! Онъ до меня не касается! ни до кого изъ нашихъ!.. Вся моя жизнь на виду... Я требую, я настаиваю! Я обращаюсь къ президенту!..

(Начинается чрезвычайный шумъ, но опоненты поднялись всѣ вмѣстѣ и на этотъ разъ не хотятъ уступить. Президентъ, по ихъ требованію, принужденъ формально поднять вопросъ о пропавшемъ четвертакѣ. Ораторъ отдѣляется сначала парламентскими формами; но опоненты на этотъ разъ не хотятъ парламентскихъ формъ. Ораторъ утверждаетъ, что сказалъ не въ обидномъ смыслѣ. «Вздоръ! кричатъ опоненты, это все формы, а намъ надо правду. Правду! правду!» Ораторъ сознается наконецъ, что онъ самъ не знаетъ про что говорилъ, и что четвертакъ надо принимать въ какомъ-то аллегорическомъ смыслѣ, а что прямое значеніе придали ему крикуны. Прогрессисты удовлетворены. Обиженный, но удовлетворенный нигилистъ громко говоритъ: «Это сонъ! Это невыносимо! Прочь изъ этого звѣринца!» И съ негодованіемъ выходитъ изъ залы.

Собрание взволновано. Члены очевидно перессорились. Ораторъ чувствуетъ себя почти обиженнымъ.)

Ораторъ (*азвительно*). Это все отъ убѣжденій... вотъ примѣръ... Мы были въ такомъ прекрасномъ, джентльменскомъ настроеніи духа, такъ свободно, такъ легко говорили... и что же!..

Крики съ лѣва. Нѣтъ, нѣтъ, не отвертитесь. Вы нападаете на убѣжденія! Вы смѣете не признавать убѣжденій!

Ораторъ. Напротивъ, я именно требую къ нимъ уваженія, и если я перемѣнилъ ихъ, то можете не уважать моихъ новыхъ убѣжденій, но свободу перемѣны ихъ не ставьте въ порокъ.

Крики съ лѣва. Свободу такъ. Но развѣ всякое убѣжденіе почтено? И развѣ вы свободно мѣняете ихъ?

Ораторъ. Джентльмены, я даже не понимаю чего вы хотите. Ингирирую совершенно. Говорю окончательно, я убѣжденъ только въ одномъ: было-бъ мнѣ хорошо, а если и другимъ, то пожалуй хоть и другимъ, но только въ такомъ случаѣ, когда это лично мнѣ не мѣшаетъ.

Крики съ права (yes, yes, bravo, урре! урре! Это чувства настоящего британца.)

Крики съ лѣва. Вздоръ! вздоръ!.. Это не такъ...

Николай Филиповичъ. Но, джентльмены, я убѣжденъ, совершенно убѣжденъ, что вы тоже самое исповѣдуете; подумайте!

Крики съ лѣва. Вздоръ! Только честныя убѣжденія почтены! Прочь, прочь! мы довольно наслушались!.. assez causé.

Подымается шумъ, какого еще не было. Президентъ принужденъ прекратить засѣданіе; джентльмены и нобльмены, послѣ многихъ препинаній, схватываются наконецъ за палки...

Николай Филиповичъ. Вотъ этого-то я и боялся! Драка за убѣжденья, бѣда! Нѣтъ ужъ давай Богъ ноги!

Москва, Россіи дочь любима,
Гдѣ равную тебѣ сыскать!

Цитую эти стихи, онъ тихонько пробирается между сражающимися и выходитъ коварно улыбаясь.

Ораторъ (*въ смущеніи наблюдавшій съ трибуны всю кашу*). Не дозрѣли до формъ, не доросли! Это противно, это абструзно! А можно бы было такъ хорошо, такъ сладко проболтать, хоть до утра! (*печально сходитъ съ трибуны*).

Затѣмъ начинается страшная нелѣпость, которую можно только увидѣть во снѣ. Это наводитъ меня на мысль, что я можетъ быть дѣйствительно вижу сонъ. Палки, президенты, парламентскія формы, высородные маркизы, лурлей и милорды блѣднѣютъ, пере-

мѣняютъ лица, ступовываются и исчезаютъ сами собой; усиліе съ моей стороны и я просыпаюсь окончательно. Уже часъ за полночь, свѣчи догораютъ, на столѣ начата статья и 102 номеръ «Современнаго слова» съ вопросомъ : кто виновать?

Невозможно чтобъ я заснулъ отъ статьи «Современнаго Слова»; статья чрезвычайно любопытная; нѣтъ, это былъ сонъ магнитическій. Но не явись въ «Современномъ Словѣ» эта статья, я бы не видалъ и такого сна, т. е. нѣтъ, хоть и увидѣлъ бы, но можетъ-быть не записалъ бы его.

ЗАМѢТКИ ПО ВОПРОСУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРАВСТВЕННОСТИ (1)

(ПИСЬМО КЪ РЕДАКТОРУ)

М. Г! Въ августовской книжкѣ издаваемого вами журнала помѣщена статья г. Родевича, по поводу книжки эстляндскаго дворянина и барона г. Штейнгеля «Наша общественная нравственность. Мысли объ устройствѣ убѣжища, или общества для обращающихся съ пути заблужденія женщинъ въ Россіи». Статья читается съ интересомъ, и очевидно, писана съ участіемъ къ дѣлу, но въ ней встрѣчаются нѣкоторыя мысли, которыя могутъ возбудить недоумѣніе, или которыя, во всякомъ случаѣ, спорны. Между тѣмъ, почтенный авторъ рѣшаетъ ихъ категорически, и тѣмъ вызываетъ на объясненіе. Позвольте мнѣ, м. г. въ вашемъ же журналѣ представить мои соображенія на этотъ счетъ, которыя можетъ-быть дополнять то, что кажется упущеннымъ изъ виду г. Родевичемъ.

Вопросъ о нравственности — прежде всего вопросъ чисто-нравственный. Я хочу сказать этимъ, что для оцѣнки нравственнаго значенія какого нибудь поступка, проступка, преступленія или просто дѣйствія, — намъ гораздо важнѣе звать *побужденія* къ нимъ, чѣмъ самый *фактъ*.

Внѣшнія проявленія разврата существенно разнятся отъ внутреннихъ, и ихъ нельзя связывать въ одно неразрывное звено. Можно встрѣтить въ одинъ вечеръ сотню публичныхъ женщинъ на

(1) Помѣщаемъ это письмо, во первыхъ потому, что мысль автора показалась намъ сама по себѣ замѣчательною, а во вторыхъ потому, что вопросъ объ общественной нравственности такъ мало еще выясненъ и опредѣленъ въ нашей литературѣ, что мы съ охотою даемъ мѣсто еще статьѣ по этому предмету. Хотя эта статья и противорѣчитъ статьѣ г. Родевича, недавно напечатанной въ нашемъ журналѣ, но такъ-какъ она прогрессивна и гуманна и трактуетъ о дѣлѣ съ особенной и оригинальной точки зрѣнія, то намъ кажется, что подобныя противорѣчія служатъ къ дальнѣйшему разрѣшенію вопроса, въ которомъ окончательнаго слова еще долго ждаты.

Ред.

какой-либо великолѣпной, ярко-освѣщенной улицѣ, и все-таки не имѣтъ ни малѣйшаго понятія о состояніи ихъ нравственности. Чтобы получить это понятіе, необходимо переселиться въ ихъ внутренній міръ, и оттуда, подѣ угломъ новой точки зрѣнія, взглянуть на ихъ поступки. Одинъ голый внѣшній фактъ, оторванный отъ своей почвы, отъ корней, которыми онъ держится въ нравственной природѣ человѣка, ничего еще не доказываетъ. И сужденія о нравственности чрезвычайно условны, потому что для оцѣнки ея нужно принять во вниманіе всѣ психическіе и физиологическіе моменты въ жизни человѣка, совершившаго какой-либо поступокъ, подпадающій подѣ разрядъ общепринятаго понятія о развратѣ. Что изъ этого выходитъ, постараюсь представить послѣ, а теперь приведу замѣтки изъ статьи г. Родевича, вызвавшія мое недоумѣніе.

«Всякому извѣстно (говоритъ авторъ), что бѣдность есть главная причина, препятствующая заключенію брачныхъ союзовъ». На это мы замѣтимъ, что причина эта условна; бѣдность въ какомъ быту? въ нашемъ крестьянскомъ, на примѣръ, она не помѣха. Даже напротивъ, бѣдный крестьянинъ вступая въ бракъ, пріобрѣтаетъ себѣ помощницу въ трудахъ, которая зимою стращаетъ обѣдъ и ужинъ, исполняетъ разныя домашнія работы, а лѣтомъ помогаетъ ему въ полевыхъ работахъ. Совсѣмъ другое мы видимъ въ среднихъ сословіяхъ и въ быту фабричныхъ. Для первыхъ, если и существуютъ препятствія къ браку, то скорѣе — общепринятая рутинна, а не бѣдность. Мы, конечно, не представляемъ себѣ такой абсолютной бѣдности, которая прямо ведетъ къ нищенству, къ просьбѣ куска хлѣба у прохожихъ. Такая бѣдность, у насъ покрайней-мѣрѣ, нѣсколько исключительна, и ужъ прямо касается благотворительности. Нѣтъ, мы говоримъ вообще о нашихъ среднихъ сословіяхъ, къ которымъ относимъ купцовъ, чиновниковъ, учителей, ученыхъ, журналистовъ, землевладѣльцевъ средней руки, и т. д., словомъ, людей пріобрѣтающихъ средства къ существованію трудомъ, но не исключительно физическимъ, какимъ пріобрѣтаютъ ихъ крестьяне и ремесленники. Дѣйствительно въ этомъ кругу, по увѣренію многихъ, замѣчается годъ отъ году уменьшеніе числа браковъ. Если это и справедливо, то на чемъ основано такое явленіе? гдѣ его причины? Скажутъ, въ бѣдности. Но бѣдность если только неидетъ лѣло о кускѣ хлѣба — понятіе слишкомъ условное. Для А. тысяча рублей въ годъ, значитъ бѣдность, а для Б. пятьсотъ — богатство. Чтобы не слишкомъ распространяться, скажемъ коротко: лѣло идетъ не о бѣдности, а о невыгодной обстановкѣ брачнаго союза въ его общепринятыхъ формахъ. Жива въ обществѣ, въ городѣ, А. невольно подчиняется холячимъ понятіямъ о приличіяхъ и обязанностяхъ

свихъ къ женѣ, семьѣ и обществу, онъ вращается въ извѣстномъ кругу, знакомъ съ разными лицами, и не желаетъ составлять исключенія изъ общаго правила. Онъ и разсуждаетъ такимъ образомъ: если я *одинъ* съ тысячью рублями живу только кое-какъ, то *жемишисъ, вдвоемъ*, мнѣ будетъ положительно дурно. Я долженъ войти въ долги, для совершенія всѣхъ формальностей брака и сватовства, я долженъ обзавестись полнымъ хозяйствомъ, гостиною, ролежъ, мебелью, я долженъ доставлять наряды женѣ, долженъ принимать гостей, и самъ выѣзжать съ женою, иначе она зачахнетъ отъ скуки и бездѣлья, или придумаетъ свои собственныя средства развлечения, несомѣстныя съ семейною жизнью, — словомъ, я долженъ жить, какъ и другіе семейные люди моего круга, или вообще, окружающаго общества. На это у меня нѣтъ средствъ. Ergo: А. не женится. Къ тому жъ съ году на годъ все дорожаетъ, и доходы остаются тѣ же, и обстановка брачной жизни — все *таже*. И такъ, А. и подобные ему люди остаются холостыми. Также точно остаются не замужними и дѣвцы одного съ ними поколѣнія и возраста. Между ними стала преграда, которая не позволяетъ имъ сблизиться въ общепринятыхъ формахъ сближенія; но эта преграда не мѣшаетъ контрабандѣ. Жизнь беретъ свое и сближеніе свершается. Пуристы называютъ это развратомъ, и причины его относятъ къ бѣдности.

Мы же, напротивъ, относимъ причины «контрабанднаго пути», внѣ общепринятыхъ формъ и условій, къ фальшивому положенію женщины въ обществѣ, и къ устарѣвшимъ понятіямъ о значеніи и сущности брака. Очевидно, что надъ А. тяготѣетъ деспотизмъ общественнаго мнѣнія, въ силу котораго онъ считаетъ себя бѣднымъ для брака. Но пусть измѣнится только нѣсколько условій въ этомъ мнѣнии, и А. измѣнитъ свое мнѣніе о брачной жизни. Пусть напримеръ, общественное мнѣніе потребуеъ такого воспитанія женщинъ, которое бы не только научало ихъ кокетничать, но и приобретать собственными трудами средства къ существованію. Тогда вмѣстѣ оно должно потребовать и расширения круга дѣятельности женщины; а для этого въ свою очередь потребуется обученіе ея болѣе разнообразнымъ мастерствамъ и ремесламъ, чѣмъ нынѣ это дѣлается, и допущеніе ея въ болѣе разнообразныя мѣста и учрежденія для службы и приобретения трудовыхъ денегъ. Это могло бы свершиться пока и безъ всякаго закойнаго, офиціальнаго вмѣшательства; одно только прогрессивное движеніе въ нашихъ мнѣніяхъ, понятіяхъ, во взглядахъ общества (то есть во взглядахъ Иванова, Андреева, Петрова, Николаева, Сидорова, словомъ, *толпы*, которая всего страшнѣе единичнымъ людямъ изъ той же толпы), могло бы двинуть этотъ вопросъ впередъ. Съ другой стороны, пусть толпа

прокричатъ въ свою могучую трубу рутины: «котнынѣ, мы не сны- зываемъ нашихъ членовъ, изъ нашей толпы, особенными обя- зательствами для обстановки семейной жизни. Мы не станемъ глумиться, если кто-либо изъ васъ, женясь, не запасется при- личною мебелью, шолковыми нарядами для жены, билетомъ въ театральную ложу, пріемными и выходными днями, и всею мѣ- щанскою обстановкою, считавшеюся до сихъ поръ по мнѣнію свѣта, обязательно для комфорта женатаго человѣка, хотя бы онъ и не имѣлъ къ тому средствъ.» Совершите эти измѣненія въ такъ-называемомъ нашемъ «общественномъ мнѣніи» (1), или вѣр- нѣе, въ ходячихъ понятіяхъ нашихъ Петровыхъ, Сидоровыхъ, Ивановыхъ и вообще всей толпы, и А. — смѣю увѣрить васъ, — не премѣнно женится. Онъ найдетъ, напримѣръ, что если его будущая половина, вмѣсто того, чтобы разорять его нарядами, выѣздами и пріемами гостей, театрами и потребностями въ ком- фортѣ, — принесетъ еще дохода рублей пятьсотъ, и въ семейную жизнь внесетъ тѣже привычки къ труду, которыя помогаютъ А. поддерживать свое одинокое существованіе въ этомъ «юдольномъ» мірѣ, то «брачная жизнь» представится ему въ гораздо болѣе при- влекательномъ свѣтѣ, и онъ не найдетъ препятствій къ ней въ бѣд- ности. Но А. человѣкъ толпы, и потому ожидаетъ такихъ перево- ротовъ не въ самомъ себѣ, а въ Ивановѣ, Сидоровѣ, Петровѣ и *l'utro quanti*: только когда они прокричатъ свою фанфару въ грозную трубу (матерьяльно) сильнаго общественнаго мнѣнія, когда толпа дастъ свой законъ для толпы, то есть, для самой же себя, тогда только А. осмѣлится жениться, съ тысячью рублями годового до- хода. А вотъ В. такъ поступилъ иначе: онъ не дождался переворота въ мнѣніяхъ толпы, а произвелъ его въ самомъ себѣ, и съ пятью- стами рублей — женился. О ужасъ! чтожь онъ дѣлаетъ?.. Живетъ, и болѣе ничего. У него нѣтъ условнаго комфорта, требуемаго Ива- новыми и Сидоровыми, но есть комфортъ, умягчающій его соб- ственную жизнь. У него нѣтъ дивана и фортепьяно и пріемныхъ дней, но жена любитъ его, и не скучаетъ съ нимъ. Они оба рабо- таютъ, и пользуются вождѣленнымъ здравіемъ. За то В. долженъ

(1) Признаюсь, на счетъ нашего общественнаго мнѣнія, я немножко скеп- тикъ. Тутъ все условно: какъ для кого? Напримѣръ для чиновника все обще- ственное мнѣніе заключается въ мнѣніи начальства; для солдата — тоже, для батрака — въ мнѣніи хозяина, для сидѣльца и приказчика тоже, для многихъ публицистовъ въ мнѣніи кружка, или высшаго какого-либо лица и т. д. Гдѣ собственно сказывается наше общественное мнѣніе? При своемъ несносномъ скептицизмѣ, я рѣшаюсь видѣть его въ крестьянскомъ мірѣ только... Но мо- жетъ-быть я и ошибаюсь...

былъ пожертвовать добрымъ мнѣніемъ о себѣ и знакомствомъ съ Ивановыми и Сидоровыми. Но у него явился свой кругъ знакомыхъ, в онъ не жалуется на судьбу.

Таже самая исторія разыгрывается и въ большихъ и въ меньшихъ размѣрахъ. Не допускайте только абсолютно бѣдныхъ людей въ кругъ вашихъ разсужденій, то есть людей, которыхъ въ эту самую минуту надо накормить, напоить, согрѣть и обуть, вначе они завтра же откажутся влечить далѣе свое отчаянное существованіе, и вы увидите, что въ заключеніи брачныхъ союзовъ въ среднихъ сословіяхъ главную роль играетъ не бѣдность, а *понятіе о бѣдности*. Для людей слабыхъ, малодушныхъ, живущихъ не своимъ умомъ, это понятіе о бѣдности навязывается не внутреннею правдою, а деспотизмомъ холячихъ понятій, силою какого ни-на-есть общественнаго мнѣнія. А бѣдентъ, потомучто не можетъ удовлетворить всѣмъ тѣмъ требованіямъ неразвитаго общества, которыя оно предъявляетъ какъ *норму* для семейнаго человѣка изъ такого-то круга (или состоянія, профессіи). Эту же норму предъявляетъ и будущая жена его, и если А. не можетъ ее выполнить, то прости семейное счастье! Въдь жена воспитана въ духѣ господствующихъ понятій, и не будетъ считать безстыдствомъ съ своей стороны вогнать мужа въ чаютку для того только, чтобы ей можно было съ приличіемъ принимать въ своемъ будуарѣ пансіонскую или институтскую подругу, тоже вышедшую замужъ, и тоже съ приличіемъ принимающую своихъ подругъ, въ назначенные дни, въ своей изящной гостиной. Само собою разумѣется, что если А. мало-мальски разсудительный человѣкъ, то онъ заранѣе бѣжитъ отъ такой заманчивой перспективы въ будущемъ. Итакъ, мы не видимъ, чтобы дѣйствительно бѣдность мѣшала брачнымъ союзамъ въ нашихъ сословіяхъ: крестьянскомъ и среднемъ. Для первыхъ, т. е. для крестьянъ, судьбу которыхъ историческія обстоятельства у насъ связали неразрывно съ землею, бѣдность скорѣе благопріятствуетъ браку, чѣмъ противодѣйствуетъ. Для среднихъ сословій препятствіемъ къ бракамъ служить опять не бѣдность, а узкія, неразвитаго требованія массы, обращающіяся къ брачнымъ людямъ, и заставляющія ихъ избѣгать очевидно непріятнаго положенія. Улучшите эти понятія и требованія массы, и таже самая бѣдность превратится въ богатство, а непріятное положеніе въ пріятное, воображаемый комфортъ семейнаго человѣка — въ дѣйствительный.

Если мы и признаемъ бѣдность помѣхой къ брачнымъ союзамъ, то развѣ въ отношеніи къ ремесленникамъ и фабричнымъ, и людемъ, живущимъ поевнымъ, физическимъ трудомъ, безъ собственнаго хозяйства. Но очевидно, что мы тутъ ужъ переходимъ на

почву пролетаріата, развитаго болѣе за границей, въ Англіи или во Франціи, чѣмъ у насъ. Явленіе это у насъ не такъ обще и громаднo, чтобы придавать ему особенно значеніе въ «общественной нравственности.» Для Англіи, которая вся состоитъ изъ фабрикъ, для Франціи, на половину состоящей изъ фабрикъ, — вопросъ этотъ на первомъ планѣ; у насъ на второмъ. Самъ г. Родевичъ, чтобы подкрѣпить свое положеніе о бѣдности, препятствующей бракамъ, сейчасъ же бросается (не въ Россію) именно въ Англію: «англійскими учеными, говоритъ онъ, найдено что въ ихъ отечествѣ число браковъ бываетъ болѣе, или менѣе, смотря потому, выше или ниже цѣны на хлѣбъ, больше или меньше заработки простого класа и доходы класовъ высшихъ.»

Я не имѣю надобности сомнѣваться въ этихъ наблюденіяхъ. Пусть и такъ; но вѣдь тутъ не сказано въ какомъ именно сословіи или кругу уменьшилось число браковъ: въ фабричномъ (городскомъ), или земледѣльческомъ (сельскомъ)? Для послѣднихъ рѣшительно все равно: поднялись ли цѣны на хлѣбъ, или уменьшились, уменьшились заработки, или нѣтъ, и т. д. Если хлѣбъ дороже, то онъ и продасть его дороже; заработокъ же у него всегда на мѣстѣ, обработать и убрать свой участокъ земли. Идея о бракѣ не входитъ ни въ какія противорѣчія съ такою обстановкою. Вообще же, сельскій бытъ, въ томъ видѣ, какъ онъ у насъ существуетъ, не тяготеетъ брачными условіями жизни. Они неудобны только для городскихъ, фабричныхъ, ремесленниковъ—учениковъ и т. д., потому что въ городѣ, и при фабричной жизни вѣтъ твердыхъ точекъ опоры труда, какъ поземельному владѣльцу, и всякое подобное лицо можетъ выработать буквально *только* то, что нужно для его жизни. Тутъ бѣдность — прямая причина отсутствія браковъ. Помочь ей могутъ только лучшія условія организаціи фабричнаго труда, о чемъ теперь и пишутъ лучшіе люди экономической и социальной науки. Если заработокъ таковъ, что елва хватаетъ на пропитаніе одного лица, а на пріютъ, точку опоры — первое условіе семейной жизни, — ужъ не хватаетъ средствъ, то о бракѣ и говорить нечего. Но это вопросъ спеціальнѣйшій, и для Россіи болѣе или менѣе мѣстный: вліяніе его чувствуется въ столицахъ, въ трехъ-четырехъ большихъ городахъ, да въ вѣсколькихъ фабричныхъ округахъ средней Россіи. Вопросъ объ «общественной нравственности» поставленъ г. Родевичемъ вообще, безъ примѣненія къ даннымъ мѣстностямъ, а болѣе съ философской социальной точки зрѣнія; съ этой же точки и я излагаю свои недоумѣнія, и потому отрекаюсь отъ цифръ и мѣстныхъ наблюденій. Такъ какъ число фабричныхъ и вообще бобылей у насъ,

относительно общей массы населенія, невелико, то я рѣшаюсь принять такую формулу:

1) *Бѣдность у насъ, пока, не составляетъ причины, препятствующей заключенію брачныхъ союзовъ.* Для земледѣльческаго класса оно — не помѣха. Фабричный бытъ у насъ сравнительно мало развитъ, а въ среднемъ сословіи бракамъ мѣшаетъ у насъ не бѣдность, а фальшивыя понятія о бѣдности, о бракѣ, о женщинѣ.

Сѣтующимъ на малое число браковъ предстоитъ тутъ одно лишь средство: улучшить, просвѣтить и развить въ духѣ труда и правды понятіе толпы, дающей законы людямъ толпы.

Затѣмъ я ставлю другую формулу:

2) *Уменьшеніе числа браковъ вовсе не находится въ прямой связи съ увеличеніемъ общественнаго разврата.* Оно можетъ находиться въ связи съ нимъ лишь случайно. Здѣсь я ужь прямо противорѣчу г. Родевичу. Онъ говоритъ: «чрезъ уменьшеніе числа браковъ увеличивается масса холостыхъ людей, естественно и необходимо поддерживающихъ общественный развратъ. Нерѣдко даже мать продаетъ въ развратъ свою дочь изъ-за гнетущей бѣдности.» Остановимся пока на этомъ. Впервыхъ мать, если продаетъ въ развратъ свою дочь, то ей все равно: холостому ли, или женатому. Ей нужны деньги, ее гнететъ бѣдность, — и потому здѣсь не виноваты ни холостые, ни женатые, или собственно виноваты тѣ и другіе, если они становятся покупателями такого товара. Обстоятельство это прямо касается бѣдности и безнравственности матери, а холостые люди тутъ становятся на одну доску съ женатыми. Но почему же именно масса холостыхъ людей *естественно* (1) и *необходимо* (?) поддерживаютъ общественный развратъ?

Если имѣются на это числовыя данныя, для известной мѣстности, и наблюденія нѣсколькихъ лѣтъ, — то стоило бы привести ихъ.

Одному проступку женатаго человѣка (въ томъ видѣ разврата, о которомъ идетъ рѣчь) можно противопоставить десять проступковъ холостыхъ людей. Если даже послѣдніе вторгаются съ соблазномъ въ чужую семью, то этому вторженію большею частью предшествуетъ внутреннее разложеніе семьи: въ здоровомъ состояніи она всегда дастъ отпоръ враждебному элементу.

Это — *primo*; остается еще дополнить наши объясненія *secundo*: холостые люди большею частью самими обстоятельствами вращаются (относительно нашего вопроса) въ такихъ опредѣлительныхъ первопетяхъ, которые никакъ не могутъ производить ихъ въ распространителей разврата. Объяснимся: нельзя вѣдь назвать всякое сближеніе мужнины съ женщиной развратомъ; чтобы дока-

зять это, забудемъ на минуту, что женщина отлична отъ мужчины, и примемъ ее, вмѣстѣ съ моралистами, просто за человѣка. Чтоже изъ этого выходитъ? что всякое сближеніе человѣка съ человѣкомъ есть развратъ! Неужели? Но вѣдь вы забываете главное: нравственныя побужденія; безъ нихъ нечего и говорить ни о развратѣ, ни о нравственности. Если человѣкъ сошелся съ человѣкомъ во имя любви, дружбы, сердечнаго расположенія, взаимной помощи, одинаковыхъ вкусовъ, словомъ во имя человѣческой цѣли, а не съ тѣмъ, чтобъ обворовать другъ друга, то ихъ сближеніе вполне нравственно, какимъ бы именемъ оно ни называлось на общепринятомъ языкѣ массы. Тоже самое мы должны сказать и о всякомъ сближеніи мужчины съ женщиной; пока мы не знаемъ нравственныхъ поводовъ къ ихъ сближенію, мы положительно не въ состояніи судить о степени нравственности или безнравственности ихъ отношеній. Положимъ, нравственныхъ нитей, связующихъ ихъ отношенія, мы не находимъ: ихъ нѣтъ. Вся связь основана лишь на физиологическихъ причинахъ: женщина превращается исключительно въ женщину, а мужчина исключительно въ мужчину; человѣкъ забывается съ обѣихъ сторонъ; нравственной, душевной или сердечной нити нѣтъ и въ поминѣ. Какая же нить остается? Только одна и можетъ оставаться: нить личнаго интереса. Одна сторона платитъ, другая продаетъ. Покупщикъ — человѣкъ, продавецъ — человѣкъ, товаръ — человѣкъ. Открывается рынокъ и торговля; одни продаютъ себя изъ крайней бѣдности, другіе изъ явныхъ выгодъ; третьи привлечены на рынокъ мутною волною житейской грязи, захватившей ихъ врасплохъ; четвертые попали туда жертвою обмана; пятые — жертвою неопытности и глупости, шестые — изъ любопытства, седьмые — ради ощущеній и т. д. Каждое паденіе имѣетъ свою грустную исторію и съ ней-то и слѣдовало бы имѣть дѣло моралисту. Но мы не знаемъ этихъ исторій; мы ходимъ по рынку, справляемся о цѣнахъ, видимъ массы падшихъ измученныхъ женщинъ, массы товара, такую же массу жадныхъ покупателейъ, и восклицаемъ: «о ужасъ! развратъ охватилъ общество; продажа и купля совершается въ очію, паденіе идетъ волною, захватываетъ все болѣе и болѣе грунта, и грозитъ общему опасностью!» Можетъ быть мы и правы, можетъ быть и неправы. Я говорю только, что мы ничего не знаемъ собственно о «развратѣ», хотя и были на рынкѣ разврата. Мы видимъ жертвъ разврата, послѣдствія позорной торговли, мѣсто рынка, массу товара и покупателейъ, но о самомъ развратѣ не имѣемъ никакого понятія. Такъ точно мы можемъ видѣть башню, разбитую выстрѣлами пушки, и все-таки не имѣть понятія о самой пушкѣ.

На нашемъ рынкѣ одни только осколки, разбитыя существованія, голодъ, изнуреніе, вопли, румяна и бѣлила, бѣдность и нищета; словомъ, публичныя проявленія всего того, что выкинула пѣна бродящаго общества; но самое то броженіе идетъ незамѣтно, своимъ порядкомъ, и выкидываетъ все новую пѣну, и мы опять восклицаемъ: «ахъ, какъ много пѣны! скоро все въ пѣну превратится!» и хотимъ снять всю пѣну, и пристроить ее, а забываемъ, что завтра наростутъ новыя волны пѣны, и опять поразятъ насъ своею массою... Прекратите броженіе—то, такъ и пѣны не будетъ. Такъ и развратъ: пѣна его видна, а броженіе скрыто; происходитъ онъ незримо, какъ духъ носится надъ обществомъ въ его предразсудкахъ, злоупотребленіяхъ, и пожираетъ жертвы съ приличною тайною, за тройными замками.

На свѣтъ выходятъ только разбитые остатки человѣка.

Эти остатки разсортировали покупатели по относительному ихъ достоинству. Вышли просто публичныя женщины, полу-камеліи, настоящія камеліи, и камеліи въ модѣ. Всѣ они болѣе или менѣе носятъ на себѣ печать рыночнаго происхожденія по своему характеру публичности. Спрашиваемъ: есть ли какія-либо особыя причины приписать ихъ происхожденіе преимущественно холостымъ людямъ? Нѣтъ; это просто продукты того незримаго духа безнравственности, который носится вообще надъ даннымъ обществомъ. Въ большихъ городахъ такихъ существъ болѣе, потому что размѣръ явленія больше; пропорція же вѣроятно одна и таже, вездѣ при одинаковыхъ условіяхъ жизни. Если же подозрѣвать холостыхъ въ большемъ развратѣ потому только, что имъ предстоитъ эта возможность, то это будетъ лишь одно отвлеченное разсужденіе. Напротивъ, сама жизнь въ большихъ городахъ показываетъ намъ, что они охотнѣе вступаютъ въ извѣстныя постоянныя отношенія къ женщинѣ, связуемая человѣческимъ чувствомъ общепитія, чѣмъ въ блужданія по рынкамъ. Такихъ отношеній общество пока еще не подвело подъ свою формулу брака, а между тѣмъ, въ сущности они подходятъ къ ней, и часто даже гораздо чаще отношеній, прикрытыхъ лишь формальною связью. Тамъ гдѣ нельзя опереться на форму, силу закона и обычая, поневолѣ надо искать душевныхъ, нравственныхъ связей для прочности союза. Для мыслителя и моралиста такія связи вполне человѣчны.

Если же мы вспомнимъ массу женщинъ, попадающихъ на содержаніе, равно какъ и болѣе обще-доступныхъ камелій, и захотимъ ихъ поставить въ извѣстныя отношенія къ холостымъ людямъ, то это будетъ напрасный трудъ. Вся суть тутъ основывается не на брачномъ или безбрачномъ состояніи, а на деньгахъ. Мы не

можемъ тутъ привести никакихъ положительныхъ данныхъ, да и кто это можетъ? — но знаемъ изъ рассказовъ, слуховъ и другихъ источниковъ, что лучшій товаръ попадаетъ не къ холостымъ, а вообще къ зажиточнымъ людямъ, любящимъ пожить «себѣ въ удовольствіе». Чтоже касается до посѣтителей публичныхъ домовъ, то нельзя не замѣтить, что характеръ этихъ посѣтителей, равно какъ и характеръ посѣщеній отличаются совершенною случайностью. Притомъ, кто бы ихъ ни посѣщалъ, въ ихъ происхожденіи нельзя винить холостыхъ людей; это остатки того глухого, незримаго, душевнаго разврата, котораго мы не видимъ за стѣнами домовъ, у котораго есть время, средства и охота губить невинность, и который остается загадкою для наблюдателя однихъ внѣшнихъ фактовъ, наблюдателя, видящаго только рынокъ, жертвы, гнусныя улыбки, уничтоженную красоту, тусклые взоры, впалые щоки, морщинистыя уста и черныя зубы... А дружинъ-то и не видно.

Я не иду далѣе, потомучто кажется выяснилъ въ общихъ чертахъ свою мысль: что нельзя исключительно обвинять холостыхъ людей и вообще холостую жизнь въ служеніи дѣлу разврата. Это не подтверждается ни практикою, ни принципами такой жизни. Если не быть крайнимъ пессимистомъ, и не отвергать безъ нужды естественнаго стремленія человѣку къ лучшему, къ идеалу, къ высшей задачѣ жизни, смутнотающейся въ душѣ каждаго даже не развитаго человѣка, — то нѣтъ нужды и связывать распространеніе разврата съ уменьшеніемъ браковъ. Въ реестрахъ статистиковъ могутъ стоять цифры этого уменьшенія, но онѣ мертвы для объясненія состоянія общественной нравственности въ обществѣ. Помимо реестровъ, люди (мужчины и женщины) могутъ сближаться между собою въ тысячахъ разнообразныхъ отношеній, и освящать ихъ истинно-человѣческими чувствами, вмѣсто формальныхъ внѣшнихъ нитей. Реестры могутъ навести совѣтъ на иные размышленія, напримеръ о неудовлетворительности брачнаго состоянія въ данную эпоху, въ данномъ обществѣ, о перемѣнахъ въ понятіяхъ массы, и т. п. Но для моралиста они нѣмы. Напротивъ, пять-шесть исторій жизни публичныхъ женщинъ, правдиво рассказанныхъ со всѣми подробностями и съ психическими указаніями — могли бы значительно объяснить вопросъ объ общественной нравственности. Реестры же тоже, что самый рынокъ съ своимъ товаромъ и торговлею: видѣть-то мы видимъ, что вотъ столько-то на рынкѣ публичныхъ женщинъ, а болѣе ничего. Почему они тамъ, этого мы не видимъ; между тѣмъ это «почему», и есть то, чего мы ищемъ, и не находимъ.

Наконецъ, въ противоположность г. Родевичу, я ставлю третью формулу: 3) *Распространеніе общественнаго разврата не находится*

въ прямой связи съ бѣдностью. Она можетъ помогать ему, и случайно давать ему пищу, но необходимо-разумной или неотразимой связи между этими двумя явлениями не существуетъ. А г. Родевичъ говоритъ: «вообще можно призвать справедливымъ, что какъ отдѣльный человѣкъ тѣмъ болѣе развратенъ, чѣмъ ниже его материальное обезпеченіе, такъ и въ каждомъ отдѣльномъ сословіи государства, и въ каждомъ государствѣ среди другихъ государствъ уровень безнравственности тѣмъ ниже, чѣмъ выше его материальное обезпеченіе». Стало-быть, я совершенно противоположнаго мнѣнія. Доводы мои слѣдующіе:

Если подъ словомъ развратъ понимать развращенность воли и сердца (умъ едва ли можетъ-быть развратнымъ), то мы необходимо должны допустить въ немъ участіе *сознанія*. Безъ сознанія развратъ перестаетъ быть настоящимъ развратомъ, въ нравственномъ смыслѣ этого слова; онъ можетъ быть дурною привычкою, рутинною, подражаніемъ обычаямъ среды, проявленіемъ невѣжества, наконецъ фзіологическою манією, продуктомъ болѣзненнаго состоянія, и т. д. Но чтобы получить значеніе разврата, онъ долженъ быть основанъ на свободѣ выбора, на проявленіи нравственной природы. Когда человѣкъ знаетъ, что это дурно, а это — хорошо, и поступаетъ дурно, то онъ развратенъ. Если же онъ не знаетъ и не понимаетъ такого различія, то мы никакъ не можемъ назвать его развратнымъ, хотя бы поступки его и относились къ разряду развратныхъ поступковъ. Объяснимся примѣромъ. Семилѣтній мальчикъ, попавшій въ услуженіе въ комнаты къ М., очень пристрастился играть въ бабки съ уличными мальчишками. Онъ то выигрываетъ, то проигрываетъ. Наконецъ ему предстала необходимость купить цѣлую игру бабокъ: эту игру онъ видитъ во снѣ и на яву, просыпается и засыпаетъ съ нею. И нужно-то всего шесть копѣекъ серебромъ, а ихъ нѣтъ какъ-нѣтъ. Замѣтивъ нѣсколько мѣдныхъ монетъ на столѣ у барина, онъ беретъ ихъ и покупаетъ себѣ игру бабокъ. Баринъ призываетъ рызаго Ваньку.

— Ты взялъ на столѣ шесть копѣекъ?

Ванька начинаетъ отпираться.

Почему же онъ отпирается?.. Потому ли, что сознаетъ за собою нехорошее дѣло, или потому, что испугался грознаго вида барина? Конечно потому что испугался. Попробуйте спросить рызаго Ваньку съ ласковой улыбкой, и онъ сейчасъ же скажетъ: «я взялъ.»

— Зачѣмъ же ты взялъ?

— Нужно было купить бабокъ.

— А! вотъ что!

Затѣмъ начинается какая-нибудь экзекуція. Ванька пробуетъ

еще раза два-три пользоваться барскими деньгами, и каждый разъ получаетъ экзекуцію все сильнѣе и сильнѣе. Наконецъ, онъ перестаетъ красть. Его останавливаетъ страхъ наказанія, — болѣе ничего; но онъ еще не скоро пойметъ что такое чужая собственность, и почему красть — дурно, безнравственно. Онъ только боится непріятнаго ощущенія, сопряженнаго съ экзекуціей. Еслибы въ этомъ періодѣ развитія Ваньки мы занесли его кражи въ реестры, статистики, и потомъ прибавили бы къ нимъ и кражи всѣхъ другихъ подобныхъ Ванекъ, то, спрашиваю дала ли бы намъ полученная цифра хоть какое-нибудь понятіе о состояніи нравственности общественной? Я полагаю — никакого. Такъ точно, число человѣческихъ жертвъ, принесенныхъ бушманами, малайцами или самоѣдами, съ 1850 по 1860 годъ, не дали бы намъ никакого понятія о ихъ нравственности, хотя ужаснѣе нѣтъ преступленія, какъ убить или сжечь человѣка. Только тогда Ванька начинаетъ поддаваться разврату, когда онъ уже сознаетъ, что красть — дурно, и что чужая собственность неприкосновенна. До этого онъ легко доходитъ путемъ личнаго опыта: онъ самъ начинаетъ зарабатывать деньги трудомъ, и обзаводится кое-какою собственностью; ему становится понятнымъ трудъ и права труда не по урокамъ только барина, а по собственному ощущенію. Скажутъ, у дѣтей нерѣдко проявляется чувство собственности съ самыхъ раннихъ лѣтъ, когда они объявляютъ претензіи на куклы, и различаютъ «свои» куклы отъ «чужихъ». Стало-быть безнравственность кражи можетъ чувствовать и ребенокъ. Конечно можетъ, когда онъ ужъ отвѣдалъ «сладость» собственности, тогда онъ отчасти знакомъ и съ понятіемъ и чувствомъ собственности; но что они еще слабы у него, доказываются извѣстными наклонностями дѣтей — дарить свои куклы то другимъ дѣтямъ, то взрослымъ. Они еще не цѣнятъ своей собственности, потому что не сами приобрѣтали ее... Но я удалился въ сторону.

Въ отношеніяхъ между мужчиной и женщиной безсознательнаго разврата не можетъ быть. Онъ или сознательнъ, или не развратъ. Но такъ какъ эти отношенія проявляются въ извѣстномъ возрастѣ, когда сознаніе уже достаточно развито для отличія зла отъ добра, то обыкновенно они или порождены чувствомъ, или же извращены холоднымъ расчетомъ ума, пускающимъ въ ходъ и деньги и софизмы, чтобы удовлетворить фізіологическое побужденіе цѣною чьего-нибудь нравственнаго паденія. Здѣсь развратъ является какъ противорѣчіе съ высшею идеею жизни: онъ разбиваетъ чье-нибудь нравственное существованіе, разбиваетъ личность, физически и морально и тѣмъ нарушаетъ гармонию жизни вообще, гармонию законовъ природы. Камень могъ обрушиться со скалы и раздавить женщину;

но камень не поиралъ нравственной ея природы; женщина умерла, но идея жизни въ ней не умерла, вѣчный принципъ не поправъ. Развратъ, напротивъ, понираветъ сначала идею, принципъ, и приводитъ за собою физическое разрушеніе, разложеніе, какъ результатъ отсутствія нравственной идеи въ жизни. Только она одна, идея ожилаетъ человѣческой организмъ; развратъ, *de facto*, отрицаетъ эту идею, и тѣмъ наноситъ смертоносный ударъ жизни.

Итакъ разврата нѣтъ безъ сознанія. Онъ весь вращается въ нравственномъ мірѣ, и потому заключается не *въ фактъ*, а въ *смысль* факта, въ томъ духовномъ побужденіи, которое рождаетъ фактъ.

Помѣшанный можетъ случайно лишитъ дѣвушку невинности; и хотя это будетъ фактъ разврата, но онъ не годится въ реестры тѣхъ фактовъ, на основаніи которыхъ мы бы хотѣли судить объ общественной нравственности.

Здѣсь мы опять приходимъ къ тому же заключенію, что и прежде: сотни и тысячи публичныхъ женщинъ, какъ цифра, ничего не доказываютъ въ вопросѣ общественной нравственности.

Если принять къ свѣдѣнію наши объясненія, и то, что изъ нихъ вытекаетъ, то не трудно будетъ согласиться съ слѣдующими положеніями:

1) Развратъ гораздо сильнѣе въ богатыхъ классахъ общества, чѣмъ въ бѣдныхъ.

2) Развратъ гораздо сильнѣе въ образованныхъ классахъ общества, чѣмъ въ необразованныхъ.

3) Бѣдность не находится въ прямой связи, какъ причина, съ распространеніемъ разврата. Бѣдность — только легкая добыча разврата. Такъ точно сухая солома легче вспыхиваетъ отъ огня, нежели сырая, но откуда берется — то оговъ? Неужели солому можно назвать причиною пожара, потому только, что она легко загарается? Вовсе нѣтъ. Огонь подъ нее подкладываетъ развратъ, который гнѣздится тамъ, гдѣ болѣе развито сознаніе, гдѣ болѣе путей для выбора, то-есть между классами образованными и богатыми.

Сама жизнь не доказываетъ ли это на каждомъ шагѣ? Булочникъ Швабе, пока былъ мало извѣстнымъ, бѣднымъ ремесленникомъ, пекъ булки вкусныя, полновѣсныя, и старался угождать покупателямъ; а какъ разбогатѣлъ, такъ и сталъ пренебрегать честнымъ исполненіемъ своихъ обязанностей: оказался и недовѣсъ, и поташъ не въ мѣру, и мука смѣшанная. Мадамъ Saleçon, изъ Парижа, пока была скромною, бѣдною модницею, дѣлала корсеты по пяти рублей, и корсеты ея не лопались; попавши въ моду, вслѣдствіе протекціи кое-какихъ барынь (а по другимъ, — джентльме-

новъ), стала запрашивать за такіе же корсеты, но двадцати пяти рублей, и въ счетахъ дѣлать разныя спеціализаціи: за матерію, за работу, за фасонъ, за моду, за фирму, за стараніе, за кайму и проч.; а корсеты ея стали лопаться.

Сапожникъ Фирсовъ былъ отличнымъ малымъ, пока скромныя средства держали его въ границахъ золотой умѣренности; сапоги его носились по цѣлымъ годамъ, и ласковыя рѣчи сыпались на него отовсюду. Но вотъ онъ разбогатѣлъ,— и его же сапоги на третьемъ мѣсяцѣ стали разверзать нескромныя тайны.

Емельяновъ былъ честнымъ, скромнымъ пахаремъ, а поцавъ въ фабричныя, развился и сталъ развратничать.

Что же? — возразить мнѣ — такъ для противодѣйствія разврату надо противодѣйствовать развитію и матерьяльному благосостоянію?

Но я спрошу въ свою очередь: неужели для того, чтобы противодѣйствовать пожару, надо отказаться отъ постройки домовъ, городовъ, отъ сбора соломы, сѣна, и т. д.

Вовсе нѣтъ. Надо принять мѣры противъ пожаровъ. Если у насъ есть закромы хлѣба, которыя усердно посѣщаются мышами, то неужели, чтобы избавиться отъ нихъ, надо отказаться отъ земледѣлія, отъ жатвы, отъ хлѣба? Вѣдь это будетъ очень не разсудительно, потому что противъ мышей есть болѣе простыя мѣры, которыя нисколько не нуждаются въ уменьшеніи земледѣлія. Закромы съ хлѣбомъ должны остаться, и ихъ должно стараться всѣчески увеличивать, а противъ мышей все-таки надо принять свои мѣры.

Образованіе, и богатство представляютъ болѣе возможности и для разврата, и для высшаго служенія вѣчнымъ идеямъ; вотъ и все. Гдѣ предстоятъ двѣ дороги, тамъ легче и ошибиться, и заблудиться; гдѣ одна — рутина, тамъ процессъ жизни очень простъ, но зато и трудноѣ выйти изъ колеи, изъ стихійнаго прозябанія.

Г. Родевичъ упоминаетъ о замѣчаніи Виктора Гюго (въ его послѣднемъ романѣ «Les misérables»), что и орлеанская дѣва можетъ-быть не осталась бы дѣвою, если-бъ была голодною. Предположимъ, что это и случилось бы въ самомъ дѣлѣ: мы бы не видѣли въ этомъ фактѣ ничего болѣе; кромѣ печальной необходимости; перейти же въ развратъ она могла бы только послѣ такого душевнаго процесса, съ которымъ совершилось бы нравственное паденіе орлеанской дѣвы. Можетъ-быть это и случилось бы впоследствии, а можетъ быть и нѣтъ.

Я же съ своей стороны, въ защиту своего мнѣнія, приведу слѣдующую дѣйствительно случившуюся исторію. Въ городѣ Е. ра-
Ка. X. — Отд. II.

домъ со мною жьлъ купецъ М. Къ нему изъ города К. прѣѣхала, къ концу зимы, погостить его сестра; она была въ чахоткѣ, въ связи съ какою-то другою женскою болѣзнью. Лучшіе доктора тщетно истощали надъ нею свое искусство; М. былъ человекъ зажиточный, и ничего не жалѣлъ для спасенія любимой сестры, однакожь она видимо таяла. Тогда, въ виду крайности, докторъ Х., а за нимъ и другіе, сообщили купцу М., что единственное средство спасти молодую дѣвушку отъ смерти состоитъ въ томъ, чтобы ее немедленно выдать замужъ. Но кто женится на дѣвушкѣ въ такомъ положеніи? Жениховъ не оказывалось, да и М. не хотѣлъ какъ-нибудь сбыть сестру. Оставалось одно: не выдавая ее замужъ, тѣмъ не менѣе, въ видахъ леченія, доставить ей супружеское опущеніе. Сообщили объ этомъ М. Онъ наотрѣзъ отказалъ. Когда объ этомъ узнала и дѣвушка, она также наотрѣзъ отказала, прибавивъ: «Лучше я умру». И дѣйствительно, — ни братъ, ни сестра ни на минуту не колебались въ своемъ рѣшеніи. Черезъ полтора мѣсяца ея уже не было на этомъ свѣтѣ.

Это — былъ. Наша дѣва, цѣною смерти, осталась дѣвою. Кто знаетъ: можетъ быть, такъ поступила бы и орлеанская дѣва!

Послѣ всего сказаннаго понятно, почему я не одобряю напрямѣръ раздѣленія г. Родевича: развратъ публичный, и развратъ патріархальный.

Развратъ только одинъ: душевный, развратъ воли, сердца, развратъ внущренній. Бросаясь въ различныя сферы жизни, онъ и проявляется въ различныхъ формахъ: взяточничества, воровства, обмана, прелюбодѣянія, семейнаго деспотизма и т. п. Человекъ, который не задумавшись губить чужую жизнь, неужели задумается сорвать взятку, или солгать предъ старшимъ, сильнымъ?

Патріархальнаго же разврата нѣтъ. Если онъ и проявляется въ формахъ, свойственныхъ разврату, то онъ все-таки неразвратъ, а *рутинна*, пока въ немъ нѣтъ сознанія. Но лишь только оно явилось, — рутинна дѣлается развратомъ.

Какое же значеніе могутъ имѣть для насъ, въ такомъ случаѣ, напрямѣръ цифры публичныхъ женщинъ въ такомъ-то городѣ или государствѣ?

Весьма относительное. Сами по себѣ они указываютъ только на число *жертвъ* разврата; а какъ жертвами легче дѣлаются бѣдность и невѣжество, то цифры могутъ отчасти дать указанія на эти элементы въ обществѣ. Если же мы поставимъ эти цифры въ связь съ другими цифрами преступленій, а также съ цифрами бѣдности, благотворительныхъ учреждений, учебныхъ заведеній, числа браковъ, смертности и т. д., то въ результатѣ получится *когда-какія*

данныя для сужденія объ общественной нравственности. Но все-таки и тутъ мы будемъ имѣть дѣло только съ вѣшными развратомъ, съ формою, а не съ сущностью.

Если и говорятъ, что между бѣдными бодѣ разврата, то это потому только, что онѣ тамъ вилѣе, обнажонѣе, циничнѣе, но не забудемъ, что въ этомъ быту развратъ большею частью носитъ характеръ ужаса, отчаянія, тотъ мрачный, раздражающій душу характеръ, который такъ поражаетъ насъ въ произведеніяхъ вѣнаторыхъ англійскихъ писателей, и который придаетъ ему еще чело-вѣческое значеніе на самомъ краю пропасти. Въ утонченномъ развратѣ — на сценѣ холодный расчетъ. Лядомъ окружены его шаги, а глѣ нужно — блескомъ и золотомъ. Толпа часто не видитъ его, а еще чаще не понимаетъ. Но оттуда-то и идетъ закваска того зла, который такъ легко поражаетъ бѣдность и невѣжество. Тамъ — огонь. А солома — внизу.

По какимъ же даннымъ мы можемъ судить о состояніи общественной нравственности въ данномъ обществѣ, въ данное время?

Развратъ есть противорѣчіе идеалу, а потому онъ самъ — идея. Судить же состояніе идей въ обществѣ слѣдуетъ по его проявленіямъ на тойъ пути, по которому люди стремятся къ вѣчнымъ идеямъ жизни: истинѣ, благу и красотѣ. Какова литература въ обществѣ, каковы законы и учрежденія, каковы обычаи, ходячія понятія, общественное мнѣніе, каковы науки и искусства, каковы люди, такова и общественная нравственность. Если на сто душъ приходится девяносто взяточниковъ, воровъ, грабителей, прелюбодѣевъ и тирановъ (не въ древне-греческомъ смыслѣ), — то на общественную нравственность в рукой можно махнуть... Не надо посѣщать и рынковъ публичныхъ женщинъ, чтобы на основаніи цифръ, выводить глубоко-ученыя изслѣдованія. Дѣло ясно само посебѣ. Если изъ ста душъ девяносто лгутъ, — очевидное дѣло, что нельзя доискаться правды.

Итакъ въ заключеніе: *развратъ — не отъ бѣдности, не отъ невѣжества и не отъ уменьшенія числа брачныхъ союзовъ.*

Напротивъ наоборотъ: бѣдность, невѣжество и уменьшеніе числа брачныхъ союзовъ *отъ* плохого состоянія общественной нравственности.

Но это кругъ, скажутъ. — Какъ кругъ? Все ли равно: причина и слѣдствіе? Развратъ — причина. Бѣдность, невѣжество, и уменьшеніе числа браковъ — слѣдствіе.

Вы хотите помочь общественной нравственности: дѣйствуйте на причины. Конечно вполне гуманно дѣйствовать и на слѣдствія, то-есть учреждать убѣжища для совратившихся съ честнаго пути

женщинъ, или общества для предупрежденія ихъ отъ паденія, — но помните, что вы дѣйствуете не на причины.

Причина же — развратъ, и орудія его — развратители.

Слѣдствія — жертвы разврата: публичныя женщины, массы бѣдныхъ, массы голодныхъ, неравнѣныхъ, массы пребывающихъ во тьмѣ кромѣшной...

Средства противъ разврата: укрѣпленіе въ обществѣ идей правды и добра, которыя онъ попираетъ.

Противъ развратителей — сила мнѣнія. Вооружите противъ нихъ всю силу негодованія и мщенія за поруганное человѣческое достоинство, воздвигните между ними и ихъ жертвами непреборимую преграду мнѣнія, защитите честный трудъ и честное имя отъ голода и нищеты, дайте свѣту въ тьму кромѣшную, — и вы сдѣлаете что-нибудь для общественной нравственности...

И. С.

РУССКІЙ ТЕАТРЪ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНІЕ ДРАМАТУРГІИ И СЦЕНЫ

СТАТЬЯ ВТОРАЯ

А мы вотъ какими товарами торгуемъ!

Купеческое присловье.

III

Мы хотѣли разобрать наличные капиталы нашей сценической драматургіи, покончивши дѣло съ драматургіею литературною тѣмъ что весь образованный и мыслящій людъ признаетъ за русскую драматургію — и что явнымъ образомъ мало признается или даже вовсе не признается за таковую спеціальными блюстителями театра и театральными комитетами, позволяющими себѣ отвергать пьесы Островскаго и восторгающимися издѣліями гг. Дьяченко и Боборыкина.

Чтоже въ самомъ дѣлѣ даютъ на *такъ-называемомъ* «русскомъ театрѣ». Повнастоящему слѣдовало бы прослѣдить цѣлый, хоть на примѣръ прошлагодній сезонъ т. е. время отъ сентября 1861 г. по іюнь 1862 года, и статистическими данными доказать всю бессмысленность и безосновность нашего сезоннаго репертуара, но въ настоящее время, только-что принявшись слѣдить за русской сценой мы должны сократить повозможности всякія вступленія, и такъ или иначе, *partir du point où nous sommes*, взять дѣло до его настоящей мнюты.

Тѣмъ болѣе, что насчетъ бессмысленности репертуара прошлаго сезона, можно намъ повѣрить и на-слово. Безсмысленность — такой обычный фактъ въ нашей обычной общественной жизни — что доказывать статистическими фактами нужно развѣ только ея рѣдкія *lucida intervalla* здраваго смысла. Съ другой стороны, статистиче-

скіе факты за одинъ предшествовавшій мѣсяць достаточно могутъ удостовѣрить каждаго, кто только усумнится (а кромѣ членовъ разныхъ спеціальныхъ комитетовъ, право едвали кто усумнится) въ томъ, что слова безсмысленность и безосновность по отношенію къ репертуару русской сцены, употреблены нами вовсе не для «красоты слога».

Еслиже, противъ всякаго нашего чаянія, насъ упрекнуть въ опрометчивости или заносчивости сужденія, мы возьмемъ на себя неблагодарный трудъ вывести «любопытныя» статистическія данныя изъ афишъ прошлагодняго сезона.

Въ настоящую минуту, мы прежде всего исчислимъ что давалось въ послѣднее время, хотъ наиримѣръ отъ 25 сентября — на двухъ русскихъ театрахъ, на Маріинскомъ и на Александринскомъ. До балета (покрайней-мѣръ покаместъ) итальянской оперы — какъ дѣла музыкальныхъ спеціалистовъ и любителей, до французской и нѣмецкой сцены, до появленія на нихъ какого-либо новаго и поучительнаго художника намъ дѣла нѣтъ. На первое время мы ограничиваемся только насущнымъ.

Итакъ вотъ что давалось на русскихъ театрахъ съ 25 сентября.

25 сентября на Александринскомъ: «Отецъ и дочь», драма. «А. и Ф.», водевиль. На Маріинскомъ «Горе отъ ума» и «Беззаботная» (г-жа Спорова).

26 сентября на Александринскомъ «Трицать лѣтъ или жизнь игрока», драма. «Балъ у банкира», водевиль. (Г. Жулевъ — Нарцисъ Биццоно). На Маріинскомъ «Жизнь за царя».

27 сентября на Александринскомъ «Уголино». «Милыя бравятся, только тѣшатся». Въ Маріинскомъ «Не въ деньгахъ счастье», (г. Васильевъ 2) «Бѣловая бабушка».

28 сентября на Александринскомъ въ первый разъ «Легкая набавка», драма въ трехъ дѣйствіяхъ, соч. г. Погоссаго. «Въ чужомъ пиру похмѣлье», комедія А. Н. Островскаго. «Всѣхъ цвѣточекъ болѣе — розу я любилъ». На Маріинскомъ «Норма» (г-жа Лаврова-Спецки). Второе дѣйствіе оперы «Невѣста-лунатикъ» (г. Никольскій и г-жа Булахова).

30 сентября въ Александринскомъ «Смерть Ляпунова». «Живчикъ». На Маріинскомъ «Испорченная жизнь», комедія г. Чернышова. «Проказы барышней на черной рѣчкѣ». Сцена г. Горбунова.

1 октября на Александринскомъ «Не по носу табакъ», г. Погоссаго. «Комедія съ дядюшкой». «Волшебная флейта», водевиль. На

Маринскомъ «Марта», опера. «Москаль-чаривникъ» (г. Артемьевскій и г-жа Леонова).

2 октября на Александринскомъ «Велизарій», драма. «Взаимное обученіе». На Маринскомъ «Сватъба Кречинскаго», комедія. «Вотъ что значить влюбиться въ актрису» (г-жа Спорова). «Бабушкины грѣшки» (г-жа Спорова).

3 октября на Александринскомъ въ первый разъ «Не первый и не послѣдній», комедія въ пяти дѣйствіяхъ, г. Дьяченко. «Женщины-гвардейцы» (бенефисъ г. Марковецкаго). На Маринскомъ «Жизнь за царя» (208 представленіе).

4 октября. На Александринскомъ театрѣ: «Уголино», «На ловца и звѣрь бѣжитъ». На Маринскомъ — «Гроза», А. Н. Островскаго, «Женихи», «Дядюшка болтушка».

4 октября. На Александринскомъ: «Тридцать лѣтъ или жизнь игрока», «Балъ у банкира». На Маринскомъ — «Русалка» опера А. С. Даргомыжскаго...

Но вѣдь это перечисленіе, скучно нашимъ читателямъ?.. Оно и самимъ намъ скучно — но вѣдь изъ него открывается фактъ довольно поучительный. Если вѣрить нашему репертуару, то должно быть «Уголино», «Жизнь игрока» пьесы наиболѣе капитальныя. Отъ 25 сентября до 5 октября, включительно — онѣ раздѣляли честь повторенія съ одной только дѣйствительной, всѣмъ признанной капитальной вещью — съ оперой Глянки.

Пропустимте недѣлю.

14 октября. На Александринскомъ театрѣ: «Уголино» (ого! въ третій разъ), «Женщины-гвардейцы» (тоже должно быть штука капитальная). На Маринскомъ — «Жидовка» (гг. Сѣтовъ, Васильевъ 1, Булаховъ — г-жи Валентина Біанки, Анненская).

15 октября. На Александринскомъ: «Жертва за жертву», драма г. Дьяченко. На Маринскомъ «Испорченная жизнь», «Комедія съ дядюшкой», сцена г. Горбунова.

16 октября. На Александринскомъ: въ первый разъ по возобновленіи — «Ермакъ Тимофеечъ», Полевого, «Беззаботная». На Маринскомъ — (въ пятый разъ), «Непервый и непослѣдній», г. Дьяченко, «Что имѣемъ нехранимъ».

17 октября. На Александринскомъ: «Легкая надбавка», г. Поговскаго. «Игроки», Гоголя. «Первое декабря».

18 октября. На Маринскомъ: «Непервый и непослѣдній», г. Дьяченко (въ шестой разъ). На Александринскомъ — «Двумужница».

19 октября. На Александринскомъ: «Велизарій», «Живчикъ». На Маринскомъ «Жизнь за Царя».

Въ пространство времени, пропущенное нами, промелькнула еще

комедія Островскаго : «Праздничный сонъ...» Мы замѣчаемъ это, желая быть справедливыми...

Но спрашиваемъ читателей — что должно заключить изъ образчика нашего репертуара за мѣсяць. Что кромѣ «Жизни за Царя», у насъ есть одна капитальная вещь, это — «Уголино», Полевого и что первый драматическій писатель нашъ — г. Дьяченко, второй — г. Чернышовъ, третій — г. Погосскій? Не такъ ли? *Недурно* также писалъ Гоголь, такъ что иногда еще можно его давать; не безъ достоинства тоже и комедія Островскаго.

Но мы не можемъ продолжать далѣе въ шуточномъ тонѣ. Театръ для насъ — дѣло серьезное, дѣло народное.

И вотъ именно, прежде всего мы беремъ вопросъ съ этой точки зрѣнія. На Александринскомъ театрѣ — понизили цѣну мѣстамъ, стало-быть, явнымъ образомъ хотѣли сдѣлать его доступнымъ небогатой массѣ. Чѣмъ же угощаютъ эту небогатую массу? Свирѣпствомъ г. Степанова въ «Уголино» и «Жизни игрока»... такими драмами какъ «Айвенго» и «Велизарій», возобновленіемъ постыднаго вздора, въ родѣ «Ермака» покойнаго Полевого... Почему же спрашивается, эту небогатую массу лишаютъ удовольствія видѣть и слышать такія капитальныя вещи русскаго искусства какъ «Жизнь за Царя» и «Гроза» — за что ее осуждаютъ на вольное-невольное выслушиванье дичи, которую везутъ Нино Галлури или Ермакъ Тимофеевичъ?

Наконецъ мы пойдемъ даже и вздоръ, если онъ логиченъ. Но какимъ логическимъ мѣриломъ руководствуются въ распредѣленіи спектаклей на двухъ русскихъ театрахъ?.. Будь Маріинскій театръ, исключительно оперный — мы это пойдемъ, хотя опять-таки пожалѣемъ, что небогатая масса лишается — Богъ знаетъ за что и прочто — высокихъ наслажденій, доступныхъ ей нисколько не менѣе зажиточнаго мѣщанства. Будь Маріинскій театръ — опредѣленъ для спектаклей съ великолѣпной обстановкой — тоже было бы понятво, но въ «Айвенго» же напримѣръ и даже «Ермакъ Тимофеевичъ» требуютъ немалой обстановки, а давались на Александринскомъ театрѣ, а съ другой стороны — ни «Испорченная жизнь», ни «Горе отъ ума», ни даже «Гроза», особеннаго великолѣпія не требуютъ, а давались на Маріинскомъ и на Александринскомъ. Будь даже Александринскій театръ — мѣстомъ предопредѣленнымъ для свалки сора вродѣ «Уголино» и произведеній г. Дьяченки, тоже было бы дѣло логически объяснимое. Но въѣдъ на немъ играютъ: «Въ чужомъ пиру похмѣлье», Островскаго — «Игроковъ», Гоголя. Будь наконецъ этотъ театръ ареною для рева г. Степанова и вообще для актеровъ — послабже, мы бы и это поняли, хотя конечно не могли

бы одобрить такого аристократическаго раздѣленія. Съ другой стороны, будь Маринскій театръ предназначенъ для людей съ эстетически-развитымъ вкусомъ, на немъ не соединялась бы съ «Грозою» Островскаго, такая пошлость, какъ «Дядюшка болтушка», не давались бы въ немъ пьесы въ родѣ водевиля «Проказы барышень на черной рѣчкѣ»...

Но оставимъ безсмысленный фактъ быть безсмысленнымъ фактомъ, и обратимся къ нашему вопросу, т. е. къ вопросу о капиталахъ нашей драматургіи. Неужели же въ самомъ дѣлѣ «Угольно», «Ермакъ Тимофеевичъ» и хламъ г. Дьяченко — считаютъ распорядители репертуара за капитальныя произведенія?.. Неужели же они не знаютъ, что о произведеніяхъ хоть бы напримѣръ г. Дьяченко, хоть бы напримѣръ о новомъ его произведеніи, серьезная критика постыдится говорить; что по поводу штукъ г. Погосскаго, она пожалѣетъ только, что не бездарный, судя по его прежнимъ военнымъ рассказамъ, авторъ садится не въ свои сани. Въдѣ среди этихъ штукъ комедіи г. Чернышова и драмы г. Потѣхина старшаго — перлы, а между тѣмъ и объ этихъ перлахъ смѣшно говорить серьезно въ литературѣ, которая имѣетъ Грибоѣдова, Гоголя и Островскаго. Комедіи г. Чернышова (напримѣръ очень нравятся на сценѣ, и мы нисколько не думаемъ посягать на ихъ сценическое достоинство, тѣмъ болѣе, что онѣ представляютъ для такихъ высокопаровитыхъ артистовъ, какъ г. Васильевъ 2, хорошія роли, но попробуйте прочесть ихъ, и вы увидите, какими бѣлыми нитками онѣ спиты, какъ все въ нихъ «сдѣлано», натянуто за волосы, какъ изъ-за всякой сцены неприятно-навязчиво скачетъ вамъ въ глаза задняя мысль, такъ называемая «идейка». Возьмите хоть послѣднюю изъ нихъ: «Испорченная жизнь»; въдѣ это драматизированный, разжиженный и отвратительно-подслащенный казенной нравственностью «Подводный камень» г. Андѣева! Или драмы г. Потѣхина напримѣръ? (мы говоримъ о г. Потѣхинѣ старшемъ, ибо о г. Потѣхинѣ младшемъ считаемъ болѣе лишнимъ говорить, чѣмъ о г. Дьяченко или г. Боборыкинѣ). Напишетъ Островскій «Не въ свои сани не садись» и выставитъ типъ патріарха, въ лицѣ Русакова; г. Потѣхинъ даетъ «Судъ людской не божій», гдѣ пересаливаетъ этотъ типъ до невозможности, обставивъ его отвратительными бабами-кликушами. Коснется Островскій какъ художникъ типа широкой русской природы въ Петръ Ильичъ, сумѣвши при всей правлѣ удержаться въ границахъ поэзіи; г. Потѣхинъ заставитъ четыре акта пьянствовать, буяннить и воровать какого-то дуromана въ пьесѣ «Чужое добро въ прокъ нейдетъ». Или вдругъ напримѣръ, съ чего-то въкоторымъ господамъ приходило въ го-

лову при первыхъ комедіяхъ Островскаго, что онъ ведетъ войну съ образованностью, и вотъ г. Владыкинъ всю вину начинаетъ валивать на образованныхъ, не постыдившись даже назвать «образованностью» одну изъ своихъ комедій, въ которой образованность выходитъ виновата въ томъ, что молодой куничикъ обкрадываетъ дражайшаго родителя. О imitatores, servum pecus! Думалъ ли когда Островскій, что его Непилы Сидоровны и другія лица, убѣжденные, что образование ведетъ людей къ безобразіямъ, найдутъ своимъ мыслямъ поборниковъ въ литературѣ? Думалъ ли не только онъ, но думалъ ли даже покойный Добролюбовъ, толкуя о самодурствѣ темнаго царства, что для возбужденія тошноты заѣздитъ г. Чернышовъ самодурство въ своихъ комедіяхъ?

Нѣтъ, господа распорядители репертуара русскаго театра, плохи ваши капиталы, которыми вы думаете замѣнить вещи Гоголя и Островскаго!

IV

Чтобы начать наши замѣтки о «русскомъ театрѣ» чѣмъ-нибудь хорошимъ и пріятнымъ, мы прежде всего должны сказать, что до самаго начала сезона мы нерѣдко выносили истинно-отрадное чувство изъ нашей русскаго оперы. Теперешній составъ ея съ такими *primi* и *secondi tenori*, какъ гг. Сѣтовъ, Никольскій, Булаховъ, Васильевъ 2, съ такими замѣчательными пѣвицами, какъ г-жа Валентина Біанки и г-жа Леонова, съ такими басами и баритонами, какъ гг. Петровъ, Васильевъ 1, Артемьевскій, Гумбинъ, — теперешній составъ ея, соединенный съ великолѣпнѣйшею постановкою, удовлетворитъ хоть кого. Кто видѣлъ напрямѣръ «Жидовку» Галеви на нашей и на парижской сценѣ; тотъ не можетъ не согласиться, что и поставлена она у насъ гораздо великолѣпнѣе и исполняется несравненно лучше. Но что это за странность такая, что въ «Жидовкѣ» напрямѣръ у насъ исторически вѣрна костюмировка, а въ нашей родной оперѣ «Жизнь за царя» не вывелись еще театральные пейзажи вмѣсто крестьянъ, и театральныя пейзажи съ какими-то мантильями, имѣющими претензіей быть шубками. Автониза въ костюмѣ средневѣковой герцогини, и сирота Ваня, одѣтый пляшущимъ театральнымъ пейзажникомъ, въ кафтанчикѣ съ галушиками. Не говоримъ уже о кринолинахъ, съ которыми не въ силахъ разстаться даже русалки въ оперѣ Даргомыжскаго; уничтожить кринолины, положимъ дѣло невозможное, но неужели нельзя ввезти сермягу, зипунъ,

кличку и настоящій заправскій сарафанъ въ заправскую, народную оперу Глишки? Вѣдь такая вещь должна быть исполняема, мы полагаемъ, съ почетомъ.

Во все это время, истинно серьезныхъ драматическихъ спектаклей было всего одинъ: это «Горе отъ ума», да и оно было кажется для дебюта новой артистки г-жи Споровой. Какъ объ этомъ единственномъ серьезномъ спектаклѣ, такъ и о новой дебютанткѣ, мы обязаны сказать нѣсколько словъ.

Въ «Горѣ отъ ума» на нашей сценѣ вышло собственно только одно, вполне живое и художественно созданное лице, да и то глухонѣмое, князь Тугоуховскій (г. Васильевъ 2). Это мы говоримъ советъ не для красиваго словца, а весьма серьезно.

Затѣмъ наибольшая часть принадлежитъ г. Нильскому, въ роли Чацкаго. Большая заслуга его игры въ Чацкомъ уже та, что онъ не похожъ ни на покойнаго Максимова, ни на г. Самарина 1. Мы думаемъ, что г. Нильскій современемъ сыграетъ настоящаго Чацкаго, какого до сихъ поръ мы не видывали. Ему только слѣдуетъ прежде всего выкинуть изъ головы мысль, что Чацкій, jeune premier, отдаться болѣе своему внутреннему жару и сдѣлать Чацкаго нѣсколько постарше; мы не стаемъ заниматься какъ рецензентъ «Свѣт. Пчелы» численіемъ лѣтъ Чацкаго. Можетъ быть Чацкому и двадцать-три года, но на физиономію такихъ людей какъ Чацкій мысль и чувство рѣзко кладутъ свою печать. Вездѣ гдѣ г. Нильскій искренно увлекался, забывая о томъ что онъ jeune premier, онъ былъ не только хорошъ, но превосходитъ.

Фамусовъ (г. Григорьевъ 1) походилъ гораздо болѣе на департаментскаго сторожа, о которомъ пишетъ Хлестаковъ къ душѣ Тряпичкину, чѣмъ на грибоѣловскаго Фамусова.

Молчаливъ (г. Шемяевъ) былъ такимъ пошлякомъ, въ котораго не могла бы влюбиться не только Софья, но даже жена портного Петровича гоголевской шивели.

Софья... Неужели г-жа Снѣткова 3 думаетъ серьезно, что всѣ роли можно играть однимъ тономъ — да и тономъ-то вѣчно плаксивымъ?

Сказозубъ былъ скопированъ съ фельдфебеля, да и то не гвардейскаго, а армейскаго, изъ безсрочно-отпускныхъ.

Хлестова, хоть и играла ее г-жа Линская, артистка весьма даровитая — нисколько не была московкой барыней, передъ которой всѣ трепещуть. Тоже къ сожалѣнію должно сказать и о другой, истинно же даровитой артисткѣ, г-жѣ Левкѣевой, въ роли Натальи Дмитриевны.

О г. Сосницкомъ въ роли Ренетилова, итъ совершенно не поня-

той, лучше умолчать изъ уваженія къ его лѣтамъ и дѣйствительнымъ заслугамъ.

Г. Каратыгинъ въ Загорѣцкомъ, копируетъ какого-то петербургскаго прощальгу и несоздалъ московскій типъ, который имѣлъ въ виду Грибоѣдовъ.

Чтоже сказать о дебютанткѣ? По роли Лизы, которую какъ ни стараются защищать, а все-таки она въ комедіи Грибоѣдова нѣчто условное и смахиваетъ на французскую субретку, по этой роли, говоримъ мы, о ней еще нельзя произнести какого-либо окончательнаго сужденія, да къ сожалѣнію и по другимъ ролямъ, выбраннымъ ею для дебютовъ — тоже. Г-жа Спорова, очень ловка на сценѣ, говорить со смысломъ, иногда даже съ огнемъ — но какъ видно изъ ея выбора дебютовъ, на счетъ искусства весьма «легковѣрнаго» мнѣнія. Впрочемъ, тутъ мы можемъ-быть и ошибаемся. Если на долю ея выпали все такіа ничтожныя и пустыя роли, то это можетъ-быть и потому, что лучшихъ ей и не дали.

Смѣшна въ высшей степени театральная публика, раздѣлившаяся уже на двѣ партіи: *святковистость* и *споровистость*. Изъ этихъ партій «объ лучше», я та которая неустоиво хлопаетъ г-жѣ Свѣтковой за неулачно выполненную роль Софьи и та, которая подноситъ вѣнки и букеты г-жѣ Споровой, за то что г-жа Спорова очень хороша собою.

ГОЛОСЪ ЗА ПЕТЕРБУРГСКАГО ДОНЪ-КИХОТА

ПО ПОВОДУ СТАТЕЙ Г. ТЕАТРИНА

Нѣкто санктпетербургскій донъ-Кихоть (котораго мы и въ глаза не видали) напалъ на какой-то фантастическій комитетъ. (См. «Гудокъ» № 40).

Нѣкто г. Театринъ вступился за честь своихъ фантастическихъ сотоварищей, и готовый за нихъ въ огонь и въ воду, вооружился перомъ, сталъ въ оборонительное положеніе, (Смотр. «Спб. Вѣдомости» № 236.) и воскликнулъ:

— Не донкихотствуйте г. донъ-Кихотъ! а нето... я васъ!..

Такъ какъ г. Театринъ, мы увѣрены, самъ лицо вовсе не фантастическое, (г. Краевскій ничего фантастическаго, т. е. не существеннаго и не допустилъ бы въ свою газету), лицо нетолько не фантастическое, но лишонное даже всякой фантазій, — то очень можетъ быть, что и комитетъ, подвергающій разбору драматическія сочиненія — также не фантастическій.

Очевидно, что донъ-Кихоть на все смотритъ съ своей точки зрѣнія, во всемъ видитъ нѣчто волшебное и чародѣйственное, — и это совершенно въ его характерѣ. Мало того, сей странствующій рыцарь вполне убѣжденъ, что всѣ неправды, всѣ злоупотребленія совершаютъ не люди, а духи; что даже взятки берутъ не люди, — а все какіе-то волшебники или волшебницы. О высокое, благородное безуміе! Изъ какой глубокой вѣры въ честность челоуѣчества ты прювстекаешь!

Г. Театринъ, внимая рѣчамъ донъ-Кихота, сначала прикидывается будто бы вовсе и не знаетъ, о какомъ комитетѣ рѣчь идетъ. Наконецъ не выдерживаетъ характера и проговаривается.

И то сказать: будь комитетъ дѣйствительно фантастическій, какое бы дѣло вступаться за него реальному г. Театрину!

Чтобъ поразить донъ-Кихота, убить его наповальъ передъ публикой, онъ статью его приписываетъ оскорбленному самолюбію...

Дескать подалъ онъ въ какой-то фантастическій комитетъ какую-то драму «*Русскіе въ 1862 году или народная подоплека*», ну и члены этого комитета, читавшіе эту пьесу, ее не одобрили, такъ какъ они что-нибудь да смыслятъ въ драматическомъ искусствѣ. Ну вотъ донъ-Кихоть и разсердился и напалъ на комитетъ.

А донъ-Кихоть вѣроятно драмы этой и не писалъ, а просто выдумалъ ее, чтобъ имѣть случай проскользнуть въ фантастическій комитетъ; это съ его стороны была военная хитрость, которая иногда допускалась рыцарями.

Стало-быть донъ-Кихоть сталъ донкихотствовать противъ комитета не ради оскорбленнаго самолюбія, а просто потому, что вознегодовалъ, и такъ какъ онъ петербургскій, а не ламацкскій донъ-Кихоть, то и замаскировалъ свое негодование.

Видя все это, г. Театринъ совѣтуетъ донъ-Кихоту не донкихотничать, и увѣряетъ насъ, читателей, что роль донъ-Кихота самая жалкая и постыдная.

Ну нѣтъ, г. Театринъ, не совѣмъ такъ!

Быть-можетъ у насъ оттого такъ много всякихъ неправдъ и злоупотребленій, такъ много невѣждъ, взяточниковъ и казнокрадовъ, что мало, увы! очень мало святая Русь произвиль на свѣтъ донъ-Кихотовъ. Вѣдь донъ-Кихоть (Сервантеса, прибавимъ), — это идеалъ чести, неподкупности и неустрашимости.

Ламацкскій донъ-Кихоть отперъ клѣтку со львомъ, я вызывалъ сего царя звѣрей на бой. Петербургскій донъ-Кихоть льва не вызоветь, а много-много что отворить двери въ засѣданіе какого-нибудь комитета и поглядить, что тамъ дѣлаютъ чародѣи или господа Театрины.

Левъ, когда-то вызванный ламацкскимъ донъ-Кихотомъ, только зѣвнулъ и повернулся къ нему хвостомъ, не чувствуя за собой никакой вины; и вы, г. Театринъ, сдѣлали бы гораздо лучше, еслибъ на вызовъ петербургскаго донъ-Кихота также бы зѣвнули, но вы этого не могли сдѣлать: правда, хоть и замаскированная, кольнула вась, вы испугались и вскрикнули:

«Не донкихотствуйте г. донъ-Кихотъ!»

Перейдемъ теперь отъ фантазій къ дѣйствительности.

Вы г. Театринъ говорите, что пьесы г. Островскаго въ настоящее время не даются часто потому, что г. Островскій не пишетъ ничего новаго.

Помышлите, г. Театринъ, неужели вы ничего не читаете? Да въ продолженіи года г. Островскій напечаталъ двѣ пьесы: драму «*Козьма Мясничъ Сухорукій*» («*Современникъ*») и комедію «*Женитьба Бальзаминова*» («*Время*»). Неужели этого мало? Последняя ко-

медія г. Островскаго такъ хороша, что едвали не одна изъ лучшихъ его произведеній, и на сценѣ имѣла бы успѣхъ громадный; ее и читать-то нельзя не умирая со смѣху. Отчегоже ни этой драмы, ни этой комедіи нѣтъ на сценѣ?

Авторъ не даетъ... авторъ самъ объ этомъ не хлопочетъ.

Но вопросъ, отчего не даетъ и не хлопочетъ авторъ? Ужь не смотритъ ли онъ на весь комитетъ глазами донъ-Кихота, и не будучи самъ донъ-Кихотомъ, не считаетъ нужнымъ съ вами безплодно ратовать. Вѣдь имѣть съ вами дѣло не легко — говорятъ авторы.

Но положимъ это вздоръ, положимъ г. Островскій не даетъ своихъ пьесъ и о томъ не хлопочетъ... а вы-то что? Вѣдь вы обязаны думать и о славѣ и о направленіи театра... Хлопочите, просите г. Островскаго; пишите къ нему: онъ талантливый писатель, оказавшій уже много услугъ нашему театру. Его и портретъ красуется на одномъ изъ театральныхъ плафоновъ. А вы? вы кто? Какія ваши заслуги? И вы хотите, чтобъ талантъ вашъ кланялся, васъ упранивалъ, не оставьте-де меня вашимъ покровительствомъ! Нѣтъ-съ! вы ему поклонитесь, вы ищите его вниманья, если только вамъ дорога русская сцена, если только *вы* для театра, а не театръ для васъ.

Вы, г. Театринъ, между прочимъ просите донъ-Кихота хоть *передѣлать вкусъ публики*.

Да развѣ это его дѣло! Вкусъ публики неразвить, восхищается всякимъ вздоромъ, а вы употребляете всѣ ваши усилія для того, чтобъ еще болѣе исказить этотъ вкусъ, поглажая его неразвистости.

Понимаете ли вы, что одна пьеса, написанная съ идеей, съ жаждой сказать правду, съ талантомъ, стоитъ цѣлой сотни, цѣлой тысячи такихъ эфемерныхъ фарсовъ и водевилей, какіе стряпаетъ вамъ г. П. Федоровъ съ компаніей.

Мы не хуже васъ знаемъ, что репертуаръ не можетъ состоять изъ пьесъ первоклассныхъ, но мы также знаемъ, что пьесу à la П. Федоровъ за деньги можетъ написать любой фельетонистъ, и что стоитъ только поощрить переводчиковъ, какъ весь заграничный репертуаръ, все лучшее, появившееся на нѣмецкой, французской и англійской сценахъ за послѣдніе десять лѣтъ, появится и на нашей сценѣ, и что всякая переводная пьеса, написанная съ талантомъ, во сто разъ лучше бездарнаго, доморощенаго произведенія, т. е. такого, изъ котораго зритель ничего не вынесетъ, ни одной мысли, ни одного нравственнаго побужденія.

Неужели же бездарныя комедіи, водевили и фарсы все болѣе и

болѣ будутъ плодиться у насъ на сценѣ, потому только, что есть авторы привлекательные и благодарные. Ужели публика все болѣ и болѣ будетъ портить вкусъ свой и убивать время въ театрѣ на праздное и безплодное удовольствіе, потому только, что это гораздо выгоднѣе для авторовъ вроде г. Федорова и другихъ.

Слышали мы, будто фантастическій комитетъ повременамъ сваливаетъ кой-что на цензуру, будтобы цензура смотритъ строже и оказывается неумолимою ко всему, на чемъ лежитъ печать таланта, и задерживаетъ лучшія пьесы, по одному, по два и даже по четыре года. Едва ли это правда; но если это и правда, то все-таки комитетъ долженъ быть первымъ заступникомъ и ходатаемъ нашихъ лучшихъ драматическихъ писателей передъ суломъ цензуры. Въ этомъ случаѣ комитету и подонкихотничать не мѣшало бы. За такое допихотство мы не только бы не назвали его жалкимъ, напротивъ преклонились бы передъ его благородной храбростью.

А отъ фантастическаго комитета многое зависитъ. Можно наприимѣръ любую пьесу убить наповалъ недобросовѣстнымъ чтеніемъ, можно самую патетическую сцену прочесть такъ вяло, или такимъ тономъ, что она покажется и смѣшной и глупой. Недаромъ говорятъ, что *le ton fait la musique*.

Можно также иначе поступить для того, чтобъ пьеса не повредила, а именно: нынче прочесть начало, а потомъ, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, когда начало забудется, дочесть конецъ.

Какихъ фокусовъ нельзя придумать въ такихъ стѣнахъ, куда не проникаетъ гласность и куда не хотятъ даже писатели заглядывать, тѣ писатели, которыхъ когда-то приглашала сама дирекція. Пусть дирекція спроситъ этихъ писателей, отчего они покинули этотъ комитетъ и какъ имъ не грѣхъ и не стыдно показать къ театру такое равнодушіе, вмѣсто того, чтобъ принять въ немъ самое горячее участіе.

Жаль, если г. Театринъ говорить правду, т. е. если такіе воевали и бездарныя комедіи даютъ лучшій сборъ, нежели комедіи Гоголя, Островскаго, Тургенева, Потѣхина и другихъ менѣе даровитыхъ писателей. Вѣдь Гоголь и Островскій передъ г. П. Федоровымъ то же, что Лаблашъ и Марио передъ уличнымъ цыганомъ. Отчегоже умная дирекція не приучаетъ слухъ публики къ уличному пѣнію, а выписываетъ для оперы лучшихъ европейскихъ пѣвцовъ и пѣвицъ, дорого имъ платить и убѣждена, что эти деньги не пропадшія, что эти деньги развиваютъ эстетическій вкусъ публики, и быть-можетъ побуждаютъ ее къ изученію музыки.

Почему же въ отношеніи оперы дирекція считаетъ не на дешовыя посредственности, а на знаменитости, и почему комитетъ

болѣе рассчитываетъ на посредственности, чѣмъ на знаменитости? Слава-богу, что пѣвцы выбираются не фантастическимъ комитетомъ, — вотъ была бы у насъ опера!

Но довольно.

Пусть члены фантастическаго комитета засѣдаютъ яко боги на Парнасъ, и вѣнчаютъ своихъ вѣрныхъ и благодарныхъ поклонниковъ, но пусть они помнятъ, что и гласность, настоящая, святая, неумолимая гласность не за горами.

Ч. КОМИТЕТСКІЙ

ТЯЖОЛОЕ ВРЕМЯ

(письмо въ редакцію «Времени»)

Ума холодныхъ наблюденій
И сердца горестныхъ замѣтъ.

Пушкинъ

Помните ли вы, милостивый государь, тотъ номеръ «Гудка», гдѣ между другими совѣтами дѣлается также увѣщаніе г. Страхову прекратить со мною знакомство? Признаюсь вамъ, что увидѣвъ эти коварныя строки, я пришолъ въ большое смущеніе. Давно уже замѣчалъ я, что г. Страховъ неблагосклонно смотритъ на мои письма къ вамъ; несмотря на довольно короткое знакомство со мною, онъ или вовсе не говорилъ объ нихъ, или же отзывался какими-то очень неопредѣленными фразами. А что, подумалъ я, какъ онъ въ самомъ дѣлѣ послушается совѣта «Гудка»? Вѣдь нынче, говорятъ, печать имѣеть страшную силу. Не долго думая, я бросился къ г. Страхову.

Дорога была не близкая. Должно быть было грязно, тряско, холодно; но ничего этого я не помню. Дѣло въ томъ, что мало-помалу, меня начинала угрызать совѣсть. Я ѣхалъ, глубоко задумавшись. Сталъ я припоминать, въ чемъ меня печатно упрекали; вспомнилъ я, что въ одномъ журналѣ меня назвали *мрачнымъ*; въ другомъ еще лучше — *лишоннымъ гуманности* (причемъ въ примѣръ гуманности мнѣ былъ поставленъ П. Л. Лавровъ), въ третьемъ наконецъ меня назвали *свирьпыымъ*; вспомнилъ я, что меня пространно упрекали въ злости, да еще въ какой! въ чистой злости для злости, подобной чистому искусству для искусства. Неужели, думалъ я, эта нерадостная репутація имѣеть какое-нибудь основаніе? Знаю я, очень хорошо знаю, что не могу я равняться гуманностію съ П. Л. Лавровымъ; но чѣмъ выше эта гуманность, тѣмъ больше степеней отдѣлеть ее отъ злобы. Ужели я стою ниже всѣхъ этихъ степеней?

Ужели во мнѣ есть искра злобы, которой я не замѣчаю по самообольщенію и которая противъ моей воли проглянула въ мойхъ письмахъ? Не можетъ-быть! Въ этихъ письмахъ я кажется занимался самымъ невиннымъ дѣломъ: я наблюдалъ, сравнивалъ, анализировалъ, дѣлалъ выводы; я строжайшимъ образомъ держался логики и стремился къ дѣйствительности... Гдѣ же злоба?

Волнуемый такимъ мыслями я вошелъ къ г. Страхову. По обыкновенію онъ переводилъ Куно Фишера. Думалъ ли онъ о *жителяхъ планетъ*, — какъ это постоянно утверждаютъ журналы, не могу сказать навѣрное! Тутъ произошелъ между нами разговоръ, который глубоко поразилъ меня и который, съ его позволенія, я передамъ вамъ, какъ фактъ весьма по моему мнѣнію любопытный для наблюдателя и дѣписателя нашей словесности.

— Вотъ, сказалъ я ему, подавая сѣренъкій номеръ «Гудка»: — посмотрите-ка что здѣсь написано. Я надѣюсь, продолжалъ я, записываясь, что вы однакоже... тѣмъ не менѣе не послѣдуете этому совѣту. Но... я рѣшился по этому случаю все-таки спросить васъ окончательно: какого вы мнѣнія о моихъ письмахъ въ редакцію «Времени»?

— Если вы уже такъ настоятельно требуете, отвѣчалъ онъ, то такъ и быть скажу вамъ прямо мое мнѣніе. Я не считаю вашихъ писемъ чѣмъ-нибудь дурнымъ или вреднымъ. Но признаюсь, я все-таки ими недоволенъ и недоволенъ по причинѣ, которая по моему очень важна: я думаю, что они бесполезны. По моему мнѣнію, они не могутъ производить никакого дѣйствія, ни дурного, ни хорошаго.

— Какъ? воскликнулъ я. Почему же такъ? Вы полагаете, вѣроятно, что они дурно написаны, сбивчивы, неосновательны, вялы...

— Нисколько, нимало! Въ нихъ нѣтъ большихъ недостатковъ этого рода, но зато есть недостатокъ, который несравненно хуже и котораго, какъ я вижу, вы и не подозреваете. Не правда ли, что въ нихъ вы главнымъ образомъ стараетесь быть логичнымъ, употреблять строгіе, научные приемы, дѣлать точные выводы?

— Конечно, отвѣчалъ я съ нѣкоторымъ изумленіемъ, хотя не безъ самоловольства. Но какой же тутъ недостатокъ?

— Да такой, что его трудно чѣмъ-нибудь поправить. Такъ какъ вся сила и вся сущность вашихъ писемъ заключается въ логикѣ, то они не имѣютъ почти никакой силы и даже можно сказать никакой сущности.

— Какъ такъ? Я васъ не понимаю. Развѣ логика чему-нибудь можетъ помѣшать? Въдь масло каша не портить. Кажется, это вѣрно!

— Вѣрно, да не совѣмъ. Скажите, развѣ когда-нибудь люди рукодѣствовали чистою логикою? Развѣ она когда-нибудь имѣла господствующее значеніе? Всегда и вездѣ истина въ ея строгой и чистой формѣ была доступна немногимъ; всегда она была трудна для пониманія, распространялась и дѣйствовала медленно...

— Экую премудрость вы мнѣ проповѣдуете, сказалъ я съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ. — Слыхали мы это и прежде васъ. Чтоже повашему — сложить руки и молчать?

— Кто же вамъ мѣшаетъ говорить? Пишите все что вамъ угодно. Я говорю только, что ваши писанія не будутъ имѣть никакого значительнаго вліянія. Для этого нужно употреблять другія средства.

— Какія же это, позвольте спросить?

— Странно, если вы ихъ до сихъ поръ не знаете. Развѣ вы не замѣтили еще, что именно имѣетъ вліяніе и приобретаетъ значеніе? Дѣйствительную, жизненную важность преимущественно имѣетъ то, что болѣе или менѣе уклоняется отъ формы чистой мысли; на примѣръ страсть, одностороннее увлеченіе, фанатическое, слѣдовательно преувеличенное, неправильное, несоразмѣрное поклоненіе какой-нибудь идеѣ. Чтобы заинтересовать людей, чтобы ихъ увлечь, мысль должна непремѣнно воплотиться, должна откзаться отъ своего невозмутимаго спокойствія и прозрачнаго теченія. Вотъ почему также производить такое обширное дѣйствіе прекрасная музыка, романъ, сценическое представленіе; все это, какъ вы видите, очень далеко отъ чистой логики.

— Положимъ такъ, сказалъ я, приходя въ раздумье. — Но вѣдь я не претендую на какое-нибудь важное значеніе моихъ писемъ; вы знаете, до какой степени я дѣйствительно скромнень. Все-таки я не могу рѣшиться считать ихъ безполезными. Я согласенъ, что логикой взять много нельзя. Но неужели же вы въ самомъ-дѣлѣ держитесь такого обиднаго мнѣнія, что логика вовсе неумѣтна въ нашей журналистикѣ?

Такой прямой вопросъ, какъ мнѣ показалось, нѣсколько затруднилъ г. Страхова.

— Какъ вамъ сказать? уклончиво отвѣчалъ онъ. — Можетъ быть менѣе умѣтна, чѣмъ многое другое. Посмотрите въ самомъ-дѣлѣ, какъ нехстати вы дѣйствуете во многихъ случаяхъ! Гдѣ надобно кричать, — вы разсуждаете; гдѣ нужно браниться, — вы дѣлаете точные анализы; гдѣ нужно смѣяться, — вы подводите силлогизмы. Чтоже изъ этого выходитъ? Васъ не слушаютъ, а тѣ, кто кричитъ, бранится, смѣется, — достигаютъ своей цѣли.

— Знаете ли, сказалъ я съ нѣкоторымъ уныніемъ. — Я нако-

нецъ былъ бы радъ, еслибы вы были вполне правы, то-есть еслибы мои письма въ самомъ дѣлѣ не возбуждали никакого вниманія. Но дѣло кажется гораздо хуже, чѣмъ вы думаете. Почему-то, право не знаю, меня ославили какъ человѣка злобнаго и видятъ въ моихъ письмахъ одно пороженіе моей злости и свирѣпости.

— Неужели! воскликнулъ г. Страховъ.

Тутъ я рассказалъ ему всѣ тѣ печатныя заявленія, по которымъ я убѣдился въ своей позорной репутаціи.

— Сдѣлайте милость, сказала я въ заключеніе: — объясните мнѣ, отчего это такъ вышло, и какимъ образомъ мое пристрастіе къ логикѣ привело меня къ такому великому бѣдствію?

Выслушавъ меня очень внимательно, г. Страховъ задумался и какая-то двусмысленная улыбка показалась на его губахъ.

— Это интересно, заговорилъ онъ. — Признаюсь я не ожидалъ, чтобы ваши письма возбудили какой-нибудь отзывъ; но если они произвели дѣйствіе, то именно такое, какого должно было ожидать. Вы, какъ я вижу, очень наивно и простодушно смотрите на свое дѣло. Вы дивитесь, что въ логикѣ нашии злость? Но логика по сущности дѣла свирѣпа и никогда не была милостивою и снисходительною. Снисходительною можетъ быть жизнь, а не логика. Неужели вы не знали, съ какимъ опаснымъ оружіемъ вы обращаетесь? Если такъ, то недурно васъ предупредить. До сихъ поръ, сколько могу судить, вы не налѣмали еще никакой бѣды; но съ вашимъ пристрастіемъ къ логической строгости, съ вашимъ отвращеніемъ отъ логической нечистоплотности вы можете впасть въ большую опасность.

— Вы шутите! воскликнулъ я. — Какая же можетъ быть опасность въ строгихъ выводахъ и правильныхъ заключеніяхъ?

— Не въ этомъ дѣло! говорю вамъ серьезно. Не смотрите на вещи такъ легкомысленно. Легко можетъ случиться, что вы натолкнетесь на великій талантъ и великое сердце, однимъ словомъ на огромную духовную силу, и вмѣсто того, чтобы понять ее, взять ее въ ея цѣлости и глубинѣ, станете капризно прикидывать къ ней мѣрку вашихъ точныхъ силогизмовъ. Вы пуститесь проповѣдывать, какъ это было съ вами до сихъ поръ, что люди не идиотки, что Гегель былъ не помѣшанный, что нельзя уничтожить на свѣтѣ ни глупыхъ книгъ, ни глупыхъ людей, и т. п. и конечно вы будете совершенно правы; но вмѣстѣ съ тѣмъ на васъ ляжетъ великая вина, что вы не поняли всего объема той духовной силы, о которой рѣшились говорить. И тогда — горе вамъ! Чѣмъ яснѣе будутъ ваши аргументы, чѣмъ свирѣпѣе будетъ ваша логика, тѣмъ хуже для васъ, тѣмъ тяжелѣе ваша вина. Жизнь отмститъ вамъ за то, что

вы не прислушивались къ ея голосу, что отвернулись отъ нея, что вѣдмали наслаждаться чистымъ и яснымъ мышлениемъ, когда ей было не до того!

Съ ужасомъ выслушалъ я эти слова, и признаюсь въ ту минуту не нашолся что возразить. Невольная тоска закралась въ мою душу. Я поспѣшилъ проститься и поѣхалъ домой. Давно уже была ночь, и въ темнотѣ Петербургъ имѣлъ самый грустный видъ. Туманъ стался по пустынь и пустынно-широкимъ улицамъ. Фонари глядѣли сквозь него тускло и кроваво. Кое-гдѣ на перекресткахъ, какъ огромныя статуи, стояли городовыя. И вотъ все яснѣе и яснѣе я сталъ чувствовать, среди какой жизни мнѣ привелось жить, какою атмосферою я дышу, какой городъ меня окружаетъ. Давно уже знакомъ мнѣ Петербургъ. Сталъ я припоминать тысячи рѣчей и мыслей, которыя мнѣ случалось слышать, всѣ эти убѣжденія и руководящія мысли, возбуждающія споры, служившія предметомъ горячаго проповѣдыванія. Какой страшный хаосъ! Какія изумительныя уродливости недорослей, подавленной, изгибающейся мысли! Какія дикія, невѣроятныя формы! Какія антилогическія сочетанія и сочетанія! Но въ тоже время я чувствовалъ, что чѣмъ безобразнѣе этотъ міръ, тѣмъ кажется несправедливѣе прилагать къ нему мѣрку правильной и чистой мысли. Припоминая людей, которымъ принадлежали эти рѣчи, я невольно вспоминалъ, какъ часто они обнаруживали чистыя, благородныя чувства, какъ часто отъ нихъ вѣло сердечной теплотою; нередко мною какъ-будто мелькнули эти одушевленные лица, мелькнуло пламя этихъ глазъ, которыя я видѣлъ, и я понималъ, что въ глубинѣ этого туманнаго міра безобразныхъ мыслей все-таки скрываются горячіе источнички жизни. Если же присутствие этихъ источниковъ не обнаруживается правильными и чистыми явленіями, то виноваты не они, а та атмосфера, которая ихъ окружаетъ, гнетущая, смрадная, удушающая творческія бисіи жизни. Вотъ отчего и литература, вмѣсто того, чтобы производить на своей почвѣ стройныя и красивыя растенія, поражаетъ множество уродливыхъ и извращенныхъ формъ. Безумецъ тотъ, кто приступилъ бы къ этому міру съ требованіемъ правильныхъ формъ и мыслей, кто думалъ бы, что живя въ немъ, онъ можетъ наслаждаться такими формами и мыслями! Но еще болѣе безумецъ тотъ, кто сталъ бы упрекать этотъ міръ за его безобразіе, и вмѣсто сожалѣнія и сочувствія, казилъ бы его сарказмомъ и презрѣніемъ!

Можетъ быть вы найдете, милостивый государь, что я употребляю нѣсколько рѣзкія выраженія, но таковы именно были мысли, которыя овладѣли мною, когда я возвращался отъ г. Страхова. Я приволью тогда въ то печальное расположеніе духа, которое съ нѣкото-

раго времени все чаще и чаще находить на меня. Вы помните конечно мое прежнее спокойное настроеніе, всегдашнюю ясность моего характера. Увы! Едвали имъ вернуться когда-либо! Меня глубоко поразили нѣкоторыя событія, всѣмъ памятыя. Первый ударъ моему счастливому настроенію былъ нанесенъ закрытіемъ двухъ журналовъ — «Современника» и «Русскаго Слова». При моей извѣстной вамъ любви къ чтенію, при моей страсти къ литературнымъ наблюденіямъ, отсутствіе двухъ журналовъ не могло не показаться лишечніемъ. Но кромѣ того я былъ повергнутъ въ такое недоумѣвіе, что долго не могъ опомниться и сообразить, въ чемъ дѣло. Представьте себѣ (я не найду лучшаго сравненія), что на глазахъ астронома вдругъ исчезла бы комета или планета, исчезла бы въ то самое время, когда онъ внимательно наблюдалъ ее въ телескопъ. Что долженъ бы почувствовать въ этомъ случаѣ астрономъ? Онъ вдругъ и самымъ очевиднымъ образомъ увидѣлъ бы, что онъ обманывался во всѣхъ своихъ расчетахъ и соображеніяхъ. Я такъ и подумалъ. Я призналъ, что мои статьи не имѣютъ никакого правильнаго значенія, я отказался отъ своихъ прямыхъ наблюдательныхъ приемовъ и зачеркнулъ свои наблюденія, какъ ни къ чему пока не ведущія. На сей разъ я поступилъ логически; я, милостивый государь, логикъ и слѣдовательно во всемъ ищу сущности; вы понимаете теперь, что я не могъ не отказаться отъ своихъ заключеній какъ скоро увидѣлъ, что сущность не въ нихъ. Боюсь одного, что въ настоящее время никакія усилія моей логики уже не могутъ открыть мнѣ существенной стороны дѣла.

Такое жестокое вораженіе моей логики не могло не огорчить меня. Но этимъ не кончилось. Послѣ того, какъ изъ солнечной системы нашихъ журналовъ исчезли двѣ планеты, я предполагалъ, что равновѣсіе остальныхъ планетъ будетъ нарушено. Я внимательно наблюдалъ ихъ и чтоже? Не обнаружилось ни малѣйшаго признака нарушенія равновѣсія. Все было тихо и перемѣна произошла совершенно незамѣтно. Новый ударъ моей логики! Я принужденъ былъ убѣдиться, что наши журналы или вовсе не образуютъ системы, или составляютъ какую-то особенную систему безъ общаго центра тяготѣнія, странную систему, — въ которой есть планеты, но нѣтъ солнца. И въ самомъ дѣлѣ, что всего удивительнѣе, въ журнальномъ мірѣ понемножку послышались даже звуки какого-то музыкальнаго согласія, чего-то вродѣ гармоніи міровъ, звуки, своею монотонностью наводящіе непреодолимую тоску. Присутствіе этой гармоніи положительно было заявлено многими; всего лонѣе ее замѣтилъ чуткій слухъ Н. Ф. Павлова. «Въ литературѣ и въ настроеніи общества», говоритъ онъ въ своемъ объявленіи, «произошла

перемѣна». «Теперь въ нашемъ смыслѣ (т. е. въ смыслѣ Н. Ф. Павлова) говорятъ столько голосовъ , что мы боимся остаться назадъ и уступить имъ въ рвеніи».

Послѣ такихъ уроковъ , надѣюсь , вамъ будетъ понятно , что мною овладѣло уныніе. Разговоръ съ г. Страховымъ довершилъ его. Я сталъ мягкимъ и робкимъ и пришолъ въ необыкновенно мирное расположеніе духа до того , что даже насмѣшки на мой счетъ , попавшіяся мнѣ въ журналахъ не только не раздражали меня , но даже приводили въ нѣкоторое умиленіе.

Не будемъ ссориться, думалъ я , не станемъ раздражаться одинъ противъ другого ! Къ чему приступать другъ къ другу съ строгими , тяжелыми требованіями ? Къ чему мѣрять нашу умственную жизнь слишкомъ большими мѣрками , которыя къ ней вовсе не идутъ ? Положимъ , что мы очень дурно разсуждаемъ ; зато мы прекрасно чувствуемъ. Пусть умъ нашъ производитъ уродливыя несообразности ; зато сердце наше пламенѣетъ любовью къ добру. Изъ-зачего же намъ расхотѣться ? Не лучше ли соединиться какъ возможно тѣснѣе , пренебrecь своими спорами и разногласіями и стремиться къ существенному — къ образованію одной великой нравственной силы ?

Такъ думалъ я , и въ этихъ мирныхъ мысляхъ сталъ совершенно другими глазами смотрѣть на наши литературныя явленія. Я чувствовалъ къ нимъ нѣжность , которая переходила даже въ страхъ , въ боязнь , что я не сумѣю оцѣнить въ нихъ хорошую сторону. Съ нѣкоторымъ благоговѣніемъ брался я за каждый листокъ газеты , за каждую книжку журнала. Въ самой жестокой брани я видѣлъ слѣды тайной гуманности автора. Въ величайшихъ нелѣпостяхъ я умѣлъ находить самую незамѣтную черту добраго чувства , которое ихъ внушало. А вѣдь вы знаете , милостивый государь , что когда-то нелѣпость была для меня вещь жестокая , нестерпимая , неперепа-римая никакими средствами. Но тутъ я помирился и съ нелѣпостью. Вездѣ я слѣдилъ ту сокровенную живую силу , которая такъ или иначе но все-таки двигаетъ нашу литературу. Они не умѣютъ разсуждать , они ничего не знаютъ , часто думалъ я , но зато какъ много чувствуютъ !

Въ такомъ настроеніи духа я даже благополучно перенесъ статью «Современнаго слова»: *Кто виноваты?* Я нашолъ , что въ этой статьѣ много правды , что она недурно написана ; я твердо вѣрилъ , что она имѣетъ благороднѣйшую цѣль. И однакоже каждый разъ , когда я читалъ ее (она появилась въ четырехъ нумерахъ газеты) , глубокій стыль овладѣвалъ мною и я краснѣлъ до корня волосъ. Скажу прямо — я очень радъ , что эта статья написана и однакоже я кажется вначто бы не рѣшился самъ написать ее. Какъ объ-

яснить вамъ это? Представьте себѣ оскорбленіе, которое почувствовалъ бы астрономъ, увидѣвши, что одинъ изъ его собратій играетъ роль астролога, и вмѣсто научныхъ наблюденій, составляетъ гороскопы. Или нѣтъ, еще хуже. Представьте себѣ съ какимъ чувствомъ можно смотрѣть на человѣка, который бы по принужденію и ради достиженія извѣстной цѣли, рѣшился бы публично бить по щекамъ свою мать. Положимъ что онъ билъ бы только для виду; положимъ, что многіе понимали бы, что онъ дѣйствуетъ по принужденію и что такое дѣйствіе необходимо; все-таки зрѣлище было бы отвращающее и тяжело.

Вы можетъ-быть опять найдете, что я употребляю слишкомъ рѣзкіе образы; но таково именно было мое впечатлѣніе при тогдашнемъ чувствительномъ настроеніи. Я старался однакоже пересилить чувство униженія, которое возбуждала во мнѣ эта тройная или четверная уродливость и наконецъ помирился со статьею, предполагая, что не легко было и тому, кто ее писалъ.

И вообще я сталъ больше жалѣть, чѣмъ осуждать. Поэтому я преимущественно сочувствовалъ мрачному тону; мнѣ нравилось все, въ чемъ проглядывала горькая иронія; и даже въ случаѣ веселыхъ разглагольствій я любилъ предполагать, что у автора тѣмъ менѣе скребутъ кошки на душѣ. Увы, милостивый государь, вы понимаете, что подобное самообольщеніе не могло не нарушиться. Скоро я сталъ замѣчать, что нѣкоторые изъ нашихъ дѣятелей въ сущности чувствуютъ себя очень хорошо и многіе очень довольны собою; что они позволяютъ себѣ презирать другихъ и обходиться съ другими съ наглостью, а между тѣмъ ихъ презрѣніе основано только на дикой самоувѣренности и ихъ наглость на слѣпомъ самодовольствѣ. Я сталъ замѣчать, что у многихъ умъ вовсе не томится и не тревожится, а напротивъ совершенно спокоенъ и чувствуетъ себя сытымъ; что вмѣсто неправильнаго и уродливаго, во все-таки живого движенія впередъ, онъ предпочитаетъ сидѣть неподвижно тамъ, куда его толкнула случайность, или кружиться на одномъ мѣстѣ, какъ котенокъ за своимъ хвостомъ. Однимъ словомъ мнѣ начала открываться обратная сторона дѣла. Вмѣсто живыхъ, хотя и извращенныхъ явленій, я увидѣлъ просто фальшивыя явленія, которыхъ источникъ не въ умѣ и сердцѣ, а въ лакейскомъ лицемѣрїи, въ раболѣпномъ подражаніи чужому уму и сердцу. И когда я замѣтилъ, что эти явленія имѣютъ однакоже силу, что они образуютъ авторитетъ, внушаютъ самодовольство, то мое мирное расположеніе духа опять поколебалось и во мнѣ опять стала пробуждаться моя старинная свирѣпость.

Такимъ образомъ, милостивый государь, во мнѣ постоянно про-

исходить тягостная борьба между умилениемъ и свирѣпостью. И я не вижу ей исхода и окончанія. Есть люди, которые въ этомъ хаосѣ, именуемомъ россійской словесностью, плаваютъ свободно, какъ въ настоящемъ своемъ элементѣ, чувствуютъ себя хорошо какъ рыба въ водѣ. Я не принадлежу къ этимъ счастливымъ и постоянно наталкиваюсь на случаи, приводящіе меня въ уныніе и недоумѣніе. Расскажу вамъ нѣкоторые изъ нихъ, какъ мнѣ кажется вполне подтверждающіе правильность и законность моихъ колебаній.

Въ 39 № «Дня», г. Аксаковъ отнесся къ Петербургу и санктпетербургской литературѣ съ великой свирѣпостью и безъ малѣйшаго умиленія. Понятно что сначала я долженъ былъ почувствовать принадлежность къ Петербургу и вооружиться противъ московскихъ нападокъ. И въ самомъ дѣлѣ, послушайте, что пишетъ г. Аксаковъ:

«Санктпетербургскія газеты толкуютъ много о либерализмѣ и демократизмѣ; но, какъ мы уже имѣли случай замѣтить, овѣ, со всюю запальчивостью того деспотизма, который внесенъ Петербургомъ въ дѣло нашего просвѣщенія и развитія, угнетаютъ насмѣшками, грубыми нападками, постоянными оскорбленіями самыя святыя чувства русскаго народа, свободу его вѣрованія, обычая, жизни: Ихъ либерализмъ является насиліемъ и тираніей въ отношенія къ русскому народу. Для нихъ нѣтъ ничего заветнаго въ русской исторіи до Петра, въ этой «дикой Азіи нашего прошедшаго», какъ выражается «Современное слово». Все это очень естественно и понятно; иначе санктпетербургскія газеты и думать не могутъ: въ противномъ случаѣ они бы противорѣчили своему призванію, отрицали бы свой собственный принципъ, которому санктпетербургская пресса, надобно отдать ей справедливость, такъ вполне вѣрна, такъ храбро служить!»

Сначала я оскорбился этими рѣчами и готовъ былъ отвѣчать на нихъ такъ: «О какомъ деспотизмѣ вы говорите? Не разумѣете ли вы подѣ этимъ словомъ силу европейскаго знанія, авторитетъ науки? Такъ знайте же, что это власть законная, непрерываемая, святая, на которую никто не имѣетъ права жаловаться. Вы говорите объ угнетеніяхъ и насмѣшкахъ; но естественно, что наука не даетъ покоя невѣжеству, что насмѣшки колятъ въ глаза наше безобразіе. Этому нужно радоваться а не печалиться! И о какомъ либерализмѣ вы говорите? Либерализмъ санктпетербургской прессы есть отголосокъ европейскаго либерализма, того великаго либерализма, принципа котораго тамъ въ Европѣ нашли во многихъ случаяхъ свое осуществленіе и на которомъ мы всѣ воспитаны, на которомъ воспитаны вы сами, законенѣльый и непоколебимый славянофил!»

Такъ думалъ я отвѣчать, но подумалъ и раздумалъ. Такъ мо-

жетъ отвѣчать только тотъ, кто смотритъ на вещи поверхностно и видитъ ихъ въ общихъ чертахъ. Я же къ несчастью слишкомъ подробно изучалъ петербургскую прессу, чтобы удовольствоваться такимъ общимъ взглядомъ. Къ несчастью мы не имѣемъ права говорить во имя науки и европейскаго либерализма, потомучто у насъ очень мало и того и другого, а есть у насъ въ изобиліи самобытныя плоды, принесенныя наукою и европейскимъ либерализмомъ на нашей петербургской почвѣ. Вкусъ и запахъ этихъ плодовъ я знаю, и вижу совершенно ясно, что слова г. Аксакова на этотъ разъ относятся именно къ этимъ плодамъ. Невольно мнѣ пришло на память множество случаевъ, множество подробностей — и я принужденъ былъ согласиться съ г. Аксаковымъ и рѣшился печально умолкнуть.

Я и молчалъ бы, еслибы г. Аксаковъ въ своей статьѣ не сказалъ далѣе жестокаго слова, которое показало мнѣ, какой слѣпой глѣбъ имъ обладаетъ.

«Изъ всего сказаннаго ясно, — говоритъ онъ въ заключеніе, — что истинный либерализмъ и русское народное чувство невозможны для Санктпетербуржца, если онъ Санктпетербуржецъ не по одному мѣсту жительства, а по принципу имъ ясно сознаваемому.»

• Это былобы *contradictio in adjecto*, одно исключаетъ другое. Поэтому мы съ своей стороны не только не даемъ никакой цѣны либерализму Санктпетербургской прессы, но положительно ему не вѣримъ, точно также какъ и благоволенію Санктпетербургскихъ газетъ къ русской народности...»

Вотъ упрекъ, котораго свести невозможно и который возмущаетъ свою жестокостью. Г. Аксаковъ не *отрываетъ* искренности нашихъ петербургскихъ убѣжденій! Его собственныя убѣжденія кажутся ему до того святыми, что онъ не вѣритъ никакой святости другихъ убѣжденій; наши петербургскія убѣжденія кажутся ему до того нелѣпыми, что онъ не вѣритъ возможности держаться ихъ искренно и честно. Какой фанатизмъ! Какое непониманіе жизни! Не вѣритъ г. Аксаковъ! Но онъ забываетъ, что дѣло нимало не измѣняется отъ того, вѣритъ онъ или не вѣритъ. Онъ забываетъ, что закрыть глаза еще не значитъ уничтожить предметы, которые стоятъ передъ глазами. Г. Аксаковъ не можетъ *не знать* того, чему онъ старается не *отрывать*. Это странное невѣріе можно сравнить только съ тѣмъ случаемъ, когда тотъ же г. Аксаковъ, ревнуя о православной вѣрѣ, пришолъ къ заключенію, что евреи не могутъ быть у насъ терпимы какъ члены гражданскаго общества. Какъ тогда онъ отлучалъ евреевъ, такъ теперь, ревнуя о народномъ духѣ, онъ отлучаетъ насъ, отлучаетъ петербургскую прессу.

Это ужасно, не правда ли? Но что вы скажете, милостивый госу-

дарь, если я замѣчу, что санктпетербургская пресса не уступитъ московской въ ревности и слѣпотѣ? Вѣдь и у насъ нетерпимость считается похвальнымъ признакомъ опредѣленности направленія; если г. Аксаковъ не признавалъ евреевъ согражданами, то вѣдь и мы ставили г. Аксакова на одну доску съ г. Аскочевскимъ; если г. Аксаковъ не вѣритъ искренности нашихъ убѣжденій, то вѣдь и мы прямо и криво и всячески изводили на него упреки въ разныхъ противу-гражданскихъ свойствахъ. Такъ что собственно говоря, намъ обижаться нечѣмъ. Мы заранѣе и съ избыткомъ оплатили ему за его высокомеріе и невѣріе.

Таковы черты того удивительнаго расположенія умовъ, въ которомъ мы находимся. Москва и Петербургъ одинаково шеголяютъ взаимнымъ непониманіемъ и взаимною враждою. Кто изъ нихъ лучше, рѣшить трудно; что касается до меня, то какъ я вамъ писалъ еще въ первомъ своемъ письмѣ, я несмотря ни на что, не теряю надежды на Петербургъ. Петербургъ мнѣ всегда представляется хаосомъ, въ которомъ бродятъ безчисленные элементы; онъ подобенъ планетѣ, которая быстро развивается и до времени покрыта странными чудищами. Москва же есть вѣчто пришедшее въ порядокъ; она подобна планетѣ, которая уже вполнѣ развила, и потому вполнѣ довольна собою и своими обитателями.

Такъ какъ я стою за Петербургъ, то мнѣ всегда бываетъ прискорбно, когда онъ что-называется срамить себя передъ Москвою. Теперь вышелъ именно такой случай. Едва г. Аксаковъ успѣлъ произнести свое отлученіе надъ петербургскою литературой, едва я успѣлъ проникнуться надлежащимъ гнѣвомъ противъ такого отлученія, какъ въ «Искрѣ» явилась статья, которая огорчила меня до глубины души и чуть ли не вполнѣ оправдала г. Аксакова. Эта статья называется «Балаганчики Дня». Изобразить всю странность, всю хаотическую несладкицу этой статьи, я рѣшительно отказываюсь. Остановлюсь только на одномъ вопросѣ, который столь интересенъ самъ по себѣ, что трудно умолчать о немъ.

Въ 38 № «Дня» г. Аксаковъ сказалъ нѣсколько теплыхъ и свѣтлыхъ словъ о милостынѣ. Главная мысль статьи, по моему мнѣнію, необыкновенно правильна. Она состоитъ въ томъ, что истинная благотворительность, по самой сущности, должна быть дѣйствиємъ свободнымъ, которое совершается съ личнымъ участіемъ, потому что только въ такомъ случаѣ она будетъ дѣйствиємъ нравственнымъ, будетъ вполнѣ удовлетворять идеѣ нравственности. На этомъ основаніи г. Аксаковъ замѣчалъ, что какъ скоро *помощь бѣднымъ* не совершается свободно и сознательно, какъ скоро она производится административнымъ порядкомъ, посредствомъ подачи и ре-

гламентація, она теряетъ часть своего нравственнаго достоинства, хотя можетъ быть очень полезною. И на оборотъ дѣйствія безполезныя или можетъ-быть даже вредныя, какъ на примѣръ раздача милостыни, имѣютъ однакоже большое значеніе, потому что носятъ на себѣ нравственный характеръ благотворительности. Раздача милостыни, совершаемая на всемъ пространствѣ Руси, есть одно изъ средствъ, которымъ народъ удовлетворяетъ свою потребность чисто нравственныхъ дѣйствій.

При этомъ, само собою разумѣется, г. Аксаковъ не могъ не впасть въ нѣкоторыя увлеченія. Онъ вовсе не обращаетъ вниманія на вопросъ, не вредны ли для общества всякія чисто-нравственныя дѣйствія; если не вредны, то необходимо ли они нужны и не можетъ ли общество обойтись безъ нихъ? Такіе вопросы вѣроятно кажутся ему оскорбительными, и онъ говоритъ такимъ тономъ, какъ-будто хочетъ сказать: нравственныя дѣйствія должны быть совершаемы ради нравственности; а что изъ этого будетъ, все равно, хотя бы разрушился міръ!

Благородное увлеченіе! Но вѣтъ ли здѣсь неправильнаго энтузіазма, который фальшивитъ, потому что въ немъ вовсе нѣтъ нужды? Зачѣмъ напрасно геройствовать, мечтая о разрушеніи міра, когда міръ и не думаетъ рушиться? Чисто-нравственныя дѣйствія, какъ прямое слѣдствіе самой природы человѣка, викакимъ образомъ не могутъ быть ни неизбѣжно вредными, ни совершенно лишними для общества людей. Напротивъ идеалъ благополучнаго общества можно себѣ представить иначе, какъ предполагая, что всѣ отношенія членовъ этого общества превратились въ чисто-нравственныя отношенія. Когда разсуждаютъ объ обществѣ, то многіе представляютъ себѣ, что оно сложено изъ людей такъ, какъ зданіе изъ камней. Если зданіе красиво и держится крѣпко, то это не зависитъ отъ кирпичей, изъ которыхъ оно состоитъ; а только отъ архитектора. Онъ расположилъ камни такъ, что каждый изъ нихъ крѣпко опирается на однихъ и самъ служитъ прочною опорой для другихъ, а всѣ вмѣстѣ образуютъ правильное цѣлое. Поэтому камни не имѣютъ никакой заслуги, а вся заслуга принадлежитъ архитектору. Вотъ отчего въ такую славу вошли многіе архитекторы, составлявшіе красивые планы для общества. Но почеть, имъ оказываемый, нѣсколько преувеличенъ: эти строители все-таки люди, а не особыя существа. И матерьялъ, изъ котораго они брались строить, напрасно былъ разсматриваемъ такъ презрительно: этотъ матерьялъ не камни, не кирпичи, а люди. Поэтому общественное зданіе должно представлять себѣ не иначе, какъ предполагаемая, что каждый камень въ немъ сохраняетъ за собою достоинство

человѣка. Слѣдовательно каждый камень самъ занимаетъ свое мѣсто и держится на немъ сознательно, а не вслѣдствіе цемента и давленія. Если же такъ, то чѣмъ сознательнѣе и свободнѣе дѣйствуетъ каждый членъ общества въ отношеніи къ другимъ, тѣмъ оно будетъ крѣпче и правильнѣе, тѣмъ меньше будетъ опасности, что какой-нибудь камень изъ него выпадетъ и разобьется. Только при общемъ сознательномъ взаимодействіи возможно благоустройство между людьми. Тотъ оскорбляетъ человѣческую природу, кто воображаетъ, что можно устроить благополучное человѣческое общество, безъ содѣйствія его сознанія и свободы; а не это ли обмане предположеніе дѣлаетъ тотъ, кто говоритъ, что развитію благополучія въ обществѣ нужно предпочитать развитіе нравственности?..

Но, мнѣ кажется, я увлекся; я вѣдь хотѣлъ рассказать вамъ про статью «Искры». Вы меня извините, что я нѣсколько распространюсь объ ней. Я знаю, что противъ «Искры» существуетъ предубѣжденіе: ей не отвѣчаютъ, и ея статьи не считаются подлежащими разбору. Но мнѣ мало до этого дѣла: случай вышелъ слишкомъ любопытный и я чувствую въ себѣ безпошадное расположеніе къ анализу.

Уже во вступленіи статья беретъ фальшивыя ноты, которыя по дѣйствовали на меня раздражительно.

«День», говоритъ она, — продолжаетъ открывать давно открытую Америку, т. е. наивно выдвигаетъ за что-то новое вопросы, давно рѣшонные и всѣмъ извѣстные, или беретъ за перевершеніе вопросовъ науки, рѣшонныхъ умами первой величины, не примѣчая того, что онъ вовсе не перевершаетъ этихъ вопросовъ, а только путаетъ дѣло.

Быть можетъ вы найдете, что это очень простые слова; но я вамъ скажу, что на первой страницѣ «Искры» они имѣютъ видъ возмутительный, почти преступный. Замѣчу вообще, что всякій разъ, когда я встрѣчаю въ нашихъ журналахъ ссылку на науку, я прихожу въ невольное безпокойство. Здѣсь же я сейчасъ готовъ приступить къ строжайшему допросу. Чѣмъ это вы насъ пугаете, достопочтенная «Искра»? Что это за вопросы *давно рѣшонные и всѣмъ извѣстные*? Что это за умы *первой величины*, которыхъ касаться воспрещается умамъ второй и всякой другой величины? Что касается до вопросовъ, давно рѣшонныхъ, то чѣмъ давнѣй они рѣшены, тѣмъ хуже для нихъ. Что касается до вопросовъ, рѣшеніе которыхъ всѣмъ извѣстно, то я позволю себѣ вовсе усомниться въ существованіи такихъ вопросовъ, особенно же для насъ. Наконецъ что касается до умовъ *первой величины*, то я требую, чтобы умъ, который мнѣ указываетъ на такіе умы, самъ бы не былъ ка-

кой-нибудь сто-двадцатой или сто-тридцатой величины, а иначе я отправлю его куда-нибудь подальше, вмѣстѣ съ его указаніями. Рѣшонные вопросы! великіе умы! Такъ вотъ за какія оружія берется нынче «Искра»? Кто бы могъ ожидать, что она начнетъ наконецъ проповѣдывать поклоненіе авторитетамъ и возставать противъ непокорности, которую имъ оказываютъ!

Между тѣмъ дѣло дѣйствительно такъ.

Г. Аксаковъ — пишетъ она — отстаиваетъ ту московскую благотворительность, которая раздачею мѣдныхъ пятаконъ и грошей нищимъ на улицахъ поддерживаетъ тунеядство, пьянство, развратъ, ханжество. Такъ какъ современная, экономическая наука всѣми силами вооружается противъ подобнаго неразумнаго деморализированія общества, то г. Аксаковъ стремится потрести основы самой науки. Вотъ онъ какъ воль!

Вы видите (признаюсь вамъ, это глубоко меня возмущаетъ), что наука здѣсь служитъ прямо авторитетомъ, что ея имя произносится здѣсь съ такимъ же удареніемъ и вѣсомъ, какъ еслибы говорилъ самъ «Русскій Вѣстникъ». Вотъ неожиданное совпаденіе!

За этимъ въ «Искрѣ» слѣдуетъ выписка изъ «Дня», которую, ради достоинства самого отрывка, я приведу цѣликомъ, безъ урѣзокъ, сдѣланныхъ «Искрою».

Практикъ Иуда, — какъ гласитъ евангельское сказаніе, съ такою властью живущее и такъ неослабно-благоухающее въ душевной памяти каждаго, кто бы онъ ни былъ, если только читалъ онъ евангеліе, — практикъ и политико-экономъ Иуда, видя святой порывъ Маріи, съ стремительностью женскаго сердца отдавшей любви къ божественной истинѣ, и расточительно изливавшей дорогое міро на ноги Учителя, сдѣлалъ замѣчаніе совершенно практическаго и политико-экономическаго свойства. Онъ выразилъ мнѣніе, повидимому совершенно справедливое, что подобная трата многозначительной цѣнности вовсе не производительна; онъ основательно доказалъ, что міро, будучи проданнымъ, дало бы столько-то барыша, принесло бы такую-то сумму, которая могла бы быть съ немалюю пользою употреблена на нищихъ. Кажется, чѣмъ же неправъ былъ Иуда Искаріотъ (въ душу котораго, вспомнимъ, еще не входилъ тогда умыселъ предательства), Искаріотъ, напоминавшій о бѣдныхъ, противопоставлявшій неосмотрительнымъ движеніямъ умиленнаго сердца логическіе выводы разсудка и безрасчетной благости соображенія пользы и практической благотворительности?.. Христосъ однако не отвергъ приношеній Маріи, не отнялъ у нея свободы въ выраженіяхъ вѣры и радости, и повидимому безцѣльная, безрасудная расточительность чистой, святой, пламенѣющей любви, тѣсная отовсюду расчетами житейской мудрости, нашла себѣ убѣжище у ногъ Христа, подъ покровомъ его милосердія...

• Намъ часто приходитъ на память этотъ практицизмъ Іуды, въ наше практическое время. Нельзя не поразиться сходствомъ выше-приведенныхъ соображеній павшаго апостола съ ученіемъ нѣкоторыхъ знаменитыхъ политико-экономовъ, которые всё нравственные побужденія человѣка переводятъ на языкъ математическихъ формулъ, всякое добро опредѣляютъ вѣсомъ и мѣрой, не признаютъ никакого другого двигателя въ человѣчествѣ, кромѣ выгоды, и подчиняютъ (въ теоріи) этому кумиру всё произволенія нравственной природы человѣка. По доктринѣ Мальстуса, Смита и другихъ выходитъ, что не благоустроенное хозяйство существуетъ ради человѣка, а наоборотъ человѣкъ, со всѣми своими нравственными запросами, приносится въ жертву отвлеченному принципу и имѣетъ значеніе только какъ рабочая сила, какъ часть благоустроеннаго механизма.

Нельзя не согласиться, что сравненіе, выбранное г. Аксаковымъ мѣтко, рѣзко, что вопросъ рисуется въ немъ выразительно и глубоко. И вы ясно видите какъ смотритъ г. Аксаковъ на милостыню. Онъ вовсе не безусловный ея защитникъ. Онъ сравниваетъ ее съ міромъ Маріи, онъ называетъ ее *безцѣльною, безразсудною расточительностью*, но онъ оправдываетъ ее, когда она есть *неосмотрительное движеніе умиленнаго сердца*, когда она служитъ выраженіемъ *чистой, святой любви*.

Что же отвѣчаетъ на это «Искра»? На этотъ разъ она сочла удобнымъ слѣлать голую ссылку на авторитеты и, вмѣсто того, чтобы говорить о дѣлѣ, начинастъ говорить о политико-экономяхъ.

• Ожидали ли — пишетъ она — Мальтусъ, Смитъ и другіе политико-экономы, посвятившіе свою жизнь добросовѣстному служенію науки на благо человѣчества, что найдется когда-нибудь литераторъ, не изъ дерзкихъ, недоучившихся юношей, а литераторъ вполне доучившійся, снабженный многочисленными дипломами, который поставитъ ихъ на одну доску съ Іудею Искаріотомъ?.

• Читатель видитъ — побѣдоносно продолжаетъ «Искра» — сколько въ этомъ сопоставленіи безобразія, натянутости, пустого словозверженія.

Покажѣтея я думаю, читатель ровно ничего не видитъ, кромѣ громкихъ словъ, кромѣ безцеремонно-явнаго желанія запугать именами и фразами всякаго, кто рѣшился бы

... Слѣтъ
Свое сужденіе имѣтъ.

Глубоко огорчаютъ меня подобныя вещи, милостивый государь. Чистосердечное раболѣпство передъ именами, передъ авторитетами

въ наукѣ и въ чемъ бы то нибыло, еще можетъ быть прощено слабости человѣческой; но раболѣпство злостное, но употребленіе *всуче* именъ великихъ умовъ, служенія наукъ и т. д., есть дѣло никакъ непростительное.

Вы можетъ быть спросите, почему я такъ думаю; вы можетъ быть возрадите, что авторъ разбираемой мною статьи написалъ предъидущія строки совершенно искренно, что онъ вѣроятно глубоко изучилъ Смита и Мальтуса, питаетъ величайшее уваженіе къ наукамъ вообще и къ политической экономіи въ особенности, что онъ обидѣлся сравненіемъ ученыхъ съ Іудею Искаріотомъ можетъ быть даже потому, что и самъ онъ *желаетъ посвятить свою жизнь добросовѣстному служенію науки на благо человечества?*

Счастливы вы, отвѣчу я вамъ, если можете еще питать такіа смѣлыя и пріятныя предположенія. Что касается до меня, то я считаю болѣе основательнымъ предполагать, что автору, о которомъ идетъ рѣчь, вовсе неизвѣстны какія бы то нибыло научныя изслѣдованія, относящіяся къ настоящему вопросу. Доказательствомъ этому служитъ то, что ни въ предъидущихъ, ни въ дальнѣйшихъ его разсужденіяхъ о милостыни нѣтъ ни одного изъ тѣхъ доводовъ, которыя противъ нея приводятся въ наукѣ. Ссылаясь на Смита и Мальтуса, онъ самъ не знаетъ на что ссылается, — таково мое печальное заключеніе. Дальше, какъ вы увидите, онъ старается привести доводы противъ милостыни, но то, что онъ говоритъ, не имѣетъ никакого отношенія къ наукѣ и не можетъ быть судимо съ научной точки зрѣнія. Какъ я уже говорилъ, науки у насъ нѣтъ, или очень мало; и то, что я буду сейчасъ разбирать, есть не научныя, не политико-экономическія или какія-нибудь другія мнѣнія, а просто петербургскія, или если хотите санктпетербургскія разсужденія, то есть образчикъ тѣхъ плодовъ, какіе принесли сѣмена европейскихъ книгъ на нашемъ родимомъ нингерманландскомъ болотѣ.

Съ вашего позволенія я возьму всю аргументацію «Искры» цѣлкомъ.

«Дѣйствительно ли, (такой вопросъ задаетъ себѣ статья) *ручка благотворительности, состоящая въ раздачѣ таскающихся по улицамъ виднымъ пятаковъ и шѣдныхъ грошей, (каково опредѣленіе! И вы могли подумать, что это лежало подлѣ Мальтуса и Смита!) возбуждаетъ чувство, пораждаетъ, по выраженію г. Аксакова, процессъ нравственныхъ ощущеній, переживаемый какъ дающимъ, такъ и принимающимъ даянія, благотворныхъ для обоихъ, очищающихъ душу, зота бы и на время, сводящихъ ее въ общеніе съ вѣчною благодію, сжимающу миръ?»*

Чтобы доказать, что нѣтъ, статья разсуждаетъ слѣдующимъ образомъ:

• Если вы не хотите несколько развитый и погрязаете на улице чужаго — полубосога, полуоубаго, голодага, можете ли вы успокоиться, сунувъ ему въ руку мѣдный пятакъ или грошъ?

Конечно нѣтъ, отвѣчаетъ читатель, пораженный трогательною картиною. Я не могъ бы успокоиться и тогда, еслибы онъ былъ не полубосою, а въ крѣпкихъ сапогахъ, еслибы я не сунулъ, а вѣжливо подалъ ему, и не мѣдный грошъ, а блестящій двугривенный послѣднiаго чекана. Но постарайтесь, милостивый государь, соблюсти вѣкоторое хладнокровiе. Забываете ли вы куда мы забрались съ перваго шагу? Вопросъ «Искры» предлагается людямъ развитымъ и вѣроятно, какъ мы дальше увидимъ, богатымъ. А развѣ о нихъ было дѣло? Г. Аксаковъ говорилъ о милостыни, которую подаютъ народъ, т. е. эти десятки милiоновъ, которые за малыми исключенiями и не развиты и не богаты; онъ говорилъ наприимѣръ о тѣхъ подавпихъ, которыя дѣлаются ссыльнымъ и арестантамъ; вотъ въ этихъ-то сердцахъ г. Аксаковъ ручался за присутствiе нравственнаго процесса, а не въ сердцахъ развитыхъ людей, довольствующихся раздачею пятаковъ. Простому человеку простиительно не знать ни Мальтуса, ни Смита, и онъ конечно можетъ успокоиться, подавая нищему можетъ-быть свой послѣднiй грошъ, послѣднюю лишнюю копѣйку. Но о такихъ случаяхъ «Искра», какъ видно и думать не хочетъ. Чтобы судить о нравственныхъ явленiяхъ, она непременно беретъ людей развитыхъ; а у неразвитыхъ, поимилуйте, какая же тамъ нравственность, какiе нравственные процессы!

И вотъ обращаясь къ развитымъ людямъ, «Искра» держитъ такую рѣчь:

• Вѣдь этотъ нищiй — говоритъ она — вашъ братъ, членъ одного съ вами общества. Онъ имѣетъ полное право быть и слышать, и одѣваться, и обуваться какъ и вы. •

Что значить развитые люди! Какими сладкими рѣчами они угощаютъ другъ друга! Что касается до неразвитыхъ, то тамъ подобныя рѣчи показались бы можетъ-быть слишкомъ наивными и простыми. Они, эти неразвитые, дажно и крѣпко знаютъ, что новъ люди братья: у нихъ никто другъ на друга не смотритъ особенно свысока, и у всѣхъ равныя права. Тамъ нищаго не презираютъ, а обходятся съ нимъ какъ съ ровнею. Тамъ именно существуетъ мысль, что съ точки зрѣнiя любви — всѣ равны и милостыня дается не только бѣднымъ, но и преступникамъ, убийцамъ.

Посмотримъ, какъ должны поступать люди развитые.

• Если ваше участiе къ нему (къ нищему, подробно описанному имъ

ше) не принадлежъ пустого тщеславія, не прихоть играющаго въ гуманность барства, а истинно-человѣческое чувство, — вы увидѣвъ его разъ на улицѣ, не можете оставить тутъ. Вы должны ввести его въ свой домъ, одѣть его, обуть, дѣлать съ нимъ вашъ столъ дотолѣ, пока вы поставите его въ возможность имѣть все это самому.

Вотъ она — истинная гуманность! Даже на бумагѣ читать это очень пріятно, а не только видѣть на самомъ дѣлѣ. Одно жаль — бѣднымъ людямъ плохо приходится. Дать грошъ или пятакъ — запрещается; не позволятъ пожалуй и цѣлковый рубль. Сейчасъ скажутъ — *врядьдакъ тщеславія, прихоть играющаго въ гуманность барства!* А *вести въ свой домъ, одѣть, обуть*, — вѣдь это не всякій можетъ. Иному самому едва въ силу прокормиться и одѣться.

Чтоже касается до насъ съ вами, милостивый государь, то мы обязаны замѣтить, что «Искра» очевидно витаетъ въ облакахъ. Она вообразила, что проповѣдуетъ какую-то неслыханную, высоко-развитую мораль, а между тѣмъ эта самая мораль исполнялась и исполняется у насъ въ огромныхъ размѣрахъ. Изъ древности богатые люди у насъ не только раздавали деньги нищимъ, но вводили ихъ въ свои дома, кормили ихъ, поили и одѣвали. Еще недавно не было почти ни одного достаточнаго дома, гдѣ бы не жили нахлѣбники и приживальщицы. Только чтожъ изъ этого выходило? Разумѣется тоже, что и изъ раздачи денегъ, такъ какъ это было продолженіе одной и тойже системы. Принятіе нищихъ въ домъ, держаніе нахлѣбниковъ и приживальщицъ было точно также вредно, какъ и уличная раздача денегъ; говоря словами «Искры», оно *поддерживало тунеядство, пьянство, развратъ, ханжесство*. Употребляя выраженіе г. Аксакова, это была *безразсудная расточительность*, въ которой результаты не соответствовали намѣренію и въ которой намѣреніе заслуживаетъ большаго почтенія и искушается собою результаты.

Чтоже такое послѣ этого предлагаетъ намъ «Искра»? Ужъ не скрывается ли въ ея словахъ какой-нибудь высшій смыслъ? Повидящему нѣтъ; повидящему она находитъ великую разницу между *содѣлать въ домъ* и подачею пятака и думаетъ, что въ этомъ весь секретъ.

— Сунуть нищему — говоритъ она — мѣдный грошъ или пятакъ и затѣмъ уйти отъ него, бросивъ его на улицѣ, значитъ не имѣть не только никакого истинно-человѣческаго чувства къ нему, а просто — насмѣхаться надъ его положеніемъ.

Если эти слова относятся дѣйствительно къ милостынѣ, то они очень дико. Но авторъ говоритъ одно, а на умъ у него совсѣмъ дру-

гое. Слѣдите прилежно за игрою его воображенія. Ему кажется представляется миллионеръ, котораго умоляютъ о помощи и который подастъ грошъ.

Развѣ — продолжаетъ Искра. — пришедши разъ въ нищенство; онъ (нищій) вашимъ пятакомъ или даже двадцатью пятаками, которые онъ получить въ день отъ подобныхъ вамъ милосердыхъ людей, можетъ поправиться и прійти въ прежнее независимое положеніе? Если же вы не имѣете въ виду привести его въ это положеніе, то что же по вашему мнѣнію вслѣдъ нищій? Субъектъ, назначенный вамъ въ чью-либо благодатью для выраженія вашихъ въ добродѣтели милосердія?.

Эхъ баринъ! сказалъ бы я думаю на это иной простой человѣкъ. Больно ужъ вы высоко берете, больно ужъ разпосились съ вашимъ *независимымъ положеніемъ*. Тутъ иногда думаешь о томъ, какъ бы человѣкъ не умеръ съ голоду, не замерзъ съ холоду, а вамъ вотъ непременно подавай независимое положеніе. И за что вы меня корите и стыдите? Съ чего вы взяли, что я ему не желаю этого положенія, что я *не имѣю этого въ виду*? Я радъ бы всею душою. Понять не могу, чѣмъ помѣшалъ тутъ мой пятакъ. Что его мало — я самъ знаю; но у насъ говорится: съ міру по ниткѣ — голому рубашка. Потому я и подаю грошъ или пятакъ, что знаю — весь міръ подастъ и нищій будетъ на это сытъ. И самъ нищій это знаетъ и не обижается моимъ трудовымъ грѣшомъ. По вашему это я *выходитъ общественная благотворительность*, почти таже подать, только собираемая безъ писарей и ставовыхъ, а съ крестомъ и молитвою. Не я одинъ кормлю нищаго: его кормитъ міръ. Ему оттого легко, чѣмъ еслябы кто одинъ помогалъ ему; тотъ пожалуй попрекалъ бы его каждой коркой хлѣба. А что мірское подаваніе судно, такъ и это не всегда правда; бывали нищіе, которые набирали тысячи и десятки тысячъ рублей.

Мы съ вами, милостивый государь, разумѣется будемъ говорить иначе. Мы примемъ во вниманіе спутанность мыслей автора и постараемся открыть, что за идея смутила его воображеніе. Целикомъ онъ желаетъ, чтобы каждый имѣлъ независимое положеніе; онъ хочетъ чтобы нищему не давали денегъ, или хлѣба, или чего другого, а постарались бы привести его въ *независимое положеніе*. Вотъ наконецъ, скажете вы, гдѣ авторъ явно приближается къ доктринамъ Мальтуса и Смита. Не думаю, чтобы такъ. Едвали наприжръ онъ знаетъ, что для того, чтобы каждый былъ въ независимомъ положеніи, лучшее средство — устроить общество такъ, чтобы безъ независимаго положенія не было возможности и жить на свѣтѣ. Пусть тѣ, кто потерялъ независимое положеніе, подвергаются величай-

щимъ лишеніямъ и опасности умереть съ голоду. Тогда и только тогда всё будутъ изъ всѣхъ силъ стараться приобрести и сохранить это положеніе. Такъ думаютъ многіе политико-экономы и въ этихъ мнѣніяхъ есть своего рода смыслъ. Они не безъ основанія говорятъ, что если вы дадите людямъ возможность существовать въ независимаго положенія, то сейчасъ же найдутся люди, которые воспользуются этою возможностью. Политико-экономы того мнѣнія, что люди, вообще говоря, большіе подлецы и всегда готовы пожить на чужой счетъ. Они утверждаютъ, что если вы усилите частную благотворительность, то выѣсть увеличите число лицъ, которые будутъ ею жить, а если учредите общественную благотворительность, то ею воспользуются еще легче, еще охотнѣе, на томъ самомъ основаніи, по которому украсть изъ казны не считается такимъ грѣхомъ, какъ украсть у частнаго человѣка. Слѣдовательно чѣмъ больше будетъ благотворительность, тѣмъ меньше будутъ люди дорожить независимымъ положеніемъ. И вотъ почему политико-экономы, тоже полагающіе свой идеалъ въ независимомъ положеніи, отвергаютъ всякую благотворительность.

Мнѣ кажется они послѣдовательны. Благотворительность по самой сущности дѣла состоитъ въ томъ, что одинъ человѣкъ принимаетъ на себя трудъ, необходимый для другого, слѣдовательно люди при этомъ неизбѣжно приходятъ въ зависимое положеніе. Такимъ образомъ благотворительность и независимое положеніе суть вещи, вытекающія изъ совершенно различныхъ источниковъ. Стремленіе къ благотворительности основывается на любви и довѣрїи, стремленіе къ независимому положенію — на эгоизмѣ и опасенїи. Если главною дружиною общества, главнымъ двигателемъ въ человѣкѣ признается эгоизмъ, то благотворительность должна быть отвергнута, потому что цѣль благотворительности не можетъ состоять въ развитїи эгоизма. Нельзя сказать: благотворите, т. е. доставьте каждому возможность жить эгоистомъ, независимо отъ другихъ. Гораздо послѣдовательнѣе политико-экономы; они говорятъ: не благотворите и тогда всё будутъ эгоистами.

Нашъ авторъ очевидно и не подозреваетъ, что политико-экономы отвергаютъ не одну частную благотворительность; онъ не подозреваетъ, что они гораздо послѣдовательнѣе и строже его въ своихъ выводахъ и что вслѣдствіе этой болѣе строгой послѣдовательности они отвергаютъ *всякую благотворительность безъ исключенія*. Этой точки зрѣнія для него, какъ кажется, и не существуетъ.

Возьмемъ дѣло, пишетъ онъ, съ другой стороны. Какой человѣкъ, если онъ только немножко развитъ и привыкъ жить своимъ трудомъ,

можеть безъ чувства самаго тяжелаго униженія, безъ внутренняго содроганія, безъ краски на лицѣ протянуть руку, чтобы принять милостыню?..

Ну, сейчасъ видно, что бѣлоручка! Жить на чужой счетъ, ему ничего; а руку протянуть — стыдно. Препустой народъ!

Въ самомъ дѣлѣ, замѣтите милостивый государь, что картина опять переменяется. Прежде авторъ сдѣлалъ благотворителя человѣкомъ развитымъ, теперь онъ дѣлаетъ развитымъ и нищаго, и слѣдовательно заставляетъ просить развитого человѣка у развитого же. Ужасная картина! Представьте себѣ, что человѣкъ развитой, привыкшій жить въ независимомъ положеніи и пользоваться правомъ точно также ѣсть, пить и одѣваться, какъ и вы, протягиваетъ руку къ вамъ, къ человѣку развитому, но не потерявшему своего богатства. Вы имѣете возможность вдругъ, сейчасъ привести его въ независимое положеніе, такъ что онъ попрежнему будетъ жить своимъ трудомъ. И вдругъ вы суете ему мѣдный пятакъ! Ужасная картина! Сколько злобы въ этомъ пятакѣ! Какая схидная насмѣшка! Какое униженіе!

И при подобныя неестественныхъ, нечеловѣческихъ отношеній дающаго и принимающаго, восклицаетъ «Искра», кадаго можно ожидать въ нихъ процесса нравственныхъ ощущеній, очищающихъ душу, и вводящихъ ее въ общеніе съ вѣчною благодію, зиждущею міръ? Тутъ напротивъ одинъ играетъ роль палача, а другой жертвы.

Вотъ оно куда пошло! Трагедія да и только!

Но куда же наконецъ мы заблуждены? Въ какой-то очарованный міръ, въ которомъ всѣ развиты, всѣ привыкли къ независимому положенію, всѣ могутъ взять нищаго къ себѣ въ домъ и такъ или иначе привести его снова въ независимое положеніе, и проч. и проч. Пусть въ этомъ мірѣ совершаются чудеса нравственности, пусть въ немъ милостыня есть стыдъ и преступленіе. Но развѣ отсюда слѣдуетъ, что мы, живущіе совсѣмъ не въ такомъ мірѣ, уже вовсе лишены нравственности? Развѣ отсюда слѣдуетъ, что въ нашемъ народѣ, въ дѣлахъ его благотворенія невозможенъ никакой процессъ нравственныхъ ощущеній?

А между тѣмъ вѣдъ этого, а не какого другого заключенія добавляется «Искра!»

Только при варварствѣ и грубости человѣческаго рода, заключаетъ она, при общемъ нестройствѣ его общественной жизни могъ возникнуть подобный (т. е. ручной чтоли?) способъ благотворительности.

Хоть этого вы намъ не показали нисколько, ни на одну югу, но

любимъ. Однакоже, что такъ. Положимъ, что современнѣе опять займется какии-нибудь неизмѣримо превосходящимъ способомъ. Слѣдуетъ ли изъ этого, что въ древнемъ способѣ милостыни нѣтъ нравственнаго начала и есть хотя бы тѣнь безнравственности?

Этими я и кончу.

Замѣтите, милостивый государь, съ какою поразительною ясностію здѣсь обнаруживается безобразіе извѣстнаго, очень распространеннаго направленія мыслей. Еслибы авторъ напалъ на нелѣпность народныхъ понятій, еслибы онъ не признавалъ ничего свѣтлаго въ народномъ міросозерцаніи, — это было бы понятнѣе; еслибы онъ не сумѣлъ найти никакого достоинства въ произведеніяхъ народного творчества, въ народной музыкѣ, поэзіи и проч., это было бы простительнѣе. Но отвергать нравственный элементъ въ народной жизни, но не видѣть его въ такомъ простомъ и чистомъ явленіи, какъ милостыня, — хуже этого ничего не можетъ быть. Дальше этого въ презрѣніи или лучше сказать въ легкомысліи къ народу идти нельзя.

Повидимому подобная статья способна возбудить величайшее негодованіе. Но авторъ такъ ужъ хватилъ черезъ край, что скорѣе заслуживаетъ сожалѣнія. Что до меня, то я былъ бы очень непослѣдователенъ, еслибы не простилъ его ото всей глубины души. Нужно судить его съ той самой точки зрѣнія, съ которой мы судили о милостыни, нужно цѣнить не столько самое дѣло, сколько доброе намѣреніе. А что намѣренія автора были прекраснѣйшія, въ этомъ я не сомнѣваюсь. Вѣдь онъ сострадательно думалъ о нищихъ! Онъ желалъ того блаженнаго состоянія, когда ихъ вовсе не будетъ! О прекрасный, чувствительный, гуманный человекъ!

Я повтому именно и выбралъ эту статью для письма къ вамъ, что она показалась мнѣ разительнымъ примѣромъ того, какъ прекраснѣйшія намѣренія соединяются съ самымъ плохимъ исполненіемъ. Примѣръ же нуженъ потому, что подобныхъ статей, подобныхъ разсужденій, подобныхъ авторовъ у насъ великое множество.

Будемъ же благодушны, какъ благодушенъ русскій человекъ, подающій милостыню всѣмъ: и правымъ и виноватымъ; положимъ, что нѣкоторые изъ этихъ авторовъ не говорятъ ни одного путнаго слова, все-таки скажемъ имъ спасибо за ихъ доброе желаніе, простимъ имъ много, потому что они много возлюбили!

Въ частности, что касается до «Искры», то я не имѣю противъ нея ничего, сколько-нибудь враждебнаго. Говорю это не изъ боязни ея насмѣшекъ. Помилуйте! Прекрасный журналъ! Приносящій весьма много пользы! Имѣющій хорошее направленіе! «Гудокъ» конеч-

но острѣе, но и «Искра» хороша! Очень хороша! Укажу хоть на народи на князя Вяземскаго: онѣ доставили мнѣ величайшее удовольствіе!

Если же несмотря на то, иногда очень грустно читать наши журналы, какъ грустно иногда дѣлается при видѣ нищихъ у церквей, или гдѣ-нибудь на большихъ дорогахъ и въ далекихъ селахъ, то причина этому не въ томъ, чтобы милостыня была безнравственна или чтобы у насъ не было журналовъ съ прекрасными намѣреніями.

Н. КОСИЦА

ОБЪЯВЛЕНІЕ

О ПОДПИСКѢ НА ГАЗЕТУ

ДЕНЬ

Съ 1-го января 1863 года газета *День* поступает снова подъ отвѣтственную редакцію самаго издателя, И. С. Аксакова.

Изданіе газеты началось съ 15 октября 1861 года. Обстоятельства, вынудившія перерывъ изданія въ теченіи трехъ мѣсяцевъ, заставили продолжить годичный срокъ до самаго конца текущаго года, такъ что второй годъ изданія будетъ считаться съ 1 января 1863 года по 1 января 1864 года.

Редакція откровенно сознается, что программа газеты не была ею выполнена во всей строгости: обиліе матерьяловъ въ общемъ, областномъ и славянскомъ отдѣлахъ вызывало необходимость жертвовать отдѣломъ собственно литературнымъ и критическимъ (и не рѣдко выдавать вмѣсто 2-хъ листовъ — $2\frac{1}{2}$). Редакція постарается, въ будущемъ году, исправить, по возможности, этотъ недостатокъ, безъ ущерба для главныхъ отдѣловъ, и предполагаетъ, какъ только позволятъ средства, увеличить объемъ газеты, не возвышая объявляемой цѣны.

Газета будетъ попрежнему выходить еженедѣльно, по субботамъ, отъ 2-хъ листовъ и болѣе въ №.

Цѣна за годовое изданіе съ 1 января 1863 года, въ Москвѣ и С.-Петербургѣ, безъ доставки на домъ *шесть* рублей; съ доставкою на домъ и съ пересылкою *семь* рублей. Подписка принимается:

Въ Москвѣ: въ редакціи газеты *День*, на Спиридоновкѣ, въ домѣ Мазаровича; у книгопродавцевъ Базунова, Свѣшникова, Салаева, Глазунова и другихъ, а также и въ газетной экспедиціи почтамта.

Въ С.-Петербургѣ: въ конторѣ газеты *День*, въ книжномъ магазинѣ Д. Е. Кожанчикова, на невскомъ проспектѣ.

Иногородные могутъ обращаться прямо въ редакцію, адресуя просто: *въ Москву, въ редакцію газеты День*. Редакція отвѣчаетъ за доставку только тѣхъ экземпляровъ, которые выписаны изъ самой редакціи или ея конторы.

Редакція проситъ желающихъ подписаться — исполнить это, если можно, до 1 января, для того, чтобы редакція успѣла заранее распорядиться количествомъ экземпляровъ, не заставляя гг. подписчиковъ, какъ въ нынѣшнемъ году, ожидать втораго изданія.

Подписка на остальные экземпляры *Дня* съ 15 октября 1861 года по 1 января 1862 года продолжается.

На 1862 годъ

БИРЖЕВЫЯ ВѢДОМОСТИ

ГАЗЕТА ФИНАНСОВЪ, ТОРГОВЛИ И ПОЛИТИКИ

(выходятъ ежедневно)

Подписная цѣна на годъ: безъ доставки *десять* рублей, съ доставкою въ С.-Петербургѣ *десять* рублей, съ пересылкою во все губерніи *двенадцать* рублей.

Подписка принимается въ С.-Петербургѣ въ конторѣ редакціи *Биржевыхъ Вѣдомостей*, на конногвардейскомъ бульварѣ въ домѣ Стунѣевой № 11 и въ газетныхъ экспедиціяхъ с.-петербургскаго и московскаго почтамтовъ.

ОБЪ ИЗДАНИИ

ВОСПИТАНІЯ

ЖУРНАЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВЪ

ВЪ 1863 ГОДУ

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ А. А. ЧУШКОВА

ГОДЪ 7-Й

Журналъ «Воспитаніе» въ 1863 году будетъ издаваться въ прежнемъ направленіи и объемѣ.

СОСТАВЪ ЖУРНАЛА «ВОСПИТАНІЕ»:

- I. Собственной воспитаніе. Воспитаніе тѣлесное, уходъ за дѣтми въ здоровомъ и больномъ состояніи. Средства къ развитію силъ ~~интеллектуальныхъ~~, умственныхъ способностей, эстетическаго чувства и правилъ нравственности въ дѣтяхъ. Искусства, ремесла, гимнастика и игры для дѣтей обоюга пола. Обзоръ древнихъ и новыхъ воспитательныхъ системъ. Исторія воспитанія.
- II. ОБРАЗОВАНИЕ ДОМАШНЕЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ, МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ. Дидактика и методика. Наставленіе и руководство, какъ для первоначальнаго домашняго обученія, такъ и для элементарнаго и гимназическаго курса. Обзоръ извѣстнѣйшихъ методовъ преподаванія. Слѣды и приемы, почерпнутые изъ практики извѣстнѣйшихъ педагоговъ. Описанія примѣчательнѣйшихъ учебныхъ заведеній. Исторія просвѣщенія и учебныхъ заведеній.
- III. Рассказы изъ педагогическаго міра. Физиологическіе и психологическіе очерки паставниковъ и воспитанниковъ. Воспоминанія изъ школьной жизни. Біографіи замѣчательныхъ педагоговъ.
- IV. Открытые вопросы и отвѣты. Полемиическій отдѣлъ, въ которомъ, независимо отъ взглядовъ Редакціи обсуждаются съ разныхъ точекъ зрѣнія отдѣльные педагогическіе вопросы.
- V. Критика и библиографія. Разборъ лучшихъ произведеній современной педагогической литературы. Критическая оцѣнка учебниковъ и книгъ для дѣтскаго чтенія, русскихъ и иностранныхъ.
- VI. Педагогическая летопись. Всякаго рода современныя извѣстія,

касающіяся воспитанія и устройства учебныхъ и воспитательныхъ заведеній въ отечествѣ и за границей. Отчеты о важнѣйшихъ правительственныхъ узаконеніяхъ и распоряженіяхъ по части учебной и учебно-административной.

гн. Смѣсь. Мелкія статьи, заключающія въ себѣ общепользныя свѣдѣнія для родителей и наставниковъ. Мысли и софты знаменитыхъ педагоговъ. Курьезныя явленія въ современной педагогикѣ.

Къ тексту по мѣрѣ надобности будутъ прилагаться рисунки и проч.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ :

Цѣна за годовое изданіе, состоящее изъ двѣнадцати книжекъ съ пересылкою 8 рублей, безъ пересылки въ Москвѣ 6 р. 50 коп., въ Петербургѣ 7 руб.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ :

Отъ жителей Москвы : въ книжныхъ магазинахъ **Ө. О. Свѣшнкова**, на страстномъ бульварѣ и на Никольской улицѣ.

Отъ жителей Петербурга : въ книжномъ магазинѣ **В. А. Исакова**, на невскомъ проспектѣ, противъ католической церкви.

Изгородные надписываютъ на своихъ требованіяхъ единственно слѣдующій адресъ, извѣстный почтѣ : «**Издатель журнала *Воспитаніе*, въ Москвѣ**». Казенныя вѣдомства и учебныя заведенія, могутъ присылать деньги втеченіи 1863 года, но не иначе, какъ непосредственно къ издателю.

Изданія журнала 1859, 1860, 1861 и 1862 годовъ можно получить на этихъ же условіяхъ.

Редакторъ **А. Чулковъ.**

Издатель **Ө. Рейсеръ.**

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ

А. Ѳ. БАЗУНОВА

КОМИСИОНЕРА МОРСКОГО УЧЕБНАГО КОМИТЕТА И МОРСКОГО СБОРНИКА

*Въ С. Петербургѣ, на Невскомъ проспектѣ, у Казанскаго моста,
въ домъ Ольжикой.*

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ:

ЗАПИСКИ ИЗЪ МЕРТВАГО ДОМА

Ф. М. Достоевскаго

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ. ИЗДАНИЕ А. Ѳ. БАЗУНОВА. 1862 года.

Содержаніе слѣдующее: часть первая: Записки изъ Мертваго дома (въ видѣ предисловія). Глава I. Мертвый домъ. — II. III и IV: Первые впечатлѣнія. — V и VI. Первый мѣсяцъ. — VII. Новая знакомства. Петровъ. — VIII. Рѣшительные люди. Лучка. — IX. Исая Фомичъ. Бана (рассказъ Бакалущина). — X. Праздникъ рожденія архіепа. — XI. Представленіе. — Часть вторая. Глава I. Гошпиталь. — II и III. Продолженіе. — IV. Акуликинъ мужъ (рассказъ). — V. Лѣтняя пора. — VI. Каторжные животныя. — VII. Претензія. — VIII и IX. Побѣгъ. — X. Выходъ изъ каторги.

Цѣна 2 руб. 50 коп., съ перес. 3 руб. Въ переплетахъ изъ англійскаго коленкора съ золотыми тисненіями 3 руб. 25 коп., съ перес. 4 руб.

РИСУНКИ ГРАФА Ф. П. ТОЛСТАГО

Къ повѣсти ДУШЕНЬКА, соч. Богдановича, по поводу которыхъ своевременно была написана статья Ап. Майковымъ. Цѣна за всѣ шесть тетрадей назначается уменьшенная: вмѣсто 10 руб. — 6 руб., съ перес. 7 руб.

РЕЦИТАЛЬ-КНИЖКА. Комическая поэма изъ Гёте, въ 12 пѣсняхъ. Перев. М. Достоевскаго. Спб. 1861 г. Ц. 1 р., съ перес. 1 р. 25 к.

ОЧЕРКИ ЛИТЕРАТУРЫ древних и новых народовъ. Нособіе при изученіи словесности въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Составилъ Гарусовъ. Выпускъ первый: повѣія драматическая. Съ 32 политинажами. М. 1862. Цѣна 3 руб., съ перес. 2 руб. 50 коп.

ЛЮБОПЫТНѢЙШЕ ПРОЦЕССЫ изъ уголовныхъ дѣлъ Франціи и Англіи. Выпускъ I. Содержаніе: Процессъ Ласевера. — Лезюркъ. (Случай судейской ошибки.) — Мадамъ Ласаржъ. — Каролина англійская и Бергами. — Мадамъ Лакость. — Таинственное убійство. — Убійцы Пешара. — Сиб. 1862 г. Ц. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

ИЛЛАДА ГОМЕРА, переведенная съ греческаго Н. Гвидичемъ. Въ двухъ частяхъ. Изданіе въ маломъ форматѣ, съ рисунками. Сиб. 1862 Ц. 2 руб., съ перес. 2 руб. 50 коп.

ИСТОРИЯ НРАВСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНІЯ ЖЕНЩИНЪ. Сочиненіе Эрнеста Легуве. Переводъ Р... М. 1862 г. Ц. 1 р. 50 к., съ перес. 3 р.

ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЯГО И НОВАГО МІРА, составленная по Шерру, Шлоссеру, Гетнеру, Ф. Шлегелю, Ю. Шмидту, Готмалю и другимъ, подъ редакціею Мидлюндъ, Сиб. 1862. Ц. 1 р. 50 к., съ перес. 2 р.

СОЧИНЕНІЯ Е. И. ГРЕБЕНКИ. Въ пяти томахъ (1863—1866). Сиб. 1862. Ц. 6 р., съ перес. 8 р.

СЕМЕЙСТВО МОНСОВЪ. 1688—1724. Очеркъ изъ русской исторіи. М. М. Семейскаго. Сиб. 1862 г. Ц. 1 р. 25 к., съ перес. 1 р. 50 к.

ПОДНЫЙ ЛАТИНСКІЙ СЛОВАРЬ, составленный по современнымъ латинскимъ словарямъ Аванцельмъ, Ясвенкимъ и Лебедлевскимъ. М. 1862 г. Ц. съ перес. 4 р. за 5 ф.

ГЕМОРОЙ во всѣхъ своихъ видахъ и коренное его излеченіе. Доктора Визгара. Съ 32 рецептами. Ц. 75 к., съ перес. 1 р.

ИСТОРИЯ РОССИИ съ древнѣйшихъ временъ. Соч. С. Соловьева. Томъ XII (окончаніе царствованія царя Алексѣя Михайловича). М. 1862. Ц. 2 руб., съ перес. 2 р. 50 коп. — Того же изданія первые одиннадцать томовъ цѣна 24 р. 50 коп., съ перес. 30 руб.

ПАМЯТНИКИ СТАРИННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Великолѣнное изданіе in-4°. Четыре выпуска, изъ которыхъ въ четвертомъ помѣщено преимущественно житія восточныхъ свѣтителей. Изданы буквально по древнимъ рукописямъ, подъ редакціею Н. Н. Костомарова. Цѣна первому и второму выпускамъ вѣсть 5 руб., съ перес. 6 руб.; третьему (апокрифы) 2 руб., съ перес. 2 р. 75 к.; четвертому 3 р., съ перес. 3 р. 75 к.

Гдѣ иногородные могутъ обращаться съ требованіями ослѣдъ вообще и проч., и прѣдъ-кованіяхъ и дружины князя-градоначальника.

СОДЕРЖАНІЕ

ОКТАБРЬ. № 10

| | |
|--|-----|
| Свое и Чужое. Романъ. Часть первая. С. Фелогова | 3 |
| Командирша. — Житейскія сцены. А. Плещеева | 144 |
| Соборъ парижской Богоматери. (Notre-Dame de Paris). Романъ Виктора Гюго. | 174 |
| <i>Мать отъ сердцахъ меня журчала...</i> Стихъ Всеволода Крестовскаго. | 260 |
| Изъ Горация. Стихъ. Его же. | 364 |
| Нѣсколько страницъ (Изъ записокъ лекаря) Анатолия Инсарова. | 261 |
| Смерть. Стихъ. О. Берга | 313 |
| <i>И влесе, и блесе рѣчной волны,</i> Стихъ. Его же | 315 |
| Дѣтнія пѣсни. Стихъ. А. Плещеева | 316 |
| Земство и расколъ. Бѣгуны. А. Щапова | 319 |

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ

Лермонтовъ и его направленіе. Крайнія грани развитія отрицательнаго взгляда. Статья первая. Элементы поэтической дѣятельности Лермонтова. — I. Введеніе. — II. О Байронѣ и о матеряхъ важныхъ. — III. Нашъ романтизмъ. Аполлона Григорьева. 1

НАШИ ДОМАШНІЯ ДѢЛА. (современныя замѣтки). Основныя преобразованія судебной части въ Россіи. — Рѣчь волостного старшины. — Хитрая барыня. — Введеніе уставныхъ грамотъ. — Вольнонаемный трудъ въ сельскомъ хозяйствѣ. — Экономическая будущасть Россіи. — Земско-хозяйственныя учрежденія. — Комерный сборъ. — Рекрутскій наборъ. — Золотое дѣло. — Акціонерныя дѣла. — Николаевская желѣзная дорога. — Непостижимая исторія 33

По поводу годичной выставки въ академіи художествъ. П. К. 66

ПОЛИТИКА. Общее положеніе. — Прусскія дѣла. — Прекращеніе конституціоннаго образа правленія въ Пруссіи. — Возвращеніе къ абсолютному. — Закрытіе палатъ. — Итальянскія дѣ-

| | |
|---|-----|
| ла. — Прощеніе Гарібальди. — Ходъ его боѣзни. — Наша Францискъ II. — Греко-славянскій или восточный вопросъ. — Воостаніе въ Греціи. — Удаленіе короля. — Очеркъ исторіи греческаго королевства. — Сущность восточнаго вопроса. — Выгоды окончательныхъ рѣшеній. — Последнія вѣсти | |
| Кушцы — реформаторы гимназій. М. Родзвичъ | 120 |
| Щекотливый вопросъ. Статья со системою, съ превращеніями и переодѣваньями | 141 |
| Замѣтка по вопросу общественной нравственности (письмо къ редактору). П. Сокальскаго | 164 |
| Русскій театръ. Современное состояніе драматургіи и сцены. Статья первая. | 484 |
| Голосъ за петербургскаго доль-Кикота. (Изъ словоду статей г. Телтрива | 189 |
| Тяжкое время (письмо въ редакцію «Времени». Н. Косицы | 196 |

ОТЪ РЕДАКЦІИ

Въ настоящемъ году поступило въ редакцію очень немного жалобъ на неисправную доставку нашего журнала. Тѣмъ не менѣе мы считаемъ долгомъ объяснить нашимъ иногороднымъ читателямъ, что по выходѣ изъ типографіи и отъ переплетчика, каждая книга «Времени» въ заклеенномъ наглухо конвертѣ и подъ бандеролью сдается въ газетную экспедицію Петербургскаго почтамта вмѣстѣ со спискомъ всѣхъ иногородныхъ подписчиковъ. Такимъ образомъ книга разсылается въ разныя города *уже не редакціею, а почтамтомъ*. Стало-быть, еслибы кто-либо изъ подписчиковъ не получилъ книги, то редакція въ этомъ такъ же виновата, какъ еслибы отправленные ею письмо или посылка не дошли по адресу. Тѣмъ не менѣе, редакція покорно проситъ доводить до ея свѣдѣнія о всѣхъ неисправностяхъ касательно доставки. Всѣ справедливыя жалобы она немедленно препровождаетъ въ почтамтъ и принимаетъ на себя ходатайство о скорѣйшемъ удовлетвореніи подписчика.

ПОДПИСКА НА 1863 ГОДЪ

ВРЕМЯ

выходитъ ежемѣсячно книгами отъ 30 до 35 печатныхъ листовъ и болѣе

Редакцію будутъ приняты всѣ мѣры къ правильной и скорой доставкѣ журнала подписчикамъ

Цена изданій для Петербурга и Москвы 12 руб. 30 коп.
съ пересылкою и доставкою на домъ 16 руб.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ

для жителей Петербурга и Москвы, въ конторахъ
журнала ВРЕМЯ

ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ

Въ книжномъ магазинѣ А. Ф. Базунова, на Невскомъ Проспектѣ, въ домѣ Энгельгардъ

ВЪ МОСКВѢ

Въ книжномъ магазинѣ И. В. Базунова, на Страстномъ Бульварѣ, въ домѣ Загряжскаго

ИНОГОРОДНЫЕ адресуютъ свои требованія просто: Въ Редакцію Журнала «ВРЕМЯ» въ С. Петербургѣ. Почтамту извѣстно помѣщеніе Редакціи.

Редакція отвѣчаетъ за исправность доставки журнала только подписавшимся въ вышеозначенныхъ конторахъ или въ самой Редакціи.

30¹/₄ ад

COLUMBIA UNIVERSITY



0026853108

057

V957

1862

okt.

